Франсуа ПИКАВЕ (1891)

ИДЕОЛОГИ

Очерки по истории идей и научных, философских, религиозных теорий во Франции с 1789 года

Дизайн шрифтов и т.д. остались неизменными из того источника, по которому делался перевод, а именно:
https://classiques.uqam.ca/classiques/picavet_francois/les_ideologues/ideologues.html

Содержание

Предупреждение

Введение. - Истоки идеологии в XVII и XVIII веках

Глава I. Идеологи, их политические и частные связи, университетские, научные и литературные отношения

I. Политические собрания; Отёй и улица Бак
II. Нормальные, центральные и специальные школы
III. Институт; Научные общества
IV. Газеты; «Философская декада»

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИДЕОЛОГОВ

Глава II

I. Кондорсе; мадам Кондорсе.
II. Сийес; Рёдерер; Лаканаль.
III. Вольней; Дюпюи; Марешаль и Нэжон.
IV. Сен-Ламбер.
V. Гара; Лаплас; Пинель; резюме.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИДЕОЛОГОВ

Физиологическая идеология

Глава III. Кабанис до 18 брюмера

I. Его образование.
II. Работа по просвещению населения; Дневник болезни и смерти Мирабо.
III. Больницы; Общественная помощь; Революции в медицине.
IV. Кабанис в Институте; на медицинском факультете; *О степени достоверности медицины*; Кабанис и Бернарден де Сен-Пьер.
V. Кабанис в Совете Пятисот и Медицинские школы; неизвестное письмо о совершенствовании; об Политехнической школе; Кабанис и 18 брюмера.

Глава IV. Кабанис после 18 брюмера

I. Шесть первых мемуаров «Отношений между физической и нравственной природой человека»: план и цель сочинения; физиологическая история ощущений; чувствительность и возбудимость; возрастные стадии; смерть; половые различия; темпераменты; наука и «отношения».
II. Похвала Вик-д'Азиру; *Об «Отношениях»*; болезни; привычка; климат; трансформирующая космология 10-го мемуара; исследование плода и инстинкт; влияние «Отношений».
III. Кабанис при Консульстве и Империи по неизданным письмам; письмо о поэмах Гомера и о *Гении христианства*.
IV. Письмо о первичных причинах; метафизика Кабаниса; религиозные идеи; Бог; бессмертие; Кабанис и Форьель, Кузен, Ренан; смерть Кабаниса; его влияние.

Рациональная идеология и ее связь с наукой

Глава V. Дестют де Траси — идеолог, законодатель и педагог.

I. Его образование; Д. де Траси в Учредительном собрании; в армии Лафайета; в Отёе; в тюрьме; стойкость его убеждений и надежд.
II. Д. де Траси в Институте в Институте; средства утверждения нравственности народа; Бонапарт и де Траси; *Мемуар о способности думать*; моторика; я; идеология; активность и пассивность; знаки; привычка.
III. Д. де Траси в Совет по общественному просвещению, циркуляры преподавателям; Доклад о состоянии народного образования; универсальный язык; чувство сопротивления; существование; замечания по вопросам просвещения населения; Д. де Траси и Лагарп.

Глава VI. Д. де Траси, идеолог, грамматик и логик, экономист и моралист

I. *Элементы идеологии*; метод для изложения и изучения идеологии; позитивные тенденции, физика и геометрия.
II. Способность к мышлению; существование тел, новая доктрина; Траси и Биран; критика Кондильяка; Привычка и знаки.
III. Мемуары о Канте; Чистая мука и мука опыта; Немецкая философия и французская философия; Грамматика; Д. де Траси и Джеймс Милль; Речь и письмо; Универсальный алфавит и язык; Суждения Кабаниса, Туро и Бирана; Логика, посвященная Кабанису; История логики; Ошибка; Зарождение наших идей; Критика Ларомигера; Общие и специальные науки; Девять частей элементов идеологии; Дополнение к логике, вероятности; Идеология и физиология.
IV. Комментарий к Монтескье; суждения о политической и религиозной ситуации; «Трактат о воле и ее действиях»; Методология; идеология,

экономика, мораль и законодательство; обрабатывающая производственная и торговая индустрия.

V. *Мораль*; воля и причинность; критика по последствиям; Д. де Траси в 1814 году; в 1830 году; его роль и влияние

Психологическая и рациональная идеология, сравнительная и прикладная

Глава VII. Помощники, ученики и продолжатели Кабаниса и Д. де Траси

I. Дону во время революции; Дону и Бонапарт; Эссе об индивидуальных гарантиях; Дону, историк философии; М.-Ж. Шенье и Декарт; Андриё и Политехническая школа; «Бенджамен Констан и наука о религиях»; Ж.-Б. Сэй и политическая экономия; Брийя-Саварен.

II. Идеология, физика и математика, Лакруа и Био; Ланселин.

III. Идеология и естественные науки, Сюэ, Алиберт, Ришеран, Флуренс и др. ; Биша; Биша и Кабанис; Шопенгауэр и Гартман; Ламарк; его трансформизм и психология; Бори-де-Сен-Венсан; сравнительная идеология и философия науки, Драпарно; идеология и медицина, Бруссе.

IV. Идеология и новаторы; Бюрден, Сен-Симон; Фурье, Леру, Рейно, Конт, Литтре; бывшие ученики Кабаниса и Д. де Траси; Дроз; Франсуа Тюро; союз филологии и идеологии, защитник школы Тюро; Ампер - христианин и либерал, философ и ученый; «Очерк по философии науки»; Биран.

V. Идеология, письма, история: Вильмен, Лерминье, Сенанкур, Борда-Демулен, Фабр и др. ; Фориэль, ученик Кабаниса; О. Тьерри и его отношения с Дону, де Траси, Фориэлем; Виктор Жакмон; Анри Бейль - ученик Д. де Траси; Сент-Бёв - поклонник Дону, де Траси, Ламарка и др.; идеология в Англии, Дугалд-Стюарт; Томас Браун; Джон Стюарт Милль.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ ИДЕОЛОГОВ:

Спиритуалистическая и христианская идеология

Глава VIII

I. Portatis и философский дух; Сикар, его труды по грамматике, о глухонемых, его отношения с идеологами.

II. Дежерандо; его «Мемуары о знаках»; его эклектизм; этнологическая психология; моральная философия; *История систем*; синкретизм и эклектизм; классификация систем; глухонемые и немые; слепые; Прево, Дюмон, Лесаж, Бонштеттен.

III. Ларомигьер и Кондильяк; доктрины Ларомигьера до 1811 года; *Парадоксы Кондильяка*; Лекции; их успех; эклектизм; изменения в лекциях.

IV. Ларомигьеризм; итальянские философы; французская эклектика; Теста; Перрар; Арман Марра; аббат Рок; Кардайяк; Валетт; де Шабрие; Гибон; Сафари; Тиссо, Лам и Роберт.

V. «Возрождение идеологии»: господа Тэн, Ренан, Литтре, Рибо.

Заключение

Приложения:

Центральные школы; Гара и институт; неизвестное письмо Кабаниса о возможности совершенствования; письмо от Б. Констана к Виллеру: Воклен и Ламарк, судимые Лицеем; письмо отца Литтре в *Декаду*; Ларомигьер, мемуары и лекции; письма от Ларомигьера к Валетту; неопубликованные письма Ларомигьера к Сафари; неопубликованные письма Ларомигьеристов; неопубликованные письма Ларомигьера к аббату Року.

Господину Полю Жане

Господину Эрнесту Лависсу

Свидетельство искренней благодарности
и глубокой привязанности

Предуведомление

«Зачем, — скажет читатель, — писать книгу, да ещё объёмную, об Идеологах?» — Вот что я собираюсь кратко объяснить..

Когда я читал «*Гений христианства*», ту книгу, которую каждый добросовестный ученик начальной школы хотя бы раз получал в награду, меня всегда поражало, с каким презрением, с каким высокомерием Шатобриан говорит об Идеологах, чьи доктрины он, впрочем, постоянно оспаривает как самое мощное препятствие на пути триумфа его нео-католицизма. Затем историки показывали мне в лице Наполеона противника, который против Идеологов использовал не только оружие деспотизма, но также насмешки и оскорбления. Они даже заставили меня поверить, что их оппозиция почти так же способствовала падению империи, как и основанию консульства.

В спекулятивной сфере я видел, как постоянно повторялись их имена. Лавуазье, казалось, произвёл революцию в химии только потому, что применил метод, описанный Кондильяком. Работы Пинеля по нозологии и душевным болезням имеют то же происхождение. Дарвин и Геккель ссылаются на Ламарка как на своего предшественника. Спенсер, придав ей новую силу, опирается на гипотезу Лапласа. Теория вероятностей восходит к Лапласу и Кондорсе. Речь идёт о позитивной философии? Её истоки — в *«Энциклопедии»*, но также и в идеях, разработанных преемниками энциклопедистов и воплощенных в жизнь, так сказать, в Институте и Политехнической школе. Точно так же идеологическая утопия Кондорсе, по-видимому, является отправной точкой для всех исторических или политических объяснений через прогресс или совершенствование, а также для социалистических или гуманитарных теорий, стремившихся уже в этой жизни даровать человечеству совершенство и счастье. Среди экономистов часто встречаются имена Ж.-Б. Сэя и Дестюта де Траси. Филологи критикуют труды Вольнея, Дестюта де Траси и Тюро; Александр Бэн отсылает к *«Грамматике»*, *«Идеологии»* и *«Логике»* последнего. Стюарт Милль энергично защищает Брауна от Гамильтона, а Жуффруа представляет Брауна как перенёсшего в Шотландию доктрины Дестюта де Траси. Шопенгауэр среди своих вдохновителей называет Лавуазье,

Кабаниса и Биша. Речь заходит о теориях воспитания или организации образования? Книги, газеты, политические речи напоминают о трудах Кабаниса (по Мирабо) и Талейрана, Кондорсе, Лаканаля, Дону и др. Говорим о красноречивых профессорах, таких как Кузен и Каро? Им предшествовали Гара и Ларомигьер. Огюстен Тьерри даже сравнивает Кузена с Дону. Восхваляем ли мы классическую философию Руайе-Коллара, Бирана, Кузена, Жуффруа? Г-н Тэн отвечает, что первое произведение Бирана, «*Трактат о влиянии привычки»*, сохранится, поскольку его автор опирался на Дестюта де Траси, и он завершает критику спиритуалистов и эклектиков похвалой Идеологам, особенно Ларомигьеру.

Сент-Бёв, в дни своей реакции, относится к Идеологам так, как мог бы относиться к ним Бонапарт (Кондорсе, Дону, Вольней, Рёдерер и др.). Но даже тогда он пространно и с явным удовольствием говорит об их личностях, об их трудах и всё же отводит место похвале. В других случаях он, как человек оппозиции, подчиняется противоположному вдохновению и сам представляется их учеником и продолжателем: таковы его статьи о Био, об Ампере и особенно его прекрасная монография о Форьеле, где, восхваляя Кабаниса и Дестюта де Траси, он делает из сына-почитателя первого — предшественника Кузена в истории философии и вдохновителя Стендаля, Мериме и Ж.-Ж. Ампера. Наконец, тем, кто ищет психологию у Стюарта Милля и Льюиса, Бэна и Спенсера, Тэна и Рибо, г-н Поль Жане говорит: *«Кто бы ни пожелал тщательно изучить идеологическую школу… найдёт в ней немало положений, которые сегодня возвращаются к нам из Англии»*.

Итак, можно было бы сказать, применяя к ним то, что В. Гюго говорил о их великом противнике: **«Всегда они, они повсюду».** Так кем же тогда были Идеологи? К кому следует применять это имя? Какие научные, философские, социальные, религиозные или литературные доктрины они исповедовали совместно? Какое влияние они оказали на своих современников и преемников?

Ответить на эти вопросы оказалось сложнее, чем поставить их. Кузен и Дамирон намеревались быть беспристрастными, но чаще всего ограничивались перечислением фрагментов, которые казались им наибольшей степени предосудительными, чтобы отбить у читателей всякое желание стать идеологами. Минье сообщает весьма интересные сведения о Кабанисе и Дестюте де Траси, о Рёдерере и Сийесе, о Лаканале и Дону, о Ларомигьере и Дежерандо. Но зачастую ценность документов, растворённых в общих формулах, обнаруживается лишь тогда, когда сам их изучаешь. Кроме того, эти *уведомления*, составленные в очень разное время, носят отпечаток политических пристрастий самого автора и его друзей. Наконец, они исходят от человека, любившего придерживаться золотой середины между мистицизмом и сенсуализмом, как и между демократией и деспотизмом. Если же месье де Ремюза занимался Дестютом де Траси и Кабанисом, то гораздо более с целью их опровергнуть, чем представить. Что касается «*Философского словаря»* месье

Франка, то он содержит в основном полемические статьи, в которых ведётся борьба против доктрин школы, причём у неё отнимаются некоторые из её представителей — и не всегда наименее знаменитые. Наконец, у Сент-Бёва приходится собирать воедино все сведения об этой школе и её представителях, соединять учения и людей, о которых он высказывал столь различные суждения.

Более того, во Франции и за рубежом довольно распространена практика оставлять в стороне Идеологов в истории философии. Если Льюис (G. H. Lewes) говорит несколько слов о Кабанисе и Дестюте де Траси, то Ибервег уделяет двенадцать строк Сен-Ламберу, Вольнею, Кондорсе, и всего лишь пять — Кабанису, Дестюту де Траси и Ларомигьеру, до тех пор, пока месье Поль Жане не прислал ему более содержательную заметку о первых двух. Куно Фишер, в книге «*Бэкон и его последователи*», вообще не упоминает ни одного из Идеологов. Во Франции месье Фуйе помещает Кондорсе вслед за Тюрго среди философов XVIII века. Если он и упоминает Ларомигьера, то лишь для того, чтобы указать, в чём тот отошёл от Кондильяка. Он нигде не рассматривает идеологическую школу. Однако, между прочим, он делает Огюста Конта преемником Кабаниса и Бруссе, так что, прочитав его книгу, вполне можно остаться в неведении о том, что с 1789 по 1820 год существовало философское движение такой важности, что, даже будучи остановленным политической и религиозной реакцией, оно способствовало формированию О. Конта, Сен-Симона, Фурье, Леру, Рено и др.!

Крайне интересная и в то же время крайне мало известная, идеологическая школа представляла собой серьёзную задачу для всякого, кто не хотел бы повторять неточные утверждения или оставлять существенные пробелы. Нужно было составить библиографию по этому предмету, разыскать и собрать печатные и рукописные документы, которые нигде не указаны в целом. Я обошёл букинистические ряды, изучил каталоги, посетил библиотеки и обратился за сведениями ко всем, кого считал способными их предоставить. Из Парижа, из провинции, из-за границы я получил множество ценных указаний. Господа Каро, Боссир, Людовик Карро и Рибо поддержали мои поиски. Господин Поль Жане предоставил мне в распоряжение свою богатую библиотеку, непревзойдённую эрудицию и драгоценные советы. Господин Газье передал мне любопытные материалы из своей столь важной коллекции, имеющие отношение к моему предмету.

Господин Жюль Симон разрешил мне ознакомиться с рукописями Академии моральных и политических наук, к которым господин Пенгар любезно обеспечил мне доступ. Господин Леон Сэй в своих семейных бумагах разыскивал возможные следы отношений его великого дяди с Идеологами. Господин Анри Жоли указал мне на труды, о которых я не знал. Господин Жюль Готье по моей просьбе в своём журнале запросил сведения о центральных школах и сам предоставил мне часть из них. Господа Ребю

(профессор в Туре), Сёр (в Ньоре), Боннеро (в Ангулеме), Фёври (в Доле), Ксамбё (почётный профессор), Энгле (директор лицея в Родезе) прислали мне документы, добыть которые им часто стоило больших трудов. Господин Сафарий-сын, по просьбе месье Кальдмезона, передал мне письма, позволившие точнее узнать последних представителей школы. Господин Сегюи, старший надзиратель лицея в Альби, нашёл у вдовы господина Крозеса, исполнителя завещания аббата Рока, фрагменты и письма Ларомигьера, существование которых мне открыл господин Компэрэ. Господа Бурдон и Валь изучали для меня каталоги библиотек Германии и Британского музея.

Из Италии месье Луи Ферри, директор *Rivista di Filosofia italiana* и профессор Римского университета, любезно согласился дополнить для меня своё *«Эссе об истории философии в Италии в XIX веке»*, предоставив сведения о связях между французской и итальянской философией в XVIII и XIX веках. Месье Кредаро, профессор Падуанского университета, прислал мне два небольших трактата, которые пролили больше света на некоторые из вопросов, рассматриваемых мною. Месье Робертсон, директор журнала *Mind* и автор хорошо известной во Франции книги о Гоббсе, обратился к месье Вейтчу с запросом о том, что стало с перепиской Дугалда Стюарта с Идеологами. Наконец, месье Эрнест Навиль из Женевы передал мне, с самого начала моей работы, все рукописи Бирана и его неопубликованную переписку с Д. де Траси, Кабанисом и др. Он не только предоставил мне документы большой ценности, которых я бы сам не смог добыть, но и дал возможность найти другие, столь же ценные.

Начиная с XVII и XVIII веков, я читал или перечитывал, анализировал и аннотировал труды философов и ученых, том за томом и строка за строкой, сравнивая полученные мной результаты с результатами моих предшественников. Точно так же я поступал с рукописями, книгами, газетами и сборниками, появившимися после 1789 года. Воспользовавшись библиографическими указаниями, которые содержались в каждом из них, я постепенно и надёжно расширял сферу своих исследований. Коллекция *«Декады»* позволила мне познакомиться почти со всеми представителями школы — как самыми незаметными, так и самыми выдающимися — и послужила основой для выстраивания её структуры. Она пролила свет на связи между Идеологами, а также на их отношения с зарубежными учёными и философами, с Сен-Пьером и с Бонапартом; на борьбу, которую вели с философией в период после Террора — при Директории и Консульстве. Документы, нигде не использованные и не цитируемые, пролили новый свет на значимость Гара, Рёдерера, а особенно Кондорсе — в первом, и Кабаниса — во втором поколении идеологов, на происхождение доктрин, которые впоследствии исповедовали Сен-Симон, Конт и Литтре. *Консерватор* и *Лицей* оказали аналогичные услуги, хотя и в меньшей степени.

В бумагах Института я обнаружил любопытное письмо Ланселена, два *«Мемуара о привычке»*, которые давно считались утраченными и которые имеют первостепенное значение для изучения связей между Бираном, Кабанисом и Д. де Траси. Сопоставление одного мемуара и письма Рей-Режиса с его *«Естественной историей души»*, изучение мемуаров, представленных всеми участниками конкурса, убедили меня в том, что вторая секция Института вызвала подлинное философское движение. В Версале я нашёл важный рукописный труд, составленный Кабанисом под руководством Дюбрея, и его прочтение дало мне ясное понимание не только того, как автор *«Отношений»* мог написать *«Письмо о первичных причинах»*, но и того, как современный эклектизм восходит к эклектизму греков и римлян.

Так Идеологи вновь стали для меня живыми — вместе с той самой средой, в которой они выработали свои доктрины.

Генералы, ораторы и политики, священники и магистраты, романисты и поэты, литераторы и критики, профессора и журналисты, администраторы и дипломаты, инженеры и врачи, математики и естествоиспытатели, физики и моралисты, историки людей, учреждений и идей, экономисты и филологи, психологи и метафизики — все они предстали передо мной как наследники учёных и философов XVII и XVIII века, как наши учителя и наши наставники в тех областях, в которых мы привыкли считать XIX век особенно оригинальным.

Оставалось изучить их ближе — так же как и их предшественников и противников. Это было долго, поскольку речь шла о тысячах томов; это было трудно, поскольку большинство из них уже не продавались в книжных лавках; но это было возможно. Я сделал это тщательно [1].

Разработка таким образом собранных документов дала мне объемный труд, который затем пришлось значительно сократить. Я составлял, расформировывал и пересоставлял главы — порой по нескольку раз — либо чтобы использовать новые документы, либо чтобы придать изложению форму более чёткую и сжатую, более точную и живую [2].

Профессора Факультета словесности в Париже и господа Дюмон, а затем Льяр, которым я обязан тем, что был назначен на должность библиотекаря-

---

1 Я изучал журналы и книги, выходившие во Франции и за границей, чтобы при случае извлечь из них новые документы. Ср. passim.

2 Из этой работы я выделил «*Историю скептицизма в античности и в новое время*», «*Историю философии во Франции с IX века*», помимо томов или брошюр, которые я опубликовал: «*Нравственное и гражданское воспитание*», «*Философия Кондильяка*, *Цицерона*, *Ламетри*» и др. Метод, которого я придерживался, я изложил более подробно в «*Истории философии: чем она была, чем может быть*», а также в «*Истории отношений между философией и теологией*».

секретаря философских и языковых конференций в Сорбонне, содействовали проведению таких исследований, которые в другом месте не могли бы увенчаться успехом. Академия моральных и политических наук, наградив меня своими премиями, позволила мне без перерывов продолжать свои многотрудные занятия. Пусть настоящий труд, на который я не пожалел ни времени, ни денег, ни усилий, и в котором я стремился быть лишь правдивым и справедливым, точным и беспристрастным, послужит доказательством для всех, кто пожелал им заинтересоваться, что они не ошиблись, способствуя тому, чтобы его осуществление стало возможным и менее несовершенным.

Париж, 1 октября 1890 года.

Введение

Истоки идеологии в XVII и XVIII веках

I

Декарт предпринял попытку избавиться от всех своих прежних мнений, поместив истины веры вне и выше их, и пренебрёг, создавая новую философию, вопросом о том, были ли до него другие мыслители. И действительно, сколь бы ни старались Фуше, Сорбьер и Буайо, Лейбниц и Юэ, Ожье и защитники схоластики усмотреть сходство между общими доктринами Декарта и некоторыми теориями Платона и Академиков, Демокрита и Эпикура, Аристотеля и стоиков, Роджера и Фрэнсиса Бэкона, Перейры, Шаррона и Джордано Бруно [1], — всё же, если исследовать, что он знал и чего не знал о философах прошлого, если проанализировать его собственное учение, чтобы определить, что в нём восходит к схоластике, к философии Возрождения, к стоикам, скептикам и акаталептикам [2], можно заключить, что, несмотря на эти реминисценции, философия Декарта является в своей сути оригинальной.

Преемники Декарта нередко стремились ему подражать. Они подчёркивали те положения, в которых расходились со своим предшественником, и порой забывали признать, что продолжают его, лишь используя иные теории, игравшие в их собственной системе центральную роль. Слишком часто также

---

1 ***Байе**, «Жизнь Декарта», т. VIII, гл. 10; **Ферраз**, «Психология святого Августина»; **Фонсен**, «По поводу автографа Декарта и одного неизданного документа о «Cogito ergo sum»» (Мемуары Общества искусств и наук Каркассона, т. IV, с. 3).*

2 **Орэо**, «*История схоластической философии* и *Литературная история Мэна*»; **Уэддингтон**, «*Рамус, его жизнь, сочинения и воззрения*»; **Сессе**, «*О перипетиях аргумента Святого Ансельма в "Прослогионе"*»; «*Опыты по религиозной философии*»; «*Предшественники и последователи Декарта*»; **Ф. Буайе**, «*История картезианской философии*»; **Э. Плужански**, «*Опыт по философии Дунса Скота*». — **М. Льяр** установил, что оригинальность Декарта заключалась главным образом в его философии науки. Мы пришли к тому же выводу, изучая на курсах Высшей школы (École des Hautes Études) Ансельма Кентерберийского и Декарта.

историки считали, что философское движение развивается путём революций, каждая из которых полностью отметает прошлое и рождает систему, находящуюся в абсолютной оппозиции к предыдущей. Так, они изображали философию XVIII века — ошибочно сведённую к фигуре Кондильяка — как сущностно противоположную философии Декарта, а философию, возникшую во Франции в начале XIX века, как реакцию против философии XVIII века, как возвращение к XVII веку [1]. Но справедливо ли, по крайней мере в отношении первой из этих двух точек зрения, утверждать, что философия XVIII века совершенно противостоит философии Декарта? Или, выражаясь точнее, справедливо ли то, что Вольтер, Бюффон, Кондильяк, Ламетри, Дидро, Д'Аламбер, Кондорсе, Кабанис, Дестют де Траси, Ларомигьер, Тюро и все прочие относились к Декарту и к его теориям так же, как сам основатель французской философии относился к своим предшественникам и их учениям?

Вольтер сделал философию Локка и физику Ньютона модными во Франции; он насмехался над вихрями [2], полным пространством, мгновенной передачей света, определением материи, врождёнными идеями [3]. Не раз он мстил Декарту за осуждение *«Английских писем»* и за отказ в привилегии, который дал картезианец д'Агессо *«Началам философии»* Ньютона. Но при этом Вольтер считает его величайшим гением своего века и полагает, что Декарт проложил путь, ставший необъятным, что он научил современников рассуждать и пользоваться против него самого его же оружием [4]. Он часто — слишком часто, как он сам признаёт в письме к Меран [5], дурно обращался с Мальбраншем, но тот, по его мнению, великий философ, который предугадал философию «скрытых качеств», вобрав в себя самое мудрое и истинное, что дала античность, и который стал бы самым великим, а точнее — единственным метафизиком, если бы, после того как в двух первых книгах он постучался в двери истины, смог остановиться на краю бездны [6]. Даже Спиноза его привлекает — как загадка, которую до сих пор не разгадали, как величайший из тех, кто отстаивал систему, в которую он сам не верил.

---

1 См. труды Кузена и его учеников.

2 Он (Вольтер) сначала принимал их (учение Декарта) и воспевал Декарта в первом издании *Генриады*:

> Декарт, изливающий свой плодотворный свет,
> Дерзновенным взмахом пересёк границы мира.

3 Буайе справедливо замечает, что, если понимать идею врождённых понятий в её истинном смысле, Вольтер отдаляется от Локка и приближается к Декарту… что, быть может, никто не опроверг первую часть «*Опыта о человеческом разуме*», где Локк отрицает врождённость справедливости, лучше, чем Вольтер (*т. II, с. 566*).

4 См. *Письма об англичанах,* XIV. Также письма от 1 мая 1731 года, от 24 февраля 1733 года, от ноября 1733 года (изд. Бёшо, № 123), *Философский словарь,* ст. «Картезианство», *Каталог писателей века Людовика XIV и др.*

5 Бёшо, письмо № 123.

6 *Комментарий к Мальбраншу* и письмо № 5485, изд. Бёшо. См. также Ф. Буайе, т. II, с. 567.

Для Мопертюи, сторонника ньютоновского тяготения ещё до Вольтера, Декарт — великий философ, которому геометрия многим обязана. Ламетри считает своим долгом принести Декарту искреннюю сатисфакцию за всех мелких философов, неуместных острословов и жалких обезьян Локка, которые вместо того, чтобы нахально смеяться Декарту в лицо, лучше бы осознали, что без него философия, возможно, до сих пор оставалась бы в запустении; он ставит ему в заслугу то, что тот понял животную машину и первым совершенно ясно доказал, что животные — это чистые автоматы [1]. Бюффон, который, как говорил Флуранс, был проникнут философией Декарта, следует за ним в вопросе о человеческом разуме и очень к нему приближается, когда говорит о животных [2]. Монтескьё превосходно охарактеризовал в «*Персидских письмах*» оригинальность и плодотворность физики Декарта; он восхищается её общими, неизменными, вечными законами, которые действуют безо всякого исключения, с бесконечным порядком, регулярностью и быстротой в беспредельности пространства. Похоже, что, размышляя над теориями Декарта, если не в самом Декарте [3], он нашёл свою знаменитую формулировку законов.

Французская академия [4] в 1762 году предложила в качестве конкурсной темы: «*Похвала Декарту*». Вольтер уже высказал все свои критические замечания, Монтескьё был мёртв, как и Мопертюи и Ламетри; Кондильяк уже опубликовал *«Происхождение знаний», «Трактат о системах», «Трактат об ощущениях»* и *«Трактат о животных»*. Предварительная речь к *«Энциклопедии»* и наиболее полемические её тома были напечатаны; Гельвеций уже четыре года как был вынужден отречься от своей книги *«Об уме»*. Академия, которая уже ранее присудила премию иезуиту Генару за *«Речь о философском духе»*, в которую тот включил восторженную похвалу Декарту, присудила премию Тома, чей стиль чересчур напыщен, но который достаточно точно оценивает картезианскую философию и её связи с XVIII веком [5].

Оставим в стороне верных картезианцев: Фонтенеля, который в 1752 году всё ещё защищает вихри, не принимая при этом картезианскую метафизику; кардинала де Полиньяка, воспевавшего физику и метафизику Декарта; д'Агессо, опровергавшего Гоббса и отказавшего в привилегии «*Началам философии*» Ньютона; Террассона, который, как ученик Декарта, развивает

---

1 *«Человек-машина», Амстердам,* 1764, стр. 71.

2 Флуренс, *Бюффон*, *История его идей и трудов*. См. Кондильяк, *Трактат о животных*; Ф. Пикаве, *Философия Кондильяка* (введение к *Трактату об ощущениях*).

3 См. Бутру, латинскую диссертацию о Декарте.

4 Академия уже находилась в распоряжении философов. См. Л. Брунель, *Философы и Французская академия*.

5 «У Декарта, — говорил Тома, — взгляды столь же новые и куда более обширные, чем у Бэкона... он обладал блеском и необъятностью гения Лейбница, но с гораздо большей устойчивостью и реальностью в своём величии; наконец, он заслужил того, чтобы быть поставленным рядом с Ньютоном, ибо он создал часть Ньютона, а сам был создан лишь самим собой... Его больше нет, но его дух жив. Этот дух бессмертен, он передаётся от народа к народу и от века к веку».

доктрину, сыгравшую в XVIII веке важнейшую роль [1]; Керанфлеша и ряд мыслителей, которые, как убедительно показал месье Буайе, заслуживают прочтения всеми, кто стремится понять направление мысли XVIII века. Но стоит особо остановиться на некоторых из тех, кого обычно представляют как противников Декарта: на Кондильяке, которого считают настоящим главой философии XVIII века, на Дидро и Д'Аламбере, которые восхваляли Бэкона, по меньшей мере, столь же усердно, как Вольтер — Локка и Ньютона. Если проанализировать учение Кондильяка и то, что он говорит о Декарте или о картезианцах, можно увидеть, что он сохранил в себе гораздо больше от картезианства, чем отверг или изменил; что он остался картезианцем, сам того не вполне осознавая, потому что был более занят тем, чтобы подчеркнуть различие между собой и предшественником, чем тем, чтобы указать, чем он ему обязан. Различие между душой и телом, теории окказионализма, связь идей, метод и подмена наблюдения над фактами гипотезами или допущениями [2] всё это показывает в нём философа, который, быть может, пытался забыть Декарта и Мальбранша, после того как прочёл их, но тем не менее сохранил их самые оригинальные и существенные положения. Он, впрочем, признаёт, что мы многим обязаны Декарту; если он ставит Мальбранша ниже Локка, то называет его одним из самых блестящих умов минувшего века, которому никто не может быть равен в тот момент, когда он находит истину. Он точно излагает первую часть *«Этики»* Спинозы, не бросая в него ни единого оскорбления, и с живостью критикует Лейбница, но при этом защищает его от поверхностных противников, приписывающих ему грубые противоречия.

Дидро, подвижный ум которого поочерёдно увлекался столькими различными системами, изучал у Декарта те произведения, которые обычно читают наименее охотно [3]; он делает из Бэкона основателя современного эклектизма, а из Декарта — великого эклектика: *«Гений,* — говорит он в другом месте, — *поднимается орлиным взлётом к сияющей истине, источнику тысяч других истин, к которым затем медленно и робко проберётся толпа осторожных наблюдателей; гений вдохновлял Платона, Декарта, Мальбранша, Бэкона, Лейбница… Декарт был истинным возродителем рассуждения, первым, кто привёл к новой манере рассуждать, гораздо более ценной, чем сама его философия, значительная часть которой, согласно тем*

---

1 Доктрина прогресса. См. Ф. Буайе, *История картезианской философии*, т. II.

2 Декарт «строит» мир, животных и человека; Мальбранш утверждает, что всякое допущение, способное разрешить все возникающие затруднения, должно считаться бесспорным принципом (*Поиски истины*, II, гл. VII, § 1). Никто, пожалуй, так ясно, как Тэн, не осветил тесную связь между двумя веками (*Старый режим*, III, 1).

3 *Письмо о слепых*: «Декарт в своей *Диоптрике* сводит зрительные феномены к тактильным». Дидро тем самым заметил — задолго до Махэффи (*Descartes*, серия *Coll. for English Readers*), — что именно Декарт был первым автором теории зрения, приписываемой Беркли.

самым правилам, которым он нас научил, оказывается либо ложной, либо крайне сомнительной» [1].

Д'Аламбер причисляет к числу величайших умов, которых человечество должно считать своими наставниками и которым Греция воздвигла бы статуи, к числу великих людей, издалека, в тени и молчании, подготавливавших тот свет, который должен был постепенно и незаметно озарить мир, — Бэкона, Декарта, Ньютона и Локка. Он рассматривает Декарта и как геометра, и как философа. *«То,* — говорит он, — *что особенно увековечило имя этого великого человека, — это применение, которое он сумел сделать, алгебры к геометрии — одна из самых обширных и счастливых идей, когда-либо рождавшихся в человеческом уме, и она навсегда останется ключом к самым глубоким исследованиям не только в возвышенной геометрии, но и во всех физико-математических науках»*. Как философа, д'Аламбер считает Декарта, быть может, столь же великим, хотя и менее удачливым; однако, по его мнению, науки обязаны Декарту отнюдь не так мало, как утверждают его противники: уже одного лишь *«Метода»* было бы достаточно, чтобы сделать его бессмертным; его *«Диоптрика»* — это наивысшее и наикрасивейшее применение геометрии к физике, которое было сделано до тех пор; и даже в его сочинениях, ныне наименее читаемых, сверкает пламя гения. Если он ошибался в метафизике, допустив врождённые идеи, то, по крайней мере, побудил благомыслящие умы сбросить ярмо схоластики, мнений, авторитета; он оказал философии, возможно, более существенную услугу, чем все те, что ей предоставили её знаменитые преемники. И д'Аламбер завершает мысль фразой, на которую, быть может, обратили недостаточно внимания [2]: *«Англия обязана нам рождением той философии, которую мы впоследствии получили от неё».*

Эти примеры, число которых легко было бы увеличить [3], более чем достаточны, чтобы доказать, что Декарт был известен и ценим самыми выдающимися людьми XVIII века. Однако высказывали мнение, что в революционную бурю лишь философия Кондильяка избежала кораблекрушения, а цепь картезианской традиции была вновь восстановлена лишь Руайе-Колларом и Виктором Кузеном [4]. Несколько характерных фактов

---

1 См. статьи *Гений*, *Логика*. Также статьи, посвящённые арабской философии и Мальбраншу.

2 *Предварительная речь к Энциклопедии*, в сборнике *Меланжи по литературе, истории и философии*, Амстердам, 1768, т. I, с. 124–144. — Д'Аламбер даже защищает вихри, которые, по его словам, ныне кажутся почти смехотворными, и считает это объяснение тяготения одним из самых прекрасных и самых изящных гипотез, когда-либо созданных философией (с. 133); он утверждает в другом месте (*Меланжи*, IV, с. 228–229), что древняя и новая философия, быть может, не выдвинули ничего столь же простого на вид и столь же естественного, как гипотеза вихрей. Он хвалит Монтескьё, говоря, что тот был в области изучения законов тем же, кем Декарт был в области философии.

3 Можно было бы упомянуть и отца Буффье, пытавшегося примирить Декарта и Локка; Гельвеция, который заимствует у Декарта исходную точку своей доктрины, всюду называет его великим человеком и следует за ним так же, как за Локком, Тюрго и др.

4 Ф. Буайе, *указ. соч.*, т. II, гл. XXXII, с. 645.

покажут, что картезианская традиция продолжалась как во время, так и после Революции [1]. 2 октября 1793 года М.-Ж. Шенье представил Конвенту доклад о перенесении праха Декарта в Пантеон: в сопровождающей доклад речи он причисляет Декарта к числу тех поразительных людей, которые раздвинули границы общественного разума и чьё свободолюбивое вдохновение стало достоянием человеческого духа. Он первым обошёл весь круг философии, из которого Кеплер и Галилей охватили лишь часть, и придал всему своему веку мощный и стремительный импульс. Это — глубокий мыслитель, который, так сказать, установил факел на дороге веков, и чьё существование стало одной из вех в истории человеческого гения [2].

Примерно в ту эпоху, когда победившее большинство Конвента постановляло перенесение праха Декарта в Пантеон, один из членов меньшинства — Кондорсе, обвинённый и объявленный вне закона, — в своём вынужденном укрытии писал *«Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума»*. В нём он обозначил — возможно, даже лучше, чем д'Аламбер и Шенье — роль Декарта в развитии философии и наук. Вместе с Бэконом и Галилеем он образует переход от восьмой к девятой эпохе, но именно он придал уму то движение, которого Бэкон, со своей более рассудительной философией, и Галилей, с более надёжным методом, не смогли ему сообщить, — и он присоединил к царству разума ту общую философию, которую Локк затем заключил в её законные пределы [3].

В 1796 году Институт, большинство членов которого составляли идеологи, просил Совет Пятисот исполнить декрет Конвента. Кабанис в своём первом *«Мемуаре»* напоминал, что ошибки Декарта не должны заслонять бессмертные заслуги, оказанные им наукам и человеческому разуму, и приветствовал его как одного из своих предшественников [4]. Тюро, в *«Предварительной речи к переводу Харриса»*, обозначал *«Рассуждения о методе»* Декарта как начало подлинной и благотворной революции в идеях во Франции [5]. Дестют де Траси идёт ещё дальше: он ставит Декарта выше Бэкона и не находит «во всей Великой Реновации ничего столь же точного, столь же глубокого и столь же

---

1 Можно было бы прямо оспорить вторую часть утверждения. Руайе-Коллар в своей вступительной речи весьма сурово обошёлся с Декартом — от имени религиозной и политической реакции, которая, по ненависти к Революции и её доктринам, пришла (вместе с Ламенне) к осуждению всякой философии. (Ср.: Поль Жане, *Ламенне*.) Виктора Кузена нередко упрекали в том, что он обеднил Декарта и исказил его подлинную мысль. См. гл. VII, § 4. Как бы то ни было, Кузен судил его не с большей благожелательностью, чем его предшественники — Кондорсе, Кабанис и Дестют де Траси, или его собственный учитель Ларомигьер.

2 Сочинения Шенье. Изд. Дюпон, 1829, т. V, с. 108 и далее.

3 Нужно прочесть всю восьмую эпоху, чтобы судить, с какой широтой взглядов и с какой критической проницательностью Кондорсе оценивал Декарта.

4 См. гл. IV, § 1.

5 В Нормальных школах Гара был вынужден объяснять, почему он не включил Декарта в список великих аналитиков (гл. I, § V).

справедливого», как четыре правила картезианского метода. *«Я мыслю, следовательно, я существую»* — это, по его словам, самая глубокая фраза, когда-либо произнесённая, и единственно подлинное начало всякой здравой философии. *«Логика»* и *«Общая грамматика»* господ из Пор-Рояля, продолжателей Декарта, породили Локка. Поэтому Дестют де Траси предпочитает всю совокупность философии Декарта — которая всегда основывалась на применении опыта и наблюдения — философии Лейбница, в которой больше уделено воображению и догадкам [1].

Если бы кто-то хотел показать, точно и полно, влияние Декарта на всех тех философов XVIII века, чье восхищение им было столь живым, то необходимо было бы определить, в какой степени картезианцы способствовали созданию философии Локка, подготовке прогресса математических, физических и естественных наук, которые в значительной степени питали философскую мысль XVIII века [2]. Мы ограничимся кратким напоминанием некоторых доктрин, важность которых в XVIII веке не отрицается никем и которые, несомненно, были переданы ему Декартом и его учениками. Вся картезианская школа — с Паскалем, Арно, Николем, Мальбраншем, Перро и Ла-Моттом — сочетает пренебрежение к прошлому [3], с верой в будущее и надеждой на грядущий прогресс человечества. Декарт, если ограничиться в этом кратком обзоре лишь самим учителем, верит, что можно найти практическую философию, *«благодаря которой, познав силы и действия огня, воздуха, звёзд, небес и всех прочих тел, нас окружающих, столь же ясно, как мы знаем ремёсла ремесленников, мы могли бы использовать их таким же образом для всех тех целей, для которых они пригодны, и тем самым сделаться как бы господами и обладателями природы... следовало бы искать в медицине* [4] *средство, способное сделать людей в целом более мудрыми и способными... мы могли бы освободиться от множества болезней, как телесных, так и душевных, и даже, возможно, от старческой немощи, если бы имели достаточное знание их причин и всех средств, которыми снабдила нас природа...; я нашёл путь, следуя которому, безусловно, можно достичь столь необходимой науки, если только этому не помешают краткость жизни или недостаток опыта»* [5]. В философской и научной области Декарт вводит — с

---

1 *Мемуары Национального института, отдел моральных и политических наук*, т. IV; *Логика*, Предварительная речь; *Грамматика*, Введение; вторая часть *Трактата о воле*, гл. I. Следовало бы также упомянуть суждение Гара (*Сеансы Нормальных школ*, новое издание, Париж, 1800, т. I, с. 225 и далее); суждение Дежерандо, в *Сравнительной истории философских систем*, 1804, т. II, с. 23 и далее — он, впрочем, провозглашает себя учеником Кондильяка; суждение Тюро в статье *Декады* (10 фруктидора XIII года); суждение Ларомигьера — в вступительной речи 1811 года и в *Лекциях* и др. (Ср. гл. I, V, VI, VIII.)

2 См. § 3.

3 Буайе, т. I, гл. XXIII; и Риго, *Спор древних и новых*. — Мальбранш доходит до утверждения, что было бы совсем небольшим несчастьем, если бы огонь сжёг не только всех философов, но и всех античных поэтов.

4 Кабанис и Дежерандо воспроизводят это утверждение Декарта.

5 Рассуждение о методе, *VI.*

помощью первого правила своего метода — свободу исследования, которую XVIII век распространит на сферу религии и политики. Он придаёт исключительное значение методу и делает *«Cogito, ergo sum»* основанием науки; он ясно различает умственный мир и физический мир, и объясняет материальные и жизненные явления с помощью механизма [1]. Наконец, он ищет в медицине средство, чтобы сделать людей более мудрыми и способными, потому что дух зависит от темперамента и от состояния органов тела. Мальбранш идёт дальше и в той части *«Поисков истины»*, которая была столь любима в XVIII веке, он объясняет связь идей друг с другом через связь следов в мозгу *«которая является не только основанием всех фигур риторики, но также бесчисленного множества других вещей, имеющих наивысшее значение в морали, в политике и вообще во всех науках, касающихся человека»*. С её помощью он объясняет память и привычки. Через различия в строении мозговых волокон он объясняет интеллектуальные различия между мужчиной и женщиной, ребёнком, взрослым и стариком; также с их помощью — безумие, влияние, которое одни люди оказывают на других, веру в колдунов и оборотней, различные страсти, присущие молодым, сангвиникам и холерикам, старикам, меланхоликам и флегматикам, расширение на вещи, связанные с каким-либо объектом, а также любовь или ненависть, испытываемую к этому объекту [2].

Таким образом, прочитав — вслед за сочинениями Декарта и его более или менее верных учеников — *«Эскиз»* Кондорсе, труды Кондильяка, где он придаёт столь важное значение связи идей, *«Человека-машину»* Ламетри, сочинения Бонне, *«Отношения между физическим и моральным»* Кабаниса, — никто уже не станет сомневаться в том влиянии, которое оказал картезианизм на все великие философские произведения XVIII века, но возникнет вопрос: какие же соперничающие влияния изменили этот век настолько, что он стал неприемлем для верных последователей Декарта?

---

1 См. особенно *Страсти души*, *Трактат о формировании плода*, *Трактат о человеке*, в заключении которого содержится любопытная фраза, позволяющая возводить теорию окказионализма к Декарту.

2 *Поиски истины*, с. 71. См. также Олле-Лапрюна, *Философия Мальбранша*; Поль Жане, *Учителя современной мысли*; Лешала, *Научное наследие Мальбранша* (*Revue philosophique*, т. XVIII). — Следует прежде всего обратиться к самому автору и задаться вопросом, не следует ли, вместо Юма (у Пийона и Ренувье) или Гартли (у Рибо), считать Мальбранша — вслед за Аристотелем — основателем ассоцианизма.

II

Спекуляция, независимая от теологии, далеко не целиком картезианская. Она движется в трёх других направлениях, которые иногда совпадают с картезианством, но чаще от него отходят. Одни, как и Декарт, рекомендуют сомнение, но отнюдь не считают *«Cogito, ergo sum»* надёжным основанием для метафизических утверждений. Они воспроизводят воззрения древних скептиков и акаталептиков [1] или ссылаются на Монтеня и Шаррона [2], которые никогда не имели столь многочисленных читателей и поклонников, как тогда. Их становится всё больше, и они приобретают всё большее влияние: за Ла-Мот Ле Вайе следует Юэ. Для Бейля воздержание от суждений необходимо во всех метафизических вопросах, в которых ни теологи, ни философы не могут дать абсолютной уверенности. Но его труд не является сугубо отрицательным: он требует терпимости, ограничивает физику сферой опыта и вероятных гипотез и отделяет мораль от метафизики [3]. Наряду со скептиками другие философы также способствуют подрыву картезианской метафизики. Бэкон, вокруг которого сложилась легенда, столь же необоснованная, как и та, что ранее была отмечена по отношению к Декарту, — в XVIII веке был восхваляем и читаем, а в XVII — здраво оценён как красноречивый помощник учёных, практиковавших экспериментальный метод [4]. Гассенди борется с Аристотелем и Декартом, возрождает философию Эпикура и оказывает влияние на Локка. Он союзник как учёных, так и скептиков — поскольку и те, и другие выступают за опыт или наблюдение явлений. Его философия приобретает всё большее значение по мере того, как картезианство подвергается гонениям, когда Мольер и Бернье придают учению свою известность как поэты и путешественники [5]. Рядом с Гассенди стоят чистые эпикурейцы, собирающиеся у Нинон, в Отёе, в Нейи и т. п. [6], они распространяют не столько вкус к опыту, сколько мораль,

---

1 Этьенн и Эрве издают и переводят Секста Эмпирика; Менаже его восхваляет; Пьер Валанс говорит, что его труды находятся у всех на руках; Фуше возвращает в моду Новую Академию.

2 Наш рукописный текст содержал подробные доказательства всех утверждений, суммированных во Введении. М. Поль Жане, посчитав их достаточными, посоветовал нам их сократить, чтобы облегчить труд; мы последовали его совету и свели к 20 страниц 200, на которых были изложены и обоснованы мнения, резко расходящиеся с тем, что читают в большинстве *Историй философии*.

3 См. Ф. Пикаве, статья «Бейль» (*La Grande Encyclopédie*) и приложенную к ней библиографию.

4 См. труды Декарта, Гассенди, Малебранша, Спинозы, Бейля, Байе, Юэ и др.

5 О Мольере как переводчике Лукреция и ученике Гассенди см. Ларрумет, *Исследования о Мольере*; о Гассенди в восприятии XVII века см. Исаак Юри, *Учёный кружок XVII века и Франсуа Гюэ*; о Гассенди см. Дюваль-Жув, *Философский словарь* и Феликс Томас (французская диссертация о Гассенди), который вскоре должен изложить отношения Гассенди с его современниками; о Бернье см. Ф. Пикаве в *Grande Encyclopédie.*

6 Дидро, статья *Эпикуреизм*.

основанную на удовольствии или интересе, которой Ларошфуко придаёт форму, весьма пригодную для популяризации, тогда как Гоббс представляет её с видимой строгостью, благодаря которой она будет принята теми, кто склонен к рациональному рассуждению [1].

Учёные наблюдают, экспериментируют, делают выводы. Постепенно они отделяют установление явлений или их законов от поиска причин и от метафизических спекуляций. Астрономия — прежде других — получает поразительное развитие, и её открытия подрывают с основания сначала систему Аристотеля, а затем, немного позже, — декартовские вихри. Геометрия и алгебра, механика и физические науки, естественные науки, развиваемые философами и учёными, достигают не меньших успехов: человек, по выражению Паскаля, оказывается брошен между бесконечно большим и бесконечно малым, о существовании которых древние даже не подозревали. Как же они могли дать метафизическое объяснение вселенной, которой они не знали? Всё больше возрастает доверие к научному опыту и всё большее недоверие — к теориям, объясняющим происхождение, природу, предназначение вселенной, в которой наука ежедневно открывает неизвестные явления и неведомые законы [2].

Локк [3] сохраняет у Декарта, Гассенди и их учеников главным образом то, что в их системе пользовалось особым почётом, и продолжает линию Монтеня и Бейля. С ним философия становится всё более помощницей наук, а психология, логика, мораль, политика и педагогика вступают на путь практический и позитивный. Поэтому он становится для XVIII века тем вождём, на которого ссылается почти каждый мыслитель. Однако это никоим образом не означает, что Декарт и его ученики, философы-сторонники опыта, Гассенди, Бэкон и Гоббс, скептики и учёные всех направлений не внесли — в различной, но значительной степени — свой вклад в рождение тех теорий, совокупность которых составляет то, что принято называть философией XVIII века.

---

1 Г. К. Робертсон, *Гоббс.*

2 Фонтенель и Кювье, *Похвальные речи учёным*; Байи, *История астрономии*; Араго, *Народная астрономия*; Бертран, *Основатели астрономии*; Монтукла, *История математики*; Хёфер, *Истории математики, астрономии, физических наук, зоологии, ботаники* и др. (*коллекция Дюруи*, изд. Ашетт); Спренгель, *История медицины*; Гексли, *Естественные науки* и пр.

3 Кузен, *Философия Локка*; Ш. де Ремюза в *Revue des Deux Mondes*; Поль Жане, *История политической науки*; Фокс Бурн, *Жизнь Джона Локка*; Марион, *Локк* и др.

III

Если Декарт не единственный наставник XVII века, то Кондильяк тем более не является единственным метафизиком, а тем паче — единственным философом XVIII века.

Скептицизм, учёный или литературный [1], продолжает бороться с метафизическими решениями и вместе с наукой содействует тому, чтобы изучение явлений стало центром философских изысканий. Астрономия становится всё более позитивной. Математика продолжает своё поступательное движение, хотя её успехи уступают успехам физики, власть которой над природой становится всё шире и всё увереннее. Химия — на первом месте с самого своего рождения. Естественные науки, одновременно охватывая все части своей обширной области, дробятся на множество частных дисциплин, каждая из которых занимает сотни исследователей. Пока *«Энциклопедия»* фиксирует результаты, вскоре устаревающие, отважные умы — учёные и философы — устремляются на территорию, которую они отвоёвывают у метафизики. Философия наук предпринимает первые попытки, с помощью гипотез, в ту пору весьма слабо обоснованных, у Мопертюи, Бюффона, де Майе, Робине и Бонне. Ещё больше, чем в XVII веке, философы теперь — это учёные, различающие науку и метафизику и согласные принимать любую систему, которая даёт новое и удовлетворительное объяснение явлений, — чтобы затем оставить её, как только факты её опровергнут или появится система более плодотворная, более простая и более близкая к феноменальной истине.

Принимая во внимание хронологию и развитие доктрин, философов XVIII века можно разделить на три категории: первая включает Фонтенеля, Монтескье и Вольтера [2]; вторая — их последователей [3]; третья — иностранных философов, которые либо заимствовали идеи у французских мыслителей, либо передали свои им [4].

---

1 Фабрициус даёт окончательное издание Секста; математик Юар переводит на французский *Гипотипозы*. О влиянии Бейля в ту эпоху см. ссылки в нашей вышеупомянутой статье.

2 К Фонтенелю следовало бы присоединить верных картезианцев: Бурсье, Андре, д'Агессо, Террассона, Полиньяка, Керанфлека и де Линьяка; картезианцев-локкистов: Буффье, Дюмарсе; «философствующих учёных»: Мопертюи и С'Гравезанда.

3 Сюда относятся: Кондильяк, Вовенарг, Ламетри, Бюффон и де Бросс, Д'Аламбер, Дидро, де Жокур, аббат де Прад, Гельвеций, Руссо и Рейналь, Гольбах и Гримм; экономисты: Тюрго, Кене, Гурнэ, Неккер; коммунисты: Мабли, Морелли, дом Дешан и др.

4 С одной стороны — философы, связанные с Берлинской академией: Фридрих II, Формель, де Бегелен, Мериан, Зульцер, Бособр, д'Аржан, Премонваль, Туссен, ЛёКат, Вегелен, Эйлер, Ламберт, де Кастийон, Ансиллоны, Мендельсон, Кант и др.; с другой стороны — женевцы: Бонне, Лесаж, Сеннебье, Прево; итальянцы: Дженовези, Пагано, Филанджери, Беккариа, Галани; и, наконец, англичане и американцы: Юм, Смит, Рид, Хартли, Бентам,

Фонтенель побуждает своих современников изучать науки и передаёт им — вместе с использованием метода Декарта — веру в прогресс и уважение к учителю, любовь к терпимости и ярко выраженную склонность к скептицизму. Монтескьё, восхваляющий Декарта и Ньютона, даёт философию римской истории и политическую философию, на которые впоследствии часто будут опираться [1]. Вольтер, более оригинальный, чем это принято считать у нас, всё решительнее отделяет науку от метафизики. Он проповедует естественную религию, которую основывает на чувстве и отождествляет с моралью. Благодаря ему Европа становится на сторону терпимости, а Франция — на сторону политической свободы; философия приобретает уважение в настоящем, но оказывается под угрозой в будущем.

Кондильяк — спиритуалист и теист, но феноменалист (если использовать вполне современный язык, который, не слишком искажая, резюмирует его метафизику), применяет анализ к изучению истории, политической экономии, грамматики и математики. В психологии он пытается систематизировать явления, которые, после того как они казались последним словом в науке, больше не могут быть приняты, хотя многие детали заслуживают сохранения [2]. Вовенарг, если бы он прожил дольше, мог бы быть, как сказал Сент-Бёв, лаконичным, элегантным и блестящим Локком, с высотами души, неведомыми тому. Напротив, Ламетри извлекает из научных знаний материализм — то декартовский, то стоический [3].

Бюффон, который вместе с Линнеем привлёк внимание к естественным наукам, философски восходит к Лейбницу и Аристотелю: природа, по его мнению, движется от одного вида к другому через незаметные градации, от одного рода к другому — через едва уловимые оттенки. Де Бросс, его друг, излагает в своём учении о механическом происхождении языка теорию, отчасти эпикурейскую, но большей частью оригинальную.

Д’Аламбер объясняет генеалогию наук, пишет философскую историю прогресса человеческого духа и в *«Элементах философии»* заменяет старую логику и старую метафизику философией математики и физики, а также моралью, грамматикой и искусством делать предположения. Дидро сначала утверждает, что добродетель невозможна без религии, а затем его сочинения осуждаются к сожжению как безбожные. Он хотел бы, чтобы изучались слепые и глухонемые, дабы продвинуть познание человека; он отводит философии и истории философии значительное место в *«Энциклопедии»*. Деист, затем скорее

Дагальд-Стюарт, Франклин и др. — Ср. Бартольмесс, *История Берлинской академии*; Луи Ферри, *Философия в Италии в XIX веке*; Эрнест Лависс, *Юность Великого Фридриха* и др.

1 Ф. Пикаве, *Revue philosophique*, XXVI, с. 621 и примечания (15 и 16) к переводу *Критики практического разума*.

2 Ф. Пикаве, *Введение к "Трактату об ощущениях"*.

3 См. Ф. Пикаве, *Ламетри и немецкая критика* — в нём указана библиография по теме.

пантеист, чем атеист, вскоре — материалист, он в разное время по-разному подходит к большинству вопросов, касающихся философии наук и метафизики. Де Жокур, его соавтор, изучает Лейбница; аббат де Прад защищает знаменитую диссертацию, которая показывает, какова тогда была сила философского влияния [1].

Гельвеций излагает мораль, основанную на интересе, составляет *«Катехизис честности»* и объясняет неравенство умов различием воспитания. Чтобы устранить это неравенство, он предлагает заменить древние языки и поэзию — национальным языком, физикой, математикой и профессиональным обучением; богословие и схоластику — метафизикой, основанной на наблюдении. Материалистические и атеистические тенденции Гельвеция оспаривает Руссо, который придаёт естественной религии, воспетой Вольтером, больше строгости, но меньше широты и терпимости. Следом за Монтескьё он набрасывает политическую философию, в которой, как подлинный картезианец, выводит из идеи общества абсолютные принципы, выражающие условия, необходимые для его существования. Следом за Локком и Гельвецием он создаёт теорию воспитания. И хотя он априорно конструирует «естественного человека», он отлично понимает, что такие мыслители, как Монтескьё, Бюффон, Д'Аламбер, Дидро, Кондильяк, изучая человека в цивилизованных странах и среди дикарей, смогли бы открыть совершенно новый мир.

Гольбах — материалист, фаталист и атеист — борется с теологами и метафизиками, как с естественной религией, так и с религиями откровения. Он обобщает, расширяет, дополняет и систематизирует возражения Гоббса, Бейля, Спинозы, Толанда, Коллинза, и стремится основать мораль, законодательство, политику, образование — на физиологическом изучении человека [2]. Его соотечественник Гримм по взглядам на мораль и политику довольно близок к Гоббсу, но в метафизике он — решительный скептик [3]. Напротив, Тюрго, с которым, как казалось на мгновение, революция могла бы совершиться мирно, восхваляет блага христианства. Одновременно с Д'Аламбером он указывает на поступательное развитие человеческого духа и более ясно, чем Гельвеций, предвидит закон трёх стадий в том, что в нём неоспоримо. Как сторонник терпимости, подобно Вольтеру, он защищает её исключительно вескими доводами. Как спиритуалист, он отличается от Кондильяка с экспериментальной точки зрения, признавая шестое чувство — внутреннее или витальное — и склоняясь к мысли, что восприятие расстояния даётся нам всеми

---

1 О аббате де Праде см. Ф. Буайе, *Revue Bleue*, 11 октября 1884 года, но прежде всего Газье, *Revue Critique*, 1885. — О Д'Аламбере см. недавнюю книгу М. Бертрана (*Коллекция великих французских писателей*). — М. Боннеро в *Revue de l'Enseignement secondaire et supérieur*, 15 декабря 1890 года, напомнил вслед за Вине, что роль Д'Аламбера как литератора недооценена. То же можно сказать и о его роли как философа.

2 Ср. Ланге, *История материализма*; Ф. Пикаве, *Archiv für Geschichte der Philosophie*.

3 См. Сент-Бёв, *Понедельники*, т. VII; Поль Жане, *История политической науки*.

чувствами. Как метафизик, он пишет статью «Существование», которой в разное время восхищались Кондорсе и Кузен. Как экономист, он примиряет, дополняет и применяет теории Кене и Гурнэ. Ему противостоит Неккер, который одновременно критикует проект, выдвинутый Гельвецием и Гольбахом, Вольтером и Д'Аламбером, — создать сугубо нравственный катехизис, в котором не было бы места религиозным идеям [1].

В противовес экономистам Мабли, Морелли и Дом Дешан требуют отмены собственности и выступают за общность имущества, а также, даже, женщин [2].

IV

В XVIII веке больше не существует границ для разума. Французские философы находятся в тесном контакте с философами Германии, Швейцарии, Англии, Италии — они передают идеи и получают их взамен. В Германии Форми поправляет Руссо и восхваляет Декарта; Мериан рекомендует тем, кто работает над естественной историей души, прибегать к наблюдению и опыту и задумывается о психометрии, то есть искусстве измерять души. Бособр изучает безумие, сны, предчувствия, смутные идеи, энтузиазм; д'Аржан идёт по стопам Бейля и Гассенди; Лё Кат стремится дополнить Кондильяка своим *«Трактатом о ощущениях и страстях в общем»*. Вегелен переводит Д'Аламбера; Ламберт продолжает Лейбница и предвосхищает Канта; Луи Ансиллон полемизирует с Вольтером и Юмом, хвалит Локка, но в то же время возвращается к Лейбницу; Энгель сводит идею силы к *nisus*, стремлению, к мышечному чувству. В университете Страсбурга изучают Бонне и Мопертюи, Канта и Юма, Кондильяка и Д'Аламбера [3].

В Швейцарии Бонне, подобно Кондильяку, воображает живую статую, учитывает, как и Тюрго, органические ощущения и, как де Майе, Бюффон и Робине, излагает трансформистские теории [4]. Его друг Лесаж был учителем Сеннебье и предшественником Прево. В Италии следуют Кондильяку, переводят Гельвеция; Беккариа и Галиани вдохновляют французских философов и экономистов [5]. Точно так же на французский язык переводятся

---

1 См. Кондорсе, *Жизнь Тюрго*; Фонсен, *Администрация Тюрго*; Леон Сэй, *Тюрго*; Поль Жане, *указ. соч*.

2 См. Поль Жане, *указ. соч.*; Босир, *Предшественники гегельянства во Франции*; об огромном влиянии Мабли см. Беранже, *Мысли (1794)*.

3 Бартольмесс, *Берлинская академия*; Ф. Пикаве, *Введения к "Критике практического разума"* и к *Мемуару об обычае.*

4 Ф. Пикаве, статья «Бонне» в *Grande Encyclopédie.*

5 Ср. Луи Ферри, *История философии в Италии в XIX веке*; Каро, *Исследования по XVIII веку*; Поль Жане, *Финальные причины* и др.

труды Беркли, Юма, Робертсона, Адама Смита, Гартли, Рида и др. Сами Юм, Смит, Дугальд Стюарт не раз приезжают во Францию; Вольтер, Монтескьё, Гельвеций, Руссо ездят в Англию; Бентам ссылается на Гельвеция, Рид воспроизводит Буффье.

После имён стоит напомнить и доктрины, следуя разделам метафизики, принятым в наших учебных планах. В XVIII веке обсуждается объективная ценность знания [1] и существование внешнего мира [2]. Разбираются вопросы природы, материи и жизни [3], излагаются и критикуются материалистические и спиритуалистические доктрины [4]. С увлечением и порой с глубиной обсуждаются существование Бога и естественная религия [5]. Проблема зла порождает целую литературу [6]. Утверждается и отрицается бессмертие души [7], принимается сторона либо фатализма, либо свободы воли [8]. Никогда вопрос об источнике идей не обсуждался столь остро [9]. Как же можно утверждать, что Кондильяк — первый и чуть ли не единственный метафизик XVIII века?

Но и это ещё не всё. Тогда же начинается философия математики [10], философия физических и естественных наук [11]. Начинается работа по созданию экспериментальной психологии, которая ещё не всегда отделена от метафизики [12], физиологической психологии [13], а также зоологической [14], патологической [15] и этнографической [16]. Грамматика соотносится с психологией и философией языка [17]. Развиваются философия истории, политическая экономия и политическая философия [18]. Мораль, педагогика и

1 Скептики, учёные: Фонтенель, Буффье, С'Гравезанд, Вольтер, Кондильяк, Д'Аламбер, Дидро, Гримм, Тюрго, Д'Аржан, Ансиллон, Энгель, Юм, Рид и Кант.
2 Д'Аламбер, Дидро, Тюрго, Юм и Рид.
3 Мопертюи, де Майе, Бюффон, Робине, Ламетри, Дидро, Гольбах, Дом Дешан, Ламберт, Бонне и др.
4 Кондильяк, Дидро, Полиньяк и де Линьяк, Ламетри, Гельвеций, Гольбах, Юм, Руссо, Мериан, Хартли, Рид и др.
5 Мопертюи, Вольтер, Кондильяк, Ламетри, Дидро, Гольбах, Руссо, Гримм, Мендельсон, Бонне, Юм и др.
6 Мопертюи, Вольтер, Руссо, Гольбах и др.
7 Вольтер, Кондильяк, Ламетри, Дидро, Гельвеций и Руссо, Гольбах, Мендельсон, Бонне и др.
8 Фридрих II и Вольтер, Кондильяк, Ламетри, Руссо и Гольбах, Гримм, Юм, Рид, Кант и др.
9 Вольтер, Кондильяк, Ламетри, Юм, Рид, Кант.
10 Эйлер, Лагранж, С'Гравезанд, Д'Аламбер, Клеро, Мопертюи, Ламберт.
11 Бюффон, Паллас, Галлер, Бордё, Браун, Бартез, Бонне, братья Жюссьё, Линней и др.
12 Дидро, Кондильяк, Ламетри, Бонне, Бюффон, Тюрго, Лё Кат, Рид и др.
13 Гольбах и Бонне.
14 Бюффон, Кондильяк, Реомюр, Жорж Леруа.
15 Дидро.
16 Бюффон, Мопертюи, Руссо.
17 Буффье, Дюмарсе, Мопертюи, Кондильяк, де Бросс, Д'Аламбер, Тюрго, Смит.
18 Вольтер, Фонтенель, Монтескьё, Кондильяк, Д'Аламбер, Рейнал, Тюрго, Мабли, Беккариа, Юм, Руссо, Смит.

эстетика стремятся оформиться как самостоятельные науки [1], история философии и наук приобретает всё большее значение [2].

Науки и философия тесно объединены: не существует ни одной современной теории или гипотезы, которая не была бы либо изложена, либо предвосхищена, либо подготовлена в XVIII веке. Движение захватывает даже тех, кто, казалось бы, должен ему противостоять: профессоров Сорбонны и иезуитов, доктринёров и ораториев, священников и сулпицианцев. И чтобы завершить этот набросок века, напомним, что Мармонтель, осуждённый за своё теологическое дерзновение, анализирует *«Органон»* и защищает Аристотеля от Пор-Рояля; что бенедиктинцы начинают *«Литературную историю Франции»*, над которой насмехается Вольтер, но которую продолжат Жиньене, Дону, Форьель, Литтре и Ренан; что Рей-Режис [3] излагает в 1789 году теории, с помощью которых впоследствии будут бороться против всей философии XVIII века.

1 Вольтер, Гельвеций, Руссо, Гольбах, Бентам, Тюрго, Формей, отец Андре, Дидро и др.
2 Фонтенель, Брукер, Кондильяк, Д’Аламбер, Дидро, де Жокур, Тюрго.
3 Поль Жане, *Один из предшественников Бирана* (*Revue philosophique*, т. XIV, с. 368)

Глава I

Идеологи: их политические и частные, университетские, научные и литературные связи

Определить, каких именно философов следует отнести к числу «идеологов», — задача отнюдь не лёгкая. Откройте *Словарь Французской академии*, и вы найдете очень неточные определения:

ИДЕОЛОГИЯ — наука об идеях, система, касающаяся происхождения и формирования идей: *Трактат об идеологии.*

ИДЕОЛОГ — тот, кто сводит всю философию к идеологии: *глубокий идеолог*. Иногда также говорят *идеологист*.

Если вы обратитесь к Литтре, который по своим философским симпатиям, казалось бы, заранее предрасположен к тому, чтобы дать нам точную справку, — вот что вы прочтёте в его *Словаре:*

ИДЕОЛОГИЯ:
1º Наука об идеях, рассматриваемых сами по себе, то есть как феномены человеческого духа: *Лейбниц, считавший Локка столь слабым в области идеологии* (Шатобриан, *Гений христианства*, III, II, 2);
2º В более узком смысле — наука, которая занимается формированием идей; затем — философская система, согласно которой ощущение есть единственный источник наших знаний и единственное основание наших способностей;
3º Теория идей у Платона..

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ — то, что имеет отношение к идеологии, ей принадлежит: *Идеологические знания, идеологические истины*.

ИДЕОЛОГИСТ — синоним *идеолога*: *Наши современные идеологисты впали в атеизм* (Б. де Сен-Пьер, *Гармонии*, V, 6)

ИДЕОЛОГ:
1º Тот, кто занимается идеологией: *глубокий идеолог*. *Тот или иной писатель может оказаться изощрённым идеологом* (Шатобриан, *Гений христианства*, III, II, 2); особенно тот, кто принадлежит к школе Кондильяка, вообще — метафизик;
2º В неблагоприятном смысле — философский и политический мечтатель.

Литтре, определяя смысл каждого из этих слов, ссылается исключительно на противников идеологии. Он даже не упоминает Дестюта де Траси — изобретателя слова «идеология», и не различает *идеологиста* (термин, употреблявшийся Траси и Кабанисом) и *идеолога*, слово, используемое с пренебрежением Шатобрианом и Наполеоном. Наконец, он, по-видимому, применяет оба выражения к тем, кто принадлежит к школе Кондильяка

Именно с этой последней точки зрения также выступает Дамирон. Он относит Кабаниса, Д. де Траси, Гара, Вольнея, Ланселена, Бруссе, Галля и Азайса к «школе ощущений, к сенсуалистской школе или к числу защитников идеологии и учеников Кондильяка, чьи доктрины были развиты Институтом». Автор статьи *«Идеология»* в *Философском словаре* определяет идеологию как «науку об идеях, рассматриваемых сами по себе, то есть как простых феноменах человеческого духа». Но и для него, в узком смысле слова, идеология — это «наука об идеях, в том смысле, как её понимала школа Кондильяка». Включая в эту школу Дестюта де Траси, Кабаниса, Гара, Вольнея, он считает, что Ларомигьер едва ли может быть назван идеологом, а Дежерандо и Биран — только в какой-то момент. Тем не менее, он ясно видит, что идеология, «союзница Французской революции, рождается вместе с ней и растёт рядом с нею»; что её представители — это одни и те же люди, что заседают в Конвенте и в Институте; что большинство из них встречаются в Отёе у мадам Гельвеций.

Что же подразумевал под идеологией сам Дестют де Траси? В своих первых «Мемуарах» он показывал, что знание о порождении наших идей является основой грамматики, логики, просвещения и воспитания, морали и политики. Затем, критикуя выражения «анализ ощущений и идей», слова «метафизика» и «психология», он предлагал обозначить науку, которой специально занимается вторая секция (Института), словом *идеология* — буквальным переводом выражения *наука об идеях*. Так, говорил он, будет указано, что стремятся познать человека исключительно через анализ его способностей, и что готовы игнорировать всё то, что этот анализ не позволяет открыть. И он добавлял, что,

составив первую секцию из аналитиков и физиологов, они стремились исследовать эти способности во всех отношениях — что осуществилось бы ещё лучше, если бы к ним были добавлены грамматисты [1].

Ничто в этих пояснениях не даёт основания отождествлять учения идеологов с учением Кондильяка. Можно ли, однако, дополнить в этом смысле определение, данное Дестютом де Траси?

Нельзя видеть в философах, ставших знаменитыми особенно после 1789 года, учеников Кондильяка — так следует полагать уже *априори*, если помнить, что Кондильяк не был — как мы полагаем, уже доказали это — единственным философом XVIII века. Если Кабанис, по-видимому, указывает, что Гара, де Траси, Ланселен, Дежерандо, Ларомигьер, Жакмон, Биран — ученики Кондильяка, нельзя забывать, что Кабанис критикует Кондильяка, и в других местах ссылается на Гельвеция и Бюффона, на Бонне и энциклопедистов, «которые подготовили господство истинной морали и освобождение рода человеческого». Кроме того, как справедливо заметил Сент-Бёв [2], Кабанис писал это предисловие около 1802 года, и выставлял Кондильяка на первый план потому, что тот никогда не писал ни против души, ни против Бога — он был более «приемлемым» и явным наставником, чем Гольбах, Дидро и даже Кондорсе. Немного позже, впрочем, Дестют де Траси высказался по этому вопросу с предельной ясностью, не оставляющей ничего недоговорённым:

«Немцы, — говорил он, рассуждая о философии Канта, — *воображают, будто мы все в области метафизики — ученики Кондильяка, так же как они — Канта или Лейбница... Они не знают, что среди тех, кто, подобно ему, ограничивается изучением идей и их знаков, исследованием их свойств, из которых они выводят некоторые следствия, возможно, нет ни одного, кто бы без оговорок принимал грамматические принципы Кондильяка, или кто был бы вполне удовлетворён его способом анализа наших умственных способностей, или кто не находил бы поводов для возражений против его рассуждений* [3]*... Мы придаём значение не* ***выводам*** *Кондильяка, а* ***методу****... Эта методика учит нас, почему мы не можем создавать системы... Она состоит в том, чтобы наблюдать факты с предельной добросовестностью, выводить из них следствия только при полной уверенности, никогда не принимать простые предположения за факты, соединять между собой истины лишь тогда, когда они естественно и без пробелов вытекают одна из другой, откровенно признавать, чего мы не знаем, и неизменно предпочитать полное неведение всякому утверждению, которое лишь правдоподобно... Сегодня мы, французы, в идеологических, моральных и политических науках не признаём ни одного главы школы, не следуем ни за чьим знамением. Каждый, кто ими занимается,*

---

1 *Мемуары Национального института, моральные и политические науки, т. I, с. 287, 323 и далее*.

2 *Литературные портреты*, т. I, с. 243; т. II, с. 298. См. также наши главы о Кабанисе.

3 Для обоснования этих утверждений см. весь наш труд.

имеет свои сугубо независимые мнения; и если они сходятся во многих пунктах, то это всегда происходит без всякого намерения, нередко — без их ведома и подчас даже без их уверенности в том, что это действительно так» [1].

От Наполеона, который способствовал популяризации самого слова, не стоит ожидать точного определения термина «идеолог». Ведь Наполеон пользовался этим эпитетом, как и выражением «туманный метафизик», чтобы обозначить тех, кто пытался отстаивать свободу против него самого [2]. Если он и сказал Талейрану, как утверждают [3], относительно курса, открытого Руайе-Колларом: «Знаете ли вы, что в моём Университете зарождается новая философия, весьма любопытная, которая, возможно, прославит нас и избавит нас от идеологов, убив их на месте с помощью рассуждения», — мы не найдём в этом высказывании ничего нового, поскольку Руайе-Коллар излагал Рида, критиковал Кондильяка и даже Декарта, иногда Локка и Гельвеция, но не говорил о современниках, на которых намекал Наполеон. Однако нам известно, что на одном официальном приёме император подошёл к Луи де Фонтану и сказал: «Фонтан,... великий магистр Университета... позитивность..., монархичность..., никакой метафизической..., идеологической чепухи», — добавил он, бросив взгляд на Дестюта де Траси [4]. Таким образом, мы снова возвращаемся к Дестюту де Траси и вынуждены включить в «школу» всех тех, кто принимает это новое слово и науку, которую оно обозначает — всех, кто продолжает философские традиции XVIII века, такими, какими мы постарались их здесь представить.

Таким образом, рядом с Дестютом де Траси нужно поставить Вольнея и Гара, Дону и Кабаниса, Ларомигьера, Рёдерера и Сийеса — тех, кто вошёл в Институт с момента его основания, кто присоединился позже, чтобы работать над «наукой об идеях», или же тех, кто в соседнем классе содействовал общей задаче; затем — тех, кто участвовал в конкурсах, организованных второй секцией: Дежерандо и Ланселена, Прево, Ампера и Бирана; наконец — тех, кто познакомил публику с доктринами, выдвинутыми Кабанисом, де Траси и их современниками, кто сохранял их и защищал, когда они подвергались нападкам, — то есть Тюро, Фориэля, Бруссе, Кардайяка, Валетта, Сафари, Стендаля и др. Лишь немногие из тех, о ком мы будем говорить, отвергли бы название *идеологиста* — хотя мы всё же предпочитаем термин *идеолог*, более употребительный сегодня. Что касается каждого из тех, к кому такое

---

1 См. главы о Дестюте де Траси.

2 Тайяндье, *Биографические документы о Дону*, 2-е изд., с. 198. «Это слово — идеология, — говорит Ампер (*Философия двух Амперов*, с. 5), — обрушивалось на возвышенные спиритуалистические дифирамбы мадам де Сталь и на ничтожные и ошибочные анализы, доставлявшие удовольствие хилым наследникам Кондильяка». См. также Дону, *Заметка о Ларомигьере*. Наполеон даже упрекал императора Александра в чрезмерной «идеологии».

3 Сикар, *Моральное и гражданское воспитание до и во время Революции*, с. 553.

4 Thurot, *Mélanges, p. 658.*

наименование может на первый взгляд показаться неприменимым, мы приведём основания, по которым решили его использовать.

Но прежде чем перейти к изучению тех персон, которым мы посвятим отдельное внимание, считаем полезным кратко обозначить, какое политическое влияние оказывали эти философы, чьи учения возникли одновременно с Революцией и развивались вместе с ней; какие особые общества они между собой образовали; как функционировал Институт, «развивавший идеологические теории»; Центральные школы, призванные преподавать искусства и науки, «усовершенствованные Институтом»; Специальные школы, принимавшие учеников Центральных; Нормальные школы, созданные, чтобы готовить преподавателей для этих учебных заведений; и наконец, как эти доктрины распространялись и защищались в печати — прежде всего через *«Философскую декаду»*, которая для этой школы играла в прессе ту же роль, что Институт — среди учёных обществ.

I

Политические собрания; Отёй и улица Бак

Чтобы изложить историю политических собраний, сменявших друг друга во время Революции, и конституций, которые они предлагали Франции, пришлось бы одновременно показать влияние философов XVIII века в ту эпоху, и роль их преемников — идеологов. Сийес, Вольней, Гара, Талейран, Рёдерер, Дестют де Траси, Грегуар, Дюпон де Немур, Брийя-Саварен и др. заседают в Учредительном собрании. Сийес, Мунье (который впоследствии будет защищать философию), Талейран входят в Конституционный комитет; Рёдерер, Талейран и Дюпон де Немур — в Комитет по налогообложению. Кабанис — друг и лечащий врач Мирабо; Дону представляет Ассамблее план образования; Кондорсе участвует в работе *Библиотеки общественного деятеля* и *Деревенского листка*. Кабанис составляет для Мирабо труд по народному образованию, а Талейран — автор знаменитого доклада на ту же тему.

«Декларация прав» свидетельствует о доверии к разуму и истине, напоминающем дух Декарта и XVIII век. «Невежество, — говорится там, — забвение или презрение к правам человека, это единственные причины общественных бедствий и порчи правительств». Как ученики Декарта и Кондильяка, депутаты Учредительного собрания желают, чтобы требования граждан основывались «на простых и неоспоримых принципах»; с Гельвецием и Гольбахом они хотят, «чтобы эти требования вели... к счастью всех». Но они следуют за Вольтером и Руссо, когда «признают права человека в присутствии и под покровительством Верховного Существа». С Гельвецием и Гольбахом они вновь утверждают, что «социальные различия могут быть основаны только

на общественной пользе». Как Руссо, они помещают суверенитет в нации и провозглашают его «единым, неделимым, неотчуждаемым и неустранимым». Они провозглашают свободу вероисповедания и труда, которых требовали Вольтер, Монтескьё и Тюрго; устанавливают «наказания строго и очевидно необходимые», как на этом настаивали Монтескьё, Вольтер, Гельвеций и Беккариа. По примеру Тюрго, они отменяют цехи и корпорации. Они разделяют властные функции в духе Монтескьё и постановляют, что Конституция будет представительной. Сам Людовик XVI говорит как ученик Руссо, Гольбаха и Гельвеция: «Он более не мог признавать в законах волю народа, когда повсюду видел, что они лишены силы и не исполняются... он задумал проект обеспечить счастье народов на прочных основах». (*Письмо в Ассамблею, 1791 г.*)

В Законодательное собрание входят Франсуа де Нёфшато и Кондорсе, который там представляет свой доклад об общественном образовании. Рёдерер занимает пост генерального прокурора-синдика Сены, Дону — викарий епископа Арраса, а затем митрополичий викарий Парижа, Сийес — член директории департамента Сены, Талейран — также член этой директории и посол в Англии. Дестют де Траси командует кавалерией в армии Лафайета. В Конвенте заседают Кондорсе, Сийес, Шенье, Лаканаль, Дону, Дюпюи и др. 16 февраля 1793 года Кондорсе от имени Конституционного комитета вносит проект Декларации прав и Конституционного акта, который, будучи изменён после суда над Людовиком XVI и процесса жирондистов, станет Конституцией 1793 года. В своём докладе Эро говорит, подобно депутатам Учредительного собрания, но вдохновляясь в равной мере Мальбраншем, как Декартом или Кондильяком, что «чем более взволнован народ, тем важнее предлагать его согласию лишь аксиомы разума или, по крайней мере, первые следствия этих аксиом, неотразимых и чистых, как свет, из которого они исходят». Он пытается примирить Руссо с Монтескьё, утверждая, что «конституция не менее демократична, чем представительная», и счёл бы себя счастливым, если бы ему удалось решить задачу, поставленную Руссо — найти форму правления, «которая бы сжималась по мере расширения государства». Больше, чем когда-либо, звучат уверенные утверждения о могуществе разума. Уже речь идёт не только о порочности правительств — источником бед всего мира теперь объявлены забвение и пренебрежение естественными правами человека. Поэтому провозглашается, что образование — это потребность всех, которую общество должно всеми силами поддерживать, способствуя прогрессу общественного разума и делая обучение доступным каждому гражданину. Комитеты общественного спасения и общей безопасности, а также часто повторяемое утверждение, что «всё становится законным и даже добродетельным во имя общественного спасения», напоминают Гельвеция. Определения свободы, наказания, суверенитета отсылают нас к Вольтеру, Монтескьё, Руссо и Беккариа. Статья, по которой «гарнизоны городов, где происходят контрреволюционные выступления, будут содержаться и оплачены богатыми жителями этих городов до наступления мира», реквизиции,

максимум цен — всё это вызывает в памяти Мабли и других социалистических теоретиков.

Во время Террора Гара, будучи министром юстиции, зачитал Людовику XVI приговор о смертной казни; Вольней и Дону были заключены в тюрьму; Сюар размышлял в заточении над рукописью *«Язык исчислений»*; Дестют де Траси систематизировал там свои идеи, Женгене философствовал. Талейран был обвинён, Рёдереру пришлось скрываться, Кабанис держался в стороне, служа в госпитальных комиссиях; Сийес довольствовался тем, что просто жил; М.-Ж. Шенье не смог спасти своего брата, а Кондорсе избежал гильотины, но лишь приняв яд.

После 9 термидора Дону, Шенье, Лаканаль, Сийес в Комитете народного просвещения учреждают начальные, Нормальные и Центральные школы, Школу живых восточных языков, Бюро долгот и сам Институт. Боден, Буасси д'Англа, Крезе-Латуш, Дону, Ланжюнэ, Ларевейер-Лепо входят в комитет, ответственный за пересмотр конституции 1793 года. Дону вместе с Баррасом входит в комиссию, руководившую борьбой 13 вандемьера против восставших секций. В конституции III года видно, что опыт уменьшил доверие. Невежество, забвение и презрение к правам больше не считаются единственными причинами наших бед: культ, воздававшийся Богине, охладил пыл тех, кто ожидал всего от Разума. Более того, законодатели сочли необходимым напомнить о долге человека после того, как перечислили его права, потому что «если декларация прав содержит обязательства законодателей, то для поддержания общества необходимо, чтобы его члены знали и исполняли свои обязанности». И они настаивают на необходимости подчиняться законам (ст. 3, 5, 6, 7) и уважать собственность, настолько быстро народ, получивший пять лет назад свои права, научился пренебрегать своими обязанностями! У Руссо и Вольтера, но также и у христианства они заимствуют «два принципа, запечатлённые природой в каждом сердце», от которых происходят все обязанности человека и гражданина: не делай другому того, чего не желаешь себе; постоянно делай другим то добро, которое хотел бы получить сам. Однако они повторяют ранее данные определения свободы, закона, наказаний, суверенитета, ссылаются на общее благо, на счастье народа и настаивают на разделении властей. Хотя они и остаются учениками Руссо, кажется, они понимают, что следует требовать от избирателя определённых способностей, а также удостовериться, что, будучи способен обеспечивать себя трудом, он не будет искушён искать средства к существованию в торговле своими правами. Молодые люди (ст. 16) не могут быть внесены в гражданский реестр, если не докажут, что умеют читать и владеют одной из механических профессий, включая занятия сельским хозяйством [1].

[1] Эта статья применима только начиная с 1803 года (год XII).

При Директории происходит организация Института, центральных и специальных школ. Ларевейер-Лепо, Франсуа де Нёфшато, Сийес были директорами; Талейран — министром иностранных дел; Сийес, Гара, Женгене, Дону, Лаканаль были отправлены в командировки. В двух Советах заседали Дону, Шенье, Кабанис, Камий Жордан, Порталис, Биран, Женгене, Дюпюи, Лаканаль.

18 брюмера Бенжамен Констан сближает Сийеса и Рёдерера, который, вместе с Талейраном, выступает посредником между первым и Бонапартом; Вольней активно действует на Кабаниса, Шенье и других республиканцев из Отёя. В состав исполнительной консульской комиссии входят Бонапарт, Сийес и Роже Дюко. В составе законодательных комиссий и секций, разрабатывающих новую конституцию мы видим Дону, Шенье, Кабаниса и Гара. В правительстве, вышедшем из 18 брюмера, Гара, Сийес, Вольней, Дестют де Траси, Кабанис, Грегуар, а позднее Рёдерер заседают в Сенате; Биран, Дюпюи, затем Галлуа — в Законодательном корпусе; Бенжамен Констан, Дону, Ларомигьер, Шенье, Женгене, Дезрено, Жакмон, Галлуа и Ж.-Б. Сэй — в Трибунате; Порталис ведает делами вероисповедания, Рёдерер — народного образования. Дезрено входит вместе с Лежандром, Эмери, Кювье и де Боналем, Ноэлем и Вийяром в Совет Университета. Ампер, Руайе-Коллар, Лепрево д'Ирэ, Изарн — генеральные инспекторы. Дежерандо, сначала генеральный секретарь Министерства внутренних дел, исполняет различные административные функции.

Если исследовать Конституцию 1799 года и изменения, которым она подверглась вплоть до 1814 года, то историк увидит, что Революция пошла в обратном направлении по сравнению со своими первыми годами. В VIII году (1799) ограничиваются тем, что говорится: конституция основана на подлинных принципах представительного правления, на священных правах собственности, равенства, свободы; но уже главное внимание уделяется созданию сильной и стабильной власти, такой, какая необходима для защиты прав граждан и интересов государства. Декларация прав исчезает. Сенатское собрание от 14 термидора X года (2 августа 1802 года) ярко выражает национальную благодарность победителю и умиротворителю, наделяет правительство всей необходимой стабильностью во имя независимости, процветания и славы Республики. Первый консул назначает председателей собраний кантонов и избирательных коллегий, клянётся соблюдать конституцию, уважать свободу совести и противостоять возвращению феодальных учреждений, никогда не вести войну иначе как ради защиты и славы Республики, использовать власть, которой он наделён, только ради счастья народа, от которого он её получил и ради которого ею пользуется. Он имеет право назначать в Сенат граждан, отличившихся своими заслугами и талантами, даже если они не были представлены департаментскими коллегиями; он имеет право на помилование. Трибунат сокращён до пятидесяти членов. В XII году (1804) Наполеон становится императором французов:

императорское достоинство становится наследственным по прямой, естественной и законной линии потомства по мужской линии, по праву первородства, с постоянным исключением женщин и их потомков. Учреждаются французские принцы, члены Сената и Государственного совета с восемнадцатилетнего возраста, императорские дворцы, великие сановники, одновременно сенаторы и государственные советники: великий выборщик, архиканцлеры Империи и Государства, архиказначей, коннетабль, великий адмирал; великие офицеры, назначаемые пожизненно. Император клянётся сохранять целостность территории Республики, уважать и обеспечивать уважение к законам Конкордата и свободе вероисповеданий, уважать и обеспечивать уважение к равенству прав, политической и гражданской свободе, необратимости продаж национальных имуществ, не взимать налоги и не устанавливать сборы иначе как на основании закона, сохранять учреждение Почётного легиона, управлять исключительно ради интереса, счастья и славы французского народа. Он назначает сенаторами «тех, кого сочтёт достойными этого звания». Если существует сенаторская комиссия по свободе личности, она рассматривает случаи ареста только на основании информации, полученной от министров [1]. Точно так же сенаторская комиссия по свободе печати не ведает произведениями, которые печатаются и распространяются по подписке и периодически. Наконец, в начале исполнительных копий судебных решений, обнародованных законов появляется знаменитая формула: «по милости Божией и Конституциям Республики [2], N... император французов, всем настоящим и грядущим — привет».

Поэтому мы не слишком удивлены, что после падения императора, которому идеологи — республиканцы и роялисты, такие как Дестют де Траси, Биран и др. — не простили его абсолютистских стремлений, Людовик XVIII именует себя королём Франции и Наварры по милости Божией, одновременно гарантируя определённое число прав, провозглашённых Учредительным собранием и нарушенных Наполеоном: налогообложение с согласия, свобода личности и публичной жизни, свобода печати и вероисповедания, ответственность министров, независимость судебного корпуса и т. д. Хартия 1814 года начинается с декларации публичных прав французов. Хотя она и ограничена по многим пунктам и представлена как «дар», «жалование», сделанное добровольно и по свободному усмотрению королевской власти, она показывает, насколько нужно было считаться с идеями, которые восторжествовали в 1789 году. Это также подтверждает Дополнительный акт к Конституциям Империи. Нацеленный на увеличение благосостояния Франции посредством укрепления общественной свободы, он содержит специальный раздел, в котором перечисляются права граждан.

---

1 См. гл. VII, § 5, слова Жакмона.

2 См. письмо Наполеона к Дону 1805 г., гл. VII, § 1.

Упомянем ещё, чтобы дополнить картину различных перипетий, через которые прошли идеи, выработанные в XVIII веке, закон о правах французской нации, принятый палатами в 1815 году. В нём мы снова находим: суверенитет народа, разделение властей, ответственность министров, свободу печати и вероисповедания, начальное образование, «необходимое для познания прав и обязанностей человека в обществе, предоставляемое бесплатно всем слоям народа», гарантию права петиций, государственной помощи и т. д.

Известно, впрочем, что именно по инициативе Дестюта де Траси было провозглашено отрешение Наполеона от власти, а по предложению Лафайета палата объявила себя в состоянии постоянного заседания.

Во время Реставрации Дестют де Траси и Вольней остались в Палате пэров; Бенжамен Констан, Биран, Дону, Камиль Жордан, Грегуар были депутатами. Талейран руководил переговорами после падения Наполеона; Дежерандо стал государственным советником; Ларомигьер продолжал преподавать на факультете литературы, где его помощником был Тюро. Ампер читал лекции на факультете литературы и в Коллеж де Франс, где также преподавали Андриё и Дону, защищавшие школу (идей) от нападок Кузена и его учеников.

Революцию 1830 года с радостью приветствовали Дону, Дестют де Траси, Тюро, Лаканаль и Жакмон. Уцелевшие члены старой Академии моральных и политических наук присутствовали при её восстановлении: Дестют де Траси, Бруссе, Ларомигьер, Дону, Рёдерер, Талейран, Дежерандо, Дроз, Лаканаль — все они защищали идеологию.

Мы снова находим Дону в Палате депутатов, Дестюта де Траси и Дежерандо — в Палате пэров. Политическое влияние школы продолжало ощущаться и в 1848 году: Арман Марра стал заметной фигурой в истории Второй республики.

Помимо политических собраний, идеологи устраивали и другие, в частности, в Отёе и на улице Бак, где они в своих беседах обсуждали все литературные, художественные, философские и социальные вопросы, волновавшие философов XVIII века, и всё ещё интересовавшие их современников.

Именно в Отёе [1], мадам Гельвеций, после смерти своего мужа, собирала у себя д'Аламбера, Тома, Кондильяка, Тюрго, Франклина, Мальзерба, Кондорсе, Гольбаха, Шамфора, Морелле, Кабаниса, Дестюта де Траси, Тюро, Вольнея, Гара, Шенье, Женгене, Дону. Именно у неё Франклин сказал Кабанису и Вольнею, оба из которых были молоды и полны пыла: «В этом возрасте душа — снаружи, а в моём — внутри: она смотрит в окно на шум прохожих, не

[1] Минье, *Исторические заметки*, т. I, с. 271; Сент-Бёв — повсюду. Следует помнить, что уже в XVII в. в Отёе проходили собрания эпикурейцев; ср. Введение, § 2.

принимая участия в их ссорах». После смерти мадам Гельвеций в 1800 году её дом перешёл к Кабанису. Вместе с хозяином дома, который был душой этих собраний, встречались Дестют де Траси и Вольней, Гара и Сийес, Ларомигьер и Дону, Дежерандо, Тюро и Андриё, Женгене и Форьель, а иногда, когда бывали в Париже, — Биран, Дроз, Ампер и Мандзони, внук Беккария.

Во времена Директории Гара, Кабанис, де Траси, Тюро, Галлуа, Жакмон, Ле Бретон, Ларомигьер, Шенье, Андриё, Женгене, Бенжамен Констан и Дону обедали на третий день каждой недели у трактирщика на улице Бак и обсуждали там политику, литературу или метафизику. В 1802 году Кабанис и Шенье, через посредничество Жакмона, тогдашнего начальника бюро наук в Министерстве внутренних дел, вступили в сговор с Моро, чтобы свергнуть первого консула, который уже почти полностью уничтожил свободу. Фуше, выйдя на след этого заговора, дал понять Кабанису и его друзьям, что он осведомлён. Обеды по третьему дню декады прекратились, и друзья с тех пор регулярно встречались только на собраниях в Отёе.

II

Нормальные, центральные и специальные школы

Конвент, желая, как говорил Лаканаль, уничтожить неравенство в просвещении, распространив анализ на все виды идей и во все школы, заранее учредил Нормальные школы, чтобы «подготовить большое число учителей, способных воплотить в жизнь план, цель которого — регенерация человеческого разума». В этих школах следовало изучать не науки, а искусство преподавания наук. В этом «семинарии природы, истины, разума и философии» самые выдающиеся в любой области науки и таланта, люди с европейской известностью, должны были стать «первыми школьными учителями народа». Граждане, назначенные конституционными властями, «уже исполненные любви к науке, которую они будут постигать», — добавлял Лаканаль, — придут получать эти великие уроки. Как только эти курсы искусства преподавания человеческих знаний завершатся в Париже, они отправятся повторять их повсюду, где Республика будет открывать нормальные школы. Разум человека, повсеместно развиваемый одинаково просвещённым усердием, — продолжал Лаканаль, — даст повсюду одни и те же результаты, и этими результатами станет «воссоздание» человеческого разума у народа, который должен стать примером и образцом для всего мира.

Преподавателями были все выдающиеся люди, некоторые из них — учёные первого ранга. Вольней преподавал историю, Б. де Сен-Пьер — мораль, Сикар — грамматику, Гара — анализ разума, Лагарп — литературу, Бюаш и Мантель — географию, Добантон — естественную историю, Гаюи — физику, Бертолле

— химию, Лаплас и Лагранж — математику, Монж — описательную геометрию.

Каждое преподавание включало курсы, на которых профессора, «подготовившие свои идеи, но не свои речи», должны были «излагать свои идеи»; конференции, на которых слушатели представляли своим наставникам трудности, которые те решали прямо на месте, или же сами задавали вопросы, на которые тут же давали ответ. «Цель Нормальных школ, — говорится в предисловии, которое предваряет *Сеансы*, записанные стенографистами, — это образование граждан республики, в которой слово будет иметь большое влияние, а то и силу». Открытие этих школ, размещённых в Якобинском клубе на улице Сен-Оноре, состоялось 1 плювиоза в амфитеатре Музея естественной истории под председательством Лаканаля и Делера. Школы были закрыты 30 флореаля.

Нормальные школы были весьма строго оценены, как и большинство учреждений Конвента. «Лекции, - говорил Кузен, - были скорее академическими речами, чем конференциями, способными чему-либо научить». — «Перевезти в Париж, - говорит г-н Альбер Дюруи, - тысячу четыреста молодых людей разного возраста, из самых разных мест, не подвергнув их серьёзному экзамену, — это уже само по себе было весьма рискованно. Оставить их на свободе, посещать лекции или нет, значило подвергнуть себя риску остаться лишь с несколькими добровольными слушателями. К тому же, — добавляет он, — большинство курсов едва ли были приспособлены для привлечения юношей, чьи первоначальные знания, как правило, ограничивались лишь некоторыми понятиями о грамматике и арифметике. С точки зрения преподавания, как и с точки зрения дисциплины, — заключает он наконец, — Нормальная школа III года [республики] никоим образом не соответствовала замыслу, из которого она родилась; быть может, со временем она пробудила бы несколько научных призваний, но она была неспособна дать Республике тех преподавателей, в которых она нуждалась».

Чтобы вынести окончательное и точное суждение, следовало бы, наряду с двенадцатью томами, содержащими курсы и конференции, иметь список этих тысяча четырёхсот учащихся из департаментов с достаточно подробной биографией каждого, чтобы определить, что он знал, поступая в Нормальную школу, и чего достиг впоследствии. Следовало бы судить о самих лекциях и дискуссиях, затем оценить их с учётом слушателей, к которым обращались преподаватели, и, наконец, попытаться показать, какое влияние они оказали на их интеллектуальное развитие.

Не предпринимая этой работы, которая вывела бы нас за рамки, которые мы себе наметили, мы отметим прежде всего, что Кузен и Альбер Дюруи — политические и философские противники идеологии, чьим суждениям следует противопоставить строгую проверку. Современники оставили совершенно

иные оценки. Женгене объявлял в своей газете «Декада», что Гара, который придал истории в Лицее новую структуру, кажется предназначенным для того, чтобы подняться ещё выше и, быть может, отодвинуть границы той карьеры, в которую он вступает после стольких великих людей. И Жан-Франсуа Тюро говорил в своём *Предварительном дискурсе к переводу «Гермеса» Харриса*, что он почерпнул в лекциях Гара зародыш той важной истины, которую он развивает. Прево из Женевы, чьё свидетельство совершенно бескорыстно, говорил в том же духе и, как говорит Женгене, «восстанавливал справедливость в отношении Нормальных школ, которые почти в равной мере пострадали от холодности и несправедливости».

Дону, на которого иногда ссылались, чтобы осудить эти школы, говорил о них в самых хвалебных выражениях: «В этой обширной и знаменитой школе, — говорит он, — профессора, почти все выдающегося уровня, насчитывали среди своих многочисленных слушателей множество литераторов и весьма выдающихся учёных; несколько из этих учеников (так их называли) с почётом занимались, а иногда и развивали определённые науки; они уже были или могли стать весьма искусными наставниками» [1]. Кабанис также говорил, что эта Школа, где одновременно можно было услышать Лагранжа, Лапласа, Бертолле, Монжа, Гара, Вольнея, Гаюи и др., была настоящим феноменом во время своего создания и что она отметит собой целую эпоху в истории наук [2]. Био, которого позже хвалил, как христианина первых времён, граф Шамбор, писал в IX году (30 флореаля) в *Décade*, что «в течение нескольких последних лет преподавание наук полностью изменило свой облик, и именно Нормальной школе мы обязаны этим усовершенствованием». Сен-Мартен, которого слишком часто представляли как противника Гара, не принимая во внимание его восхищения Революцией, считал за честь быть посланным своим дистриктом в Нормальную школу и «гордился столь новым для истории народов занятием, карьерой, от которой может зависеть счастье стольких поколений». Если впоследствии он и был более строг, то потому, что он «видит в этом чистый дух мира, и тот, кто прячется под этой мантией... — потому что он может говорить только раз или два в месяц и лишь по пять или шесть минут перед двумя тысячами человек, которым надо бы заново отформатировать слух». Более того, говорили — и не без основания — что Сен-Мартен в Нормальной школе стал лучшим философом, чем сам думал [3]. И сам он, на мгновение задумавшись попросить кафедру истории в Центральной школе Тура, вряд ли казался критиком системы преподавания, организованной в ту эпоху.

Наконец, в одном университетском журнале — *Lycée*, который охотно хвалит Руайе-Коллара и Кузена, — мы встречаем следующую оценку:

---

1 Заметка о Тюро.

2 Предисловие к *Рапортам*, с. XII.

3 Маттер, *Сен-Мартен, неизвестный философ*, гл. XVI.

«Центральные школы, фрагмент идеального здания, фундаменты которого так и не были заложены... и особенно первая Нормальная школа, вышедшая из самых недр Революции, вся блистающая гением и светом, как солнце из недр хаоса и ночи, — достаточно свидетельствуют, что та эпоха была вовсе не чужда высшим потребностям духа и самым возвышенным замыслам разума» [1].

Насколько нам известно, никто не оспаривал ценность профессоров. Напомним, впрочем, что Монж изложил там впервые идеи, которые ему до сих пор приходилось скрывать из патриотических соображений; что Лаплас обнародовал достигнутые им результаты по исчислению вероятностей. Что касается учеников, то они должны были быть не моложе двадцати одного года, и, как говорил Дону, многие из них были литераторами и весьма выдающимися учёными. Среди тех, чьи имена опущены в отчётах о заседаниях, встречаются такие, кто возражает Гаюи (24), что начинать с принципов — противоречит аналитическому подходу; кто цитирует Монтескьё в споре с Сикаром (108), чтобы доказать, что глухонемой — это не «естественный человек»; кто спрашивает у Лагарпа, начинается ли для французов эпоха Нового времени с Декарта или с Корнеля (114). Другие выражают сожаление, что Декарт не фигурирует среди великих аналитиков человеческого разума, цитируют Юма в разговоре с Вольнеем (165), усматривают противоречие между тем, что говорит Сикар, и тем, что писал Кондильяк (414), или ссылаются — по вопросу об употреблении обращения на «ты» — на Кондильяка и Гедике из Берлинской академии. Нам известны Мюр и Тесседр, защищающие метод и доктрину Декарта; Дюамель, который возражает против «статуи-человека» Кондильяка; Жерюзе, который прерывает Монжа возражением, основанным на Кондильяке; Рулле, директор Полисофской школы в Нанте и впоследствии профессор Центральной школы в Ванне; Ж.-Ж.-Г. Левек (J.-J.-G. Lévesque), который ещё до закрытия школ публикует *«Опыт о способе писать и изучать историю»*; Жеди-Дюгур, который в то же время издаёт *«Историю Кромвеля»*; Тюро и Ларомигьер; Сен-Мартен и Бугенвиль — «шестидесятилетний и старейший по возрасту среди всех, кого прислали округа, бывший командующий эскадрой, трижды совершивший кругосветное плавание и открывший остров Таити». Если допустить, что в деле обучения различие между наставниками и соучениками больше способствует воодушевлению учеников и развитию их духа, нежели сами лекции, то легко будет поверить, что Нормальные школы, хотя и быстро закрытые, оказали глубокое воздействие — влияние, важность которого трудно переоценить — на интеллектуальную культуру нашей страны.

Представляется, кроме того, что значительная часть учеников Нормальных школ стала преподавателями в Центральных школах. Мы уверены в этом по отношению к Жерюзе, Рулле, Жеди-Дюгуру, Ларомигьеру, Дюамелю, Био, Тюро и др. Кроме того, Добантон опубликовал свою «Систематическую таблицу минералов», сопроводив её письмом «профессора прежних

[1] т. IV, с. 473.

Нормальных школ к профессору естественной истории одной из Центральных школ». Био утверждал, как мы уже видели, что прогресс, достигнутый за последние годы в преподавании наук, был обязан именно Нормальной школе. Поэтому, чтобы судить о Нормальных школах, необходимо также рассмотреть, чем были Центральные школы.

Заметим, впрочем, что весьма странно видеть, как поклонники Нормальной школы, основанной Наполеоном, осуждают ту, что ей предшествовала! Профессора, то есть преподаватели факультетов наук и словесности, — либо бывшие наставники прежних Нормальных школ, как, например, Гаюи, либо их ученики и преемники — Лакруа, Жоффруа Сент-Илер, Био, Ларомигьер, — либо люди, не оставившие особенно громкого имени: Дине, Франкёр, Дефонтен, Миллон, Лакретель и др. Что касается учеников, то они поступали на отделение словесности, не изучив философии [1], отсюда и объясняются пробелы, которые обнаруживаются в трудах тех, чьи имена дошли до нас. Если они знали латинский и греческий, никто из них, несомненно, не знал их лучше, чем Жеди-Дюгур, Рулле, Ларомигьер или Тюро.

Нормальные школы, — говорил Лаканаль, — возвестили Франции о завершении образования, которое может быть достигнуто лишь в Центральных школах. Декрет 7-го вантоза предписывал учреждение одной школы на 300 000 жителей; ей полагались преподаватели математики, экспериментальной физики и химии, естествознания, сельского хозяйства и торговли, метода наук или логики и анализа ощущений [2] и идей, политической экономии и законодательства, философской истории народов, гигиены, ремёсел и профессий, общей грамматики и изящной словесности, древних языков, живых языков и рисования. Согласно декретам от 11 вантоза и 18 жерминаля, должно было быть основано пять Центральных школ в Париже и девяносто шесть — в департаментах. Закон от 3 брюмера IV года учредил по одной Центральной школе в каждом департаменте. Обучение делилось на три отделения: первое включало рисование, естествознание, древние и живые языки; второе — математику, физику и химию; третье — общую грамматику, изящную словесность, историю и законодательство. Преподаватели по своему жалованию приравнивались к администраторам департаментов.

Центральные школы могут быть ныне оценены беспристрастно не больше, чем Нормальные школы. Подобно последним, подвергшимся чрезмерным нападкам со стороны противников, и чрезмерной похвале со стороны сторонников Революции, они ещё никогда не были предметом изучения, основанного на достаточных данных. У нас нет, для каждой из них, списка преподавателей, которые там преподавали. Мы не знаем, что каждый из них

---

1 см. с. 62.

2 Документы, предоставленные нам благодаря любезности г-на Ребю, профессора лицея в Туре, почерпнуты из Архивов префектуры и свидетельствуют, что в Туре был преподаватель (Буржий) и помощник (Байо) для курсов анализа ощущений.

знал и чего стоил, кем он был до учреждения этих школ и кем стал после их закрытия. У нас недостаточно сведений о студентах, посещавших их; мы не знаем, какое влияние оказало на формирование их ума и характера обучение, полученное ими там. Благодаря любезности господина Жюля Готье, нам удалось через *Revue de l'enseignement secondaire et supérieur* (Обзор среднего и высшего образования) обратиться с призывом, который не остался без ответа. К сожалению, лица, занявшиеся поисками сведений, не всегда получали помощь со стороны архивистов — либо плохо знакомых с документами, касающимися революционного периода, либо нерасположенных разрешить использование материалов, которые они, впрочем, и сами не публикуют. Не в силах написать полную историю Центральных школ, мы можем, тем не менее, на основе полученной информации, либо лично собранной, либо переданной нам, показать — на примерах, взятых из различных регионов, где лицеям сегодня придаётся весьма различное значение, — что в целом Центральные школы делают честь своим основателям и особенно что они могли бы, если бы не были упразднены, привести к победе идеи, дорогие идеологам.

Департаменты, составляющие ныне Академию Лилля, насчитывали пять Центральных школ: в Суассоне, Межьере, Амьене, в департаменте Нор, чья школа, первоначально расположенная в Мобёже (3 брюмера VI года), была перенесена в Лилль 7 апреля 1796 года [1], и в департаменте Па-де-Кале, где она находилась в Аррасе. К этим школам можно добавить школы в Брюсселе (Диль), Генте (Эскот), Люксембурге (Леса), Монсе (Жеммап), Брюгге (Лис), Маастрихте (Нижняя Маас), Антверпене (Два Нетта), Льеже (Урт), Намюре (Самбра и Маас). Не существует, насколько нам известно, ни одного труда, где предпринималась бы попытка определить, кто преподавал в этих школах и чему там обучали. *«La Décade»*, которую мы настоятельно рекомендуем всем, кто интересуется историей идей и людей революционной эпохи, предоставила нам ряд весьма интересных сведений. Так, Гюффруа-Воґель, профессор изящной словесности, произнёс на закрытии Центральных школ в VI году речи, которые журнал посчитал нужным воспроизвести (20 вандемьера VII года), и в которых он упрекал «молодых граждан, которых равнодушие или лень отдаляли от школы». Другой преподаватель из Лилля, память о котором сохранилась в народе, Лестибудуа, опубликовал *«Элементарное краткое изложение естественной истории животных»* (VII год), или *«Бельгийскую ботанографию»*, где утверждает, что аналитический метод — это самый лёгкий и удобный способ удовлетворить нетерпение учеников, стремящихся узнать растения. Он попытался — и, как он считает, успешно — реализовать

[1] Van Hende, Histoire *de Lille de 620* à 1904. Следует быть осторожным с документами, полученными в Париже об окружных центральных школах. Так, Альбер Дюрюи приводит таблицу, составленную начальником первого отдела и переданную министру 19 мессидора VI года, в которой Лан и Дуэ указаны как имеющие центральные школы. Но сам Дюрюи вверху страницы пишет, что центральная школа Эна располагалась в зданиях бывшей интендантской администрации Суассона и двумя страницами далее даёт её положение в VI году.

пожелания, которые высказывал Ж.-Ж. Руссо относительно согласования номенклатур.

Альбер Дюрюи описал положение дел в Центральной школе Суассона в VI году: на курсах рисования — двадцать учеников; на курсах древних языков — восемь; естествознания — семь; математики — семь; другие курсы — ноль. Из преподавателей мы знаем по имени лишь Марешаля, профессора истории, чьё письмо, в котором он просит «побелить спальни и учебные залы», опубликовала *Декада*. Однако профессор общей грамматики Бенони Дебрюн является автором *«Курса психологии»* объёмом 382 страницы, первая часть которого, посвящённая анализу ощущений и идей, имела целью усовершенствовать систему Кондильяка, в то время как вторая представляла собой трактат по грамматике. Пуаре, профессор естествознания, написал письмо, также опубликованное в *Декаде*, с предложением, чтобы государство платило преподавателям. В VIII году он получил 180 голосов в Институте — почти столько же, сколько Кант — и опубликовал *«Наблюдения над пиритистыми торфами окрестностей Суассона»*, а в IX году — труд о *«Речных и наземных раковинах, наблюдавшихся в департаменте Эн и окрестностях Парижа»*, из которого *Декада* также привела отрывок [1]. Профессор древних языков в Арденнах Гранше написал *Поэмы*, анонсированные *Декадой*. Центральная администрация Соммы известила через тот же журнал, что 15 прериаля VII года будет произведён выбор профессоров законодательства и естествознания. Буржуа, преподававший общую грамматику, издал в IX году *«Аналитический метод для изучения английского языка»*. В Брюсселе профессора изящной словесности и древних языков Руйе и Лебруссар произнесли в VI году заключительную речь. *Декада*, ознакомившись с речами, протоколами и отчетами, сочла, что «ничто не сулит будущему лучших предзнаменований». Розен, профессор естествознания той же школы, написал *Опыт о преподавании минералогии в Бельгии*. Лонё, преподававший в Льеже, опубликовал в VIII году *Общую грамматику, применённую к французскому языку* (340 стр.). Томерэ из Монса направил в *Декаду* письмо по поводу одной статьи в проекте Гражданского кодекса (30 флореаля IX года). Ханг из Маастрихта опубликовал в одном томе in-8 *Принципы французского публичного права*. Ван Хультем, профессор библиографии и литературной истории в Генте, обнародовал программу, которая, «если судить по ней обо всех учебных курсах, позволяет утверждать, что они не оставляют желать лучшего».

К современной Академии Нанси можно отнести Центральные школы в Нанси, Бар-сюр-Орнене, Меце, Кольмаре, Страсбурге и Эпинале. Монджен из Нанси издал в XII году *Элементарную философию*; *Декада*, анонсируя её, писала: «Опубликовать сегодня под таким заглавием важный трактат по

[1] *Декада* X года (20 вандемьера) пишет: «Школа в Суассоне, до сих пор мало активная, тоже только что представила проект устава префекту».

метафизике и грамматике — своего рода смелость». Другой профессор из той же школы, Виллеме, зачитал в Обществе здравоохранения Нанси *Мемуар к общей естественной истории насекомых*. В *Декаде* Дюпон, профессор изящной словесности из департамента Мёз, указывал у Делиля на странную реминисценцию из аббата Ренеля. Библиотека школы Нижнего Рейна была обширна: она включала более ста библиотек, собранных в департаменте, и была богата инкунабулами. Эшер, профессор общей грамматики, организовывал там публичные упражнения по идеологии и логике. Хаусснер в VII году издал под заглавием *Anglo-Germanica* пятьдесят тысяч фраз, извлечённых из английских авторов и переведённых на немецкий язык. Бутеншон, профессор истории в Верхнем Рейне, сообщил *Декаде* в письме, что Галль использовал свою огромную коллекцию черепов для своего курса краниологии — одного из самых интересных и поучительных, на которые когда-либо решался доктор: «Он возбуждает, — писал он, — сильно любопытство своих многочисленных слушателей... он соотносит с каждой интеллектуальной способностью и каждой страстью определённую часть черепа» (20 мессидора IX года). Затем он пытался показать (30 термидора), ссылаясь на *Комментарий к «Политике» Аристотеля*, что уроки, извлечённые Робеспьером, следует приписать не Макиавелли, которого часто обвиняют в том, что он был учителем тирании, а святому Фоме Аквинскому. Наконец, он просил, чтобы в греческой грамматике в особенности изучали Гомера, а в качестве элементарной книги рекомендовал *Анабасис*. Один из профессоров, член Института, позднее (20 прериаля XI года), потребовал преподавания греческого языка: «Отказаться от изучения греческого ради латинского — значит дезертировать из школы мастеров в школу учеников». В *Декаде* от 20 вандемьера X года читаем: «Программы Верхнего Рейна доказывают, насколько каждый профессор владеет наукой, которую он преподаёт, умеет совершенствовать методы и говорить на её языке. Они разделили все курсы на шесть классов; переход из одного в другой осуществляется лишь после экзамена, удостоверяющего, что ученик усвоил предшествующие уроки и способен с пользой воспринять следующие. Они добавили к древним языкам преподавание немецкого и создали пансион, которым управляют сами. Они приняли основные положения регламента школы департамента Уазы [1]. Ученики, насколько возможно, должны иметь за плечами по крайней мере год занятий математикой и физикой, прежде чем приступить к курсу общей грамматики, «ибо последняя основана на принципах анализа, к которым первые две дисциплины дают постоянные примеры». И наконец, добавим, что Годфруа, профессор общей грамматики в Мозеле, опубликовал в 1797 году *Новое краткое руководство по французской грамматике* (125 стр.).

Продолжим наш обзор Франции немного быстрее. Общепризнано, что школа в Безансоне пользовалась большой славой [2]. Дроз, самый знаменитый

[1] Ср. с. 61.

[2] Альбер Дюрюи, указ. соч., с. 189, 192, 197.

профессор и учитель Нодье, член Французской академии и второй Академии моральных и политических наук, находился в тесных отношениях с Дестютом де Траси и Кабанисом [1] и был «одним из тех философов Греции, что под зелёной сенью наставляли учеников, жадных к знанию». Однако стоит особенно подчеркнуть одну соседнюю школу, история которой стала известна нам лишь недавно.

Центральная школа в Юре была открыта 2 флореаля V года в здании колледжа д'Арк. Библиотека насчитывала 15 000 томов; были закуплены приборы для физического кабинета, модели и гипсовые фигуры для преподавания рисования; был создан ботанический сад. Три бывших преподавателя королевского колледжа — Жантэ, Реке и Рулье — преподавали математику, изящную словесность и заведовали библиотекой. Другими профессорами были: Россе — рисование, де Санпан (бывший врач в Безансоне) — естественная история, Стерг — древняя история [2], Далло — физика и химия, Аббей — грамматика, Роллен — история, Пьер-Игнас Бюль из Доля, впоследствии председатель гражданского суда, затем депутат (1815) — законодательство. Жениссе из Мон-су-Бóдре, один из вождей революционной партии в Юре, преподавал там до назначения преподавателем риторики в лицее, а затем латинской литературы на факультете в Безансоне. Школа процветала: «Все области преподавания, — говорила в V году центральная администрация Юры, — поручены профессорам, чьи способности равны их усердию, преданности и гражданской добродетели. Около четырёхсот учеников посещают различные курсы; они уже продемонстрировали, на публичных занятиях [3], быстрые успехи; их прилежание на уроках, доброе попечение и доброжелательная привязанность преподавателей к своим ученикам — всё это гарантирует новые успехи». В следующем году министр внутренних дел писал центральной администрации, что он доволен отличным положением школы. Закрытая в 1802 году, она уже насчитывала среди своих учеников некоторых деятелей, чья память до сих пор с гордостью сохраняется жителями Доля.

Точно так же стоит упомянуть, в нынешней академии Дижона, центральную школу в Осере, на которую, насколько нам известно, никогда не обращали особого внимания. Публичные занятия [4], выдержки из которых мы приводим, ясно показывают, каковы были курсы: школа имела таких профессоров, что нынешний колледж вряд ли видел лучших, и учеников, достойных своих

---

1 Сент-Бёв, *Понедельники*, т. III, 5-е изд., с. 171 и гл. VII, § 5.

2 Не следует ли читать «древние языки»? — спросим у г-на Фёври (Коллеж д'Арк, Доль). — Об этом превосходном сочинении см. наш отзыв в *Обзоре среднего и высшего образования* (т. IX, с. 229).

3 Желательно, чтобы г-н Фёври нашёл и опубликовал это «публичное упражнение», которое почти всегда печаталось. Подобные документы особенно ценны для изучения жизни центральных школ.

4 Школа Йонны (*Декада* X года) добавила к упражнению общее публичное испытание учеников, которое длилось целых шесть дней. — См. Приложение I.

наставников. Эти ученики читали *Декаду* и иногда рассуждали в здравых письмах о классических произведениях: профессора, Девиль или Фонтан, писали туда, чтобы сообщить интересный факт для натуралистов или — по поводу перевода одного фрагмента из Силия Италика, выполненного Курно, профессором Коллеж де Франс, — с просьбой не искажать «великолепного» языка Расина, Вольтера, Фенелона, Руссо и Бюффона. Один из учеников центральной школы Ньевра предложил прозаический перевод латинской эпитафии Дезе, выделенный *Декадой.*

Ампер был профессором физики и химии в Буре, «где он нашёл достаточно ресурсов для разнообразных экспериментов» и где в 1801 году он произнёс речь, содержащую зародыш, и своего рода первую попытку *Опыта по философии наук* [1]. В самом Лионе среди преподавателей школы значился член Института, чьи стихи *Декада* перепечатала — стихи, более интересные по содержанию, чем по форме:

Toi de qui tout est né, toi de qui tout dépend,
Toi qu'on nomme Destin, Nature, Providence,
Suprême créateur! Dieu très bon, Dieu très grand,
Augmente, augmente encor le bonheur de la France!
(Ты, от кого всё рождено, ты, от кого всё зависит,
Ты, кого зовут Судьбой, Природой, Провидением,
Верховным Творцом! Бог премудрый, Бог великий,
Увеличь, увеличь ещё счастье Франции!)

В Гренобле историю, общую грамматику, изящную словесность и естественную историю преподавали Берриа-Сен-При, Гаттель, Дюбуа-Фонтанель и Виллар, член Института. Лицей наук и искусств, в котором они состояли, за пять лет (к IX году) опубликовал сто двадцать мемуаров, речей, диссертаций или отдельных сочинений и объявил конкурс на тему: «Каковы средства совершенствования физического и нравственного воспитания детей?». На конкурс поступило тринадцать сочинений. По докладу Гаттеля, в XI году премия была присуждена Перрье, уроженцу Вильнёв-сюр-Йонна, служащему в Военном бюро в Париже. По словам Сент-Бёва, Стендаль начал своё формирование и внутреннее освобождение, посещая курсы центральной школы. Известно даже, что он был одним из её самых блестящих учеников [2].

---

1 Бертран, *Неопубликованная речь Андре-Мари Ампера* (*Ежегодник факультета литературы в Лионе*, 3-й год, Париж, Леру, 1885; и гл. VII, § 4)

2 *Журнал Стендаля*, издание Стрьенского и Франсуа де Ньона, с. IV. «В свою первую поездку в Париж он написал это с двумя “l” в официальном письме... М. Пьер Дарю, родственник и покровитель Бейля, воскликнул: Так вот этот блистательный гуманист, который завоевал все премии в своём родном краю!» — Из этого замечания по крайней мере следует, что в Гренобле преподавали хорошие гуманитарные дисциплины. Ср. гл. VII, § 5.

В Шамбери профессор истории Рэймон в IX году опубликовал труд *Живопись, рассмотренная в её влиянии на человека вообще*, а затем, в X году, *Опыт о воспитании в социальном порядке и его применении к воспитанию*, получивший почётное упоминание Института. В Воклюзе Сабатье из Кавайона в *Декаде* отстаивает подлинность стихов, приписываемых Вольтеру.

Почти никто не оспаривает, что школа в Монпелье пользовалась большим успехом [1]. Альбер Дюрюи приводит данные, заслуживающие внимания. В VI году (1797-1798) в школе обучалось: 60 учеников рисованию, 30 математике, 20 естественной истории, 25 истории, 20 древним языкам, 15 законодательству, 80 физике и химии, 80 общей грамматике. Альбиссон был представлен Институтом в секцию законодательства. Карне опубликовал мемуар о первом меридиане и о всемирной эре, с которой тот должен быть связан. Драпарно [2], судя по всему, преподавал одновременно естественную историю и общую грамматику и в ан X был кандидатом в секцию идеологии, наряду с Прево и Дежерандо. В том же году, когда уже возникали опасения за политическую свободу и систему образования, другой профессор, Гийом, произнёс 14 июля речь, «полную энергии и страсти, — писала *Декада*, — в которой он напомнил памятные обстоятельства, ознаменовавшие первые дни нашей свободы».

Школа в Перпиньяне продолжала оказывать сопротивление всем поводам к унынию даже в X году: из года в год она совершенствовала методы преподавания, расширяла сферу обучения и добивалась всё более значительных успехов.

Ограничимся напоминанием об общепризнанном успехе школы в Тулузе [3], и о публикациях Шантро, профессора из департамента Жер [4]. Эстарак и Барадер, профессора общей грамматики в Пау [5] были авторами «прекрасных курсов», которые, по всей вероятности, читал Дестют де Траси. Это сделало первого кандидатом в секцию идеологии наряду с Ласалем, Прево, Дежерандо, а второго — кандидатом на место корреспондента, ранее полученное последним. Доб, профессор в Верхних Пиренеях, написал *Опыт по идеологии*, к которому мы ещё вернёмся [6]. Канар, профессор математики в Мулене, был удостоен награды Института в ан IX за мемуар, ставший основой его труда *Принципы*

---

1 Альбер Дюрюи, указ. соч., с. 189.

2 Гл. VII, § 3.

3 Альбер Дюрюи, там же.

4 *Начала истории или Полное изложение знаний, необходимых для изучения истории (год VI), Перевод хронологических таблиц Блэра, Аналитическая система понятий, необходимых для полного знания истории народа, и план для её написания, Замечания о некоторых существенных пунктах народного образования, Аналитическая и аргументированная таблица содержания 70 томов in-8 Сочинений Вольтера.*

5 *Декада* от 20 плювиоза ан VIII упоминает Эстарака как преподавателя в школе Нижних Пиренеев; *Декада* от 10 вандемьера IX года говорит о Барадере — «профессоре общей грамматики в По».

6 См. гл. VIII, § 4.

политической экономии. Матьё из Нанси, профессор физики и химии в Коррезе, опубликовал в издательстве Жане-Лебрена *Словарь рифм и произношений*. Лакост из Плезанса, профессор в Пюи-де-Доме, был автором *Наблюдений о вулканах Оверни.*

Оставим в стороне школу в Луар-и-Шер, более посещаемую и добившуюся наибольших успехов в X году, благодаря пансиону при ней; школу в Перигё, рядом с которой находился столь же процветающий пансион; школу в Бурже, которая, организованная с самого начала и постоянно действующая, из года в год укрепляла и расширяла свой успех, где математические, физические и нравственные науки развивались равномерно и отличными методами [1]. Но следует особенно остановиться на школах в Сен-Севере, Родезе, Кагоре, Ньоре, Сенте, Туре, о которых у нас есть точные документы. Там преподавали и учились люди, имена и число которых вполне выдерживают, если не сказать больше, сравнение с теми, кто работал в учреждениях, пришедших им на смену.

Ксамбё не нашёл в Сен-Севере ни одного документа о курсах, читавшихся в центральной школе, и о числе учеников, их посещавших. Школа, открытая 1 месидора IV года (июнь 1796), имела следующую команду преподавателей: Месье, Моро, Манье, Дюплантье, Дюфур, Бертран, Любе-Барбон, Ланлонг, Баскья [2]. Из них Моро, Манье, Бертран, ранее уже преподававшие в Эре, а затем в Сен-Севере, и натуралист Дюфур — если говорить только о тех, по кому у нас есть точные сведения — были вполне подготовлены к преподаванию древних языков, общей грамматики, истории и естественной истории. Школа была закрыта 11 флореаля X года (май 1802), возможно, из-за политических раздоров, слишком часто вызывавших смену администраторов [3]. Однако *Декада* сообщает нам (20 вандемьера VII года), что центральная школа Сен-Севера завершила учебный год публичными экзаменами, на которых ученики, «число которых почти учетверилось», дали удовлетворительные ответы.

В Родезе центральная школа была открыта 16 мая 1796 года. Как справедливо замечает Люнель, вряд ли какая другая центральная школа Франции могла бы в день открытия предъявить публике столь выдающийся

---

1 *Декада*, 20 вандемьера X года.

2 Моро, Манье, Бертран — пишет нам г-н Ксамбё в примечании, которое он любезно добавил к своей *Истории коллежа Сен-Севера*, — прибыли в Ланды в 1791 году, посланные (говорят, из Парижа) епископом Сорином. Среди бенедиктинцев Сен-Севера, присягнувших в 1791 году Конституции, упоминается некий Ланнелонг. Баскья был родом из Сен-Севера, где его семья занимала важное положение; доктор Дюфур, известный натуралист, был врачом в Сен-Севере.

3 См. Ксамбё, указ. соч., с. 25. — *Декада* от 6 сентября 1797 года публикует протокол, составленный администрацией Ландов, о публичных упражнениях, состоявшихся в Сен-Севере по окончании учебного года, и добавляет, что там, как и во всех департаментах, преподаватели могли осуществлять своё достойное служение лишь среди всевозможных лишений.

состав преподавателей. Боннатерре преподавал естественную историю, Шальре — химию и экспериментальную физику, Клозель де Куссерг — изящную словесность, Бальсак — право, Кабанту — древние языки; Монтéй-Белькомб преподавал историю, Фабр — общую грамматику, Теденат — математику. Фабр, бывший до этого доктринером и прокурором-управляющим в коллеже Ла Флеш, в тот момент был администратором департамента. Шальре написал трактат по математике и долгое время преподавал в Тулузском университете. Бальсак позднее получил кафедру права в Экс-ан-Провансе и умер деканом этого факультета. Монтéй-Белькомб является автором *Описание Аверона*, о выходе которого сообщала *Декада*, и *Истории французов различных сословий в XIV, XV, XVI, XVII и XVIII веках*, прославившей его и опубликованной благодаря благородному покровительству Ларомигьерра [1]. Клозель де Куссерг стал штатным проповедником короля и капелланом герцогини Ангулемской при Реставрации, а затем епископом Шартра. Кабанту, профессор французской литературы в Тулузском университете с 1824 года, умер в 1840 году деканом факультета. Что касается Тедената и Боннатерра, они уже были знамениты: первый вошёл в состав Института при его создании и умер ректором Академии в Ниме [2]. Второй, бывший под покровительством Рейналя, участвовал в *Méthodique* (Методической энциклопедии), написав четыре тома по орнитологии, два по змеям, два по китообразным и один по астрологии. Он был членом нескольких академий, и его цитируют Дестют де Траси и Биру в своём первом труде как «учителя, на свидетельство которого он (Биру) ссылается с доверием» [3].

Таким образом, школа в Родезе процветала: в ней насчитывалось 248 учеников (в VI году), 321 (в VII году), 386 (в X году) [4], и Фуркруа, не слишком расположенный к центральным школам, писал в 1802 году префекту Аверона, что положение школы в Родезе было блестящим. Следует отметить, впрочем, что департаментские власти сделали всё от них зависящее для обеспечения успеха нового учреждения. Они присутствовали на его открытии, на публичных экзаменах и церемониях вручения наград; они оказывали поддержку преподавателям в их публикациях, исследованиях, раскопках кельтских памятников. Они начали собирать коллекцию под названием «Труды авторов, родившихся в Авероне», реорганизовали библиотеку, создали сад естественной

---

1 См. нашу главу о Ларомигьере, § 3.

2 В VII году он опубликовал *Элементарные уроки арифметики и алгебры*, затем *Элементарные уроки геометрии и тригонометрии*, представил в Институт доказательство теоремы геометрии об оценке прочности полусферического свода Вивиани.

3 Биран говорит о *Историческом сообщении о дикаре из Аверона* и ошибочно считает его автора профессором общей грамматики. (Кузен, т. I, с. 39.)

4 Следует отметить вместе с г-ном Люнелем (*История коллежа в Родезе*, 1881), у которого мы заимствовали большинство этих сведений, что число учеников лицея составляло 163 в 1811 году и 324 в 1880 году. Никогда учреждение не было столь процветающим, как в X году; ср. Приложение II.

истории и передали школе предметы из бывшего кабинета физики и химии колледжа.

Школа в Кагоре была одной из первых, организованных в новом порядке. Уже в IV году Ру́зье, ранее преподававший в колледжах и «которого естественная склонность с ранних лет влекла к тому типу преподавания, который недавно был принят», был назначен профессором общей грамматики. Агар, впоследствии доверенное лицо Мюрата, граф Мосбурга и пэр Франции, получил поручение преподавать английский и итальянский языки, а затем — изящную словесность. Понсе-Дельпеш, а затем Ривьер преподавали законодательство. В 1796 году «Декада» опубликовала выдержку из речи, произнесённой Понсе при открытии его курса, а Ривьер устраивал публичные диспуты своих учеников на тему учреждений французского гражданского права [1]. Выбранные преподаватели, по словам г-на Боделя, были «людьми выдающегося ума и выдающимися профессорами». В VI году школа насчитывала 108 учеников, из них тридцать посещали курс общей грамматики. Преподаватели составили общий учебный план и требовали преподавания механических искусств, избрав себе покровителем Руссо: «Эмиль, — говорили они, — будь нашим образцом! Какой отец семейства не гордился бы сыном, похожим на тебя?». В VII году было 128 учеников, из них двадцать — на курсе общей грамматики. Департаментская администрация могла утверждать, что школа процветает, и ей недостаёт лишь профессора современных языков. Уже в VIII году генеральный совет выказывает враждебность. Тем не менее, в X году в ней было 203 ученика. «Декада» отмечала, что это была одна из самых посещаемых школ, что успехи соответствовали рвению и талантам профессоров, но добавляла, что она подвергалась нападкам, доходившим «до неприличия». В XI году в школе ещё числилось 184 ученика. Её профессора, всецело принявшие Революцию, были вынуждены отказаться от преподавания.

Один поклонник Руайе-Коллара писал в 1828 году [2] в заметке о Мазюре, инспекторе, ректоре Анже при Империи, генеральном инспекторе при Реставрации, что в 1796 году в умах происходило замечательное движение, что центральные школы в кратчайшие сроки стали очагами просвещения, что «толпы стекались к кафедрам, только что учреждённым». Он добавлял, что г-н Мазюр, чьё свидетельство не может быть заподозрено в предвзятости, с удовольствием вспоминал, и как особенность той эпохи, ту необыкновенную торжественность, с которой сопровождались празднества центральной школы, и те всеобщие почести, которыми был осыпан он сам, когда, будучи

---

1 Было бы желательно, чтобы г-н Бодель, директор лицея в Альби, который опубликовал весьма интересные заметки и документы об окружной школе департамента Лота, издал двадцатистраничный список вопросов, включённых в это «Публичное упражнение». — См. также труд Боделя, *Декада* от 20 брюмера VI года, от 20 вандемьера X года и др.

2 *Lycée, т. IV, с. 473.*

подростком, но уже лауреатом поэтических состязаний, оказался героем муниципального праздника [1].

Г-н Шамбе подробно описал организацию центральной школы Сента. В числе преподавателей там были: Жюпен (древние языки), Жакен (история), Делюсь (рисование), Вандеркан (общая грамматика), Вильбрюн (естественная история), Форже (изящная словесность), Лёсёр (математика), Метивье (законодательство), Меом (физика и химия), Мюрер (библиотекарь).

Открытая 30 фримера VI года (20 декабря 1797 г.), она была закрыта в конце учебного года 1801–1802. Жюпен был сначала заместителем директора, а затем директором колледжа; Форже — преподавателем второго класса, затем заместителем директора и, наконец, профессором философии. Делюсь впоследствии стал директором муниципальной школы рисования и хранителем музея в Анже, Меом — академическим инспектором в Амьене, Лёсёр — профессором навигации в Рошфоре, Метивье — преподавателем гражданской процедуры в Пуатье. Вандеркан, как и Жакен, был священником и принадлежал к семье голландского происхождения, чьи потомки и поныне занимают весьма почётные посты в Сенте и его окрестностях. Вильбрюн [2], доктор медицины, знал все известные языки Европы и Азии. Он был хранителем Национальной библиотеки и профессором греческой литературы в Коллеж де Франс, но был отстранён Директорией за то, что написал, будто Франции нужен вождь. Программы, собранные Шамбе и частично воспроизведённые в приложении, показывают, что преподаватели использовали свои прежние знания для нужд нового обучения. Особенно заслуживает внимания курс профессора общей грамматики, сохранившийся в библиотеке Сента и рассматривающий, подобно Дестюту де Траси, эту науку как «естественную историю мышления» [3]. Программы по древним языкам и истории таковы, что после их прочтения вряд ли можно будет согласиться с утверждениями страстных противников центральных школ. Поэтому неудивительно, что общественное уважение окружало преподавателей, чья преданность делу и учёность обеспечили успех школы [4].

«Школа в Туре, — говорила “Декада” в X году, — имела двадцать четыре ученика в первый год; теперь их сто шестьдесят, хотя её окружают крупные учреждения во Флеше, Понлевуа и Вандоме». Организованная в 1796 году, она имела среди преподавателей Сен-Марка Корнеля, преподававшего общую грамматику, Леру, затем Бенью и Во-Делоне — законодательство и мораль, Дрё

---

1 20 декабря 1797 г. *Декада* сообщает об «Альманахе муз» Центральной школы департамента Дё-Севр — «сборнике лучших стихотворных и прозаических произведений учеников профессора изящной словесности». Ср. Приложение III.

2 Он является автором множества сочинений и переводов по медицине, к которым следует прибавить переводы Афинея, *Наставления Эпиктета*, *Таблицы Кебета*.

3 См. Ксамбё, *История коллежа в Сенте*, 2-й выпуск, Сент, 1886 и Приложение IV.

4 Ксамбё, с. 72.

— историю. Во-Делоне перевёл сочинение Пристли (Эссе о первых принципах правления и о природе политической, гражданской и религиозной свободы), начал перевод Беккариа и опубликовал «Исследования о способах придать новое оживление изучению латинского языка и грамматики». Программа по общей грамматике — или, точнее, перечень вопросов, заданных на публичном экзамене в VIII году, — и «Аналитическая таблица курса морали и законодательства», которую мы публикуем в приложении, доказывают, что преподаватели, которым в VII году приписывали всего трёх или семи учеников [1] вполне соответствовали возложенной на них задаче. Видимо, и ученики умели воспользоваться уроками своих наставников, поскольку «Декада» опубликовала в VIII году французский поэтический перевод латинской эпитафии Дезе, выполненный одним из них.

Регион, простирающийся от Нанта до Шербура, должен бы, по самой природе событий, разыгравшихся на его территории, представлять менее обнадёживающие результаты. Тем не менее нам известно, что преподаватели в Ванне были подобраны замечательно. Преподаватель рисования Жаме де Кергуэ был секретарём гражданского трибунала и, что важнее, — художником и человеком вкуса. Обри, преподававший естественную историю, был доктором Монпелье, главным врачом военного госпиталя в Ванне, председателем округа в 1793 году и членом дирекции округа в III году. Он оставил, помимо прочего, «Опыт флоры Морбиана». Лами-Рулле, преподаватель древних языков, был выпускником Парижского университета, директором полисофической школы в Нанте и направлялся в Нормальную школу. Он представил административным органам рекомендации или аттестаты от Гайя, Женгене, Шампани, Дюмушеля и других. Изарн, преподаватель физики, ранее преподавал в Кагоре, затем слушал курсы Шаптала, Либеса, Фуркруа. Он представил удостоверение от членов Института — Фуркруа, Вентины, Пармантье — которые заявляли, что он «вполне способен исполнять испрашиваемые им обязанности». Аррашар преподавал общую грамматику; бывший профессор риторики в департаменте Эр, он имел аттестат от Гайя. Ле Фортье, ученик лицея Людовика Великого, преподаватель риторики в Коллеже Плесси, поступивший в медицинскую школу и служивший некоторое время военным врачом, был рекомендован Шампанем, членом Института и директором лицея Людовика Великого, ставшего Центральным институтом Стипендиатов Равенства. После прочтения речи, произнесённой в VI году на открытии курса изящной словесности этим «литератором, совершенно чуждым» редакции, «Декада» утверждала, что в провинциях имеются таланты, способные формировать «ум молодёжи в духе словесности и философии» и что «не стоит так уж отчаиваться в отношении народного образования, как это иногда делают». Лаланд преподавал историю после блестящих успехов в Коллеже Аркура и в Политехнической школе. По

[1] Необходимо исправить таблицу, приведённую Альбером Дюрюи, с учётом сведений, предоставленных *Декадой*. Ср. Приложение V.

математике преподавал Маро, дважды удостоенный премии Академии наук [1]. В школе насчитывалось 163 ученика в VI году, 113 — в VII году, 68 — в VIII году; закрыта она была в XI году.

«Декада» публиковала письма Бюкке, профессора естественной истории в Майенне (10 фримера VIII года), по поводу пожара в вереске, принятого за вулкан между Фужером и Витре; Лемо, профессора в Кот-дю-Нор, о подземном толчке; Вилье, из Мен-э-Луары, о внутреннем судоходстве. В школе в Ренне Ланжене преподавал законодательство, а Менги, главный библиотекарь, профессор библиографии и литературной истории, произнёс, как президент Института Ренна, речь об Академиях различных веков и народов Европы.

Центральная школа Руана была размещена в помещениях колледжа и семинарии Жуайез в начале 1796 года. Среди преподавателей — Биньон, преподававший общую грамматику, бывший в 1791-1794 годах директором Королевского колледжа; среди учеников числился будущий физик Дюлонг [2]. Согласно недавно опубликованным документам М. А. Готье, преподавателю физики и экспериментальной химии не хватало материальных средств для преподавания. Жалование выплачивалось нерегулярно; в VII году наблюдался заметный рост числа учеников, но они отказывались получать премии на церемониях, «выражая тем самым нечто вроде оскорбительного презрения ко всему, что связано с Республикой» [3]. Тем не менее «Декада», располагавшая протоколами и отчётами о закрытии центральных школ в VI году, цитировала речи, произнесённые в Руане Делейстром и Дюкастелем, преподавателем законодательства, и добавляла: «Ничто не может быть более трогательным, ничто не сулит большего счастья для будущего». И четыре года спустя она упоминала среди членов Общества взаимного стимулирования в Руане Обера и Герсана, преподавателей центральной школы.

В «Декаде» также читаем письма Робине, профессора в Авранше, о принципах Ньютона, свете и цветах; а также — профессора изящной словесности из Орна, который указывает на случай плагиата у Корнеля по отношению к Малербу. В Кане профессор естественной истории занимается метеорологией, минералогией, ботаникой и зоологией; преподаватель древних языков «по возможности избегает метафизических методов» и обращается непосредственно к авторам — к Гомеру (*Илиада*, I), Горацию (*Оды*) и Тациту (*Жизнь Агриколы*). На уроках математики изучают уравнения, применение алгебры к арифметике и геометрии, статику. В физике и химии, а также в общей грамматике программы не уступают ни по широте, ни по практической направленности. Программа по законодательству заслуживает того, чтобы быть приведённой полностью:

---

1 Морисе, *Центральная школа Морбиана*. (*Обзор среднего и высшего образования*, 1 июня 1889)

2 А. Готье, *Коллеж в Руане, ныне лицей Корнеля, Париж, 1876*.

3 *Обзор среднего и высшего образования, т. IV, 1885–86*.

1° Основы естественного права, выведенные из изучения природы человека и его способностей, и основанные на его интересе и неудержимом стремлении к счастью.

2° Применение этих принципов к устройству политического тела, к публичному праву внутреннему и внешнему, то есть к гражданскому и уголовному праву, политической экономии и праву народов [1].

Однако в этом регионе особенно заслуживает внимания Центральная школа департамента Эр. 20 прериаля VII года «Декада» отмечает, что движение, приданное народному просвещению министром внутренних дел, охватывает даже те департаменты, которые до сих пор проявляли наименьшее рвение, и сообщает об открытии школы в Эре, для которой были собраны «бюсты Брута, Гильома Телля, Руссо и Вольтера. Церемония проходила под звон колоколов и грохот пушек» [2]. В IX году преподаватели этой школы из собственных жалований выделяют средства на содержание шести учеников, чьи стипендии были отменены. В X году школа постепенно укрепляется и добивается успехов: она организует экскурсии во время каникул для награждённых и похвально упомянутых учеников. Фургон везёт багаж и палатки для лагерной стоянки; делают привал на общем участке; ставят палатки. Небольшой отряд, шедший до того как рота солдат, расходится вокруг лагеря: натуралисты — в сапогах, с инструментами и мешками; геометры — со своими приборами для съёмки местности; географы — с нужными им инструментами для составления точных планов и топографических карт; историки расспрашивают жителей деревень о происхождении мест, о произошедших событиях, о выдающихся людях, родившихся или живших там, — а затем каждый по-своему обрабатывает собранный исторический материал. «Нам бы хотелось, — справедливо говорил Женгене, — чтобы это остроумное начинание было более известно и было бы принято в других центральных школах» [3].

Можно судить, справедливо ли утверждение — после того как мы сделали этот обзор, в котором мы сознательно опустили Париж и близлежащие школы, — что в большинстве так называемых классов древних языков преподавались лишь начатки латинского языка; что преподавание общей грамматики, истории, законодательства и изящной словесности было почти нулевым; что если бы центральные школы просуществовали дольше, они, возможно, воспитали бы поколения, превосходно владеющие линейным черчением, но весьма сомнительно, чтобы они породили много учёных и людей литературы [4].

---

1 А. Бене, *Центральная школа Кальвадоса, публичное упражнение и торжественное распределение наград*, VII год (*Обзор среднего и высшего образования*, т. X, с. 273).

2 *Обзор среднего и высшего образования, т. V, с. 550. Протокол празднования Праздника юности. Жаль, что Обзор не опубликовал «очень интересные речи», произнесённые на нём.*

3 *Декада, 20 вандемьера X года.*

4 Альбер Дюрюи, указ. соч., с. 196–197.

Некоторые сведения об учебных заведениях Парижской академии, краткий обзор Императорского университета позволят нам точнее понять, какого уровня благополучия достигло новое образование, с какой энергией оно защищалось, как постепенно устанавливались связи между всеми, кто его осуществлял, и, наконец, что оно не уступало тому обучению, которое впоследствии его заменило.

Центральные школы департамента Сены были открыты 8 прериаля IV года: Гара, член жюри народного образования вместе с Лагранжем и Лапласом, выступил красноречиво и по делу. На церемонии открытия 1 брюмера V года речи произносили Жубер, Депарсьё, Фонтан, Ленуар-Ларош. Церемония вручения наград состоялась 27 термидора: из пяти школ действовали две — Пантеон и Четырёх наций. Председатель департамента (накануне переворота фрюктидора) восхвалял традиционные дисциплины и их достопочтенную мать — Парижский университет, «дочь королей». Бужолен зачитал отчёт о школьной работе и методах преподавания; Ментель и Селис объявили имена награждённых. 29 и 30 термидора проходил экзамен учеников департамента Сена и Марна, который дал «наиболее удовлетворительные и даже поразительные результаты». Два месяца спустя Ментель в своих *«Рассуждениях о начальных и центральных школах, чуждых различным религиозным культам»*, требовал, чтобы образование было направлено прежде всего на науку, нравственные обязанности и поведение; чтобы государственные преподаватели стали своего рода «офицерами морали» и даже в сельской местности исполняли некоторые благотворительные функции, ранее поручавшиеся священникам. К 1 брюмера к двум школам, открытым в IV году, добавилась третья — на улице Антуан. На церемонии вручения наград 27 термидора VI года речь произнёс Жубер, председатель департамента. Миллен представил отчёт о курсе обучения. В качестве премий за успехи в общей грамматике вручались произведения Локка, Кондильяка, Дюмарсе, Кур де Жеблена, де Бросса, Харриса; по законодательству и морали — *Политика* Аристотеля в переводе Шампани, Цицерон, Монтескьё, Беккариа, Руссо, Филанжери, Гольбах, Сен-Ламбер, Смит. Во всех трёх школах Парижа занятия по всем трём секциям с самого начала проходили «при большом стечении слушателей». Журнал *«Декада»*, который и предоставляет нам эти сведения, напоминает, что конец VI года представил собой картину, достойную века, усовершенствовавшего человеческий разум и подготовившего величайшее счастье для народов.

Франсуа (де Нёфшато), министр внутренних дел, учредил Совет народного просвещения, уполномоченный рассматривать учебники — как печатные, так и рукописные, тетради, взгляды преподавателей, и постоянно занятый вопросами совершенствования республиканского воспитания. В состав этого Совета, столь же разумно подобранного, как и все те, что мы видели впоследствии, входили

Паллиссо и Домерг, Дону, Гара, Жакмон, Лебретон, а позднее — Дестют де Траси, Лагранж и Дарсе.

«Декада» напоминает, что в VII году был учреждён конкурс между всеми классами всех школ и что друзья литературы могли порадоваться результатам, которые в целом показали публичные экзамены в конце предыдущего учебного года. 30 мессидора она публикует *Оду на латинском языке*, сочинённую учеником школы Пантеон, и утверждает, что изучение древних языков не столь пренебрегаемо, как можно было бы подумать. Торжественная церемония вручения наград проходит в присутствии жюри народного образования, в которое входят Лагранж, Лаплас и Шенье. Дюамель, профессор общей грамматики в Пантеоне, говорит о «духе, характере и результатах усовершенствованного народного образования». Новый учебный год ознаменовывается речью Лекутёля, в которой он восхваляет Бодена, «умершего оттого, что не смог справиться с внезапной радостью при вести о прибытии Бонапарта», и речью Мерò, прославляющего Депарсьё.

После 18 брюмера быстро становится ясно, что центральные школы, как и все прочие учреждения Революции, оказались под угрозой и вот-вот будут уничтожены.

В номере «Декады» от 20 мессидора VIII года один из преподавателей обратился к правительству с просьбой изменить и усовершенствовать эти учреждения, но не уничтожать их: *«Центральные школы, — говорил он, — философская и во многих отношениях достойная XVIII века институция; однако в ней недостаёт стройности и единства. Закон определил, что в них следует преподавать, но не указал, как следует преподавать. Не уничтожая ни одной науки, не смещая ни одного преподавателя, следовало бы выработать план обучения, сочетающий достоинства старой и новой системы. Можно было бы поручить шести преподавателям, наряду с латинским языком, обучать: одному — мифологии, второму — древней истории, третьему — новой истории, четвёртому — естественной морали, пятому — изящной словесности, шестому — общей грамматике. В первых трёх или четырёх курсах следовало бы отказаться от варварской практики тем и ограничиться, как в случае с английским, итальянским и немецким языками, переводом и разбором авторов. Французский язык следовало бы изучать не по сухим и отталкивающим грамматикам, а по «Провинциалкам» Паскаля, «Похвальным речам» Боссюэ, «Мирам» Фонтенеля, избранным сочинениям Вольтера, Руссо, Буало, Расина. Молодой человек, выходя из центральной школы, не обладал бы всеми возможными знаниями, но имел бы подлинную науку — способность учиться самому».*

«Следовало бы, — говорил он также, — *поощрять учёбу, предоставив центральным школам некоторые преимущества, аналогичные тем, которыми пользовались колледжи — например, освобождение от воинской повинности. С*

одной стороны, призывная система отняла у нас немало молодых людей, которые могли бы принести республике гораздо больше пользы в области науки, чем на военном поприще. С другой стороны, стремление уподобиться римлянам и грекам, у которых никто не был освобождён от военной службы, но которые отличаются от нас по законам, численности населения, размерам территории и по устройству торговли, стало во многом источником наших крупнейших отклонений со времён Революции. Математическим наукам уделяется слишком много внимания; следовало бы заняться философскими науками, основав большую школу, где преподавались бы литература, общественная и частная мораль, потому что философские и литературные науки в мирное время — это то же, чем являются математические науки во время войны: они составляют славу великой нации. И если ими будут пренебрегать так же, как это было до сих пор, то без всякого преувеличения можно предсказать, что через несколько лет у нас не останется ни литераторов, ни философов, ни хороших писателей».

Один из преподавателей, продолжая преподавательскую деятельность, следил бы за учениками и обеспечивал соблюдение правил, установленных правительством. Название «центральные школы» могло бы быть заменено на «центральные колледжи»; но не следовало бы, как того хотел Шампань, сокращать их число.

Что касается греческого языка, то было бы достаточно обучать юношей его основам, чтобы они могли использовать корни слов и находить этимологии множества французских слов; в некоторых городах могли бы быть учреждены специальные кафедры для тех, кто хотел бы углублённо изучать этот язык.

Другое письмо добивается той же цели, но иными средствами: *«Все учёные страны объединяются, чтобы требовать восстановления колледжей... На изучение латыни уйдёт шесть лет, затем — два года философии. В первый год будут рассуждать по-латыни об ens per se, об универсалии со стороны вещи и прочем, что придаст уму большую точность; на второй год займутся физикой, узнают, что кислоты состоят из множества маленьких шпаг, а щёлочи — из множества маленьких ножен, и что при смешении кислоты с щёлочью шпаги входят в ножны, как всем известно, и в результате получается нейтральная соль; после всех этих замечательных вещей последние пятнадцать дней учебного года займутся математикой»*. (20 термидора.)

На церемонии вручения наград в VIII году Лакруа, член Института и профессор в Школе Четырёх Наций, отвечал тем, кто нападал на центральные школы: «Если обратиться, — говорил он, — к анналам философии и литературы, то можно обнаружить в них зародыши всего прекрасного и великого, что было сделано во времена Революции. Основы нынешней системы народного образования были обозначены задолго до этого теми, кто принёс наибольшую честь своему веку. Монтень, Бэкон, Локк, Кондильяк, Д’Аламбер,

Вольтер, Руссо пролили свет на вопросы воспитания молодёжи, который был отвергнут тогда людьми, чья посредственность обрекла их на забвение, и которые в защиту рутины приводили те же доводы, которые сегодня повторяют, чтобы её воскресить». Он кратко очертил прогресс, которого достигло образование со времён Ренессанса, улучшения, внесённые в колледжи незадолго до Революции, и показал, сколь много ещё оставалось пороков в этих учреждениях, насколько более предпочтителен был порядок, установленный законом от 3 брюмера: «С полным основанием, — говорил он, — мы отошли от плана старых колледжей. Двигая вперёд преподавание физических и математических наук наряду с изучением словесности, за которой следует обучение моральным и политическим наукам, объединяя изучение наук, лежащих в основе химических и механических искусств, с рисованием — основой стольких ремёсел и прекрасным средством развития в нас чувства прекрасного, — мы лишь следуем за прогрессом просвещения. Эти школы реализуют то, чего так долго ждали от прежних учреждений: они дают целостное образование, все части которого полезны и могут при необходимости быть объединены или разделены. Именно в этом и состоит суть настоящей образовательной системы. Форма преподавания, подразделения курсов — всё это второстепенные регламентные детали, которые зависят больше от людей, чем от самой идеи».

Там, где школы не показали никаких успехов, — добавлял он, — причиной тому отнюдь не являются основные положения закона, а скорее неуверенность, вызванная постоянными проектами реформ, особенно последними, что нанесло им ощутимый удар, отразившийся на ходе занятий в этом году. Тем, кто считает, что таких школ слишком мало, он отвечает, что города, в которых раньше были колледжи, вправе за свой счёт учредить дополнительные школы. Тем, кто считает, что они не связаны напрямую с начальными школами, он говорит: дети, умеющие читать, писать и считать, вполне способны изучать рисование, латинский язык, начиная с склонений и спряжений, математику и естественную историю — при условии, что преподаватель, как это обычно и бывает, соразмеряет курс с уровнем понимания и подготовки учеников. А тем, кто жалуется, что курсы являются лишь устными лекциями, он отвечает, что они, не зная этих курсов, отождествляют их с теми, что до Революции открывались для светской публики в качестве дополнения к пробелам традиционного образования; или же они требуют классов, а не курсов, забывая, что прежнее обучение также включало два курса, подразделённых на классы, и что в центральных школах разные предметы преподавания, каждый со своей целью, по необходимости были названы курсами.

Лакруа отлично показал поставленную цель, тесную связь этих школ с Институтом и с философскими идеалами времени. Он отвечал на возражения их противников, не отрицая при этом возможности внести в систему полезные усовершенствования.

Женгене, обозревая это сочинение (30 нивоза IX года), писал: «Если и можно выдвинуть ещё какие-либо возражения, на них можно дать и другие ответы. Мы уже говорили, что располагаем необходимыми средствами: многие профессора снабдили нас ими через свою переписку. Но кажется, что в последнее время усилия их противников ослабли, что проекты, ранее объявленные как подлежащие скорому осуществлению, отложены. Если мир и не заключён, то, по крайней мере, установлено перемирие; и мы считаем своим долгом сохранить эти боеприпасы в резерве — на случай, если боевые действия возобновятся».

10 брюмера письмо из Осера выступало против предполагаемого упразднения кафедр морали и законодательства, утверждая, что «правительство слишком просвещённое и слишком привержено принципам, чтобы нанести столь смертельный удар народному образованию». В следующем номере публикуется *«Новая система народного образования»* Шапталя. 20 фримера Дюма, профессор изящной словесности, защищает центральные школы против доклада, представленного в Генеральный совет департамента Сена, и даже против доклада самого Шапталя и предложенного им плана. 10 жерминаля *«Декада»* публикует циркуляр Шапталя: «Одной центральной школы на департамент, — говорил он, — недостаточно для народного образования. Вот уже десять лет, как со всех сторон требуют восстановления тех процветающих колледжей, где многочисленная молодёжь получала лёгкое и достаточное образование». Шапталь одновременно запрашивал информацию об образовательных учреждениях, существовавших до Революции, и мнение окружных советов о преимуществах этих учебных заведений. «Мы не знаем, — писала *«Декада»*, — действительно ли вот уже десять лет отовсюду требуют восстановления тех процветающих колледжей... но мы прекрасно знаем — и министр знает это, несомненно, лучше нас, — что образование в колледжах было вовсе не лёгким, поскольку на то, чтобы изучить *только* латынь, уходило восемь или девять лет, и вовсе не достаточным, потому что кроме латыни там ничему не учили... Вернуться попросту к тем колледжам, о которых Мольер с иронией сказал — *Vivent les collèges d'où l'on sort si savant!* («Да здравствуют колледжи, из которых выходят столь учёными!»), — значило бы оказать довольно слабую услугу подрастающему поколению».

Био, профессор в Уазе, сообщил в *«Декаде»* о выходе двух сочинений Лакруа — *«Дифференциальное и интегральное исчисление»* и *«Начала геометрии»*, по поводу которых он писал, что Лакруа считал метод, используемый метафизиками, подлинным синтетическим методом: «Если метафизика достигла стольких успехов в руках Локка и Кондильяка, то не потому, что они использовали анализ, а потому что почувствовали необходимость искать в природе основания для новой теории». Будучи профессором Коллеж де Франс, он 30 флореаля IX года упоминал *«Применение алгебры к геометрии»* Пюиссана, профессора в Ажене: «Удивительно, — добавлял он, — видеть, как эти бедные школы, о которых говорят столько

дурного, дают жизнь множеству прекрасных элементарных трудов, которые иностранцы часто спешат перевести и усвоить». И в тот же день *«Декада»*, говоря об отчётах префектов, из которых черпают столько доводов против центральных школ, задавалась вопросом, как могли люди, едва прибывшие в края, которые чаще всего были им совершенно незнакомы, составлять о них статистическую картину!

20 термидора *Декада* упоминает книгу Перро *«Начала естественного законодательства»*. Приводя выдержку из этого труда, Ж.-Б. Сэй замечает, что это ещё одно превосходное сочинение, вышедшее из тех самых центральных школ, о которых некоторые люди с показной охотой говорят дурное. В следующем номере без оговорок принимается точка зрения Дестюта де Траси: с некоторыми незначительными улучшениями центральные школы вполне соответствовали бы цели, которую законодатель должен был ставить, учреждая их.

На торжественной церемонии вручения наград профессора выбирают Шенье для произнесения речи: «Те, кто склонен опасаться, — пишет редактор *Декады*, — что философия и свобода могут пострадать от отката в общественном мнении, могли бы успокоиться, увидев, какой эффект произвело философское и республиканское красноречие на эту аудиторию, состоявшую из людей обоего пола, всех возрастов и всех сословий». Шенье выступил в наступательном духе: «Что значат, — говорил он, — эти пылкие желания небольшой группы людей восстановить колледжи? Чего они жалеют? Древних языков? Но греческий едва ли преподавался, латинский изучался в течение шести лет чистой рутины, риторика признавалась неудовлетворительной самим Ролленом… Те два года философии, в течение которых один и тот же преподаватель должен был передать множество разнородных знаний? Эти латинские тетради по логике, сама логика — бесплодная в своих поисках, готическая по форме, варварская по языку? Эта туманная метафизика, этот несваримый курс физики и математики, эти три года теологии? Внутренний режим (настоящая тюрьма для пленённой юности)?» Он призывал в свидетели Вольтера и Монтескьё, Руссо и Д’Аламбера, Дюмарсе и Кондильяка, Гельвеция и Кондорсе, Ла Шалоте, чей проект во многом напоминал устройство центральных школ. Он возмущался тем, что кто-то осмеливается выступать против бесплатного образования и утверждать в качестве принципа, что, якобы, ради самого блага общества невежество должно навсегда оставаться уделом большинства! И он утверждал, что именно более широкое и более равномерное распространение просвещения составляет превосходство XVIII века над предшествующими эпохами.

В следующем номере *Декада* публиковала аргументированный анализ учебного плана, принятого профессорами департамента Уаза, одобренного Дестютом де Траси и министром внутренних дел [1].

В начале X года *Декада* проводит обзор центральных школ и сообщает о положении каждой из них — данные, которыми мы пользовались. Она сообщает также о переписке между центральными школами и в целом по вопросам народного просвещения, которую профессора Сены и Уазы намереваются централизовать. Они подчёркивают, что, вдохновляясь законом от 3 брюмера IV года, хотят укрепить связь с Институтом: «Вы — писали они, — отцы народного образования… Вы — очаг света, позвольте нам испросить от вас несколько лучей для нашей переписки; она не должна быть вам чужда, ведь разве вы не главы образования?» [2].

10 флореаля X года *«Декада»*, после того как в предыдущих номерах выразила пожелание, чтобы школы последовали примеру, поданному школой в Эре своим учебным походом на каникулах, и воспроизвела прокламацию, в которой Консулы призывали французов «соединить с просвещением, которое нас озаряет, добродетели, которых требует религия, благодаря которой Европа обязана своей цивилизацией», — но затем напомнила, что Вашингтон в своём завещании не признаёт никакой позитивной (конкретной) религии, — объявила об амнистии эмигрантам, и о принятии в Трибунате закона о народном образовании 80 голосами против 9. Это стало означать неминуемую или уже скорую смерть всех центральных школ.

Тем не менее среди профессоров Парижской академии мы встречаем имена тех людей, подобных которым и сегодня хотели бы видеть в лицеях: Лагарп и Фонтан, Женгене и Рёдерер, Кабанис и Ларомигьер, Геруло и Бине, Дону и Соссюр, Кювье и Депарсьё, Бриссон, Бужолен и Селис, Ментель и Сен-Анж, Дьёдонне-Тьебо из Берлинской академии, Лабей — переводчик Эйлера [3], Жанти из Луаре, писавший об «О влиянии Ферма на своё столетие», Буанвилье из Уазы, ставший членом Института, Дюамель — бывший соратник Сийеса и Кондорсе, Боден, Био и Лакруа, Антуан Леблан — автор *Манко-Капак*, *Друидов*, стихотворного перевода Лукреция, Перро, Шенье, Либес и Жерюзе́ и др. Преподавателями становились те, чьи научные труды обещали из них превосходных наставников. Именно благодаря такому способу отбора, где

---

1 Утренние занятия: первый курс — древние языки; второй — история и древние языки; третий — общая грамматика и древние языки; четвёртый — изящная словесность и древние языки; пятый — законодательство. Около полудня, каждые два дня — рисование; по вечерам каждые два дня — естественная история, математика, физика и химия. — Подписано Жерюзэ, профессор общей грамматики.

2 Неопубликованные письма от 4 вандемьера и 12 брюмера X года, подписанные Доливьё (первое), Доливьё и Лёбитом (второе). (Документы Академии моральных наук, папка № 2.)

3 Это был учитель Ланселена, гл. VII, § 2.

интересы учеников ставились выше претензий преподавателей, центральные школы пользовались бесспорным успехом в Парижской академии.

Если мы откроем *Альманах Императорского университета* за 1811 и 1812 годы, то найдём среди его сотрудников некоторых из тех, кого только что упомянули: Фонтана, Кювье, Геруло, Жубера, Ампера, Лепрево д'Ирэ, Изарна, Лакруа и Био, Ларомигьера, Дюма, Лабея, Дюамеля, Либеса и Бине (Париж), Лапорта (Осер), Лаво (Версаль), Мазюра (Анже), Женисс́е (Безансон), ван Хультема (Брюссель), Лакоста (Клермон), Корнеля Сен-Марка (Мулен), Берриа Сен-При, Дюбуа-Фонтанеля (Гренобль), Рэймона (Шамбери), Кабанту, Гюффруа-Вогель (Клермон), Бутеншон (Майнц), Монжена (Мец), Карне, Дюма (Монпелье), Теденá (Горное училище), Метивье (Пуатье), Менги (Ренн), Аррашара (Руан), Пико-Лапейруза (Тулуза) и многих других. Почти все они занимали впоследствии должности, значительно превосходившие те, которые они занимали прежде.

Программы, которым теперь следовали, представляют собой шаг назад по сравнению с программами центральных школ. Больше нет кафедры морали и законодательства, нет даже — во всех лицеях Парижа — преподавателя истории. Преподаватель всеобщей грамматики заменён преподавателем философии. Но известно, что первоначальный план не предусматривал философского обучения [1], и там, где оно было организовано, оно, по-видимому, оставалось абсолютно факультативным. Кузен поступает в Нормальную школу, не изучая философии. М. де Ремюза, случайно оказавшись во втором классе в классе Феркока, увлекается кондильякизмом. Минье и Тьер покидают лицей в Марселе, так и не изучив философии. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Целью было возрождение изучения латинской словесности [2], рассматриваемой наряду с греческой словесностью, как источник всякого доброго образования [3]. Поэтому латинская речь занимает почётное место на общем конкурсе: за ней следуют французская речь, латинские стихи, перевод с латинского, перевод с греческого. Во втором классе гуманитарных наук целых три года изучаются перевод с латинского, латинская тематика, латинские стихи, перевод с греческого. Лишь затем следуют философия, физические науки, специальные и элементарные математики [4]. Впрочем, приоритет латинскому

---

1 Декрет 1808 года гласит, что лицеи предназначены для преподавания древних языков, истории, риторики, логики и основ математических и физических наук. Ср. гл. VIII, § 3.

2 Латинская речь Бюрнуфа на церемонии вручения наград по итогам Общего конкурса 1812 г. *Ergo renascitur lingua Romanorum* («Итак, возрождается язык римлян»).

3 Речь Фонтена, 1812 г.

4 Нетрудно заметить, что образование учащихся не было целью, которую преследовал Наполеон: «Все школы Императорского университета будут основывать своё преподавание на: 1) предписаниях католической религии; 2) верности Императору, императорской монархии — хранительнице счастья народов — и династии Бонапартов, гарантирующей единство Франции и все либеральные идеи, провозглашённые конституциями; 3) повиновении уставам преподавательского корпуса, целью которых является единообразие образования и которые стремятся формировать для государства граждан, преданных своей

языку отдавался не только ради учеников. В 1810 году, «чтобы торжественно ознаменовать священный союз, основанный на спокойствии будущих поколений, и восстановить употребление латинского языка… который, быть может, уместно использовать, когда наши законы и наше оружие распространяются далеко» [1], преподаватели риторики были приглашены произнести, в первый четверг июня, латинскую речь по случаю брака Его Величества Императора и Короля с Её Императорским и Королевским Высочеством эрцгерцогиней Марией-Луизой. Все преподаватели, чьи речи были переданы великому магистру, «выступили достойно своих благородных функций»; несколько из них «проявили настоящий талант». Люс де Лансиваль получил приз, и Наполеон, должно быть, счёл, что хвалы были розданы ему щедро. Но он был ещё сдержаннее, чем Фонтан, утверждавший в 1812 году, что «герои Плутарха внушают меньше восхищения, чем этот единственный и поразительный человек, с которым уже невозможно ни одно сравнение». Среди преподавателей всеобщей грамматики были Тьебо, Ларомигьер, Дюамель, Перро, Дону, Бенони-Дебрюн, Буржуа, Лонё, Монжин, Эшер, Годфруа, Эбби, Фонтан, Гатель, Драпарно, Эстарак, Барадер, Доб, Фабр, Рузьес, Вандеркан, Сент-Марк Корнель, Аррашар, Жерюге и др., чьи способности и знания нам были известны. Судя по тому, что мы знали о других школах, преподаватели всеобщей грамматики казались способными справляться с возложенными на них обязанностями. В 1811 и 1812 годах мы встречаем следующих преподавателей философии [2] :

Могра (Императорский лицей).
Феркок (лицей Наполеон).
Дефонтен, затем Кардайак (лицей Бонапарт).
Мийон (лицей Шарлемань).
Маккар (Реймс).
М. де Фария, затем Дено (Марсель).
Флотт (Амьен).

религии, своему государю, своей родине и своей семье; 4) все преподаватели теологии обязаны соблюдать положения эдикта 1682 года, касающегося четырёх положений, изложенных в Декларации французского духовенства в указанном году». (*Декрет 1808 года, титул V.*) — Если опустить «либеральные идеи», упомянутые лишь для виду, станет ясно, что история, идеология, мораль и законодательство в понимании XVIII века могли только помешать достижению поставленных целей. — Следует также обратить внимание на рекомендацию: «следить, прежде всего, за тем, чтобы преподавание наук всегда соответствовало уровню приобретённых знаний и чтобы дух системности никогда не препятствовал прогрессу».

1 О притязаниях Наполеона быть преемником Карла Великого см. Эрнест Лависс (*Journal des Débats*, 11 июля и 22 августа 1890).

2 Их не было в Осере, Генте, Брюгге, Труа, Шартре, Фонтенбло и Мелене, Тулоне, Лаоне и Сен-Кантене (в Суассоне даже больше нет Коллежа), Бове, Доле, Везуле, Ангулеме, Перигё, Шатору, Невере, Монсе, Кортрейке, Антверпене, Алансоне, Ажене, Пюи, Шомоне и Лангре, Отене, Лилле, Аррасе, Валансе, Намюре, Тюле, Герэ, Белле, Сен-Этьене и Монбризоне, Шарлевиле и Седане, Каркассоне, Бир-сюр-Орнене, Эпинале, Менде, Туре, Сен-Севере, Тарбе, Сенте, Ниоре, Фонтене-ле-Конт, Сен-Бриё, Эврё, Кольмаре, Фуа и др.

Эрон (Анже).
Топен (Экс).
Бувье (Шато-Гонтье).
Сартр (Лаваль).
Лемерсье (Ле-Ман).
Демуа (Безансон) и Ординер.
Дезез и Тукас де Пуайен (Бордо).
Бюсса (Анси).
де Вальривьер (Лимож).
Ландри (Майен).
Монжин (Мец).
Бас (Монпелье).
Дрегель и Жакмен (Нанси).
де Шанпо и Руссо (Орлеан).
де Беллиссенс и Бернадо (Пуатье).
Лебар (Наполеонвиль).
Каро (логика, Ванн).
Кардайак (Монтобан).
де Лапорт-Лаланн и Бреан (Руан).
Ларок и Сорен (Тулуза).
Биондо (Бурж).
Ландрвиль (Брюссель), Жаккар (Турне).
Тирар де Лон-Шан (Кан).
Карон (Версаль).
Лайнез (Авранш).
Дезо (Кагор).
Пажес (Ош).
Офовр (Клермон).
Жиральдон, затем Авит (Сен-Флур).
Коломбо (Дижон).
де Летуаль (Дуэ).
Леброс (Гренобль).
Суарес (Шамбери).
Астье (Льеж).
Хойзер (логика, Кёльн).
Жирар (Родез).
Вердье (Перпиньян).
Рейналь (Ним).
Элисагарай (Пау).
Моль (Руан).
Пуаррье (Нант).
Оллитро (логика, Кемпер).
Сотье (Страсбург).
Гуржу (Лион).
Рейнальд (Альби).

Жиро де ла Ну (Блуа).

В 1812 году не присуждается премия по философии в Амьене, в Авиньоне (где вручается премия за сочинение), в Безансоне и в Бордо, в Бурже и в Брюсселе, в Кане, в Кагоре, в Клермоне, в Дижоне и в Дуэ, в Лиможе, в Лионе, в Монпелье, в Мулене, в Нанси, в Нанте, в Ниме, в лицеях Шарлемань и Бонапарт, в По, в Пуатье, в Ренне, в Руане, в Страсбурге, в Тулузе. Только лицеи Анже (одна премия), Гренобля (то же), Марселя (то же), Майнца (то же), Меца (две), Наполеонвиля (две), Орлеана (две), Императорский лицей (две) и лицей Наполеон (две), а также лицеи в Реймсе (две) и Родезе (одна) — то есть всего одиннадцать лицеев из шестидесяти — имели достаточно учащихся по философии, чтобы распределять между ними премии, или хотя бы одну! Какое разочарование — сказали бы защитники центральных школ, — что в 1814 году не удалось составить статистические таблицы, аналогичные тем, что были в VIII году Республики! Они бы, несомненно, дали нам основания для сурового суда над Императорским университетом [1].

А что же преподаватели? Оставим в стороне Виктора Десеза (если речь действительно идёт об авторе *«Физиологических и философских исследований о чувствительности»*) [2], Монжена, о котором мы уже говорили, Каро, от которого у нас есть *«Элементарный курс философии»*, Кардайяка, к которому мы ещё вернёмся, и даже Феркока, которого мы готовы ценить вслед за месье де Ремюза. Это — преподаватели, которых можно считать достойными. Что до остальных, у нас нет никаких средств судить об их уровне, а порой мы вынуждены относиться к ним довольно критически. Дефонтен совершенно неизвестен, Могра оставил объёмистые сочинения, чтение которых не приносит никакой пользы [3]. Мийон, ставший впоследствии профессором в Парижском факультете, стал настоящей загадкой для тех, кто пытался написать его биографию. Заметим, кроме того, что Флотт — секретарь факультета словесности, профессор философии как в факультете, так и в лицее; Ординер — ректор, декан факультета словесности и профессор философии; Десез — ректор и декан; Тукас де Пуайен — заместитель Десеза на факультете и преподаватель в лицее; Блондо — декан, профессор философии на факультете словесности и в лицее; Тирар де Лон-Шан — декан, профессор на факультете и в лицее; Дезо и Офовр — профессора на факультете и в лицее; Коломбо — профессор и секретарь факультета, преподаватель в лицее; де Летуаль, Леброс, де Вальривьер — и в лицее, и в факультете; Гуржу — декан, профессор на факультете и в лицее; Бас — также и там и там; Дрегель — ректор, декан и профессор на факультете; Жакмен — секретарь и заместитель на факультете, преподаватель в лицее; Рейналь — тоже в факультете и в лицее. Де Шанпо — ректор, декан и профессор факультета; Руссо, его заместитель, —

1 Все эти сведения взяты из *Альманаха Императорского университета*.

2 Paris, Prault, 1786.

3 Ср. гл. VIII, § 3.

преподаватель в лицее; Элисагарай — ректор, декан, профессор на факультете и директор лицея; де Беллиссенс — ректор и профессор философии на факультете; Моль — в лицее и на факультете; де Лапорт-Лаланн — ректор, декан и профессор на факультете; его заместитель Бреан — преподаватель в лицее (возможно, капеллан); Сотье, о котором у нас есть сведения, показывающие, как университет иногда набирал своих членов [1], — и в лицее, и на факультете; Ларок — декан и заместитель профессора на факультете, исполняющий обязанности в лицее. Идея заключалась в разделении среднего и высшего образования, но, возложив эти функции на одних и тех же людей, удалось, по-видимому, по крайней мере в философии, добиться того, что у учителей не стало учеников, а они сами оказались неспособны должным образом исполнять свои обязанности.

К нормальным и центральным школам следует добавить и специальные школы. Конвент преобразовал Сад растений в Музей естественной истории. Даубентон, Фуркруа, Броньяр, Жюссьё, Ламарк, Жоффруа Сент-Илер, Аюи, а позднее Кювье были назначены преподавателями. Он также учредил Школу живых восточных языков, «полезность которой была признана как для политики, так и для торговли»; в ней преподавались арабский, турецкий, крымско-татарский, персидский и малайский языки. Аналогичным образом были основаны медицинские школы в Париже, Монпелье и Страсбурге. Студенты парижской школы основали Медицинское общество состязания (émulation), которое, по примеру Кабаниса и по совету Дидро, поставило своей целью объединение медицины и философии. В мемуарах этого общества содержатся труды Биша, Пинеля — о моральном лечении душевнобольных, Ришерана — о степени достоверности метафизики, Бюте — о симпатиях, Русселя — о связях медицины с физическими и моральными науками. Дюма, профессор в Монпелье, в *«Введении в философскую, экспериментальную и медицинскую науку о живом человеке»* отмечает благотворное влияние, которое могли бы оказать на науку о человеке сравнительная физиология и идеология. Моро ссылается на Кондорсе. Кабанис собирает вокруг себя лучших студентов Парижского факультета — Ришерана и Алибера, которые благодаря своим трудам, в которых философия далеко не отсутствует, становятся вровень с учителями. Туре собирается ознакомить общественность с «философией, мудрой смелостью и величественной простотой учения Гиппократа» [2].

---

[1] См. Приложение, письмо Хафнера. Чтобы убедиться, что это письмо не следует считать предвзятой критикой со стороны противника, перечитайте письмо Фонтена, цитируемое Сент-Бёвом (*Chateaubriand*, т. II, стр. 352): «Чем больше я изучаю этот состав лицейской системы, тем более нахожу его несогласованным». — Об участии таких священников, как Соатье, в Университете см. речь Фонтана на инаугурации факультетов теологии, наук и словесности в Париже: «Богословские штудии... более, чем принято считать, способствовали всем проявлениям человеческого разума... Великий монарх создал из обломков старых университетов и конгрегаций единое преподавательское сообщество»

[2] См. гл. IV, § 4.

Политехническая школа, основанная в III году Республики, имела в числе преподавателей самых выдающихся учёных: Лагранжа, Прони, Монжа, Бертолле, Фуркруа, Шапталя, Воклена и Гитона де Морво. Она должна была готовить гражданских и военных инженеров, преподавать общие принципы наук. Преподаватели связывали своё обучение с философскими доктринами, преобладавшими в политических собраниях, в нормальных и центральных школах, в Институте и которые предполагалось преподавать в специальной школе моральных наук, создание которой неоднократно предлагалось. «Я начал, — говорил Прони, — с того, что собрал и классифицировал абстрактные идеи, которые можно считать основами науки... Операции разума, результатом которых являются эти идеи, должны уже быть выполнены у тех, кто хочет заниматься изучением механики — и то же можно сказать о любой другой науке... В целом я не упускал случая сблизить геометрические спекуляции с предписаниями искусства мышления и рассуждения, и особенно часто настаивал на тех возможностях, которые предоставляет духу и гению хорошо устроенный язык» [1].

Именно в Политехнической школе Андриё начинает, после упразднения второй секции Института и центральных школ, курс всеобщей грамматики, призванный продолжить традицию, прерванную в других местах, и от которого Дестют де Траси ожидал наилучших результатов. Именно здесь впоследствии Огюст Конт, земляк Драпарно, вновь обретёт научные и философские доктрины XVIII века, которые в значительной степени поспособствуют рождению позитивной философии.

В педагогике, как и в философии, именно идеологи проложили пути, по которым мы пытаемся идти. В деле высшего образования Талейран и Кондорсе, Дону, Лаканаль и, - как это верно отметил месье Лиар, - особенно Кабанис остаются нашими вдохновителями. Мы сохранили Музей естественной истории и Школу восточных языков, медицинские школы и Политехническую школу. Административная школа 1848 года, а также Школа политических наук — более поздняя и более удачная — лишь частично воплотили чаяния идеологов. Благодаря новой организации, которую получило высшее образование, мы всё ближе подошли к тому идеалу, который они ставили перед собой: литература и история, науки и философия — всё это теперь имеет своих преподавателей и своих учеников [2].

Среднее образование, эволюционируя медленнее, ещё не решило тех проблем, которые уже ставили перед собой наши отцы. Все нововведения, предпринимаемые в течение последних двадцати лет, были предвосхищены или реализованы в школьных учреждениях Революции. Уже тогда стремились преподавать литературу и науки, современные и древние языки, политическую

---

1 Отрывок из полного курса механики (*Журнал школы*, тетрадь 5).

2 Ср. Эрнест Лависс, *Вопросы национального образования.*

экономию и прикладное право; рекомендовали экскурсии во время каникул, физические упражнения и ручной труд, даже выбор директоров из числа и по воле самих преподавателей. Более того, часто удавалось воплотить в жизнь то, что было предложено теоретически.

В то же время наша эпоха смогла сделать то, что, несмотря на все усилия, не удалось осуществить людям Революции. Если некоторые из них имели достаточно чёткое представление о том, каким должно быть начальное образование, и если по этой причине стоит по-прежнему обращаться к ним в этих вопросах, то у них не было ни ресурсов, ни — особенно — опытных и образованных преподавателей, чьи советы и труды сделали возможным и плодотворным народное образование.

III

Институт; учёные общества

Шамфор подготовил для Мирабо проект декрета и речь с предложением упразднить старые Академии. Их предполагалось заменить Национальной академией с философским, литературным и научным отделениями, которую должна была дополнить Академия изящных искусств. Талейран задумал Институт, одна из секций которого включала бы философские науки, словесность и изящные искусства, а другая объединяла бы математические и физические науки, а также ремесла. Кондорсе мечтал о Национальном обществе наук и искусств, которому поручалось бы собирать, поощрять, применять и распространять полезные открытия. Оно должно было состоять из четырёх классов, охватывающих математические и физические науки, моральные и политические науки, медицину, механические искусства, сельское хозяйство, мореплавание, наконец — грамматику, искусства, литературу и филологию. 3 брюмера IV года (25 октября 1795 года) Конвент принял, по докладу Дону, знаменитый закон, организующий систему народного образования. Национальному институту поручалось совершенствование наук и искусств, наблюдение за научными и литературными трудами, имеющими своей целью общее благо и славу Республики. Объединяя представителей всех отраслей человеческого знания [1], собирая наиболее выдающихся деятелей в

[1] Он включал в первый класс (класс физических и математических наук) десять секций: математика, механические искусства, астрономия, экспериментальная физика, химия, естественная история и минералогия, ботаника и растительная физиология, анатомия и зоология, медицина и хирургия, сельское хозяйство и ветеринария. Второй класс (моральные и политические науки) включал шесть секций: анализ ощущений и идей, мораль, общественные науки и законодательство, политэкономия, история и география. Третий класс (литература и изящные искусства) состоял из восьми секций: грамматика,

области наук и искусств, он становился, по сути, живой Энциклопедией [1], способной своими трудами реализовать тот прогресс, который предвозвестили Декарт и его ученики, Тюрго, Кондильяк и Кондорсе. Создание второго класса, равно как и обязанность всех членов Института трудиться над совершенствованием наук и искусств, было прямым результатом влияния философии XVIII века. Вольтер и Кондильяк, Тюрго, Гельвеций, Руссо, Кондорсе и их ещё живые последователи хотели дать наукам о морали развитие, равное развитию математических, физических и естественных наук. Привлечение их представителей к сотрудничеству с теми, кто олицетворял более ранние научные направления, означало обеспечение успеха великого начинания.

4 апреля 1796 года Институт провёл своё первое заседание в присутствии пятерых директоров. Дону прославил идею Конвента создать класс моральных и политических наук: «Республика призывает нас, — сказал он, — чтобы собрать и связать все отрасли просвещения, раздвинуть границы познания и сделать его начала менее тёмными и более доступными, стимулировать усилия талантов и вознаграждать их успехи, собирать и провозглашать открытия, принимать, передавать и распространять весь свет мысли, все сокровища гения» [2].

Принесла ли вторая секция Института, за семь лет своего существования, славу философии, или, чтобы выразиться точнее, создала ли она труды, которые по своему количеству и значению соответствовали бы той цели, которую ставили перед собой её основатели, и тому представлению, которое обычно складывается о философской школе? М. де Токвиль это отрицает — в нескольких строках, где, как справедливо замечает Жюль Симон, он накопил немало несправедливостей и ошибок. Жюль Симон, в свою очередь, превосходно показал, что программа, намеченная основателями Института, была выполнена на высоком уровне философами и экономистами и, по меньшей мере, достойно — другими секциями. Следуя за ним, мы особо подчеркнём те труды, которые Институт либо породил, либо вдохновил в той области, что представляет для нас наибольший интерес.

Секция анализа ощущений и идей включала в число своих действительных членов Вольнея, Гара, Женгене, Лебретона, Кабаниса, Делейра, Тулонжона; среди ассоциированных — Дестюта де Траси, Десеза, Ларомигьера, Жакмона, Сикара, Прево из Женевы, Кафарелли дю Фалга, Дежерандо. Секция морали включала в число своих действительных членов Бернаден де Сен-Пьера, Луи-Себастьяна Мерсье, епископа Грегуара, Ла Ревейера-Лепо, Лаканаля и Нежона;

древние языки, поэзия, древности и памятники, живопись, скульптура, архитектура, музыка и декламация. К 144 резидентам в Париже присоединялись равное число ассоциированных членов со всей территории Республики и 24 иностранных ассоциированных членов.

1 Выражение Дону, подхваченное Лемонтеем.

2 Тайяндье, *Биографические документы о Дону*, с. 102 и далее.

среди ассоциированных были Лабен, Руссель, Вилетерк, Сент-Жан Кревкёр, Ферлю, Рикар и Годен. Третья секция объединила таких деятелей, как Дону, Камбасерес, Мерлен, Пасторе, Гарран-Кулон и Боден; ассоциированные — Леґран де Лалё, Уар, Рамон, Реймонт, Биго де Преаменё, Масса, Грувель и Шампань. Четвёртая — Сийес и Дюпон де Немур, Лакюэ и Талейран, Редерер и Крезе-Латуш, Лебрен и Галлуа, Форбонне и Рум, Гарнье, Дювийар и Дьяньер. Пятая секция включала, среди своих действительных или ассоциированных членов, Пьера-Шарля Левека, де Лиля де Саля и Рейналя, Бушо и Дасье, Леґрана д'Осси и Пуарье, Анкетиля и Коха, Гюдена и Ж.-Ж. Гарнье, Гайяра и Папона, Готье де Сибера и Сеннебье. Шестая — Буаша и Мантеля, Рейнхарда и Флёрио, Госслена и Бугенвиля, Бошана и Бартелеми, Лескалье, Кокбер де Монбре, Бургуана, Вердена де ла Кренна и Мишо д'Арсона. Сколько выдающихся имён, сколько людей подлинной ценности — наряду с несколькими персонами, выбор которых, возможно, был продиктован обстоятельствами!

Что касается трудов, мы упомянем лишь те, которые представляют непосредственный интерес для нашей темы. На публичном заседании 15 жерминаля IV года Кабанис изложил план и цель своих *«Размышлений о связи физического и морального начал»*. Лебретон зачитал *Очерк о жизни и трудах Рейналя*, «который был современником Вольтера, Руссо, Гельвеция, Дидро, Д’Аламбера, Кондильяка и многих других выдающихся писателей, пусть даже они и принадлежали ко второму ряду». 7 плювиоза, термидора и фрюктидора Кабанис представил три первых мемуара своего большого труда. 22 вентоза Анкетиль упомянул их и высказался о тех основаниях, на которых должны быть выстроены великие здания морали, социальной науки и политической экономии. 2 вентоза Левек зачитал *«Рассуждения о человеке, наблюдаемом в дикой, пастушеской и цивилизованной жизни»*. Считая, подобно Кондильяку, что в человеке заложены лишь чувствительность и потребность, он полагал, что природа сама внушит ему интонации желания, страха, радости, боли, и что несколько жестов, обогащающих язык и возникающих из новых нужд, будут вполне достаточны для общения между людьми, как только они объединятся. Но при этом он делает совершенствование отличительной чертой человеческой природы. 12 прериаля он представил *Рассуждения о тех препятствиях, которые древние философы чинили прогрессу здравой философии*. Это рассуждение небезынтересно: «В древности, — говорит он вполне резонно, — знали лишь крохотный уголок земли, и все же составляли космографии; не знали даже состава той земли, на которой жили, не знали даже формирования первого слоя, её покрывавшего, и все же составляли космогонии. Пифагор был тем из философов, кто больше всего способствовал заблуждению человеческого разума… Сократ заслужил титул философа, ограничившись поиском нравственных истин… С Платоном всё было захвачено метафизическим жаргоном… Аристотель, обладая живым, точным и широким умом, имел несчастье заниматься физикой посредством метафизики, вместо

того чтобы опираться на наблюдения — хотя однажды он и наблюдал, создав шедевр, по-прежнему уважаемый — *Историю животных*».

2 флореаля и 2 мессидора Дестют де Траси зачитал начало своего *«Мемуара о способности мыслить»*. Ларомигьер представил мемуар о значении слова *анализ ощущений*, а также другой — о значении слова *идея*. Боден в своём мемуаре о клубах ввёл философское осмысление. Грегуар на публичном заседании 7 жерминаля провозглашал врождённое право всех людей на свободу так же, как и на счастье, и утверждал, что методическое сомнение расчистило дорогу от предрассудков, притупило меч религиозной нетерпимости, погасило костры инквизиции и освободило негров. Он утверждал, что невозможно представить себе мораль, не будучи республиканцем, и надеялся, что национальный суверенитет, вернувшись к своему истоку, восстановит социальное здание в различных странах обоих полушарий, и что «республика литераторов породит республики». Бонапарт, упраздняя вторую секцию Института, несомненно, вспомнил о выступлении Грегуара.

Рёдерер, наряду с *Политическими мемуарами о составе общественной силы в республиканском государстве, О национальном большинстве, О погребальных учреждениях, пригодных для республики*, представлял и другие труды — *О двух основных элементах любви*, *О двух элементах человеческой общительности: подражании и привычке*. Камбасерес занимался социальной наукой. Дюпон де Немур излагал достаточно расплывчатый и довольно странный пантеизм, прежде чем перейти к вопросам, касающимся негров и *Политических кривых*. Делиль де Саль представлял *Критический обзор философов, размышлявших о счастье*, где он цитировал и критиковал Платона, Цицерона, Плутарха, Мопертюи, Гельвеция; затем — *Философские мысли о разуме*, в которых он называл Руссо «Ньютоном морали» и предлагал три предмета для изучения: Бога, человека и природу. Прежде чем объединить эти мемуары в сборнике *Афоризмы о счастье*, Делиль де Саль зачитал *Похвалу Лафонтену*. С весьма забавным неведением хронологии — довольно комичным для человека, претендующего на универсальную учёность [1], он утверждал, что Лафонтен якобы опроверг знаменитый пирронизм Беркли [2]. Затем он начал любопытный *Мемуар о философии свободного человека* и ещё один — *Об Институте и академиях*. В литературной секции выступал Сикар с докладом о методе обучения глухонемых, а также прозвучал мемуар Битóбе, «сочинённый в робеспьеровской тюрьме», о *Политике Аристотеля*.

---

1 Он поместил на постамент своего бюста следующую надпись: «Бог, природа и человек — он всё объяснил», под которой Андриё добавил: «Но никто до него этого не заметил»

2 Лафонтен издал седьмую книгу в 1678 году, в которую входил *Животное на Луне*, и умер в 1695, когда Беркли, опубликовавший свою первую работу в 1709, был десятилетним мальчиком. Вероятнее всего, Лафонтен имел в виду Малбранша, чья *Поиск истины* датируется 1675 годом.

Десять месяцев, в течение которых функционировал Институт, были весьма плодотворны. Второй год оказался не менее насыщенным. Кабанис исследовал влияние возрастов на идеи и моральные чувства, влияние пола на характер этих идей и чувств, а также влияние темпераментов на их формирование. Дестют де Траси продолжал свои исследования о способности мыслить. Делиль де Саль, называвший Бруккера «библиотекой философов», произнёс похвалу Байи; Лебретон — Делера, библиотекаря инфанта, воспитанного Кондильяком, друга Руссо, автора *Анализа Бэкона*, статьи *Фанатизм* в *Энциклопедии*, романсов, положенных на музыку Руссо, и неизданного стихотворного перевода Лукреция. Ла Ревейер-Лепо, не будучи теофилантом, однако веря в Бога, зачитал *Размышления о культе и гражданских обрядах*. Боден занимался вопросами закона. Талейран представил два мемуара: об экономических отношениях между Соединёнными Штатами и Англией и о выгодах, которые можно извлечь из новых колоний. Подобно Кондильяку, Талейран осуждает «систематический дух» и восхваляет анализ: «Путешествие по Америке, — говорит он, — есть своего рода живой и практический анализ происхождения народов и государств; отправляясь от наиболее сложного устройства, мы постепенно приходим к наиболее простым элементам: с каждым днём исчезают из виду некоторые из тех изобретений, которые были вызваны к жизни нашими растущими нуждами, и, кажется, мы движемся вспять в истории прогресса человеческого разума». Эти строки словно отдают голосами Руссо и Кондорсе. В другом месте Талейран утверждает, подобно Гельвецию, Вольнею или Сен-Ламберу, что интерес управляет волей. Сикар рецензирует *Грамматику Харриса*, переведённую на французский Тюро. Шампань предлагает перевод *Политики* Аристотеля, Камю совершенствует свой перевод *Естественной истории* и занимается трактатом *О достойных удивления вещах, услышанных* (*De mirabilibus auscultis*). Первая секция во второй раз предлагает в качестве конкурсной темы — определить влияние знаков на формирование идей; вторая — исследование наиболее пригодных институтов для основания народной морали; четвёртая — продлевает обсуждение вопроса о государственных займах.

В VI году вторая секция Института рассматривает остроумные эссе о пасиграфии — системе универсального языка, основанной главным образом на единообразии знаков, — а также систему лексикологии, направленную на исправление идей через совершенствование языка. Она составляет серию вопросов для Института Египта и открывает конкурс на тему: какими средствами можно восстановить приличие и торжественность похорон. Она присуждает награды Мюло, Амори Дювалю и, своим примером, поддержкой и без обращения к религиозным идеям, ей удаётся положить конец скандальной практике, принявшей беспрецедентные масштабы. Тем временем душеприказчики Мабли сообщают о выходе нового исправленного и дополненного издания Кондильяка, включающего ранее неопубликованное сочинение *Язык вычислений* (*La Langue des Calculs*). Институт вручает премию, учреждённую секцией анализа ощущений. Её получает Дежерандо; Ланселен и

Прево удостаиваются упоминания. Было прислано десять мемуаров, и Биран собрал заметки по данному вопросу. В конце VI года выходит первый том *Мемуаров второй секции*. Помимо философских работ Рёдерера, Дюпона де Немура, Камбасереса, Пьера-Шарля Левека, Грегуара, Делиля де Саля, *Очерка о Рейнале* Лебретона, в него вошли *Общие рассуждения об изучении человека и о связи его физической организации с интеллектуальными и моральными способностями*, *Физиологическая история ощущений* Кабаниса. Дестют де Траси представлен работой о *Способности мыслить*, Ларомигьер — рассуждением *О значении слова «анализ ощущений»* и выдержкой из мемуара *О значении слова «идея»* [1].

Для серьёзного читателя Кабанис представлялся как самый значительный философ секции, Дестют де Траси — как самый проницательный и наиболее способный к обсуждению идеологических вопросов, Ларомигьер — как самый ясный и наиболее способный сделать свои доктрины доступными для всех.

В первом триместре VII года Рёдерер выступал с речью *О тех институтах, которые могут заложить основы морали в народе*, Тулонжон (Tonlongeon) — *О личной свободе*, Делиль де Саль — *О свободе голосования*, Грегуар — *О работорговле и рабстве негров*. Вилетерк, опираясь на Локка, Гоббса и Кондорсе, предлагал предоставить отцам и матерям равные права (с некоторыми отличиями, обусловленными разными обязанностями) в вопросах воспитания детей. Мерсье утверждал, что если красоту создаёт душа и жизнь, то именно выражение жизни — моральной, чувственной и внутренней — и составляет суть прекрасного [2].

Дону, секретарь секции во втором триместре, сообщает о мемуарах Делиля де Саля о Платоне — «князе философов», — и о мемуарах Мерсье, содержащих моральные и политико-моральные размышления. Тюре и Гаюи, Гара, Лебретон, Мерсье и Алле присутствовали при операции по восстановлению зрения у слепорождённого двадцатичетырёхлетнего мужчины. Гара и Лебретон засвидетельствовали, что у пациента было некоторое представление о цветах: яркий свет представлялся ему как слабый рассвет, недостаточный для различения предметов. Поставленный под углом к источнику света, он распознал алый цвет жилета Гара и назвал розовым тот оттенок красного, который имел цвет катушки. Один из членов Института, профессор центральной школы в Лионе, сочинил *Гимн Вечному*, где — чтобы показать [3], что большинство членов отнюдь не были враждебны вере в Бога — мы отметим стихи, которые можно сопоставить с тем, что мы уже говорили о Дюпоне де Немуре, Делиле де Сале и Ла Ревейере.

---

1 Том содержит XXVI–642 стр. Кабанис занимает 172 стр., Дестют де Траси — 168, Ларомигниер — 24.

2 *Notice* Лакюэ, *Декада философская* от 30 нивоза VII года.

3 Ср. с. 43.

В двух последних триместрах Рёдерер занимался пасиграфией как письмом и как языком, критиковал теорию Домерга о предложении, предпочитая ей номенклатуру Кондильяка, и работал над составлением *Катехизиса морали*, ссылаясь с похвалой на Гольбаха, Сен-Ламбера и Вольнея. Мерсье выступал против Локка, ссылаясь на «великое неписаное право», и открыто и энергично отстаивал идею врождённых идей [1]. Секция объявила конкурс на тему *привычки* и вновь поставила вопрос о *границах и объёме власти отца семейства*. Второй том *Мемуаров* секции вышел во фрюктидоре. Наряду с трудами Левека, Бодена, Талейрана, которые в ряде мест затрагивают философию, он включает мемуары Кабаниса о возрасте, поле и темпераменте [2]. После появления этого тома — вскоре вслед за публикацией в *Декаде* важного письма Кабаниса о совершенствовании человеческой природы — сам Кабанис всё более выделялся как наиболее значительный, если не как глава, то как философ среди всех, кто входил во вторую секцию.

Боден внезапно скончался — от радости, узнав о высадке Бонапарта. Дестют де Траси новыми доводами подтвердил, что именно ощущению сопротивления мы обязаны знанием о существовании тел, и опроверг гипотезы Мальбранша и Беркли об «идеальной» природе бытия. Для Делиля де Саля наиболее совершенной республикой является та, что имела бы счастье вручить великому человеку задачу управления конституцией, способной обеспечить внутренний покой. Нерон Форбонне предвидел в учреждениях Консульства зарю прекрасного дня для политической экономии. Шампань сожалел, что Боден умер, не дожив до того, чтобы увидеть: «герой, чьё имя он призывал в последние мгновения, исполнил все его надежды!». Женгене подготовил замечательный отчёт о моральном конкурсе, проанализировал работы, не заслуживавшие награды, и предложил заменить исходную тему на новую: *Является ли соперничество хорошим средством воспитания?* Дону исследовал, в чём состоит общее волеизъявление. Тулонжон сводил естественное право к свободному распоряжению собой и своей собственностью. Бернарен де Сен-Пьер занимался диетическим режимом и морскими наблюдениями, необходимыми при дальних плаваниях. Но наиболее интересными мемуарами, если не по содержанию, то по выражению духа времени, были труды Мерсье, выступавшего против «софистической» ошибки Локка, стремившегося уничтожить идею врождённых понятий. В отчёте Левека указывается лишь, что, по мнению Мерсье, *наше существо осознаёт себя само, наша мысль — это вспышка вечного бытия, контакт с божеством, проблеск первого начала, одна из бесконечных форм постижения первичной истины, постижения истины — известной или неизвестной* [3]. Но у нас имеются и более точные сведения. Мерсье, который в Лицее оспаривал астрономическую систему Ньютона, за десять дней до выступления заявил о своём намерении

1 *Декада философская*, 10 термидора VII года.

2 Том включает 699 страниц, из них 181 занимает мемуар Кабаниса.

3 *Декада философская*, 30 вантоза VIII года.

низложить Локка и даже Кондильяка в пользу учения о врождённых идеях. 7 вантоза в Институте собралось множество слушателей. Мерсье восхвалял Платона и Сократа, Цицерона, Пифагора и даже Прокла, нападал на скучного и нечитабельного Локка, на *Энциклопедию*, на Кондильяка и на сам Институт, становящийся, по его словам, «предметом насмешек всей Европы» за то, что тот отвергает идеи врождённые [1]. В заключение он пообещал в течение десяти дней с такой же очевидностью доказать, что мы познаём внешние объекты и что приобретаем идеи интуитивно, то есть через внутреннее чувство. На заседании 17 числа народу было ещё больше, чем 7-го. Мерсье утверждал, что мысль — это вспышка вечной силы, апеллировал к религиозному чувству,

[1] Один из слушателей Мерсье прислал два письма в «Декаду» (30 жерминаля, 10 и 20 флореаля). Приводим несколько дословных фраз: «Я признаю врождённые идеи и подчиняюсь этим самым своему внутреннему убеждению… Я понимаю под идеей духовное видение или представление сущего… Сущее состоит из трёх вещей, различающихся, но неделимых: сущности, существования и формы; в естественном состоянии оно имеет только духовные формы. Человек мыслит независимо от объектов, независимо от чувств… Божественное излияние в нас — вот источник наших идей. Как не распознать врождённую идею, которая говорит себе: я есмь?… Можно опереться на авторитет Платона, Сократа, Цицерона, чтобы утверждать, что учиться — значит вспоминать, что наша душа уже с рождения содержит в себе все идеи, которые затем лишь развиваются… Современные так называемые метафизики хотят анализировать простой предмет, рассматривать идею, как анатом рассматривает тело. Локк никогда не говорит о чувстве… Любовь породила науку, а не наука — любовь… Статуя, или лучше — кукла Кондильяка — это глупость, безумие… Платон должен вернуть нам врождённые идеи — великое, истинное, утешительное учение. Локк ошибался, назвав свою книгу *Философским опытом о человеческом разуме*, ибо он не сделал ни шага к его пониманию… Единственное, что в его книге заслуживает внимания, — это грамматический анализ… Вольтер… вписал имя Локка в свои стихи, отсюда и слава этого скучного и нечитабельного Локка… Все эти нелепости, которые я опроверг и которые были прославлены Локком, Кондильяком и их учениками, собраны в этой Энциклопедии, зловещем сборнике самых чудовищных заблуждений, и именно там наши софисты черпают их до сих пор. Институт — единственное место в Европе, где ещё осмеливаются их защищать…». Во втором мемуаре: «Всё, что вне мысли — в небытии… Идея — это то, что существует… Давление духа на идею порождает мысль… Мысль — это свет разума… Мысль, в бесконечном порядке, всегда является ключом к другой мысли… Интуиция неисчерпаема, поэтому дикарь может возвыситься до идеи Бога, поскольку он познаёт Его интуитивно… Я мыслю — значит, я существую. Более того: когда я говорю — я сомневаюсь — я существую бесконечно… Отрицая врождённые идеи, вы делаете душу составной… Когда анатом обнаружил нерв, сухожилие, фибриллу — он считает, что понял всё… Локк не продвинулся дальше анатомов. Кто объяснит религиозное чувство, этот божественный, спасительный инстинкт, эту естественную религию, которой все люди дали своё одобрение? Разве слова "Бог" и "добрый" не синонимы у дикарей?… Идея Бога — врождённая идея, тем более надёжная, что она не происходит от наших институтов… Если бы наш разум не был омрачён страстями, ничто не доставляло бы нам большего удовольствия, чем эта интуиция… (См. Л. Карро, *Заключение религиозной философии в Англии*)… Вы хотите познать разум — и отрицаете его; когда вы подчиняете его своему беспощадному скальпелю, вы его разрушаете, вы его убиваете… Зачем искать свет в смерти, в материи, когда он существует в нас — в душе, в мысли?» (См. Ф. Раваиссон, *Философия во Франции в XIX веке*.). С этими мемуарами Мерсье можно сопоставить антилоккистский мемуар о знаках врача Рей-Казияка, который в 1799 году писал в Институт с целью доказать, что nihil est in intellectu — крайне ложное предубеждение, древняя ошибка. (*Неизданные документы Института*, введение, стр. 16.)

заявлял, что существование Творца проявляется в нас через интуицию, что мышление свидетельствует о финальных причинах, что душа предшествует телу, и что система врождённых идей и интуиции через внутреннее чувство поддерживается Декартом и Мальбраншем, Бонне и «Премудростью, которая под именем Канта вызывает восхищение всей Германии». Таким образом, Мерсье, среди почитателей Локка и Кондильяка, смог с исключительной резкостью обрушиться на них. Он, задолго до Виктора Кузена, восхвалял Платона, Прокла и Канта — и ни один из коллег, чьи убеждения он задевал, не прервал его. Именно это, как нам кажется, даёт нам основание поставить под сомнение знаменитую анекдоту, приписывающую выдающимся членам Института необычайную нетерпимость [1].

Упомянем также, в течение VIII года, мемуары Дежерандо и Дестюта де Траси о пасиграфии, а также Мерлена — о необходимости универсального и единообразного кодекса для Республики. «Этот кодекс, — говорил он, — станет самым прекрасным плодом почётного и прочного мира, который обещают гений и фортуна нашего героя, мужество генералов, доблесть граждан, вооружённых за наше дело, поля Маренго и обет, который мы все даём — быть друзьями всех людей, всех народов, всех государей, если только они не захотят быть нашими врагами». В IX году Кабанис рассматривал влияние болезней на формирование идей и на моральные аффекты; Дону — классификацию библиотеки; Тулонжон — понятие духа; Дежерандо — философию Канта; Бушо — систему Гоббса и мораль Цицерона. Вторая секция присудила премию за работу об *эмуляции* (соперничестве) Фёйе и отметила ещё четыре мемуара, один из которых — на немецком языке. Третий том её *Мемуаров* содержит, помимо исследования Левека *«О некоторых значениях слова "природа"»*, также и *«Историческое сообщение»* Бугенвиля о североамериканских «дикарях», три мемуара Дестюта де Траси: *«О чувстве сопротивления», «О гипотезах Мальбранша и Беркли», «О проектах пасиграфии».* Дестют де Траси, готовившийся к изданию своих *«Элементов идеологии»*, обещал довести до конца идеологическое исследование человека, дополнив физиологическое исследование, начатое Кабанисом. Оба могли считаться мастерами французской философии.

Остаётся упомянуть, в завершение этого краткого обзора истории второй секции, мемуары Мерсье: *«О философии Канта»*, *«О сравнении философии Канта с философией Фихте»*; мемуары Дестюта де Траси — *«О философии Канта»* [2]; Дежерандо — *«О дикаре из Аверона»*; Делиля де Саля — *«О Боге»*; Левека — *«О моральной симпатии»*, что свидетельствует о влиянии Кабаниса; Бушо — *«О Сенеке»* и *«Об Эпиктете»*, в котором он оспаривает учение о врождённых идеях, и т.д. Следует также напомнить о конкурсах: на тему *привычки*, где Биран был сначала отмечен, а затем удостоен премии; и на тему

1 Гл. IV, § 5.
2 См. главу VI, § 3.

разложения мышления, итоги по которому были подведены уже после реорганизации Института. Наконец, Дестют де Траси представил часть своей *«Генеральной грамматики»*. Что касается двух последних томов секции, то первый, опубликованный в XI году, открывался восторженной хвалой 18 брюмера — «дня, навсегда памятного в летописях Франции, в анналах Института, который дал правительству первого консула — Бонапарта, второго — Камбасереса и призвал к себе третьего — Шарля-Франсуа Лебрена». Пятый том вышел в XII году — уже после закрытия центральных школ и самой второй секции — в то время как Наполеон, расправившись с Трибунатом, стал пожизненным консулом. Идеология более не в чести, и почти все печатаемые мемуары касаются либо древней истории, либо истории Франции до Нового времени.

В итоге, вторая секция, просуществовавшая всего около семи лет, вызвала значительное философское движение. *«Размышления о связи физического и морального»* Кабаниса, *«Идеология»* Дестюта де Траси, исследования о знаках у Дежерандо и Прево, труды Бирана о привычке и о разложении мышления — всё это более чем достаточно подтверждает её значимость. Многочисленные мемуары о Канте показывают, что интерес к зарубежной философской мысли был весьма живым и устойчивым.

Мы уже видели, когда цитировали Битóбе, а до него — Био, Лакруа, Шенье, Пинеля, Ламарка, Дюпюи, что три секции Института «представляли собой живую Энциклопедию» и каждая отводила место философским исследованиям, дополнявшим их позитивные труды. Это справедливо даже по отношению к тем, кто вскоре стал врагом философии. Если Гара, на публичном заседании 15 нивоза VI года, хвалил Бонапарта за его спокойные наклонности, разнообразные познания и наблюдательность, добавляя, что он будет, завершив свои дела, считаться «философом, который на мгновение возглавил армии», — то Бонапарт ответил так, чтобы показать, насколько высоко он ценит эту похвалу: «Истинные завоевания, — сказал он, — единственные, о которых не приходится сожалеть, — это завоевания над невежеством. Самое почётное и полезное занятие — способствовать расширению человеческого знания. Подлинная сила Французской республики должна отныне состоять в том, чтобы не допускать существования ни одной новой идеи, которая не принадлежала бы ей» [1]. И не только Бонапарт, который впоследствии будет везде преследовать идеологию, но и Кювье, в своих «Похвальных речах» не устававший насмехаться над философией, мыслит в духе Дестюта де Траси и Кабаниса: «Именно в тот момент, когда гремит буря, — говорит он в VIII году, — именно тогда, когда само слово "учёный" считается преступлением в глазах некоторых врагов Франции, именно когда против науки и философии организована крестовая кампания — Национальный институт, с непоколебимой

[1] *Декада от 9 января 1798*.

стойкостью, посвящает себя распространению образования, совершенствованию наук и распространению философии» [1].

Не следует, впрочем, думать, что с упразднением второй секции философия полностью исчезла из Института. Секция истории и древней литературы присуждает премию за *Разложение мышления*. На её заседаниях читаются мемуары Дюпона де Немура *О нравственной свободе*, где он утверждает в 1813 году, что «без свободы не существует морали»; мемуары Дежерандо *Об истории интеллектуальных методов*. На заседании 21 декабря 1808 года Андриё произносит похвалу Фенелону, чтобы перейти к похвале Кабанису; а Дестют де Траси восхваляет и философию, и друга, которого он потерял; де Сегюр сам говорит об идеологии — и не слишком плохо отзывается о ней. Философия продолжала сохранять значительное место в реформированном Институте даже после 1808 года — в отчётах Дежерандо, Сюара и Шенье [2], в знаменитом мемуаре Дону *«О судьбе»*.

Наконец, в 1833 году Академия моральных и политических наук возрождает вторую секцию. Дестют де Траси и Ларомигьер, Дроз и Дежерандо, Сийес, Лаканаль и Талейран, Рёдерер и Гара, Дону и Бруссе, Дюнуайе и Шарль Конт представляли там идеологию. Самые интересные и уместные биографические очерки Минье на протяжении почти двадцати лет были посвящены именно идеологам.

Национальный институт являлся венцом всех учреждений, посвящённых народному просвещению и утверждённых Конвентом. Это были не только профессора центральных школ — это были и преподаватели всех специальных школ, которые могли видеть в членах Института «вождей образования». Помимо самого Института, но работая, как и он, над развитием наук, искусств и литературы (неотделимых от развития философии), формируется множество учёных обществ, среди которых мы упомянем лишь самые важные. Институт Египта был едва ли менее знаменит, чем Институт Франции — тем более что последний предоставил ему свои лучшие кадры. Институт Лигурии включал секцию, посвящённую искусству рассуждения и анализу операций рассудка.

В Париже Медицинское эмуляционное общество, о котором мы уже говорили, ставит своей целью соединить медицину с философией. В Республиканском лицее, позднее ставшем Афинеем, Лагарп нападает на Туссена, Гельвеция, Дидро, Руссо, *«Систему природы»*, но говорит с похвалой о Фонтенеле, Бюффоне, Монтескьё, Д'Аламбере и Кондильяке. Рёдерер преподаёт там политическую экономию, Мерсье критикует Кондильяка и Локка, Гара читает курс по истории Египта, Дежерандо ведёт курс моральной философии и разбирает ощущения; Леруа зачитывает различные диссертации

1 *Декада от 20 брюмера.*
2 *Ср. гл. VII, § 1.*

об физическом воспитании детей, об ощущениях и привычках. Моро де ла Сарт говорит о характерах, разновидностях человеческого рода, об упадке, которому он подвержен. Женгене́, Сикар, Био, Демаймё читают лекции или выступают с сообщениями. Лагарп и Сю, Демуатье и Туро преподают в Лицее для иностранцев. Общество наблюдателей за человеком ставит целью подчеркнуть важность внимательного изучения физических, интеллектуальных и нравственных способностей, определить, что уже сделано, а что ещё предстоит, и наметить границу между достоверным и гипотетическим знанием. Среди его членов — Демаймё, автор системы пасиграфии, Кювье, Дежерандо, Пинель, Порталис, Моро де ла Сарт, Жоффре, Патрен и капитан Боден. Последнему, отправляющемуся в Новую Голландию, Кювье пишет *Рассуждения о методах наблюдения за физическим человеком*, а Дежерандо — *О наблюдении за дикарями*; Моро де ла Сарт перечисляет предметы, которые могли бы войти в коллекцию музея, проект которого разработан Обществом. В качестве премии учреждается бронзовая медаль и шестьсот франков за лучшее сочинение на тему: *«Определить посредством ежедневного наблюдения за одним или несколькими младенцами порядок, в котором развиваются физические, интеллектуальные и нравственные способности, и выяснить, в какой степени это развитие поддерживается или, напротив, тормозится влиянием окружающих предметов и — в ещё большей степени — влиянием лиц, с которыми ребёнок взаимодействует».* Пинель сообщает наблюдения над психически больными и их классификацию по различным типам; Патрен — о нравах и обычаях сибирских русских и казанских татар; Лёблон — о молодом китайце, находившемся в Париже. Порталис представляет отрывки из своего *Философского духа*. Читается мемуар о новом и лёгком способе научить врождённо глухонемых произношению. Массьё, знаменитый ученик Сикара, выражает с помощью жестов своё детство, которое он предварительно изложил в письменной форме [1]. Лицей искусств устраивает торжественную панихиду в память об illustrious и несчастном Лавуазье. В Республиканском портике Ларош, друг Гельвеция и переводчик Горация, преподносит бюст этого философа. *Школа и полиматическое общество* располагает преподавателями, специально занимающимися совершенствованием, передачей знаний и анализом разума в применении к искусству учения и преподавания [2]. Сикар читает в Филотехническом обществе мемуар о механизме речи [3]. Филоматическое общество принимает только те мемуары, которые содержат факты, наблюдения или интересные и новые идеи [4]. Общество поощрения национальной промышленности насчитывает среди своих членов не одного идеолога, таких как Дежерандо или Ж.-Б. Сэй, и не уклоняется от рассмотрения философских вопросов.

---

1 *Декада философская, 30 термидора ан VIII и 30 брюмера IX года*.

2 *Там же, 30 брюмера IX года*.

3 *Там же, 10 фримера X года*.

4 *Там же, 10 флореаля X года*.

В Обществе наук и искусств Дуэ поднимают тосты в честь Бонапарта, Институтов Франции и Египта, философов, прославивших XVIII век, Кондорсе, Байи, Малзерба, Лавуазье и других жертв «вандализма»; в качестве конкурсной темы предлагается: *Сравнение между XVIII веком и веком Людовика XIV с точки зрения науки и искусства*. Общество сельского хозяйства, наук и искусств в Шалоне изучает способы искоренения нищенства. В Нанси существует Общество здравоохранения и Общество эмуляции, в котором состоит сын знаменитого эллиниста Швейггейзера. Там изучают *Книгу Иова* и восхваляют Гесснера [1]. Общество сельского хозяйства, наук и искусств Нижнего Рейна предлагает следующую тему для премии: *Каковы средства распространения знания и употребления французского языка среди жителей всех классов в департаментах Республики, где разговорным языком является немецкий?* [2]. Ноэль, бывший помощник комиссара по народному образованию, министр в Венеции и Голландии, трибун и будущий генеральный инспектор Университета, основывает в Кольмаре, где он префект, Общество эмуляции, главной целью которого является распространение просвещения, содействие развитию промышленности, поощрение достоинств, популяризация богатств, нужд и ресурсов всех частей департамента. Пфессель, автор немецких поэм, и Франсуа, профессор математики в Центральной школе, являются вице-президентом и секретарём этого общества. *Декада*, чтобы показать пользу данного общества, напоминает, что его вице-президент ещё в IV году разработал план *промышленной географии*, включавший таблицу сырьевых материалов, используемых национальной промышленностью, и проект кабинета естественной истории, в котором хранились бы образцы всех видов сырья рядом с образцами различных промышленных изделий страны [3].

В Гренобле существовал Лицей наук и искусств, который за пять лет создал сто двадцать мемуаров, речей, диссертаций и отдельных сочинений. В него входили профессора Центральной школы — Гатель, Берриа Сен-При, Дюбуа-Фонтанель. На одном из его публичных заседаний присутствовали епископ Гренобля и знаменитый лионский врач Пти, а также Бонно, ученик Руссо, племянник Кондильяка и Мабли. На конкурс по вопросу *о совершенствовании физического и нравственного воспитания детей* было подано тринадцать мемуаров. Победивший мемуар сопровождался эпиграфом, заимствованным у Бэкона и часто повторявшимся в то время: *Необходимо пересоздать разум* [4]. В Марселе — свой Лицей наук и искусств; в Монпелье — своё Общество, где состоят Карне и Драпарно [5]; в Тулоне — Свободное общество эмуляции. Академия Гарда публикует перевод Трелиса фрагмента Платона, найденного среди развалин Агриджента, и предлагает в качестве конкурсной темы — *Похвала Малзербу*. Общество наук и искусств Монтобана награждает мемуар

1 *Там же, 10 жерминаля XII года.*
2 *Там же, 20 мессидора XI года.*
3 *Декада, 30 флореаля IX года.*
4 *30 флореаля IX года, 30 фруктидора XI года.*
5 *Ср. гл. VII, § 3.*

на тему *О наилучшем виде женского воспитания, способного сделать мужчин счастливыми в обществе*. В Афинее департамента Жерс Видо пишет о дружбе и её влиянии на действия и счастье человека [1]. В Бурже существуют Общество сельского хозяйства, торговли и искусств, а также Лицей эмуляции. В то время как для Фуше восстанавливают Министерство общей полиции, *Декада* сообщает о мемуарах Лицея Йонны и о протоколах публичных заседаний Афинея Пуатье, которые, по её словам, «вселяют утешение и надежду на защиту от возвращения времён невежества и одурения». Наконец, напомним об Обществе эмуляции в Руане, упомянутом в связи с центральными школами, и о Лицее наук, литературы и искусств в Алансоне, среди корреспондентов которого — Дюпюи и Вольней.

IV

Газеты; «Философская декада»

Школа, желавшая добиться торжества своих идей в политике, в воспитании, в морали и законодательстве, в политической экономии и литературе, должна была стремиться к их распространению через периодику, количество которой значительно возросло после созыва Генеральных штатов. Не останавливаясь подробно на чисто политических изданиях, таких как *Journal de Paris*, в котором писали Лаланд, Рёдерер, Гара, Вольней, Кондорсе, или *Moniteur*, где публиковались статьи Дестюта де Траси и Фонтана, мы упомянем ряд других изданий, характер которых кажется нам более целиком идеологическим. Кондорсе, Сийес и Дюамель основали *Journal d'instruction sociale* (Журнал общественного просвещения). *Journal des Savants* (Журнал учёных) вновь начал выходить с участием Камю, Ланглеса, Сильвестра де Саси, Дону и др.; *Clef du cabinet des souverains* (Ключ к кабинетам монархов) Панкука редактировали Дону, Гара, Фонтан, Руссель. Саррет, по приглашению Талейрана, основал *Le Conservateur*, в который последний поставлял иностранные новости; Гара писал статьи по внешней политике; Дону — по общей политике и философии. Шенье и Бужолен писали о литературе, Кабанис — о зарубежной литературе. Сийес обещал сотрудничество, но в итоге остался в стороне от издания [2]. Другой *Conservateur*, выпущенный в VIII году Франсуа (де Нёшато), стал одним из самых любопытных сборников революционной эпохи [3]. Однако, как нам

---

1 *Декада, 10 и 20 термидора XI года*.

2 Тайяндье, *Документы о Дону*, стр. 110–119; *Декада*, 27 августа, 6 сентября 1797.

3 Здесь можно найти переводы Вергилия, которые Тюрго пытался переложить метрическими стихами и гексаметрами; письма Бюффона к аббату Бексону и секретный доклад Байи о месмеризме; «Дух библиотек» Леклера и речь о естественном и общественном порядке, рассмотренном с точки зрения всеобщего блага, произнесённую перед обществом Таммани в Филадельфии Жоржем Логаном; оду о браке священников, с историческими и

кажется, наиболее интересными в нём являются материалы, касающиеся философии Канта [1]. Наконец, Дону писал статьи для *Annales patriotiques et littéraires* (Патриотические и литературные анналы) Мерсье в рубрике «Конвент». Домерг и Туро основали *Journal de la langue française* (Журнал французского языка) и др.

Но самым ярким органом школы была *La Décade*. Она начала выходить во флореале II года (апрель–май 1794), в то время как Робеспьер, избавившись от эбертистов и дантонистов, провозглашал через Конвент, что террор и добродетель — лозунги дня. Основанная обществом республиканцев, *La Décade* стремилась показать, что просвещение и мораль [2] столь же необходимы для сохранения Республики, как мужество — для её завоевания. Цель, которую ставили перед собой авторы, стала особенно очевидной в условиях политической и религиозной реакции, когда само название журнала стало восприниматься как протест против господствующих тенденций: «Шесть лет назад, — писали они 20 фрюктидора VIII года (6 сентября 1800), — этот журнал был основан обществом людей пера, чтобы поставить преграду невежеству, которое грозило уничтожить все памятники гения и искусства. Шамфор, один из учредителей, погиб; другой литератор, главный автор проекта, был брошен в тюрьмы Террора... План журнала был расширен, а исполнение — усовершенствовано... Наше название, — добавляли они, — запрещает нам пренебрегать философскими науками и велит, в меру наших сил, противостоять попыткам некоторых людей обратить человеческий разум вспять — к варварству и предрассудкам, от которых столь многие великие писатели стремились его освободить. Самая благородная из задач теперь — завершить то, что они начали». Истинным основателем журнала был Женгене́, который, выйдя из тюрем Террора, сожалел о том, что у него не было времени использовать богатейшую «жилу» философии, очищенной размышлением и добродетелью. Будучи послом в Турине в течение части VI и VII годов, он был заменён на посту редактора Бужоленом, а в административной части — Ж.-Б. Сэем; затем вернулся в *La Décade* в термидоре VII года (июль 1799) и вновь стал её руководителем, когда Сэй был назначен в Трибунат. Кто же, кроме Сэя

философскими примечаниями; письма Ж.-Ж. Руссо к Кондорсе и к маршалихе де Люксембург; заметку об экземпляре сочинений Вольтера, подаренном им Гельвецию, и «Поэтические опыты» Гельвеция с примечаниями Вольтера; наконец, портрет Фенелона, написанный д'Агессо, материалы, относящиеся к похоронам Мольера и Вольтера и др.

1 Избранные отрывки, предназначенные для составления представления о философии Канта, которая вызывает столько шума в Германии: литературное сообщение об Иммануиле Канте и о состоянии метафизики в Германии в то время, когда этот философ начал привлекать внимание, извлечённое из «Северного наблюдателя»; перевод «Идеи о возможной всеобщей истории с точки зрения гражданина мира» Канта, «Теории чистой моральной религии в её связи с подлинным христианством» и «Пояснений к теории моральной религии», с общими рассуждениями о философии Канта (всего 98 страниц). См. также наше «Введение к *Критике практического разума*».

2 Разве это не наша афинская республика?

и Женгене́, был среди основателей *La Décade*? В 1801 году большинство из них входили в состав Института.

В конце X года *La Décade* была названа «самым печальным из периодических памфлетов, которые мог бы выдумать продажный писатель», «декадским богохульством против языка», «памфлетом против здравого смысла». Редакторам, говорилось далее, приписывали то, что они «превратили язык древних корифеев философии, ещё недавно чаровавший своей магией, в подлый жаргон плебейской метафизики»; утверждалось даже, будто в этой банде молодых вандалов находился автор скандального листка под заголовком «Приключения Иисуса Христа» (les Aventures de J.-C.). Авторы *Décade* горячо возразили и представили дополнительные пояснения: «Наша ассоциация, — говорили они, — образовалась почти девять лет назад, в начале II года. Нашей целью было как раз противостоять *этому* вандализму, этому плебейскому тону, этому презрению к языку, к литературным принципам и образцам, *тем* порокам, которые тогда господствовали — и в которых теперь нас смеет обвинять наш клеветник… Нас было шесть… Пятеро других не пали духом, *La Décade* выходила без перерывов… Особенно в первые годы это была единственная литературная газета, которая защищала — с любовью и сознанием дела — то, что новоявленные литераторы сегодня будто бы защищают по партийным соображениям, в сущности ничего в этом не понимая… Язык и правила вкуса всегда в ней соблюдались, здравый смысл был для нас нормой… Если французская философия, которая вовсе не есть метафизика, но разоблачила пороки запутанной метафизики, — если она всё же считается «плебейской метафизикой», то мы признаём: это именно наша философия. Мы были столь далеки от того, чтобы быть наёмными писателями, что не раз поддерживали это издание безо всякой материальной выгоды, по меньшей мере для себя — лишь из соображений пользы, которую оно могло принести, и чтобы оправдать поддержку, оказанную нам друзьями литературы, подлинной философии и разумной свободы… Мы — не какое-то общество молодых людей, не «банда вандалов»… Подобные забавы (как *Приключения И. Христа*) не соответствуют ни нашему возрасту, ни нашему характеру, ни положению или состоянию кого-либо из нас. Если наш обвинитель, скрывающий своё имя, назовёт его, мы назовём свои: среди них нет ни одного, за который порядочный человек должен был бы стыдиться». *La Décade* больше не возвращалась к этому инциденту, и нам доподлинно не известны имена всех шести её основателей. Однако мы знаем Амори Дюваля (Amaury Duval), которого Сент-Бёв называет бывшим главным редактором, и среди постоянных или случайных сотрудников — Иоахима Лебретона, Селиса, Бужолена, Форьеля (последний публиковал интересные статьи о мадам де Сталь и Виллерсе); Ораса Сэя, преждевременную смерть которого оплакивал Ж.-Б. Сэй; Туро, писавшего об исследованиях Кабаниса и Дестюта де Траси; М.-Ж. Шенье и Андриё, Б. де Сен-Пьера, чьи письма и речи публиковались в журнале; Рёдерера, споривше го о грамматике с Домергом и защищавшего современную философию против Рива-Роля; Драпарно и Дюпона де Немура, Ришерана и

Моро де ла Сарт, Био и Гумбольдта, Салавиля и Рума, Батеншона, Дезрено и Эймара. Кабанис направлял в журнал важное письмо о доктрине совершенствования; Кювье подумывал о том, чтобы сделать разбор книги Виллерса.

La Décade жила довольно трудно. Часто в конце номера читатель встречал сообщение о повышении цены подписки из-за огромного роста цен на сырьё, бумагу, труд и гербовый сбор. В конце 1798 года Директория грозила её закрыть, так как в политических статьях, хоть и деликатно, критиковались некоторые дипломатические действия, имевшие самые печальные последствия. Но ситуация стала ещё сложнее, когда политическая и религиозная реакция, поощряемая Бонапартом, успешно атаковала все те идеи, которые *Décade* взяла себе в защиту. Мы уже упомянули об оскорблениях, на которые она сочла нужным ответить. В термидоре журнал *Observateur des spectacles* советует ей сменить название. *La Décade* возражает: «Мы держимся за это название не из духа оппозиции к нынешним вкусам публики, но потому, что оно известно как во Франции, так и за её пределами, и его замена могла бы создать впечатление, будто взгляды редакции — или сами редакторы — изменились: "Журнал, обладающий какой-никакой репутацией, не может безнаказанно отказаться от своего названия"». Но когда Наполеон упразднил центральные школы, секцию моральных и политических наук и Трибунат; когда он стал видеть в «идеологах» своих злейших врагов, *La Décade* уже не могла свободно публиковать взгляды своих авторов — и тем более не могла продолжать выполнять ту миссию, которую поставила перед собой.

Пока *La Décade* существовала, она мужественно защищала философию — такой, какой её понимал XVIII век и какой её представляли себе идеологи. 10 сентября 1796 года она анонсирует поэму *«Вогезы»* Франсуа (де Нёшато), который, долгое время находясь в заключении и лишённый своих бумаг, продолжал любить свою родину и Республику: «Прекрасный пример, — пишет журнал, — для тех, кто, всю жизнь проповедовав философию... теперь её очерняет, клевещет на неё, приписывая ей все ужасы, осквернившие Революцию, будто Вольтер, Монтескьё, Бюффон, Гельвеций, Дидро, Д'Аламбер, Руссо, Рейналь проповедовали преступление, воспевали разбой и возвели убийство в ранг заповеди!». Три месяца спустя, отмечая появление журнала *Spectateur du Nord* (Северный наблюдатель), *La Décade* задаётся вопросом: почему верующие утверждают, будто «омерзительная философия XVIII века» проповедует восстание против всякой власти, презрение ко всем обязанностям и забвение всех чувств, будто она обучила и воодушевила чудовищ, опустошивших Францию, будто Робеспьер, Колло, Лебон, Каррье были философами! По поводу брошюры Крюзе-Латуша о философской и религиозной нетерпимости *La Décade* напоминает, что философия была одной из первых целей ярости революционного правительства: Марата парижские избиратели предпочли Пристли, бюст Гельвеция был разбит якобинцами. Кондорсе, Байи и Лавуазье стали жертвами революционного правительства. В

тот же день (20 декабря 1797 года), когда *La Décade* сообщает, что получила столько стихов в похвалу Бонапарту, что ими можно было бы заполнить весь выпуск, она заявляет: «Революция, созданная философией, должна быть ею же и сохранена». Она вновь обращается к книге Марата, где Локк, Кондильяк, Гельвеций и другие названы невеждами. Рёдерер защищает в ней философию от нападок Рива-Роля и напоминает, что Робеспьер — которого представляют как главного приспешника современной философии — на деле был её хулителем и врагом философов, считая их не кем иным, как честолюбивыми шарлатанами. *La Décade* отмечает речь Кювье, в которой тот осуждает крестовый поход, развернувшийся против науки и философии. Она заявляет, что книга *О влиянии философии на религию*, подписанная «офицером кавалерии», принадлежит человеку, который абсолютно не знает философии и очень плохо понимает Революцию. Она указывает на то, что обвинение в философии и в приверженности тому или иному либеральному принципу или идее — это лишь способ сначала их высмеять, а затем надёжнее запретить, — особенно в тот момент, когда выходит в свет *«Атала»* и обсуждается закрытие центральных школ. Она публикует речь Шенье в защиту этих школ и в похвалу XVIII веку и его философии. Затем она сообщает о книге Мунье *О влиянии, приписываемом философам, франкмасонам и иллюминатам на Французскую революцию:* «Хотели, — пишет анонимный редактор, — объединить под общей анафемой и дело просвещения, и дело свободы... Придумали заговоры философов... [1], хотели возложить на философию ответственность за крайности Революции, тогда как её влияние проявилось лишь в её принципах, — с тем, чтобы сделать её одинаково ненавистной всем правительствам и всем народам... Мунье развенчал все эти теории и вывел из самой нашей истории и сквозь наши споры эту возвышенную связь философии и свободы, столь древнюю, как сама мысль, и столь прочную, как разум». В этом же номере, сообщая о том, что Дежерандо был удостоен премии Берлинской академии и избран корреспондентом академий Женевы и Турина, *La Décade* добавляет: «Это, по крайней мере, доказывает, что доктрина Локка и Кондильяка ныне объединяет одобрение самых просвещённых научных обществ Европы». Когда Деспаз отправляет аббату Сикару сатиру — литературную, моральную и политическую — в которой он утверждает, что в XVIII веке:

> …безмятежный атеизм, провозглашая свои догматы,
> Душит угрызения, чтобы ободрить преступления,

La Décade в ответ цитирует стих Вольтера::

> Если Бога не существует, его нужно выдумать.

С удовольствием она воспроизводит слова Б. де Сен-Пьера, сказанные в Парижском лицее (16 брюмера X года): «Каждый рассуждает согласно своему

[1] На некоторые места у Кабаниса можно ссылаться, ср. гл. IV, § 2.

положению, своей религии, своей нации — и особенно согласно своему воспитанию, которое даёт первую и последнюю окраску нашему суждению. Один только философ соотносит свой разум с всеобщим разумом Вселенной — так, как мы сверяем часы по солнцу».

Сообщая, что вопрос *«Будет ли Наполеон Бонапарт пожизненным консулом?»* решён единогласно в департаменте Сена, *La Décade* замечает, опираясь на каталог последней Лейпцигской ярмарки, что: «Немцы (и их книги тому доказательство) по-прежнему ценят науки, изящные искусства и философию!... Честь германской нации!». В рецензии на *«Гений христианства»* Женгене возмущается партийным духом, который вдохновил нападки на философию, обвинённую теперь во всех бедах только ради того, чтобы помешать добру, которое она хотела бы принести; обвинённую даже в том, что она губительна для истинных женских прелестей, и что она якобы не менее жестока и кровожадна, чем фанатизм! Существует своего рода мужество, — говорит она в XII году, — публиковать сегодня под заглавием *Философия* важный трактат по метафизике и грамматике, имея в виду *Основы философии* Монжена. Действительно, мадам де Жанлис не только превозносит времена Людовика XIV, но и «с упорством работает над тем, чтобы унизить и очернить память всех тех, кто мог принадлежать к тому, что автор называет философской сектой»; Вольтера обвиняют в атеизме, и общество запугивается «возвращением времён невежества и одичания»; Наполеон провозглашён императором по наследству, а Фуше вновь назначен министром полиции, воссозданного после осуждения Моро и его сообщников!

Вот почему *Décade* столь высоко ценит философов XVIII века. Она ссылается на авторитет Локка, Гельвеция и Кондильяка, чтобы утверждать, что только анализ позволяет нам с уверенностью проникнуть в святилище науки. Она хвалит Сикара за то, что тот применил к искусству обучения чтению истины, открытые Локком и Кондильяком. Чтобы дать тем, кто уже восхищается его трудами, представление о характере Локка, *Décade* переводит его письмо к Молинё — образец простоты и скромности; мадам де Жанлис отсылается к *Гражданскому правлению*. Андриё прославляет Локка в стихах; Дегерль восхваляет его в Сент-Сире и ставит рядом с Бэконом, Дюмарсе и Кондильяком. Именно на Локка и Кондильяка опирается Дорш, чтобы привлечь внимание к Канту, или Орас Сэй — чтобы задумать труд об уме человека, или Лакруа и Био [1] - чтобы объяснить прогресс метафизики.

В августе 1797 года *Décade* сообщает о новом издании сочинений Кондильяка, которое будет включать двадцать два или двадцать три тома, и заявляет, что всегда с интересом наблюдает за появлением новых изданий этого элементарного труда, который до сих пор остаётся наилучшим. Точно так же

[1] III, стр. 462, 29 января 1797; 20 фруктидора года IX, т. VII, стр. 357; Ф. Пикаве, *Философия Канта во Франции с 1773 по 1814 год*; *Декада*, 30 мессидора года VIII, 20 фруктидора года IX.

она упоминает об издании *Полного собрания сочинений* Гельвеция, содержащем новые материалы, достойные внимания философов, и энергично защищает его от нападок Лагарпа и тех, кто к нему примкнул [1].

Она строга к Дидро, «который в грубых выражениях пересказывает грязные истории» в *Жаке-Фаталисте* и *Нескромных драгоценностях*, хотя и считает *Монахиню* вечным памятником развращённости монастырей и цитирует Дидро как предшественника Кабаниса, как самого мощного борца, которого можно противопоставить противникам философских принципов. Тем не менее она с радостью сообщает о посмертных сочинениях Д'Аламбера, о переводе Ласалем Бэкона — «этого великого человека, которому философия и науки будут вечно обязаны». Чтобы говорить о Монтескьё, как это делает Лагарп, — по мнению одного из её редакторов, — вовсе не обязательно его читать. Сам Томас, благодаря своему *Марку Аврелию* и *Опыту о похвальных речах*, кажется достойным быть поставленным рядом с Монтескьё и Руссо. Что касается Вольтера, *Décade* почти не вспоминает о нём, кроме уже приведённого стиха. Но чтобы представить весь век — даже в том, что ныне вызывает наибольшие споры, — она говорит о «великом Мабли, который удостоил Робертсона чести быть в числе своих критиков» [2].

Кондорсе — один из философов, к которому авторы *Décade* испытывают наибольшее уважение и восхищение. Уже в III году она приводит сведения о его смерти; в том же году Женгене объявляет об *Эскизе исторической картины прогресса человеческого разума* и не боится поставить прекрасную заключительную страницу этого труда рядом с тем, что древние философы оставили самого возвышенного. Если 30 вантоза VII года редактор раздела «Внутренние дела» говорит с определённым пренебрежением, что доктора «школы усовершенствования человеческого разума» не задумываются о том, что девяносто девять сотых людей вовсе не являются метафизиками и ничуть от этого не страдают, *Décade*, по поводу этой статьи, которая справедливо возмутила некоторых друзей философии, считает необходимым — в силу своего названия, духа, который всегда ею руководил, постоянства и твёрдости её принципов — объясниться ясно и откровенно:

«Если сторонники усовершенствования человеческого разума и составляют школу, то они никоим образом не претендуют быть докторами. У этой

---

1 «У Гельвеция, — говорит она, — при жизни были лишь гонения фанатиков, нападки глупцов, а после смерти — пинки Робеспьера, который публично разбил его бюст, и критика, недавно вновь возобновлённая "Христианским журналом" и "Церковной газетой", принадлежащая перу богослова нового пошиба, который, начав с вольтеровской школы, на склоне лет переметнулся к школе Нонотта и брата Бертие. Скорее всего, эти современные проповеди постигнет та же судьба, что и прежние: всегда будет чуть больше славы под знаменами Вольтера и Гельвеция, чем с завязанными глазами следовать за Бертие и Нонотом».

2 О влиянии Мабли см. конец «Введения».

школы был в числе её главных представителей один из самых оплакиваемых жертв варварства 1793 года, память которого не должна быть оскорблена никакими обидными обозначениями. Друзья его памяти, придерживающиеся тех же убеждений, — это в общем достаточно здравомыслящие люди и хорошие республиканцы, чтобы, даже допуская у них ошибки, обращаться к ним с большим уважением... Если девяносто девять сотых людей не являются метафизиками и от этого не страдают, они, возможно, страдали бы ещё меньше, если бы оставшаяся сотая часть — та, что призвана направлять, просвещать, управлять и подчинять хорошим законам остальные девяносто девять — была бы немного лучшими метафизиками; но не в старом смысле этого слова, а в духе новой школы... Люди, обвинённые в том, что они верят в усовершенствование человеческого разума в такой степени, которую они сами считают трудной и дерзкой для определения, — были первыми, кто подумал, сказал и написал, что именно великие учреждения, способные затронуть чувства и сердце, — это то, чем в первую очередь следует заниматься, если хочешь возродить народ. Им больно не только от того, что их голос до сих пор не был услышан, но и оттого, что им приписывают мнение прямо противоположное».

Вслед за этой статьёй Кабанис написал в *Décade* прекрасное и примечательное письмо, в котором он одновременно защищал философию, идущую от Локка, Кондильяка, Гельвеция, и доктрину усовершенствования. Форьель замечает, анализируя *Литературу* мадам де Сталь, что она сводит большую часть своих размышлений, идей и наблюдений о прошлом и настоящем состоянии человеческого разума в области знаний к системе бесконечного совершенствования человеческого рода, стремясь развить и подтвердить её [1]. Во втором издании своего труда мадам де Сталь писала, что, говоря так, она вовсе не имела в виду мечтания некоторых мыслителей о неправдоподобном будущем, но имела в виду поступательное развитие цивилизации во всех сословиях и во всех странах. И редактор *Décade* утверждал, что это мнение, в такой формулировке, было мнением всех просвещённых философов за последние пятьдесят лет — как в соседних нациях, так и у нас [2]. Для Моро де ла Сарта XIX век — это та эпоха, которую обозначил Кондорсе, когда науки, ставшие утешением и провидением человечества, должны посвятить свои благородные усилия уменьшению суммы бедствий и увеличению блага, приносимого цивилизацией [3]. Учение о совершенствовании, по мнению Ж.-Б. Салавиля, было присуще всем философам античности; оно провозглашалось в последние века всеми писателями, друзьями человечества и ревнителями морали. Это есть способность переходить от известного к неизвестному — и именно это приводит его к сомнению в принципе Локка и Кондильяка, которые помещают

1 *10 прериаля VIII года.*
2 *30 брюмера IX года.*
3 10 фруктидора IX года.

источник или причину разума в чувственности [1]. Женгене резко упрекает Палиссо за то, что тот называет философию Кондорсе «философизмом». Он напоминает этот набросок шедевра, который сам по себе уже является шедевром, — труд, завершённый под топором палачей, который занял последние мгновения жизни, всецело посвящённой поиску истины, распространению всего, что могло сделать людей более счастливыми, делая их лучше — *Эскиз*, этот памятник силы ума, который удивляет, широты знаний и взглядов, которые внушают уважение, и доброты души, которая трогает [2].

Последователи Локка, Кондильяка, Гельвеция и Кондорсе удостаиваются не меньшего признания. Произведения Кабаниса и Дестюта де Траси, Вольнея и Дежерандо, Тюро и Дюпе, Сен-Ламберта и Лапласа, Лакруа, Франсуа (де Нёфшато), мадам де Сталь, Ришерана, Андриё, мадам де Кондорсе и Ж.-Б. Сэя, Шамфора и Бенжамена Констана анализируются с тщанием, чтобы ясно выявить их значимость и оригинальность. Де Траси и Дежерандо, Тюро и особенно Вольней, Кабанис и Гара часто и восторженно цитируются [3].

Все учреждения, которые связаны с философскими доктринами XVIII века или служат успешным средством их распространения и пробуждения симпатии к ним, горячо хвалятся. *Décade* сообщает об открытии Нормальной школы, «венце огромного здания и вершине системы образования». Она указывает на читаемые там курсы, особенно на курс Гара. Женгене, по случаю перевода Прево *Опыта* Адама Смита, с удовольствием цитирует переводчика, который мстит за наши Нормальные школы той холодности и несправедливости, от которых этому прекрасному учреждению пришлось страдать почти в равной мере. Газета проявляет не меньший интерес к центральным школам. Каждый год она публикует отчёт об открытии или начале занятий в школах департамента Сены и в ряде других департаментов; она отмечает публичные экзамены, завершающие учебный год, работы преподавателей и учеников, обсуждения, вызванные организацией и существованием этих школ. Она сообщает о путешествиях во время каникул и анонсирует конкурсы на преподавательские должности. Она с оживлением спорит с теми, кто требует восстановления колледжей, и с радостью отмечает, что в наших департаментах

1 *30 брюмера X года.*

2 *30 жерминаля XI года.*

3 Палиссо Женгене упрекал в том, что он забыл среди ныне живущих Кабаниса, которого не следовало бы затеснять в уголок и помещать лишь в сноску к статье «Мольер», вместе с его превосходным трудом *О связи физического и морального начала*; Дюпюи, который оставил след в науке и философии своим большим трудом *О происхождении всех культов*; Гара, которого наши ораторы и философы ставят в первый ряд; Дестют де Траси, который придал *Элементам идеологии* такую ясность и аналитическую методичность, что этим устранил из этой ещё молодой науки всё, что могло оставаться в ней туманным и неопределённым; Вольнея, который красноречием своих *Развалин* популяризировал то, что Дюпюи основал на учёности, и который удостоился славы видеть, как все факты, им выдвинутые, и все гипотезы, им предложенные, были подтверждены нашими учёными, вернувшимися из Египта.

есть таланты, способные формировать умы молодёжи, и что не стоит терять надежду на успехи народного образования. Она отстаивает требования преподавателей, настаивает перед правительством на выплате задержанных жалований и указывает, что в то время, как рассматривается этот вопрос, жалование представителей народа было увеличено почти до двенадцати тысяч франков в год. В более общем плане *Décade* интересуется всем, что касается народного образования: она сообщает об открытии курсов Политехнической школы и требует, чтобы для моральных наук было сделано то же самое, что и для физических, чтобы была основана школа, которая стала бы питомником, откуда будут черпать профессоров, администраторов, послов [1]. В 1796 году она публикует результаты экзамена, на котором были приняты 113 кандидатов из 304, и утверждает, что образование во Франции было не столь запущено, как это обычно думают; она приводит выдержки из журнала, публикуемого школой. Важные статьи посвящены народному образованию в период Учредительного собрания, Законодательного собрания и Конвента. Сообщается о создании Совета народного образования, указываются и иногда анализируются публичные лекции, читаемые в бывшем Лицее, в Республиканском Лицее и в Коллеж де Франс.

Décade публикует общий список членов Института и Обзоры трудов каждого из классов; она сообщает о публичных заседаниях и о награждённых работах. Точно так же она знакомит читателей с работами Каирского института и Берлинской академии; с созданием и иногда с исследованиями многочисленных обществ, возникших тогда во всех частях Франции и желавших, по примеру Института, трудиться на благо прогресса наук и литературы. Появление газет *Египетская декада*, *Цизальпинская декада*, *Консерватор*, *Ключ от кабинета* и др., преследующих ту же цель, что и её собственные редакторы, по её мнению, тоже должно быть отмечено для читателей.

Если у *Décade* и есть предпочтения в философии, политике, литературе, она при этом не является ни исключающей, ни нетерпимой. Всегда готовые бороться с фанатизмом, её редакторы рассматривают атеизм как своего рода религию, которую они сами не исповедуют, но для которой требуют свободы. С удовлетворением они отмечают, что были сняты надписи, в последние годы нанесённые на фронтоны храмов: *«Это действительно было скандально для католиков — читать над входом в место, где они совершают свои таинства, такие слова, как „Разуму“, „Гению“, „Миру“ и т.д. С тех пор как храмы снова стали церквями, эти надписи оказались совершенно неуместными».* Она помещает любопытное письмо, написанное из Филадельфии Роммом, агентом французского правительства в Сан-Доминго: «Я хотел проверить, — пишет он,

[1] Следует ещё раз отметить практический ум этих людей, которых так часто упрекали в утопизме: от них не зависело (см. также главу о Дестюте де Траси), чтобы во Франции раньше не была создана школа более полная, пусть даже не столь успешная, как та, которую удалось основать г-ну Бутми.

— правда ли, что грубые народы Африки не имеют никакого представления ни о Верховном Существе, ни о духовности и бессмертии души, и, наконец, правда ли, что они поклоняются животным и фетишам. Я был не столько удивлён, сколько очарован тем, что у этих несчастных земледельцев (мандугу в Гаити) я нашёл самые ясные представления о Боге, творце и хранителе вселенной, о душе, соединённой с человеческим телом при жизни и переходящей через смерть к бессмертию, о добрых душах, становящихся тогда ангелами, и о злых, превращающихся в демонов» [1]. Так же как они считают 21 января событием большого политического значения, они считают его прискорбным для философии и человечности и задаются вопросом, не лучше ли было бы праздновать рождение — рождение Республики в первый вандемьер — нежели смерть. Речь Бонапарта к солдатам Итальянской армии кажется им возвышенной, и они публикуют некоторые латинские, французские, итальянские, испанские стихи, присланные в его честь, так же как и считают, что до 18 брюмера Республика склонялась к своей гибели. Но при этом они энергично защищают центральные школы и все учреждения Конвента. Они жалуются на то, что в Париже полно эмигрантов, которые добиваются своего вычёркивания (из списков), и с бесстыдством рассчитывают на успех. Им кажется странным [2], что *Journal de Paris* обвиняет членов Института в неуважении к правительству за то, что они обратились к главе государства «как к столь же любимым, сколь и уважаемым собратьям», и напоминают в этой связи доклад Люсьена Бонапарта, на основании которого в VIII году был запрещён *Друг Законов* (*l'Ami des Lois*) за то, что тот осыпал насмешками и сарказмом собрание людей, прославляющих Республику своим умом и ежедневно расширяющих границы человеческих знаний. Наконец, хотя они восхищаются Сийесом и следят за ним с явным интересом до 18 брюмера, они считают, что после того, как он получил в качестве национального вознаграждения поместье Крон (доходом в двадцать пять тысяч франков), такие формы наград подают опасный пример, дискредитируют бескорыстие и возводят в добродетель богатство; что они могут превратиться в привычку и в злоупотребление. Не скажешь ли, что они предвидели, как Наполеон воспользуется этим приёмом — приёмом, которому сумели противостоять лишь немногие из тех, к кому он его применял?

Так, «Декада» публикует выдержку и анализ *Курса логики* Пинглена, который, оспаривая взгляды Локка и Кондильяка, «приобрёл, размышляя, право иметь собственное мнение». Именно она сохранила для нас лекции Мерсье против Локка и Кондильяка; она же считает методичными, обширными, основанными на новых фактах, на личных наблюдениях, опровержения, которые делает Лебувье де Мортье Сикару и Кондильяку. И наконец, это она

1 9 мая 1797; 20 фримера года X; 10 жерминаля года X.

2 29 января 1797; 30 мессидора года VIII; 30 фруктидора года IX; 10 нивоза года VIII.

говорит об ouvrage Доба, в котором она указывает на нападки на Локка, Бонне и Кондильяка, и что этот труд окажет реальную услугу [1].

Ни одна французская газета — и это одна из причин успеха «Декады» во Франции и за рубежом — никогда не давала своим читателям столь широких, разнообразных и точных сведений о философском, научном и литературном движении. Мы это показали на примере Франции; для иностранных стран нам будет достаточно нескольких строк. Что касается Англии, с которой почти постоянно велась война в тот период, и Америки, отношения с которой обострились с приходом Адамса к президентству, она сообщает всё, что может заинтересовать литераторов, политиков, философов [2].

Она публикует письмо из Неаполя о манускриптах Геркуланума, испанские и итальянские стихи, в частности фрагмент поэмы *Gli Animali parlanti* («Говорящие животные»). Она держит своих читателей в курсе трудов Вольта, напоминает, по случаю смерти Беккариа, что его трактат был переведён на все языки и что его имя ещё долго будет в почёте у всех друзей человечества. По поводу публикации *Сочинений* В. Альфьери она помещает письмо Бонафиде. После попытки связать Робеспьера со святым Фомой Аквинским — вместо того чтобы видеть в нём ученика Макиавелли — она сообщает о переводе сочинений итальянского философа, выполненном Гюро. Именно в «Декаду» Мелендес Вальдес адресует свои *Поэмы* как дань уважения Франции — произведение, в котором впервые философия заговорила в Испании языком поэзии.

Но особенно тщательно «Декада» информировала о Германии. Благодаря сведениям, которые она нам предоставила, мы знаем, что Кант был очень внимательно изучен во Франции идеологами задолго до мадам де Сталь и

---

1 Мессидор года III; 20 мессидора года VIII; 20 вандемьера года XII.

2 Включает письмо (на английском языке), написанное членом оппозиции Люсьену Бонапарту, и перевод отрывка из *Мемуаров* Франклина, которые впоследствии она же анонсирует в переводе Кастера; биографические заметки о знаменитом востоковеде Уильяме Джонсе, об Артуре Янге; письмо Присли и перевод эссе Смита *О танце как искусстве подражания*; отрывки из *Оссиана* и *Сакунталы*, восточной сказки по Уильяму Джонсу. Она сообщает о смерти Гиббона и публикует отрывок из его *Мемуаров*, также смерть Робертсона, «который не был превзойдён ни одним историком века»; о Томасе Риде, известном благодаря очень хорошему труду о интеллектуальных и моральных способностях души. Она анализирует и отмечает переводы: сначала Руше, затем Блаве, наконец Гарнье — *Богатства народов* Адама Смита; затем переводы Тюро — *Гермеса* Харриса и *Жизни Лоренцо Медичи* Роско, мадам де Кондорсе — *Теории нравственных чувств* Смита, Прево — *Философских опытов* Смита с предисловием Дугальда Стюарта о его жизни и трудах; Бертена — сатир Янга; Баур-Лормиана — *Оссиана*, «которого она считает выдумкой Макферсона»; Мюссе-Патэ — краткой истории Греции Гольдсмита. В завершение — анализ *Завещания* Вашингтона, письмо из Филадельфии с информацией о Вольнее, занятом изучением Каролины и поселений в Огайо, обзор публикаций *Новой коллекции английских классиков*, *Лекций по риторике и изящной словесности* Гью Блэра.

Виктора Кузена [1]. Точно так же она излагает доктрину Галля в тот день, когда сообщает об открытии Кювье новых окаменелостей; она знакомит своих читателей с каталогом Лейпцигской ярмарки и лекциями в Йене, с учением Сведенборга, с *Мемуарами* Берлинской академии, с запретом философских сочинений в Вене, включая саму *Декаду*, с письмом Гумбольдта к Фуркруа, с деятельностью Геттингенской академии и т.д. Она сообщает и даже анализирует переводы на французский, испанский и итальянский языки *Вертера*; *Полного театра* Коцебу, выполненного Вейссом и Жоффре; *Вильгельма Мейстера*, *Германа и Доротеи* Гёте; *Театра* Шиллера и *Лаокоона* Лессинга в переводе ван дер Бурга. Она публикует переводы Клопштока (*Цюрихское озеро*), Рабенера (*Средства узнавать по внешним признакам тайные чувства*), Коцебу (*Жизнь моего отца*), Гердера (*Мудрый судья*), Виланда (*Оберон* и *Агатон*), а также подражания Виланду и Гёте, биографическое сообщение и защиту Виланда, анекдоты о жизни Гёте, которые Ж.-Б. Сэй перевёл из *Monthly Magazine*. Она упоминает *Переписку Лессинга с Глеймом*, которая не может не представлять интереса, и может в 1804 году (ан XII) заявить: «Мы в общих чертах знакомы с немецкой литературой». Это «в общих чертах» покажется, без сомнения, слишком скромным тем, кто, как и мы, с удовольствием заглядывал в пыльную и несправедливо забытую коллекцию томов *Декады*.

Наконец, она уделяет внимание Копенгагенской академии и литературе России.

Декада даёт нам не только ценные сведения об идеологах, о философском, научном и литературном движении, в котором они участвовали, о влиянии философов XVIII века; она помогает понять философию, которая последует за ними. Прочитайте, например, письмо, которое г-н Литтре ей адресует, и поместите его в тот контекст, где оно возникло [2], — и вы гораздо легче поймёте историко-философское творчество нашего современника. Посмотрите, как часто *Декада* упоминает доктора Бурдена и вспомните, что она глубоко уважает Кабаниса и всех, кто идёт по его пути: вы увидите, что доктрины Сен-Симона и О. Конта, которые ссылались на этого учёного, имя которого мало что говорило большинству современников, восходят к идеологам и либо развивают, либо воспроизводят, либо дополняют, либо искажают их учение [3]. И, наконец, прочитайте рецензию на *Жизнь законодателя христиан без лакун и без чудес* (20 жерминаля XI года), «которую ни одна газета не осмелилась упомянуть». В ней идёт речь об одиссее Иисуса и о том, что в ней есть слишком человеческого: «Именно обаянием красноречия и прекрасной внешности, добротой, добродетелью без преувеличений, но неизменно стойкой, контрастом своей доктрины с жестоким законодательством Моисея законодатель христиан

1 Ф. Пикаве, *Философия Канта во Франции с 1773 по 1814 год* (Введение к новому переводу *Критики практического разума*)

2 См. Приложение.

3 См. гл. VII, § 4.

пленил Иудею». Не кажется ли вам, что вы уже читаете рецензию на *Жизнь Иисуса* Ренана?

Глава II

Первое поколение идеологов

Необходимо различать три поколения идеологов. Первое включает тех, кто умер или достиг наибольшей славы до конца столетия. Ко второму относятся те, кто в рамках школы и в общественном мнении занимал первое место при Директории, при Консулате и кому обычно и приписывают наименование «идеологи». В третье, наконец, входят те, кто уже был известен в один из двух предшествующих периодов, но сохранил или приобрёл значительное влияние на современников благодаря своим доктринам, менее отдалённым от тех, что торжествовали в конце Империи или при Реставрации. Дежерандо и Ларомигьер — наиболее яркие фигуры этого последнего периода. Вокруг Кабаниса, Дестюта де Траси и Дону мы сгруппируем мыслителей второго, самого плодотворного и оригинального поколения. Во главу первого поколения мы поставим Кондорсе, на которого ссылаются Дестют де Траси и Кабанис. Затем пойдут Сийес, Редерер и Лаканаль, которые, подобно Кондорсе, играли политическую роль; Вольней, влияние которого возрастало вплоть до 18 брюмера; Дюпюи, Марешаль и Нежон, связанные с Вольнеем. Наконец, мы рассмотрим Сен-Ламберта, который, после долгого молчания, вновь появляется с произведением, имевшим большой успех даже после его смерти; Гара, чьи лекции в Нормальной школе вызвали настоящий энтузиазм; Лапласа и Пинеля, опубликовавших свои важнейшие труды ещё до начала XIX века.

I

Кондорсе ; мадам Кондорсе

Маркиз Мари-Жан-Антуан-Никола Карита де Кондорсе родился в Рибемонте 17 сентября 1743 года. Ему было четыре года, когда умер его отец. Его мать, глубоко набожная, посвятила сына «белому» (целомудренному образу жизни) вплоть до его одиннадцати лет. Возможно, именно от неё он унаследовал ту пламенную веру, предметом которой стало уже не христианство, а Евангелие нового времени — доктрина совершенствования. Его дядя по отцу, епископ Гапа, Осера и Лизьё, отдал его на попечение иезуиту. Учился он сначала в Реймсе, затем в Коллеж де Наварр, и уже в шестнадцать лет защитил тезис, на защите которого присутствовали Клеро, Д’Аламбер и

Фонтан. Отказавшись от военной карьеры, он посвятил себя изучению математики. «Опыт по интегральному исчислению» (1764), «Мемуар о задаче трёх тел» (1767), объединённые в 1768 году под названием *Опыты по анализу*, обеспечили ему избрание в Академию наук. В 1770 году он отправляется к Вольтеру вместе с Д'Аламбером. Его *Похвальные речи некоторым академикам, умершим с 1666 по 1669 год* (1773), сделали его выбор на должность постоянного секретаря почти очевидным. В предисловии к этой книге Д'Аламбер написал: «Справедливость, точность, знание, ясность, точность, вкус, изящество и благородство».

Годом ранее Кондорсе опубликовал *Письма теолога*, где, как ученик Вольтера и союзник энциклопедистов, он обрушивался на социальные и религиозные институты. Уже тогда для него Декарт — восстановитель подлинного философского метода; Гассенди, обладавший философским умом, но лишённый дара открытия, уступает Декарту и Бэкону; Вовенарг же осмелился поднять моральную философию до уровня, независимого как от какой-либо системы, так и от всякого откровения.

В 1776 году Кондорсе выпускает издание *Мыслей* Паскаля, сопроводив его похвальной речью, по поводу которой Вольтер написал: «Анти-Паскаль, написанный человеком, намного превосходящим Паскаля, пользуется заслуженным успехом среди достойных людей, которым посчастливилось его прочитать». А Д'Аламбер отвечал Вольтеру: «Я, как и вы, убеждён, что Паскаль-Кондорсе намного ценнее янсенистского Паскаля, и что ему суждено сыграть выдающуюся роль в науке и литературе» [1]. Будучи учеником Вольтера, Кондорсе продолжает научную работу. Его *Теория комет* была в 1777 году удостоена награды Берлинской академии. Как друг Тюрго, он начинает заниматься экономическими вопросами. После смерти Морепа Д'Аламбер выдвигает свою кандидатуру в Академию Франции. Он получает шестнадцать голосов, Байи — пятнадцать. Это, по словам Гримма, была одна из самых блестящих побед Д'Аламбера над г-ном де Бюффоном [2]. В своей вступительной речи Кондорсе особо подчёркивает пользу, которую общество может извлечь из соединения физических и нравственных наук: XVIII век, говорил он, настолько усовершенствовал общий строй человеческих знаний, что уже не в силах людей потушить этот великий свет.

В следующем году Д'Аламбер умирает и назначает Кондорсе исполнителем своего завещания. Деятельность последнего в период с 1780 по 1794 год была поразительной. Он занимается применением исчисления вероятностей к вопросам нравственного порядка [3]. Одновременно, исполняя обязанности

---

1 Бёшо, 7260 и 7290.

2 См. также: Lucien Brunel, Les Philosophes et l'Académie française, с. 280 и след.

3 Он публикует или составляет Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix (1785), ставший позднее Éléments du calcul des probabilités et

постоянного секретаря, он пишет похвальные речи Эйлеру, Безу, Д'Аламберу, Маккеру, Бергману, Кассини, аббату Дю Га, Бюффону, Франклину и другим. Он публикует *Жизнь Тюрго* (1786), *Жизнь Вольтера* (1787), переведённые на английский и немецкий языки. Вместе с Лакруа он издаёт *Письма к немецкой принцессе* Эйлера. Он снабжает примечаниями один из томов перевода Смита, выполненного Руше, пишет мемуары для академий Берлина, Санкт-Петербурга, Турина, для Болонского института и сотрудничает с *Библиотекой общественного человека*, *Деревенским листком*, *Журналом народного образования* и др.

Избранный парижскими избирателями в Законодательное собрание, Кондорсе становится его президентом и представляет свой знаменитый проект по народному образованию. Департамент Эна направляет его в Конвент. Уже 11 октября он входит в состав Конституционного комитета вместе с Бриссо, Вержньо, Женсонне, Сийесом, Дантоном, Барером, Томасом Пейном и Петионом. Когда судили короля, он предложил, чтобы его участь была решена делегациями из департаментов, затем признал Людовика XVI виновным и потребовал апелляции к народу, проголосовал за самое строгое наказание, не являющееся смертной казнью, и, наконец, добивался отсрочки исполнения приговора. После 31 мая он выступает против идей нового Конституционного комитета и был обвинён Шабо. Конвент принял предложения комитета, заключавшиеся в аресте Кондорсе и его вызове к трибуналу, затем постановил его обвинение и объявил вне закона. Восемь месяцев он скрывался у мадам Верне [1] где без книг написал свой *Эскиз* (Esquisse), ежедневно передавая хозяйке написанные листы. Когда Конвент издал указ о смертной казни для каждого, кто укроет изгнанника, он покинул Париж. Арестованный в таверне в Кламаре, он был доставлен в тюрьму в Бург-ла-Рен. На следующее утро, когда его пришли вызывать на допрос, нашли лишь его тело: он принял яд, который всегда носил с собой.

Кондорсе принадлежит истории философии не только благодаря своему последнему труду [2]. Конечно, в нём он обобщил все доктрины, к которым его привели предыдущие исследования, но для точного и ясного представления о месте, которое он должен занимать в истории философской мысли, необходимо обратиться и к другим его произведениям. Все они содержат важные указания. Мы приведём некоторые из них, извлечённые из его *Похвальных речей* и *Жизнеописаний*, прежде чем перейти к изложению его вклада в исчисление

son application aux jeux de hasard, à la loterie et au jugement des hommes (1804), а также Moyen d'apprendre à compter sûrement et avec facilité (VIII год республики).

1 На доме № 15 на улице Сервандони, между первым и вторым этажом, установлена мемориальная доска, напоминающая о пребывании Кондорсе: «В 1793 и 1794 годах Кондорсе, будучи в изгнании, нашёл приют в этом доме, где он написал свой последний труд — Эскиз картины прогресса человеческого духа.»

2 Так сказано в Dictionnaire philosophique Франка.

вероятностей, его проекта народного образования и его надежд, связанных с будущим человечества.

В *Похвальной речи Эйлеру* Кондорсе напоминает, что Тотлебен выплатил сумму, превышающую стоимость, за ферму, разграбленную его солдатами, и что императрица Елизавета добавила к этому дар в четыре тысячи флоринов — доказательство, добавляет он, того человеческого прогресса, существование которого некоторые писатели упорно продолжают отрицать, по-видимому, чтобы их не заподозрили в соучастии в этом прогрессе. Говоря о Дю Га, переводчике Беркли, он одновременно восхваляет *Энциклопедию*, «почётный памятник для нации и века», и Декарта, который, по его словам, заслуживает того, чтобы благодарность всех учёных, всех друзей человечества вечно оберегала его славу. Беркли, говорит он, не шокировал бы слух философов и не поразил бы толпу, если бы утверждал, что наша уверенность в существовании и реальности тел может основываться лишь на устойчивом наблюдении определённых групп ощущений, и на постоянной закономерности законов, которым подчиняются последовательные феномены, представляемые этими устойчивыми группами. О Франклине он говорит, что тот, даже будучи скептиком в вопросах морали, впоследствии признал существование Бога, бессмертие души и не пренебрегал внешними религиозными практиками: все религии казались ему одинаково хорошими, при условии, что их принципом была всеобщая терпимость и что они не лишали вознаграждения за добродетель тех, кто, практикуя её, исповедовал другую веру или не исповедовал никакой. А говоря о Лопитале, Кондорсе считает, что если добродетель и не гарантирует счастья, то она, по крайней мере, для всех людей — средство у тому, чтобы быть наименее несчастным. Возражая Паскалю, он утверждает, что если долгие заблуждения и отупили, и развратили человека, не следует слишком рано отчаиваться в возможности вернуть ему, просвещением, мужество стать лучше и счастливее. И он не может не признать в создателе стоической морали глубокий ум и возвышенную душу [1].

К Д’Аламберу Кондорсе присоединяет Дидро, о котором он пишет с восторженной похвалой [2]. В *Предварительной речи к Энциклопедии* он находит, как и у Тюрго, зачатки идей, которые он сам впоследствии развил: «Это, — говорит он, — точная картина развития наук с момента их возрождения, их состояния на момент, когда Д’Аламбер писал их историю, и прогресса, на

---

1 См. Кабанис, гл. IV.

2 «Человек с обширным умом, с обширным и ярким воображением, чей взгляд охватывал одновременно науки, литературу и искусство; одинаково страстно увлечённый и истиной, и красотой; одинаково способный постигать абстрактные истины философии, тонко обсуждать принципы искусств и с воодушевлением изображать их эффекты; философ изобретательный и нередко глубокий, писатель одновременно приятный и красноречивый, смелый в своём стиле, как и в своих идеях, — он просвещал своих читателей, но, главным образом, внушал им желание научиться мыслить и всегда заставлял любить истину, даже тогда, когда, увлечённый своим воображением, имел несчастье её не узнать».

который они могли ещё надеяться… Один из тех редких трудов, которые способны выполнить два-три человека за целое столетие».

Он пишет *Жизнь Тюрго*, потому что история такого человека интересна для всех времён и всех народов. *Речи 1750 года* представляют собой уникальный памятник — не столько из-за объёма знаний, которые они предполагают, сколько благодаря философии и взглядам, свойственным самому автору. Возможно, даже Смит нашёл в его статье под названием «Фонд» зародыш своей работы. План управления, разработанный Тюрго, предполагает, что моральное воспитание народа должно быть полностью отделено от религиозных убеждений и обрядов культа. Упразднение монашеских орденов обоих полов вернуло бы нации огромные богатства; выплачивая жалованье епископам и приходским священникам, можно было бы упразднить десятины, что принесло бы значительную экономию: «ведь они должны подавать пример простоты и бескорыстия».

Кондорсе затем берётся за изложение всех идей Тюрго [1]. Вместе с ним он считает единственным основанием достоверности предположение о существовании постоянных законов для всех феноменов; он верит, что существо, способное к совершенствованию, может после смерти испытать такие изменения, причиной которых стали те, что произошли с ним при жизни. Что касается свободы и собственности, условий, которым должны соответствовать законы, Кондорсе выражается словами, которые почти дословно будут повторены в Декларациях прав. Единственный метод для нахождения точных истин — это анализ идей; единственный источник общественного счастья — это знание истины, по которой следует упорядочить общество, это распространение и доступность просвещения. Не желая уничтожить неравенство в уме или образованности, он уже считает возможным обучить всех людей настолько, чтобы они не зависели от тех, кто превосходит их.

Республиканская конституция — наилучшая из всех; федеративные республики — наиболее пригодны для защиты государства от вторжений [2]. В момент реформы законодатель не может быть строго справедлив, он вынужден издавать такие законы, из которых следует лишь меньшее зло. И Кондорсе завершает *Жизнь Тюрго* крупными мазками, излагая идеи *Эксиза*. Бесконечная совершенствуемость — одно из отличительных свойств человеческого рода.

---

1 О человеческой душе, о порядке Вселенной и о Верховном Существе; о принципах обществ и правах человека; о политических конституциях, законодательстве и управлении; о физическом воспитании и способах совершенствования человеческого рода — в отношении прогресса и применения его сил, счастья, на которое он способен, степени знаний, которых он может достичь, — о достоверности, ясности и простоте принципов поведения, о тонкости и чистоте чувств, которые зарождаются и развиваются в душах, о добродетелях, на которые они способны.

2 Не было ли это одной из причин упрёка в «федерализме», предъявленного жирондистам?

Она присуща человечеству в целом и каждому индивиду в отдельности. Прогресс физических знаний, образования и научного метода будет способствовать усовершенствованию организации человека, сделает людей способными сохранять в памяти большее число идей и комбинировать их более разнообразно, а также усовершенствует нравственное чувство. Ошибки будут уничтожены и заменены новыми истинами; прогресс будет неуклонно расти от века к веку, не имея предела в условиях сегодняшнего состояния наших знаний. Люди будут становиться лучше по мере того, как будут становиться более просвещёнными; народы будут стремиться к сближению, народы в конце концов признают одни и те же принципы, и объединятся ради прогресса разума и общего счастья. Политика, основанная на наблюдении и рассуждении, будет совершенствоваться. История подтверждает веру в бесконечную совершенствуемость: ни один предмет изучения не должен быть пренебрежён, ни одна спекуляция не является бесполезной. «Тюрго, — наконец говорит Кондорсе, — есть один из самых замечательных людей, которых когда-либо произвела природа, тот, кто, быть может, был наименьшим образом далёк от совершенства, к которому может подняться человеческая природа».

Жизнь Вольтера тоже является в своей сути трудом, предназначенным Кондорсе для подготовки успеха дорогих ему доктрин. Это история того прогресса, которым искусства обязаны его гению, влияния, которое он оказал на мнения своего века, наконец — этой долгой войны против предрассудков, начатой им ещё в юности и продолжавшейся до самых последних его дней. «Вольтер, — говорит он, — задумал великий проект — стать благодетелем всего народа, избавив его от предрассудков, поклялся посвятить этому жизнь — и сдержал слово». *Письма об англичанах* произвели во Франции революцию. Научные труды Вольтера, хотя и не дали ему места среди учёных, способствовали ознакомлению с Ньютоном, подлинной системой мира и основными явлениями оптики. Более того, они послужили его поэтическому дару, ибо изучение наук, говорит Кондорсе — как будто бы это читали Андре Шенье и Сюлли-Прюдом — расширяет сферу поэтических идей и обогащает стихи новыми образами. *Альзира* и *Мухаммед* — вечные памятники той высоты, на которую могут вознести трагедию поэтический гений и философский дух. *Речи о человеке* содержат черты глубокой философии, которая кажется простой и народной, потому что почти всегда выражена в чувствах или образах.

Вольтер, в Дэлис и в Ферне, отдан своим главным и устойчивым страстям — любви к славе, необходимости творить и рвению в разрушении предрассудков, самой сильной и деятельной из всех, что он знал. Его жизнь озарена благотворительностью, направленной как на отдельных людей, так и на человечество в целом. Даже автор *Девы Орлеанской* — для Кондорсе «враг лицемерия и суеверия». *Естественный закон* — это самая прекрасная дань, которую человек воздал Божеству; *Кандид* — шедевр в жанре философского романа; *Опыт о нравах и духе наций* — восхитительное чтение для людей,

умеющих пользоваться разумом. Видя в *Энциклопедии* самый страшный удар по предрассудкам, он стал вождём философов и энциклопедистов. Защищая дело Кала́са, он отстаивал терпимость и вновь обратил взоры Франции и Европы к преступлениям, порождённым нетерпимостью, и к необходимости их предотвратить. *Эмиль* усилил его рвение против религии, которую он считал источником фанатизма, терзавшего Европу, и суеверия, которое её оглупляло: «Мне надоело, — сказал он однажды, — слушать, как они повторяют, будто двенадцати человек хватило, чтобы установить христианство; хочется доказать, что одного человека достаточно, чтобы его уничтожить». Его книги распространились повсюду, свободомыслящие множились во всех слоях общества и во всех странах. Европа *была поражена тем, что оказалась неверующей*, в то время как те, кто должен был защищать христианство, стыдясь делить с народом столь дискредитированную веру, ограничивались тем, что утверждали её политическую полезность. Тогда трагедии Вольтера стали носителями философских и глубоких идей, его *Сказки* стали школой нравственности и разума, его *Послания* содержат более житейскую и свободную философию. Если Вольтер выступал за русских против турок, то Кондорсе требует, чтобы люди были свободны и чтобы каждая страна пользовалась теми преимуществами, которые дала ей природа: в этом, по его словам, состоит общий интерес всех народов. И он добавляет, будто предвидя, что Революция не будет мирной: какая разница, *по сравнению с этими великими целями и вечными благами, которые родила бы эта великая революция, — гибель нескольких алчных людей, построивших своё благополучие на слезах и крови ближних*! Так, говорит он ещё, должен был мыслить Вольтер, и так мыслил Тюрго. С явным удовольствием он приводит ответ Вольтера священнику, который хотел заставить его признать божественность Иисуса Христа: «Ради Бога, больше не говорите со мной об этом человеке и дайте мне спокойно умереть». Вольтер для него «человек, чья могущественная рука сотрясала древние колонны храма суеверия и который стремился сделать людьми те жалкие стада, что веками стонали под жезлом жрецов!». В его трудах Кондорсе указывает множество изречений глубокой и истинной философии; он соединил поэзию и историю с философией, отделил мораль от религии, охватил в своих чаяниях и трудах все интересы человека, боролся со всеми заблуждениями и всеми формами угнетения, защищал и распространял все полезные истины.

Как позже будет сказано в *Декларации прав*, Кондорсе считает, что ошибки и невежество — причина бедствий человеческого рода, и что суеверные заблуждения — самые пагубные, потому что они развращают все источники разума, и потому что их гибельный энтузиазм учит совершать преступления без раскаяния. «*Не будем предупреждать*, — говорит он словами, которые вспомнят позже во времена Священного союза, — *угнетателей о том, чтобы они не объединились в союз против разума, скроем от них неразрывную и необходимую связь между просвещением и свободой, не будем заранее учить их, что народ, свободный от предрассудков, скоро станет свободным*». Затем

следуют советы о необходимости искать перемен в институтах, не в насилии революции, а в прогрессе просвещения: «Зачем, — говорит он, — платить за это реками крови, неизбежными потрясениями, и предаваться случаю, когда время непременно и без жертв принесёт это?». Философ будет атаковать суеверие и покажет правительствам мир, богатство, силу как верную награду за законы, гарантирующие религиозную свободу; он откроет им всё, чего они должны опасаться от священников [1].

Исследования по теории вероятностей составляют важную часть творчества Кондорсе. После Паскаля и Ферма, Хёйгенса и Яна де Витта, Галлея и Совёра, Бернулли и Лейбница, после Муавра и Даниэля Бернулли, Бюффона и Д'Аламбера, Эйлера и Лагранжа, Кондорсе предпринял попытку применить исчисление вероятностей к моральным наукам. Будучи сведущим в алгебре и политической экономии, он был, по словам г-на Гуро [2], прекрасно подготовлен к тому, чтобы попытаться успешно завершить эту грандиозную задачу, предназначенную для того, чтобы устрашать и изумлять ум. С 1781 по 1783 год он изучает всё, что было сделано до него. В 1784 году он пытается математически оценить правдоподобие необычного факта, подтверждённого свидетельством. В следующем году он применяет анализ к вероятности решений, принимаемых большинством голосов. Различая решения, имеющие силу независимо от состава большинства, и те, что обязывают меньшинство лишь в случае достижения определённого количества голосов, он задаётся вопросом, какова вероятность того, что собрание примет ложное или истинное решение — и сделает это при определённом и фиксированном большинстве. Как будут голосовать собрания, члены которых одинаково просвещённы, проницательны и добросовестны и не влияют друг на друга? Каково будет большинство? Как проголосует каждый член? Как будут голосовать люди, неравные по знаниям и суждению, воздействующие друг на друга? Кондорсе полагает, что результаты, выраженные им в алгебраической форме, вскоре будут переведены — благодаря прогрессу статистики — в точные числовые значения в области законодательства, юриспруденции и дел. Идя дальше, он представляет человеческие общества как великие геометрические конструкции, в которых всё происходит по постоянным и фиксированным причинам. Следовательно, можно создать социальную математику, в которой геометр будет вычислять будущие революции человеческих обществ, опираясь на

---

1 «Вместо того чтобы показывать, — говорит Кондорсе, забывая, что его будут читать не только друзья, — что суеверие является опорой деспотизма, философ, пишущий для народов, подчинённых произвольной власти, докажет, что оно враг королей. Из двух истин он будет настаивать на той, которая может послужить делу человечества, а не на той, которая может ему повредить, поскольку она может быть неправильно понята».

2 *Histoire du Calcul des probabilités depuis son origine jusqu'à nos jours, Париж, 1848*.

историю, так же как он вычисляет периодические возвращения затмений и комет [1].

Проект Кондорсе об общественном образовании — это практическое воплощение его доктрин. Образование должно охватывать все науки, обеспечивать людям всех возрастов возможность сохранять свои знания и приобретать новые. Оно должно быть бесплатным, чтобы насколько возможно уменьшить неравенство богатства. В систему входят начальные и средние школы, институты, лицеи, национальное общество наук и искусств. Начальные школы будут открыты в каждой деревне с населением в четыреста человек; средние — в каждом округе и в городах с населением в четыре тысячи человек. Предусматривается сто десять институтов и девять лицеев. В начальных и средних школах для обоих полов будут преподаваться письмо и арифметика, основы морали, естественной истории и политической экономии, принципы естественного права, конституции, старых и новых законов, земледелия и искусств — в соответствии с новейшими открытиями. Институты — это всего лишь «ничтожное сокращение высшего образования»; среднее образование является самой слабой частью системы Кондорсе [2].

Нельзя так же судить и о его взглядах на высшее образование: все науки будут там преподаваться с целью подготовки учёных и преподавателей. Лицеи будут учреждены в Дуэ и в Страсбурге, в Дижоне и в Монпелье, в Тулузе и в Пуатье, в Ренне, в Клермоне и в Париже. В каждом из них первая секция — секция математических и физических наук — включает преподавателей по следующим дисциплинам: трансцендентальная геометрия и математический анализ; механика, гидравлика, небесная механика и применение анализа к физическим объектам; применение исчисления к моральным и политическим наукам; математическая география; наблюдательная астрономия; экспериментальная физика; химия; минералогия и геология; ботаника и физиология растений; зоология. Во второй секции — секции моральных и политических наук — имеются преподаватели по следующим дисциплинам: методология наук; анализ ощущений и идей; мораль и естественное право; социальная наука, политическая экономия, финансы и торговля; публичное право и общая юриспруденция; хронология, география, философская и политическая история различных народов. В третьей секции, которая посвящена применению наук к искусствам, имеется шесть преподавателей медицины. Имеются также преподаватели по ветеринарному искусству; по сельскому хозяйству и сельской экономике; по горному делу и военному искусству; по морской науке и стереотомии; по физическим и механическим, а

---

1 *Лаплас, Пуассон, Кетле развили эти идеи Кондорсе, которые подвергались резкой критике как в их первоначальной форме, так и в том виде, который они приняли у его последователей. См. § 5.*

2 *Луи Льяр, L'Enseignement supérieur en France. Альбер Дюруи (L'Instruction publique et la Révolution) говорит то же самое (с. 85), что действительно слабая часть проекта — это та, что касается преподавания в институтах.*

также химическим аспектам ремёсел и производств. Четвёртая секция, посвящённая литературе и изящным искусствам, будет включать следующие кафедры: теория изящных искусств в целом и в частности поэзии и красноречия; античность; восточные языки; греческий язык и литература; латинский язык и литература; современные языки и литературы; рисунок и живопись; скульптура и архитектура; теория музыки и композиция.

Слишком часто идеологов, и особенно Кондорсе, склонны считать утопистами, поэтому мы не можем не привести по поводу этого плана мнение человека, чьё положение обязывает более чем кого бы то ни было остерегаться фантазий: «Это план новаторский, смелый и в то же время удивительно точный… без всякой утопии, без излишеств; полное соответствие высшего образования состоянию наук на исходе XVIII века… их распределение по достаточно гибким разделам, чтобы можно было учитывать будущие достижения и новые открытия; всё учтено, и всё находится на своём месте… Неосуществление этого плана — невосполнимая потеря… Даже сегодня, если по некоторым пунктам у нас есть что-то лучше, то по другим мы всё ещё значительно отстаём от плана Кондорсе» [1].

Наконец, Национальное общество, как и лицеи и институты, имеет четыре секции: первая — девяносто шесть членов, вторая — шестьдесят, третья — сто пятьдесят четыре, четвёртая — восемьдесят восемь, разделённых поровну между Парижем и департаментами. Общество должно совершенствовать науки и искусства, собирать, поощрять, применять и распространять полезные открытия, следить за учреждениями народного образования и направлять их. Именно от имени идеи совершенствования — «границы которого неизвестны и простираются, если вообще существуют, гораздо дальше того, что мы в состоянии себе представить» — Кондорсе требует независимости образования и поручает его руководство власти, «изъятой из-под власти политических перемен». Директории, назначаемые институтами, лицеями и Национальным обществом, должны были бы управлять и инспектировать начальные и средние школы, институты, лицеи; само Национальное общество, пополняемое самовыдвижением, назначало бы преподавателей лицеев, последние — преподавателей институтов, которые, в свою очередь, выбирали бы учителей для двух первых ступеней.

«Эскиз» это философское завещание Кондорсе**.** Показать развитие способностей в человеческих обществах, проследить его из поколения в поколение, обозначая шаги, сделанные на пути к истине и счастью, очертить историю прогресса духа и указать средства подготовки новых достижений — такова задача, которую он себе поставил. История вновь приобретает важность, которую утратила со времён Декарта. Чтобы заплатить меньшую цену за то

[1] Льяр, *L'Enseignement supérieur en France*, т. I, с. 160. Мы сожалеем, что не можем привести целиком эту оценку, которая нам представляется во всех отношениях точной и превосходной.

счастье, которое обещает Великая революция, необходимо, наблюдая за обществами, увидеть, каких ещё препятствий следует опасаться и как можно будет их преодолеть. Без сомнения, Кондорсе, рассматривая девять периодов до 1789 года, высказывает немало предположений; без сомнения, он приписывает чрезмерно губительное воздействие «тиранам и священникам», но он старается, задолго до эклектиков, воздать должное греческим философам. Демокрит и Пифагор — предшественники Декарта и Ньютона; Платон — глава школы, впервые подвергшей строгому исследованию достоверность человеческого знания; Аристотель — человек, охватывающий все науки и применяющий философский метод ко всему, что может охватить человеческий разум. Точно так же Кондорсе говорит в превосходных выражениях об арабах и их научных трудах, о схоластике, которая заострила умы и дала начало философскому анализу. Если он хвалит Бэкона и Галилея, то именно Декарту он приписывает великое движение, в котором духи нуждались в XVII веке. Если он восхищается Локком, то критикует учение Лейбница, которое, по его мнению, задержало прогресс философии в Германии, хотя и называет его «обширным и глубоким гением». Нет ничего более точного и более полного, несмотря на краткость, чем его изложение достижений XVIII века в науке, философии и литературе. Кабанис, Дежерандо и Форьель вдохновятся Кондорсе, чтобы призвать к беспристрастному изучению прошлого и тем самым войдут в число инициаторов подлинной исторической критики.

Но история — лишь отправная точка. Необходимо, исходя из её уроков, начертать картину будущих судеб человечества. Полученные результаты будут вполне обоснованными, если им не придавать большей достоверности, чем та, которая может возникнуть из количества, постоянства и точности наблюдений. Действуя таким образом, Кондорсе приходит к выводу[1] что надежды на будущее состояние человеческого рода сводятся к трём пунктам: уничтожение неравенства между народами, прогресс равенства внутри одного народа, реальное усовершенствование человека. В определённый момент солнце уже не будет освещать ничего, кроме свободных людей, признающих над собой лишь разум. Тираны и рабы, «священники и их глупые или лицемерные орудия», будут существовать лишь в истории и на сценах театров. Неравенство между гражданами имеет три главные причины: неравенство богатства, неравенство положения между тем, кто может передать своей семье надёжные средства к существованию, и тем, кто зависит в этом от продолжительности своей жизни, и, наконец, неравенство в образовании. Эти три формы неравенства будут постоянно сокращаться, хотя и не исчезнут полностью, поскольку имеют естественные и необходимые причины, и устранение их последствий означало бы нанесение более серьёзного и опасного ущерба правам человека. Но они уменьшатся благодаря созданию учреждений предвидения, благодаря удачному выбору знаний и методов, позволяющих обучить весь народ всему, что

[1] В терминах, почти аналогичных этим, Сократ подытоживает результаты, к которым он пришёл относительно бессмертия (Федон, 114 D)

каждому человеку необходимо знать, и оставят разницу лишь между талантом, гением и здравым смыслом.

Существует ли предел, при котором количество и сложность уже известных предметов сделают невозможным дальнейший прогресс? Кондорсе так не считает. Будут найдены более простые формулы, охватывающие больше фактов. Равенство в образовании и между нациями ускорит ход наук, прогресс которых зависит как от множества наблюдений, так и от размышлений, где будут достигнуты улучшения в деталях. Увеличение числа людей не является преградой для совершенствования вида, потому что он к тому времени обретёт такие знания, о которых мы едва можем составить представление, потому что нравственное совершенство человека, являющееся необходимым следствием его организации, так же, как и все его другие способности, подлежит бесконечному усовершенствованию, потому что природа соединяет истину, счастье и добродетель. Добавим к этому уничтожение неравенства в правах между полами, осуждение войны — злейшего бедствия и величайшего преступления, прогресс изящных искусств и искусства преподавания, учреждение универсального языка. С помощью последнего можно будет выражать посредством знаков реальные объекты, чётко определённые, простые и общие категории, общие отношения между этими идеями, операции разума, специфические для каждой науки действия, а также технические процессы ремёсел; каждой науке будет придана такая же точность, как в математике.

Совершенствование человека, следовательно, не имеет предела, даже если исходить только из тех способностей и той организации, которыми он располагает сегодня. Но и сами способности, и организация могут улучшаться. Прогресс в области поддерживающей медицины увеличит продолжительность жизни, а успехи в области профилактической медицины [1] со временем приведут к исчезновению заразных и передающихся болезней, а также общих болезней, связанных с климатом, питанием, характером труда — быть может, даже почти всех остальных болезней. Хотя человек и не станет бессмертным, смерть будет происходить только вследствие чрезвычайных происшествий или всё более медленного разрушения жизненных сил; расстояние между рождением и тем моментом, когда он естественным образом и без болезни начинает испытывать тягость существования, будет неуклонно возрастать. Это увеличение будет происходить по закону, такому, что оно будет постоянно приближаться к неограниченной величине, не достигая её, либо по закону, допускающему, что оно может достичь в бесконечности веков величины, превышающей всякую заданную конечную величину, принятую за предел. В

[1] Следует обратить внимание на прилагательные conservatrice («сохраняющая») и préservatrice («предохраняющая»). Если бы Сент-Бёв сделал это, он бы не стал, говоря о прогрессе медицины, ссылаться на Мольера. Следует также отметить оборот sans que l’homme devienne immortel («без того, чтобы человек стал бессмертным»), который отвечает некоторым критикам, ещё слишком многочисленным, по мнению которых Кондорсе якобы сказал, что «мы придём к тому, что перестанем умирать».

последнем случае это увеличение абсолютно бесконечно; в первом — оно бесконечно для нас, и мы не знаем, в каком из двух значений следует это понимать. Более того, физические способности, усовершенствованные в одном человеке, могут передаваться его потомкам, и можно позволить себе распространить эти надежды и на умственные и нравственные способности.

Вид человеческого рода, уверенно идущего по пути истины, добродетели и счастья, утешает философа за все преступления, ошибки и несправедливости, награждает его за усилия, направленные на прогресс разума и защиту свободы. В этом созерцании он находит убежище, где память о преследователях уже не может его тревожить, элизиум, созданный его разумом и украшенный его любовью к человечеству самыми чистыми радостями!

Один француз, путешествуя на Востоке, чуть было невольно не стал основателем новой религии, просто повторив и объяснив республиканский девиз: «Свобода, равенство, братство». Если когда-нибудь принципы Революции будут иметь столь же блистательную судьбу в Европе, Кондорсе должен будет считаться пророком нового Евангелия. Никто с большей энергией и энтузиазмом не трудился над тем, чтобы всеми оружиями, выкованными его предшественниками, разрушить старый порядок вещей и заложить основы нового, соединяя открытия собственных исследований с тем, чему научился у Д'Аламбера, Тюрго, Вольтера, философов, экономистов и учёных; никто не был столь высоко восхваляем теми, кто после него пошёл по тому же пути, и никто не подвергался столь ожесточённым и порой несправедливым нападкам со стороны их противников [1].

---

[1] Для *Décade* Кондорсе — это великий человек, перед которым философия и науки будут иметь вечные обязательства; Женгене ставит конец *Эскиза* рядом с тем, что древние философы оставили самого возвышенного. Моро де ла Сарт, Кабанис в *Décade* защищают доктрину совершенствования; Дестют де Траси называет Кондорсе величайшим философом последних времён и ставит его выше Монтескьё (гл. VI, § 4). По докладу Дону Конвент постановляет напечатать *Эскиз*. Позднее мы увидим, что и те, чьих имён мы здесь не приводим, испытывали не менее живое восхищение.

Противников у Кондорсе было много. Палиссо называет философизмом доктрину Кондорсе; Лагарп, чтобы успешнее её атаковать, опускает слова «Без сомнения, человек не станет бессмертным» и приписывает ему как непосредственное следствие его рассуждений ту абсурдную мысль, столь часто повторявшуюся: «возможность перестать умирать». Мы рекомендуем прочитать *Приложение*, где Лагарп искажает фразы и слова (Philosophie du XVIIIe siècle, I, с. 269 и сл.), тем, кто считает допустимым приписывать мыслителю выводы, которые он ясно отвергал. Шатобриан идёт ещё дальше: доктрина совершенствования, по его мнению, возвращает к самым мистическим идеям спиритуализма (дар пророчества и долголетие патриархов!). Бональд также говорит о перспективе бессмертия, которую, якобы, Кондорсе обещает человеку, и называет *Эскиз* «Апокалипсисом нового Евангелия». Со временем привыкли повторять, не проверяя, все эти утверждения, встречающиеся даже в элементарных трудах. Сент-Бёв в день дурного настроения (3 февраля 1851 года) проявил чрезмерную суровость к Кондорсе, которому не повезло быть похваленным Араго. Поль Жане (Histoire de la science politique) утверждал, что можно «почти сказать, что в его пророчествах нет никакой утопии». То же самое, не читая Жане, утверждал Матьюрен Жилле в Utopie de Condorcet (Париж, 1883).

Образ Кондорсе был бы неполным, если бы мы не сказали нескольких слов о мадемуазель де Груш. Вынужденная, после того как Кондорсе был объявлен вне закона, зарабатывать на жизнь себе и своей дочери, став «прачкой и художницей», она опубликовала в 1798 году — ещё до того, как стала подругой Форьеля — перевод «Теории нравственных чувств» и «Рассуждений о происхождении и развитии языков» Адама Смита. К этим работам она добавила восемь писем о сочувствии, адресованных Кабанису [1].

Именно читая главы Смита, мадам де Кондорсе писала другие — собственные, которые могли бы обозначить границу, разделяющую две философские школы — французскую и шотландскую, — а может быть, и примирить их. Смит хорошо описал эффекты моральной симпатии, но не увидел её первой причины, потому что не исследовал причины симпатии, возникающей по поводу физических страданий. Видя страдания другого, мы испытываем болезненное чувство, затем вспоминаем, что сами страдали, и думаем о страданиях, которые можем испытать. Абстрактное представление о боли, как и о наслаждении, пробуждает в нас общее ощущение, оставленное в наших органах: именно потому, что мы чувствительны, мы способны к сочувствию к физическим страданиям. То, что начинает чувствительность, завершает размышление: оно придаёт нашей чувствительности, движение которой оно продолжает, такие привычки, в результате которых человечность становится в нашей душе активным и постоянным чувством. Мы ищем счастье в трудах наук, в размышлениях над природой, опытом и философией; мы привязываемся к несчастью и повсюду следуем за ним, чтобы стать его утешителями. Физическая симпатия, усиленная различными обстоятельствами и сделанная более действенной, более энергичной энтузиазмом, даёт начало моральным страданиям и удовольствиям. Чувствительность, однажды пробуждённая и возбуждённая, возобновляется уже при одном абстрактном представлении о добре или зле.

После новой критики Смита, который не увидел причины нашего сострадания к бедам великих, следуют размышления о причинах смеха и о власти, которую некоторые люди имеют над теми, кто их слушает или читает, — «образец глубокого и ясного рассуждения, а также философской проницательности», — сравнение Вольтера и Руссо, «сделанное с такой же грацией и остроумием, как и с истинностью». Затем мадам де Кондорсе ищет происхождение нравственных представлений и чувства наших прав и обязанностей, справедливого и несправедливого. К удовлетворению, которое мы испытываем при виде или мысли о чужом счастье, прибавляется

[1] Произведение было встречено весьма благожелательно. Тюро (Nouveaux Mélanges) говорил, что оказать услугу литературе и философии — значит познакомить Францию с этой превосходной книгой. Кабанис считал, что мадам де Кондорсе, опираясь лишь на простые рациональные соображения, сумела в своих *Письмах* во многом вывести моральную симпатию из неопределённости, в которой её всё ещё оставлял Смит.

удовольствие для нас самих, когда мы это счастье причиняем. И наоборот, мы испытываем болезненное чувство, когда видим, воображаем или особенно причиняем чужое несчастье. В первом случае привычка и размышление порождают все доброжелательные и благотворные чувства, во втором — раскаяние. Эти два всеобщих чувства составляют принципы и основание морали рода человеческого. Размышляя о наших симпатических чувствах, мы оцениваем их способом, более соответствующим разуму и общему благу. Наши поступки приобретают нравственную доброту и красоту; у нас появляется идея добродетели — или поступков, которые доставляют другим удовольствие, одобряемое разумом. И среди главных причин, которые могут нас от этого отклонить, мадемуазель де Кондорсе особенно отмечает, как сделал бы и сам Кондорсе, «действие, производимое плохими учреждениями».

II

Сийес; Редерер; Лаканаль.

Кондорсе работал главным образом для человечества. Сийес (1748-1836), его соавтор в *Journal d'Instruction publique* и коллега по Конвенту, в своих проектах реформ думал больше о Франции. Воспитанный у иезуитов, он изучал философию и теологию в Сен-Сюльписе и испытал живейшее удовлетворение, прочитав Локка и Кондильяка. Его размышления, написанные между 1772 и 1775 годами, касаются Кондильяка и Бонне, Гельвеция и экономистов; только история его не привлекает. Каноник в Бретани, генеральный викарий в Шартре и делегат в высшую палату французского духовенства, он освоил практику управления, размышляя при этом об организации общества, не вдохновляясь ни Монтескьё, ни Руссо. Представительная монархия, в которой пирамида будет поставлена на своё основание, представлялась ему единственно способной обеспечить счастье личности. Три сочинения [1] сделали его знаменитым по всей Франции: в них он чётко требовал двойного представительства для третьего сословия, отмены привилегий и учреждения конституции, отличной от английской; отмены провинциальных границ и нового разделения территорий страны; а также создания Национального собрания. Будучи депутатом от Парижа, он предложил Собранию реформы, которые были приняты. Но его идеи относительно выкупа десятин и суда присяжных не были поддержаны. С этого момента Сийес замолчал и, несмотря на просьбу Мирабо, который полагался на «этого великого мыслителя», отказался высказываться по вопросу о праве объявлять мир и войну. Во время Законодательного собрания [2] он жил в

[1] Essai sur les privilèges; Qu'est-ce que le tiers état? Moyens d'exécution dont les représentants de la France pourront disposer en 1789.

[2] Он отказался стать архиепископом Парижа, заявив, что никогда не проповедовал и не исповедовал (Жюль Симон, Une Académie sous le Directoire, с. 312)

уединении. В Конвенте он проголосовал за смерть Людовика XVI [1] и в одиночку подготовил проект об управлении армией; совместно с Дону — проект об народном образовании, который был представлен Лаканалем. Он «прожил» эпоху Террора, затем стал председателем Конвента и членом Комитета общественного спасения, отправился в Голландию для заключения союзного договора, способствовал заключению Базельских договоров, и едва не был убит аббатом Пулем. Он отказался войти в состав Директории, стал членом Института и задумал в 1796 году довольно оригинальную идею — познакомить Францию с Кантом [2]. Будучи полномочным министром в Берлине после мира в Кампо-Формио, он покинул этот пост в мае 1799 года с репутацией «проницательного наблюдателя, человека крупного и остроумного». Вернувшись в Париж, он совершил вместе с Бонапартом переворот 18 брюмера, но и на этот раз не смог добиться полного принятия той конституции, в которой он надеялся соединить свободу и порядок. Его политическая роль была окончена, и Франция получила господина. Однако, как отметил Минье, все конституции с 1800 по 1814 год были в значительной мере составлены по его проектам, и его влияние сказывалось на Империи так же, как и на Революции.

Сийеса довольно сурово судили в ту эпоху его политические друзья [3]. Нам достаточно, чтобы указать его место в школе, напомнить, что он не только изучал Канта, но также входил в кружок в Отёе и вызвал в Париж Ларомигьера, чьи *Элементы философии* он прочёл ещё в 1793 году. Кабанис называл его *Декларацию прав* одним из лучших образцов, существующих на любом языке. «Если школа [4], — пишет Сент-Бёв, — может представить Гара как самого блестящего из своих прозаиков, то Сийеса она почитает как своего великого скрытого понтифика».

Редерер провёл с Людовиком XVI его последнюю ночь у власти, а с Бонапартом — его первую. Будучи заместителем Сийеса в Учредительном собрании, он благодаря Талейрану был вычеркнут 18 фрюктидора из списка депортируемых и был уполномочен перед 18 брюмером вести политические переговоры об урегулировании между Бонапартом и Сийесом. Минье и Сент-Бёв написали о Редерере биографические очерки, различающиеся по достоинству, которые, дополняя друг друга, дают возможность узнать этого человека — экономиста, администратора и писателя. Мы же хотели бы,

---

1 Он проголосовал за неё (смертную казнь) без лишних слов, и ему приписали выражение «la mort sans phrase» («смерть без фраз»), которого он не произносил (там же, с. 311)

2 Газье, Revue philosophique, июль 1888, письмо Блессинга. Ф. Пикаве, La Philosophie de Kant en France de 1773 à 1814.

3 См. гл. I, § 4.

4 Сент-Бёв говорит о литературе года II; тем более можно применить его слова к философам школы. — О Сийесе см.: Notice sur la vie de Sieyès, Париж, Maradan, 1794; Минье, Notices historiques; Сент-Бёв, Lundis (V); Жюль Симон, указ. соч.

опираясь на эти заметки и на документы, которые, по-видимому, ими не использовались, осветить фигуру философа [1].

Рёдерер, родившийся в Меце в 1754 году, изучал право в Страсбурге, читал Монтескьё и Бонне, Локка, Кондильяка и энциклопедистов. Как говорит Сент-Бёв, «у него был период Руссо, в течение которого он был охвачен жаждой добра, в течение которого образ добродетели как бы воплотился в нём самом». Друг Дюпона де Немура, составителя системы Кенэ, и почитатель Тюрго, он изучал Адама Смита, идеи которого стремился распространить. В 1787 году он выступал за отмену внутренних таможен; в 1788 году он опубликовал своё сочинение о представительстве в Генеральных штатах: «Вот уже сорок лет, — писал он, — сто тысяч французов ведут мысленный диалог с Локком, Руссо, Монтескьё; каждый день они получают от них великие уроки о правах и обязанностях человека в обществе; настал момент претворить их в жизнь». Назначенный в октябре 1789 года в Учредительное собрание, он вошёл в состав комитета по публичным сборам вместе с Дюпоном де Немуром, Талейраном, Дюпортом, Дефермоном и Ларошфуко и почти всегда выступал его докладчиком. Ему удалось добиться того, чтобы налог облагал не только землю, как этого хотели физиократы, но все виды дохода. Тогда он стал другом Мирабо, Сийеса, Талейрана, который как-то написал ему: «Ваши размышления, сударь, превосходны; они принадлежат человеку, который размышляет с наилучшим и самым философским складом ума». Избранный генеральным прокурором-синдиком департамента Сена, он составил списки земельного и движимого налога и в событиях 20 июня и 10 августа проявил себя как «честный, точный магистрат, мало привязанный к королевской власти, но добросовестный, строгий и сознательный». Будучи вынужденным скрываться некоторое время, он впоследствии в *Journal de Paris* защищал предложения, склонявшиеся во время суда над королём к наиболее гуманным решениям, а в курсе по социальной организации, прочитанном в Афинее, он выступал против теорий, враждебных собственности [2]. После преследования жирондистов он укрылся в Пеке под Сен-Жерменом. Подобно Дестюту де Траси, Женгене, Дону, Бирану, он вновь обратился к философии. «Одна-единственная мысль философа, — говорил он в восемнадцать лет, — удачное выражение возвышенного чувства, возможно, сделали больше для прогресса разума и счастья людей, чем совместные усилия ста тысяч незаметных граждан, тщетно метавшихся». Он предпринял перевод трактата *De Cive* Гоббса, который, по его мнению, обладает выдающимися достоинствами как политический писатель и,

---

1 Минье, *Notices et Mémoires historiques*; Сент-Бёв, Lundis, VIII. — Три статьи Сент-Бёва, написанные в июле и августе 1852 года, имеют своей косвенной целью похвалу Наполеону и Империи и нуждаются в некоторых поправках (см. с. 123); Рёдерер, Œuvres, 8 т., in-4. — См. также Décade (разрозненно).

2 Следует отметить место, где Рёдерер защищает Руссо от ущерба, нанесённого его репутации теми, кто ссылался на его авторитет, показав, что в Рассуждении о неравенстве собственность ставится как принцип общества (Décade, год IX).

возможно, дал ему отправные пункты для суждений о положении Франции в 1792 году [1].

После 9 термидора Рёдерер составил для Тальена речь против террора; для Мерлена де Тионвиля — *Портрет Робеспьера*. В *Journal de Paris* он стремился освободить «тех, кто оставался пленником в самом себе, закованным в кандалы страха». Призывая к однородной республиканской власти без вульгарности, которая смогла бы вернуть всех добросовестных роялистов, он требовал свободы возвращения во Францию и права на имущество для беглецов и эмигрантов, по крайней мере для тех, кто лишь стремился укрыться от плена или смерти. Затем он основал *Журнал политической экономии, морали и политики*, в котором предложил сотрудничество аббату Морелле. Он вступил в Институт, преподавал в центральных школах, в Лицее и сотрудничал с журналом *«Декада»*. Его привлекали философские вопросы не менее, чем политические, литературные или экономические. Достаточно упомянуть его *Мемуары о двух элементах — желании и любознательности, составляющих любовь*, о *подражании и привычке* — двух элементах человеческой социальности; *Наблюдения об учреждениях, способных основать мораль народа*; размышления о *пасиграфии как письме и языке*; о *теории предложения*, где он защищал Кондильяка от Домерга. Но другие его работы являются ещё более строго философскими. Так, исследуя, видим ли мы предметы прямыми или перевёрнутыми, является ли следствием привычки, данной нам опытом осязания, то, что мы видим их прямыми, он утверждает, что именно суждение или чувство зрения, а не осязание, позволяет нам познать положение тел — при условии, что осязание ранее дало нам знание об их существовании. В *Искусстве знать, что говорится в политике и морали* он ставит целью применить анализ ко множеству вопросов. В мемуаре о *Катехизисе морали* он хвалит Гольбаха, Сен-Ламберта и Вольнея. Именно Рёдерер дал ясный, хотя и краткий, анализ важного мемуара, получившего премию по идеологии — о знаках. Наконец, в *Декаде*, за месяц до 18 брюмера, он решительно и с отличными доводами [2], опроверг высказывания Ривароля о современной философии.

---

[1] «Существовала тогда, — говорит он, — демократия или, если угодно, грозная охлократия, сосредоточенная в двадцати шести тысячах клубов, связанных между собой и поддерживаемых миллионом национальных гвардейцев… Они показывали пролетариям Францию как добычу, которая обеспечена им, если они захотят её захватить… Ораторам достаточно было обратиться к голоду, чтобы вызвать жестокость… Тогда мы увидели повторение того, что было в революции 1648 года в Англии… Гоббс, защищая в De Cive монархическую систему, говорил: в демократии может быть столько Неронов, сколько есть ораторов, льстящих народу; их бывает несколько сразу, и каждый день они появляются из-под земли».

[2] «Автор, — говорит он, — подробно разбирает четыре ошибки метафизики, которые ему заблагорассудилось приписать современной философии, хотя на самом деле это из тех устарелых глупостей, с которыми современная философия так полностью покончила, что их опровержение может казаться лишь смешным. Эти мнимые ошибки состоят в том, что человек якобы от природы свободен, справедлив, добр и одинок… Обвинение презрительно

Он познакомился с Бонапартом в марте 1798 года на одном из обедов у Талейрана [1]. Год спустя, когда Бонапарт вернулся из Египта, Сийес был членом Директории. Талейран и Рёдерер выступали посредниками между Бонапартом и Сийесом, тогда как Вольней, по-видимому, взял на себя переговоры с Кабанисом и его друзьями из Советов. Рёдерер составил воззвание, расклеенное по всему Парижу, и защищал новое правительство в *Journal de Paris*, вошёл в Государственный совет и всё более восторгался первым консулом, который, как он утверждает, опровергает поговорку, будто для камердинера не существует героев: Бонапарт, по его словам, всегда превосходит самого себя — когда говорит, когда мыслит, когда действует. Поссорившись с Бенжаменом Констаном и своими прежними друзьями, которые хотели в Трибунате отстаивать гражданские свободы, он составлял законы об учреждении префектур, о формировании списка «знаменитостей» и о создании Почётного легиона. Будучи ответственным за народное просвещение и театры — за «департамент духа», как говорил Бонапарт, — Рёдерер намеревался с самых низших классов коллежей параллельно преподавать три рода знаний: литературные, физико-математические и морально-политические дисциплины, соразмеряя содержание каждой науки с уровнем детского понимания и поручая преподавание каждой из них в одном классе разным преподавателям. Однако

по своей нелепости, отвратительно из-за всех прочих положений, которые автор прибавляет к нему как следствия, хотя между ними нет никакой связи… Мне кажется очевидным, что Революция не родилась непосредственно из философии: философия признаёт её, любит её как возвышение многочисленной нации, способной ко всем видам славы и счастья, но она не имеет на неё всей чести… Преступления Террора были порождены народными страданиями, доведёнными до исступления, негодяями, которые имели нужду в преступлении и большую общественную власть… Робеспьер, которого он представляет как самого тёмного спутника современной философии, был клеветником философии, врагом философов, которых он называл честолюбивыми шарлатанами… Философия больше не заключена в книгах мудрецов, она вышла из них, как свет выходит из солнца; подобно свету, она сегодня распространена по всей земле, она сияет высоко над всеми головами, отражается в большинстве общественных институтов, смешана с воздухом, которым мы дышим. Она может быть на время изменена каким-то нечистым примесом, омрачена несколькими облаками, но её предназначение — всегда вновь выявляться и беспрестанно возрождаться во всей своей славе».

[1] Сент-Бёв, занятый в то время тем, чтобы приписать Бонапарту все виды достоинств, сказал: «В этом первом разговоре много говорили о знаках и их влиянии на идеи… Бонапарт, с той прямотой суждения, которую он вносил во всё, сказал, что не верит, будто мы обязаны хотя бы одной идеей знакам, что мы имеем только те идеи, которые даёт нам наша организация, и ни одной больше. Если можно иметь идеи только посредством знаков, — спрашивал он, — то как же мы имеем идею самих знаков? Рёдерер… напомнил тогда генералу несколько, впрочем, бесспорных положений: что знаки абстрактных идей и смешанных модусов необходимы, чтобы их удерживать, чтобы фиксировать их в нашей голове и давать нам средства их сравнивать и т. д., и т. д. Генерал согласился, но по существу вопроса он сказал главное». Если вспомнить то, что мы только что сказали об идеологических познаниях Рёдерера, и посмотреть то, что мы говорим далее о первом мемуаре Дестюта де Траси, то станет ясно, что Сент-Бёв весьма неудачно выбрал момент, чтобы похвалить Бонапарта, и что те, кто, желая бороться с идеологами, воспроизводили этот отзыв, были столь же плохо вдохновлены. Можно также посмотреть ответ, который дал Гара к подобному вопросу.

однажды Рёдерер заметил, что Бонапарт склоняет конституцию в монархическом направлении, и дал понять, что он по-прежнему остаётся сторонником свободы. Бонапарт назвал его метафизиком — выражением, которое, вероятно, было у него менее обидным, чем слово «идеолог», но, как пишет Минье, не сулило ничего хорошего. Поэтому Рёдерера отстранили от руководства народным просвещением и отправили в Сенат, *ad patres*, как он остроумно сказал самому Бонапарту. Когда Наполеон, в марте 1804 года, после заговора Моро и Пишегрю, выразил сожаление, что Рёдерер не стал министром внутренних дел, тот ответил ему: «Вы очень правильно поступили, не назначив меня. Я человек партии; я солдат философской партии». Наполеон, став императором, поручал Рёдереру различные миссии в Швейцарии, Неаполе, в великом герцогстве Бергском и в Испании, но больше не привлекал его к важным внутренним делам. Хотя он не был враждебен к нему, как к идеологам, он не прощал ему того, что тот был метафизиком, то есть не вполне покорным инструментом. Он редко виделся с ним, не спросив при этом: «Ну, как там метафизика?» — так же, как никогда не упускал случая осудить перед Дестютом де Траси «идеологические выдумки».

Рёдерер, исключённый из Палаты пэров и Института при второй Реставрации, занялся историческими трудами, в которых, как и у Сен-Ламберта и Гара, слишком большую роль играла фантазия. После 1830 года он вернулся в Палату пэров, затем — в Академию моральных и политических наук, и в 1835 году представил свою *Записку о вежливом обществе*, в которой особенно отметили разделы, посвящённые салону Рамбуйе и мадам де Ментенон. Он умер в возрасте восьмидесяти одного года. «Он заслужил, — сказал Минье, — благодарную память современников и уважение потомства». «Он оставил свой след в истории французской литературы и общества своими идеями и взглядами», — добавил Сент-Бёв. Даже если эти оценки покажутся кому-то преувеличенными, нельзя отрицать, что, чтобы составить точное представление о французской философии после 1789 года, необходимо знать Рёдерера.

Лаплас говорит о Лаканале как об одном из выдающихся людей, чьи имена заслуживают быть переданными потомству за то, что они упорно боролись в 1793 и 1794 годах против варварства. И действительно, именно как депутат Конвента и покровитель наук, а не как философ, Лаканаль заслуживает места рядом с Сийесом и Рёдерером.

Лаканаль (1762-1845) получил образование у доктринеров, от которых, без сомнения, он узнал о Кондиаке. Вступив в конгрегацию, он преподавал пятый класс в Лектуре, четвёртый — в Муассаке, где, возможно, в то время преподавал Ларомигьер, третий — в Жимоне, второй — в Кастельнодари, риторику — в Перигё, где Биран, вероятно, был его учеником, затем — в Бурже. Получив в 1785 году степень доктора искусств в Анже, он преподавал философию в Мулене. В 1792 году он вошёл в Конвент и занял место на Горе. Он проголосовал за смерть Людовика XVI, отверг отсрочку и апелляцию к

народу. Член Комитета народного просвещения наряду с Сийесом, Шенье, Дону, Грегуаром, Бусси д'Англасом, Бурдоном, Роммом, Давидом, Гитоном-Морво и Фуркруа, он был единогласно избран его председателем. После миссии в Сене и Марне и в Сене и Уазе, он добился принятия декрета о двух годах каторжных работ за «вандализм». Затем Сад растений, который парижская Коммуна, как говорили, хотела превратить в картофельное поле, стал благодаря ему Музеем естественной истории. В том же году он помог Жоффруа Сент-Илеру создать ядро зверинца, заслужив тем самым звание «второго основателя», как его называли преподаватели. Признание авторского права, внедрение телеграфа Шаппа — также заслуги Лаканаля. По поручению Комитета общественного спасения он был направлен в Дордонь, Лот, Ло-и-Гаронну и Жиронду, где наладил производство оружия, «революционным способом» занимался строительством и ремонтом дорог и «импровизировал пути сообщения». Жителям предлагалось, «от имени Отечества, охваченного слезами», завершать судебные тяжбы путём арбитража. Никто из них не был арестован. Биран, бывший телохранитель, вероятно, избежал преследования благодаря Лаканалю. Вернувшись в Конвент, он 26 июня представил проект декрета об учреждении народного образования, вдохновлённый, по-видимому, Сийесом и Дону [1]. Его доклад по случаю траурной церемонии по переносу праха Руссо в Пантеон выражал больше энтузиазма, чем меры [2]. В докладе о создании Нормальных школ он восхвалял Кондорсе как «поистине философский ум», который разработал план системы народного образования, охватывающий все области знаний. Вместе с Бэконом и Локком он утверждал, что только анализ способен воссоздать разум, устранить неравенство в образовании, подобно тому как политическая свобода и неограниченная свобода промышленности и торговли уничтожат чудовищное имущественное неравенство. *«Впервые на земле*, — говорил он своим высокопарным языком, — *природа, истина, разум и философия обретут семинарию; люди гения станут первыми школьными учителями народа»* [3].

По его предложению 18 ноября 1794 года Конвент постановил создать 24000 начальных школ, а 25 февраля 1795 года — центральные школы, в которых нация воспитает детей, «исключённых природой из обычного класса», в Евклидов, Даламберов, Квинтилианов или Ролленов, в Локков или Кондильяков, в Дрейков или Лаперузов. 30 марта 1795 года он добился основания Школы живых восточных языков и впоследствии способствовал

---

1 Льяр (Liard), op. cit., с. 172.

2 «Голос целого поколения, воспитанного на его принципах и, так сказать, взлелеянного им, голос всей Республики призывает Руссо в храм, воздвигнутый благодарной родиной великим людям, которые ей служили… Автор *Общественного договора* в некотором роде приобщился к славе творения мира, дав его обитателям законы столь же всеобщие и необходимые, как законы природы».

3 «Вы, — говорил он ещё своим коллегам, — обладаете добродетелями и талантами Тюрго, вы обладаете той абсолютной властью, которой у него не было, для того чтобы трудиться во имя разума, свободы и человечества».

созданию Бюро долгот. Был ли он организатором Института? Он его поддерживал. Минье называет Талейрана, Дону и Лаканаля. Тайяндье, ссылаясь на Ла Ревельера-Лепо и Сарретта, утверждает, что главным автором закона Брюмера был Дону [1].

Лаканаль был избран членом Института за, как выразился аббат Сикар, заслуги перед науками, литературой, искусствами и их служителями. В Совете Пятисот он был докладчиком по конкурсу на новые учебники [2]. По предложению Сикара [3], он добился назначения Ларомигьера помощником учителя в Школе глухонемых. В качестве комиссара Республики в департаментах Рейна, только что присоединённых к Франции, он боролся с мародёрами, приказывал выбрасывать испорченные товары в реку: то сто бочек мяса, то семьсот бочонков вина, а также укреплял фортификационные сооружения. После 18 брюмера Лаканаль, по приказу Бонапарта, ушёл в отставку и снова стал преподавать в Центральной школе на улице Антуан. В 1804 году, став экономом лицея Бонапарта, он работал над изданием посмертных сочинений Ж.-Ж. Руссо, пересматривал и собирал свои речи в Конвенте и составлял *Трактат по политической экономии*. Выйдя в отставку в 1809 году с пенсией в три тысячи франков, он стал генеральным инспектором мер и весов, но при первой Реставрации потерял пенсию. При второй Реставрации он был исключён из Академии надписей и изящной словесности, куда был «сослан» в 1803 году, и отправился в Америку, где встретился с Джефферсоном. Став колонистом и плантатором, а затем ответственным за реорганизацию университета Нового Орлеана, он узнал в Алабаме о Июльской революции. В 1834 году был возвращён в Институт, распродал свои владения и в 1837 году вернулся в Париж. Он умер 11 февраля 1845 года, цитируя Цицерона и святого Августина. Де Ремюза и Бланки, Лелют и Карно произнесли несколько слов над его могилой. Минье написал *Уведомление о его жизни и труде*, а Жюль Ферри в 1880 году добился пенсии для его вдовы. Его имя носит улица в Париже, бульвар в Муассаке, улица в Туре, лицей в Бур-ла-Рене. В Фуа ему поставлен памятник, на открытии которого Поль Жане [4], в

---

1 См. гл. VII, § 1.

2 «Нужен, — говорил он, — особый гений, чтобы писать нравоучительные книги для детей; простота формы и живая грация стиля должны соединяться там с точностью идей; искусство рассуждать никогда не должно быть отделено от умения увлечь воображение; такое произведение должно быть задумано глубоким логиком и выполнено человеком чувствительным; в нём хотелось бы найти, в некотором роде, аналитический ум Кондильяка и душу Фенелона». Мы не цитируем здесь слов Лаканаля о «свежести чистой воды, которая переходит из наших тел в наши души». — У Бирана мы читаем, на дату 1794 года: «О, добрый Фенелон, приди утешить меня! твои божественные сочинения и т. д. Хотелось бы, чтобы человек, привыкший к самонаблюдению, проанализировал волю так же, как Кондильяк проанализировал разум».

3 О связях Лаканаля и Сикара см. гл. VIII, § 1.

4 *Revue bleue, 7 октября 1882. — См. также о Лаканале: Жоффруа Сент-Илер, Biographie universelle; Маркус, Lakanal, Foix, 1789; Поль Ле Жандр, Lakanal, с предисловием Поля*

содержательной и хвалебной речи сказал, что имя Лаканаля должно всегда сохраняться и почитаться как одно из тех, что подготовили Францию к становлению нацией образованной, разумной, просвещённой.

Никто уже не сможет сказать, что заслуги Лаканаля не были должным образом признаны. Некоторые, возможно, даже подумают [1] что в наши дни его восхваляли чуть больше, чем следовало бы, чтобы, как он сам говорил, «воздать каждому по заслугам» [2].

III

Вольней ; Дюпюи ; Марешаль и Нежон

Предисловие г-на Боссанжа к изданию 1826 года, резкая критика его учения со стороны Дамирона, исследование г-на Берже, оценивающее с суровостью «разновидность социального преступления, в котором автор *Руин* и *Катехизиса французского гражданина* оказался виновным», статья Сент-Бёва, посвящённая описанию этой сухой, точной и довольно выдающейся фигуры — вот, пожалуй, всё, что у нас есть о Вольнее [3]. Его бумаги, как говорил Сент-Бёв, переданные одному из его коллег, пользовавшемуся репутацией строгой нравственности и общеизвестной добропорядочности, хранятся в семье, ставшей их наследницей. Но складывается впечатление, что в случае с Вольнеем, как и с Сийесом и несколькими другими людьми революционной эпохи, стремились утаить от публики документы, с помощью которых она могла бы проводить нелестные параллели между предками и потомками. Таким образом, мы знаем лишь неполного Вольнея, реконструированного по его сочинениям, по критике, а порой по похвалам его противников или поклонников; тем не менее мы можем определить его место в школе.

Родившийся 3 февраля 1757 года в Краоне (департамент Майен), Константен Франсуа Шассбёф потерял мать в возрасте двух лет, в семь лет поступил в малый колледж в Ансени, где подвергался жестокому обращению. Благодаря одному из своих дядей он был устроен в колледж в Анже. Получив эмансипацию в семнадцать лет и став, благодаря матери, владельцем ренты в 1100 ливров, он обратился к медицине и восточным языкам. В Париже (в 1776 году) он составил *Мемуар о хронологии Геродота*, в котором выступил против Ларше и, казалось, намеревался продолжить дело Фрере. Представленный барону Гольбаху, он познакомился с Франклином, затем с мадам Гельвеций,

---

Берта, Париж, 1882; Жюль Симон, Une Académie sous le Directoire; Льяр, L'Enseignement supérieur en France.

1 *Dictionnaire pédagogique*, art. *Lakanal*.

2 *Suum cuique*, Exposé sommaire des travaux de Joseph Lakanal pour sauver, pendant la Révolution, les sciences, les lettres et ceux qui les honoraient par leurs travaux, Paris, 1840.

3 См. также: Боден, Recherches sur l'Anjou.

возможно, с Кондильяком, и сблизился с Кабанисом. Привыкший к занятиям и страстно стремившийся к знанию, он, получив небольшое наследство, решил посвятить его путешествию, чтобы «украсить свой ум и сформировать суждение». Он выбрал Восток, который хотел объехать не как «всадник и дворянин или великий сеньор, эмир и князь», а с белым посохом в руке. Несколько месяцев он готовился к тяготам путешествия и выехал в Марсель (1782), предварительно заменив имя Буажире, уже данное ему отцом, — по-видимому, уставшим от шуток над их фамилией, — на имя Вольней. Он провёл некоторое время в Каире, затем обосновался на восемь месяцев в монастыре Мар-Ханна в Ливане, где выучил арабский, приучился носить копьё и скакать на лошади, как пустынный араб. В течение трёх лет он путешествовал по Египту и Сирии. Вернувшись во Францию, он опубликовал (1787) *Путешествие в Египет и Сирию*, которое сделало его знаменитым. Это произведение, как отметил Дамирон и повторил Сент-Бёв, стало первой моделью того, как следует изучать и описывать каждую часть земли. Запрещая себе любые образы воображения и считая, что жанр путешествий принадлежит истории, а не роману, Вольней не изображает ни самой страны лучше, чем она ему показалась, ни людей — лучше или хуже, чем он их видел. Руководители египетской экспедиции считали его ценным наставником и, вернувшись во Францию, пришли выразить ему уважение. Сент-Бёв сожалеет, что он не принял простую манеру рассказчика, говорящего с нами по дороге, попутчика; он оценивает его как человека, читавшего Шатобриана, Байрона и Ламартина, и упрекает его в намеренной сухости, разрушительной философии, а также в презрительном отношении к христианству. Однако он справедливо отмечает, что главы полны и точны, что язык, лишённый риторических оборотов и сдержанный в красках, отличается удивительной уместностью и совершенной строгостью, что описания достигают истинной красоты, и что, например, портрет верблюда — это полное и совершенное описание с натуры, которому позавидовал бы Кювье и которое оставляет позади описание Бюффона. И Сент-Бёв, с полным основанием, увидел в нём ученика Гельвеция — и с меньшим основанием — ученика Кондильяка: в писателе, который, взобравшись на вершину Ливана, с тайным удовольствием находит маленькими скалы и леса, потоки и холмы, города и деревни, казавшиеся ему прежде столь великими, который чувствует себя польщённым тем, что оказался самой высокой точкой среди всего этого, и который, по чувству гордости, с ещё большим удовлетворением на всё это взирает.

В 1788 году Вольней опубликовал *Рассуждения о войне турок*, в которых предсказывал вероятный успех русских. Екатерина II велела передать ему через Гримма золотую медаль, которую Вольней вернул в 1791 году, когда она встала на сторону эмигрантов. Будучи депутатом в Генеральных штатах, он, после того как видел на Востоке пагубные последствия деспотизма, полагал, что свободы будет достаточно для всего, и, по-видимому, был одним из первых, кто потребовал, чтобы трибуны получили право «заставлять краснеть предателя или труса, которых могли развратить пребывание при дворе или малодушие». В

декабре 1789 года он мог бы стать генеральным директором сельского хозяйства и торговли на Корсике, если бы собрание не запретило всем своим членам принимать должности, назначаемые королём. Дюмон из Женевы, соратник Мирабо, говорил о Вольнее, «великом сухом и желчном человеке, снисходительном в комплиментах к Мирабо», что он отличался чрезмерностью и сухостью, но не был из тех, кто много работает. Автор письма, опубликованного под именем Гримма, вероятно Ривароль, называл его одним из самых красноречивых «немых» ораторов Национального собрания. В апреле 1790 года Вольней поднялся на трибуну, чтобы выступить против признания католицизма религией государства. Говорили, что именно у него Мирабо заимствовал знаменитую фразу из своей написанной речи: «Я вижу отсюда это окно, откуда выстрел аркебузы дал сигнал к резне Варфоломеевской ночи». Несколькими днями позже Вольней предложил в «Монитёре» способ быстрой продажи церковных владений путём увеличения числа мелких собственников. В то же время, когда публиковался доклад Туре о Конституции, он выпустил в печать *Руины, или Размышления о революциях империй*, которые имели большой успех. Сент-Бёв сравнивает это произведение с трактатом Кондильяка, Дестюта де Траси или Кондорсе, изложенным в восточном стиле неким гением, который гением, впрочем, не является. Он указывает на ошибки — с астрономической и теологической точки зрения — и показывает литературные и нравственные недостатки. Читая его статью, слишком ясно видно, что он тогда уже примкнул к защитникам абсолютной власти и религии.

Путешественник, находясь на развалинах Пальмиры, размышляет о превратностях империй и спрашивает у духа, явившегося ему, какие силы заставляют народы возвышаться и падать, от каких причин зависят процветание и бедствия наций, и на каких принципах должны основываться общественный мир и человеческое счастье. Скрытая сила, оживляющая вселенную, — говорит дух, — дала человеку способность чувствовать и возложила на него, как первейшие и существенные законы, любовь к себе, стремление к благу, отвращение к боли. Эти простые и мощные побудительные силы вывели его из состояния дикости и варварства. Впечатления пробудили его способности и развили его разум, а потребности породили изобретательность. Чтобы обеспечить своё существование, увеличить свои способности и защитить свои удовольствия, люди объединили свои средства и силы: так любовь к себе стала принципом общества. Умеренная и разумная, она породила все проявления гения и мощи; слепая и беспорядочная — она стала разлагающим ядом. Именно жадность и невежество стали причиной всех бедствий, опустошивших землю. Законы и их исполнители были призваны умерять столкновения корысти и поддерживать равновесие сил: справедливость приносила процветание империям, согласовывая договорные законы с законами природы. По мере усложнения человеческих отношений и усиления корысти первоначальное равенство между семьями не смогло сохраниться: появились вожди. Рабство отдельных людей подготовило порабощение целых народов. Когда на земле появились тираны, их стали предполагать и на небесах.

Человек, стремясь умилостивить их, жертвовал своими радостями; отречённая и антиобщественная мораль ввергла народы в мертвенное бездействие. Преследуя ускользающее счастье, человек вообразил себе иную родину — в мире фантазии — и стал презирать земной. Невежество, суеверие, фанатизм множили разрушения и руины. И всё же это непостижимое и бесконечное Существо, Бог, управляющий движением миров, населяющий бездны миллионами солнц, — справедливо и беспристрастно! Оно даёт обилие жатвы там, где есть заботливые руки, чтобы её возделывать, умножает народы там, где царят труд и порядок, где соблюдается справедливость, где сильный подчинён законам, защищающим слабого, где каждый пользуется правами, дарованными ему природой и справедливым общественным договором, — словом, там, где исповедуется истинная религия.

Но свет разума умножается: великие нации говорят на одном языке, а книгопечатание передаёт и закрепляет идеи. Улучшение человеческого рода, кроме того, — необходимый результат законов природы: человек стремится к счастью, как огонь стремится вверх, камень — к падению, вода — к выравниванию. Просвещаясь через опыт, он станет добрым и мудрым, потому что это в его интересах. Наука станет общедоступной. Все люди будут знать принципы индивидуального счастья и общественного блага; они поймут, что мораль — это физическая наука, составленная из элементов, сложных в их взаимодействии, но простых и неизменных, поскольку они вытекают из самой организации; они будут умеренны и справедливы, потому что в этом заключаются выгода и безопасность каждого. Когда появятся просвещённые и свободные нации, другие воспримут их дух и законы. Установится между народами равновесие сил, которое положит конец войне и подчинит разрешение споров гражданским способам; человеческий род станет единой семьёй, управляемой одним духом, одними законами и пользующейся всем тем счастьем, на которое способна человеческая природа.

Указав, ещё до того как Кондорсе разовьёт их, будущие шаги человечества на пути прогресса, Вольней с энтузиазмом, неожиданным для человека, известного своей обычной сухостью, воспевает великое движение, только что зародившееся, новый век, который увидит освобождение великого народа и наполняет надеждой весь мир — заседание в Зале для игры в мяч и ночь 4-го августа. Затем он указывает на первооснову, на физическое происхождение всякой справедливости и всякого права: «Какова бы ни была активная сила, движущая причина, управляющая вселенной, она наделила всех людей одними и теми же органами, одними и теми же ощущениями, одними и теми же потребностями; этим самым она объявила, что даёт им всем одинаковое право на пользование её благами, и что все они равны по порядку природы. Более того, она предоставила всем людям достаточные средства для обеспечения своего существования; следовательно, она сделала их независимыми, … сотворила их свободными, … абсолютными собственниками самих себя. Равенство и свобода — два неотъемлемых атрибута человека, два

неотменяемых и существенных закона Божества, подобно физическим свойствам элементов… Понятие свободы по существу включает в себя понятие справедливости, рождающееся из равенства» [1].

Против заговора тиранов Вольней противопоставляет всеобщее собрание народов, заявляющее, что они отныне образуют одну великую семью, с одним законом — законом природы, с единым кодексом — кодексом разума, с одним престолом — престолом справедливости, с одним алтарём — алтарём единения. Наконец, он переходит к вопросу религиозных противоречий. Последовательно рассматривая культ стихий и физических сил, сабеизм или культ звёзд, идолопоклонство или культ символов, дуализм и систему загробного мира, культ вселенной и души мира, культ Демиурга или великого творца, Вольней считает, что религиозный дух возник исключительно из ощущений и потребностей человека. Представление о Боге, по его мнению, имеет своим прообразом и моделью лишь физические силы [2], материальные сущности, действующие во благо или во вред. История религиозного сознания — это всего лишь история сомнений человека, который, оказавшись в мире, ему непонятном, пытается разгадать его загадку, выдумывает причины, предполагает цели и строит системы, которые заменяет другими, столь же порочными. Люди не сходятся между собой именно потому, что утверждают то, в чём не уверены, и не попытались выяснить, соответствуют ли картины, создаваемые их умом, своим образцам, опираясь на свидетельства и проверку чувств. Чтобы жить в мире и согласии, необходимо провести чёткую границу между тем, что поддаётся проверке, и тем, что не может быть проверено, отделить мир фантастических существ от мира реальностей, лишить любые теологические и религиозные мнения гражданской силы.

Сент-Бёв был прав, утверждая, что Вольней, забыв о скептицизме, которого он так часто придерживается, излагает происхождение религий так, будто знает его с достоверной научной точностью, и рассказывает о тайнах первобытных времён так, будто был им свидетелем. Вопрос об истоках религий куда сложнее, чем это представляли себе Вольней и его современники: он предполагает исторические, этнологические и психологические исследования, и, несмотря на весь достигнутый прогресс, даже сегодня мы ещё не в состоянии уловить его окончательное решение. Но Сент-Бёв, с другой стороны, не сделал и гораздо более интересных замечаний. Вольней изложил в общих чертах теорию совершенствования. Он продолжил д'Аламбера и Гольбаха и предвосхитил Конта, отделяя проверяемое от непроверяемого, не отрицая при этом существование беспристрастного и справедливого Бога [3]. И, наконец,

---

1 *См. Литтре, La Science au point de vue philosophique, с. 311, и Марион, La Solidarité morale, с. 26.*

2 См. то, что мы сказали о Гольбахе, *Введение, § 3*.

3 См. также, что он говорит об этом в *Loi naturelle*, где он защищается от обвинений в атеизме, отмежёвываясь от Гольбаха. — Если Дамирон говорит, что Вольней делает больше, чем пренебрегает, что он отвергает и изгоняет, то это происходит от смешения

воодушевление должно было быть действительно великим, раз человек столь холодный, как Вольней, воспел новую эру так, как христианин воспел бы пришествие христианства. По всем этим причинам книга Вольнея представляет собой документ несомненной важности.

В 1792 году Вольней приобрёл на Корсике поместье Конфина и попытался безуспешно основать там промышленное и колониальное предприятие. Бонапарт, находившийся тогда в Аяччо, расспрашивал Вольнея о его путешествиях и, возможно, почерпнул из этих бесед первую идею египетской экспедиции. Вернувшись во Францию в начале 1793 года, Вольней опубликовал свой *Катехизис французского гражданина*, впоследствии переименованный в *Естественный закон, или Физические принципы морали*. Мало найдётся книг, которые вызывали бы столь противоречивые отзывы — столь же восторженные, сколь и критические, — и при этом оставались бы столь мало прочитанными. До Сен-Ламберта и в более сжатой форме Вольней осуществил замысел, ранее намеченный Вольтером и Д'Аламбером, Гельвецием и Гольбахом [1]. Естественный закон это регулярный и постоянный порядок фактов, посредством которого Бог управляет вселенной; порядок, который Его мудрость являет чувствам и разуму людей, чтобы служить им всеобщим и общепринятым правилом поведения, направлять их — без различия стран и сект — к совершенству и счастью. Таким образом, этот закон первичен и исходит непосредственно от Бога, един и универсален, неизменен и постоянен, очевиден и осязаем, разумен и справедлив, миролюбив и терпим, одинаково благотворен для всех людей, и один лишь он способен сделать их лучше и счастливее. Он недвусмысленно утверждает существование Бога, ибо для человека, наблюдающего с размышлением удивительное зрелище вселенной, свойства и качества каждого существа, изумительный порядок и гармонию их движений, совершенно очевидно, что существует высшее деяющее начало, всеобщий двигатель, который и обозначается именем Бог. Сторонники естественного закона отнюдь не атеисты; напротив, их представления о Божестве более возвышенны и благородны, чем у большинства людей; они почитают Его, следуя всем законам, которые Он положил в основания движений каждого существа. Природа, испытывая человека болью, предостерегает его и удерживает от того, что способно его разрушить; удовольствиями же она влечёт его к тому, что способствует его сохранению и развитию. Но для того чтобы овладеть необходимыми для жизни знаниями и развить свои способности, человек должен жить в обществе. Из этого простого и плодотворного принципа — сохранения самого себя и развития своих способностей — проистекают понятия добра и зла, порока и

веры и надежды, которые являются христианскими добродетелями, с религиозным чувством.

[1] Вольней в десяти главах рассматривал закон природы и его характеристики, его принципы и основы морали, индивидуальные добродетели — умеренность, воздержание, мужество и активность, чистоплотность, — а также домашние добродетели, социальные добродетели и справедливость, развитие социальных добродетелей.

добродетели, справедливости и несправедливости и т. п., на которых основана мораль как индивидуального, так и общественного человека. Добро, например, это всё, что способствует сохранению и совершенствованию человека; добродетель это практика действий, полезных как для индивида, так и для общества. Среди индивидуальных добродетелей Вольней выделяет науку, умеренность это противоположность пьянству, самому низкому и пагубному пороку, кощунству против дара Божия, а также распущенности и непристойности; мужество и силу, которые можно развивать путём разумного управления питанием, на котором, по его мнению, основаны те или иные качества; активность, противоположную лени и праздности; чистоплотность, одну из важнейших добродетелей, поскольку она сильно влияет на здоровье и сохранение тела [1]. Социальные добродетели сводятся к справедливости. Люди, равные, свободные и владеющие собой, не могут требовать и давать друг другу ничего, кроме равноценных ценностей; баланс между тем, что отдано и что получено, должен быть уравновешен: справедливость есть именно это равенство, или баланс; справедливость, равенство и честность — по сути одно и то же [2]. Милосердие это всего лишь одна из форм справедливости. Вместо того чтобы говорить: «Не делай другому того, чего не хотел бы для себя», она велит: «Делай другому то добро, которое хотел бы получить от него сам». Что касается надежды и веры — это, по словам Вольнея, пустые идеи, добродетели дураков или мошенников [3].

Наконец, общество это банк взаимных интересов, созданный между всеми гражданами; отечество это семья нежных привязанностей; милосердие это любовь к ближнему, распространённая на весь народ. Вся мудрость, всё совершенство, весь закон, вся добродетель, вся философия сводятся к практике этих аксиом: «Сохраняй себя, просвещайся, будь умерен, живи ради ближних, чтобы они жили ради тебя».

Несомненно, Вольней не в силах, как он того желает, свести всю мораль к физическим принципам. Можно даже утверждать, что его мораль неполна. Однако нам представляется, что она не только безупречна в своих предписаниях, но и далека от того, чтобы быть лишённой возвышенности и широты. Поэтому мы понимаем, почему Кабанис (т. I, стр. XXXVI), ставя рядом Вольнея и Сен-Ламберта [4], помещает первого выше второго как ум более

---

1 «Не вызывает ли некоторого удивления, — говорит Дамирон, — что чистоплотность поставлена в ряд добродетелей?» (с. 130). — Франклин был иного мнения, и современные авторы не испытали того же удивления, что и Дамирон. — См. Марион, *Leçons de morale*; Пьер Лалуа, *Instruction morale et civique*.

2 Вольней предшествовал Литтре (ср. Марион, op. cit. и нашу примеч. 1 на с. 132)

3 Это была атака на христианскую мораль, но не на *религиозное чувство*, как утверждает Дамирон.

4 «Они заслуживают, — говорит он, — всей признательности истинных друзей человечества; они основали принципы морали на постоянной потребности в счастье, общей для всех людей, и показали, что в течение жизни правила поведения, необходимые для того, чтобы быть счастливым, абсолютно те же самые, что и для того, чтобы быть добродетельным».

широкого охвата, более мощный, более привычный к глубокому анализу, и стиль которого — твёрдый и оригинальный — оставляет более прочные следы. Дамирон, который оспаривает взгляды Вольнея всеми возможными средствами, уже в 1828 году признавал, что *Катехизис* Вольнея, простой, ясный и последовательный, господствует почти везде, где катехизис Церкви уже не имеет силы закона, — то есть, как он сам добавлял, среди большинства. По мнению Гюйо, *Естественный закон* — **это самое полное и логичное изложение эпикурейства**; в нём сконцентрирована вся работа XVIII века по морали. Это один из самых выдающихся опытов по созданию настоящей «физики нравов»; его название напоминает Спинозу и предвосхищает Спенсера. «Одно важное положение, — добавляет он, — принятое Вольнеем, могло бы привести к настоящей революции в его излишне приземлённой морали. По его мнению, сохранение существа… подразумевает совершенствование существа, непрерывный прогресс… деградация есть уменьшение. Углубив эту концепцию, Вольней мог бы прийти к тому, чтобы поместить моральный идеал в наивысшее состояние бытия, в своего рода благородство, превосходящее мелочные интересы и способное смотреть на жизнь свысока» [1]. К тому же Вольней был более целостным мыслителем, чем это обычно признаётся, поскольку, как мы уже видели, он предписывал соединять с сохранением и развитие способностей [2].

Заключённый как роялист примерно в то же время, что и Дону, Дестют де Траси и многие их друзья, Вольней был освобождён после 9 термидора, отправился в Ниццу и был назначен профессором истории в Нормальные школы. Его лекции представляют его в новом свете. Он ставил себе целью изучить ход и прогресс частной и общественной морали, развитие цивилизации, рассмотреть происхождение гражданских и религиозных кодексов, но прежде всего — уменьшить ежедневное влияние, которое история оказывает на поступки и мнения людей. Часто ссылались на пример римлян и греков: Вольней утверждает, что правления мамлюков в Египте и дея в Алжире по сути ничем не отличаются от правлений Спарты и Рима; что грекам и римлянам не хватает лишь названия гуннов и вандалов, чтобы в точности воспроизвести все их черты [3]. По сходной причине — и говоря об авторах мемуаров — он выступает против «Исповедей» Руссо и возрождённой секты Омара или Старца с горы, которая захватила его имя, чтобы поддержать свой новый Коран и набросить покров добродетели на личность, воплощающую

---

1 *La Morale d'Épicure (c. 275).*

2 Если Дамирон и почти все его последователи утверждают противоположное, то это связано с тем, что они не приводили формулу Вольнея целиком, а сам Вольней порой не давал ей завершённой формы.

3 В *Voyage aux États-Unis* он пойдёт ещё дальше, заявив: «Трагедии Софокла и Еврипида почти дословно передают мне воззрения краснокожих на необходимость, на фатум, на убогость человеческого состояния и на жестокость слепой Судьбы». Однако в этих суждениях не всё ложно (ср. Hebig, *Das homerische Epos aus den Denkmälern erläutert*, и G. Boissier, *Promenades archéologiques*, *Revue des Deux Mondes*, 1884).

преступление. Нужно перестать восхищаться древними, которым мы обязаны ничем в политической экономии и лишь немногим в морали; следует практиковать скептицизм, если мы хотим служить делу свободы и философии, — настолько трудно в истории найти истину или хотя бы достичь удовлетворительных степеней вероятности.

Эти лекции содержат также интересные замечания для истории идей. Вольней не видит в принципах неких абстрактных сущностей, существующих независимо от человечества, а рассматривает их как обобщённые и суммарные факты, получающиеся из сложения частных фактов и становящиеся, таким образом, не тиранническими правилами поведения, а основами для приближённых расчётов, для построения правдоподобных гипотез и вероятностей. Каждый язык — это целая история, поскольку он представляет собой картину идей целого народа. Именно через изучение языков можно будет подняться к самым истокам генеалогии народов, поскольку последовательное вычитание того, что каждый язык заимствовал или передал другим, приведёт к одной или нескольким первоначальным массам, анализ которых раскроет даже изобретение языка. «Нельзя сделать ничего более полезного, — говорит Вольней, указывая на новые исследования, за которые те, кто наиболее в них преуспел, редко приветствовали в нём их инициатора, — чем собирать для изучения истории словари и грамматики». Но как далёк он теперь от того энтузиазма по поводу будущего прогресса человечества, который проявляли *Руины*! В тот самый момент, когда выходило посмертное сочинение Кондорсе, Вольней говорил, что под разными именами один и тот же фанатизм опустошает народы, что действующие лица на сцене меняются, но страсти — никогда. История это лишь круговорот одних и тех же бедствий и ошибок; человеческими делами управляет автоматическое, механическое движение, двигатель которого заложен в физической организации вида. Обескураживающий вывод, — говорит Сент-Бёв, — который позволяет нам понять, какой путь проделал за два года автор *Руин!*

Лекции Вольнея имели большой успех [1]. Он вошёл в состав Института, в секцию анализа ощущений, но не принимал участия в её работе. Покинув Францию, он отплыл из Гавра, испытывая, по его словам, «отвращение и равнодушие, которые вызывает зрелище и опыт несправедливости и преследований». Печальный из-за прошлого и обеспокоенный будущим, он с недоверием отправлялся к свободному народу — посмотреть, найдёт ли искренний друг этой опороченной свободы пристанище мира на старость, которого уже не мог ожидать от Европы. В 1797 году Джон Адамс сменил на посту президента США Джефферсона, друга идеологов. Вольнея обвинили в том, что он является тайным агентом Директории; Пристли упрекнул его в безверии. Вольней вернулся во Францию в 1799 году и был одним из тех, кто в

[1] В *La Décade* в год VII напоминали о «новых истинах», которые посеял этот человек выдающегося ума; Кабанис цитировал их наряду с истинами Лагранжа, Лапласа, Бертолле, Монжа и Гаюи (I, xii).

наибольшей степени способствовал 18 брюмера. Он отказался от поста министра внутренних дел и вошёл в Сенат, но вскоре разошёлся с первым консулом, задумавшим заключить конкордат [1], Вольней подал в отставку с поста сенатора, которая, однако, не была принята, а затем был назначен графом [2]. Разочарованный и страдающий, Вольней, как и Дону, как и Дестют де Траси, всё больше уходил в учёные занятия. В 1803 году он опубликовал *Картину климата и почв Соединённых Штатов Америки*, в которой он почти исключительно ограничился физической географией: секция моральных и политических наук была упразднена, и писать о политических вопросах становилось всё труднее, если не невозможно. Приложения и пояснения к труду содержат несколько интересных подробностей [3]. Что касается самого труда, то, по словам Сент-Бёва, особенно стоит отметить точность и совершенство физического описания. Газета *«Декада»*, анализируя книгу в трёх содержательных статьях, напоминала, что точность его первого труда была должным образом проверена, что *Катехизис французского гражданина* является плодом мощного и глубокого анализа, и придавала не меньшее значение *Путешествию по США*. Один из самых уважаемых писателей Соединённых Штатов, Чарльз Брокден Браун, перевёл книгу, тем самым засвидетельствовав, что её описания были признаны точными и живописными теми, кто наиболее способен их оценить.

Вольней, всё более страдающий и всё более разуверившийся, отказался от спекулятивных размышлений, в которых прежде видел наилучшие средства содействия прогрессу человечества. Его последние годы были заняты хронологическими исследованиями, изысканиями по языку и, в особенности, по методам упрощения восточных языков. В *Речи о философском изучении языков* он отмечает, что Платон — «эта пчела всех наук, этот поэт всей философии»; Локк — «тот, кто сумел из великого метафизического принципа Аристотеля вывести последствия, равнозначные новому творению»; Лейбниц

---

1 Сент-Бёв рассказывал, как по возвращении из Египта Вольней заботился о Бонапарте вплоть до того, чтобы не давать ему пить кофе слишком горячим или слишком холодным; как, до заключения конкордата, он ответил Первому консулу на фразу «Франции нужна религия» словами: «Франции нужны Бурбоны» — и как тогда Первый консул, разгневавшись, ударил Вольнея ногой в живот (ср. Жакмон и Стендаль, гл. VII).

2 Следует отметить, что по статуту от 1 марта 1808 г. министры, сенаторы, пожизненные государственные советники и др. «должны были носить титул графа» (ст. 4).

3 Вольней указывает на неправдоподобие в *Атале*, называя её «произведением рекомендованного автора». Описав нравы дикарей, он критикует теорию естественного состояния и напоминает, что Руссо, по собственным словам, был побуждён беседой с Дидро в Винсенне ответить отрицательно на вопрос, заданный в Дижоне: «Вот, — говорит Вольней, — отправная точка этого человека, у которого сегодня есть почитатели, столь близкие к фанатизму, что они с готовностью отправили бы в Винсенн тех, кто не восхищается *Исповедью*!». Наконец, Вольней сообщает, что в Цинциннати он нашёл камни, спрессованные с раковинами, похожие на те, что он видел близ Франкфурта, и представил их на исследование «одному из наших самых искусных натуралистов» — Ламарку. После этого осмотра ему стало очевидно, что районы Северной Америки, где эти камни были собраны, когда-то составляли часть морского дна.

— «человек простого и честного ума, который, выйдя за пределы привычного пути, впервые высказал разумные идеи о том, как следует ставить вопрос об изучении языков»; а светлый ум Кондильяка и Дестют де Траси всё яснее освещал проблему формирования языка.

Оставшись в Палате пэров, женатый на значительно более молодой родственнице, которая окружала его старость заботой и лаской, Вольней, как пишет Сент-Бёв, в последние годы, по-видимому, был довольно счастлив. Но как же сузился его горизонт! Как же он стал равнодушен ко всем вопросам, которые прежде его волновали! Как он стал чужд всему, что не касается его покоя! Об этом можно судить по этим отрывкам из писем, которые Сент-Бёв находит довольно приятными и улыбчивыми: «Разве у города нет своих неудобств? — пишет он корреспонденту, живущему в деревне. — Есть ли у вас все эти ежедневные, ежечасные мелкие радости, этот размеренный досуг? Найдётся ли хоть один верный, внимательный слуга? Вот он — философский камень; тогда как в деревне ещё осталась нравственность, и, если при жизни устроить человеку хорошую долю, можно найти преданного слугу… Когда-то… я был человеком чётким, но давно уже отошёл от этого. Теперь у меня есть проекты, но это они подчинены мне, а не я им. Каждый год, когда зима наводит на меня уныние, я говорю, что отправлюсь в Прованс, а как только подумаю об отъезде — утыкаюсь в своё большое кресло и только кладу в камин больше дров, чтобы заменить солнце. Хорошо иметь свой уютный дом! Наслаждайся каждым днём, не слишком заботясь о завтрашнем. Осторожность, конечно, играет какую-то роль в жизни; но сколько больше в ней случая! „Я самый молодой в Сенате“, — говорил мне Фарг, — „вот я сделаю то, сделаю это“… — через десять дней мы его хоронили. А я с 1802 по 1805 год каждый год думал, что умру, и вот уже 1819. На всё воля Провидения, я ко всему готов».

Как бы там ни было, вопреки Сент-Бёву, мы предпочитаем этому состарившемуся и «поумневшему» Вольнею — Вольнея воодушевлённого, автора *Руин*, или даже того Вольнея, который отплывал из Гавра, «исполненный отвращения и равнодушия, какие вызывает зрелище и опыт несправедливости и преследования». Мы предпочитаем его тому, кто отказался от своих замыслов и стал мелочным, чтобы судьба больше не имела над ним власти, — и даже тем, кто, как Дестют де Траси, наблюдая, как отвергаются и порицаются доктрины, в которые они верили, провёл последние годы старости в непрестанной грусти, потому что эта старость казалась им бесполезной.

Когда Женгене упрекал Палиссо за то, что тот в своих *Мемуарах* забыл Кабаниса, Гара и Дестюта де Траси, он добавлял к этим именам и имя Дюпюи, который, по его словам, «отметил собой эпоху в учёности и философии» благодаря своему великому труду *Происхождение всех культов*, и хвалил Вольнея за то, что тот популяризировал в *Руинах* то, что Дюпюи установил своей учёностью.

Родившийся в Три-ле-Шато (Уаза) в 1742 году, Дюпюи, с протекции герцога де Ларошфуко, поступил в колледж д'Аркур, стал профессором риторики в Лизьё и получил звание адвоката; он произнёс от имени университета две речи, которые привлекли к нему внимание, изучал математику и посещал курсы астрономии Лаланда. Его повседневные занятия и тесные знакомства навели его на мысль о великом труде, который и принес ему известность. Можно было бы подумать, что первоначальная идея этого сочинения — призванного, по словам Женгене, «полностью сорвать покров, закрывавший вымыслы древних веков», — принадлежала прежде всего Гольбаху, поскольку все его утверждения воспроизводятся и подкрепляются у Дюпюи огромным количеством исторических фактов. Профессор латинского красноречия в Коллеж де Франс и член Академии надписей, Дюпюи вошёл в Конвент и приговорил короля к заключению. В 1794 году он преподнёс Ассамблее в дар *«Происхождение всех культов, или Универсальная религия»* (в 3 томах формата in-4 с атласом и 12 томах формата in-8) — труд, отдельные фрагменты которого он уже публиковал ранее в *Journal des Savants* и в *Астрономии* Лаланда. Эти публикации вызвали ответную полемику со стороны Байи. В Совете Пятисот Дюпюи занимался вопросами народного образования и центральных школ. Он вошёл в Национальный институт, а после 18 брюмера — в Законодательный корпус. Этот последний орган и Трибунат выдвинули его в Сенат, но тот его не утвердил. Дюпюи умер в Бургундии в 1809 году, став свидетелем торжества идей, с которыми он боролся. В 1798 году он выпустил *Краткое изложение* своего великого труда, где были представлены принципы его теории и важнейшие выводы. В этом формате, как писала *«Декада»*, он обладал тем преимуществом, что был доступен по цене, легко читаем и содержал несколько существенных дополнений.

Опираясь на поэтов, богословов, законодателей, художников и философов древности, Дюпюи утверждает, подобно Гольбаху, что вселенная и её части, природа и её главные силы не только должны были почитаться как боги, но и действительно почитались. Следовательно, именно через природу и её составные части, через действия физических причин следует объяснять богословские системы всех древних народов. Именно на небо и солнце, на луну и звёзды, на землю и стихии нужно обратить взор, если мы хотим снова найти богов всех народов и распознать их под покровом аллегории и мистики, которые зачастую бросали на них тень — то ради возбуждения любопытства, то для внушения большего благоговения.

Вселенную рассматривали как живое существо, которое передаёт жизнь всем существам, порождённым его вечной плодовитостью, как абсолютно разумное существо, населяемое множеством частных разумов, рассеянных по всей природе и происходящих из его высшего и бессмертного разума. Солнце и Луна, Венера и Юпитер, Меркурий, Марс и Сатурн считались семью великими богами; небесный свод, увлекающий за собой все звёзды, стал их отцом и занял

первое место во всех теогониях. Зодиак был дорогой богов: календарём, который подходит Египту и только ему, поскольку фигуры, обозначающие созвездия, отображают состояния Египта — от наводнения Нила (Рыбы), через его отступление (Овен), возможность пахоты (Телец), до юности природы (Близнецы) и далее. Таким образом, за двадцать пять тысяч лет или даже за несколько раз по двадцать пять тысяч лет до нашей эры, египтяне были изобретателями астрономических наук, деления зодиака и знаков, которыми различаются его части. Месяцы и времена года получили обозначения небесных животных; зодиак стал одной из главных причин (религиозного мировоззрения). Звёзды, находящиеся за пределами зодиакального пояса, были связаны с его знаками и сгруппированы в образы людей и животных; из них возникли тридцать шесть внезодиакальных фигур, возведённых в ранг причин и богов. Разделяя активную причину — небо, солнце, луну, неподвижные звёзды, планеты, зодиак — и пассивную причину — землю и элементы, на первое место в пантеоне богов были поставлены небо и земля; они соединялись браком, из которого возникли все существа. Разделив принципы, один из которых управляет светом, а другой — тьмой, объясняли добро и зло в природе, добродетель и преступление.

Именно с помощью физики и древней астрономии Дюпюи истолковывает *Гераклитику*, путешествия Исиды (или Луны), почитаемой под этим именем в Египте, *Дионисиаку* — поэму Нонна о Солнце, *Аргонавтику*, а также легенду о Солнце, почитаемом под именем Христа. Легенда о рае, заимствованная из книг Зороастра, представляет собой лишь аллегорию физического добра и зла. Спаситель от зла, победитель тьмы — это пасхальное солнце или равноденственный агнец. Легенда о Христе, умершем и воскресшем, по сути, за исключением гения, сходна со всеми древними легендами и поэмами о персонифицированном дневном светиле. Тайны его смерти и воскресения это те же тайны смерти и воскресения Осириса, Вакха, Адониса и особенно Митры, то есть Солнца. Догматы христианской теологии, в частности догмат о трёх началах, принадлежат множеству более древних теологий и встречаются у платоников, у Плотина, у Макробия и других нехристианских авторов. У христиан нет ничего, что можно было бы назвать их собственным творением, а тем более — творением божества.

После того как Дюпюи таким образом утверждает, что Христос не более реален, чем Геркулес и его двенадцать подвигов, и что христианская религия входит в круг универсальной религии, то есть культа природы и солнца как её главного агента, он, подобно Гольбаху, настаивает, что ошибочно видеть в религии благо, а в философии или просвещённом разуме — зло. Не призывая к гонениям на священников, он требует, чтобы у них было отнято всякое влияние на мораль, и высказывает в адрес христианской морали критику столь же резкую, сколь и грубую.

Это объёмное сочинение, говорит Женгене, перегружено утомительной учёностью, лишено порядка и метода и написано не так, как должен быть написан труд столь важного содержания. Но оно представляет собой самый ценный сборник предохранительных средств от всех суеверий, самое богатое хранилище толкований всех мифов и наиболее полную коллекцию изящных эмблем, которыми изначально были покрыты все тайны философии и все великие явления природы.

Мы утратили вкус к этим учёным компиляциям, в которых история используется — и зачастую искажается — лишь для защиты заранее принятой идеи; мы стремимся к фактам, подвергаем их глубокому анализу и лишь затем пытаемся определить законы, ими управляющие. Даже когда речь идёт об их любимой доктрине, современные мыслители понимают, что видеть только подтверждающие её факты — значит вооружать противников слишком опасным оружием. Поэтому сегодня Дюпюи почти не читают, хотя в его учёном труде есть много небезынтересного.

Сильвен Марешаль (1750-1803), некогда знаменитый во времена Революции, был терпимым атеистом, энтузиастом добродетели, противником женского образования — хотя прежде писал с целью пробудить у женщин вкус к прекрасной античности. Это один из тех посредственных людей, чьи сочинения, если не сама жизнь, служат наиболее убедительным опровержением их собственных доктрин. В его творчестве стоит отметить разве что *Альманах честных людей*, где, ещё до О. Конта, он заменяет святых именами великих людей, и *Словарь атеистов*, в который включены Иисус Христос и святой Юстин, святой Августин и Паскаль, Боссюэ и Беллармин, Лейбниц и Декарт, а в приложении, добавленном Лаландом, также Бонапарт и Кант!

Нежон (Naigeon, 1738-1810) издавал Дидро, Тюрго и Монтеня. Будучи фанатичным почитателем Дидро и другом Гольбаха, никто не защищал с большей горячностью атеизм и материализм. Его *Собрание древней и новой философии* заслуживает внимания в том, что касается академиков, Дидро, Кардано и Коллинза. Хотя он превосходит Марешаля, он не заменяет ни Дидро, ни Гольбаха, и не может сравниться в интеллектуальном плане ни с одним из идеологов, о которых шла речь выше.

IV

Сен-Ламбер

Имя Сен-Ламбера иногда ещё упоминается, но его произведения почти не читают. Нам пришлось, в библиотеке Университета Франции, разрезать не одну

страницу экземпляра, благодаря которому мы ознакомились с его философией. И между тем Вольтер писал в 1773 году, что *«Поэма о временах года»* — единственное произведение века, которое перейдёт к потомству; один из отделов Института присудил в 1810 году десятилетнюю главную премию за нравственность его *Принципам нравов у всех народов*; а М.-Ж. Шенье считал, что, возможно, даже *Всеобщий катехизис* не имеет недостатков! Как объяснить такое забвение после такой славы?

Родившийся в Нанси в 1716 году и воспитанный у иезуитов в Пон-а-Муссоне, Сен-Ламбер находился при дворе короля Станислава и пользовался благосклонностью мадам дю Шатле, которая предпочла его Вольтеру. После смерти Станислава он обосновался в Париже. В 1769 году он опубликовал *Поэму о временах года*, в 1770 году стал преемником Трубле во Французской академии и предварил свою *Поэму о счастье* «*Опытом о жизни и произведениях Гельвеция»*. С мадам д'Удето он вступил в связь, которая длилась до самой его смерти. После ряда стихотворных и прозаических произведений — мимолётных поэм, восточных притч и рассказов — он, наконец, в 1798 году выпустил *Принципы нравов у всех народов*, последний том которых вышел тремя годами позже вместе с *«Очерками о жизни Болингброка и Гельвеция»* и ирокезской сказкой *«Два друга»*. Сен-Ламбер умер в возрасте восьмидесяти пяти лет (в 1803 году). В *Мемуарах о Болингброке*, которые ещё можно использовать для изучения истории Англии той эпохи [1], он восхваляет Локка, «показавшего происхождение наших знаний и почти их пределы», и Шефтсбери, «утвердившего мораль на прочных основаниях и сделавшего её красноречивой». *Поэма о временах года* — одно из проявлений философского прогресса [2]. Сен-Ламбер восхваляет редакторов *Энциклопедии*, которые, по его мнению, оказали человечеству бессмертную услугу, и верит в будущий прогресс человечества: «Человеческий дух, — говорит он, — не может сделать шаг назад... День ото дня наш род должен извлекать новые выгоды из открытия Америки, из пути в Индию, из прогресса торговли и наук, навигации и философии. Я люблю надеяться — и надеюсь». Но внутри философской партии он, скорее, стал бы на сторону Вольтера, чем на сторону Гольбаха: «Бесспорно, — говорит он, — что утешительная мысль о добром Боге, о Боге, радующемся зрелищу наших удовольствий, должна делать нас добрыми, ибо человеку свойственно подражать тому, что он почитает, что он обожает». Поэма начинается с гимна Божеству [3].

---

1 См. Гара. Исторические мемуары о XVIII веке.

2 «Философия, — говорит он в *Предварительном рассуждении*, — расширила и украсила вселенную… Красноречивые философы сделали физику приятной наукой… Язык философии, вошедший в свет, мог войти и в поэзию… Можно было предпринять поэмы, требующие разнообразного знания природы, и их авторы могли надеяться на читателей… Древние любили и воспевали сельскую жизнь; так давайте восхищаться и воспевать природу».

3 О ты, кто просторы пустынь наполнил,
И бесчисленными солнцами озарил вселенную
Кто направляешь вечный и быстрый бег

Тем важнее напомнить об этом, что уже тогда Сен-Ламбер задумывался о великом труде, публикация которого совпала с концом его жизни: «Ещё не существует, — пишет он в примечаниях к *Осени*, — ни одной книги, в которой были бы изложены принципы и подробные обязанности той морали, которая должна быть общей для всех людей. Элементарные книги создавались, в основном, посредственными людьми, а между тем их должны были бы писать выдающиеся умы. Заниматься необходимыми трудами для воспитания молодёжи следовало бы академиям под руководством правительств». Если верить его собственному утверждению, он более шестнадцати лет назад составил подробный план *Принципов нравов*! Однако он представляется нам тогда, как и позднее, не слишком заботившимся о научной точности: он следует системе Птолемея — не потому, что она ещё имеет сторонников, а потому, что она удобна для восприятия.

Сен-Ламбер, сотрудничавший с *Энциклопедией*, жил в доме принца де Бово, тесно связанного с философами, и часто бывал у мадемуазель де Леспинас, где встречался с Д'Аламбером, Кондорсе, Мермонтелем и Кондильяком. Он числился среди семнадцати философов, собравшихся 15 мая 1770 года у мадам Неккер, чтобы инициировать установку статуи Вольтеру. В своей вступительной речи в Академии он восхваляет Монтескьё и Вольтера, Кондильяка, Томаса и Д'Аламбера, но забывает о Бюффоне, с которым философы были в довольно натянутых отношениях [1]. В том же году, когда Сегье пожаловался на злонамеренные намёки Томаса по поводу его обвинительной речи против *«Системы природы»*, Сен-Ламбер предложил исключить Сегье, заявив, что тот «совершил преступление против Академии», обратившись к канцлеру, вместо того чтобы признать Академию судом. Это вызвало резкий упрёк со стороны Дюклоса, который не желал усугубления конфликта, едва удерживаемого Академией с сохранением собственного достоинства [2]. В 1776 году он поручил Кондорсе вновь обратиться к Тюрго с предложениями от Академии; в 1778 году он входил в состав «чрезвычайной и торжественной» депутации вместе с принцем де Бово и Мермонтелем,

Потоков, мчимых по равнинам пустоты,
Владыка судеб, властелин стихий,
Ты, чья воля создала порядок и время,
Ты щедро излил свои дары на этот глиняный шар,
И своей благостью украсил для нас наше прибежище.
Но человек пренебрёг дарами твоих рук —
Я прихожу напомнить людям об их богатстве,
Нарисовать им картину удовольствий, созданных для них,
Научить их познавать и чувствовать природу.
О Боже вселенной! Боже, которого я осмеливаюсь призывать,
Прими мою дань и благоволи меня просветить.

1 «Как можно, — говорит Гримм, — умолчать о г-не де Бюффоне, когда хватает мужества хвалить его тяжеловесного противника, аббата Кондильяка?».

2 Люсьен Брюнель, *Философы и Французская академия в XVIII веке*, с. 201 и сл.

направленной к Вольтеру, чтобы приветствовать «человека столь прославленного в литературе и столь ценного для Академии и нации».

Особенно ярко союз Сен-Ламбера с философами проявляется в предисловии к *«Поэме о Счастье»* Гельвеция (1772). Гримм писал в ноябре, что *Опыт о жизни и сочинениях Гельвеция* произвёл большой резонанс: это, добавлял он, превосходный текст, полный философии, написанный в наилучшем вкусе — смелый, рассудительный и остроумный; это образец в своём роде, и, без сомнения, не самое худшее, что создал месье де Сен-Ламбер. Именно в этом *Опыте* и сегодня ещё можно найти наиболее интересные сведения о человеке, который в своё время привлёк внимание всей Европы и был во Франции столь же прославлен и оспариваем, как Монтескьё, Вольтер или Руссо. Но если можно, с незначительными оговорками [1], согласиться со всем, что Сен-Ламбер говорит о доброте и добродетелях Гельвеция, то совершенно невозможно присоединиться к его суждению о философе. По его мнению, Гельвеций был учеником Локка так же, как Аристотель был учеником Платона; Монтескьё будто бы считал его человеком, стоящим над остальными; природа наделила его красотой, здоровьем и гением. *«О разуме»* — один из лучших трудов века, в нём человек показан в величии и вместе с тем наблюдён в деталях. Если Декарт создал образ человека, то Гельвеций его познал и первым основал мораль на незыблемом фундаменте личной выгоды. *«О человеке»* содержит тот же набор верных идей, возможно, с более подробной разработкой, с большей глубиной в принципах и широтой в выводах. Важно запомнить, если не обсуждать, эти преувеличенные похвалы, чтобы понять, как Сен-Ламбер представляет себе историю, и чтобы решить вопрос, который нам неизбежно придётся поставить, когда мы увидим, как он представляет своё великое сочинение как произведение по существу оригинальное.

Когда вышли *Принципы нравов у всех народов*, тех, кого восхвалял Сен-Ламбер, уже не было в живых. Революция осуществила желания философов, но разрушила и многое из того, что они хотели бы сохранить. Сен-Ламбер, по-видимому, испытал не столько восторг, сколько разочарование перед лицом события, которое нарушало все его привычки. С этой точки зрения любопытно прочесть *Исторический анализ общества*, который он, по его словам, завершил в 1788 году и которым больше не занимался. Там встречается восхваление Людовика XV, которое он в 1770 году не стал бы подписывать [2]. Если он и

---

[1] Сен-Ламбер утверждает, например: «Гельвеций подписал отречение от *О духе* не из страха, не чтобы угодить своей матери, а чтобы спасти цензора, которому грозили неприятностями из-за публикации книги!

[2] «Людовик XV покровительствовал философам, он благожелательно принял Монтескьё; аббат Кондильяк получил бенефиции и пенсии; *Энциклопедия* была ограждена от преследований со стороны духовенства и парламента; Вольтер, которому не хватало осторожности, пользовался покровительством, полезным, но не афишируемым; некоторых философов заключали в Венсенн и Бастилию, чтобы уберечь их от строгости магистратуры… Сердце Людовика было терпимым, он всегда относился с уважением к достоинствам людей“».

напоминает, что у Людовика XV были слабости, уменьшившие уважение, которое он первоначально вызывал, то не говорит более, потому что не любит напоминать об ошибках «тех, кому его отечество обязано благодарностью». Так, он не видит ни в обществе, ни в истории ни одного человека, чьей доминирующей страстью была бы добродетель, как, по его мнению, это имеет место у Людовика XVI. Он относит к тем, кто в 1788 году выступает против социальных различий - вновь разбогатевшие и недавно получившие дворянство семьи, претендующие на высшие почести; семьи, обладающие богатством, но не знатностью; юристы, не имеющие возможности купить должности, дающие дворянство; и вместе с «этими завистливыми породами» — низшее духовенство и некоторых даже старинных дворян, но бедных и униженных тем, что не выходят за пределы нижних чинов. Он хотел бы, чтобы в депутаты избирались только собственники с доходом не менее восьми тысяч ливров в год, и чтобы были исключены кальвинисты, которые могли бы объединить свои интриги и ропот с воплями Парижа; чтобы Генеральные штаты голосовали по сословиям и чтобы за дворянством сохранялись некоторые почётные отличия; чтобы сохранялись барщины — «оплата за луга, леса и поля», переданные предками их вассалам; и чтобы у дворян оставалось право сеньориальной юстиции, которая, по его мнению, вовсе не является тиранической. Первая ступень духовенства, утверждает он, должна быть богатой, чтобы этим увеличивалось её уважение и чтобы она могла поощрять труд народа или облегчать его нищету. Следует продолжить взимание соляного налога (la gabelle), сделав его равномерным по всему королевству. Несмотря на недовольных в Париже, не следует недооценивать полезность полиции и *lettres de cachet* (секретных ордеров на арест). И чтобы показать, что в момент публикации этой книги он уже не тот человек, который в 1769 году «любил надеяться и надеялся», он заблаговременно заявляет, что, хотя он и хочет сделать человека более просвещённым, добрым и счастливым, он вовсе не утверждает, будто тот способен достичь политического и нравственного совершенства. Ступеней, которые ещё можно добавить к совершенству характера и счастья, очень немного. Не следует наполнять человеческий ум химерами, которые только отвратят нас от нашего нынешнего состояния: «Умножим наши добродетели, — говорит он, — но останемся довольными тем, что мы люди; не будем претендовать на то, чтобы стать богами. Аэростат прекрасная машина; поищем способов её усовершенствовать и использовать, но не впадаем в безумную надежду, будто однажды сможем использовать её, чтобы поужинать на Луне или навестить друзей на даче на Сатурне или Юпитере».

Чтобы его перемена взглядов на основные вопросы казалась вполне очевидной, Сен-Ламбер, опровергая Кондорсе, фактически опровергал самого себя — но, по-видимому, не осознавал этого. Он озаглавил свою книгу *Принципы нравов у «всех» народов* или *Универсальный катехизис*, и заявлял, что абстрагируется от форм правления, чтобы научить лишь одному: любить своё отечество и уважать его законы. Он составлял свой *Анализ общества*,

чтобы показать, что принципы, им изложенные, подходят для всех обществ, какими бы ни были их законы, и что именно они должны стать основой этих законов. Между тем он неоднократно (I, 34; IV, 356 и далее) осуждает склонность человеческого ума к установлению неких абсолютных принципов — так называемых универсальных истин, на основании которых, как полагают, можно действовать повсюду и всегда! [1]

Потому и трудно, с первого взгляда, принять суждение Кузена о Сен-Ламбере: «Глубокое, явно намеренное молчание царит у него по двум важнейшим вопросам — о Боге и о загробной жизни… Он относит эти две веры к произвольным суевериям, не входящим в круг естественных и неизменных знаний, на которых должен основываться *Универсальный катехизис*… Его философия — без Бога и не выходит за пределы этого мира… он продолжает Гельвеция» [2]. Сен-Ламбер, подобно Вольтеру, нападает на фанатизм и осуждает богословские споры; но было бы странно, если бы, начав свою деятельность с *Оды на Евхаристию* и призывая Бога в те времена, когда был особенно близок к философам, он выбрал момент, когда отходит от их умеренных последователей по многим вопросам, чтобы зайти дальше, чем когда-либо прежде, и дальше, чем заходил Вольтер — к которому он, впрочем, всегда испытывал живое восхищение. И он этого не сделал. Если он и не желает, чтобы ребёнок повторял утром и вечером длинные молитвы, которых он не понимает, то только затем, чтобы он произносил краткое обращение, дань уважения Верховному Существу (II, с. 91). Вместо множества религиозных обрядов, длинных и бесполезных молитв, речей, которые слушают, ничего в них не понимая, — по воскресеньям будут читать два диалога из его книги и разбирать каждый из них; будут комментировать словарь морали и слушать служителя прихода, который станет уже не священником, а «служителем нравственности», подробно разъясняющим диалоги и наставления Катехизиса. Это и есть «по-настоящему благочестивые упражнения», поскольку они стремятся воздать почтение Верховному Существу так, как того оно желает (II, с. 119). Хотя он и борется с суеверием, он утверждает, что Бог не гневается. Его ученик не будет верить, что в звёздах и в воздухе, в пещерах, лесах и храмах обитают могущественные и сведущие существа, знающие будущее и распоряжающиеся им, но он будет верить, что есть великое Существо, которое направляет людей с помощью стремления к удовольствию и страха перед болью… которое пожелало, чтобы счастье человека было связано со счастьем его ближнего. И если это великое Существо хочет, чтобы его почитали, то данью, которую оно требует, является образ жизни, согласующийся с законами

---

1 По этому вопросу см. Бутми, *Очерки по конституционному праву*, и Поля Жане, *История политической науки*, 3-е изд., Введение.

2 Кузен, *Сенсуалистическая философия*, пятая лекция. — Что касается того, что говорит Кузен, обращаясь «к юношам, которые питают живую любовь к свободе и правам человеческого рода», следует заметить, что он смешивает две различные вещи — свободу воли и политическую свободу. Сен-Ламбер, как и все идеологи, никогда не переставал быть сторонником последней. См. особенно т. II, с. 294.

и с благом общества (II, с. 317, 329). Он идёт ещё дальше в этом направлении: религия — это философия для народа [1], священники — учителя этого вечного ребёнка (IV, с. 308). Особенно она может быть полезной для женщин, возвышая или даже формируя в них самые благородные качества (III, с. 253); но её влияние — также одно из самых мощных средств сдерживания опасных склонностей, нарушающих общественный порядок (с. 269). Поэтому он настаивает на ярких чувствах надежды и страха, которые пробуждает религия; хотя он и требует от неё отказаться от непостижимых споров, он хочет, чтобы она проповедовала от имени Евангелия все общественные добродетели, чтобы она сохраняла свои культы и даже приумножала их пышность. Он желает религии наподобие католической, с иерархической подчинённостью духовенства: Рим будет стремиться прежде всего поддерживать то братство, ту доброжелательность, которые делают христианство достойным уважения и даже дорогим для самой философии (III, с. 269; IV, с. 380, 407).

Что поражает читателя, — это уверенность, с которой Сен-Ламбер высказывает самые смелые и наименее точные исторические утверждения. Стоики для него это софисты, забавлявшиеся созданием сущности, которую тогда ещё не могли объяснить; и если они и сформировали несколько великих людей, то скорее благодаря прекрасным заблуждениям, чем силой разума. Зато ни древние, ни современные мыслители, по его мнению, не создали в области морали ничего, что можно было бы сравнить с трактатом *Об обязанностях* Цицерона — просвещённого наставника образованного народа и воспитателя утончённого общества, который, превосходя Сократа, Платона и Аристотеля, почти не оставил ничего, что ещё следовало бы сказать обо всех видах обязанностей. Что касается собственно истории, Сен-Ламбер нигде не находит объяснения того, как человек перешёл от дикости к цивилизации: он довольствуется сочинениями философов, вымыслами поэтов — и приходит таким образом к объяснению происхождения собственности: «Одна разумная женщина однажды предлагает своему мужу и своей семье новшество. Давайте, — говорит она, — разделим землю, которую мы засеиваем, и пусть каждая семья собирает урожай только с того поля, которое она сама засеяла». Примерно таким же образом он излагает положение дикарей и участь женщин у разных народов. Большинство философствующих писателей XVIII века, вообще говоря, мало заботились о том, чтобы собрать все факты, на которых мы сегодня основываемся, стремясь воссоздать прошлое. Уверенные в силе разума, способного в будущем усовершенствовать человека и сделать его счастливым, они верили, что их уже усовершенствованный разум может — при помощи немногих фактов — воссоздать и прежние эпохи истории человечества. У Сен-Ламбера к этому добавляется ещё одна причина, способствовавшая использованию такого метода, при котором история упрощается путём её изобретения, а не изучения: это его уверенность в собственном разуме, в своей личной непогрешимости.

---

[1] Утверждение, повторённое Кузеном.

Хотя он сам говорит нам, что его память больше не надёжна, что глаза и рука отказываются служить ему в работе (IV, с. 414), и, с другой стороны, он часто упоминает об изъянах своего труда и утверждает, что если бы книга была превосходной, она была бы не его, а своего времени, он всё же старается показать, что совершил оригинальный вклад. Так, более сорока пяти лет назад он составил её подробный план. Следовательно, он задумал её до 1753 года, то есть до того, как Кондильяк, Гельвеций, Гольбах, Руссо и многие другие опубликовали свои главные труды. Он завершил её пять-шесть лет назад, до того как Вольней издал *Руины* и *Катехизис французского гражданина*, до появления *Эскиза исторической картины прогресса человеческого разума* Кондорсе, до начала чтений в Институте Кабаниса и Дестюта де Траси, оказавших столь большое влияние! С другой стороны, он теперь не только восхищается философами, предшествовавшими ему, но и оценивает их, стараясь показать, в чём он их превосходит. Вольтер всё ещё безоговорочно восхваляется — возможно, потому, что он никогда не строил последовательной системы и оставил Сен-Ламберу возможность завершить его дело (I, с. 41). Монтескьё создал бессмертный труд, но содержащий некоторые ошибки: влияние климата было им преувеличено, потому что оно не было прослежено у дикаря (I, с. 112); причины, по которым существенные предрассудки в прекрасной монархии недостаточно сильны, он не указал, но Сен-Ламбер обязан именно ему тем, что нашёл одну из таких причин (IV, с. 198). Локк — первый, кто доказал, что мораль так же поддаётся доказательству, как геометрия и наука чисел. Кондильяк — из его учеников тот, кто принёс наибольшую пользу человеческому разуму; но его *Краткая история* намного уступает метафизическим и моральным сочинениям (I, с. 37). Его *Логика* (1780) появилась тогда, когда Сен-Ламбер уже завершил свою собственную, и не дала ему ничего, что могло бы обогатить его труд или побудить отказаться от публикации. Что касается трактата Локка, то он не всегда достаточно развивает причины наших ошибок. Сен-Ламбер зашёл дальше, чем Локк и Кондильяк, он яснее первого и точнее второго (I, с. 261 и след.). Точно так же он широко использует принцип Локка, весьма искусно разработанный Кондильяком, о связи идей, который ни тот, ни другой никогда не применяли к искусству формирования нравственного характера (II, с. 124). Гельвеций подвергается суровому суждению. Он был первым моралистом, кто применил принципы Локка, но слишком недооценил влияние климата. Сначала он пользовался большой славой, а затем сохранил только уважение. Если он был полезен и всегда им останется — несмотря на некоторые преувеличения и ошибки, — то скорее для философов, чем для широкой публики (I, с. 35 и след.; с. 112). *Опыт о жизни и сочинениях Гельвеция* хоть и отмечает некоторые большие достоинства, но уже не считает *Поэму о счастье* хорошим произведением. Прежние гиперболические похвалы исчезли [1]. Руссо, по мнению Сен-Ламбера,

[1] Так, говоря об *О духе*, он пишет: «Мало создано произведений, в которых человек был бы показан в более возвышенном виде и т. д.», а не «Не создано произведений и т. д.». Точно так же фраза, в которой Гельвеций ставился выше Декарта, оказывается устранённой.

принёс пользу философии лишь тем, что, разрушая его заблуждения, нашли новые истины. Его самые разумные идеи происходят от Гоббса. У Шефтсбери были последователи — Поуп, Болингброк, Хатчесон, Фергюсон, Смит, — которые лишь добавили ошибки к ошибкам своего учителя (I, с. 27 и след.).

Критикуя своих современников, Сен-Ламбер, тем не менее, ссылается на их авторитет: все они одобрили подробный план его книги и побуждали его к его осуществлению (I, с. 50). И, если верить ему самому, он ничего не упустил, чтобы сделать своё произведение достойным прочтения. Он изучил всех философов древности и современности, его просветила масса фактов, собранных за несколько столетий, и наблюдения, сделанные им в одном из тех больших обществ, где сосредоточено много идей и знаний; он был свидетелем совершенствования науки о человеке и считал, что пришло время, когда можно предложить жителям всех стран ту книгу, которая может быть для них самой полезной!

Что Сен-Ламбер прочёл или понял «всех» философов — как мы уже видели, совершенно неверно. Следует ли с большей уверенностью принимать другие его утверждения и считать его оригинальным мыслителем? Наиболее часто цитируемые положения в его произведении [1] — это идеи Вольтера, Гельвеция, Руссо; форма, которую им придаёт Сен-Ламбер, не является оригинальной, но причудлива, и именно она дала противникам школы повод для лёгких побед [2].

Произведение делится на пять частей, по поводу каждой из которых Сен-Ламбер высказывает такие же претензии. Первые две содержат «глубокие» подробности о духе и сердце человека и предлагают анализ человека, «отличный от всех тех, что были до сих пор», и анализ женщины, «которая недостаточно изучалась анатомами». В этой психологии, где наиболее важные вопросы рассматриваются в нескольких строках [3], напрасно было бы искать новую идею, и, вспоминая о Кабанисе и Дестюте де Траси, чьи исследования

---

1 «Человек, вступая в мир, — лишь организованная и чувствующая масса… Это чувствующее и разумное существо, которое должно искать удовольствия и избегать боли. — Те, кто любят друг друга по-настоящему, — это те, кто не отделяют своё счастье от счастья других людей. — Совесть — это приятное или печальное чувство, которое мы испытываем в соответствии с суждением, которое выносим о своих поступках. Иногда совесть для нас — это то блаженство Олимпа, к которому боги причислили Геркулеса, а иногда — тот стервятник, что терзал сердце Прометея; она — самая любезная из спутниц или самая страшная из фурий. — Мы вовсе не стремимся узнать, является ли наша душа самой жизнью или частью жизни, утончённой материей или чистым духом, проста она или сложна, есть ли она способность или результат наших способностей».

2 См. де Бональда, passim, и Бюиссона, гл. VII, § 3.

3 Таким образом, на 116 страницах он рассматривает: 1° наши чувства — первопричины всех наших ощущений, всех наших идей, всех наших суждений, а также их влияние на политику, мораль и искусства «во всём мире»; 2° способности рассудка, воздействие некоторых идей на наши страсти и разум, связь идей и самолюбия; 3° страсти, характеры, совесть, влияние климата, состояние дикости и состояние общества, разум в его практическом применении, человека в различные возрастные периоды жизни.

уже были всем известны, невольно задаёшься вопросом, как Сен-Ламбер вообще решился опубликовать это и, главное, как мог поверить, что оно отличается от всего, что уже было сделано.

От этих двух анализов Сен-Ламбер переходит к логике, озаглавленной *О разуме*, или *Понтиамас*. Всё, что касается физического воспитания, превосходно, но уже содержалось у Руссо и Гельвеция. То, что он говорит о знаниях и степенях достоверности, стремясь превзойти Кондильяка и Локка, отличается редкой банальностью. Тем не менее, стоит отметить идею *Словаря веществ*, в котором цветные иллюстрации представляли бы объекты визуально, и *Словаря морали*, где описания и наставления сопровождались бы рассказом — историческим или вымышленным [1].

После раздела о логике и перед *Историческим анализом общества*, чья единственная оригинальность заключается в том, что он почти ничего не имеет общего с историей, следует *Катехизис* с *Комментариями*. Достаточно занятно, что именно в этой части своего труда — автор, любовник мадам дю Шатле и мадам д'Удето, писатель, представивший под видом «философского произведения» ирокезскую сказку, прославлявшую ménage à trois, — оказался наиболее выдающимся и достиг той своеобразной, вполне милой и практической оригинальности, которую признавали за ним его современники.

Даже сегодня невозможно не восхищаться следующими наставлениями и не рекомендовать их к практическому применению:

Не делайте другим того, чего не хотели бы, чтобы делали вам.

Любовь к труду даёт нам почувствовать, что в нас самих заключены средства умножения наших удовольствий, и в хорошо устроенных обществах невозможно, чтобы человек, работающий на себя, не работал одновременно и на других; труд оберегает нас от скуки и от пороков, связанных с ленью.

Вы хотите, чтобы люди не посягали ни на ваше имущество, ни на вашу личность, ни на вашу честь; уважайте, следовательно, их имущество, их личность, их честь.

Узнали вы чей-то секрет? Это — собственность другого; уважайте его собственность.

Добейтесь того, чтобы вас любили, — чтобы в ваших устах любили справедливость и истину.

У вас есть враг, пока вы не простили его.

Служите человеку — даже в том, в ком вы не можете полюбить личность.

Любите страну, в которой боишься только законов, и в которой законы не страшны для справедливого человека.

Платите налоги с радостью — это лучшее применение ваших расходов.

Говорите себе: мои богатства принадлежат не только мне, они — и государству, и мне... моя жизнь — не только моя, она — и государства, и моя.

Помните, что ваши нравы влияют на нравы вашей родины; вы обязаны ей быть справедливым и мудрым.

Если вы подверглись большим несправедливостям, вам позволено покинуть родину; но вам никогда не позволено покинуть её, чтобы сражаться против неё.

[1] См. *Словарь* Газье и *Маленькие истории*, чтобы узнать жизнь господина Пьера Лалуа, которые исполняют желание Сен-Ламбера.

Постарайтесь угадать, чего от вас желает ваша мать, — пусть ваша воля последует её, даже если она её не выразила.

Возьмите в жёны ту, которую могли бы любить как сестру и как подругу.

Ничто не может освободить вас от обязанности быть целомудренным; но пусть ваша кротость свидетельствует о том, что добродетель не далась вам с трудом.

Проявляйте (к вашей дочери) великое уважение к целомудрию.

Пусть она с ранних лет избегает фамильярности мужчин, даже своих братьев.

Остерегайтесь в детях любить то, что вас забавляет, — в ущерб тому, что им полезно.

Вы должны хотя бы своим братьям то уважение, которое вы должны всем людям.

Не стыдитесь с самого начала вида бедного родственника, — но стыдитесь, если он остаётся бедным.

Время придаёт невыразимое очарование привычке любить, а старая дружба — это самое милое и священное, что есть на земле.

Когда еда у вас вкусная, пусть хотя бы пища ваших слуг будет приятной.

То, что вы им более всего должны, — это пример нравственности: какими бы ни были ваши нравы, они их усвоят.

Следует также рекомендовать *Комментарий* всем, кто занимается преподаванием. Они найдут там здравые мысли, порой тонкие и деликатные. Сен-Ламбер хочет, чтобы детям приводили в пример наиболее благородные поступки из жизни Сократа, Катона, Эпаминонда — людей, которые обрели привычку ценить выше всего удовольствие быть справедливыми и полезными; чтобы ребёнок, как только научится говорить, учился подчиняться необходимости вещей, не желать более того, что «невозможно», и не жаловаться после слов: «это неизбежное несчастье». Если у вас несколько детей, говорит он, остерегайтесь сеять между ними семена зависти: если невозможно любить их всех в равной степени, пусть они хотя бы в это верят: хвалите ребёнка, который идёт вперёд быстро, а ласкайте того, кто продвигается с трудом. Хотите вылечить лень, причиной которой является легкомыслие? Заметьте, какие удовольствия дети любят больше всего, — давайте им наслаждаться ими только после того, как они позанимались по вашему заданию. Если они проявили устойчивое внимание [1], похвалите их за это и скажите, что именно благодаря такому вниманию они испытают самые большие радости. Разнообразьте их занятия и игры: одному ребёнку преподавали географию, потому что он не хотел учить геометрию, — в итоге он выучил и то, и другое. Хорошее воспитание, говорит он ещё, — это то, которое учит жить с людьми и среди страданий: нужно перехитрить физическую боль и преодолеть боль моральную. Хотите, — говорит он в заключение, — подготовить ваших детей к тому, чтобы стать хорошими мужьями и любезными жёнами? Говорите с ними об единении сердец и о душевной стороне любви, всегда как бы не придавая значения стороне телесной, и ваши дети поступят так же.

[1] Рибо, *Психология внимания.*

Некоторые поверхностные критики приняли притязания Сен-Ламбера [1] за чистую монету и безоговорочно восхищались трудом человека, сумевшего так долго прожить. Подлинные же судьи оценивали его более точно. Кабанис признавал, что у Вольнея было больше широты, силы и глубины, а Сен-Ламбера называл лёгким, изящным, наблюдательным писателем, полным тонкости, чей труд, благодаря хорошо подобранным пояснениям и примерам — делает более наглядной истинность всех установленных им принципов и полезность выведенных из них правил повседневного поведения (*I, стр. XXXVI*). Аналогично Сюар в своём *Отчёте* называл *Катехизис* выдающимся произведением, как по разнообразию охваченных тем, так и по универсальности его приложений, особенно в преподавании нравственности, но при этом уточнял, что труд не отличается ни оригинальностью, ни даже глубиной взглядов. Поводом для такого суждения Института послужило то, что Сен-Ламбер с весьма редким разумом и талантом изложил и связал воедино частные истины, уже известные и неоспариваемые. Наконец, Шенье хвалил непрерывную чистоту, изысканную вежливость и изящную гибкость стиля. Наиболее достойным внимания он считал следующее: в этом прекрасном труде разум не уступал ни одному предрассудку. «Подобало, — говорил он, — этому достойному старцу, на исходе жизни, провозгласить ту истину, которую он избрал в своей юности; оставаться верным великим людям, чьим учеником и другом он был; и, наконец, уважать в воспоминаниях XVIII века ту славу, которую он видел расцветающей и сам приумножал».

Можно, добавив к этому те оговорки, которые уже были высказаны, и ограничив это только *Катехизисом* и *Комментарием*, принять суждение Кабаниса, Сюара и Шенье о Сен-Ламбере: он унаследовал в области морали наследие XVIII века и придал лучшим его идеям личную форму. Однако никак нельзя считать его равным тем, чьим преемником он был, и приписывать ему оригинальность, на которую он столь настойчиво претендовал.

---

[1] Так, Бужолен (*Декада* от 30 мессидора VI года) признаёт в этой книге совершенно новое замысел: «Боссюэ, — говорил он, — считал хороший религиозный катехизис шедевром теологии; не было бы ли вернее сказать, что хороший катехизис нравственности был бы шедевром философии? Если это мнение не ошибочно, — добавлял он, — оно легко определяет место, которого заслуживает *Катехизис* г-на Сен-Ламбера среди памятников, которыми гордится философия. Он раскрыл красоты сельской природы и приоткрыл тайны человеческой природы: это значит иметь в литературе прекрасный характер и счастливую судьбу».

V

Гара ; Лаплас ; Пинель ; резюме.

Жозеф-Доминик Гара (1749-1833) [1], сын врача, воспитывался аббатом Дюронеа, который привил ему любовь к Дюмарсе и Буало. Самостоятельно он изучил Вергилия и Тацита, Локка и Монтескьё, и получил звание адвоката в парламенте Бордо. В Париж он прибыл с трагедией, в которой было больше философии, чем поэзии. Через «Меркур» и «Методическую энциклопедию» он познакомился с Сюаром, благодаря которому вступил в контакт с Ж.-Ж. Руссо, Д'Аламбером, Кондильяком, Гельвецием, Дидро и Бюффоном. Написав *Похвальное слово Мишелю де л'Опиталь*, в котором Лагарп усмотрел философа, он был удостоен премии в 1779 году за речь о Сюгере, в 1781 и 1784 годах — за речи о Монтозьё и Фонтенеле. Бюффон, услышав его речь о Фонтенеле, обнял его со словами: «Вот настоящий писатель». Лагарп, уязвлённый в своём самолюбии, отнёсся к нему строго, хотя и справедливо [2].

В Лицее Гара преподавал историю и, как писала *Декада*, умел нравиться как женщинам, так и мыслителям. Когда Неккер выступил против идеи *Катехизиса нравственности*, основанного исключительно на принципах естественного права, Гара ответил ему, утверждая, что если целью социального порядка является благо большинства, то отсюда немедленно вытекают добродетель и мораль, поскольку частные интересы и общее благо совпадут и сольются в единый интерес. Будучи депутатом Учредительного собрания, Гара вёл для *Journal de Paris* хронику заседаний Ассамблеи. Во времена Конвента он был министром юстиции, затем министром внутренних дел, зачитал Людовику XVI его смертный приговор и был обвинён, по крайней мере, в слабости во времена Террора [3].

---

1 О Гара см. *Философская декада*, passim. Дамирон (*Опыт по истории философии во Франции в XIX веке*) в отношении Гара ограничивается лишь критикой принципа, что все наши знания происходят от чувств. Виленав (*Biographie universelle*) владел неизданным «Известием» о Гара, написанным им самим.

2 «Речь заходит о пасторалях, — говорит он, — и вот уже готова поэтика о эклоге и пятнадцать страниц о Феокрите и Вергилии, которые превосходно помогают почувствовать достоинства Фонтенеля. Он написал оперу — и вот уже готова поэтика об опере и длинная похвала Кино».

3 Мемуары мадам Ролан: «Робкий Гара… заменил своим невежеством и ленивыми манерами самого деятельного человека Республики… Гоье, столь же слабый, как и Гара… Гара, который никогда ни в чём не отказывал своим господам». — Правда, мадам Ролан говорит о Кондорсе, «что она никогда не знала ничего столь же трусливого… Что он столь же слаб сердцем, как и здоровьем». — Но Андре Шенье, после того как упомянул о «героях, которых Гора выкармливала для эшафота», добавляет ...

Мы услышим их погребальные речи
Из уст доброго Гара (Ямбы, II).

Однако, если в политике роль Гара была незаметной и не заслуживает особого внимания, то в философии он занимает более важное место.

Гара преподавал в Нормальной школе курс *Анализа разума* (*Analyse de l'entendement*). Он сам объяснил выбор этого названия. Термин *метафизика* грозил смешением с туманной наукой древних школ, которые бесконечно рассуждали о сущностях бытия, модусах и акциденциях, духовных и недуховных субстанциях. Слово *психология*, используемое Бонне и предложенное Кондильяком, неудачно: оно почти не получает ясности от французского языка, а своей этимологией восходит скорее к идее *души*, чем к идее *операций человеческого разума*. Название, данное Локком, хоть и состоит из нескольких слов, показалось предпочтительным: оно ясно и довольно кратко выражает предмет курса.

Какова цель курса? Разум или *умственное постижение* — прекраснейшее свойство человека; его зачатки почти повсеместно рассеяны в людях, но у большинства они остаются бесплодными. Причина этого унизительного неравенства умов заключается в различии обстоятельств, образования, методов и занятий. Чтобы направить разум к истине, прибегали к *вкусу*, который судит о красоте, а не об истине; к *индукции*, которая у Сократа сводилась к вопросам без последовательности и ответам без связей, тогда как свет истины возможен только через *связь идей*; прибегали к *силлогистике* Аристотеля, умственному поединку, в котором разум упражняется и изнемогает без пользы для людей; наконец, к формам, но не к методам геометров и не к точности, которую они привнесли в свой язык. Только начиная с XVI века семь-восемь философов поняли, что сначала нужно хорошо изучить человеческий дух, следить за ним шаг за шагом — от ощущений, которые присущи и животным, до понятий самого возвышенного интеллекта. Они установили, чем мы обязаны каждому чувству в отдельности и всем вместе, выявили причины ошибок наших чувств и средства их исправления; они сводили к ощущению внимание, сравнение, суждение, размышление, память, воображение, рассуждение; различали и определяли все типы и виды идей — от образов внешних предметов до наиболее абстрактных понятий. Благодаря этому стало возможно разложить самые сложные понятия столь же легко, как часовщик разбирает сделанные им часы, и тем самым приступить к *воссозданию человеческого разума*. Изучая языки как необходимые средства для передачи идей, они показали, что *человек мыслит только потому, что говорит*, потому что посредством речи удерживает и фиксирует перед умом ощущения и идеи, которые в противном случае ускользнули бы. Они доказали, что языки имеют для философов куда большее значение, чем предполагалось. Следовательно, *хороший метод* — это искусство умножать чёткие и проверенные ощущения, направлять операции разума в соответствии с природой его способностей, обладать тайной формирования идей, чтобы всегда ясно видеть, как они были созданы и что означают, говорить точно, кратко и логично, придавая каждой мысли ясность, достоверность и масштабность. Этот метод применим ко всем видам знаний и

способствовал открытиям в точных и естественных науках с эпохи Галилея, так же как он направлял Бэкона и Локка в анализе человеческого разума. Именно этот метод Гара и намеревался преподавать.

В первой лекции Гара с энтузиазмом восхваляет Бэкона — первого из создателей анализа разума: три величайших открытия Ньютона, по его мнению, — это лишь идеи Бэкона, подвергнутые проверке опытом и расчетом. За Бэконом он ставит Локка. Тот поднялся к истоку идей и показал, как ощущения превращаются в понятия. Он продемонстрировал пагубное влияние слов на рассуждение, заложил основание достоверности человеческих знаний и границу, которую они не могут перейти. Он обосновал принципы гражданского правления, тем самым вдохновил «Общественный договор» и подготовил почву для свободы Франции. Наконец, он дал автору *Эмиля* основные идеи об образовании и с неотразимой убедительностью развил идеи толерантности. Шарль Бонне, начав с духовности души и завершая её воскресением, отправившись из тьмы и к ней же вернувшись, всё же осветил свой путь ярким и обильным светом.

С Кондильяком, по мнению Гара, он словно обретает покой после долгих трудов, свет — после мрака или полутёмных троп. Та ясность, которую Кондильяк внёс в понятия, обеспечила его метафизическим сочинениям не меньше читателей, чем произведениям вкуса. Его *Грамматика* стоит гораздо выше грамматики Дюмарсе. Его *Всеобщая история людей и империй* в области искусства, науки, морали, законодательства — более полная, чем все аналогичные сочинения, опубликованные в просвещённых странах Европы, и делает его равным Кеплеру и Ньютону. Его *Опыт о торговле и правлении* с помощью метода разрешает вопросы, которые долгое время занимали экономистов.

Теперь Гара сам хочет попытаться идти по следам всех этих великих людей [1].

Курс должен был состоять из пяти разделов. Первый должен был быть посвящён чувствам и ощущениям. Существует искусство видеть, слушать, осязать, которое можно развить гораздо дальше, чем принято думать, и которое позволило бы расширить сферу действия всех органов чувств, бесконечно умножить ощущения и расширить наши познания во всех направлениях.

---

[1] «Двадцать лет, — говорит он, — как, поражённый светом, исходившим из их сочинений, хотя, быть может, и предназначенный природными склонностями моего ума к иным родам занятий, я всегда возвращался, как бы помимо своей воли, к произведениям, созданным ими, и к предметам, которые они разрабатывали. Двадцать лет я их обдумывал, но ещё не написал ни одной страницы. Посреди вас я собираюсь сделать тот труд, который должен сделать для вас. Мы создадим его вместе; недавно, когда топор был занесён над всеми головами, в том всеобщем бедствии, которого мы избежали, одним из сожалений, которые я испытывал к жизни, было умереть, не оставив рядом с эшафотом того труда, к которому я так долго готовился».

Наряду с этим искусством есть и другое: воздух, которым человек дышит, образы, в которых он воспринимает солнечные лучи, пища, напитки — всё это естественные агенты, с помощью которых человек может настраивать инструмент своей чувствительности на различные тона [1].

Во второй части курса речь должна была идти о способностях разума — то есть о способах направлять наши чувства и сочетать наши ощущения, чтобы они соответствовали нашим отношениям с природой вещей. Необходимо различать внимание и память, воображение и рассудок. Внимание определяет все остальные способности и действует как на ощущение, с которого начинается цепь, так и на размышление, которым она завершается, а также на промежуточные способности. Искомые правила управления вниманием — это, по сути, поиски тайн разума и гения. Воображение и память по сути одна и та же способность: память — это ослабленное воображение, а воображение — яркая и полная память. Мы также называем воображением способность к комбинированию полученных образов, но не следует забывать, что воображение включает почти незаметные операции, суждения и рассуждения, — если мы хотим избежать грубых ошибок или расплывчатости некоторых понятий, встречающихся даже у Локка и Кондильяка. Из всех способностей воображение — это то же, что авангард в армии, идущий на разведку: оно идет вперед, чтобы обнаружить то, что нужно подвергнуть расчету и наблюдению. Видеть и обозначать сходства или различия между несколькими ощущениями значит судить; обнаружить в уже сформированном суждении другое, скрытое в нем суждение — значит рассуждать. Доведя искусство мышления до высшей степени совершенства, человек будет рассуждать с такой же скоростью, с какой он судит, судить — с такой же скоростью, с какой воображает, а воображать — с такой же скоростью, с какой ощущает: тогда эта доказанная истина, что все операции духа являются всего лишь ощущениями, почти сама станет ощущением.

Третья часть посвящена теории идей. Неосведомленность в этой области была столь велика, что человек гениального ума, Декарт, полагал, будто идеи врождённые! Мы должны изучать мысль так же, как Лавуазье и Бертолле изучали воздух, который кажется простым, но на деле состоит из элементов с различной формой и свойствами. Было правильно вернуть индивидуумам реальность, которой их лишила тонкая, но ложная философия, — однако, возможно, в этом зашли слишком далеко: слишком мало знали или указывали реальные основания для классификации существ по родам и видам. Физические идеи формируются первыми — на моделях, которые предоставляет природа. Моральные идеи — не без моделей, как считал Кондильяк[2]; они приходят к нам

---

1 «Чашка кофе, — говорит Гара, думая о Вольтере, — даёт гению то движение, с которым он будет производить и творить». — Ср. Гольбах, Введение, § 3.

2 В этих двух отрывках сам Гара отходит от Кондильяка.

не через некое моральное чувство, а через все чувства: боль и удовольствие учат нас формировать представления о пороке и добродетели. Все идеи — от представления о телах до идеи первопричины — производятся с помощью абстракции, которая является источником точности и обобщения, соединения и разложения, процессов, к которым прибегают все наши способности. Именно абстракция создаёт языки, и создаёт их для себя.

К теории идей непосредственно примыкает теория языка, или точнее — знаков. Руссо разрешил проблему возникновения языка так же, как плохие поэты развязывают интригу плохой трагедии. Кондильяк, обладая меньшей славой, красноречием и гением, возможно, оказал разуму человека более существенные услуги: он предложил простое и ясное решение, которое проливает яркий свет как на теорию идей, так и на теорию языка. Языки служат как для передачи мыслей, так и для их формирования: божества, перед которыми трепетало человечество и которые возникли из иероглифического письма, свидетельствуют о силе знаков. Если великие поэты были светочами человеческого разума, если красноречие было злейшим врагом философии и истины, но в наше время соединилось с философией, чтобы искупить причинённое ею зло, то нужно стремиться к тому, чтобы это союз стало лёгким, всеобщим и прочным. Следует задаться вопросом: может ли философский стиль быть одновременно очень выразительным и очень точным? Наконец, если алгебра — то есть совершенно новый язык — была создана за последние два столетия, если за десять или двенадцать лет новый язык химиков распространился по всей Европе, то создание нового языка, охватывающего все типы идей, далеко не является наибольшей трудностью для здравой философии. Самым трудным сейчас остаётся лишь его повсеместное принятие. Если когда-либо Европа будет состоять из республик, конгресс философов учредит этот язык — источник просвещения и добродетели, богатства и процветания для всех народов.

Пятая часть посвящена методу: не существует иного способа хорошо видеть, наблюдать, мыслить и говорить, кроме как говорить, мыслить, наблюдать и видеть аналитически. Именно анализ дал начало всем выдающимся открытиям в точных и естественных науках. Синтез может дать некоторое просветление лишь тогда, когда он является плодом анализа; предоставленный самому себе, он порождает самые безумные системы, которые вводили человечество в заблуждение.

В лекциях, последовавших за основным курсом, Гара был вынужден уточнить некоторые свои идеи. Один ученик (Мюр) в письме восхвалял Гельвеция: он стремился примирить «учёные уши» с термином *метафизика* и оставить название *схоластики* школьному жаргону. Гара в ответ заметил, что сторонники Гельвеция это скорее верующие, чем глубоко убеждённые люди; что Гельвеций опирался исключительно на внешнюю организацию человека, не принимая во внимание внутреннюю организацию, которая оказывает куда

большее влияние на мышление, и в то же время настолько слабо изучена, что о ней невозможно рассуждать уверенно. Что касается термина *метафизика*, который мог бы подойти для обозначения науки о разуме, то, будучи дискредитированным сначала схоластами, а затем в сочинениях Руссо, Гельвеция и Дидро, он стал синонимом пустых абстракций, и никто не решается его сохранить. Другому ученику, который выражал сожаление по поводу того, что Декарт не упоминается среди великих аналитиков человеческого разума, Гара отвечает, что Декарт один из философов [1], перед которым человеческий разум имеет наибольшую признательность; что он создал значительную часть алгебры, сделал диоптрику цельной наукой и доктриной и способствовал внедрению в сочинения большей краткости и точности. Однако, он не провёл — и не мог провести — анализ человеческого разума, поскольку поставил на пути к этому анализу врождённые идеи, которые стали преградой, закрывшей ему путь. Хотя, провозгласив четыре правила своего метода, он и казался вступившим на тот путь, по которому шли Бэкон и Локк, хотя он настаивал на необходимости тщательно делить предметы и тем самым заложил семена подлинного метода, он сам же эти семена и заглушил своими идеями о врождённости. Ещё один ученик указывал, что язык не создаёт мышления, а анализирует его; следовательно, мышление предшествует речи и любому искусственному языку. Гара различает образы или ощущения, для получения и сохранения которых язык не нужен, и способность мыслить, то есть разделять и связывать ощущения, другими словами, складывать и вычитать — для чего необходимы знаки или языки. Это, по его мнению, хорошо понял Гоббс, который в своей *Логике или исчислении* приравнял искусство мышления к искусству счёта. Другой ученик затронул тему бессмертия души как основы морали, неразрывно связанной с её духовной природой. Он спросил, как в рамках системы, утверждающей происхождение всех идей из ощущений, можно представить себе чисто духовное существование. Гара не отрицая, что догмат бессмертия может давать более высокие и мощные опоры, утверждает, что мораль, хотя и возлагает свои высочайшие надежды на иную жизнь, имеет свои корни в этой жизни и что её законы запечатлены в человеческом сердце. Связь между духовностью и бессмертием может быть реальной; но как доказать разумом, что она столь существенна и необходима, если многие философы — даже христианские и святые — верили, что душа бессмертна, но при этом материальна?

Наиболее часто цитируемая дискуссия — это та, что произошла между Гара и Сен-Мартеном. Последнему в то время было пятьдесят два года. Он знал Мартинеса де Паскалиса, читал Бёме, не поняв его, и написал, из негодования по отношению к философам, книгу *Об ошибках и истине*, которую Вольтер считал «самым абсурдным и туманным, самым безумным и глупым» из всего, что когда-либо печаталось. Преподаватели и ученики Нормальной школы

[1] Поэтому нельзя сказать (Франк, *Мистическая философия во Франции в конце XVIII века*, с. 70), что Гара отказывает Декарту в звании философа.

казались ему исполненными исключительно «духа мира», и под этим покровом он, как он сам выражался, видел «врага всякого добра» [1].

Сен-Мартен [2] предложил три поправки к лекции Гара. Он требовал восстановления *нравственного чувства*, «одного из источников и каналов нашего совершенствования»; утверждал, что для возникновения речи была необходима сама речь; и настаивал на том, что можно доказать, что материя не мыслит. Мы уже указали, что думал Гара по первым двум вопросам. Здесь достаточно кратко изложить его ответ на третий. Более осторожный, чем Локк, он ни разу не выразил и не заявил никакого мнения относительно связи между материей и мышлением; он никогда не утверждал, что материя вечна и что она мыслит, и никогда этого не скажет. Он не вмешивается в гипотезу материалистов, потому что они не могут предложить ему никакого доказательства, как и он не может предложить его им. Чтобы опереться на основание, которое ничто не может поколебать, он отказывается подниматься так высоко, как спиритуалисты и материалисты, которые говорят больше него, но знают не больше. Идеи, связанные со словами *орган*, *движение*, *ощущение*, даже в подлинной метафизике никогда не связываются достаточно тесно, чтобы не оставить промежутков, в которые спиритуализм вполне может поместить свои гипотезы, если он философский, или свои догматы, если он религиозный. Следовательно, метафизика, не будучи спиритуализмом, тем не менее не является его врагом — напротив, она скорее приходит ему на помощь. Это, по словам Гара, хорошо поняли Кондильяк и Бонне, к которым он мог бы присоединить и Канта [3]. Сен-Мартен, дважды безуспешно претендовавший на премии Института, написал письмо, по просьбе Гара опубликованное в *Заседаниях и дебатах Нормальных школ*. В нём он утверждал, что спиритуалисты *всегда и неизменно* противостоят идеологам, что Бэкон оставляет желать многого, но всё же он не только менее отталкивающ, чем Кондильяк, но и «на сто ступеней выше» [4]. Он добавлял, что философия Гара

---

1 Франк установил (с. 61), что *Жизнь сестры Маргариты от Святого Таинства* позволила Сен-Мартену показать, что медицина, «когда она не принимает во внимание сверхъестественного порядка», не является наукой с более прочным основанием, чем философия, и что она приводит лишь к тому, чтобы убить тело, как философия — душу.

2 О Сен-Мартене см.: Л. Моро, *Размышления об идеях Сен-Мартена теософа*, 1850; Каро, *Опыт о жизни и учении Сен-Мартена, Неизвестного философа*, 1852; Сент-Бёв, *Литературные портреты*, т. II; Маттер, *Сен-Мартен, Неизвестный философ*, 1862; А. Франк, *Мистическая философия во Франции в конце XVIII века*, 1866.

3 Разумеется, нельзя юридически заключить, что Сен-Мартен был неправ в этой дискуссии только потому, что он исходил из мистических принципов, опиравшихся на сверхъестественные видения; но, по-видимому, не следует также утверждать, что Гара не осмеливался признать себя ни спиритуалистом — потому что он им не был, — ни материалистом — потому что слово его пугало, — и прибавлять, что философию нельзя строить на компромиссах, что это значит объявить о своём поражении, капитулируя перед собственной совестью (Каро, с. 43). На деле Гара стоит на почве положительной науки.

4 Сен-Мартен говорит, что он «очень бегло» просмотрел *Опыт о происхождении человеческих знаний* и *Трактат об ощущениях*, «очень быстро» — *Анализ философии Бэкона.*

нуждается в *уловках красноречия* и находит *полезную опору* в его таланте и ловкости.

Гара, безусловно, был первым во Франции, кто преподавал философию как оратор, в лучшем смысле этого слова. Его традицию продолжили Ларомигьер и Руайе-Коллар, а позже Виктор Кузен, Жюль Симон и Каро. Однако не следует думать, что современники Гара судили его столь строго, как это делают наши дни — и не без оснований — после изучения всей его жизни и творчества в целом. Мы уже приводили мнение Женгене; а Тюро, Дону, Прево и Кабанис [1] думали так же, как он. Эти лекции, от которых ожидали рождения выдающегося труда, и составили философскую репутацию Гара. Сам он, по-видимому, на мгновение поверил в то, что действительно выполнит задуманное, только чтобы почти сразу забыть об этом. Отказавшись вступить в Институт в качестве грамматиста, он заявил, что, удалившись в деревню, посвятит всю свою жизнь завершению трактата об анализе ощущений и идей, истории античности и истории Революции. Ни одного из этих обещаний Гара не сдержал. Но он вновь возвёл в почёт изучение психологии и пробудил у своих слушателей желание вернуться к вопросам, которые он обозначил, но не разработал. С этого времени перед нами уже не тот человек, в котором можно было усмотреть зарождающийся талант, а скорее личность, в которой проявляются лишь те недостатки, чьи зачатки уже давно были заметны. Член Совета по народному образованию и Института, посол в Неаполе (где его навестил Дону), он не упускал случая восхвалить Бонапарта, который, впрочем, обещал идеологам содействовать торжеству идей, за которые они сражались [2].

Он был, таким образом, одним из тех, кто содействовал 18 брюмера. Став сенатором, он понял — хотя и неизвестно, насколько это его огорчило, — что трудился не ради свободы. Исключённый из Института, как и из Палаты пэров

---

[1] Гара, в качестве комиссара по народному просвещению, поручает Тюро перевод Гермеса Харриса, побуждает Кабаниса составить его Революции медицины. Тюро признавал себя обязанным Гара той важной истине, которую он развивал. Прево упоминал лекции знаменитого профессора, чей красноречивый голос возвещал столь обширный замысел, и надеялся, что тот вскоре представит развитие своих принципов о философии человеческого духа. — Кабанис в 1802 году вспоминал прекрасные и красноречивые лекции, в которых Гара объявлял о подробном изложении всей идеологической доктрины. — В 1833 году Дону ещё говорил, что Гара, как в должности комиссара по народному просвещению, так и в должности профессора в Нормальной школе, как собственными трудами, так и поощрениями, оказанными другим, содействовал возрождению и прогрессу подлинной философии. Олар, изучающий с беспристрастием и знанием дела все труды этой эпохи, придерживается почти того же мнения.

[2] Ср. гл. III, § 2. Гара мог позднее сказать, не вызывая тогда особого удивления, что если власть высокого поста и власть военной славы соединяются в высшей степени в одном и том же человеке, то нужно не бояться этой славы, а рассматривать её как гарантию и как преграду, ибо узурпаторы никогда не бывают героями, и наоборот. Рассматривая мораль как опору переговоров, он хотел, чтобы тот, в чьих руках были великие судьбы и собственная слава, взял на себя задачу заставить эти идеи восторжествовать! (*Декада*, 9 января 1798 г. и вандемьера IX года). Ср. Тэн, op. cit., т. III.

при Реставрации, он не затаил обиды на тех, кто содействовал «очищению», и согласился написать *Исторические мемуары о XVIII веке и о месье Суаре* (1820). Недостатки, которые Лагарп отмечал ещё в *Похвальном слове Фонтенелю*, стали в *Мемуарах* ещё более явными. Суар сидит в тюрьме Сент-Маргерит: Гара описывает Прованс и Средиземное море. Начальник тюрьмы одалживает ему Библию и *Словарь* Бэя: Гара говорит о Библии и о Бэе. Суар учит английский: Гара пишет диссертацию о английском языке. Суар наблюдает за состоянием французской литературы: Гара говорит о Фонтенеле, Монтескьё и Вольтере. Суар, находясь у мадам Жоффрен, представлен Фонтенелю Рейналем: Гара пишет портрет Рейналя, описывает салон мадам Жоффрен и, между прочим, обсуждает Мариво и Трубле. Суар сближается с Арно, почитателем Платона, и с Жербье, известным адвокатом: Гара сравнивает Платона с Локком, изображает «храм Правосудия» и рисует картину красноречия в Греции и в Англии. Суар основывает *Journal étranger* и *Gazette Littéraire*: Гара говорит о Юнге, Беккариа, Женгене и мадам де Сталь. Суар принадлежал к обществам, в которых столь важную роль играла беседа: Гара становится рассказчиком этой значительной части истории французской монархии. Он начинает с Карла Великого, который предпочитал окружать себя самыми остроумными женщинами, а не самыми красивыми; вспоминает, говоря об Абеляре и святом Бернарде, о слабостях «молодого богослова и его юной ученицы», которые, став объектом всеобщих разговоров, тронули сердца, смягчили язык, продвинули целое столетие вперёд и породили искусство рассуждения, куда более надёжное, чем схоластика, — искусство, рождённое в сфере удовольствий и галантности. Л'Опиталь, Монтень и Ла Боэси, *Мениппова сатира* и Генрих IV, Корнель и Людовик XIV, Мольер, Расин и Фенелон, Декарт и Пор-Рояль, мадам де Севинье, де Лафайет и де Ментенон, Вольтер, Дидро, Ж.-Ж. Руссо, Монтескьё и Делом, д'Аламбер, Гольбах и Гельвеций — все они фигурируют в этой *истории разговоров*! Суар и его жена заводят знакомство с Моль дю Марше, которого привлекали экономические идеи: Гара излагает учения Кене, Тюрго, Неккера, Мирабо-отца, а затем переходит к их противнице мадам дю Деффан и к Морелле, который ставил её выше мадам Жоффрен! Уже не хватает сил довести этот разбор до конца тома!

Часто форма не лучше содержания. Гара одновременно высокопарен и туманен, банален и напыщен [1]. И сколько похвал он расточает самым разным

[1] Один человек доносит на Сюара, которому родители доверили его: «Но либо это было первое предательство негодяя, либо он совершил и другие преступления, остававшиеся глубоко неизвестными тридцать или сорок лет. Первая гипотеза может заставить дрожать души, наиболее уверенные в своей добродетели; вторая могла бы внушить тревогу в самых долгих и тесных связях». Сюар едва мог разглядеть море: «Нужна была сноровка, чтобы взглянуть на него через щель бойницы, а сноровка приобретается только с опытом. Сначала он мог видеть его разве что в одном измерении — в виде прямой линии, самой короткой для геометров, самой скучной для всех остальных… нужно было выработать своего рода искусство пользоваться своей бойницей. Постоянно вращаясь сам вокруг неё, которую он не мог повернуть, он научился ею пользоваться, как астроном — телескопом, расширил её поле, сумел смотреть во все стороны, видеть и различать вдаль и во всех измерениях».

вещам и людям — только, по-видимому, потому, что они давали ему повод для ораторских развертываний! [1] Тем не менее, в книге содержатся весьма ценные сведения, которых напрасно было бы искать где-либо ещё, — о людях XVIII и начала XIX века. Более того, в своих отступлениях Гара порой находит действительно изящные и поэтические описания, которых не превзошли даже те, кто с наибольшей любовью говорил о Юге [2]. Если подумать о том, что ему было семьдесят лет, что он зачитывал Людовику XVI его смертный приговор, восхвалял Оша, видел, как Бонапарт уничтожает свободу, переворачивает Европу, а Бурбоны пытаются восстановить старый порядок, — легко убедиться, что, возможно, самое любопытное в этой книге — это сам человек, у которого даже самые страшные события не отняли ни хорошего настроения, ни довольства, потому что он находил в них повод для упражнений в пышных, ораторских или гармоничных периодах.

Именно в *Нормальной школе* Лаплас (1749-1827) подвёл итоги, достигнутые его предшественниками в области исчисления вероятностей, и дополнил их собственными результатами. Уже в 1774 году он утверждал, что каждая из причин, к которым может быть отнесено наблюдаемое явление, тем более вероятна, чем выше вероятность того, что при её допущении это явление действительно произойдёт. Объединив в единое целое после смерти Кондорсе все методы, придуманные со времён Паскаля, он дал их аналитическую теорию

Сюар заключён в тюрьму — это государственный переворот. Он возвращается в Безансон, и там он — честь университета, своей провинции, как и авторов своего времени. Гара не забывает ни «топора палача», ни «меча истины», ни «храма правосудия», ни «высот, где уже нет пола», ни «соф дивной неги»; он не боится даже каламбуров и говорит о «книге *Общественного счастья* Шастеллю, который составлял счастье Вольтера» и т. д., и т. д.

1 Карл Великий, Франциск I, Людовик XIV, Регент, Людовик XV, Людовик XVI и Людовик XVIII, Робеспьер и Бонапарт, Карно и Баррас, Боссюэ и Вольтер, Кондорсе и Декарт, Мазарини и мадам де Монтеспан, брахманы и христианские миссионеры, Трубле и *Провинциалы*, Гольбах и Рамо, Ларомигьер и Кант, Нормальные школы и старые университеты, *Библия* и *Словарь* Байля!

2 «На берегу Средиземного моря — это не только Неаполь и Валенсия на суше и на воде — места очарования и услады; это не только на нескольких излюбленных заливах этого миловидного Океана, но на всём его протяжении — от Лемноса и Кипра до Пиренейских гор — в те прекрасные дни, столь точно определённые как праздники, дарованные небом земле, кажется, можно увидеть, как по волнам бродит и скользит морская колесница Венеры и её граций. И как украшают эти дни народы любезные и счастливые, для которых в таком прекрасном климате эти прекрасные дни столь многочисленны, — украшают, предлагая небу зрелище того счастья, которое они от него получают! Словно и они, в свою очередь, хотят устроить праздники для него!

Кто не видел на юге Франции эти лёгкие фелюги, украшенные парусами и флажками, словно нимфы вод — своими волосами, выставляющие на состязания и венки юношей, наполовину одетых, наполовину обнажённых, готовых рассекать волны руками и вёслами, грести, как тирийцы, и плыть, как тюлени? Кто не слышал этого смешанного и сливающегося шума моря и народного веселья, который издали можно было бы принять за гул многочисленных ульев, пьющих нектар из чашечек цветущих садов? Сколько молодых провансалок, чьи любовные голоса заставляют звучать воздух, волны и скалы песнями, первыми образцами которых были песни Петрарки!» — Ср. Альфонс Доде, *Набоб.*

и научил применять к любому типу задач тот единственный метод, который гармонизировал все эти подходы. Говорили, что ни в одном другом труде его гений геометра не проявился столь ярко. Затем он развил свою лекцию в *Философском очерке о вероятностях*, показав, насколько легко теория случайностей применяется к азартным играм, к естественным наукам, медицине, политическим и моральным наукам.

Но ещё более заслуженной является слава Лапласа благодаря *Изложению системы мира* и *Трактату о небесной механике*. В *Трактате* (1799) Лаплас показал, что астрономия — это большая задача механики, для решения которой наука должна черпать из наблюдений лишь данные о движении светил, их формах и массах. В нём он собрал теории различных небесных явлений и изложил ту глубокую геометрию, которая была необходима для их разрешения. *Изложение системы мира* (1796), посвящённое Совету Пятисот, начинается словами Лапласа: *«Астрономия, по величию своей цели и совершенству своих теорий, — самый прекрасный памятник человеческого разума и самое благородное свидетельство его интеллекта. Ослеплённый иллюзиями чувств и самолюбием, человек долгое время считал себя центром движения светил, и его тщеславие было наказано страхами, которые они ему внушали. Наконец, несколько столетий трудов сорвали покров, закрывавший от него систему мира. Тогда он увидел себя на планете, едва заметной в солнечной системе, которая и сама по себе лишь неощутимая точка в бесконечности пространства. Возвышенные результаты, к которым привело это открытие, способны утешить его в той скромной роли, что отведена Земле, ибо они показывают величие самого человека, исходя из ничтожности той базы, от которой он начал измерять небеса. Сохраним и приумножим это сокровище высших знаний — отраду мыслящих существ. Астрономия принесла важные плоды в навигации и географии; но её главное благо — в том, что она рассеяла страхи, вызванные небесными явлениями, и уничтожила ошибки, рождённые неведением наших связей с природой — ошибки тем более пагубные, что общественный порядок должен покоиться только на этих связях. Истина, справедливость — вот её неизменные основания. Да будет отринут от нас опасный принцип, согласно которому, якобы, можно обманывать или порабощать людей для их же блага! Печальные опыты всех времён доказали, что священные законы истины и справедливости не могут быть нарушены безнаказанно»*. Уже за одно это произведение — с его несравненной ясностью и возвышенностью — Лаплас заслуживает быть поставленным рядом с величайшими представителями школы идеологов [1]. В нём он восхваляет Д’Аламбера и, по примеру Кондорсе, рисует картину прогресса самой возвышенной из естественных наук. Наряду с Вольнеем и Дюпюи, он делает астрономические знания основой для всех теогоний. Он говорит о фанатизме и суеверии, как Вольней или Нежон; о конечных целях — как об выражении

[1] См. Кабаниса, *Соотношения физического и нравственного*; Дестюта де Траси, *Идеология*. — Льюис сближает Лапласа с Дестютом де Траси.

нашего незнания истинных причин; о философском духе — как Вольтер; об анализе — как о методе столь плодотворном, что достаточно перевести в этот универсальный язык частные истины, чтобы из их выражения вышло множество новых и неожиданных истин; наконец, о методе — как истинный ученик XVIII века [1].

Лаплас не ограничивался тем, чтобы лишь подытожить и дополнить труды своих предшественников. Давая подлинную *Систему мира*, он поднимался к причине первичных движений этой системы. Чтобы предпринять такую задачу, — говорил он, — у нас есть пять явлений: движение планет в одном и том же направлении и почти в одной и той же плоскости; движение спутников в том же направлении, что и движение планет; вращательное движение этих тел и самого Солнца в том же направлении, что и их поступательное движение, и в плоскостях, мало отличающихся друг от друга; малая эксцентриситет орбит планет и спутников; наконец, большая эксцентриситет орбит комет, хотя их наклоны оставлены случаю. Гипотеза Бюффона, согласно которой комета, врезавшаяся в Солнце, выбросила струю вещества, из которого вдали образовались бы планеты и их спутники, объясняет лишь первое из этих явлений. Подлинная причина должна охватывать все планеты. В силу огромного расстояния, которое их разделяет, эта причина не может быть иной, кроме как флюидом колоссального распространения. Чтобы она придала планетам движение почти по кругу и в одном направлении вокруг Солнца, этот флюид должен был окружать Солнце подобно атмосфере. Значит, атмосфера Солнца первоначально простиралась за пределы всех орбит планет и постепенно сжималась до своих нынешних границ. Солнце тогда напоминало туманности, которые телескоп показывает нам как ядра разной яркости, окружённые облачностью, что, сгущаясь на поверхности ядра, превращает его в звезду.

Как же солнечная атмосфера обусловила движения планет и спутников? Остывая, она сжималась, сгущая близлежащие молекулы на поверхности; вращение ускорялось (принцип площадей), как и центробежная сила; точка, где сила тяжести равна центробежной, приближалась к центру. Таким образом, по мере охлаждения солнечная атмосфера оставляла позади молекулы на своей первоначальной границе и на последующих, создаваемых ускорением вращения Солнца. Что касается зон пара, оставленных позади, то они образовывали, вследствие конденсации и взаимного притяжения молекул, концентрические кольца пара, вращающиеся вокруг Солнца. Лишь изредка

[1] «Общие законы, — говорил он, — отпечатлены во всех частных случаях; но они там сопряжены с таким множеством посторонних обстоятельств, что часто требуется величайшая ловкость, чтобы их открыть. Нужно выбрать или вызвать явления, наиболее подходящие для этой цели, умножить их, варьируя их обстоятельства, и наблюдать, что у них общего. Так постепенно поднимаются к связям всё более широким и, наконец, достигают общих законов, которые проверяют либо прямыми доказательствами и опытами, когда это возможно, либо исследуя, удовлетворяют ли они всем известным явлениям».

конденсация молекул кольца приводила к образованию жидкого или твёрдого кольца; почти всегда кольцо распадалось на сфероидальные массы, которые, движимые с почти одинаковыми скоростями, вращались на одном расстоянии от Солнца и образовывали планеты в состоянии пара. В большинстве случаев одна из таких масс притягивала остальные и собирала их вокруг своего центра, так что кольцо становилось одной сфероидальной массой пара. Что касается планеты в виде пара, то последующее охлаждение вызывало появление и рост центрального ядра. Планета становилась тем же, чем было Солнце в состоянии туманности. На различных границах её атмосферы вновь происходили описанные выше явления — кольца и спутники, вращающиеся вокруг её центра. Наконец, бесчисленные различия в температуре и плотности различных частей этих огромных масс, из которых состоит солнечная система, породили эксцентриситет их орбит и отклонения их движения от плоскости солнечного экватора.

Труды, в которых Поль Жане и Ренувье оспаривали выводы Кетле, развившего после Пуассона идеи Лапласа об исчислении вероятностей, а также *Опыты*, в которых Спенсер связал гипотезу туманности с доктриной эволюции, показывают, насколько важным остаётся Лаплас для современной философии.

Пинель (1745-1826) попытался сделать для медицины то, что Лавуазье сделал для химии. Его первый труд стал, как сказал Минье, до реформы Бруссе *хартией французской медицины*. Уже само название книги *«Философская нозография, или метод анализа, применённый к медицине»* (1798) указывает на его цель. Постоянно используя анализ, чтобы разложить сложные объекты, рассмотреть их элементы в изоляции и точно определить их характеристики, а затем снова перейти к точным и справедливым представлениям о сложных объектах, Пинель стремился применить принципы Кондильяка. Но он также прекрасно знал, что следует за Декартом, который советует упорядочивать свои мысли, начиная с объектов наиболее простых и легко познаваемых, чтобы постепенно, шаг за шагом, подняться к более сложным знаниям. Он восхваляет методическое сомнение, которое, по его словам, может быть весьма полезно в области внутренней патологии: «Какое благо для человечества, если бы это сомнение было принято всеми, кто занимается медициной!».

Четвёртый класс заболеваний он посвятил неврозам. Пинель считал, что к ним тогда была неприменима естественная классификация, и ограничился искусственным расположением. Два года спустя (1800) он публикует свой *Медицинский и философский трактат об умопомешательстве, или мании*. Вместо того чтобы относиться к душевнобольным как к преступникам или одержимым, он увидел в них просто больных, применял мягкость и доброжелательность, разделил их на различные категории, ввёл чистоту и порядок — и добился многочисленных излечений. Его книга завершила то, что было начато его практикой. Но и в этом сочинении Пинель столь же много занимался методами и философскими исследованиями, как и чисто

медицинскими вопросами. Он применил анализ после изучения трудов современных психологов — Локка и Харриса, Кондильяка, Смита и Стюарта, — чтобы понять и классифицировать различные формы, включаемые в общее понятие «душевного расстройства». Успех был столь же велик среди философов, как у *Нозографии* среди медиков. В ней, как писал Моро де Тур в *Декаде*, «на каждой странице можно увидеть развитие той мысли Монтеня: „Всё это можно отнести к тесной связке души и тела, взаимно обменивающихся своими функциями“», — и тем самым возникает идея, что медицину следует включить в философию. «Так, несомненно, — добавлял он, — скажут себе глубокие идеологи, которые найдут в этом превосходном сочинении множество фактов, наблюдение за которыми проливает яркий свет на нравственную часть антропологии». Моро не ошибался: Кабанис спорил с некоторыми утверждениями, но высоко хвалил этот труд, «написанный подлинным гением медицины». Дестют де Траси не уставал рекомендовать его к прочтению [1].

Пинель отвёл большое место психологии и заставил медиков, борясь с мнимыми болезненными сущностями, связывая болезни с органами, классифицируя и определяя их, совершенствовать диагностику ради более глубокого анализа. Как философ, он был одним из создателей патологической и болезненной психологии.

Подведём итоги, к которым привело нас изучение идеологов первой группы. Кондорсе является преемником Д’Аламбера и Вольтера, Тюрго, экономистов и математиков. Госпожа Кондорсе поддерживает союз французской философии с шотландской. Сийес думает о том, чтобы познакомить публику с Кантом; Рёдерер восходит к Руссо, Тюрго, Смиту и подумывает о переводе Гоббса. Что касается Вольнея, Дюпюи, Марешаля и Нежона, они напоминают Гельвеция, Гольбаха, Дидро, Мабли, Гассенди, Монтеня и скептиков. Сен-Ламбер ближе всего к Гельвецию и Вольтеру. Гара восхваляет Бэкона, Локка, Бонне, Кондильяка. Пинель продолжает традиции Монтеня, Декарта, Локка, Кондильяка, физиологов и естествоиспытателей XVII и XVIII веков, в то время как Лаплас завершает линию, начатую Бюффоном, а также математиками и астрономами двух предыдущих столетий. Таким образом, мы вновь обнаруживаем общие и различные направления философской спекуляции XVII и XVIII веков. Надеемся, никто больше не станет утверждать, что они были лишь учениками Кондильяка. Без сомнения, Кондильяк был прочитан и оценён большинством из них, но гораздо менее, чем Тюрго, Д’Аламбер, Вольтер, Дидро, Гольбах и Руссо. Он был раскритикован самим Гара, которого традиционно представляют как образец верного последователя Кондильяка.

---

[1] «Объясняя, — говорил он, — как безумцы лишены рассудка, он учит мудрых тому, как они мыслят. Он доказывает, что искусство исцелять людей в состоянии безумия — это не что иное, как искусство управлять страстями и направлять мнения обыкновенных людей, и состоит оно в том, чтобы формировать их привычки. Физиологи-философы, такие как гражданин Пинель, будут продвигать идеологию».

С другой стороны, Кондорсе и другие, о которых мы только что говорили, не ограничиваются продолжением своих предшественников; они внедряют свои доктрины в практику и обогащают унаследованное ими философское достояние. Кондорсе придаёт теории усовершенствования (перфекционизма) завершённую и почти окончательную форму, придаёт истории важное место. Он указывает, каким должно быть высшее образование, и работает, как и Лаплас, над применением исчисления вероятностей к моральным наукам и над созданием *социальной математики*. У Вольнея, наряду с образцом того, как следует описывать каждую часть земли, находим остроумное объяснение идей свободы и справедливости, попытку основать *физику нравов*, плодотворную идею рассматривать языки как историю народа. Дюпюи предлагает полную и, в некоторых отношениях, оригинальную, хотя и не беспристрастную интерпретацию мифологий и религий; Марешаль заменяет культ святых культом великих людей. Гара намечает план идеологии, которую разовьют его преемники. Лаплас выдвигает гипотезу о происхождении Солнечной системы, которая, возможно, имела больший успех в наше время, чем в момент своего появления. С Пинелем медицина становится всё более философской, а *патологическая психология* получает свое дальнейшее развитие.

Второе поколение идеологов

Физиологическая идеология

Глава III

Кабанис до 18-го брюмера

I

Его образование

Форьель, близкий друг Кабаниса, планировал посвятить ему обширную статью; но постепенно он отошёл от занятий, что напоминали ему о человеке, которого он потерял. Дону тоже работал над биографией Кабаниса, но смерть прервала его. Таким образом, — говорит Сент-Бёв, — традиция была прервана прежде, чем её дух мог быть закреплён в портрете мудреца его верным наследником [1]. Мы не можем считать себя верными их наследниками, но мы хотели бы восстановить философские традиции, исторически непрерывные в нашей стране со времён Средневековья, и познакомить с жизнью, учением и влиянием человека, который в течение почти двадцати лет был одним из самых выдающихся представителей французской философии, и наряду с Дестютом де Траси, главным её вдохновителем. Прежде всего, мы хотели бы представить с точностью и беспристрастностью то учение, которое иногда безрассудно восхваляли, чаще же клеймили и осуждали с крайне суровым суждением, но которое до сих пор не было представлено в истинном свете.

Кабанис (Пьер-Жан-Жорж) родился в Коснаке в 1757 году. Его отец, человек религиозный и строгий, после изучения права обратился к сельскому

---

[1] Ср. Дестют де Траси, *Речь при вступлении во Французскую академию*; Женгене, ст. *«Кабанис»* (Биография Мишо); Дамирон, *Опыт о философии во Франции*; Минье, *Известие*; де Ремюза, *Revue des Deux Mondes*, 1844; Луи Песс, *Медицина и врачи*; Сент-Бёв, *Понедельники*, passim (гл. VII, § 2) и др., и др. Кроме того, у нас в распоряжении были неопубликованные письма Кабаниса, Бирана, Дестюта де Траси, которые были нам сообщены г-ном Навилем, и любопытная рукопись Кабаниса, находящаяся в библиотеке Версаля. Наконец, с разрешения г-на Жюля Симона мы пользовались архивами Академии моральных и политических наук.

хозяйству и превратил бесплодное поместье в плодородную землю. Тюрго подружился с этим земледельцем, побудил его опубликовать *Трактат о прививке* (1765) и работать вместе с ним в качестве постоянного секретаря Сельскохозяйственного общества в Бриве, чтобы улучшить условия жизни населения, и, в частности, внедрить выращивание картофеля в регионе Лимузен [1]. Юный Кабанис сначала был отдан на попечение двум священникам. Затем, как Лаканаль, Ларомигьер и Биран, он поступил в колледж к доктринёрам, имевших своё учреждение в Бриве. Строгость его учителей в четвёртом и третьем классах лишь ещё более ожесточила его от природы вспыльчивый характер. Во втором классе отец Беррю, будучи учеником Кондильяка, применял аналитический метод к изучению французского, латинского и греческого языков, чтобы на их основе вывести правила общей грамматики, научить разложению речи и познанию мысли. Ребёнок быстро делал успехи и навсегда сохранил самые тёплые воспоминания об этом наставнике, столь отличном от остальных [2]. Но в классе риторики его жестоко наказали, когда он признался в проступке, которого не совершал, — и он был отправлен обратно к семье, где его тоже сурово наказали: «Душа его воспротивилась и всё больше ожесточалась; с этого момента он уже ничего не делал» [3]. Отец отвёз его в Париж и оставил на произвол судьбы, хотя, как кажется, всё же рекомендовал его своим друзьям-экономистам. Юноша, которому тогда было четырнадцать лет, вновь принялся за учёбу: «Мало посещая лекции своих профессоров логики и физики, он читал Локка, ходил на курсы Бриссона; одновременно он заново, втайне, осваивал все разделы своего первоначального образования» [4]. Платон и Плутарх, Эпиктет и Локк, Шаррон и Монтень, Цицерон и Тацит, Бурдалу и Боссюэ, святой Августин и святой Иероним, Бюффон и Руссо, Паскаль и Монтескьё, как и Вольтер, служили ему текстами для чтения и предметами для размышлений [5].

---

1 «Он подал некоторые признаки таланта, он часто проявлял последовательность ума и твёрдость в своих привычках, которые должны были предвещать, что, выбрав правильный путь, он сможет добиться успеха». (Кабанис, цит. по Женгене, *Всеобщая биография*.)

2 В неопубликованных письмах Кабаниса к Бирану часто упоминается Беррю.

3 Кабанис, цит. по Женгене (*Всеобщая биография*).

4 Там же (ibid.)

5 В неопубликованной рукописи библиотеки Версаля, после анализов или переводов Гиппократа и Галена, встречаются исследования комментариев Оригена к *Бытие*, к святому Иоанну, к святому Павлу и др., в которых мы находим некоторые фразы, указывающие на настоящего ученика богословия: «Мы, таким образом, пьём кровь Иисуса Христа иным образом — в таинстве, чем верой, слушая Его слово»; рядом с другими, которые указывают на будущего автора *Соотношений* и *Письма о первых причинах*: «Наш разум не является телесным, потому что он не изменяется под влиянием темпераментов климатов, где мы живём». Затем следуют комментарии к произведениям святого Иеронима, разделённым Эразмом на три класса, в которых мы отмечаем утверждение, что «первым источником пелагианства является апатия стоиков». Том завершается другими комментариями к *Риторическим наставлениям* и *Декламациям*, приписываемым Квинтилиану, а также трактатом *Смиренные увещания Его Святейшеству о письмах и буллах апостольских, полученных против блага государства, или короля, или третьих лиц* и др., и др.

И душа его росла с каждым днём: удовольствие от того, что он узнал что-то новое, придавало ему невероятный пыл для дальнейшего познания. Но он не довольствовался тем, чтобы заимствовать мысли у своих кумиров: он хотел также выкрасть у величайших из них секрет искусства писать. «Это, — писал он своему отцу, — предмет, которым господа экономисты слишком пренебрегали. Могу вас уверить, что если бы у них в секретарях был Ж.-Ж. Руссо, их система стала бы системой всей Европы» [1].

Так прошли два года. В 1773 году Кабанис отправился в качестве секретаря [2] к князю-епископу Виленскому, который приехал просить у философов средств для спасения Польши. Став свидетелем первого раздела этой страны, Кабанис испытал разочарование: князь-епископ не предоставил ему ни одного из обещанных благ, отказался разрешить преподавание французского языка в семинарии Вильно, и, после того как Кабанис некоторое время преподавал изящную словесность в академии Варшавы, он вернулся во Францию «с преждевременным презрением к людям и мрачной меланхолией, которую его природная доброта едва могла обуздать». Тюрго тогда был министром. Кабанис хотел попасть в финансовую администрацию или во внешнеполитическое ведомство. Но Тюрго покинул министерство, не успев устроить сына своего друга.

Будучи связан с Руше, поэтом *Месяцев*, Кабанис предпринял попытку перевести Гомера на французский лад. Руше не знал греческого, Эннебер, другой его друг, который впоследствии перевёл Лукреция, знал греческий, но у него не было нужного опыта; переводы *Георгик* Делиля или Попа Дюрснелем не могли служить ему ни образцом, ни опорой. Наконец, сам Кабанис недостаточно изучал древних и Гомера. Поэтому избранная им система перевода страдала от чрезмерной вольности [3], и два отрывка, которые он представил на конкурс, не были даже замечены [4]. Впоследствии ему должно было повезти больше.

Тюрго представил Кабаниса мадам Гельвеций, которая поселила его у себя в доме в Отёе и увидела в нём живое воплощение сына, память о котором была ей так дорога. Для этой милой женщины, отказавшейся выйти замуж за Тюрго и Франклина [5], он сочинил стихи, которые, как говорит Минье, обладают оборотом и грацией стихов Вольтера [6].

---

1 Ср. Минье, Жннгене, op. cit.

2 Минье. — Кабанис предпочёл это далёкое путешествие «абсолютному уединению в кругу своей семьи, где первый порыв его таланта вскоре бы оцепенел». (*Всеобщая биография*.)

3 Кабанис, *Сочинения*, т. V, с. 363 и сл.

4 *Философский словарь* Франка, ст. *«Кабанис»*.

5 Минье, *Похвала Франклину*.

6 Если бы время, что вечно идёт,
Принесло вам старость,

У мадам Гельвеций Кабанис познакомился с Гольбахом, чей дом он теперь стал посещать [1]. Хотя он и не упоминает *Систему природы*, но как подозревал Сент-Бёв, он всё же глубоко испытал влияние этого мощного ума, чьи доктрины, впрочем, в нём были видоизменены под действием других влияний. Здесь же он сблизился с Томасом, с Кондильяком, который рассказал ему, как он сочиняет некоторые из своих трудов, и однажды, ударив его по лбу, сказал: «Юноша, тут что-то есть» [2]. У Гольбаха и у Тюрго он часто виделся с Д'Аламбером и Дидро и научился восхищаться «той ассоциацией философов, которая, в середине века, согласно систематическому плану, распределила и объединила в одном корпусе принципы и собрания фактов, относящихся ко всем наукам и искусствам, которая подготовила порядок истинной морали и освобождение рода человеческого» [3]. В 1778 году Тюрго представил его Вольтеру, которого приветствовал весь Париж, но который уже был утомлён и болен. Он удостоил Кабаниса некоторых похвал за его перевод Гомера — «почти всегда, как он сам говорит, в ущерб оригиналу». Прежде всего, именно с Франклином, лучшим другом мадам Гельвеций после Тюрго и с Кондорсе, самым пылким поклонником последнего Кабанис поддерживал наиболее тесные отношения.

Когда Франклин [4] покидал Францию (в 1785 году), он вручил ему как реликвии и знак дружбы свою шпагу генерал-лейтенанта и трость, которой пользовался более тридцати лет в своих опытах по успокоению бурных вод. Позже Кабанис написал *Заметку о Франклине*. У него в руках был знаменитый дневник, в котором Франклин каждый вечер отмечал свои успехи и ошибки.

Я бы не осмелился вам об этом сказать;
Но годы напрасно текут —
Ваша лёгкая и живая веселость,
Этот цвет лица, что хранит свои краски,
Любовь к солнцу и цветам,
И, наконец, эта душа, свежая и чистая, —
Всё говорит, что вы удерживаете время,
И в сто лет вы будете казаться
Вышедшей из рук Природы.
Эта судьба, что вам обещана
Без сомнения, имеет немалое преимущество,
Но вы утратите своих друзей,
Ведь стареть — наша участь,
И вскоре, я предсказываю вам,
Мы уже не будем вашего возраста.

1 «Именно в обществе мадам Гельвеций он продолжал поддерживать знакомство с Тюрго, завёл его с Гольбахом, Франклином, Джефферсоном, приобрёл дружбу Кондильяка и Тома, жил несколько лет подряд в близком общении с Дидро, Д'Аламбером и другими выдающимися литераторами, которых Франция ещё имела». (Кабанис, цит. по Женгене.)

2 Сафари, *Эклектическая школа и французская школа*.

3 *Отношения*, I, с. 3.

4 См. гл. II, § 3, слова Франклина, обращённые к Вольнею и Кабанису.

Так он узнал хронологическую историю его души и характера. Там он увидел, как те развивались, крепли, формировались для всех поступков, составляющих их совершенство; он увидел там искусство жизни и добродетели, изучаемое таким же способом, как игра на инструменте или фехтование [1].

Франклин, прочитав Коллинза, отрицал существование Бога и подвергал сомнению основы морали. «Это заблуждение дерзкого ума, — говорит по этому поводу Кабанис, — который бросается по всем направлениям, открывающимся вследствие его рассуждений, продолжалось довольно недолго. Франклин вскоре признал свою ошибку. Он с тем же пылом вернулся назад. Возможно, найдётся немного философов, которые были бы столь же уверены, как он, в существовании разумного существа, души вселенной [2], и никто, пожалуй, не подвергал более строгим доказательствам те принципы, которые, даже без этой веры, устанавливают правила добродетели. Он любил цитировать два высказывания Бэкона: одно — что для того, чтобы быть атеистом, нужно больше доверчивости, чем чтобы верить в Бога; другое — что поверхностное знакомство (*levis degustatio*) с физикой ведёт к атеизму, но более глубокое знание (*pleni haustus*) возвращает к религиозным представлениям и чувствам». Как и Франклин, Кабанис проникся глубокой симпатией к Сократу; и через него он познакомился с Джефферсоном.

Кабанис сильно любил и высоко ценил Кондорсе [3]. Сравнивая его с Фонтенелем, Меранном и Д'Аламбером, он находил у него более обширные и разнообразные познания, более деятельный и сильный ум, более глубокий и возвышенный дар, более пламенную душу, поддерживаемую более мужественной философией. Кондорсе не просто восхвалял отдельных учёных — он начертал картину всех наук, которыми они занимались, проследил их развитие и нередко предсказал будущие открытия. Поэтому Вольтер ставил его во главе философии. Подобно Сократу [4], он не переставал просвещать людей до

---

1 Кабанис прекрасно говорил о великом человеке, память о котором всегда была ему дорога, и прекрасно показал, что деятельность, бережливость, правильное использование времени имеют значение, которое невозможно переоценить. Живя трудом собственных рук, можно развивать свой ум. Не будучи учёным по профессии, можно, обладая способностью к анализу и проницательностью, оказывать наукам великие услуги и даже завоевать в них большое имя. Хорошие привычки характера и добродетели могут быть сведены к искусству, польза которого доказывается расчётом, а практика осваивается путём методического упражнения.

2 Та же мысль повторится в *Письме о первых причинах*.

3 «До Революции он встречал его у Тюрго, у Франклина и у некоторых других их общих друзей. Более тесные отношения впоследствии подтвердили то, что начали уважение к его личности и восхищение его просвещённостью. Бедствия революционного правительства и ужасное преследование, которому Кондорсе был подвергнут вскоре после 31 мая, ещё более сблизили их дружбу; но все усилия укрыть его от роковой участи оказались тщетны, и у Кабаниса в этой катастрофе не осталось иной утешения, кроме как собрать последние сочинения своего несчастного друга и его последние поручения, все касавшиеся его жены и ребёнка». (*Всеобщая биография*.)

4 См. то, что было сказано о Франклине на предыдущей странице.

последнего своего часа [1]. Именно Кабанис дал ему кусочек экстракта дурмана (*stramonium*), который Кондорсе всегда носил при себе и которым он отравился. Это Кабанис отвёл его на улицу Сервандони, где тот долгое время находил себе убежище. Именно Кабанису Кондорсе завещал свою семью и свои последние рукописи. После Террора Кабанис женился на сестре жены Кондорсе — Шарлотте де Груши — и в журнале *Декада* защищал доктрину совершенствования человечества. В ответ на это мадам де Кондорсе адресовала ему свои *Письма о симпатии.*

У Кабаниса всегда было слабое здоровье. Подобно Бирану, он имел слишком много поводов наблюдать в себе опасную реакцию душевного состояния на телесные изменения, и был человеком, наделённым скорее мужеством, чем силой [2]. Его отец настаивал, чтобы он выбрал профессию: «Он решился на медицину, которая предлагала обширную пищу для деятельности его ума и функции которой требовали постоянной физической активности — ставшей для него самой настоятельной потребностью. Его плохое здоровье само по себе склоняло его к этому выбору, и в нём он утвердился ещё более благодаря врачу Дюбрею, к помощи которого он обратился и который предложил быть ему наставником в этом новом поприще» [3]. О Дюбрее он сохранил самые добрые воспоминания [4]. У постелей больных он записывал наблюдения, которые впоследствии использовал в *Отчетах между физическим и нравственным началом* [5].

Полностью отдавшись своим новым занятиям, он отказался от поэзии «настолько полностью и искренне, что провёл несколько лет, не позволяя себе прочесть ни страницы Гомера, ни Вергилия, ни Расина». Однако он не

---

1 «Держа, как он, в одной руке роковую чашу, он набрасывал величественный очерк прогресса человеческого духа, сжимал в нескольких страницах, для своей любимой дочери, принципы нравственности, и, спускаясь с высочайших областей вычислений, не гнушался составлять уроки арифметики для учителей и детей обездоленных классов общества». — Кабанис, Похвала Вик д'Азиру (*Сочинения*, т. V). Биран говорит в том же духе (*Мемуар о влиянии привычки*).

2 Речь г-на Дестюта де Траси, сменившего Кабаниса во Французской академии.

3 Кабанис, цит. по Женгене.

4 «Это был, — говорил он, — человек, сочетавший со всеми познаниями своего искусства высшую философию и предельно точный наблюдательный ум, человек, во всех отношениях драгоценный, который, будучи внезапно вырван на середине своей карьеры из среды науки, друзей, человечества, не имел, в течение своей огромной практики, времени ничего написать, и чья слава существует лишь в воспоминании людей, которые его знали, и больных, обязанных жизнью его заботам».

5 «Эта правильность рассуждения, — говорил он, цитируя Дюбрея в своей первой записке, — эта холодная рассудительность, которая на основе совокупности данных умеет с точностью выводить результаты, — ещё недостаточна для врача: ему нужно ещё нечто вроде инстинкта, позволяющего угадать, каким образом больной поражён. Я говорю не только о степени чувствительности, раздражительности, подвижности пациента, определяющей дозу и выбор лекарств, но и о различных центрах чувствительности, о различных взаимосвязях между органами, которые наблюдаются у того или иного индивида».

отказался от изучения античности. Под руководством и при содействии Дюбрея Кабанис анализирует, переводит и комментирует Гиппократа и Галена [1]. Благодаря этой работе, которая эквивалентна одновременно как первому неопубликованному *Мемуару* Бирана о *Привычке*, так и *Дневнику* 1794-1795 годов, мы можем дополнить историю становления взглядов Кабаниса. Мы находим в ней, в частности, ряд утверждений, заимствованных Гиппократом и Галеном у Гераклита, Платона и стоиков, а также размышления самого Кабаниса, которые иногда входят в *Отчёты*, а иногда — в *Письмо о первых причинах*. Так, по поводу трактата *О мясах* Кабанис высказывается следующим образом: «Жар, огонь, которому Гиппократ приписывает бессмертие, не может быть ничем иным, как Богом. Но когда он говорит, что большая часть этой горячей субстанции удалилась из хаоса выше всего низкого и изменчивого, и что от неё осталось ровно столько, сколько нужно, чтобы соединить, примирить и оживить все эти противоположности, — как он это далее доказывает в описании всех частей человеческого тела, — это, без сомнения, означает, что он говорит о том животворящем духе, который Бог излил в эту великую машину вселенной для создания и сохранения всех её частей. Этот дух, по-видимому, бессмертен и наделён разумом, ибо, при всех изменениях вещей, он остаётся, и в своих действиях всегда следует правилам благоразумия и мудрости; и, действительно, хотя он и материален, он неразрушим по своей небесной природе и действует разумно, поскольку вдохновлён дыханием Бога». Разве не кажется, что мы читаем краткое изложение *Письма о первых причинах*? В другом месте рукопись упоминает «творца природы» и определяет «роль молитвы» [2] ; а затем утверждает, что «истинный свет — это свет веры». Далее речь идёт о «речи, которую мы должны произнести перед еретиками нашего времени, следуя Писанию», о чудесах человеческого тела, которые позволяют нам представить Бога, его сотворившего, подобно тому как дом даёт представление о мастере, его построившем. Немедленно за этим следует отрывок, напоминающий начало *Отчётов*: «Мозг — это не только источник и как бы корень всех нервов и всех мышц, но и источник всех их функций, будучи источником и истоком животных духов. Если какой-либо нерв перерезан, то верхние части, ещё связанные с мозгом, сохраняют способность к своим животным функциям, тогда как нижние, из-за разрыва оказавшиеся от него отрезанными, становятся парализованными, поскольку лишаются влияния движения и животной жизни». В другом месте он упрекает Галена в том, что тот слишком путан в вопросе о бессмертии разумной части души, поскольку,

---

[1] Неопубликованная рукопись из Версаля последовательно рассматривает жизнь и труды Гиппократа, затем жизнь и труды Галена. — Кабанис поместил в начале рукописи надпись: «Этот труд, целиком написанный рукой доктора Дюбрея, который направлял мои первые шаги в изучении медицины, был выполнен мною под его руководством и при его содействии. — П.-Ж.-Ж. Кабанис». Позднее он сделал на ней пометки, вероятно, во время, когда читал свой курс о Гиппократе.

[2] Молитвы благотворны и необходимы для создания, чтобы получить от своего Творца милости, дары, которых оно желает; но противно порядку Божественного Провидения — хотеть получить одними лишь молитвами, без труда, то, что Бог предназначил нам в награду за наши поступки.

как и сам Кабанис впоследствии, он затрудняется объяснить, каким образом, если души духовны, они могут быть распространены по всему телу, и чем они вообще различаются между собой.

Изучение Гиппократа и Галена побудило Кабаниса к тесному соединению философии и медицины, к тщательному исследованию взаимосвязей между физическим и моральным. Оно познакомило его с эклектической метафизикой платонико-стоического толка и подготовило почву для исследований Форьеля о стоиках и для *Письма о первых причинах*. Гиппократ и Гален, приведшие его к Бонне и Руссо, вмешались в формирование его ума и его взглядов наравне с Гомером и поэтами, Гельвецием и Тюрго, Кондильяком, Гольбахом и Франклином, Вольтером и Кондорсе, Дюбреем и христианством. Об этом будут свидетельствовать все его труды — и уже свидетельствует *Клятва врача*, написанная им в 1783 году по окончании медицинского обучения [1].

II

Работа по просвещению населения; Дневник болезни и смерти Мирабо

10 декабря 1788 года Кабанис завершил сочинение *О степени достоверности медицины*, в котором он стремился донести до врачей всё достоинство их искусства. Однако общий ход событий, заставивший приостановить большинство научных и литературных трудов, поскольку внимание лучших умов было обращено на социальное переустройство, а затем и революционные волнения, отложил его печатание — оно состоялось лишь десять лет спустя. 15 июля 1789 года он отправился в Версаль, чтобы сообщить

[1] В рукописи содержится и призыв «к великому Богу, чья доброта превосходит могущество, который ищет любви и признательности, распространяет повсюду жизнь и блага, наполняет своим присутствием святое место (церковь), где раскаяние находит надежду». Перед этим благим Богом Кабанис клянётся посвятить всю свою жизнь своему искусству и лечить в первую очередь бедного, полезного гражданина, мудрого и красноречивого человека, который борется за добродетель и защищает права людей, так же как и тех, кто берётся за оружие, чтобы омолодить поруганную свободу; не иметь ни жалости, ни помощи для развратника, который укрепляет мрачную власть тиранов и кладёт под их ноги «святую человечность». Он клянётся также указывать на ошибки других и прежде всего свои собственные, соблюдать законы стыдливости и быть для молодых людей тем, кем был для него Дюбрей. Если он выполнит все свои обязанности, он молится, чтобы этот справедливый Бог пролил некоторое утешение на его дни и заботился о друзьях, которые «утешают» его жизнь; чтобы сделал его имя благословенным, а не прославленным; чтобы забыл его ошибки и увёл его без страха к вечным дням, дав ему найти прелесть в надежде на смерть и заставив пролить несколько слёз над его могилой.

Гара, Вольнею и нескольким другим друзьям о том, что произошло накануне в Париже. Именно тогда он вступил в отношения с Мирабо, став его врачом, сотрудником и другом. Для Мирабо он подготовил труд об общественном образовании, опубликованный в 1791 году. По мнению компетентного судьи [1], это исследование, оказавшее немалое влияние на доклад Талейрана, свидетельствует о глубоком понимании того, каким должно быть высшее образование.

Первый из четырёх проектов речей касался народного просвещения или организации преподавательского корпуса; второй — общественных празднеств, гражданских и военных; третий — учреждения Национального лицея; четвёртый — воспитания предполагаемого наследника короны и необходимости организации исполнительной власти.

Хорошая система государственного образования, — говорит Кабанис, — есть средство быстро возвысить умы до уровня Конституции и преодолеть громадную пропасть, которую она образовала между положением дел и существующими привычками. Учредительному собранию надлежит иметь лишь одну цель: вернуть человеку возможность пользоваться всеми своими способностями и всеми своими правами, породить общественное бытие как совокупность всех индивидуальных существований, свободно развёрнутых, а общую волю — как совокупность всех частных, устойчивых или переменных, воль. Быть может, оно должно было бы ограничиться лишь тем, чтобы охранять прогресс образования, даровать Конституцию, наиболее благоприятную для человеческого «я», и законы, наиболее способные каждому обеспечить его место. Однако невежество народа столь глубоко, привычка воспринимать учреждения бесплатного народного просвещения как величайшее благодеяние со стороны королей столь укоренена, что было бы опасно, а даже и невозможно, не направлять образование в соответствии с национальными установками.

Прежде всего, колледжи и академии необходимо подчинить магистратам, избираемым народом, а не исполнительной власти. Во-вторых, все расходы должны быть либо вознаграждением за уже выполненную работу, либо поощрением к будущим трудам. Академии будут выбирать только тех, чьи таланты были им рекомендованы государственной властью. Не будут выдаваться стипендии для начального обучения: они всегда должны быть наградой за достигнутые успехи; не будет учреждаться бесплатное обучение, потому что учитель, получающий оплату, гораздо более склонен совершенствовать свою методику преподавания, а ученик, платящий за обучение, — больше стремится извлечь из него пользу. В-третьих, все лица,

[1] Льяр, *Высшее образование во Франции*, т. I. — хотя Льяр и заявляет, что подлинность сомнительна, не приписывает это сочинение Кабанису. Что труд действительно принадлежит Кабанису, можно распознать по изложенным в нём идеям; кроме того, это утверждает Женгене.

занятые в сфере образования, должны, в том, что касается преподавательских функций, зависеть исключительно от представителей народа. В-четвёртых, необходимо, чтобы на всех уровнях существовали пути продвижения. Приходы и кантоны, дистрикты и департаменты возьмут на себя расходы, связанные с образованием детей из бедных семей; Национальное собрание выделит средства на награждение учителей, отличившихся в преподавании, и на поддержку тех, кого болезни или старость вынудили оставить свою деятельность. Нация будет чествовать и вознаграждать философов, литераторов, учёных, художников.

В-пятых, Собрание установит организацию общего народного образования и учредит школы, определит вид обучения, которое будут получать учащиеся, и дух, в котором это обучение будет проводиться. Поощряя изучение мёртвых языков и в особенности возрождая из пепла этот прекрасный греческий язык, чей строй столь совершенно аналитичен и чья гармония включает в себя все красоты речи [1], — оно постановит, что всё публичное преподавание будет вестись на французском языке. Но на этом оно ограничится — лишь заложит семена всего того блага, которое обещает нам совершенствуемость человека [2].

В-шестых, хотя все занятия в обществе должны оставаться свободными, магистраты обязаны осуществлять надзор за некоторыми профессиями — медициной, хирургией, фармацией; они должны поощрять и облегчать их преподавание, учреждать практические школы везде, где обучают медицине, и основывать медицинские колледжи на принципах, которые одни лишь и могут их усовершенствовать. В каждом департаменте один колледж будет уполномочен присваивать степени врачам и хирургам, проводить экзамены для аптекарей, торговцев лекарствами и ветеринаров. Все области искусства врачевания будут объединены, и будут изгнаны представления о превосходстве и подчинении, столь долго бывшие неисчерпаемым источником споров среди тех, кто ими занимается. Госпитальные врачи-преподаватели будут вести записи наблюдаемых болезней и применённых методов лечения. Медицинские, хирургические и ветеринарные открытия будут публиковаться в каждом департаменте посредством печати [3].

Бессмертный Бэкон видел в естественных науках истинный светящийся столп, призванный вести нас сквозь пустыни. Действительно, они наносят

---

1 Этот единственный отрывок напоминает переводчика Гомера и Гиппократа.

2 Вот ученик Тюрго и Кондорсе.

3 Кабанис занимается главным образом человеком: «Женщины, предназначенные, — говорит он, — к жизни внутренней, не должны, быть может, покидать отчий дом, кроме некоторых редких случаев; Руссо, память и максимы которого постоянно приходят на ум всякий раз, когда речь заходит о свободе, философии, воспитании человека, был глубоко проникнут этой истиной, столь знакомой древним народам, что мужчина и женщина, имея совершенно различные роли в природе, не могут иметь одинаковой роли в обществе. Вечный порядок вещей заставляет их содействовать общей цели, назначая им при этом различные места».

смертельные удары суеверным мнениям, подготавливают искоренение заблуждений и прокладывают путь истине. Необходимо поощрять, поддерживать и облегчать изучение природы: создавать кабинеты физики, естественной истории, химические лаборатории и ботанические сады. Необходимо, используя библиотеки религиозных домов, составить хорошие собрания книг для общественного пользования и сформировать в каждом департаменте коллекции всех инструментов ремёсел — начиная с наиболее необходимых для жизни и наилучшим образом приспособленных к местным условиям.

После этой речи следует проект декрета. Три Академии заменяются Национальной Академией с тремя секциями: философской, литературной и научной, а также Академией искусств, включающей пять секций: живописи, скульптуры, архитектуры, музыки и драматического искусства. Богословские школы отводятся в семинарии, где преподавание будет вестись на французском языке. Учителя, имеющие право получать плату от своих учеников, будут обучать чтению, письму, счёту, снятию планов и землемерию. Они будут использовать книги, знакомящие с Конституцией Франции и принципами нравственности. В колледжах будут учреждены кафедры греческого, латинского языков, красноречия, поэзии, философии и физики. В завершение курса ученики будут слушать лекции по философии и физике. Профессор философии завершит ознакомление учащихся с методами, с помощью которых можно уверенно двигаться к истине, объяснит взаимосвязи между людьми и общественным устройством, права граждан и обязанности индивида. Преподаватели колледжей будут являться активными гражданами и, выйдя в отставку, смогут быть избраны в Национальное собрание. Школы для девочек в сельской местности могут вести сёстры милосердия, если Национальное собрание поручит им заботу о больных бедняках и руководство женскими благотворительными мастерскими.

Во второй Речи Кабанис различает нужды, связанные с сохранением индивида, с продолжением рода и составляющие физическую сторону, и нужды, возникающие из общественных отношений, образующие нравственную природу человека. Существует два класса моральных нужд. Одни должны быть удовлетворены, чтобы отношения между индивидами не искажались, а их связь с обществом не нарушалась ни по способу, ни по цели: они лежат в основании справедливости. Другие зависят от способности человека разделять чувства всех существ, и особенно себе подобных; они являются источником всех чувств доброжелательности и самоотверженности, благодаря которым, по замечательному замыслу Творца вещей [1], мы находим своё высшее счастье в том, что приумножает счастье других. Эта способность составляет прежде всего основание нашей чувствительности. На ней покоится возможность

[1] Следует отметить этот оборот, к которому мы вернёмся при обсуждении спора с Бернарденом де Сен-Пьером и *Письма о первых причинах*.

распространения человеческого счастья, после удовлетворения физических нужд, весьма настоятельных, но ограниченных и легко утолимых. Законодателю, который не в силах охватить всё, на помощь приходит моралист. Он несёт спасительные принципы в сердца людей, в недра домашней жизни — те принципы, которые управляют великой ассоциацией. Он исправляет те бедствия, от которых законодатель не смог окончательно освободить человеческие дела, утверждает те блага, что были умножены политическими учреждениями, и приумножает те, что ускользнули от их влияния. Законодатель и моралист, действуя согласованно, показывают, на какие добродетели способен человек и к каким наслаждениям предназначила его природа. Некоторые малые народы Греции, чья история по-настоящему поучительна [1], сыграли весьма достойную роль, когда философы, просветившие их своими трудами, были призваны составлять законы. Можно ожидать ещё больших преимуществ для Французской империи, чьи новые законы были подготовлены и сформулированы мудрецами. Однако, чтобы заставить человека повиноваться, нужно не столько убедить его, сколько тронуть. А этого можно достичь при помощи хорошей организации национальных праздников. Они будут воспроизводить, прославлять и освящать Революцию и Конституцию.

В третьей Речи Кабанис напоминал, что общая цель общественного союза состоит в совершенствовании человеческого счастья, а цель образования это совершенствование средств, с помощью которых расширяется наше бытие и приумножается наше счастье. А ведь все наши нужды и средства их удовлетворения сводятся к чувствительности, этому последнему факту, к которому можно восходить в исследовании человека [2]. Воздействие образования на физическое и нравственное существование практически не имеет пределов, а методическое его развитие совершенно неисчислимо. Оно приведёт индивида в состояние, позволяющее ему жить в согласии с себе подобными, ибо нравственные отношения устанавливаются, прежде всего, между существами одного возраста — следовательно, именно общественное воспитание является наилучшим для человека. Национальный лицей предоставит избранной молодёжи возможность завершить своё обучение. Сто учеников, направленных департаментами, будут там содержаться определённое время. В нём будет собрана обширная коллекция произведений природы, шедевров человеческого гения в науках и искусствах, машин, посредством которых демонстрируются открытия или выполняются труды. Сюда пригласят самых знаменитых философов и литераторов, учёных и художников, которые будут преподавать всё, что может пробуждать, развивать, укреплять умственные способности, — по общей методике. Целью станет искусство направлять разум в поиске истины и применять его к различным предметам наших занятий. В этом заведении будут формироваться люди, способные на

1 Здесь снова узнаётся переводчик Гомера и поклонник греков.

2 Та же мысль встретится в начале второго мемуара *Отношений*.

всё: законодатели, политики, учёные, художники. Для духа будут созданы или усовершенствованы такие же телескопы и рычаги, какие оптика и механика изобрели для глаз и рук [1]. В этой энциклопедической школе кафедра методологии станет основанием для всех остальных [2]. Искусство рассуждать — это искусство хорошо видеть, хорошо воспринимать, точно чувствовать. Следует анализировать предмет, разобрать его по частям, затем вновь собрать и поставить рядом с тем, что послужит точкой сравнения. Идеи анализируются тем же образом. Путём обобщения объекты и идеи классифицируются по их аналогиям. Затем, через последовательные ступени, переходят от предметов или идей самых простых, наиболее легко постигаемых, к самым сложным. Знания бесспорны, если цепь, их связывающая, не прерывается. Пользуясь известным, чтобы открыть неизвестное, формируют аксиомы, охватывающие всё большее количество частных идей. Из операций разума, выраженных с помощью знаков — неких счётных камней, отмечающих пройденный путь, — возникает рассуждение, которое совершенствуется вместе с языком. Поэтому Кондильяк говорил, что языки это аналитические методы, а аналитические методы это подлинные языки. Так он открыл новый путь для человеческого духа [3].

Универсальная грамматика неотделима от универсального метода. Изучение наук и искусств — лишь практическое применение этого метода. Не следует думать, будто можно опровергнуть такие взгляды, назвав их абстрактными или метафизическими идеями. Метафизика это единственный проводник человека: без неё он бы никогда не сопоставлял свои ощущения и не извлекал бы никаких выводов из их сравнения. К тому же метафизика Локка, Гельвеция, Бонне и Кондильяка — это не что иное, как искусство суждения, элементы которого преподаны нам самой природой. Когда мы сравниваем и заключаем — мы занимаемся метафизикой. Мы занимаемся ею, когда из разрозненных фактов составляем общие понятия, когда из индивидуальных наблюдений выводим правила или принципы. От метафизики род человеческий может ожидать расширения своего бытия, его совершенствования и счастья [4].

---

1 Эту же идею развивает Ларомигьер (гл. VIII, § 3).

2 Кабанис — ученик XVIII века и Декарта.

3 В первом мемуаре Кабанис добавляет, что слову «язык» нужно придавать наиболее широкий смысл (т. I, с. 72),

4 Ср. Дестют де Траси, гл. V и VI. Проект декрета предусматривает учреждение в Национальном лицее одной кафедры метода, одной — общественного (?) хозяйства и морали, одной — всеобщей истории, одной — геометрии и алгебры, одной — механики и гидравлики, одной — общей физики, одной — естественной истории и одной — химии, одной — экспериментальной физики и одной — физиологии или животной физики. Лицей будет иметь три кафедры древних языков — еврейский и его диалекты, греческий, латинский; три кафедры восточных языков — турецкий, арабский, персидский; четыре кафедры европейских языков — итальянский, испанский, английский, немецкий; две кафедры литературы — красноречие и поэзия; четыре кафедры искусств — живопись, скульптура, архитектура, музыка. Вот как Кабанис обосновывает предпоследнее предложение: «Пользу современных языков следует рассматривать в двух весьма

Каждая наука, — говорил в заключение Кабанис, — прибавляет к сумме наших идей, поскольку она основана на собственных фактах, которые порождают общие идеи или принципы. Эти принципы, сопоставленные с принципами других наук, дают ещё более общие идеи; таким образом, все труды разума можно свести к небольшому числу разделов — и обнаружить источник новых, доселе неизвестных комбинаций. Пусть люди усвоят эту столь утешительную истину, написанную на каждой странице нашей самой сокровенной истории: разум — это сама природа, добродетель — это разум, претворённый в жизнь, а искусство быть счастливым — это искусство добродетели [1].

Журнал болезни и смерти Мирабо (апрель 1791 года) был недостаточно изучен теми, кто стремился понять, что сделал и что мог бы сделать Мирабо [2]. Из него становится совершенно ясно, насколько мало заботятся о достоверности исторической правды те, кто продолжает говорить о якобы имевшем место отравлении, ускорившем его смерть, и насколько даже современные писатели, которых считают наиболее простыми, всё ещё склонны к высокопарности [3]. Кабанис, как позднее и Веморель [4], приходит к выводу,

различных, но равно обширных отношениях. Первое охватывает всё, что в них связано с самим изучением человеческого разума и с изменениями, которым его приёмы или их знаки подвергаются со стороны местных и политических обстоятельств. В этом отношении современные языки входят в элементы подлинной метафизики, но исключительно на том же основании, что и древние языки, от которых они в этом ничем не отличаются. Второе отношение основано на знаниях, почерпнутых из их письменных памятников, на торговых связях, для которых они могут стать средством, на научных или дипломатических путешествиях, которые невозможно предпринять без их помощи, на обменах светом и богатствами, которые должны из этого вытекать; это та сторона, с которой изучение живых языков имеет самое широкое практическое применение, наибольшую непосредственную и ощутимую пользу». Во Франции долго не принимали идей Кабаниса.

1 Четвёртая Речь содержит важный отрывок о Гельвеции: «Знаменитый философ, чьи сочинения оказали величайшие услуги разуму, а добродетели подали самые высокие примеры своему веку, — Гельвеций, — говорил, что существует лишь два вида правлений: хорошие и дурные. Другие различия, которыми их принято отличать в сочинениях и в школах политической экономии, казались ему совершенно пустыми. Действительно, они имеют реальность лишь в незначительных второстепенных деталях или в поверхностных формах, которые не изменяют сущности вещей. Везде, где закон является результатом правильно выраженной всеобщей воли, везде, где этот закон исполняется без сопротивления, везде, где его действие одинаково ощущается всеми членами общества, — там, несомненно, какими бы ни были при этом законодательные, административные или судебные формы, — суверенитет исходит из своего истинного источника, права личности уважаются, а общественная свобода покоится на прочных основаниях».

2 Минье говорит, что «опубликовав этот трогательный шедевр, Кабанис оказал бессмертную услугу истории»

3 Тьер должен был бы принять во внимание суждение Минье и не пересказывать после Кабаниса рассказ о смерти Мирабо.

4 *Мирабо (Нац. б-ка):* «Мирабо, несомненно, один из самых великих отцов Революции, чьими сыновьями мы все являемся»

после ознакомления с перепиской Мирабо с двором, что тот никогда не отступал от дела, за которое он с самого начала сражался.

III

Больницы; Общественная помощь; Революции в медицине

До того как приступить к своей работе по народному образованию, Кабанис опубликовал *Замечания о госпиталях*, которые привели к его назначению в Комиссию по госпиталям Парижа, где он заседал в 1791, 1792 и 1793 годах. Он требовал, чтобы большие больницы были заменены домами, в которых размещалось бы не более ста пятидесяти больных: «В то время, — говорил он, — когда нация с жаром занимается всем, что может обеспечить общественное счастье, невозможно, чтобы она не обратила внимание на беспорядки, искажающие благие намерения общества и только усугубляющие бедственное положение нищих — даже в самом святилище благотворительности... Этот вопрос волнует чувствительные души, поскольку от него зависит участь самого несчастного класса; но он не менее касается и сильных мира сего, и богатых, ибо безопасность их наслаждений всегда обратно пропорциональна страданиям и развращённости народа».

Многие из этих замечаний сегодня уже неактуальны; некоторые, напротив, заслуживают рассмотрения и обсуждения. Мы предпочитаем указать на те идеи, которые раскрывают нам мышление Кабаниса того времени. Бедность, по его мнению, — это порождение общественных учреждений, как и чрезмерное богатство, которое является её следствием. Было бы несправедливо, как и недальновидно, стремиться полностью устранить всякое неравенство, но ещё более несправедливо и опасно сознательно его создавать и доводить до размеров, не соответствующих природе. Поскольку люди объединяются и стремятся приумножить свои силы ради увеличения счастья, каждый индивид теряет часть этого счастья, всякий раз когда он отходит от порядка и искажает свои отношения с ближними. Сумма добродетелей нации в целом есть мера общественного счастья; каждый порок — это угроза, каждое преступление — посягательство на него, однако именно высшие классы больше других испытывают на себе — в добре или зле — последствия нравственности или разложения низшего класса. Во всех отношениях общественное почтение должно быть оказано «тем достойным дочерям, которых религия и гуманность посвятили служению больным под взором Бога, которому они принесли величайшую жертву». До того как Национальное собрание задумалось о возвращении свободы монахиням, Кабанис порой думал, что есть один весьма простой способ избавить несчастных девушек, раскаивающихся в

опрометчивых обетах, от отчаяния, угрызений совести и безумия, к которому это приводит. Каждая монахиня, обманувшаяся в своём призвании, могла бы покинуть монастырь и перейти к сёстрам милосердия, которым правительство должно бы поручить заботу о госпиталях. И этот проект, казалось ему, мог бы быть одобряем и религией, и разумом, и человечностью.

По примеру Гиппократа, чьи бессмертные сочинения он восхваляет, врачи должны составлять журналы наблюдений, аналогичные *Эпидемиям*. Практические школы, вместе с журналами, составляемыми просвещёнными и рассудительными врачами, могли бы принести величайшую пользу. Главное прибегать к наблюдению: системы или общие принципы должны быть лишь точным и непосредственным результатом всех относящихся к ним фактов, и если бы каждый человек, особенно в медицине, мог всё видеть собственными глазами, возможно, было бы даже полезно закрыть все книги и обращаться только к самой природе.

В проникновенных выражениях Кабанис вспоминал Дюбрея, чьей нежной и отважной дружбы куда более недоставало его сердцу, чем его познания — его учености. Вместе с Сийесом, чью прекрасную *Декларацию прав* он цитирует, он признаёт, что общество обязано оказывать помощь каждому человеку, неспособному удовлетворить свои основные потребности. Для него главная болезнь цивилизованных государств — это неправильное распределение политических сил и вопиющая диспропорция в богатствах. Общественные учреждения существуют для того, чтобы исправлять то, что природа могла оставить порочным в положении человека. Но почти во всех случаях милостыня — это общественное преступление: если она может удовлетворить дающего и доставить ему наслаждение, которое он напрасно искал бы в своём золоте, то для получающего она унизительна, приучает к праздности, открывает сердце для всех пороков и подготавливает к любым преступлениям [1].

В Комиссии по госпиталям Кабанис составлял доклады, на основе которых написал труд [2], опубликованный с целью изложить то, чему научили его размышление и опыт в вопросе нищенства — «самой страшной из болезней, разрушающих современные государства». К чувствительности, этому источнику потребностей, движущей причине желаний и стремлений — человек добавляет способность разделять чувства других живых существ, особенно себе подобных. Эти две способности, слитые и соединённые в его организации, составляют его подлинное превосходство. Вторая из них — источник благотворительности; размышление, прибавляясь к этому, можно сказать, инстинктивному чувству, показывает богатому, что помогать бедному — и его долг, и его интерес. Но социальное тело признаёт законом только свою

---

1 Аналогичные идеи можно найти у Спенсера, *Введение в социальную науку*, *Эволюционная мораль*.

2 Дюбуа д’Амьен (Философский словарь) датирует *Опыт о государственных пособиях* 1796 годом; Минье же справедливо относит этот труд к 1792 году.

собственную пользу. Те, кто его представляет, должны постоянно иметь перед глазами весь народ, не делать различий между его членами, заменять жалость, питаемую частными впечатлениями, справедливостью, распространяющейся на всех, и стремиться прежде всего к сохранению мира, благосостояния и порядка. Благотворительность это добродетель, которую следует осмыслять, искусство, которому необходимо учиться. Плохо распределяемая милостыня становится новым источником беспорядков и усугубляет все причины нищенства. Увеличение помощи увеличивает число бедных: низменные привычки к бродяжничеству и праздности вскоре становятся нормой поведения; нравственность разлагается — посредством самого средства, призванного было бороться с разложением. Индивиды, проявляющие необдуманную благотворительность, творят малое зло; правительства куда более великое: они ведут к разрушению семейного духа, любви к труду, свободных и гордых чувств, к одичанию и развращению [1].

Правительства создают госпитали для инвалидов или больных и мастерские для труда. Быть может, лучше организованная помощь на дому была бы предпочтительнее. Имея полную картину фактов, собранных в различных странах, а также результаты попыток, предпринятых благожелательными и мудрыми людьми, можно будет выработать более разумные планы общественной помощи и яснее увидеть причины беспорядков, которые повсеместно проникают в распределение богатства. Среди этих причин следует назвать все дурные законы и все ошибки правительств [2]. Революция на время увеличивает те бедствия, для устранения которых она была совершена. Если безрассудные демагоги пугают собственников, причины нищеты множатся ещё страшнее. Нищета и чрезмерное богатство, — говорит Кабанис, развивая ранее им высказанную мысль, — происходят из одного и того же источника: богатства, чрезмерные по объёму или добытые нечестным путём, порождают и усугубляют нищету. Сильнейшие, умнейшие и богатейшие — именно они основали правительства и издали законы: они стремились увеличить свою силу, своё богатство, влияние своей ловкости. Невежественный народ не видел, в чём состоит его подлинный интерес; естественные малые неравенства были заменены другими — искусственными, несправедливыми и чудовищными. Хорошая конституция, хорошие законы и хорошее правительство — вот что составляет подлинное разделение земель, единственно признаваемое справедливостью, разумом и природой.

Пока благотворное влияние свободы не освободит законодателя от обязанности обеспечивать пропитание нуждающихся, необходимо организовать помощь, чтобы поддерживать мир и новый порядок. Тот, кто, будучи в силах трудиться, отказывается это делать, не заслуживает никакой помощи и должен находиться под строгим наблюдением. Тот, кто, не имея

1 Не было бы и для нас полезно ещё последовать этим советам?

2 Здесь снова узнаётся ученик Гельвеция, Тюрго, Гольбаха.

хлеба, просит работы, должен находить и то, и другое. Но следует ли учреждать большие мастерские, где каждый в любое время мог бы выполнять простую работу? Такие заведения — порочны и всегда производят эффекты, прямо противоположные их цели: запланированные работы не выполняются, имущество бедных рассеивается без пользы, полезные люди привыкают к праздности и могут даже стать опасными для общества, стоимость рабочей силы возрастает, а производительные труды приходят в упадок. Лишь личный интерес гарантирует общественное процветание, достаточно лишь его просветить. Следовательно, лучший способ занять бедных в том, чтобы предоставить им индивидуальную работу, сдельную, за которую они отчитываются и получают плату по мере выполнения. Если невозможно избежать создания больших мастерских, их следует, насколько возможно, отдавать по контракту предприимчивым людям, которые будут управлять ими как своим собственным делом.

Так же и больным следует по возможности оказывать помощь на дому, где за ними будут ухаживать либо члены семьи, либо женщины, выбранные коммуной. Что касается тех, у кого нет ни жилища, ни родных, их необходимо направлять в госпитали. В тюрьмах осуждённых следует изолировать и привлекать к труду. Для воспитания подкидышей предполагается воспользоваться рвением бывших сестёр милосердия, которые, по словам Кабаниса, должны были бы отбросить дух своей общины так же, как и её облачение, и увидеть в царстве равенства — воплощение самых чистых принципов той религии, на которую ссылаются в своём мятеже лицемерные вожди недовольных. Что касается лечения душевнобольных, Кабанис предлагал некоторые из тех реформ, которые впоследствии были внедрены и приняты Пинелем.

Во время Террора Кабанис, отказавшийся спасаться бегством, приняв должность представителя Франции в США, остался в Отёе, где также укрылся Дестют де Траси. Более удачливый, чем его друг, Кабанис не подвергся преследованиям — как утверждает Минье, благодаря тому уважению и признательности, которые он внушал всем жителям деревни, где был врачом и благодетелем. Чтобы отвлечь мадам Гельвеций от её страданий и уныния, он перевёл на французский девять отрывков из Мейснера, *Стеллу* Гёте, *Сельское кладбище* Грея и *Смерть Адониса* Биона — переводы были опубликованы в 1797 году и посвящены его приёмной матери.

После падения Робеспьера Гара был назначен комиссаром народного образования, а его заместителями стали Женгене и Клеман. Кабанис заинтересовался реализацией широкого плана по организации учебной системы. Он передал Гара некоторые свои идеи относительно применения аналитических методов к изучению медицины. Гара нашёл их точными и полезными и побудил Кабаниса привести их в систему. Кабанис последовал этому совету, но вскоре его замысел расширился. Он задумал свести все части

медицины к очень простым элементам и для каждой из них указать метод, который один лишь способен с уверенностью направлять её изучение и преподавание. Зимой III года (1794-1795) он написал введение, которое хотел поставить во главу сочинения: в нём он очертил различные революции, пройденные медициной, и общие принципы, которые должны направлять её реформу. Эта часть сочинения была завершена в апреле 1795 года.

Медицина, — говорит Кабанис, — более чем любая другая наука нуждается в философском духе. В эпоху, когда все науки обновляются, врачи должны считать своим долгом объединить усилия ради обновления своей науки и искусства. Пусть медицина заимствует строгий и точный язык физики, доступный и, так сказать, народный тон нравоучения; пусть она систематизирует свои принципы посредством наблюдения, опыта и рассуждения и усовершенствует форму своего преподавания. Со своей стороны Кабанис разработал новую классификацию её разделов. Он выбрал лучший порядок для изложения фактов, на которых она основана, и понятий, возникающих из вдумчивого их анализа. Наконец, он надеется с помощью более точного определения смысла слов полностью изгнать из медицинского языка расплывчатость и неясность.

Введение отсылает к *Эскизу* Кондорсе и излагает историю революций в медицине. Каждая из них охарактеризована по тем обстоятельствам, которые вызвали её появление, и по тем изменениям, которые она внесла в состояние или в развитие науки. Сопоставляя достигнутые таким образом результаты с современными философскими методами, Кабанис указывает, что именно, по его мнению, может быть полезно для реформы медицины и её преподавания. Он кратко напоминает [1] выводы из своего сочинения *О достоверности медицины*. Изучение природы — это, вообще говоря, изучение фактов, а не причин. Нам не нужно, чтобы изучать явления, наблюдаемые в живых организмах, и для того, чтобы дать им достоверное описание, — знать природу принципа, который их оживляет, или то, каким образом он приводит в действие их механизмы. Достаточно точно зафиксировать сами явления, уловить порядок, в котором они воспроизводятся, и взаимные их связи, — и классифицировать их, учитывая этот порядок и эти взаимосвязи. Таким образом, посредством наблюдения, опыта и рассуждения мы можем познать регулярные движения, поддерживающие здоровье, или те, что способствуют его восстановлению во время болезни, а также вещества, которые, применённые в последнем случае к живым телам, вызывают те же усилия и те же явления. Если медицина имеет практическую пользу для общества, то она, помимо этого, способствует и познанию животного организма, который в совокупности охватывают естественные науки, ибо болезни высвечивают

[1] Произведение включает пять глав: I. Искусство врачевания. II. Картина революций искусства врачевания от его зарождения до введения у римлян. III. Общие взгляды на преподавание искусства врачевания. IV. Частные соображения о различных отраслях медицины. V. Вспомогательные предметы.

многие явления, крайне трудные для точного осмысления без их посредства [1] и обнаруживают такие механизмы и свойства, которые сглаживаются и исчезают в равномерном, более упорядоченном и устойчивом состоянии. Наконец, она проливает необходимый свет на основание всех моральных наук и может оказывать на усовершенствование человеческого рода прямое влияние — путём улучшения физического состояния, и косвенное — способствуя прогрессу нравственного воспитания.

Исходя из постоянной природы вещей, видно, что человек с самых ранних времён должен был стремиться к тому, чтобы унять страдания и излечить болезни, которым он подвергался. Следует предположить [2] что открытия, весьма медленные, часто были только плодом счастливых случайностей. Но необходимость заставляла наблюдать и вела к новым открытиям. После поэтов и жрецов первые философы начали классифицировать медицинские наблюдения, чтобы подвергнуть их осмысленному анализу, однако перенесли в медицину гипотезы, тем более плодотворные, что физика, астрономия, геометрия, из которых они были заимствованы, были абсолютно чужды изучению живого тела. Акрон, гений самобытный и дерзновенный, захотел вернуть искусство врачевания к опыту; Гиппократ отделил медицину от философии, но стремился придать ей философский характер, возвратив её к рассудочному опыту, освободив от ложных систем и наделив её надёжными методами. Тем самым он пролил свет, исходящий от медицины, и на моральную, и на физическую философию. Даже в наши дни, обдумываемый врачами, используемый философами, читаемый людьми вкуса, он остаётся и всегда будет одним из величайших умов античности для каждого из них. Гален придал медицине Гиппократа блеск, которого она не имела в своей изначальной простоте. Но искусство, перегруженное излишними и чрезмерно утончёнными правилами, запуталось во множестве новых трудностей, не обусловленных природой. В Александрии медицина преподавалась с блеском. Арабы комментировали Галена и Гиппократа, усваивали идеи менее известных авторов и внесли некоторые важные усовершенствования в приготовление лекарств. Алхимики, хотя и гнались за химерами, высказывали здравые идеи или, по крайней мере, имели удачные прозрения в медицине [3]. Парацельс, этот прообраз шарлатанов, тоже оказал подлинную пользу: он почувствовал изъяны медицины и предвидел те реформы, которых она требовала. Везалий и Колумб, Карпи и Меркуриалис, Капивацций, Кальв и Проспер Марциан возвысили итальянскую медицину до того же уровня, какого достигла медицина греческая. Парижская школа вернулась к Гиппократу. Шталь — один из тех выдающихся умов, которых природа, как кажется, от времени до времени предназначает для обновления наук, — изменил облик химии и попытался сделать для медицины то, что сделал для химии. Ван Гельмонт провозглашал блистательные истины

---

1 Кабанис разовьёт эти идеи в *Отношениях* и особенно в седьмом мемуаре.

2 Здесь мы узнаём те гипотезы, которые Кабанис, как и Кондорсе, и все идеологи, слишком часто склонен подставлять вместо фактов.

3 Бертло, *Истоки алхимии*; Бутру, *Revue philosophique*, май 1886.

на языке шарлатанов. Сиденгам, друг Локка, вновь подчинил врачебную практику опыту и тем самым совершил настоящую революцию в медицине.

Бэкон, а затем Декарт, сначала понятый глубже, преобразовали рациональную философию и экспериментальные науки. Медицина стала картезианской. Бургаве опубликовал труды, которые являются образцами учёности и критического анализа, ясности, систематичности и точности, — но в них, к сожалению, содержатся малообоснованные гипотезы, заимствованные из химии, механики и гидравлики; и в них слишком часто результаты предшествуют изложению и классификации фактов.

Бордо и Венель, Ламюр, Бартез и его ученики из соображений Шталя, ван Гельмонта и солидизма сформировали новую доктрину, которая, совершенствуясь с помощью философских методов и благодаря прогрессу других наук, всё больше приближается к истине.

Лишь в XVIII веке преподавание действительно продвинулось вперёд. Несколько областей человеческого знания достигли своего рода завершённости; для остальных собраны богатые материалы. Осталось лишь применить ко всем истинные методы — и, главное, применять их с той же строгостью. Философ укажет эти методы; законодатель перенесёт их дух в организацию общественных образовательных учреждений.

Именно благодаря чувствительности, заставляющей все органы участвовать в деятельности мозга, человек учится познавать объекты. Его ощущения это непосредственная и случайная причина обучения, а органы его ближайшие инструменты. Но он создаёт и другие, и от их последовательного усовершенствования зависит совершенствование человеческого рода. Только Гиппократ, Аристотель и Эпикур, по-видимому, среди древних признали, что ощущения являются подлинным материалом наших суждений. Бэкон наметил план научной реформы. Гоббс и Локк, Бонне и Кондильяк усовершенствовали взгляды Бэкона и сделали приёмы философского анализа более простыми и надёжными.

В искусстве врачевания существуют серьёзные трудности, когда дело доходит до применения анализа к наблюдению и лечению болезней, к классификации лекарств. Поэтому необходимо вернуться к наблюдению частных фактов и точнее очертить значение общих признаков, чтобы на их основе формировать определения. Ведь для нас существуют только факты — причина или следствие — в рамках явлений, постоянно следующих один за другим.

Прояснять и развивать первые правила, которые подсказывает счастливый инстинкт или знание; связывать их воедино и координировать; совершенствовать их применение; обогащать метод постоянными

наблюдениями и ежедневно направлять его с помощью всё более общих и надёжных соображений; придавать словам точность и реформировать несовершенный язык — таков подлинный метод, который следует применять в медицине. Ведь ум всегда движется от известного к неизвестному, а хорошо устроенный язык должен содержать «опорные камни» для новых слов, которые могут потребоваться будущими открытиями: название не должно быть ни описанием, ни определением объекта, поскольку невозможно выразить в самом слове его свойства или характерные обстоятельства.

Врачи, к тому же, часто неправильно применяли к своему искусству философские доктрины и химические, геометрические, алгебраические теории и т. д. Так называемая философская медицина опрокинула одни теории и высмеяла другие. Лишь наблюдения или факты, относящиеся к каждой отдельной отрасли искусства, удержались на поверхности всеобщего крушения. Учёные больше не считают своей целью защиту какой-либо мнения, вместо этого они стремятся к проявлению здравого смысла, к искреннему поиску истины и признания собственных ошибок. Истинные философы, безразличные к результатам своих исследований, желают лишь одного — быть точными [1]. Подобно Декарту, они считают полезным время от времени подвергать строгой проверке даже те знания, которые, казалось бы, не вызывают сомнений, ибо, как правило, привычка верить подменяет доказательство.

Дать отчёт об упорядоченности и взаимосвязи объектов или фактов и вывести из этих соотношений все непосредственные следствия — вот что сделали лучшие умы для некоторых наук и вот что ещё предстоит сделать в медицине. Для этого необходимы полные и хорошо организованные собрания наблюдений, краткие теоретические обзоры, в которых излагался бы дух, в котором эти собрания составлены и должны составляться, и формулировались бы наиболее прямые выводы из них. Скажут, быть может, что это «обрежет крылья» гению; но прежде всего в науках, где требуются внимание и точность, лучше «пустить свинец в ноги», чем дать крылья [2]. Кроме того, перед ним откроется новое, безграничное поле: двадцати пяти или тридцати лет достаточно, чтобы верифицировать наблюдения; столько же — чтобы повторить опыты и удостовериться в их результатах. Практические методы обретут ту достоверность, к которой они стремятся. Все проблемы будут решены, и медицина окажется на уровне прочих наук в своей достоверности, как, быть может, уже превосходит их по предмету и цели.

Анализ по существу всегда один и тот же, это анализ описания или разложения и воспроизведения. Он бывает историческим, если создаёт рассудочные истории, где последовательность фактов, относящихся к тому или иному предмету исследования, развёртывается в естественном порядке;

---

1 См. что говорит Дестют де Траси в своём *Мемуаре о Канте* (гл. VI, § 3).

2 Эта мысль Бэкона служит эпиграфом к *Логике* Дестюта де Траси.

дедуктивным — когда мы работаем над продуктами нашего разума, или точнее — над их знаками. Когда Кондильяк предполагает человека, оказавшегося ночью в незнакомом доме и внезапно увидевшего окружающий пейзаж, — происходит разложение и воспроизведение объекта, затем дедукция идей, и, наконец, исторический анализ. Когда он разбирает часы и вновь собирает их по частям, он производит разложение и воспроизведение по методу химиков. Когда же, в *Языке исчислений* [1], он рассматривает анализ как цепочку переводов, ведущую нас от одной тождественности к другой (что, впрочем, не совсем верно) [2], он осуществляет дедуктивный анализ, к которому сводит весь механизм рассуждения.

В медицине описательный анализ даёт форму, цвет, расположение органа, его близость, удалённость, сходство или различие с другими частями тела. Химический анализ позволяет выявить простые тела, из которых состоят эти части. Исторический анализ описывает функции органа и движения мышцы; дедуктивный анализ делает правильные выводы. Исторический анализ должен внимательно проследить всю цепочку изменений или явлений. Если речь идёт о болезни, необходимо с наибольшей тщательностью освободиться от всякого предубеждения, от всякой идеи, не вытекающей непосредственно из наблюдаемых фактов. Нужно видеть то, что есть, а не то, что воображается; изображать то, что наблюдал, не подмешивая к этому ни одного из выводов, которые из этого были сделаны [3]. Химический анализ не всегда способен воспроизвести состав тел, а выводы, к которым он ведёт, часто основываются лишь на вероятностях. Идеологи справедливо сравнивают, в дедуктивном анализе, последовательность развития идей с набором вложенных друг в друга шкатулок; при этом первое рассуждение — это как бы шкатулка, содержащая все остальные [4]. Если пользоваться точным языком и не выходить за пределы теории, можно добиться полной достоверности в выводах; в практических же приложениях мы имеем дело лишь с вычислениями вероятности. Иногда истина оказывается заключённой между двумя известными пределами, к которым можно всё ближе приближаться: так, например, Метий выразил соотношение между диаметром и окружностью окружности дробью 113/355 вместо 7/22. Иногда вычисление собирает в пользу какого-либо мнения или вывода более или менее многочисленные, более или менее весомые доводы: мы верим, что завтра взойдёт солнце, потому что опыт веков показал постоянство этого порядка.

В преподавании следует начинать с предметов или наиболее известных, или наиболее легко постигаемых, чтобы переход к более трудным — требующим

---

1 Очевидно, что Кабанис пересмотрел своё сочинение перед печатью в XII году, так как *Язык исчислений* был опубликован лишь в 1798 году.

2 Кабанис повторяет те же оговорки в неопубликованном письме к Бирану (см. гл. VII, § 3). Кабанис, следовательно, не является верным учеником Кондильяка.

3 Не следует, как Кабанис, подменять факты предположениями.

4 Аллюзия Кабаниса идёт на Дестюта де Траси (гл. V, § 2; гл. VI, § 3).

глубокого наблюдения, более натренированных чувств или даже новых инструментов — происходил лишь постепенно и последовательно. Идеи будут развиваться в порядке их возникновения; вся цепочка, их связывающая, будет проходиться, избегая пропусков, которые ум не в состоянии немедленно и необходимо восполнить. Молодых врачей следует вести к постелям больных, вместе с ними изучать случаи, направлять их внимание и первые опыты, возбуждать их интерес, пробуждать любознательность, переходя от анализа к синтезу и от синтеза обратно к анализу. Аналитический метод — предмет справедливых похвал. Но он использует все пути, ведущие к истине, и для каждой ситуации выбирает наиболее надёжный: то собирая данные, чтобы из них извлечь результаты, то начиная с результата и позволяя данным группироваться вокруг него; иногда он даже не следует путём самих изобретателей, чтобы, стремясь подчинить гений и направить его полёт, не подавить его и не охладить [1].

После этих философских размышлений Кабанис переходит к различным разделам медицины — анатомии и физиологии, а затем к связям медицины с моралью. Медицина и мораль — это ветви одной и той же науки, науки о человеке, и они покоятся на общем основании. Из физической чувствительности, или из той организации, которая её определяет и изменяет, вытекают идеи, чувства, страсти, добродетели и пороки, душевные движения, а также болезни и здоровье тела. Именно в организации записаны вечные принципы, лежащие в основании наших прав и наших обязанностей. Именно посредством изучения постоянной связи между физическими состояниями и состояниями нравственными можно вести человека к счастью, можно превратить здравый смысл в привычку, а мораль — в потребность; можно расширить способности, очистить и приумножить наслаждения, заставить, в каком-то смысле, охватить бесконечное в узком и кратком существовании — через идею и уверенность в постоянном и безграничном совершенствовании [2].

Затем, наметив некоторые идеи, которые позднее будут развиты в мемуаре *О влиянии полов*, и отметив удивительные законы вещей в развитии девушки, Кабанис переходит к патологии, семиотике, терапии и гигиене, которая является частью как медицины, так и морали. Если мораль это искусство жизни, говорит он, то как может быть полноценным это искусство без знания тех изменений, которым может подвергаться субъект, на который оно

---

1 Кабанис, по-видимому, отвечает тем, кто, подобно Шатобриану, а также мадам де Сталь или Ж. де Местру, упрекают анализ Кондильяка в том, что он устраняет энтузиазм и подавляет гений. И, в то же время, он отделяется от Кондильяка: «Если сочинения Кондильяка не имели при своём появлении всего успеха, которого они заслуживают, то это потому, что автор не готовит и не оставляет читателю ни неожиданностей, ни трудностей. Каждый параграф предвещает следующий, и первая фраза указывает остальные; труд читателя настолько облегчён, что он в конце концов перестаёт прилагать усилия, и для него так хорошо подумали, что вскоре он уже почти не думает сам».

2 Эти идеи напоминают Кондорсе и предвещают *Отношения*.

направлено, и без знания средств, способных вызвать такие изменения? Поэтому гигиена, а значит и некоторые понятия анатомии и физиологии, должны входить в любую образовательную систему, чтобы физические привычки соответствовали характеру наших занятий и тем нравственным установкам, которые мы хотим в себе развивать. Из влияния пищи и климата можно вывести правила, применимые ко всем системам воспитания. Более того, постоянное наблюдение сквозь века подтверждает, что физические предрасположенности передаются от отцов к детям. Некоторые достоверные факты, множество весомых аналогий и вся совокупность законов животного организма склоняют к мысли, что и некоторые нравственные качества также передаются по наследству. Следовательно, вырабатывая правила гигиены, мы тем самым трудимся над усовершенствованием человеческого рода [1].

Оставим в стороне то, что говорит Кабанис о хирургии, лекарственных веществах, химии и фармации. В области ботаники он выступает против злоупотребления классификациями [2] и с удовлетворением отмечает, что наиболее выдающиеся учёные, занимающиеся этой наукой, начинают обращать внимание на явления, характеризующие жизнь растений. Рассуждая о ветеринарии, он считает своим долгом напомнить, что животным, разделяющим с нами труд и составляющим, как он говорит, «часть человеческой семьи», необходимо оказывать всё возможное внимание, чтобы сделать их существование более лёгким; нужно не только отказаться от всякого бессмысленного жестокого обращения, но и стремиться к тому, чтобы сделать их счастливыми. Затем, хотя он и утверждает, что жизненные явления зависят от стольких неизвестных механизмов и стольких обстоятельств, что невозможно сформулировать проблему с полным набором данных и что она, в сущности, не поддаётся исчислению, — и хотя задаётся вопросом, какую пользу может принести попытка перевести на неизвестный язык то, что обыденный язык выражает вполне ясно, — он тем не менее считает, что не все разделы физики живого организма в равной степени сопротивляются применению геометрии и алгебры. Он увязывает совершенствование методов наблюдения с развитием философских методов. Таким образом, рациональная философия и мораль должны приходить медицине на помощь; а мораль на каждом шагу сливаться с практической медициной. Знание древних языков стало менее необходимым с тех пор, как появились хорошие книги на современных языках; однако изучение языков проливает яркий свет на

---

1 Эта мысль о физиологической наследственности, которая занимает столь важное место в современной науке, будет вновь развита Кабанисом в *Отношениях*.

2 «Природа, — говорит он, — любит украшать растения самыми прекрасными и богатыми красками, насыщать их самыми нежными ароматами. Мы вдыхаем новую жизнь вместе с испарениями садов и рощ, но холодный и классический способ рассматривать растения омрачил бы эти счастливые впечатления и оставил бы очень мало следов в памяти. Очарование воображения, воспоминания, самые дорогие сердцу, нередко переплетённые с воспоминаниями о цветах и зелени, не мешают тому, что изучение каталога всегда остаётся пресным и однообразным».

механизмы мышления и позволяет переносить некоторые впечатления, сопровождающие идеи в одних языках, на те, которыми мы пользуемся сейчас, обогащая и совершенствуя, с помощью удачных заимствований, эти незаменимые инструменты интеллекта [1].

Заключение этого значительного сочинения, подобно *Руинам*, примечательно тем энтузиазмом, которым оно проникнуто [2].

---

1 «Ничто, — говорит он, — не укрепляет в большей степени дух, не придаёт ему большей гибкости, не наполняет память большим количеством ощущений, образов, движений и разнообразных оборотов, чем чтение хороших писателей на разных языках; и образование, в некотором роде, остаётся лишь наброском, если не слышал, в их родном языке, непереводимых акцентов этих оригинальных гениев, которые по многим причинам остаются благодетелями человечества». Видно, что Кабанис читал и будет перечитывать Гомера.

2 «Нынешняя эпоха — одна из тех великих в истории, на которые потомство будет часто обращать взоры и за которые оно будет вечно требовать отчёта у тех, кто мог бы повести род человеческий по пути улучшения быстрее и вернее. Лишь немногим одарённым гениям дано оказывать это великое влияние; но при нынешнем состоянии наук и искусств нет никого, кто не мог бы способствовать их прогрессу. Малейшее реальное усовершенствование в самом тёмном искусстве скоро отражается на всех других, а установленные связи между различными предметами наших трудов заставляют их всех участвовать в успехах каждого. Сегодня видно, известно, доказано, что в трудах человека нет ничего изолированного: они переплетаются, так сказать, как народы в своих торговых отношениях, помогают друг другу, как отдельные люди, соединённые узами общества… Значит, теперь и самым незаметным людям позволено стремиться к тому, чтобы оказать важные услуги; учёным, литераторам, художникам, самым простым ремесленникам — стремиться к тому, чтобы приносить всеобщую пользу, содействовать общему совершенствованию… И мы, которые, посвятив себя облегчению страданий человечества, так часто держим в своих руках интересы, самые дорогие сердцу человека; мы, кого важность этих интересов вынуждает искать просвещения отовсюду и чьи занятия охватывают почти все физические и нравственные знания, — можем ли мы быть единственными, кто был бы исключён из права служить всему человеческому роду нашими трудами и содействовать его прогрессу? Нет, разумеется. Соединим же наши усилия: внесём в изучение и практику нашего искусства ту высшую философию и разум, без которых оно, вместо того чтобы приносить полезную помощь, становится чаще всего настоящим общественным бедствием; осмелимся связать его новыми узами с другими областями человеческого знания, чтобы те получали от него новые и более чистые лучи света; и пусть в тот момент, когда французская нация собирается закрепить своё республиканское существование, медицина, возвращённая к своему полному достоинству, сама откроет новую эпоху, столь же богатую славой, сколь и плодотворную в благах».

IV

Кабанис в Институте; на медицинском факультете; О степени достоверности медицины; Кабанис и Бернарден де Сен-Пьер

«Разнообразные занятия и обязанности, — говорил Кабанис, — не позволили мне довести до конца столь обширное сочинение». Действительно, в III году республики он стал профессором гигиены в центральных школах, а затем вступил в секцию анализа ощущений и идей. Спустя месяц он прочитал там *Общие размышления об изучении человека и о соотношении его физической организации с его умственными и нравственными способностями*. На публичном заседании 15 жерминаля он изложил план и цель своего труда *Отношения между физическим и нравственным*. Затем он читает в термидоре *Физиологическую историю ощущений*; во фрюктидоре — *Оду человеку, рассматриваемому в связи с влиянием возрастов на формирование идей и нравственных чувств*, а также *Мемуар о влиянии полов*. Ему поручают, совместно с Рёдерером, рассмотреть сочинения Вернера; с Лакюэ — мемуар *О вредности и плохом состоянии тюрем* [1]. В начале того же года он публикует в *Энциклопедическом журнале* записку *О казни через гильотину*. Выступая против «юридических убийств» периода Террора и требуя отмены гильотины, он в то же время утверждает, что «я» существует лишь в рамках общего жизненного целого, и что головы казнённых гильотиной не испытывают ни острых страданий, ни сильных мучений.

В V году Республики Кабанис, вместе с Дону, рассматривает *Историческую и республиканскую галерею знаменитых людей*; с Лакюэ и Боденом — вопрос о государственной помощи. С Грегуаром, Дону, Дюпоном де Немуром, Левеком и Флёрьё он отбирает мемуары для печати; с Рёдерером читает новые сочинения Вернера. Он во второй раз представляет *Общие размышления об изучении человека* и предлагает составить *Всеобщую библиотеку*, которая служила бы путеводителем по наукам, литературе и искусствам, потому что, как он говорит, «величайшим препятствием на пути к здравому образованию и к развитию ума станет однажды необъятность книжного мира, в котором невежественный человек теряется, не зная, какой путь избрать». Затем он зачитывает свой *Мемуар о влиянии темпераментов*, и Институт постановляет напечатать полностью ту часть сочинения *Отношений между физическим и нравственным*, которую он представил. Параллельно с публикацией *Смешанных трудов по немецкой литературе*, он сотрудничает в журнале *Консерватор* вместе с Гара и Дону, Шенье и Буажоленом, Сийесом и Талейраном. Дважды по предложению преподавателей Медицинской школы он читает курс углублённой клиники. До нас дошли его вступительные и

[1] Что касается Института, мы следуем неопубликованным сведениям, найденным нами в папках секретариата.

заключительные лекции. Медицина, по его словам, приближается к великой революции. Её прогресс опирается прежде всего на то поколение, к которому он обращается. Предназначенное жить под конституцией, уважающей и закрепляющей все права, это поколение окажется в условиях, наиболее способствующих раскрытию талантов; перед ним открывается будущее, надежду на которое раньше никто не смел питать. Жизненный опыт, — добавлял он, — научит вас, что самые обширные и прочные наслаждения связаны с соединением значительных идей и с открытием полезных истин; что счастье зиждется на выполнении собственных обязательств и что наилучший способ трудиться для себя, это трудиться для других; словом, что искусство быть счастливым это искусство быть добродетельным и добрым. «Счастливы, — говорил он ещё, — те наставники, которые, способствуя развитию и совершенствованию заложенных в вас природных дарований, уже заранее приобщаются к вашей славе! Ещё счастливее те, кто своими уроками и примером взращивает в ваших душах чувство и любовь к нашим строгим обязанностям и кто готовит себе на старость утешительное зрелище ваших будущих успехов!».

Цель курса должна быть двойной. С одной стороны, нужно излагать редчайшие случаи и приучать умы к необычным обстоятельствам, встречающимся в практике; вырабатывать правила, позволяющие ориентироваться по аналогичным наблюдениям, когда отсутствуют тождественные; давать почувствовать общие связи, объединяющие или сближающие самые на первый взгляд различные болезни, а также общие основания, которые позволяют видеть в самых противоположных методах лечения — один и тот же принцип, одни и те же соображения. Наконец, следует упростить основные догматы, применимые ко всем случаям, которые могут служить связующим звеном между всеми частными наблюдениями. С другой стороны, необходимо рассматривать искусство изучения и наблюдения, эксперимента и рассуждения в той науке, предметы которой отличаются наибольшим разнообразием и подвижностью. План курса, в котором все части практики следуют друг за другом в самом естественном порядке и рождаются одна из другой, может быть только плодом больших трудов и размышлений. Отбор достоверных, сомнительных или ложных фактов, очевидных истин, гипотез и ошибок — ещё не осуществлён. Необходимо пересмотреть бесчисленное множество наблюдений и провести ещё большее число опытов. Если уже можно выстраивать частичные системы, охватывающие отдельные фрагменты искусства, то невозможно пока создать всеобъемлющую систему, которая бы их организовала, распределила и охватила целиком.

Современные открытия можно сопоставить с сочинениями Гиппократа. Правила универсального метода были открыты лишь в недавнее время, и до сих пор не показано ни то, как следует переносить этот метод из одной области в другую, ни какие изменения он должен при этом претерпевать. В математике знаки имеют строго определённое значение для всех, и доказательства там

абсолютно строгие. Физические науки обладают теми же преимуществами, когда удаётся расположить истины в естественном порядке их возникновения. Но для того чтобы привести к точным и надёжным методам все ветви человеческого знания, потребуется немало времени, ибо сами предметы подвижны и изменчивы. Поэтому необходимо возвращаться к мыслям изобретателей, которые открывают нам законы, которым подчиняются в своём развитии. Это особенно необходимо в науках наблюдения. Так вот: хотя современные учёные и создали искусство «допрашивать» природу, они не могут сравниться с греками в самом даре наблюдения — греки дали нам, в наивысшей степени и во всех жанрах, пример пристального созерцания и верной передачи действий природы [1].

Гиппократ обладал изобретательским гением в наивысшей степени, в той, быть может, степени совершенства, на которую гений вообще способен. Он постиг искусство умственных операций, изложил, как формируются наши идеи, какие причины наиболее часто приводят к ошибкам, как от них можно уберечься, каким должен быть общий путь к истине и как сделать её плодотворной. Куда более отчётливо, чем Аристотель, он связывает наши идеи с восприятием и комбинацией впечатлений, получаемых через чувства.

Общие замечания о Гиппократе и его сочинениях, своего рода пролог к лекциям, будут сопровождаться толкованием *Афоризмов*, *Прогностик* и *Эпидемий*, с разбором тех их «вершин», которые служат путеводными указателями. Завершит курс общая программа размышлений о реформах, необходимых для изучения и практики медицины, о том, как к ней следует применять аналитические методы, а также перечисление священных обязанностей медицинской профессии.

В своей заключительной речи Кабанис говорит исключительно о долге врача. Нравственные отношения, утверждал он, основываются на некоем единстве идей и чувств; человек, по своей природе в высшей степени чувствительное существо, способное разделять привязанности и мысли всего, что его окружает, и подражать поступкам, свидетелем которых он является, и человек несёт в самом себе источники своей нравственности, принципы своей общественности и причины своей бесконечной совершенствуемости: «Моральность человеческих поступков, — добавлял он, — заключается для нас в ощущаемой нами воле или в распознанной в другом по её характерным

[1] «Учёные, философы, поэты, художники — все они, в этом отношении, имеют общую черту, которую несложно заметить, — и когда хотят изучить искусство различать и схватывать то, что по сути связано с общими формами или с постоянным ходом вещей, воспроизводить каждый предмет в рисунке и с красками, одинаково правдивыми для всех стран и для всех веков, пробуждать множество побочных впечатлений способом выбора и сочетания основных, — нужно обращаться к гениям этой счастливой и великой эпохи, их нужно изучать, с их манеры начинать подражать, чтобы суметь стать рядом с ними и иногда превзойти их». И здесь видно, что Кабанис изучал Гомера и Гиппократа; чувствуется подготовка к стоическим доктринам *Письма о первых причинах*.

признакам. Воля есть самое независимое, самое чистое, самое драгоценное в человеке: она и есть сам человек [1]. Это то, что мы отдаем, когда нам больше нечего дать; это то, что мы ревниво стремимся завоевать; и даже те, кого опыт и размышление отвратили от всякой иной власти, всегда бывают тронуты той, что проявляется над сердцами». Мораль это знание связей, устанавливающихся между людьми, искусство их регулирования в интересах каждого и всех, или наука счастья — она сводится к следующей формуле, применимой ко всем лицам и ко всем обстоятельствам: «**Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой**». Подобно природе человека, общие правила морали неизменны; и если воля неизвестной силы, управляющей вселенной, удостаивается открыться нам, это может быть только через законы, которым мы подчинены [2]. Прежде чем взяться за великие труды и наложить на себя строгие обязанности, следует оценить свои силы. Нужен быстрый и точный взгляд, он делает великого врача; живая и мгновенная чувствительность, соединённая с привычной потребностью размышлять над тем, что было пережито; способность к подражанию или дар воспроизводить природу, сосредоточенный на существенном; способность быстро формировать ясные образы всех своих ощущений и сохранять их неизгладимый отпечаток; наконец, способность, как бы помимо воли, спонтанно сопоставлять воспоминания с новыми впечатлениями, чтобы уловить их связи. Необходимо знать как древние, так и современные языки, чтобы читать оригинальные тексты и идти в ногу с современниками, открывающими новые пути. Главное здесь изучать средства, с помощью которых разум приходит к истине, приёмы, которыми он пользуется, чтобы усваивать самые точные и простые идеи, и чтобы на их основе вывести искусство применения этих идей к самым сложным и трудным исследованиям; необходимо исследовать методы в их частных приложениях [3].

Наконец, врач будет искать в чуждых его искусству науках всё то, что соотносится с наиболее устойчивыми принципами его собственного ремесла; а в своём искусстве — то, что может быть полезно другим наукам: «Поскольку, — добавляет Кабанис, излагая общий план своего главного труда, — очевидно, что изучение умственных способностей и страстей человека может почерпнуть значительное просветление из медицины; а следовательно, и мораль, и искусство воспитания, возможно, однажды обретут благодаря ей новые

---

1 В *Отношениях* Кабанис отсылает к г-ну Дестюту де Траси для обоснования того, что я пребывает исключительно в воле (т. II, с. 361).

2 Кабанис говорит то же самое в конце первой записки *Об истории ощущений* (т. I, с. 160). Ср. Вольней, гл. II, § 3.

3 Он также благодарен Флёри за то, что тот хотел придать изучению самых обыденных предметов большое место в образовании детей, «которых водили к ремесленникам и художникам, помещали среди мастерских и мануфактур». Он хвалит Гара за то, что тот, будучи во главе министерства народного просвещения, задумал создать собрание элементарных книг, в которых была бы изложена история всех материалов, с которыми работает каждая профессия, дано описание инструментов и методов, ею применяемых, чтобы обязать каждого рабочего знать их, прежде чем он получит право гражданина.

взгляды, а может быть, и некоторые прямые средства. Эта область, открывающаяся гению, прекрасна и велика: она касается ни много ни мало как усовершенствования важнейших орудий человеческого счастья — и самого человека». И завершает он это похвалой Дюбрёю, чьё благородство характера, учёность и самоотверженность он приводит в пример.

В начале VI года Республики Кабанис поверил, что национальное образование будет организовано по плану, «достойному просвещения века и величия республики». Ему казалось необходимым определить взаимные связи между различными науками и очертить сферу каждой из них, чтобы с пользой перенести туда аналитические методы, призванные изменить весь облик интеллектуального мира. В феврале 1798 года он представляет Институту, а *Декада* объявляет своим читателям о выходе *Степени достоверности медицины*, посвящённой членам Парижской школы.

Медицина, — говорит Кабанис, — является основой всякой подлинно рациональной философии, ибо она обнажает перед нами физического человека, частью которого, или другой его стороной, является человек нравственный. Она даёт прочную опору философии, стремящейся подняться к истоку идей и страстей. Она должна направлять всякую надёжную систему образования и черпать в вечных законах природы основания для прав и обязанностей человека, очерчивать искусство ведения, совершенствования ума и искусства счастья. Наконец, именно она особенно способна рассеивать призраки, которые пугают и мучают воображение, и разрушать всякие суеверные верования.

Во *Введении* Кабанис утверждает, что если чувствующие существа могут быть больны или здоровы, то это потому, что таков «замысел природы». Это выражение — обозначение факта: а именно того, что между различными частями вселенной существуют устойчивые и регулярные взаимосвязи. В других местах он говорит о природе как о силе, порождающей движения, свойственные каждому телу, или как о совокупности законов, управляющих этими движениями — и именно в этом смысле ван Гельмонт называл её «порядком Божиим» [1]. Что касается философии целевых причин (causes finales), то она, по словам Кабаниса, никогда не выдерживала серьёзной критики, хотя, быть может, ограниченному уму человека и трудно полностью от неё отказаться. Против философов, утверждающих, что законы инстинкта это результат неосознаваемых и стремительных умозаключений, Кабанис возражает, что животные руководствуются скрытым водителем ещё до того, как у них возникает какой-либо опыт в выборе пищи или даже лекарств; и что инстинкт тем слабее проявляется, чем дальше заходит развитие интеллектуальных способностей [2]. Он не задаётся вопросом, повезло ли

[1] Следует вновь отметить выражения «план природы», смысл которых будет раскрыт в Письме о первых причинах, и «порядок Бога», что показывает: в 1798 году Кабанис писал это слово, которое, как говорили, он хотел запретить другим.

[2] Эти идеи развиты в *Истории ощущений* (Отношения, с. 134).

животным с инстинктом больше, чем человеку с разумом, потому что в действительности бесконечная совершенствуемость нашего вида открывает для разума необъятное поле наслаждений и счастья.

Возражения против достоверности медицины можно свести к семи: 1° Скрытые механизмы жизни ускользают от нашего взгляда; 2° природа и первопричины болезни нам абсолютно неизвестны; 3° болезни столь разнообразны и подвержены стольким осложнениям, что даже самое скрупулёзное наблюдение не позволяет вывести никаких точных правил для их безошибочного распознавания; 4° природа лекарств и способ их действия на наши тела для нас тайна; 5° медицинские эксперименты ещё труднее, чем наблюдение за болезнями; 6° теория медицины меняется от эпохи к эпохе, а её практика — от века к веку; 7° практика медицины требует столь разнообразных знаний, такой проницательности, такого внимания и столь возвышенных нравственных качеств, что её можно считать попросту несуществующей — или, скорее, опасным оружием в руках невежества и шарлатанства. Кабанис рассматривает каждое из этих возражений не для того, чтобы отстаивать заранее установленные убеждения, но чтобы искренне искать истину — ибо истина, единственная подлинная и достойная признания власть, всегда в конце концов воздвигается на развалинах человеческих мнений [1].

Человек не знает ни сущности материи, ни сущности той скрытой силы, которая обусловливает все явления во Вселенной. Истинные причины, то есть первопричины, столь же скрыты от него, как и сущности вещей; так называемые же причины, знанием которых он гордится, — это всего лишь факты. Если два факта оказываются связанными друг с другом в последовательной цепи, то говорят, что первый является причиной второго. Тот, в свою очередь, становится причиной по отношению к третьему, и так далее, вплоть до «самопроизвольной силы», общего начала движения, активной силы, персонифицированной у большинства народов под разными именами, но о которой невозможно иметь иного представления, кроме того, которое вытекает непосредственно из явлений Вселенной. Если её называют «самопроизвольной», то вовсе не с целью выразить её природу, а лишь для того, чтобы передать то впечатление, которое она производит на ограниченный человеческий разум, когда он видит, как она действует без устали, с неустанной активностью, вечно возобновляющейся из самой себя [2]. К тому же знание первопричины, на поиск которой были потрачены столь глубокие размышления и бессонные ночи, вовсе не имеет прикладного значения для человека, которому доступно — и вполне достаточно — наблюдение за фактами [3]. Кабанис вновь напоминает про отрывок из Гиппократа, предшествующий

---

1 Ту же мысль можно найти у всех идеологов и их преемников. Ср. гл. VII, § 4, О. Тьерри.

2 Кабанис развивает эти идеи о причине и следствии (Отношения, т. I, с. 158), что доказывает: Биран не был первым, кто заговорил о доктрине Юма. Что касается первых причин, о них идёт речь в том же месте и в Письме к Форьелю.

3 Кабанис не всегда будет придерживаться этого мнения.

знаменитому аристотелевскому афоризму. Следуя за Гиппократом, он утверждает, что для уверенного продвижения в любой экспериментальной науке человеку достаточно фиксировать факты, придавая им в своём разуме тот порядок и те связи, которые они имеют в природе, и извлекать из них лишь те следствия, которые в них уже заключены. Строгая достоверность принадлежит исключительно предметам чистой спекуляции; в практике же следует довольствоваться приближениями — и этого вполне достаточно для человечества, чтобы обеспечить его существование и благополучие. Заключение воспроизводит фрагмент заключительной лекции о Гиппократе [1].

Эймар представил обзор труда Кабаниса в *Декаде* от 10 фрюктидора VI года. «Гражданин Кабанис, избрав предмет столь общего интереса, а потому столь достойный его ума и его сердца, заслужил благодарность человечества: он отличается изяществом и чистотой стиля, строгой и настойчивой логикой, глубоко философскими взглядами и счастливой привычкой к аналитическим методам». Приведя места, где Кабанис утверждает, что человек не знает сущности ничего, и процитировав финал работы, рецензент заключает: «Вот — советы и язык подлинной философии. Пусть же они будут услышаны всеми, поняты всеми, применены ко всем тем предметам, которые нам важно познать и изучать!». Наконец, Эймар в торжественной перорации подчёркивает, сколь живой интерес вызывали у части современников исследования идеологов [2].

---

[1] «Да, — говорит он, — я осмелюсь предсказать: вместе с подлинным духом наблюдения философский дух, который должен им руководить, возродится в медицине; наука примет новый облик. Её разрозненные фрагменты соединят, чтобы составить простую и плодотворную систему, подобную законам природы. После того как все факты будут собраны, пересмотрены, проверены, сопоставлены, их свяжут, сведут к небольшому числу точек, устойчивых или мало изменчивых. Будет усовершенствовано искусство их изучать, связывать между собой по аналогиям или различиям, выводить из них общие правила, которые будут лишь их же изложением, но более точным. Особенно будет упрощено искусство — более важное и более трудное — применения этих правил на практике. Каждый врач больше не будет вынужден изобретать собственные методы и инструменты… Заурядные умы смогут, возможно, с лёгкостью сделать то, что выдающиеся умы сегодня делают с трудом, а практика, избавленная от всей посторонней шелухи, её затмевающей, сведясь к простым, ясным, методическим указаниям, приобретёт всю ту степень достоверности, какую допускает изменчивая природа предметов, на которых она применяется».

[2] «Благодаря анализу Бэкона, Локка, Кондильяка, благодаря красноречивым и столь несчастливо прерванным урокам того, кто, следуя их стопами, привлёк наше внимание к их трудам (Гара), в то время как тирания лишилась своих самых могущественных помощников, разум вооружился непобедимой силой; ложь, ошибка и невежество, которые сбивали людей с пути в их поисках и которые, в общественном порядке, отдавали их, как ничтожные стада, на добычу деспотизму и суеверию, больше не будут в руках жрецов и королей средствами ослепления и угнетения. Истина прорвала глубокую ночь; разум рассеял тучи; философия засияла на небе, подобно утренней звезде, и, наконец, светило свободы взошло над миром! О век, достойный вечной памяти! О время чудес, и сколь новые чудеса оно ещё сулит! Поспеши породить счастливые поколения, которые должны прийти нам на смену. Мы были свидетелями этого великого зрелища, мы жили».

А Медицинское общество, публиковавшее в том же VI году мемуары Биша, Пинеля, Ришерана и Русселя, предстало как союзник Кабаниса — автора *Степени достоверности медицины*, — в деле соединения медицины с философией. В то время Кабанис был депутатом от Парижа в Совете Пятисот. В Институте, когда был анонсирован первый том *Мемуаров* философского класса, Кабанису поручили, вместе с Рёдерером, Лебретоном, Флёрьё и Траси, рассмотреть проекты пасиграфии. В Совете Пятисот он выступал с предложением воздвигнуть памятники Декарту и Монтескьё, Кондильяку и Мабли.

Именно в VI году Республики произошёл эпизод, рассказ о котором, воспроизведённый всеми историками, представляется нам вымышленным задним числом — в ту пору, когда стало обыденным делом приписывать идеологам всё, что могло бросить на них тень. Если верить Эме Мартену, коллеги Б. де Сен-Пьера в Институте якобы ополчились против него и обвинили его в том, что он верит в Бога. Порученный ему отчёт по конкурсу по морали, назначенный к оглашению 3 июля 1798 года, он якобы завершил торжественным изложением своих религиозных убеждений. С первых строк его выступления, как утверждается, по всему залу поднялся крик ярости. «Идеолог Кабанис (это единственный, чьё имя мы упомянем), охваченный гневом, вскричал: *«Клянусь, Бога не существует, и прошу, чтобы его имя не произносилось в этих стенах!»*. На это Б. де Сен-Пьер будто бы ответил *«Ваш учитель Мирабо покраснел бы от стыда, услышав эти слова»*, и ушел, чтобы оставить собранию решение — не о том, есть ли Бог, а о том, можно ли произносить его имя. Затем он якобы распорядился напечатать и раздавать у дверей Института отрывок, завершавший его доклад.

Эме Мартен представляет Б. де Сен-Пьера как противника философов. Ничто не подтверждает это утверждение. Сам он сообщает, что д'Аламбер добился для Б. де Сен-Пьера выплаты тысячи франков за рукопись *Путешествия на остров Франции*. Более того, *Декада* — «журнал философов» — публикует его сочинение *Виргиния*, напоминает, что Б. де Сен-Пьеру было поручено составить *Основы республиканской морали*, в то время как Вольней и Гара должны были заняться *Декларацией прав*, *Конституцией* и *историей свободных народов*, — и что он, вместе с ними, был назначен профессором в Нормальную школу. В 1796 году *Декада* публикует проспект, в котором Бернарден анонсирует свои *Гармонии природы*, «предназначенные для основ морали и для преподавателей начальных школ». В 1797 году он присылает туда письмо, доставленное океаном в бутылке. И даже после этой пресловутой сессии, когда якобы произошёл полный разрыв между ним и философами, *Декада* приветствует предстоящие выборы в Париже (жерминаль VII года) и называет среди предполагаемых кандидатов Женгене и Бернардена. Позднее, когда эмигранты «нагло мечтают о своей реабилитации», именно в *Декаду* Бернарден присылает «навигационные опыты, диетические и нравственные наблюдения, предлагаемые ради пользы и здоровья моряков в дальних

плаваниях». Там же, во фримэре, публикуются стихи «к свадьбе гражданина Сен-Пьера, от его друга Дюси». И *Декада* с удовлетворением отмечает, в то время как философию и либеральные идеи начинают высмеивать, чтобы затем их изгнать, что Бернарден высказывается в Лицее совершенно иначе: «Каждый, — говорил он в брюмере X года, — рассуждает в соответствии со своим положением, своей религией, своей нацией и, прежде всего, со своим воспитанием, которое накладывает на наше суждение первую и последнюю печать. Один только философ согласует свой разум с общим разумом Вселенной, подобно тому, как часы сверяют по солнцу». Именно в *Декаде* он публикует письмо гражданина Брара в тот самый день, когда её редакторы защищаются от гнусных обвинений своих противников. Наконец, в XII году Республики, когда *Декада* и её идеология окончательно теряют популярность, Бернарден именно через неё выражает протест против контрафакции и объявляет подписку на своё самое известное произведение — *Поль и Виргиния*, благодаря которому он обрёл множество друзей: «Бог, — писал он, указав формат, цену и условия подписки, — даровал мне благодать никогда не нарушать своих обещаний».

Таким образом, Бернарден в ту эпоху не был врагом философов [1]. К тому же можно задаться вопросом: как Институт мог бы запретить произносить имя Бога на своих заседаниях, если, к примеру, Лиль де Саль представлял Бога, человека и природу как объекты исследования для разума; если один из членов Института молился в стихах «всеблагому и всемогущему Богу» о том, чтобы Он приумножил счастье Франции; если Мерсье там защищал идеи о врождённых понятиях, Грегуар — восхвалял Лас-Касса, а Бушо признавал достаточно точными те представления о существовании Бога, которые Цицерон изложил в *Тускуланских беседах*, *О природе богов* или *Об обязанностях*, — и затем упрекал Сенеку за то, что, хотя тот и признавал богов и Провидение, он тем самым фактически отвергал наказание злых людей в жизни после смерти? Как мог Кабанис, — если поверить рассказу, согласно которому он требовал запретить упоминание имени Бога, — запретить другим использовать слово, которым он сам пользовался в *Клятве врача* и *Наблюдениях о госпиталях*? Как мог он это сделать, если во *втором Мемуаре* он называл надпись «Я есмь Тот, Кто есть, был и будет, и никто не познал моей сущности» — выражением по-настоящему величественным и философским, обращённым к первопричине; если совсем недавно, в *Степени достоверности медицины*, он писал, что ван Гельмонт, понимая природу так, как он сам её определяет, называет её «порядком Божьим»? [2]

---

1 См. в *Мемуарах Святой Елены* суждение Наполеона о Бернардене. См. также «Бернарден» Арведа Барина.

2 Мы вновь оставляем в стороне то, что говорит Кабанис в *Жизни Франклина* и в *Письме о первых причинах* (см. гл. IV, § 4).

V

Кабанис в Совете Пятисот и Медицинские школы; неизвестное письмо о совершенствовании; о Политехнической школе; Кабанис и 18 брюмера

В начале VII года Республики Кабанис, в *Письме к другу*, утверждает, что не время донимать финансовую комиссию критикой её предложений, а затем спустя пять дней после того, как он представил в Институте второе чтение своего *Мемуара о темпераментах*, — выступает в Совете Пятисот с замечательным докладом об организации медицинских школ (29 брюмера). «Медицина, — говорил он, — основана на наблюдении определённого класса регулярных явлений, на изучении некоторых движений, которые следуют друг за другом и вызывают друг друга в неизменном порядке, на практическом знании определённых эффектов, которые искусство может добиться методично, подражая природе или противодействуя ей. У неё есть принципы, которые разум способен постичь; её знания могут быть организованы в системное целое, и, следовательно, она поистине является наукой; её приёмы могут быть подчинены законам, и это значит, что она поистине является искусством». Пользу медицины следует рассматривать с разных точек зрения — как философу, так и законодателю. Медицина научит облегчать и лечить страдания чувствующих существ; она разработает надёжные правила гигиены, применимые к любому темпераменту, к любому образу жизни, к любому климату; она будет наблюдать за общественными работами, где затрагивается здоровье граждан, направлять все меры санитарного контроля при вспышках тяжёлых заразных болезней; инспектировать продукты питания, которые может испортить недобросовестность; а также служить основанием для вынесения суждений в ряде дел гражданского и торгового права. Её связи чрезвычайно тесны с естественной историей и различными разделами физики, с рациональной философией и моралью. Быть может, она даже сможет — через непосредственное воздействие определённых физических впечатлений — вернуть заблудший человеческий разум к здравому смыслу, к добродетели, к счастью. Наконец, наш вид подвержен большому физическому усовершенствованию; именно медицина должна искать для него прямые средства, заранее позаботиться о будущих поколениях и начертать режим для всего человеческого рода. Вот почему преподавание медицины должно иметь своей целью не только развитие самой науки, но и усиление её влияния на прочие интеллектуальные труды — особенно на рациональную философию и мораль, «факел которых становится тем более необходимым, что, с исчезновением всех суеверий, встаёт подлинный вопрос: как прочно утвердить нравственную систему человека и превратить добродетель и свободу в подлинную науку».

Создание медицинских школ было одним из величайших благ, принесённых Конвентом; они дали большое число выпускников, породили замечательные труды и привлекли множество иностранцев. Следовательно, достаточно лишь укрепить и усовершенствовать это начинание, дополнив его кафедрами патологической анатомии и акушерства, а также прикладной химии, связанной с изучением и преподаванием медицины. «Мы вышли, — говорил Кабанис своим коллегам, призывая их организовать это национальное обучение, — победителями из всех революционных бурь; мы сокрушили армии европейских королей... но, говорю вам это с глубокой убеждённостью, мы ещё ничего не сделали для продвижения свободы, для развития республиканских идей и нравов, для укрепления нашего нового правления, если твёрдые принципы не заменят предрассудков, если здравый смысл и добротное образование не соединят в каждом сердце с энергией свободных чувств любовь к порядку и вкус к полезному труду. Эту революцию, которую можно назвать революцией идей и нравов, — вам надлежит подготовить, вызвать к жизни, почти что предписать её своими законами». И, утверждая, что уже ничто не в силах сдержать человеческий разум, что неодолимое движение ведёт всё к высшему совершенствованию, Кабанис призывал законодателей ускорить это благотворное движение и придать ему надлежащее направление!

Поэтому его влияние росло с каждым днём. Бужолен упоминает его вместе с Гара в числе выдающихся метафизиков, которые применяют рассудок исключительно к тем фактам, которые наблюдали и открыли сами. Когда в *Декаде* редактор раздела внутренних дел атакует доктрину совершенствуемости, именно Кабанис встаёт на её защиту в письме, столь интересном, сколь малоизвестном [1]. Истинный глава второго поколения идеологов, он становится защитником Кондорсе, самого авторитетного представителя школы, в том журнале, который считается её главным рупором. Доктрина совершенствуемости отнюдь не нова и вовсе не является утопией. Новая философия вовсе не стремится, как часто утверждают, «остудить» всякий энтузиазм; она не занимается непостижимыми или пустыми предметами, не увлекается пустозвонными идеями, софистикой и абстракциями, — напротив, она есть наука о методах, основанная на знании человеческих способностей и приспособленная к природе каждого исследуемого предмета. Только она поняла, что свободу можно сохранить и развить лишь посредством просвещения, и указала как одну из главных обязанностей законодателя — повсюду приумножать и мудро упорядочивать средства образования. Но она также признаёт, что даже самые чистые истины теряют часть своего авторитета под влиянием предрассудков; что никогда нельзя будет настолько усовершенствовать понятия, лежащие в основе наших суждений, чтобы ничего не осталось сделать — ни для расширения и умножения наших наслаждений, ни для усовершенствования путей к ним.

[1] Мы публикуем в приложении этот документ, который можно считать неопубликованным, поскольку, насколько нам известно, он не был упомянут ни одним из исследователей Кабаниса и не воспроизводился ни в одном из изданий его сочинений.

Именно ей — от Аристотеля до Гравины, Беккарии, Смита и Дидро — обязаны мы всем лучшим, что было сказано об ораторском искусстве, поэзии, музыке и изобразительных искусствах [1]. И именно потому, что эта философия живёт в них, её последователи радуются всякий раз, когда встречают учёных или писателей, превзошедших их самих, и всегда готовы выражать признание и благодарность за всякий труд, который приближает нас к цели.

В другом письме, адресованном в *Декаду* [2], Кабанис встал на защиту Политехнической школы, которую Томас де ла Марн предлагал упразднить. Друзьям свободы достаточно просто упомянуть эту школу, чтобы с лёгкостью отвергнуть обвинения в варварстве. Те, кто заботится о развитии образования, находят утешение в её существовании — на фоне плачевного состояния большинства других школ — при мысли о том, что, по крайней мере, физико-математические науки никогда ещё не преподавались с таким изобилием средств самого различного рода. Уже сам предмет преподавания, её выдающиеся профессора, блестящие ученики, которых она успела подготовить для различных государственных служб, — всё это достаточно для того, чтобы встать на её защиту. Но чтобы ответить на часто повторяющиеся возражения, необходимо напомнить об основаниях, по которым она была создана. Её задачей было преподавание теории математических и физических наук, в то время как школы прикладного профиля [3] были целиком посвящены практическому обучению. Это разграничение полностью соответствует природе вещей. Теория необходима для глубокого понимания деталей и приёмов практики; но смешение теоретического и практического обучения только породило бы путаницу и в том, и в другом. Каждый учащийся должен прежде всего освоить общий инструмент мышления, в котором он нуждается. Политехническую школу нельзя поместить нигде, кроме Парижа, потому что только там можно найти преподавателей, способных держать студентов в курсе всех новых открытий. Более того, следуя такому порядку, мы сможем распространить по всей Франции не только знания, сконцентрированные в Париже, но и новые методы, которые дают единственную действенную возможность — в некотором роде — уравнять людей по уровню умственного развития. Также невозможно и недопустимо сокращать другие предметы, преподаваемые в центральных школах, ради усиления физико-математических дисциплин, поскольку такое сокращение уничтожило бы и то немногое, что ещё осталось от системы образования. Нужно вернуться к практике самых просвещённых веков и народов, т.е. к литературному образованию, как к необходимой предварительной ступени и основанию для всех остальных форм

---

1 Кабанис повторяет те же идеи в *Письме к Тюро* (гл. IV, § 3).

2 Мы можем сказать об этом письме то же, что говорили о предыдущем: оно так же неизвестно, как если бы было неизданным. Оно не подписано, но оглавление прямо приписывает его Кабанису.

3 Наблюдения Тома, — говорил Кабанис, — были продиктованы ему скорее особым рвением в пользу школы в Шалоне, находящейся в его департаменте, чем соображениями общественного интереса.

обучения. Даже те ученики, которые достигают успеха в науках, но не получили должного литературного воспитания, всегда испытывают на себе последствия этой лакуны.

За пять дней до того, как Кабанис написал это письмо, Бонапарт, вернувшийся из Египта, присутствовал на общем заседании Института вместе с Монжем и Вольнеем. Кабанис, друг Вольнея и Сийеса, принял активное участие в перевороте 18 брюмера. Это часто вызывало удивление: «Действительно поразительно, — говорили [1], — что такие люди, как Грегуар, Траси, Кабанис, Галлуа и многие другие, могли ошибиться до такой степени, что возлагали великие надежды на намерения Бонапарта». Удивляться тому, что в 1817 году в 18 брюмера начали видеть «рождение нового деспота», не приходится. Возможно, куда труднее было предположить это в VIII году Республики. Да, Бонапарт действительно обманул одновременно и ожидания идеологов, ждавших от него второго Вашингтона, и надежды роялистов, видевших в нём нового Монка. Но разве у идеологов не было веских оснований полагать, что Бонапарт станет защитником их идей? Именно по выбору Барраса его назначили командующим армией 13 вандемьера; именно Директория — в составе Барраса, Ла Ревельера-Лепо и Карно — направила его в Италию. После Кампо-Формийского мира он, отвечая на поздравления Гара, говорил как философ, временно оказавшийся во главе армии: «Истинные завоевания, единственные, о которых не приходится сожалеть, это победы над невежеством. Самое почётное и полезное занятие для народов это способствование расширению человеческих знаний. Истинная мощь Французской республики должна заключаться в том, чтобы не позволить существовать ни одной новой идее, которая не принадлежала бы ей». Близкий к Вольнею, он, возможно по его совету, предпринял египетскую экспедицию и всеми силами пытался убедить Дестюта де Траси сопровождать его. Вернувшись во Францию, он возобновил отношения с Вольнеем и Рёдерером, а через последнего — с Талейраном и Сийесом. В ту эпоху, которую обычно представляют как время, когда «все влиятельные фигуры из правительства, армии и Института стекались к генералу и как бы вручали ему власть» [2], Бонапарт, как отмечал Минье, с приветливостью, смешанной с честолюбием, искал бесед с уважаемым человеком, который был одним из самых блестящих его коллег по Институту и мог стать его опорой в Совете Пятисот. Он ездил к Кабанису в Отёй и просил о встрече с мадам Гельвеций [3]. Как мог бы Кабанис, сам по себе человек доверчивый и мало склонный подозревать других во лжи, насторожиться по отношению к тому, кто высоко ценил Дестюта де Траси, выказывал уважение мадам Гельвеций, дружил с Вольнеем, с Рёдерером — защитником философии, атакованной Риваролем, — и, наконец, выступал в

1 Лаво, *Замечания о Грегуаре*, Париж, 1817.

2 Сент-Бёв, *Рёдерер*, с. 361.

3 Она заставляла его прогуливаться по своему саду и говорила ему: «Я хочу, чтобы вы знали, генерал, насколько можно быть счастливым, имея два арпана земли. Вы сможете достичь верховной власти, но никогда не найдёте там того счастья, которым я наслаждаюсь здесь».

Институте как настоящий идеолог? К тому же Кабанис вовсе не был склонен отвергать, подобно Тюрго или Кондорсе, применение деспотических мер ради утверждения свободы. Он осуждал лишь те из насильственных дней, с 1789 по 1799 год, целью которых не было сделать французов лучше, просвещённее и счастливее.

В комиссии Совета Пятисот, сформированной для подготовки Конституции, Кабанис защищал, в контексте обсуждения принудительного займа, только что совершённую Революцию [1].

В конце декабря он публикует *Некоторые соображения об общественном устройстве и о новой Конституции*. «После того как он способствовал подготовке и завершению событий Брюмера, — говорил Ж.-Б. Сэй [2], — он теперь, как истинный гражданин и добрый мыслитель, доказывает, какими благими должны быть их последствия; он убеждает разумом тех, кто уступил только перед силой». Кабанис отвечает тем, кто видит в революции Брюмера лишь проявление личных амбиций [3]. Исходя из способностей и потребностей человека и отвлекаясь от мнимого «естественного состояния» — чистой умственной фикции — он утверждает, что правительство должно быть: сильным — чтобы надёжно защищать свободу личности; уравновешенным — чтобы не угнетать тех, кого оно должно охранять; стабильным — поскольку

---

1 К людям крови, у которых отняли добычу, к агентам королевской власти, видевшим, что трудились не для них, и собиравшимся, чтобы распространять мрачные слухи и сеять тревогу среди покупателей национальных имуществ, он отвечал, что никакой реакции не будет, что люди 18 и 19 брюмера — те же самые, кто хотел и готовил 18 фрюктидора, чтобы остановить убийства роялистских бандитов и обуздать дерзость, с какой эмигранты уже говорили о возвращении в свои прежние владения. Своим коллегам он говорил, что, показав фанатикам революции, что такое мужество разума и совести и на что способны умеренные, когда это необходимо, они теперь покажут, какой должна быть энергия умеренности после победы, преследуя и наказывая лишь те деяния, которые считаются преступными по морали всех стран и всех времён. Он предоставлял роялистам досуг искать в своём низкопоклонстве и плоских заискиваниях какое-либо подобие того режима, о котором они тоскуют, и утверждал, что они не смогут заразить этой одержимостью тех, кого ею утомляют: «Гордые и республиканские души, — говорил он, — требовательнее к похвалам, они принимают лишь похвалы от свободных людей, и для того, кто достойно служил своей родине, льстит, возвышает и трогает сердце не обожание слуг, а признательное одобрение граждан. Такова подлинная слава подлинно великих людей, но, чтобы в полной мере почувствовать её цену, нужно почти быть её достойным». (*Декада*, 30 брюмера VIII года)

2 *Декада философская,* 10 нивоза VIII года.

3 «Некоторые люди, достаточно несчастные, чтобы искать в человеческих поступках только преступные или низкие побуждения, стараются объяснить этот последний шаг определёнными личными честолюбивыми замыслами. Их стоит пожалеть за то, что они даже предположить не могут существования душ, настолько великодушных, что они связывают всё своё счастье с воспоминанием о великой услуге, оказанной своей стране; за то, что они не верят, будто есть должностные лица, для которых жизнь стала бы невыносимой, если бы они упустили возможность использовать род и степень влияния, которое они имеют на государственные дела, чтобы положить конец угнетению своих сограждан».

длительность укрепляет хорошие учреждения; но при этом открытым для улучшений и совершенствования.

Новая Конституция сочетает в себе достоинства демократии и аристократии, монархии и теократии. Она учитывает как разделение властей, так и представительную систему: ведь народ, будучи неспособным сам выполнять разнообразные функции, столь же неспособен подобрать для каждой из них людей с подходящими характером и талантом. Именно поэтому Кабанис восхваляет изобретательный способ избрания, предложенный Сийесом и о котором Гара говорил, что, хотя он не исключает никого, всё же едва ли позволит избрать кого-либо неподходящего [1]. Положение Франции, находящейся в состоянии войны — как внешней, так и внутренней, — вполне оправдывает значительную долю власти, предоставленную исполнительной власти, особенно с учётом гарантий, которые, по словам Кабаниса, даёт человек, удостоенный звания *первого гражданина Франции*. Ж.-Б. Сэй добавляет, что роль узурпатора или короля ничтожна по сравнению с той, которую призван исполнить он [2] ! Кабанис [3] завершает своё сочинение горячим

---

1 «Вот она, подлинная демократия, вот она со всеми своими преимуществами: ибо самое совершенное равенство царит между всеми гражданами; каждый может оказаться в списке доверия и оставаться в нём, пройдя через все сокращения; достаточно лишь получить голоса... Вот демократия, очищенная от всех своих недостатков. Здесь больше нет толпы, которую можно взбаламутить на форуме или в клубах; невежественный слой больше не оказывает никакого влияния ни на законодательную власть, ни на правительство; следовательно, нет больше демагогов. Всё делается для народа и от его имени, но ничего не делается им самим или под его необдуманную диктовку... он живёт спокойно под защитой законов... он пользуется сладкими плодами подлинной свободы».

2 Ж.-Б. Сэй писал в той же статье: «Не стоит удивляться, что события брюмаира получили, как и события 1789 года, одобрение всех истинных граждан, всех добрых мыслителей».

3 «Мирные и трудолюбивые люди, вы будете защищены мудрыми законами, а их исполнение будет поручено стабильному и сильному правительству.

Собственники и предприимчивые капиталисты, ваши владения гарантированы: плоды ваших спекуляций останутся в ваших руках; они станут заслуженной наградой за ваши усилия; никакая преграда не остановит полёт ваших замыслов, никакой запретительный или хищнический закон не остудит их и не обложит поборами.

Люди всех партий, дышите свободно: все наименования, порождённые ненавистью, упразднены; теперь есть только французы. Вы больше не можете быть угнетателями, но и угнетены не будете. Люди религиозные, как бы вы ни почитали эту неизвестную силу природы, эту вездесущую и вечно действующую мощь (см. то, что мы сказали о легендарном заседании X года, с. 214 и далее; настоящий отрывок — новое доказательство в пользу наших выводов), которую вы любите представлять как непосредственно управляющую человеческими судьбами, свобода вашего культа будет защищена, и если ваши догматы способствуют укреплению в сердцах доброй и здравой морали, они будут уважаемы даже теми, кто их не разделяет.

Учёные, литераторы, художники всех жанров, перед вами открывается необъятная арена славы: вы будете трудиться для свободного и разумного народа; ваши шедевры будут встречены и провозглашены с энтузиазмом, ваши полезные труды будут оценены разумом, освящены признательностью, и национальные награды будут в равной мере предназначены тем, что могут увеличить благосостояние или наслаждения граждан, и тем, что должны прославить родину в глазах других наций и потомства.

призывом ко всем гражданам, из всех слоёв общества, поддержать и защищать новый общественный договор.

И наконец, вы, философы, для которых все размышления направлены на совершенствование и счастье человеческого рода, — это уже не призрачные образы, которых вы теперь обнимаете. После того как вы, в постоянных чередованиях надежды и боли, были свидетелями великого спектакля нашей Революции, вы с радостью видите завершение её последнего акта; вы особенно с восторгом увидите, как, наконец, откроется эта новая эра, столь долго обещанная французскому народу, — эра, в которой все дары природы, все творения гения, все плоды времени, труда и опыта будут использованы; эра славы и процветания, в которой мечты вашего филантропического энтузиазма должны будут, наконец, полностью осуществиться».

Глава IV

Кабанис после 18-го брюмера

Кабанис, став сенатором, недолго сохранял восхищение конституцией VIII года и доверие к Бонапарту. Но именно потому, что он сам принимал участие в становлении нового режима, к тем его трудам, которые публиковались в двух первых томах *Мемуаров второй секции* [Института], отнеслись с особым вниманием [1].

Три восторженных письма Тюро, последнее из которых появилось за несколько дней до Маренго, привлекли к ним внимание читателей *Декады*. По мнению Тюро, Кабанис возвёл метафизические и моральные науки в ранг физических и естественных наук, наделив их такой степенью достоверности и очевидности, которую прежде вряд ли кто приписал бы этим дисциплинам. В это же время Биран работает над своим первым *Мемуаром о привычке*: «Труд Кабаниса, — пишет он, — проливает новый свет на науку о человеке и предвещает скорое возникновение новой метафизики».

Ничто не выглядит менее определённым и менее схватываемым, чем, по словам Ремюза, доктрина *Отношений* (*Rapports*). И он прав — если под этим он подразумевает, что у Кабаниса нет стройной метафизической системы и нет твёрдых ответов на вопросы о происхождении, природе или предназначении человека [2]; но он неправ — в глазах того, кто принимает точку зрения самого Кабаниса, т.е. исследование соотношений между физиологическими и психологическими явлениями. И именно это — единственная и подлинная роль, которая подобает историку, стремящемуся представить Кабаниса как истинного основателя (после Декарта) физиологической психологии во Франции. Поэтому в дальнейшем мы будем попеременно акцентировать внимание то на методе и взаимосвязи идей, то на оригинальных прозрениях, чтобы осветить то, что может объяснить успех этой книги.

---

1 В этом собрании находились *Общие рассуждения о человеке*, *Физиологическая история ощущений*, труд о влиянии возраста, пола и темпераментов на формирование идей и нравственных чувств, то есть шесть из двенадцати мемуаров, которые вместе составляют труд *О связи физического и нравственного в человеке*.

2 Это и объясняет столь разные толкования, которые ему давали, с метафизической точки зрения, как сторонники, так и противники.

I

Шесть первых мемуаров «Отношений между физической и нравственной природой человека»: план и цель сочинения; физиологическая история ощущений; чувствительность и возбудимость; возрастные стадии; смерть; половые различия; темпераменты; наука и «отношения».

Особенно чётко цель и замысел работы раскрываются при чтении первого *Мемуара*. Прекрасна и возвышенна сама идея — рассматривать все науки и все искусства как ветви одного и того же ствола, связанные между собой общим истоком и единым предназначением: совершенствованием и счастьем человека. Однако среди них есть такие, которые оказывают друг другу более необходимую или более обширную помощь. Физиология, анализ идей и мораль — это три ветви одной и той же науки, которую вполне справедливо можно назвать **наукой о человеке**. Люди, достигшие наибольших успехов в рациональной философии, почти всегда были сведущи в физиологии, или, по крайней мере, развитие этих двух наук всегда шло параллельно.

Первые мудрецы Греции изучали человека, здорового и больного, с целью сохранить или вернуть ему здоровье. Именно там, словно по какому-то чуду, зародилась философия, вместе с самым прекрасным языком, на каком когда-либо говорило человечество [1]. Пифагор и Демокрит, Гиппократ и Аристотель создали рациональные методы и системы, соединили с ними принципы морали и основали и то, и другое на физическом познании человека. Школа Пифагора в течение нескольких столетий давала законодателей всей древней Италии, учёных — всей Греции, а мудрецов — всему миру. Её основатель предвосхитил вечные превращения материи, впервые применил расчёт к изучению человека и стремился подчинить жизненные явления механическим формулам. Демокрит осмелился представить механическую систему мира, основанную на свойствах материи и законах движения. Это привело его к тому, что он стал искать принципы морали исключительно в способностях человека и во взаимных отношениях между индивидами. Он указал на опыт как на новый путь к истине. Он вскрывал животных и искал решение метафизических проблем в устройстве человека, сопоставляя его с жизненными функциями и моральными явлениями. Гиппократ в своих сочинениях объединил медицину и философию, начиная с изучения фактов. Он формировал учеников, окружая их всеми предметами их исследования, как если бы он уже был посвящён во все тайны аналитического метода. С одинаковой настороженностью он относился и к обобщениям, основанным на недостаточных данных, и к беспомощности ума, который, не умея различать связи, вечно тащится от единичного к единичному без какого-либо результата. Он умел применять к различным частям своего искусства общие правила рассуждения и высшую метафизику, охватывающую все искусства и все науки. Нередко он бросал проницательный взгляд на законы природы и на способы, с помощью которых эти законы могут быть обращены

[1] См. *Письмо к Тюро о поэмах Гомера*.

на пользу человеку. В одном из выражений трактата [греческое слово в оригинале – Фр. Пикаве], он дал историю самой мысли.

Аристотель был одним из величайших умов античности. Он первым выполнил полную и стройную аналитику умозаключения. Если бы он поднялся до анализа происхождения знаков и осознал их влияние на сам процесс формирования идей, он, возможно, оставил бы своим последователям совсем немногое. *История животных*, чьи великолепные описания не смог затмить даже Бюффон, раскрывает тайну его гения. Именно в изучении физических фактов, в анатомии и физиологии он приобрёл ту ясность взгляда, которая его отличает, и почерпнул основные представления о живом организме, на которых основаны как его метафизика, так и его этика [1].

Бэкон открыл новые пути для человеческого разума. Он охватил все области науки, но особенно интересовался физиологией. Декарт, который, несмотря на свои ошибки, оказал науке и человеческому разуму бессмертные услуги, посвятил значительную часть своей жизни вскрытию тел. Тайну мышления он полагал скрытой в устройстве нервов и мозга. Он даже осмелился определить местонахождение души и пытался постичь законы, управляющие ею, посредством физиологических наблюдений. Гоббс больше размышлял, чем читал; и хотя он был незнаком с несколькими областями науки, он тем не менее внёс в сферу чистого рассуждения чрезвычайно строгую классификацию и такую точность языка, которая, возможно, до сих пор ещё не была превзойдена [2]. Локк вернулся к ощущениям — подлинному источнику идей, и к порочной манере употребления слов — подлинному источнику ошибок. Будучи врачом, он начал с изучения физического человека, чем подготовил почву для своих открытий в области метафизики, морали и общественного устройства. Шарль Бонне был столь же великим естествоиспытателем, сколь и метафизиком. Гельвеций, с его мудрым и широким умом, и Кондильяк, с его светлым разумом и совершенным методом, не обладали теми физиологическими знаниями, которые помешали бы первому защищать теорию равенства всех умов и позволили бы второму понять, что душа, в том виде, в каком он её рассматривает, это скорее способность, чем сущность, а если бы даже она и была сущностью, она не могла бы обладать многими из тех качеств, которые он ей приписывает [3].

Чувствительность — это конечный результат и самый общий принцип, к которому приводит анализ умственных способностей и душевных состояний. Физическое и нравственное сливаются в своём источнике; нравственное есть не

---

1 К этим четырём философам Кабанис позже прибавляет Эпикура.

2 «Что не помешало ему, — добавляет Кабанис, — при столь прочных принципах и столь совершенном инструменте, прийти к жалким софизмам по величайшим политическим вопросам».

3 Вот один из тех пассажей, где Кабанис, покидая позитивную область, кажется, выступает против спиритуалистической метафизики.

что иное, как физическое, рассматриваемое под некоторыми более частными углами зрения. Жизнь это последовательность движений, совершаемых под действием впечатлений, получаемых различными органами. Операции души или разума также являются результатом движений, совершаемых мозговым органом; эти движения либо вызываются впечатлениями, полученными и переданными чувствительными окончаниями нервов из разных частей тела, либо пробуждаются в этом органе средствами, которые, по-видимому, воздействуют непосредственно на него.

С того момента, как мы ощущаем — мы существуем [1]. Когда какой-либо объект сопротивляется нашей воле, у нас возникает представление о том, что не является нами самими. Наши ощущения различны; между ощущениями, воспринимаемыми разными органами, существует закономерное соответствие, подчинённое постоянным законам; таким образом, мы уверены, по крайней мере относительно нас самих, что между внешними причинами существует такое же разнообразие, как и между нашими ощущениями.

Способ чувствования варьируется от одного человека к другому. Первоначальное устройство организма или темперамент, пол — всё это создаёт между людьми значительные различия. Возраст и состояние здоровья или болезни вызывают у одного и того же индивида изменения в способе ощущать. Наконец, климат, режим, характер или порядок труда, то есть совокупность физических привычек, также мощно его изменяют. С этой точки зрения физическое изучение человека может дать философу, моралисту и законодателю новые сведения о человеческой природе и основные представления о путях её совершенствования. Отсюда — план *Rapports* («Отношений»). За физиологической историей ощущений должны были последовать описание темпераментов, физико-нравственный обзор полов, затем возрастов, точное определение влияния климатов и история инстинкта, теория бреда, сна, физиологический анализ симпатии, изучение воздействия гигиены на душевные операции и размышления о влиянии болезней на характер идей и страстей, анализ обратного действия морального на физическое и общие соображения относительно того, какое воздействие медицина может оказывать на нравственное состояние [2]. По этому поводу, — говорил Кабанис, — будет изложено всё, что может иметь прямое применение в трудах философа, моралиста и законодателя. Будут рассеяны последние остатки некоторых вредных предрассудков, и будет дана прочная, основанная в самой природе опора для священных принципов, которые для многих, хотя и просвещённых, умов до сих пор покоятся лишь на туманных основаниях. И Кабанис завершал

---

1 О преобразовании картезианской формулы Cogito, ergo sum см. Тюро, *Декада*, 10 фрюктидора XIII года; Дестют де Траси, Логика, *Предварительная речь*, стр. 138 (1825). Ср. также Тюрго, статья «Существование» (Введение).

2 Этот план был изменён (см. § 2).

это изложение пламенной апологией республиканского правления и страстным обвинением тирании и монархии [1].

Второй и третий «Мемуары» содержат *Физиологическую историю ощущений*. Автор ставит себе задачу восполнить прежде всего пробелы между наблюдениями анатомии или физиологии и результатами философского анализа. Не приходится, — говорит он в часто цитируемом месте, — доказывать, что физическая чувствительность есть источник всех идей и всех привычек, составляющих нравственное бытие человека. Локк, Бонне, Кондильяк, Гельвеций довели эту истину до последней степени доказательности. Среди образованных людей, хоть сколько-нибудь пользующихся своим разумом, теперь нет никого, кто мог бы в этом усомниться [2]. Но физиологи установили, что жизненные движения являются результатом впечатлений, получаемых чувствительными частями тела, и что именно эти впечатления служат источником как идей, так и жизненных движений. Возникает вопрос: все ли поведенческие акты животных, как думал Кондильяк, являются продуктом рассудочного выбора, а значит — результатом опыта? Или же многие из них формируются чаще всего без участия воли индивида, за исключением лишь её направляющей функции, и именно в этом случае мы имеем дело с тем, что называют инстинктом? Точно так же, является ли чувствительность единственным источником органических движений? Или же определённая часть этих движений зависит от иного свойства — возбудимости?

Обе эти проблемы взаимосвязаны. Если существуют движения, зависящие от возбудимости, то к ней же следует отнести и те акты, которые совершаются без выбора и без суждения. Если существуют побуждения и движения, которых индивид не может сознавать, тогда нужно отличать импульс, побуждающий младенца сосать грудь матери, от рассуждения, заставляющего нас предпочесть пищу, которую мы уже сочли вкусной, пище, которую мы уже сочли неприятной, — и перестать утверждать, будто все наши идеи приходят к нам через внешние чувства. Вторая проблема — скорее вопрос слов, хотя гипотеза Шталя отличается большей простотой, и единство физического начала в ней лучше согласуется с единством нравственного начала [3]. Но не так обстоит дело с первой проблемой. Движение есть, для человека, знак жизнедеятельности. Некоторые наши движения произвольны; другие, как секреции, кровообращение и т. д., совершаются без нашего ведома. Может ли одна и та же причина, чувствительность — порождать столь различные эффекты? У человека нервы являются особым местом чувствительности: они распределяют её по всем органам, образуя общее чувствующее поле. Между органами они

---

1 См. также этот пассаж, исключённый в издании 1803 года (Приложение).

2 Опираясь на подобные утверждения, и сделали возможным считать идеологов чистыми учениками Кондильяка; однако Кабанис сам впоследствии изменит формулу и придаст ей совершенно иной смысл, чем у Кондильяка.

3 Кабанис довольно склонен принять её в десятом мемуаре (см. § 2).

устанавливают более или менее тесную связь и заставляют их различные функции содействовать общей жизнедеятельности. Поэтому, если перевязать или перерезать все нервные стволы, ветви которых расходятся по какой-либо части тела [1], эта часть становится совершенно нечувствительной, затем — неспособной к произвольным движениям, и, в конце концов, всякая жизненная функция в ней прекращается. Следовательно, возбудимость следует свести к чувствительности. Движение есть лишь эффект жизни, а нервы это истинная «душа» движений мышечных волокон. Кроме того, только чувствительность позволяет нам воспринимать как собственные органы, так и внешние объекты. Именно благодаря этим восприятиям и суждениям, которые мы из них выводим, совершаются произвольные движения: двигательные органы подчинены чувствующим и оживляются и направляются только ими. Наконец, непроизвольные и неосознанные движения зависят от впечатлений, полученных различными частями органов, а эти впечатления — от чувствительности этих частей.

Впечатления исходят от внешних объектов и почти всегда осознаются. Или же они получаются во внутренних органах, будучи вызваны различными жизненными функциями, — и тогда остаются неосознанными, хотя вызывают движения, причины которых мы не знаем. Философы-аналитики всегда пренебрегали последними. В этом смысле Кондильяк ошибался, утверждая, что все наши идеи происходят от чувств и через внешние объекты. Ведь и внутренние впечатления участвуют в формировании нравственных решений и идей [2].

Остаётся сделать для внутренних впечатлений то же, что Кондильяк сделал для внешних: определить, какие именно душевные состояния и какие идеи зависят от них, затем классифицировать и разложить их, чтобы каждой части тела приписать те, которые ей свойственны, или созданию которых она способствует. Вторая задача пока невозможна. Первую же можно, в определённой степени, выполнить. Существование плода сосредоточено во внутренних впечатлениях, в склонностях и побуждениях, которые из них

---

1 Ср. гл. III, § 1 — о том, что Кабанис говорит вслед за Галеном.

2 «Так, при некоторых состояниях внутренних органов, и в особенности органов нижней части живота, человек в большей или меньшей степени способен чувствовать или мыслить. Состояние этих органов может даже вызвать безумие, причём очень часто органами, в которых оно локализуется, оказываются органы воспроизводства. Сновидения, грёзы, возникающие после употребления опьяняющих напитков и наркотиков, смутные состояния благополучия или неблагополучия, которые каждый испытывает ежедневно и которые зависят от нарушений — более или менее серьёзных — во внутренних частях нервной системы, доказывают, что впечатления, возникающие в результате функций нескольких внутренних органов, способствуют порождению идей и нравственных определений». Если Кабанис на этом настаивает, то потому, что речь идёт «об одном из важнейших пунктов физиологии (в книге — психологии) и что, быть может, самый мудрый из всех аналитиков, Кондильяк, явно высказывался за противоположное мнение». Следует отметить весь этот пассаж, в котором Кабанис отходит от Кондильяка.

вытекают и порождают движения в последние месяцы беременности. Когда ребёнок появляется на свет, желания, связанные с его телесным устройством и характером его чувствительности, проявляются с очевидностью и обнаруживают чувственный итог своеобразных процессов, которые законы [1], управляющие развитием, направляли столь медленно и молчаливо. Ещё не успев сопоставить множество впечатлений, обрушившихся на него, ребёнок уже проявляет вкусы, склонности, желания. Он сосёт грудь своей кормилицы, приводя в действие механизм, весьма сложный в глазах физика; с помощью различных движений лицевых мышц он выражает почти весь спектр общих чувств, присущих человеческой природе. Именно во внутренних впечатлениях, в их одновременном взаимодействии, в их симпатических сочетаниях и постоянном повторении в течение беременности надо искать источник этих склонностей, языка мимики, в котором они выражаются, и решений, к которым они ведут.

Точно так же птенцы предоставляют нам факты, связанные с их особым строением, с достигнутым ими уровнем жизненного развития и с ролью, которую им предстоит играть в жизни [2].

Феномены, относящиеся к созреванию органов размножения, происходят по тому же механизму: они не являются результатом опыта, рассуждения или выбора, основанного на известных ощущениях. Так, птица машет крыльями, ещё лишёнными перьев, козлёнок бодается рогами, которых у него ещё нет. Но из всех склонностей, которые нельзя объяснить привычкой, самый сильный — материнский инстинкт. Период, предшествующий материнству, показывает у животных целый ряд действий, необъяснимых в рамках теории Кондильяка. Птицы строят самые изощрённые гнёзда; их форма всегда одна и та же у каждого вида, во все времена и во всех странах; и у всех она наилучшим образом приспособлена к сохранению и благополучию птенцов, к климату и различным угрозам, которым они подвержены [3]. Наконец, к тем же детерминациям, из которых складывается инстинкт и причина которых — во

---

1 Следует отметить этот пассаж для лучшего понимания *Письма о первых причинах*.

2 «Птенцы куриных, выйдя из яйца, начинают ходить, бегают за зёрнышком и хватают его клювом без всякой оптической ошибки. Щенки и котята издали чувствуют приближение своей матери и отличают её от любого другого животного того же вида и пола. Ягнята и козлята идут, в самый момент своего рождения, искать мать на значительные расстояния». Кабанис возвращается в десятом мемуаре к вопросу об изучении плода и определении идеологической шкалы живых существ. Он сам объяснил, почему не побоялся повторяться (II, 511): поскольку его идеи сильно расходятся с общепринятым образом мыслей, а их основные выводы абсолютно новы, он предпочёл повториться, нежели не изложить свою мысль во всей её полноте.

3 Бонне, говорит Кабанис, собрал по этому предмету любопытные сведения в своей Созерцательной философии природы, чтобы, правда, подкрепить ими философию целевых причин; но это не повод отвергать его интересные наблюдения, ибо рациональная аналитическая философия должна начинать с того, чтобы идти за фактами — по примеру всех областей человеческой науки, которые достигли подлинной достоверности.

внутренних впечатлениях, можно отнести и те изменения, которые возникают в склонностях и желаниях после увечий или в связи с проявлениями некоторых болезней.

Следовательно, внутренним впечатлениям принадлежит инстинкт, а внешним — рассудок. Инстинкт у животных сильнее, а иногда и более прозорлив, чем у человека. Его проявление тем слабее, чем активнее работает разум, поскольку каждый орган обладает ограниченной чувствительностью, которая может быть усилена лишь за счёт других, ведь чувствующее существо способно лишь на определённую сумму внимания, которая перестаёт направляться в одну сторону, когда она поглощена другой [1].

Однако между внутренними или внешними впечатлениями и моральными определениями или идеями остаётся большой пробел. Возможно ли достоверно поработать над его восполнением?

Нельзя представить себе природу живого существа без **удовольствия** и **боли**, явлений столь же существенных для чувствительности, как гравитация и равновесие — для движения великих масс во Вселенной. Когда чувствительные окончания сокращаются — возникает боль; когда они расслабляются и раскрываются — появляется удовольствие. Орган чувствительности порождает чувство, реагируя сам на себя так же, как он реагирует на мышечные волокна, чтобы вызвать движение. Чувствительность подобна жидкости, общее количество которой определено, и которая всякий раз, когда направляется с избытком в один из своих каналов, пропорционально уменьшается в других. Но реакция чувствительного органа на самого себя, порождающая чувство, а также на другие части тела, вызывающая движение, всегда исходит из одного из нервных центров — спинного мозга, головного мозга, ганглиев и т. п.; важность этого центра всегда соразмерна с важностью жизненных функций, которые определяются этой реакцией, или с масштабом органов, осуществляющих их.

Таким образом, целостность функций предполагает целостность органов. **Мысль**, — говорит Кабанис в известном фрагменте, — **не может существовать, если отсутствует мозг**; она в той или иной степени искажается, если мозг деформирован или болен: *«Чтобы составить верное представление об операциях мышления, нужно рассматривать мозг как особый орган, специально предназначенный для их осуществления, так же как желудок и кишечник предназначены для пищеварения, печень для фильтрации желчи, а околоушные, подчелюстные и подъязычные железы для выработки слюнных соков. Импульсы, достигая мозга, приводят его в состояние активности, как пища, попадая в желудок, возбуждает выделение желудочного сока и*

[1] Те же идеи повторяются в десятом мемуаре. Следует заметить эквивалент формулы «инстинкт находится в обратном отношении к интеллекту», которую обычно не думают приписывать Кабанису.

движения, способствующие её разложению. Собственная функция одного органа — создавать образы каждого отдельного впечатления, прикреплять к ним знаки, сочетать различные впечатления, сравнивать их между собой, извлекать из них суждения и намерения; так же как функция другого — действовать на питательные вещества, присутствие которых его стимулирует, растворять их и усваивать их соки, чтобы сделать их частью нашей природы. Скажут ли, что органические движения, посредством которых совершаются функции мозга, нам неизвестны? Но разве действие, посредством которого нервы желудка определяют различные операции пищеварения, или способ, каким они насыщают желудочный мешок наиболее активной растворяющей силой, — разве это менее ускользает от нашего познания? Мы видим, как пища попадает в этот орган со своими присущими ей свойствами; мы видим, как она выходит оттуда с новыми качествами — и заключаем, что орган действительно произвёл над ней это изменение. Точно так же мы видим, как впечатления поступают в мозг по нервам: они поступают изолированно и без связности. Орган вступает в действие, воздействует на них — и вскоре возвращает их преобразованными в идеи, которые выражаются наружу мимикой, жестом, речью или письмом. Мы с такой же уверенностью заключаем, что мозг, в некотором роде, «переваривает» впечатления, что он органически производит «секрецию» мысли» [1].

Все выводы, полученные с опорой на факты — по методу физиков, и путем движения от одного положения к другому — по методу геометров, указывают на способность чувствовать, как на единственный принцип феноменов животной жизни. Какова причина, природа, сущность этой способности? Настоящие философы таких вопросов не ставят. Мы не имеем никакого представления о предметах, кроме наблюдаемых феноменов, которые они нам являют: их «природа» или «сущность» может быть для нас только совокупностью этих феноменов. Мы объясняем феномены, лишь связывая их с другими, уже известными, которым они подобны или за которыми следуют. При наличии сходства мы тем теснее соединяем их, чем сходство полнее; при постоянной последовательности мы устанавливаем между ними отношения, выраженные словами «причина» и «следствие». Общие факты не подлежат объяснению: если бы они сводились, по сходству, к какому-либо другому феномену, они подчинялись бы ему или сливались с ним; если бы они зависели от других как от своих причин, то перестали бы быть фактами общего порядка.

---

[1] Льюис (History of Philosophy) отмечает, что Кабанис неудачной фразой дал преимущество своим противникам и затормозил развитие собственных доктрин. Он утверждает, что Кабанис никогда не считал, будто мозг выделяет мысль так же, как печень жёлчь. То же справедливо замечает Пейсс. Заметим, кроме того, что Декарт сам говорил: «Те, кто лучше всего переваривают свои мысли, умеют сделать их ясными и понятными» (Рассуждение о методе). Констатируем также, что Кабанис не знал феномена пищеварения более положительно, чем мы сегодня знаем «все функции мозга». Сколько раз obscurius употреблялось, чтобы прояснить obscurum!

Общие факты существуют, потому что они существуют. Мы не можем объяснить тяготение в физике тел, и также не следует пытаться объяснить чувствительность — общий факт живой природы — в физике живого тела и в рациональной философии. Мы ещё не смогли свести её к какому-либо другому, более общему, феномену универсальной природы, и, вероятно, никогда не сможем [1]. А если бы даже однажды это удалось, мы не узнали бы ничего нового о первопричинах, от которых мы уже отделили множество феноменов, не прояснив тем самым их самих ни в какой мере.

Надпись на одном из древних храмов, в по-настоящему величественной и философской форме, наделяла голосом первую причину Вселенной. *Я есмь то, что есть, что было и что будет, и никто не познал моей природы.* Другая надпись гласила: *Познай самого себя.* Первая это признание неизбежного незнания; а вторая это чёткое и ясное указание на цель, которую должны преследовать рациональная и нравственная философия.

Во втором *Мемуаре о физиологической истории ощущений* Кабанис говорит о впечатлениях, получаемых органом чувствительности от изменений, происходящих внутри него самого, и о движениях и определениях, к которым они приводят. Таким образом он объясняет некоторые формы безумия, эпилепсии и экстатических состояний. Между состоянием, где все операции искажены, и естественным состоянием, в котором феномены следуют известным законам, существуют промежуточные градации [2]. Сильная сосредоточенность, или глубокая медитация - приостанавливают действие внешних органов чувств; операции памяти и воображения, как правило, совершаются без какого-либо вмешательства причин, находящихся вне чувствующего органа. Иногда самопроизвольное действие этого органа ограничивается лишь одной его частью: так, некоторые ипохондрики ощущают себя столь лёгкими, что боятся быть унесёнными малейшим ветром, или чувствуют, будто у них явно увеличивается нос. Один человек, страдающий абсцессом мозолистого тела, ощущает, как будто его кровать ускользает из-под него, и уже шесть месяцев его преследует трупный запах. Другой, напротив,

---

1 Кабанис выражается более утвердительно в своём сочинении: «Предположив, — говорит он (стр. 458), — что вовсе не является невозможным, что когда-нибудь удастся открыть связь, которую чувствительность может иметь с некоторыми хорошо признанными свойствами природы». Таким образом мы становимся свидетелями колебаний его мысли. Оставляя, по-видимому, метафизические исследования на другое время или вовсе отказываясь тогда ими заниматься, он тем не менее даёт понять, что иногда усматривает больше вероятности в том или ином решении.

2 См. *Психологию внимания*, где Рибо с проницательностью и оригинальностью исследовал «патологические состояния внимания». Видно, что физиология сделала значительные успехи и что психология этим воспользовалась. Но, читая Кабаниса, можно заметить, что уже в 1800 году находились на пути, который привёл Рибо к его столь важным для психологического познания человека исследованиям.

ощущает, как он поочерёдно разрастается и сжимается почти до бесконечности [1].

Движения, зависящие от спонтанных впечатлений чувствительного органа, подчиняются тем же законам: общее или частичное движение живых частей предполагает наличие в нервном центре, который его вызывает, подобного ему движения; это движение распространяется по симпатии на различные органы или сосредотачивается в одном. Таким образом, в человеке существует, как говорил Сиденхем, внутренний человек, обладающий теми же способностями и теми же аффектами: это мозговой орган. Исходя из этого, различают три самостоятельные операции чувствительности: они относятся либо к органам чувств, либо к внутренним частям тела — особенно к органам грудной и брюшной полостей — либо к самому мозговому органу.

Но в чём заключается целостность головного мозга, спинного мозга, всей нервной системы в целом? Без мозга мышление невозможно, а болезни мозга вызывают нарушения, аналогичные и соразмерные изменениям в умственных операциях. Интеллектуальные процессы протекают нормально лишь в том случае, если впечатления обладают определённой живостью. Между способом, каким формируется ощущение, и способом, каким определяется движение, существует прямая взаимосвязь. Двигательные силы притупляются и исчезают, если чувствительность их не обновляет; они теряют устойчивость и силу, когда впечатления слишком ярки или слишком многочисленны. Энергия и устойчивость движений прямо пропорциональны силе и продолжительности ощущений.

Идеи и побуждения, которые нервная система формирует непосредственно, вызываются движениями, происходящими в этой системе, и подчинены тем же законам, что и действия наших конечностей. Если побуждения возникают из впечатлений, производимых внутри самого чувствующего органа, они устойчивы и доминируют над остальными — как у маниакальных личностей. Если они происходят от внутренних чувствительных окончаний и от органов, в которых эти окончания расположены, как это происходит с инстинктивными побуждениями, они уже менее устойчивы и менее настойчивы. Наконец, ощущения в собственном смысле — единственные, которыми занимались идеологи — поступают через органы чувств и являются наименее глубокими и наименее продолжительными.

Так как мозговая масса (pulpe cérébrale) повсюду кажется одинаковой, различие впечатлений, по-видимому, зависит от различной структуры органов, от того, как нервные окончания в них разветвляются и как внешние причины действуют на эти разветвления. Осязание — это впечатления в самом общем

[1] Эти два последних случая представляют собой личные наблюдения Кабаниса. См. Тэн, *Об уме*, и Рибо, *Болезни воли*.

смысле, модификации которого составляют остальные виды ощущений. В коже окончания мозговой массы сильно покрыты и защищены, в органах вкуса, обоняния и слуха — меньше, а в органе зрения они почти оголены и сильно разветвлены. Но каковы наиболее очевидные и общие обстоятельства, свойственные функциям каждого из органов чувств? Существует постоянный закон одушевлённой природы: частое повторение впечатлений делает их более отчётливыми, повторение движений делает их более лёгкими и точными, но также и то, что слишком яркие и слишком часто повторяющиеся впечатления ослабляют чувствительность [1]. Осязание — это первое чувство, которое развивается, и последнее, которое угасает вместе с чувствительностью и жизнью. Впечатления вкуса кратковременны, переменчивы, многочисленны, бурны и часто сопровождаются сильным желанием, поэтому различать вкусы учатся очень медленно, а вспоминать их весьма трудно. Если запахи слишком сильны, они притупляют чувствительность органа; если постоянны, то перестают восприниматься и, оставляя слабый след, могут быть вызваны волей лишь с большим трудом. Однако их воздействие на нервную систему, пищеварительный тракт и половые органы весьма значительно.

Наиболее прочными и точными воспоминаниями, наиболее широкими познаниями мы обязаны зрению и слуху. Слух воспринимает и анализирует впечатления от устной речи, а кроме того, ритм песни или поэзии делает восприятия более отчётливыми, а воспоминания более доступными. Глаз упражняется постоянно, его впечатления связаны со всеми нашими потребностями и способностями; они могут непрерывно повторяться, продолжаться и варьироваться.

Хотя восприятие и сравнение, вероятно, происходят в общем нервном центре, который один только и есть «внутреннее чувство», тем не менее, каждое чувство, по-видимому, обладает собственной памятью. Если не брать в расчёт осязание, вкус и обоняние — хотя и для них можно привести примеры — заметим, что часто слышанные звуки сохраняются в слухе и иногда вновь воспроизводятся весьма назойливо; а если после нескольких минут взгляда на окно, освещённое солнцем, закрыть глаза, то след от впечатлений обычно сохраняется вдвое дольше, чем длилось само впечатление [2].

Как итог: способ восприятия ощущений, необходимых для приобретения идей, переживания чувств или проявления воли — словом, для самого существования — различен у разных людей и зависит от состояния органов, от силы или слабости нервной системы, но прежде всего от её типа

---

[1] Таким образом, Кабанис, подобно Дестюту де Траси (гл. V, § 2) и ещё до Бирана, настаивал на значении привычки и её важности. См. также, что он говорит об этом в § 1.

[2] Можно видеть, читая *Немецкую психологию* и *Болезни памяти* Рибо, что физиологическая психология и психофизика сегодня гораздо более точны, чем во времена, когда Кабанис писал свои мемуары. По-видимому, к этому результату пришли бы ещё раньше, если бы не отказались от исследований, начатых идеологами.

чувствительности. Поэтому следует изучить, как изменяются ощущения под воздействием возраста, пола, темперамента, болезней, режима (образа жизни) и климата.

Во *Влиянии возрастов* Кабанис, как ученик Гиппократа, а ещё более Гераклита, утверждает: всё пребывает в движении, всё есть непрерывное разложение и воссоздание, разрушение и возрождение. Эти метаморфозы, как неизбежное следствие никогда не прерываемого действия [1], в свою очередь обновляют его причины и сохраняют вечную юность Вселенной. Длительность и последовательные фазы существования различных тел в их определённой форме зависят скорее от условий их формирования, чем от их составных элементов. Химические соединения и разложения происходят по законам, несравненно менее простым, чем законы тяготения великих масс, и менее точным, чем те, что управляют существованием и сохранением организованных существ [2]. Растения, чья организация наиболее груба, проявляют силы, свойственные исключительно организованным телам; даже у самых примитивных животных наблюдаются феномены, присущие только чувствующей природе. Камедь или слизь организуется у растений в губчатую ткань, в древесные волокна, в кору, листья и т. п.; у животных она преобразуется в желатин, затем в клетчатку, в живое волокно, в мембраны, сосуды и костные ткани. Слизь, а ещё больше желатин, обладают выраженной склонностью к свертыванию; глютен питательных семян удивительно близок к животной фибрине — эти точки соприкосновения, не отменяя принципиальных различий между животными и растениями, возможно, помогут когда-нибудь пролить свет на тайну организации. Тем не менее, следует признать наличие некоего оживляющего начала или способности, которую природа закрепляет в зародышах или передаёт в семенных жидкостях — или, точнее, некоего условия, без которого феномены, присущие организованным телам, не могли бы иметь места. Однако это не есть некое отдельное существо, передающее телам свойства, из которых проистекают их функции. У животных это начало отождествляется с нервной системой. Органы и способности варьируют в зависимости от состояния нервной системы и клетчатки. Желатин, главным резервуаром которого является последняя, у молодых животных сохраняет ещё много от растительной слизи. Постепенно он превращается в фибрин и всё более «оживляется» (s’animalise) по мере перехода от одного животного к другому. В нервной системе происходят ещё более значительные изменения. Её взаимодействие с органами варьируется день ото дня: сначала оно быстрое и стремительное, затем — более мощное и уравновешенное, наконец — медленное и вялое. У ребёнка сосудов очень много, мышцы отличаются высокой возбудимостью, железы и вся лимфатическая система — сильной напряжённостью. Отсюда подвижность, мышечная слабость и бурное течение

1 См. десятый мемуар, где эти идеи воспроизводятся, и страницы, на которых мы указали влияние греков на Кабаниса.

2 Это не единственное место, где Кабанис пробует, ещё до Огюста Конта, классифицировать науки в порядке убывающей общности и возрастающей сложности.

процессов; яркие, многочисленные, но нестойкие впечатления; быстрые, неуверенные и недолговечные идеи; нечто судорожное и в страстях, и в болезнях [1].

Древние врачи делили жизнь на климатерические периоды: первый заканчивается к семи годам, с появлением вторых зубов, то есть с наступлением возраста разума; второй уже к четырнадцати. *«Ж.-Ж. Руссо особенно тщательно проследил в своём плане воспитания историю и направление этого важного этапа жизни (от семи до четырнадцати лет); он описал его с величайшей точностью, а практические уроки, которые он сопровождает примерами, являются образцами анализа. Его удивительный дар придаёт истинам, открытым этой методой, живость, очарование и даже свет, благодаря которым они проникают одновременно и в разум, и в сердце»* [2]. Постепенно впечатления начинают устанавливаться и регулироваться; память становится более системной и устойчивой, внимание более сосредоточенным и продолжительным; клетчатка уплотняется, ткани приобретают больший тонус, а стимулы, циркулирующие в каждой из жидкостей, — большую активность.

Затем вступают в действие органы воспроизводства, усиливаются теплота и сила животного организма. Подростковый возраст завершается юностью: мозговой орган получает, особенно в этот период, впечатления, специфические для него самого, причины которых действуют внутри него; воображение тогда проявляет своё наибольшее могущество [3].

Около тридцати пяти лет происходит переход от юности к зрелости, который влечёт за собой наиболее заметные изменения как в физическом, так и в моральном плане. Прочность твёрдых тканей начинает уравновешивать активность нервной системы и напор жидкостей; кровь всё менее наполняет

---

1 «Предметы его потребностей и удовольствий просты, непосредственны; он не отвлекается от их изучения мыслями, которые могут возникнуть в его мозгу лишь позднее, страстями, которые ему совершенно чужды. Всё, что его окружает, поочерёдно привлекает его внимание. Его свежая память легко воспринимает все впечатления, и, так как нет прежних воспоминаний, которые могли бы их ослабить, они оказываются столь же прочными, сколь и легко усвояемыми. Это момент, когда формируются самые важные привычки. Идеи и чувства, наиболее общие для человеческой природы, развиваются, так сказать, помимо воли ребёнка, тем же искусным образом, каким ранее формировались некоторые инстинктивные предрасположенности в период внутриутробного развития».

2 Ср. гл. III, § 1 — то, что Кабанис пишет своему отцу о Руссо.

3 «Это возраст всех романтических идей, всех иллюзий… все чувства любви превращаются в религию, в культ; обожествляют невидимые силы, как возлюбленную… потому что всё затрагивает волокна, ставшие чрезвычайно чувствительными, а эта ненасытная потребность ощущать, которая мучит человека, не может всегда найти удовлетворение в реальных объектах… Именно тогда рождается и развивается большинство симпатических и доброжелательных предрасположений, обеспечивающих наше счастье и счастье тех, кому предстоит жить рядом с нами; именно тогда собирается наибольшее количество тех чувств и идей, которые образуют драгоценный запас на будущее».

артерии и всё более — вены; чувство силы и благополучия, присущее юности, постепенно угасает; смелость уступает место рассудительности и осторожности. Поскольку счастье заключается в свободном проявлении способностей, а жизнь тем полнее, чем интенсивнее действуют органы, не выходя за пределы естественного порядка, воображение, утратив ощущение силы, стремится компенсировать его за счёт впечатлений, производимых искусственным могуществом, обращённым вовне: отсюда возникает стремление к власти.

К концу зрелого возраста, в результате разложения гуморов, появляются подагра, камни, ревматизм и предрасположенность к апоплексии. Иногда их едкость вызывает реакцию нервного органа на самого себя и порождает нечто вроде второй юности — Ж.-Ж. Руссо служит тому необычным примером. Но вскоре старик живёт, действует и мыслит с трудом, он думает лишь о себе и стремится к тому вечному покою, который природа приготовила всем существам как спокойную ночь после дня волнений [1]. Память оставляет его; он лучше вспоминает впечатления детства, которые, будучи словно слитыми с организацией, сблизились с автоматическими действиями инстинкта. Слабость мозга и процессов, которые его заставляют чувствовать, придаёт волевым актам подвижность и характер, свойственные детскому возрасту. «Смерть, — говорит Кабанис, — не страшна в глазах разума; она пугает лишь слабые умы, не способные правильно оценить, что они покидают и что, возможно, находят, — или же виновные души, которые к сожалению об упущенном счастье прибавляют страхи перед мстительным будущим. Для мудрого разума, для чистой совести смерть — это лишь конец жизни: вечер прекрасного дня» [2].

Сопровождаясь различными ощущениями в зависимости от возраста и характера болезни, смерть бывает конвульсивной, болезненной в юности и при острых недугах; но, кажется, именно в зрелом возрасте умирают с наименьшим смирением. Бэкон считал искусство облегчить смерть завершением искусства её отсрочивать: медицина должна собрать все свои ресурсы, чтобы смягчить наш последний час, подобно тому как драматург вкладывает весь свой гений в последний акт пьесы. Кабанис осуществит чаяния Бэкона, говоря о влиянии, которое однажды медицина должна оказать на совершенствование и наибольшее благополучие человеческого рода.

Пятый мемуар посвящён влиянию полов. Величайшее действие природы — это воспроизводство индивидов и сохранение видов. Мужчина и женщина различаются во всех частях своей организации. Мышечная слабость предрасполагает женщин к сидячему образу жизни и более деликатным заботам; мужчинам необходимы движение и усилие. Эти различия обусловлены влиянием половых органов, которые более чувствительны и

---

1 См. стр. 249.

2 Это выражение Лафонтена, напоминающее Лукреция и Горация.

раздражимы, поскольку они пронизаны нервами, исходящими из разных стволов. Благодаря своей железистой природе, они сильно воздействуют на мозг. Из различной роли мужчины и женщины в размножении можно вывести различие их бытия и нравов. Совершенство мужчины — в силе и смелости; совершенство женщины — в грации и ловкости. Их идеи и чувства соразмерны их организации и способу чувствовать. Женщина ограничивается занятиями, развивающими изящество её пальцев, тонкость взгляда, грацию движений. Её пугают длительные и глубокие размышления, и она выбирает то, что требует больше чутья, чем знания, больше живости воображения, чем силы разума. Она замечательно подходит для той части нравственной философии, которая напрямую касается наблюдения за человеческим сердцем и обществом. С большой решимостью Кабанис выступает против женщин, выходящих за пределы этой роли [1].

Затем он объяснял, через органические различия, появление у мужчин инстинкта смелости или застенчивости, у женщин — стыдливости и кокетства; он описывал различные состояния полового созревания, связи между ощущениями, сопровождающими беременность, лактацию и зачатие, последствия утраты способности к деторождению, а также кастрации или недоразвитости половых органов. Любовь, в том виде, как её описывают и как она иногда действительно представлена в обществе, весьма далека от изначального плана природы [2].

---

[1] «Но если, — говорит он, — не довольствуясь тем, чтобы нравиться изяществом природного ума, приятными талантами, этим искусством общения, которым они, несомненно, владеют в куда большей мере, чем мужчины, женщины хотят ещё удивлять демонстрацией силы и соединять триумф науки с победами более сладкими и более верными, — почти всё их обаяние исчезает… Лишившись прелестей, без которых сама власть красоты ненадёжна или недолговечна, они приобретают в науке лишь педантизм и смешное. В общем, учёные женщины ничего не знают досконально, они путают и смешивают все предметы, все идеи… В юности, в зрелости, в старости — каково будет место этих существ неопределённого рода, которые, собственно говоря, не принадлежат ни к одному полу? Каким обаянием они могут привлечь молодого человека, ищущего спутницу жизни? Какую помощь от них могут ожидать немощные или пожилые родители? Какое утешение они принесут в жизнь мужа?… Природа вещей и опыт одинаково доказывают, что если слабость женских мышц запрещает ей спускаться на арену гимнасия или ипподрома, то качества её ума и роль, которую она должна играть в жизни, ещё более настоятельно, быть может, запрещают ей выставлять себя напоказ в лицее или в портике… Счастье женщин всегда будет зависеть от того впечатления, которое они производят на мужчин, и я не думаю, чтобы те, кто их по-настоящему любят, могли получать большое удовольствие, видя их с мушкетом в руках, шагающими строем, или поучающими с кафедры, а тем более — с трибуны сената».

[2] «Нет, любовь, как её развивает природа, — это не тот неистовый поток, который всё опрокидывает; не этот театральный призрак, питающийся собственными порывами, находящий удовольствие в пустой игре и упивающийся впечатлением, которое он производит на зачарованных зрителей; ещё меньше — эта холодная галантность, которая, играя в утончённое выражение нежных и деликатных чувств, даже не стремится обмануть того, кому они адресованы… Под благотворным режимом равенства, под всесильным влиянием общественного разума, наконец освобождённая от всех цепей, которыми её

Несколько побочных замечаний в этом мемуаре проясняют его метод и его метафизические установки. Мы видели, что он слишком редко приводит точные факты для обоснования своих утверждений, и это ему совершенно справедливо ставили в упрёк [1]. Сам он объясняет это тем, что, чтобы не делать книгу чересчур объёмной, ограничивается основными и общими пунктами, и останавливается на частных фактах лишь постольку, поскольку их знание кажется необходимым для надёжности изложения и очевидности выводов (т. I, с. 317). Современным авторам, которые подменили «скрытые причины» более догматическими объяснениями [2], он упрекающе говорит, что они приучили умы к дурной привычке — стремиться постичь природу причин; что они, зачастую определяя эти причины, на самом деле персонифицируют чистые абстракции (I, 317). Для «финалистов», восхищающихся материнской любовью, он подмечает, что чудеса природы всецело в фактах, и что нет необходимости допускать в области причин что-либо чуждое необходимым условиям каждого конкретного существования; более того, господство финальных причин будет постепенно сужаться по мере того, как мы будем лучше понимать свойства материи и закономерную связь явлений (I, 365 и 390).

Кабанис объясняет в последнем из шести мемуаров, опубликованных в VIII году (1799/1800), четыре темперамента, признаваемые древними. Обильные лёгкие, более активное кроветворение, повышенное тепло, более эластичные мышцы и податливые волокна; живость и изящество идей, мягкость и доброжелательность в аффектах — при определённой подвижности и непостоянстве; недостаток глубины и силы ума — таковы черты сангвинического темперамента. У человека с холерическим темпераментом — крупные лёгкие и печень, чрезвычайно острые ощущения, исключительная чувствительность всех частей тела и почти постоянное чувство тревоги. Узкая и сжатая грудная клетка, привычное сжатие эпигастральной области сочетаются у меланхолика с нерешительными и сдержанными волевыми актами, с обдуманными чувствами, с желаниями и влечениями, которые больше носят характер страсти, чем простой потребности. Наконец, флегматик, при слабом тепле и малой силе кровообращения, отличается вялыми ощущениями, медленными и слабыми движениями, общей склонностью к покою.

К этим темпераментам Кабанис добавляет ещё два. Первый характеризуется преобладанием нервной или сенситивной системы над мышечной или двигательной, что сопровождается глубокими и устойчивыми волевыми актами, стойкими устремлениями, привычным энтузиазмом и страстной волей.

сковывали политические, гражданские или религиозные нелепости, чуждая всякой чрезмерности и всякому смешному восторгу, любовь будет утешителем, но не властителем жизни; она будет её украшать, но не наполнять, ибо, когда она наполняет её, она её унижает и вскоре сама угасает в отвращении».

1 Тэн, *l'Ancien Régime.*

2 См. также, что Вольтер говорит о скрытых причинах.

Второй, напротив, характеризуется преобладанием двигательной системы над чувствительной, влекущим за собой поверхностные и мимолётные побуждения, беспрестанную череду впечатлений, которые быстро сменяют и взаимно уничтожают друг друга, а также мимолётные мысли и чувства и т. п.

Эти шесть темпераментов сочетаются в бесконечно различных пропорциях у людей, которых мы наблюдаем. Ни один не представляет точного и совершенного равновесия качеств или способностей, которое образовало бы темперамент, наилучшим образом способный обеспечить полное и всестороннее наслаждение каждым моментом жизни и гарантировать её продолжительность. Кроме того, хотя режим (образ жизни) может в некоторой степени изменять темперамент, он его не преобразует, поскольку темперамент даже передаётся от родителей детям [1]. Поэтому Кабанис рекомендует *смешение рас* как наиболее действенное средство для изменения и улучшения человеческой природы [2]. Поддерживая мысль о том, что равенство, хотя и действительно в общем смысле, будет всегда лишь приближённым в частных случаях, он прибегает к сравнению, которое часто ему ставили в упрёк [3].

Его окончательные выводы куда более обоснованны. Чтобы применять гигиену к индивидуальным случаям и свести её к общим правилам для всего человеческого рода, необходимо изучать строение и функции живых частей; а чтобы с пользой изучать морального человека, чтобы научиться управлять привычками духа и воли через привычки органов и темперамента, нужно познать человека физического.

В этом мемуаре Кабанис также утверждает, что *наука* заключается в систематическом познании и изложении связей, и он различает их куда точнее (I, с. 494 и далее), чем это позже сделал Ампер, которому ныне приписывают

---

1 Неоднократно Кабанис настаивает на важности, которую следует придавать наследственности, и предстает здесь как предшественник Дарвина и Спенсера, Гальтона и Рибо, как продолжатель картезианцев и, в особенности, Мальбранша.

2 «Можно было бы в конце концов, — говорит он, — и для целых совокупностей людей, взятых в массе, создать своего рода равенство способностей, которого нет в их изначальной природе и которое, подобно равенству прав, было бы тогда созданием просвещённости и усовершенствованного разума».

3 «Посмотрите на эти конные заводы, — пишет он, — где с одинаковой заботой и по единообразным правилам разводят породу отборных лошадей: они не дают всех животных, одинаково способных к одной и той же выучке, к выполнению одного и того же рода движений. Все, правда, хороши и благородны; у всех есть множество черт сходства, свидетельствующих об их родстве; но всё же каждый имеет свою особую физиономию, свои преобладающие качества. Одни выделяются большей силой; другие — большей живостью, ловкостью, грацией; одни более независимы, более стремительны, труднее поддаются дрессировке; другие же — естественно более кроткие, внимательные, послушные и т. д. Так же и в человеческой породе, усовершенствованной долгой физической и нравственной культурой, отдельные черты всё же, без сомнения, различали бы индивидов».

эту доктрину, — если говорить об их уловимости и значимости [1]. Относительно природы нервной системы он высказывает некоторые гипотезы. Это настоящий резервуар **электричества** и **фосфора**, а также превосходный проводник. Эксперименты в области *животной химии* могли бы пролить большой свет на жизнедеятельность организма, дать идеи, напрямую применимые к медицине, гигиене и физическому воспитанию человека и, возможно, приоткрыли бы некоторые покровы, скрывающие тайну чувствительности. По-видимому, различия в врождённых или приобретённых свойствах живых организмов соответствуют различиям в интимном составе твёрдых веществ и жидкостей, но пока невозможно сделать из этого прямые выводы, а тем более установить что-либо догматически (I, с. 431). Так мы видим, как можно было, с одной стороны, упрекнуть «*Rapports*» в материалистических тенденциях, а с другой — пожаловаться, что в них нет строгих выводов. Но, как говорит сам автор, каким бы образом ни были решены все эти вопросы, *они не меняют его доктрины*. Чтобы судить о нём, следует обращаться к тем *позитивным теориям*, которые он развивает, а не к тем *метафизическим тенденциям*, которые он лишь слегка намечает. И это очень важно помнить, ведь сам Кабанис достаточно пренебрежительно относится к религиозным формам, противоречащим его позитивной доктрине [2].

II

Похвала Вик-д'Азиру; «Отношения»; болезни; привычка; климат; трансформирующая космология 10-го мемуара; исследование плода и инстинкт; влияние «Отношений».

В панегирике Вик-д'Азиру, составленном, по всей видимости, в это время для Института, Кабанис с энтузиазмом прославляет XVIII век [3]. Однако уже

---

1 См. также то, что он уже сказал о релятивности знания. «Познать, — говорил Кант, — значит соединить; соединить, — добавлял Биран, — актом, волей; соединить, — уточнял Ампер, — посредством соотношения» (*Отчёт о философии XIX века*, с. 17). Равассон видит в нём ученика, а не учителя, у которого заимствованы эти доктрины. Подобное случалось с ним не раз, как и со многими другими: Биран, Ампер, Форьель считались авторами теорий, которые они почерпнули у Кабаниса и Дестюта де Траси. Это наблюдение относится и к выводам А. Бертрана (*Психология усилия*)

2 «Наблюдательный взгляд, — говорит он по поводу любви, — узнаёт её в суровости „чрезмерной морали“, в „экстазах“ „суеверия“, в тех необычных болезнях, которые некогда создавали „пророков“ и „пифий“, и которые ещё не перестали до конца „возбуждать толпу невежд“; он находит её и в идеях, и в склонностях, которые кажутся наиболее чуждыми её первоначальным побуждениям; он отмечает её даже в тех суеверных или сентиментальных лишениях, которые она сама себе накладывает».

3 «Какой век литературы, — восклицал он, — когда авторы *Мещанина* и *Метромании*, авторы *Исследований по истории Франции* и *Рассуждений о нравах* занимали лишь второе место, а рядом цвели, так сказать, одновременно Фонтенель, Вольтер, Бюффон, Ж.-Ж. Руссо, Монтескьё, Дидро, д'Аламбер, Кондильяк, Гельвеций, Тома!… К середине этого

тогда Бонапарт пришёл в ярость из-за отказа Дону покинуть Трибунат ради Государственного совета, а после 3 нивоза IX года (покушение с адской машиной) правительство предложило создать *специальные трибуналы* для судопроизводства по политическим преступлениям и правонарушениям. В Трибунате разгорелась острая оппозиция; произошёл открытый разрыв между Консулом и теми, кто энергичнее всего содействовал ему в день 18 брюмера. Последние даже подумывали присоединиться к Моро и Пишегрю, чтобы свергнуть Бонапарта. Говорят, особенно активно был настроен Кабанис [1]. Однако Фуше раскрыл заговор и предупредил идеологов, которые либо были устранены, либо сами отошли от дел.

Здоровье Кабаниса вновь ухудшилось [2] ; Тем не менее Моро де ла Сарт, отчитываясь об открытии занятий в Парижской медицинской школе, сообщал, что профессор Кабанис намерен продолжить серию уже опубликованных *Мемуаров*, посвятив её поочерёдно влиянию болезней, климата, профессий и т. д. Во фруктидоре (1809) вышли два тома *Rapports du physique et du moral de l'homme* («Отношения..»), включавшие шесть новых мемуаров. Тремя годами позже Кабанис выпустил новое издание с аналитическим указателем, составленным самим Дестютом де Траси, и алфавитным указателем, составленным Сюэ (Suë). Хотя публика встретила книгу благосклонно, она вышла уже *после* публикации *«Гения христианства»* и заключения конкордата. Из предисловия и сравнения первого тома с первоначальными мемуарами становится ясно: идеологи всё больше вынуждены занимать *оборонительную позицию* перед лицом реакции [3]. Так, вместо «конфедерации философов,

---

века, — продолжал Кабанис вслед за д'Аламбером и Кондорсе, — человеческий дух получил новый размах; более надёжные методы были применены ко всем предметам наших исследований. Приёмы разума, совершенствовавшиеся день ото дня, и изучение естественных наук, соединённое с изучением наук философских и нравственных, придали языку — может быть, мало гибкому и мало гармоничному, но элегантному и всегда ясному — точность, которой у него ещё не было, и постепенно привычка с большим интересом и тщанием разрабатывать самые строгие темы наук направила нашу литературу по новому пути, по которому она идёт и теперь». Затем следовала похвала Мальзербу, Вик д'Азиру, «понявшему, что реформу анатомического языка можно осуществить лишь с помощью философии»; Лавуазье и Байи, Тюрго и, особенно, Кондорсе, медицине и врачам, с сопровождающей её удачной поправкой к формуле Бюффона, которая позволяет видеть человека целиком, не в его стиле, а в совокупности его чувств и идей

1 Тайяндье, *Биографические документы о Дону*, с. 206.

2 «Это среди вялости подтачиваемого болезнью здоровья, — говорил он в начале *Мемуара об влиянии болезней*, прочитанного им в нивозе в Институте, я взял в руки перо». В флореале он отказывается войти в состав Комиссии, порученной продолжить *Словарь французского языка*, ссылаясь на многочисленные занятия, но также и на плохое состояние здоровья.

3 «Некоторые лица, — говорит Кабанис (XXXVIII), — казалось, опасались, что эта работа имеет целью или приведёт к тому, чтобы опрокинуть некоторые доктрины и установить другие, касающиеся природы первичных причин. Но невозможно серьёзно в это верить. Мы считаем эти причины помещёнными вне сферы наших исследований и навсегда скрытыми от средств исследования, которые человек получил вместе с жизнью... Наиболее непреодолимое невежество — единственный результат, к которому приводит нас, в отношении их, мудрое применение разума... Мы предоставим, следовательно, более

сформированной в самой Франции под самым взором деспотизма, который напрасно содрогался от ярости», теперь говорится о «мирной ассоциации философов, сформированной внутри Франции». «Святая конфедерация против фанатизма и тирании» превращается в «почтенных людей, объединившихся для борьбы с фанатизмом и, по крайней мере, для ослабления всех форм тирании» (стр. 2-3). Ранее в мемуаре утверждалось, что первые назареи поспешили слить свои верования, мрачный и невежественный фанатизм с мечтами платоников; теперь же в книге объясняется, что речь идёт о секте иудео-христиан, возглавляемой Керинфом, — тем самым устраняется всякая прямая аллюзия на христианство [1]. Более того, Кабанис удаляет *смелое и красноречивое заключение* первого мемуара, которое могло бы быть воспринято как косвенная, но резкая сатира на правление Бонапарта. Там, где раньше говорилось, что все физиологические и моральные феномены в конечном итоге сводятся исключительно к *физической чувствительности*, теперь упоминается просто *чувствительность* (I, 155). Обращаясь к тем, кто считает себя благочестивыми и резко осудил выражение *вечный покой*, Кабанис напоминает, что это словосочетание дословно переведено из молитвы Католической церкви (I, 303). Хотя он по-прежнему, вслед за Бэконом, считает философию конечных причин бесплодной, он добавляет (возможно, уже размышляя над *Письмом о первых причинах*), что человеку, даже самому сдержанному, крайне трудно *никогда не прибегать к ней* в своих объяснениях (I, 352).

Другие исправления, хотя и не столь значительные, также заслуживают упоминания. Одни касаются формы и весьма удачно её улучшают [2], другие направлены, в частности в отношении психологического состояния плода, на то, чтобы заменить ранее заимствованные у Дестюта де Траси положения — современными доктринами самого Траси. Вставлены также дополнения, указывающие, что немцы понимают под *антропологией* объединение физиологии, анализа идей и морали — именно тех дисциплин, которые Кабанис соединял в *науке о человеке* (стр. 7); **включение Эпикура** после Пифагора, Демокрита, Гиппократа и Аристотеля в число благодетелей человечества (стр. 14); похвала гигиеническому плану Моро де ла Сарта (стр. 19) и призыв к его

доверчивым, более просвещённым умам заботу о том, чтобы искать, какова природа принципа, оживляющего живые тела; ибо мы рассматриваем проявление явлений, отличающих их от других действующих сил природы, или обстоятельства, в силу которых происходят эти явления, как в некотором роде смешанные с первичными причинами, или как непосредственно подчинённые законам, управляющим их действием. Вы не найдёте здесь того, что долго называли метафизикой, — это будут простые исследования физиологии, направленные изучением особого порядка функций».

1 Ср. работы по гнозису, гностикам и Шмидта (Cerinth, ein judais. Christ.). Здесь мы снова встречаем богословские штудии Кабаниса (III, § 1).

2 Вместо «Дюбрей был в потоке обширнейшей практики» он пишет: «в ходе обширнейшей практики»; вместо «мускулистые и крепкие субъекты составляли поистине отдельную группу» он пишет: «что они действительно образуют особый класс». Аксиома Кондильяка становится у него «положением Кондильяка». Вместо «Деликатная конституция позволила ему наблюдать более подробно» он пишет: «дала ему средства» и т. д., и т. п.

другу и коллеге Туре представить доктрину Гиппократа (стр. 23). Уточняется также, что знаменитая формула *nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu* не встречается дословно у Аристотеля. Он с похвалой упоминает, наряду с Галлером, Калленом, Пинелем и Алле, также и Ришерана, который уже стоит рядом с мастерами (стр. 55), и отмечает, что Пинель не нашёл постоянных результатов в исследовании мозга всех безумцев (стр. 68). Он отсылает к анатомии Биша (стр. 85), предварительно довольно своеобразно [1], но, по-видимому, вполне обоснованно, намекнув, что молодой автор позаимствовал у него некоторые идеи, не признавшись в этом. В примечаниях он обещает опубликовать труд о физическом усовершенствовании человеческого рода, к которому уже собирает материалы (стр. 314); говорит о смерти Русселя, автора *Физической и моральной системы женщины*, как о большой утрате для философии и литературы (стр. 372); приводит опыты Вольта, согласно которым нельзя сомневаться в тождестве гальванического и электрического флюида (стр. 430).

Кабанис, более сдержанный в метафизических и религиозных вопросах, высказывается с большей определённостью по вопросам научной философии. По его убеждению, из его труда следует, что **физика является основой моральных наук**: став таким образом отраслью естественной истории человека, они смогут идти надёжным путём и быстро продвигаться вперёд (стр. XXI). Сам он считает, что вполне возможно управлять с помощью физического и морального режима *периодическими и чередующимися состояниями активности и покоя мозга*; возможно даже искусственно вызывать такие состояния, чтобы временно усиливать интеллектуальные способности или направлять их в новое русло (стр. 17). Если прежде он полагал вероятным, что чувствительность никогда не удастся свести к более общему феномену, то теперь не исключает, что когда-нибудь удастся установить её связь с определёнными, хорошо признанными свойствами материи (стр. 158). Хотя он и полагает, что разумные люди всегда будут с уважением относиться к случайным убеждениям, которые помогают другим становиться лучше или счастливее, он считает необходимым удержать тех, кто перестаёт в них верить, от того, чтобы вместе с ними они не отвергли как пустые мечты и добродетели, которые для них на этих убеждениях держались (стр. XXXVIII). Истинное счастье является по необходимости исключительной принадлежностью истинной добродетели. По счастливой необходимости, интерес каждого человека *никогда не может быть отделён от интереса других*: связывая свои чувства с настоящей и будущей судьбой ближнего, человек безгранично расширяет своё мимолётное и ограниченное существование и освобождается от власти случая.

[1] См. гл. VII, § 3.

Кабанис, самый влиятельный представитель школы в тот момент, не забывает упомянуть о трудах тех, кто сотрудничает с ним в этом общем начинании [1].

В изучении *Отношений между физическим и моральным* самое важное — это вопрос о влиянии болезней на формирование идей и нравственных аффектов [2]. Кабанис поочерёдно рассматривает: нервные расстройства, возникающие от половых органов и вызывающие возбуждение и экстазы, или от ипохондрических внутренностей — которые порождают печальные, тревожные страсти, а то и безумие; а затем — общее ослабление способности чувствовать; лихорадки, при которых состояние интеллектуальных способностей точно соответствует состоянию сжатия или активного расширения органов, но также принимает особый характер в зависимости от природы лихорадки и от типа больного органа, являющегося её источником; наконец, дегенерации лимфы, золотуху, рахит, цингу, своеобразную едкую злобность гнилостных и проказных гуморов. Болезни напрямую влияют на формирование идей и моральных склонностей; медицина, успешно борясь с ними, способствует изменению и совершенствованию операций разума и привычек воли. Но наиболее интересным в этом *Мемуаре* являются начальные соображения и некоторые примеры. По мнению автора, в физическом мире царит порядок, раз Вселенная существует и определённые явления периодически повторяются. Порядок преобладает также в мире нравственном, и некая скрытая, постоянно действующая сила неустанно стремится сделать его всёобщим и полным — о чём свидетельствуют существование общественного состояния, его прогрессивное усовершенствование, его устойчивость (стр. 493). Более того, автоматическое развитие свойств материи, постоянное движение Вселенной, а с другой стороны — действия человека, в долгосрочной

---

[1] Наряду с Кондорсе и Лапласом он упоминает Лекции Нормальной школы, которые были подлинным явлением и отметят собой эпоху в истории наук. Затем, сожалея, что Гара не дал публике ничего, кроме прекрасных и красноречивых лекций, в которых он анонсировал подробное изложение всей идеологической доктрины, он указывает на Элементы идеологии Дестюта де Траси как на единственный действительно полный труд по этой теме. Он напоминает, что Дежерандо весьма подробно рассмотрел один частный вопрос; что Ларомигьер поставил несколько вопросов с большей точностью, чем это делалось прежде, уже одной лишь дефиницией некоторых слов; что Ланселин представил сами основы науки под несколькими новыми углами; что Жакмон начертал ещё более обширный план; что Биру составил отличный мемуар Об привычке и другой — О разложении мысли. Вольней и Сен-Ламбер заслуживают, своими трудами по морали, признательности истинных друзей человечества. Тюро прославился сочинениями, которые отличает зрелость ума и таланта. Ришеран и Алибер принадлежат к уже знаменитым ученикам Парижской школы, выделяющимся своей страстью к прогрессу философской медицины; Драпарно также заслуживает внимания как натуралист и философ; мадам де Кондорсе вывела моральную симпатию, воспетую шотландцами, из той неопределённости, в которой её оставлял ещё Смит.

[2] Именно это показал, с такой же оригинальностью, сколь и точностью, м-р Рибо в своих трудах *Болезни воли*, *Болезни личности*, *Болезни памяти* и др. См. также Модсли, *Патология ума.*

перспективе могут изменить или даже не позволить вновь возникнуть обстоятельствам, способным разрушать порядок. Таким образом, по мнению Кабаниса, вслед за Лапласом, но до Ламарка [1], Дарвина и Спенсера, благодаря одному лишь упорству вещей, может происходить «постепенное ослабление природных причин, которые изначально могли препятствовать благоприятному изменению», и очевидные улучшения будут делом самой природы. Всеобщий порядок, царящий между великими массами, возможно, **установился постепенно**. Вероятно, небесные тела долгое время существовали в других формах и имели иные соотношения; возможно, весь этот великий организм однажды будет усовершенствован в аспектах, о которых мы не имеем ни малейшего представления, но которые изменят состояние Земли и существование всех существ, «которых порождает её плодовитое лоно» (стр. 495 и далее).

Ряд хорошо наблюдённых, хотя и пока ещё недостаточно чётко описанных фактов подготавливает выводы: Кабанис отмечает, что во время озноба при лихорадке круг интересов и идей у него крайне сужался, и его интеллектуальные и нравственные способности почти полностью сводились к животному инстинкту (стр. 536). Не раз он наблюдал у женщин, которые могли бы быть прекрасными питониссами в древности, наиболее странные эффекты изменений в органах чувств: одни без труда различают невооружённым глазом микроскопические объекты; другие достаточно хорошо видят в полной темноте, чтобы уверенно передвигаться; третьи идут по следу за людьми, словно собаки, и узнают запах предметов, которыми эти люди пользовались или даже просто прикасались. Есть женщины, у которых вкус стал столь тонким, что они с большой точностью желают и умеют выбирать пищу или даже лекарства — с проницательностью, которая обычно наблюдается лишь у животных. Другие ощущают в себе, в состоянии припадков, или кризисы, которые готовятся и, как скоро докажет развитие событий, были ими точно предугаданы, или органические изменения, о которых свидетельствуют пульс и другие, ещё более определённые признаки. «Следовало бы, — справедливо замечает он, оставляя, однако, осуществление своих рекомендаций потомкам [2], — провести множество наблюдений над этими кризисами, над этими общими изменениями, над этими всплесками или сосредоточениями чувствительности… и философский анализ, наряду с физиологией, мог бы извлечь из них новый свет» (стр. 554).

Под словом *режим* Кабанис понимает совокупность физических привычек, как добровольных, так и вынужденных. Если электрические машины, искусственные магниты и даже звучащие тела демонстрируют следы привычек, то именно растения [3], а особенно животные способны их вырабатывать.

---

1 См. гл. IV, § 5 и гл. VII, § 3.

2 Ср. Рибо, *Внимание.*

3 Леон Дюмон возобновил эту идею Кабаниса *(Revue philosophique, т. 1, с. 321).*

Человек, в котором всё «согласуется, взаимодействует, соучаствует», подвержен влиянию тяжести, температуры, сухости или влажности воздуха; пищи, режима питания — щадящего или молочного; наркотических и усыпляющих веществ; напитков, физических упражнений, покоя или сна, труда. Хорошая гигиена, устанавливая правила, направленные на совершенствование физической жизни, существенно способствует улучшению человека и росту его счастья.

В этом мемуаре содержатся также некоторые личные наблюдения, изложенные более чётко, чем обычно у Кабаниса. Он заметил (II, 19), что у некоторых хрупких женщин, особенно во время или вблизи менструаций, наблюдается некое расстройство ума и характера — предвестие гроз или удушливых южных ветров. «Незадолго до Революции, — пишет он, — ко мне обратились за советом по поводу женщины, у которой отёчность и общее затвердение жировой и соединительной ткани вскоре поэтапно привели к полному удушению жизни. Когда с ней говорили, это нужно было делать очень медленно. Она отвечала лишь через несколько минут, и ещё более замедленно. Её разум, казалось, колебался и спотыкался на каждом слове. До болезни она отличалась умом: когда я её увидел, она находилась в состоянии подлинного слабоумия. Ранее очень богатая, она казалась почти неспособной желать чего бы то ни было; в ней не проявлялось ни малейшего чувства отвращения или привязанности» (стр. 69).

Следует также упомянуть похвалы в адрес Вольнея и его точного и глубоко философского *Путешествия*, Бюффона и его замечательных трудов, или его ярко выраженных философских идей, а также Бурдена [1] и его экспериментов по применению газов в медицине (стр. 50). Кабанис не забывает и о своих политических предпочтениях: он восхваляет правительства, «основанные на свободе и равенстве», и по-прежнему считает, что «напрасны усилия тиранов и их оплачиваемых риторов — низвергнуть или очернить эти вечные принципы». Наконец, его уже начинают занимать идеи, которые вдохновят *Письмо о первых причинах*: если монашеские институты были великим бедствием, то некоторые религиозные ордена оказали услугу сельскому хозяйству, другие — наукам и письму; и стоит задаться вопросом, можно ли и сегодня «заимствовать у них некоторые идеи для создания новых институтов, соответствующих современному состоянию просвещения» (стр. 64).

Девятый мемуар посвящён *влиянию климатов на нравственные привычки*. Поддерживая мнение Монтескьё, а прежде всего Гиппократа, Кабанис выступает против Гельвеция и утверждает, что климат — или совокупность физических условий, связанных с каждым конкретным местом — оказывает влияние на нравственные привычки, то есть на совокупность идей и мнений, инстинктивных или разумных волений и действий, из них вытекающих у

[1] См. гл. VII, § 4.

каждого индивида. Никто не показал силу привычки лучше, чем он: на привычке основано воспитание, а значит, и способность к усовершенствованию, свойственная всей чувствующей природе, но особенно человеку. Власть привычки распространяется не только на индивида: она передаётся по наследству и от поколения к поколению закрепляет определённые, более развитые способности, формируя со временем новый, «приобретённый» характер природы, который изменяется лишь тогда, когда определяющие привычку причины долгое время не действуют, или если другие причины порождают новые склонности и воления (стр. 180) [1]. Разные климатические зоны дают существ с бесконечным разнообразием свойств: одни и те же животные — лошадь, собака, бык — становятся другими видами в разных регионах, и вырождаются или, напротив, совершенствуются, если их переселить из одной страны в другую. Так объясняется, что человеческие разновидности, расы — это продукт самих климатов, особенно если учесть, что природа, располагая временем как и всеми другими средствами, пользуется им с поразительной щедростью (стр. 195). Это стало бы ещё очевиднее, если бы можно было надёжно установить, что климатическая разница определяет и различие языков, поскольку, как предполагал Локк и как показали Кондильяк и его последователи, прогресс разума зависит от совершенства языка. Однако это не подтверждено, и Кабанис, для труда, в котором гипотезы следует строго избегать, отказывается прибегать к сомнительным аргументам.

Когда дело дошло до инстинкта, симпатии, сна и бреда, Кабанис понял, что для того чтобы создать единую доктрину по этим различным вопросам, ему пришлось бы отклониться от своей главной цели и написать совсем другое сочинение. Поэтому он ограничился тем, что собрал все соображения, связывающие эти темы с его настоящим предметом, и в десятом мемуаре изложил взгляды на животную жизнь, первые сенсорные детерминации, инстинкт и симпатию, сон и бред, а затем в одиннадцатом и двенадцатом мемуарах — о влиянии психического на физическое и о приобретённых темпераментах.

Минье правильно заметил, что десятый мемуар содержит «смелую гипотезу», своего рода «конструкцию Вселенной», космогонию, «механическую, как идеология» предыдущих мемуаров. Но, будучи больше озабочен оценкой, нежели изложением этой «воображаемой и неприемлемой космогонии», он не выделил достаточно ясно её оригинальность. Между тем, перед нами скорее не космология в строгом смысле, а попытка философии науки разрешить вопросы, которые прежде относились к тому, что называли «метафизикой Вселенной». С одной стороны, Кабанис утверждает, что организация материи может объясняться лишь действием первичных и активных сил природы, о которых у нас, по его мнению, никогда не будет «никакого точного представления». С другой — он напоминает, как ученик

[1] Вот она — наследственность, в том виде, как её понимали Ламарк и Дарвин.

Декарта и учёных XVII-XVIII веков, что наука опирается на незыблемые основания, когда все её выводы сводятся к простым, чётким и ясным принципам; что она становится завершённой, когда в результате анализа и исследования удаётся определить, что именно в этих принципах поддаётся нашему познанию. Почему, спрашивает он, принципы организации живых тел не могут быть однажды познаны с такой же точностью, как принципы строения воздуха и воды? Почему мы не смогли бы открыть условия, необходимые для возникновения жизни у животных, подобно тому как открыты условия, порождающие молнию, град, снег или химические реакции, в которых соединённые вещества приобретают свойства, отсутствовавшие у них поодиночке? Уже имеющиеся знания позволяют с известной долей вероятности надеяться, что свет будет однажды пролит и на то, что пока неизвестно. По мнению Кабаниса, различие, которое Бюффон хотел провести между мёртвой и живой материей, — **фикция**. Растения живут и растут, используя только воздух и воду, то есть кислород, водород и азот. Но всякое растительное вещество, помещённое в подходящие условия, даёт начало определённым микроскопическим животным: **цепь между мёртвым и живым непрерывна**. Но должны ли эти обстоятельства или условия навсегда остаться неизвестными? Нет, отвечает он, раз искусство умеет воспроизводить растения частями, которые не были к этому предназначены природой; раз оно умеет изменять виды, порождать новые — точно так же как из веществ, им подготовленных (уксус, картон, переплётные материалы), оно вызывает к жизни существа, не имеющие аналогов в природе. Природа же производит, на больных растениях и животных, неизвестные ранее расы, порождённые «перерождением самого вещества индивида». Значит, либо все части материи потенциально способны к любой форме организации, либо, что то же самое, зародыши всех возможных видов рассеяны повсюду. Переход от жизни к смерти и от смерти к жизни, составляющий, как уже понимали древние [1], порядок и движение Вселенной, не всегда ускользает от нашего наблюдения. На крышах и на лаве вулканов, под действием воздуха и дождя, возникают растения и животные. Острова Тихого океана покоятся на скалах, созданных морскими насекомыми. Постепенно возникая из морских глубин, где эти неутомимые труженики [2] вздымают огромные массы, острова поднимаются, испытывают различные воздействия на поверхности, и, претерпевая изменения, аналогичные тем, что происходят с лавой, покрываются новыми видами, рождающимися из самой природы этой новой земли — и климат без особого напряжения усваивает их [3].

---

1 Ср. гл. III, § 1.

2 Ср. Дарвин, *Коралловые рифы*.

3 Опыты м-ра Фрэя, по-видимому, показывают, что растительные и животные вещества распадаются в дистиллированной воде на глобулы, которые не являются животными; что, будучи погружены в воду или в воздух, составленный искусственно, они постоянно производят различных насекомых; что чистейшая дистиллированная вода, будучи обогащена кислородом, азотом, углекислотой и при содействии света и тепла, может производить минеральные вещества, растительность и животных. Кабанис, однако,

Но человек и крупные животные, которые ныне размножаются половым путём, были ли изначально образованы тем же способом? Мы этого никогда не узнаем, ведь человеческий род не располагает более точными сведениями о начальной эпохе своего существования, чем отдельный человек — о собственном рождении. Однако некоторые из животных, изначально возникших подобным образом, позднее уже размножаются половым путём. Современные виды — не те же, что и во времена их первичного возникновения: они были изменены климатом, пищей, отношениями с человеком или другими живыми существами. Некоторые, как показал Кювье, исчезли — либо вследствие катастроф, либо из-за насильственного вмешательства человека, либо вследствие несовершенного строения. Сам человек мог подвергнуться многочисленным изменениям, возможно даже серьёзным трансформациям. Признавая, что возраст земного шара «огромен», нельзя отрицать и возможность тех изменений, которые течение времени или потрясения природы вызвали у живых рас, порождавших — в каждой конкретной ситуации — другие расы, «лучше приспособленные к новому порядку вещей». Поэтому не исключено — хотя и не доказано строго — что первоначальное происхождение крупных животных может быть сближено с происхождением микроскопических животных, возникающих буквально из небытия, когда меняются химические или физические условия вещества, из которого они образованы.

Аналогично природа возвращается от жизни к смерти: животные ткани разлагаются на газы, которые поглощают растения; скелетные останки животных — особенно рыб и моллюсков — образуют известняковые слои, способствующие ускоренному и совершенному росту растительности. Некоторые растительные вещества при разложении превращаются в мельчайших животных, которые, в свою очередь, после смерти порождают другие — «в течение куда более долгого времени, чем это мог наблюдать Кабанис», — прежде чем всё, по-видимому, вновь погружается в состояние покоя и нечувствительности. Открытия натуралистов сокращают дистанцию между различными царствами природы: некоторые минеральные породы, со своей последовательной «вегетацией» и ветвистыми отростками, сближаются с наиболее примитивными растениями; между растениями и животными находятся зоофиты и, возможно, некоторые чувствительные растения, движения которых, как и у живых мышечных тканей, соответствуют определённым раздражениям [1]; наконец, среди животных строение и

высказывает свои оговорки и заявляет, что эти наблюдения должны быть пересмотрены с осторожностью и повторены стократ разными способами. О самозарождении см. дискуссии между м-ром Пастером и м-ром Пуше, завершённые — в том, что касается нынешнего образования животных без зародышей — знаменитыми опытами, из которых возникла новая наука (Comptes rendus de l'Académie des sciences, 1860; Annales des sciences naturelles, 4-я серия, т. XVI; Revue des cours scientifiques, 1894)

[1] Ср. Дарвин, *Движения и привычки вьющихся растений*; *Растения-хищники* и др.

способности охватывают все мыслимые ступени развития, от моллюска до человека.

Таким образом, Кабанис, включающий в свою доктрину идеи, высказанные Мопертюи, Малье, Робине, Бюффоном и Бонне, а впоследствии вновь подхваченные Ламарком, — является **предшественником Дарвина** и современного трансформизма. Мы понимаем теперь, почему *Философия зоологии* Ламарка была столь холодно встречена, или почти не читалась во Франции: Кабанис связал её доктрины с философией, признанной «по своей сути материалистической» [1].

К этим трансформистским воззрениям примыкают и другие догадки, не менее оригинальные и не менее оставленные в тени теми, кто писал о Кабанисе. Так, он подозревает существование некой аналогии между животной чувствительностью, растительным инстинктом, электрическими сродствами и простым тяготением. Но следует ли объяснять тяготение через чувствительность или, наоборот, чувствительность — через тяготение, «род инстинкта, который в зависимости от обстоятельств может шаг за шагом достичь даже чудес интеллекта»? [2] Он этого не знает, не желая выходить за границы науки и погружаться в метафизику. Однако он не отказывает себе в экскурсе в философию науки. Если когда-либо станет возможным узнать это, он считает — вопреки тому, что впоследствии утверждал Ламарк, — что путь к такому знанию будет проложен через изучение операций, совершающихся *внутри нас*, а не тех, что происходят вдали от нас [3]. Изучая формирование органов у плода, он настаивает на необходимости признать наличие чувствительности даже там, где ещё не проявляется ясно сознание ощущений, ибо противоположное мнение противоречит физиологическим фактам и оказывается совершенно недостаточным для объяснения идеологических явлений. Это не та «возбудимость», о которой говорят физиологи, ибо возбудимость — это способность мышечного волокна к сокращению, сохраняющаяся даже после смерти. Речь идёт об активности органов, приводимых в действие нервами, воспринимающими впечатления *без участия*

---

1 Бональд сближает Кабаниса и Ламарка, чтобы осудить их «гнусные системы» (Recherches philosophiques, II, 289)

2 О выборе между объяснениями «через низшее» и объяснениями «через высшее» см. Равассон, *Rapport*, и др.

3 Г-н Бертран (L'Aperception du corps humain) цитирует эти отрывки (с. 88), чтобы показать, что «всеобщий инстинкт» Кабаниса — это то же самое, что бессознательное Гартмана. Чтобы сделать это утверждение совершенно точным, нужно помнить о влиянии, которое Кабанис оказал на Шопенгауэра. Бертран добавляет, что «самый глубокий метафизик нашего времени, г-н Ф. Равассон, не сказал ничего более смелого». Довольно забавно считать продолжателем «сенсуалистов» одного из тех, кто говорил о них с наибольшим презрением. И тем не менее Бертран прав. Биру почерпнул у Кабаниса, и нередко то, что принадлежит последнему, приписывали первому.

головного мозга [1]. В нервной системе существуют частичные системы, и, возможно, в каждой из них и в каждом её центре существует *частичное Я*, соотносящееся с впечатлениями, которые в нём собираются, и с движениями, которые его система порождает и направляет [2]. Причина чувствительности сливается с первопричинами и не может быть объектом наших исследований. Однако изучение явлений склоняет к мысли, что *электричество*, модифицированное жизненным действием, есть тот *невидимый агент*, который, распространяясь по нервной системе, вызывает ощущения и импульсы.

Именно в идеологическом и физиологическом исследовании плода Кабанис ищет происхождение инстинкта. *Чувствовать* — это основное состояние всякого живого органа; привычка и повторение действий делают эту потребность всё более настоятельной. Так, впечатления и детерминации, свойственные нервной и кровеносной системе, порождают первый, самый постоянный и сильный инстинкт — *инстинкт самосохранения*; а деятельность органов пищеварения — инстинкт *питания*. Из движений, к которым органы побуждаются уже самим фактом своего чувствования, возникает новый инстинкт; из ощущения сопротивления возникает идея внешнего тела; из сознания усилия, вызванного волей — осознание *ощущаемого Я*. Когда плод появляется на свет, он уже несёт в своём мозге начатки фундаментальных понятий, которые его отношения со всем чувственным миром и действие объектов на нервные окончания должны будут постепенно развить. Это вовсе не та *tabula rasa*, о которой говорили некоторые идеологи. Отсюда следует, что прекрасные анализы Бюффона, Бонне, Кондильяка — неполны и могут даже завести на ложный путь.

В сущности, мало что похоже на человека меньше, чем статуи, которых заставляют чувствовать и действовать; мало что менее подобно способу, которым порождаются ощущения, желания и идеи, чем те частичные операции одного чувства, действующего в полном отрыве от системы и даже без того *жизненного воздействия*, без которого ощущение вообще невозможно. Все

---

1 Рибо, *Болезни личности*, с. 6: «Физиология учит нас, что возникновение состояния сознания всегда связано с активностью нервной системы, в особенности мозга. Но обратное неверно: если всякая психическая активность предполагает нервную активность, то не всякая нервная активность предполагает психическую активность. Нервная активность значительно шире, чем психическая». Не следует забывать, что Гартман, автор Бессознательного, восходит к Шопенгауэру — «истинному ученику Кабаниса». Удивительно, что г-н Кольсенэ в *Vie inconsciente de l'Esprit* даже не упомянул Кабаниса. Это показывает, насколько мало, во Франции, мы знаем людей, оказавших значительное влияние за границей.

2 Г-н Бертран (L'Aperception du corps humain) опирается на этот пассаж, чтобы поставить собственную доктрину полизоистского анимизма под покровительство имени, которое имеет авторитет, и связать её с чисто французской традицией (с. 91). Он превосходно добавляет, что эта теория, по-видимому, немного пугает осторожность Кабаниса, который, не занимаясь метафизикой, спешит вернуться к опыту и на твёрдую почву фактов. Хотелось бы, чтобы все во Франции признали так же «оригинальность и осторожность Кабаниса».

операции мыслящего органа *модифицируются* детерминациями и привычками инстинкта; *никогда* отдельный орган чувств не действует в полной изоляции [1]. Подробный и исчерпывающий анализ младенца, до того как все его чувства будут одновременно приведены в движение внешними объектами, мог бы лечь в основу *нового Трактата об ощущениях*, который был бы, возможно, не менее полезен для прогресса идеологии, чем труд Кондильяка [2].

Первые черты инстинкта запечатлеваются в мозговой системе уже в момент формирования плода. Однако помимо тех стремлений к самосохранению, питанию и движению, которые развиваются у плода ещё до рождения, существуют и другие, формирующиеся на более поздних этапах жизни — либо в момент рождения и общем развитии органов, либо по мере созревания некоторых отдельных органов или в результате болезней. Все они, но особенно первоначальные, происходят от *внутренних впечатлений*. Именно поэтому Драпарно, пытаясь выстроить идеологическую шкалу различных видов, обнаруживает, что инстинкт тем более прям и устойчив, чем проще организация; тем живее, чем большее влияние оказывают внутренние органы на мозговой центр; а интеллект тем обширнее, чем в большей степени животное вынуждено воспринимать впечатления от внешних объектов [3].

Симпатия, или стремление одного живого существа к другим, есть, в некотором роде, сам инстинкт; она включает в себя притяжения и отталкивания, проистекающие из организации и предполагающие, в существе, к которому она направлена, наличие ощущений, склонностей, *я*. Как только симпатия поднимается над чистым инстинктом, в ней появляется основа *неосознаваемых суждений*. Но, как и все первичные стремления, она осуществляется через различные органы чувств: зрение вызывает множество аффективных детерминаций, и, возможно, световые лучи, исходящие от живых тел, физически отличаются от тех, что исходят от неживых объектов. Обоняние является у некоторых животных главным органом симпатии; слух вызывает множество чисто аффективных и инстинктивных впечатлений; осязание, по-видимому, оказывает симпатическое действие только через *живое тепло*.

---

1 До Льюиса (Рибо, *Английская психология*, с. 345 и 395) Кабанис обратил внимание на ощущения, исходящие из системы (организма), которые психологи и физиологи столь странным образом пренебрегали; он критиковал эту «чудовищную и гипотетическую статую», логическое развитие идеи о том, что всё исходит из пяти внешних чувств. Точно так же, когда м-р Рибо пишет (там же, с. 259): «во Франции начинают даже считать органические ощущения особой группой», — было бы точнее сказать: «во Франции вновь начинают считать и т. д.».

2 Именно это пытался сделать Прейер в своей *Физиологии эмбриона*, за которой последовала *Душа ребёнка*. В последнем сочинении (с. X) Прейер говорит так же, как Кабанис, хотя и не цитирует его: «Душа новорождённого не похожа на “чистую доску”, на которую органы чувств наносят первые впечатления и т. д.».

3 Возможно, следовало бы отнести к Кабанису то, что Бейн и Рибо (*Английская психология*, с. 268) приписывают Мюллеру — «о состоянии плода, которое не похоже на состояние осла Буридана».

Интеллектуальные операции модифицируют симпатические стремления, превращая их в более или менее осознанные чувства, в более или менее разумные привязанности. *Без всяких «неизвестных способностей»* симпатия становится *нравственной*: индивид разделяет идеи и чувства других, желает, чтобы другие разделили его собственные, и испытывает потребность воздействовать на их волю. Более того, он стремится *подражать* другим и, по сути, лишь *подражает самому себе*. Подражание — основной инструмент воспитания как для отдельных людей, так и для обществ. Следовательно, те причины, которые развивают интеллектуальные и нравственные способности, связаны с теми, что формируют, поддерживают и приводят в действие организацию, где и заключён принцип совершенствования человеческой расы.

Операции суждения и воли находятся под влиянием как *собственно ощущений*, так и *инстинктивных детерминаций*: нет необходимости прибегать к двум различным принципам действия, чтобы объяснить колебания желаний и внутреннюю борьбу. Нарушения в суждении и воле зависят от множества ощущений, впечатлений, причины которых действуют в нервной системе, от тех, что поступают через внутренние чувствительные окончания, и от инстинктивных побуждений. Безумие можно объяснить либо искажением ощущений, либо болезнями нервной системы, либо вредными привычками, которые она приобретает — даже если в последнем случае не всегда удаётся обнаружить органические поражения. Так же и *сон*, периодический, как и самые общие законы природы, вызывается всем тем, что притупляет впечатления или ослабляет реакцию общего нервного центра на органы. В этом оттоке нервных сил к их источнику чувства постепенно, более или менее глубоко, погружаются в дремоту — но лишь в отдельных случаях полностью. Внутренние окончания сохраняют относительную активность своих впечатлений — в зависимости от функций органов, их симпатий, текущего состояния и привычек. Причины, действующие в самой нервной системе, больше не отвлекаются воздействием внешних чувств и становятся преобладающими. Так, во сне происходят новые комбинации идей, возникают идеи, которых у нас никогда не было; так же и в безумии на первый план выходят идеи, почти не связанные с внешними объектами. Тот, кто классифицировал бы, на основе достоверных фактов и устойчивых признаков, различные виды душевных расстройств, указал бы их причины, различил бы излечимые и неизлечимые формы — оказал бы большую услугу идеологии [1].

Влияние душевного на телесное для Кабаниса есть влияние мозговой системы на остальные органы. Нет нужды умножать принципы по числу явлений, прибегать к неведомым и особым силам, чтобы привести в действие мыслящие органы и объяснить их воздействие на животную систему, *так же как нет нужды в особых силах, чтобы объяснить отличие мысли от*

[1] «Исследования о безумии, — писал Рибо в 1870 году, — хотя и остаются ещё весьма неполными, были ли они до сих пор бесплодными?».

животного тепла, как последнее отличается от лимфы или семени. Природа, говорит он, *расточительна в чудесах и экономна в средствах...* Но человеческому уму, склонному к гипотезам, потребовалось немало времени, чтобы признать в природе лишь *одну силу*; быть может, ему потребуется ещё больше, чтобы понять, что *поскольку мы не можем сравнить её ни с чем* [1], то не можем иметь *никакого подлинного представления о её свойствах*, и что те смутные понятия, которые у нас есть о её существовании, сформированы *на основании размышлений о законах, управляющих всем сущим*, — а *слабость наших наблюдательных средств* вечно будет сдерживать эти представления в рамках самого узкого и ограниченного круга.

Бенжамен Констан [2] хвалил книгу в превосходных выражениях. Но, как и многие другие, он искал в ней то, чего там нет — то, что Кабанис должен был дать позднее в *Письме о первопричинах*. Если же ограничиться тем, что в книге действительно ясно изложено, можно утверждать: редко какое произведение принесло науке и философии науки столько пользы. Да, попытка была преждевременной: физиология, а тем более химия тогда ещё не предоставляли достаточно прочной базы для изучения психологических фактов. Да, там встречается немало утверждений, которые сегодня кажутся неприемлемыми или носят чисто гипотетический характер. Можно даже сказать, что «слишком часто всё остаётся в воздухе, в пустом пространстве абстрактных обобщений, а не на осязаемой и надёжной почве личного наблюдения и его рассказа». Но так бывает далеко не всегда: не раз мы указывали на «личные наблюдения» и на применение именно того метода, который Ипполит Тэн называл отличительной чертой современной психологии [3]. Более того, вдохновляясь Гиппократом и греками, Декартом и Бонне — больше, чем Кондильяком и Гельвецием, — Кабанис *создал физиологическую психологию*. Биша и Бруссе, а также врачи, физиологи и психиатры продолжили именно те исследования, к которым он призывал больше всех, и подготовили читателей к его современным последователям. **Огюст Конт**, идя ещё дальше, полностью поглотил психологию физиологией; но тем самым он лишь способствовал

---

1 Та же формулировка встречается в *Письме о первых причинах* (§ 4).

2 «Я читаю, — пишет он 3 фримера XI года, — книгу Кабаниса, и я ею восхищён. Есть в его мыслях ясность, в выражениях — прозрачность, в стиле — сдержанная гордость, в ходе изложения — спокойствие, что делает, на мой взгляд, этот труд одним из самых прекрасных произведений века. Основу системы я всегда находил наиболее вероятной; но, признаюсь, мне не слишком хочется, чтобы это было мне окончательно доказано. Мне нужно апеллировать к будущему против настоящего, и, особенно в эпоху, когда все мысли, собранные в просвещённых умах, не смеют выйти наружу, я не могу заставить себя поверить, что, если форма будет разрушена, всё её содержание исчезнет. Я думаю, как и Кабанис, что идеи такого рода невозможно воплотить в виде учреждений. Я даже не считаю их необходимыми для морали. Я убеждён, что те, кто ими пользуется, чаще всего — обманщики, а те, кто не обманщики, играют на руку первым и готовят их торжество. Но есть некая таинственная часть природы, которую я люблю сохранять как область моих догадок, моих надежд и даже моих проклятий против некоторых людей».

3 *L'Ancien Régime,* III, гл. I, с. 237.

распространению идей Кабаниса. Мэн де Биран, включив их в рамки метафизики, передал их спиритуалистам [1]. Не менее плодотворны оказались и его теории: о *относительности знания*, о значении *внутренних ощущений* и *эмбриональной, животной или болезненной идеологии*, о *силе привычки*, об *инстинкте и бессознательном*, о *трансформизме* и *объяснении низшего через высшее*, о *связи морали и политики с идеологией и физиологией*. Продолжатель Гиппократа, Декарта и философов XVIII века, Кабанис стал предшественником Льюиса и Прейера, Шопенгауэра и Гартмана, Ламарка, Дарвина и многих других мыслителей самых разных школ — тех, кто порой даже не догадывается, что идеи, с которых они начали, пришли к ним косвенно, но по вполне достоверной линии преемственности — от *автора Отношений между физическим и моральным началом в человеке*.

III

Кабанис при Консульстве и Империи по неизданным письмам; письмо о поэмах Гомера и о *Гении христианства*.

В последующие годы после публикации «Отношений между физическим и моральным в человеке» Кабанис известен нам главным образом благодаря неопубликованным письмам, которые любезно предоставил месье Э. Навиль. В плювиозе (года XVII) он убеждает Бирана заняться вопросом *разложения мысли* и темой, по которой тот уже «послал столь великолепный набросок» [2]. «Ничто, — говорит он, — не может быть полезнее для авторитета и прогресса науки, без которой, впрочем, уже нельзя обойтись». Несколько дней спустя (в вантозе) он пишет ему, что все философски настроенные люди читают его *Мемуар о привычке*, и что их суждения единодушны. Затем (19 вантоза) он говорит о своём здоровье и советует Бирану режим, которого следует придерживаться. Возвращаясь к двум темам, которыми тот тогда занимался, он добавляет: «Помните, что вы обязаны истине, прогресс которой, во всех областях, зависит от совершенства той конкретной, что занимает нас». Немного позже (10 флореаля), когда Женгене защищал в *Декаде* идеологов от нападок Палиссо, он упрекнул последнего в том, что тот сослал Кабаниса и его превосходный труд об *Отношениях* всего лишь в сноску к статье о Мольере.

В начале последнего квартала XI года Кабанис выпустил новое издание *О степени достоверности медицины*, добавив к нему *Наблюдения о госпиталях*, *Дневник болезни Мирабо*, *Заметку о казни гильотиной*, *Доклад об организации*

---

1 Поль Жане, *Элементарный трактат по философии. Связь физического и морального*, с. 332.

2 Бертран считает, что речь идёт о *Мемуаре о взаимосвязях идеологии и математики* (Science et psychologie, с. 1).

медицинских школ, *Некоторые принципы* и *Некоторые соображения о государственной помощи*. *Декада* посвятила этой публикации статью, заявив, что, описывая обязанности и качества хорошего врача, Кабанис «взял за образец самого себя, и притом бессознательно», и что эта новая работа может только прибавить, если вообще это ещё возможно, к славе, которую он уже заслужил своим прекрасным трудом о *влиянии физического и морального начала в человеке*.

Моро де ла Сарт нашёл этот обзор недостаточным. Напомнив, что медицинская философия охватывает два различных аспекта — применение общей философии к изучению и прогрессу медицины, и обратное применение медицины к философии [1], — он отводит особое место всем трудам Кабаниса, в частности новому сборнику, как к трудам, относящимся к медицинской философии: «применению медицины к прогрессу здравой метафизики и этой метафизики к совершенствованию медицинского метода».

В то время как выходили в свет это переиздание и *Грамматика* Дестют де Траси, Кабанис сообщает Бирану, что будет присуждён приз за труд о *Разложении мышления*, и что он включит в свой отчёт ту заметку, которой он ему обязан: «Я постараюсь, чтобы ваша работа послужила делу той науки, которую вам суждено развивать, и которая, несмотря на открытую войну, объявленную ей, всё глубже проникает во все области умственной деятельности человека». В год XII он пишет ему по поводу интриг, имевших место во время выборов в Дордони: «Таков необходимый ход вещей, — говорит он, как и в 1803 году, — не в том смысле, чтобы добродетельные люди не страдали, но в том, что негодяи рано или поздно бывают наказаны». Из-за полного упадка сил он отказывается от надежды завершить (18 плювиоза) свою работу *О применении аналитических методов к изучению медицины*. Уступая просьбам некоторых друзей, он публикует *Взгляд на революции и на реформу медицины*. Врач Монгетр представлял эту книгу читателям *Декады*: «Известный характер автора, величие и надёжность взглядов, которые мы встречаем и в других его трудах, должны вызывать у нас сожаление, что он не смог завершить столь важное предприятие». Далее Монгетр напоминает основные этапы развития медицинской науки, кратко обозревает общее состояние преподавания и выделяет главу, посвящённую связи между медициной и моралью, как *«наполненную возвышенными размышлениями, вполне достойную философа, автора Отношений между физическим и моральным в человеке»*. Он завершает, процитировав отрывок, в котором

[1] В нём он помещает книги Гиппократа (De veteri medicina, De decenti ornatu, De aere, aquis et locis), одну главу Бэкона, трактат Циммермана *Об опыте*, предисловие Кене к *Мемуарам Академии хирургии*, *Идею физической и моральной гигиены*, *Specimen novi Medicinae Conspectus* Ла Каза, *Methodus studii medici* Галера, и План новой конституции медицины, представленный Национальному собранию бывшим Королевским обществом, исторические эскизы Вик д'Азира, почти все труды Пинеля и *Предварительный дискурс к физиологии* Дюма.

Кабанис настаивал на необходимости для врача соединять моральную философию с рациональной.

28 флореаля Наполеон Бонапарт был провозглашён императором французов; 21 мессидора министерство полиции было восстановлено для Фуше. Состояние здоровья Кабаниса ухудшалось всё больше: «Что меня особенно огорчает, — писал Дестют де Траси Бирану 4 августа 1804 года, — так это то, что я недоволен его здоровьем, оно всегда остаётся очень слабым; он столь превосходный человек, что я не могу вынести, видя, как он страдает». Сам Кабанис жалуется Бирану, что «жизненные силы убывают».

В году XIII Кабанис поздравляет Бирана с тем, что его *Мемуар о разложении мышления* был удостоен награды третьего отделения Института; и хотя он не во всём с ним согласен, он считает, что «это очень красивая и чрезвычайно богатая работа». Второе издание *Отношений* выходит в свет, дополненное двумя указателями, составленными Траси и Сюэ, а также опытом господина Фрэя. Из активной переписки Траси с Бираном мы узнаём, что Кабанис чувствовал себя тогда весьма хорошо, наслаждаясь сельской жизнью [1]. Именно Кабанису Траси посвящает свой трактат, завершённый теперь благодаря публикации *Логики* [2]. Кабанис и Траси почти завершили то дело, с которым навсегда останутся связаны их имена. Но реакция против философии XVIII века и той, что из неё вышла, становилась всё мощнее. Идеологи это прекрасно понимали [3].

---

1 «Да, приезжайте увидеть наши богатые луга, — писал сам Кабанис Форьелю за год до этого, — наши прекрасные хлеба, нашу зелень, столь же пышную, сколь свежую и радостную. Насекомые, что жужжат вокруг, зовут к мечтательности и приглашают к тихому счастью. Те, что звенят в других местах, не всегда производят тот же эффект».

2 «Кому, — говорит он, — могло быть более законно посвящено это признание, как не вам, кто дал нам в действительности всю историю человека, насколько, во всяком случае, это допускает современное состояние наших знаний? Вы изложили её самым широким и вместе самым разумным образом, с наибольшей красноречивостью и точностью; и все, кто когда-либо захочет следовать возвышенному предписанию дельфийского оракула, будут вам обязаны вечной благодарностью. Помимо особых заслуг перед наукой… я горжусь тем, что ваш труд был полезен мне ещё до того, как был завершён, что ваши беседы были для меня ещё ценнее, и что именно вам я обязан даже мужеством взяться за исследования, которым я себя посвятил, и надеждой, что они могут оказаться хоть сколько-нибудь полезными… Поэтому успех, которого я жажду больше всего, — это чтобы мой труд могли рассматривать как следствие вашего и чтобы вы видели в нём лишь прямое продолжение тех принципов, которые вы изложили… Наука была бы вновь поставлена на свои истинные основания… история нашего ума стала бы, наконец, частью и зависимой областью физики человека».

3 Об этом же свидетельствует письмо Кабаниса Барбье, автору Рассмотрения нескольких поспешных утверждений, встречающихся у Лагарпа в его *Философии XVIII века*: «Извините, — писал он 16 прериаля XIII года, — что я проявил к вам такое невнимание, оно не было преднамеренным. С тех пор как я получил любопытный труд, который вы имели честь мне прислать, у меня было очень мало свободных минут, так как я был вынужден проводить большую часть времени возле своей больной жены; но это нисколько не помешало мне быть тронутым и польщённым тем, что я оказался в числе тех, кому вы

В 1806 году Биран приезжает в Париж, но не навещает Кабаниса в Вилетте, где тот с нетерпением его ждал. Кабанис призывает его поработать «над реформой некоторых частей геометрического языка», а также завершить печать своего *Мемуара*, который непременно должен способствовать прогрессу науки. В конце года Кабанис извиняется за то [1], что он столь нерегулярный корреспондент, и обещает быть доверенным лицом в исследованиях, которые Биран и Дестют де Траси продолжат к великой пользе науки [2]. Последнее письмо (от 8 апреля 1807 года) адресовано Бирану, которому предстояло завершить работу по метафизике и языку геометрии и исчисления — «самой полезной из всех тех, что он столь способен выполнить». Кабанис проявляет ещё больше тепла к своему корреспонденту, словно предчувствуя близкий конец [3]. Восемнадцатью днями позже Дестют де Траси сообщает Бирану, что их друг перенёс первый приступ!

Но прежде чем кратко описать последние дни Кабаниса, нужно рассмотреть важные труды, над которыми он работал с 1802 по 1807 год. Именно в 1807 году Женгене помещает *Катаральные заболевания*, по-видимому, написанные уже после *Письма о первых причинах*. В них Кабанис фиксирует результат наблюдений, которые велись им более двадцати пяти лет. Эта работа была написана не для мастеров медицины и не для широкой публики, а для молодых

сочли возможным направить в особенности эту опровержение некоторых клеветнических нападок, которыми кишат последние сочинения Лагарпа. Я был другом и считаю за честь быть учеником нескольких великих людей, которых теперь с такой яростью атакует целый рой писак, столь же невежественных, сколь и недоброжелательных. Хотя я и не считаю эти нападки особенно опасными, мне приятно видеть защитника памяти тех, кого я уважаю, в лице человека, к которому я давно питаю глубокое уважение и о ком знаю, что характер его делает талант и знания столь же достойными почтения, сколь они выдающиеся». (Bulletin du Bibliophile, 1838, № 2)

1 «Это происходит, — говорит он, — от того, что моё существование, то есть мои обязанности и связи, почти всегда превосходят мои силы; и когда, выполнив необходимое и скучное, у меня уже не остаётся мужества для того, что было бы для моего сердца самым дорогим; и когда я вынужден отдаться отдыху, инстинкт, сильнее всего, заставляет меня сделать его абсолютным».

2 «Я буду наблюдать за вашей работой и радоваться вашим успехам. Ведь я сам уже не способен на какой-либо значительный труд, хотя моё здоровье за последние два месяца улучшилось; но нужно уметь подчиняться лишениям, которые налагает природа, и уметь быть тем, кем можешь быть».

3 «Мы очень часто говорим о вас, мой дорогой друг, и наша дружба живо радуется надеждам, которые внушает ваше рвение к продолжению ваших трудов; мы желаем вам только здоровья и свободы. Моя жена, частая свидетельница наших разговоров о вас, разделяет все наши чувства. Она просила передать вам это и поблагодарить вас за вашу любезную память. Вы знаете, дорогой друг, всё то высокое уважение, искреннюю и нерушимую дружбу, которые я вам посвятил. Рассчитывайте на них всё то время, что я проведу на этой земле».

практикующих врачей. В ней вновь ощущаются и личность, и философский дух автора [1].

Меньше известно о дате создания *Письма Тюро о поэмах Гомера* и о пересмотре перевода, начатого ещё в 1778 году. Мимолетное упоминание о недавнем выходе книги Вольнея *Картины Соединённых Штатов* (т. V, с. 294) показывает, что Кабанис работал над письмом уже в 1803 году; другие фрагменты, где он упоминает труды Дестюта де Траси и его теорию суждения (с. 344), а также критикует Лагарпа (с. 361), отсылают нас к 1805 году. Упоминание смерти Эннебера возвращает нас к 1802 году. Таким образом, можно полагать, что Кабанис вернулся к Гомеру после публикации *Отношений* [2], и занимался им вплоть до своей смерти. Тюро и другой его друг побудили его пересмотреть свои опыты перевода; он последовал их совету, читал им своё произведение и отправил его Тюро с письмом, предназначенным для предисловия к той части, которую он собирался опубликовать, чтобы «прозондировать» публику. Однако произведение так и не увидело свет при его жизни и было впервые включено лишь в издание *Полного собрания сочинений* Кабаниса в 1825 году [3].

Письмо о поэмах Гомера, как говорил Дону, весьма примечательно. Автор чётко подчёркивает трудность перевода Гомера на французские стихи [4]. Он

---

1 Эпиграф non fingendum, sed inveniendum заимствован у Бэкона. Великий Гиппократ назван здесь первым, без всяких сравнений, из всех практиков. Будучи далёк от того, чтобы принимать теории, основанные на нескольких слишком неполных положительных сведениях, автор столь же далёк и от того, чтобы, подобно абсолютным эмпирикам, отвергать всякое теоретическое видение практической медицины, ибо было бы даже невозможно распознать в наблюдаемых случаях тождество или аналогию с другими фактами, известными ранее, если бы мы не умели связывать их общими результатами, то есть принципами. Тем не менее лучше совсем не иметь никакой теории, чем принять такую, которую опровергает определённое количество устойчивых фактов, или, по крайней мере, пользоваться ею без достаточной осторожности, чтобы не упустить, в наблюдаемых впервые случаях, отличий, которые могут отделять их от тех, с которыми мы стремимся их соотнести. Это верно для всех наук наблюдения. Когда слепо держатся за то, что часто столь неосновательно называют принципами, можно лишь вращаться в кругу ошибок. Быстрый прогресс, который в последнее время сделали некоторые отрасли физики, объясняется исключительно тем, что лучшие умы среди их представителей ежедневно подвергают опыту все те принципы, которые когда-то считались, а иногда и теперь считаются, самыми надёжными и доказанными. Любая теория должна, для философа-медика, лишь помогать памяти, связывая известные факты и направляя индуктивные рассуждения, которые аналогия подсказывает относительно новых объектов. Всегда факты должны служить руководством; общие теоретические идеи должны быть их кратким выражением; лечебные подходы — прямым и необходимым следствием.

2 Женгене сообщает, что в 1807 году, после своего первого приступа болезни, Кабанис подумывал о том, чтобы переработать и завершить свой перевод Гомера.

3 В 1809 году Тюро привёл несколько фрагментов письма и перевода, разбирая перевод Сен-Аньяна (Mélanges, с. 103).

4 «Греческий язык, — писал он, — отличается богатством, изобилием, гармонией, простой величавостью и теми удачными словосочетаниями, которые передают и концентрируют

даже утверждает, что переводить труднее, чем писать оригинальное произведение [1].

Гомер — один из немногих поэтов, чьи стихи всегда перечитываются с новым удовольствием, даже если давно выучены наизусть. Никто не изобразил с более трогательным и священным чувством супружескую любовь [2].

Кабанис не забывает о своих прежних трудах: он стремится привнести подлинный философский метод в исследование и анализ всех художественных произведений. В замечательных страницах, посвящённых прекрасной природе, он опровергает представление о подражании, столь точном, что его можно было бы спутать с оригиналом. И с полным основанием он подчёркивает, что ни один поэт не был столь плодотворен, как Гомер, в возвышенном патетическом и в возвышенном величественном и мужественном, и что нигде он не достиг этой гармонии столь блестяще, как в изображении трёх великих и столь различных характеров — Ахилла, Гектора и Одиссея — изображённых с

впечатления или идеи, никогда не внося в них ни несогласия, ни путаницы; французский же — изяществом, точностью выражений, ясностью оборотов и фраз».

1 «Переводчик должен передавать все идеи оригинала в их первоначальном порядке, он не может представлять их в новом виде, если только это не искажает смысла; те небольшие изменения, добавления или сокращения, на которые он решается, всегда должны соответствовать общему духу автора и вызывать лишь такие впечатления, которые тесно связаны и согласуются с теми, что возникают при чтении самого оригинала. Следовательно, переводчик должен прекрасно знать все ресурсы своего языка, обладать гибким и плодотворным талантом, который способен поворачиваться во все стороны, выбирать между различными способами выразить одну и ту же мысль. Словом, нужно, чтобы, ничего не меняя в мыслях автора и сохраняя ему, насколько возможно, отпечаток страны и эпохи, где он родился, переводчик придал бы ему ту форму и тот язык, которые автор сам непременно избрал бы, если бы писал для народа, которому хотят дать возможность узнать и полюбить его произведения».

2 «Какая нежная и глубокая меланхолия! Какие чистые и возвышенные тона он разлил в рассказе о последних прощаниях Гектора и Андромахи! Какая истинность в выражении их благородной нежности! Как становится трогательна эта небесная женщина — тем почитанием, которое она воздаёт своему супругу, слабостью страдающего сердца, ищущего опоры и не находящего её нигде, кроме как в сердце великого Гектора; этой мягкой покорностью преданной души, которая существует, чувствует и хочет лишь через единственный предмет своей любви!… Посмотрите, с какой скромностью и сдержанностью Елена, виновная Елена, появляется на стенах города среди старейшин Трои!… С каким почтительным страхом она подходит к Приаму! С какой скромностью отвечает на его вопросы! С какой трогательной правдой в её словах выражается раскаяние, пронизывающее всю её речь!… Сколько глубины, силы и величия в характере Пенелопы, чья нежность пережила и время, и разлуку! Постоянно окружённая множеством настойчивых женихов, она думает лишь об Одиссее и о дорогих ему интересах, которые он вверил её рукам! Сколько изящества и особого очарования в том, что она как бы подчёркнуто проявляет подчинённость по отношению к своему сыну Телемаху, ставшему, с возрастом и из-за долгого отсутствия Одиссея, главой дома! Великолепные картины, которые передают с такой же силой, как и простотой, всё самое трогательное, самое привлекательное и самое возвышенное, что может явить характер спутницы мужчины, раскрытый в отношениях, достойных обоих»!

особой любовью, каждый из которых совершенен в своём роде. Оставляя в стороне точность описаний и повествования, в которых Гомер превосходит даже географов и профессиональных историков, Кабанис напоминает об искусстве, с которым тот придаёт каждому объекту его собственное бытие и особую окраску [1]. Среди современных ему авторов он считает сравнимыми с Гомером только Фенелона и Лафонтена [2] ; немецкие поэты, пытавшиеся ему подражать, не достигли поставленной цели. Затем, сравнивая Гомера с другими греческими поэтами, он утверждает, что ничто — даже у самых совершенных трагиков — не превосходит и даже не приближается к восхитительной сцене ссоры Ахилла и Агамемнона, открывающей поэму; к эпизоду «Елена на стенах Трои»; к прощанию Гектора и Андромахи; к сцене, где Приам приходит просить у самого безжалостного победителя тело своего сына. Он не соглашается с критиками XVIII века, которые упрекали Гомера в многословии и беспорядочности речей. Напротив, он берёт самые критикуемые фрагменты — брань Ахилла в адрес Агамемнона, сновидение Агамемнона, речь Диомеда и прочее — чтобы подчеркнуть простоту, глубину и мастерство драматургии Гомера. Но откуда проистекает красота его произведений? Прежде всего — из глубокого изучения им умственной и чувствительной природы человека. Его пример, как и пример великих поэтов всех времён и народов, доказывает, что знание механизмов человеческого духа, подлинная теория прямых и симпатических впечатлений — единственный путь к пониманию всех искусств. Именно она позволяет, вслед за Кондильяком, утверждать, что анализ — это муза поэта, вдохновляющий гений, который втайне направляет скульптора, живописца и музыканта. Лишь философам мы обязаны той немногой теоретической ясностью, которую удалось пролить на общую теорию литературы и искусства. От Аристотеля до Беккариа, Дидро, Гельвеция, Бёрка, Смита и других — всё разумное, сказанное о подлинных принципах искусств подражания, явилось плодом именно той философии, чьи заслуги не признаются невежеством и которую легкомыслие ошибочно считает чуждой повседневной жизни, руководству нуждами и совершенствованию удовольствий. Аристотель указал на плодотворный принцип, из которого проистекают все способы сделать подражание природе более выразительным, сказав, говоря о метафоре: «Нам нравится видеть одну вещь в другой». Современная философия [3] говорит: судить — значит распознать, что одна идея содержится в другой; рассуждать — значит выстраивать цепочку суждений, каждое из которых включает в себя предыдущее и ведёт к заключению,

---

1 «Изображает ли он бурю, льва, течение реки, леса и скалы горы — это не просто река, буря, лев, скалы и леса, созданные воображением наугад; все эти образы имеют индивидуальные черты. Часто поэт берёт их из самой действительности — он видел их и передаёт их с совершенной правдой. Но даже когда это лишь вымыслы его духа, ему достаточно, чтобы смешать их с самой природой, нескольких тонких штрихов, которые, кажется, вовсе не имеют отношения к теме, занимающей его в данный момент, и которые, не добавляя много к картине как таковой, не позволяют разуму сомневаться в реальности оригинала».

2 Ср. сравнение, которое Андриё проводит между Фенелоном и Кабанисом (§ 5).

3 Кабанис отсылает также к трудам де Траси.

вытекающему из условий задачи, но первоначально неосознаваемому. В состоянии совершенства, которого могут достичь все интеллектуальные и нравственные способности, убеждение, возможно, всегда будет сопровождаться убеждённостью. Воздействовать на чувства можно будет только посредством истины — и она с лёгкостью поддастся всем украшениям самой богатой фантазии. И, будучи распознанной и прочувствованной, истина будет волновать людей столь же глубоко, как яркие заблуждения по-прежнему зажигают и тревожат их каждый день.

Если обратиться к древним философам, можно распознать и определить причину удовольствия, которое мы испытываем от шедевров искусства. Только теория формирования идей способна раскрыть основания многих правил, которые были как бы интуитивно угаданы гением; она может объяснить, почему и в какой степени справедливо правило единства интереса, а также принцип, установленный Локком, о необходимости связи идей; принцип Беккариа, сводящий стиль к таким сочетаниям, которые способны вызвать наибольшее количество одновременных впечатлений; идею Бёрка и Гельвеция, усматривавших в действии возвышенного своего рода страх и трепет и т. п. Наконец, изучение и тщательное наблюдение *симпатических* впечатлений, быть может, ещё более необходимо, чем изучение прямых впечатлений и производимых ими идей и чувств. Адам Смит хорошо это показал; но следовало бы, кроме того, отметить, что симпатические связи изменяются в зависимости от числа слушателей — а, возможно, и читателей, — и что они одни уже могут объяснить различия стиля, тона, колорита, которые диктуются уместностью в разных жанрах; возможно, они даже проясняют правила великих поэтических форм — эпопеи и трагедии [1]. Вот почему можно, как Лагарп, опубликовать многотомный курс литературы, не содержащий ни одной идеи, действительно принадлежащей автору, — не изучая при этом разум и не анализируя страсти.

Кабанис стремился всё больше и больше приближаться к духу и тону оригинала, ясно передавать впечатления, отмечать связь и развитие идей, сохранять всё, что характеризует нравы и обычаи эпохи, и — насколько возможно — воссоздавать движение и колорит Гомера [2]. И, кажется, он в этом преуспел во многих местах, где читателю вспоминается Андре Шенье, который тоже черпал из греческих источников, чтобы обновить французскую поэзию.

«Письмо Тюро» — это ответ на *«Гений христианства»*. Шатобриан создал поэтику христианской религии и утверждал, что именно неверие является главной причиной упадка вкуса и гения; что большинство недостатков

---

1 См. Гюйо, *Искусство с социологической точки зрения*.

2 Понятно, что именно так Кабанис научился быть беспристрастным и точным в изложении философских учений. *Письмо к Тюро* подготовило *Письмо о первых причинах*. Видно, каким образом к Кабанису пришли беспристрастность и вкус к точности; непонятно лишь, почему он должен был заимствовать их у Форьеля.

писателей XVIII века объясняется обманчивой философской системой; что анализ — это смерть воображения и изящных искусств. Кабанис же создаёт поэтику философии и утверждает, что Гомер стал великим поэтом потому, что изучал человека как философ; что анализ — это муза поэта, скульптора, живописца и музыканта, как и проводник учёного и философа; что прогресс философии приведёт к новому прогрессу в изящных искусствах. При этом он нигде не направляет свои возражения против христианства: те нападки, которые Шатобриан, в общем виде — скорее коварные, чем справедливые, — обрушивает на философию, Кабанис не возвращает в адрес религии.

IV

Письмо о первичных причинах; метафизика Кабаниса; религиозные идеи; Бог; бессмертие; Кабанис и Форьель, Кузен, Ренан; смерть Кабаниса; его влияние.

Гиппократ, не менее чем философы XVIII века, вдохновил «Отношения физического и нравственного в человеке» — позитивное сочинение Кабаниса. Гомер и греки помогли ему показать, что философия полезный союзник изящных искусств и поэзии. Греки же, наряду с Франклином и Тюрго, дали ему повод с редким благородством выражений и мыслей утверждать, что только философия способна дать миру простую и утешительную религию, приносящую одно лишь благо. Это он изложил в *Письме о первопричинах*, опубликованном в 1824 году, но адресованном, предположительно в 1806 году, Фориэлю, который собирался написать историю стоицизма.

Много раз задавались вопросом, какое место занимает это *Письмо* в философии Кабаниса. Берар, опубликовавший его как оружие в полемике, утверждал, что Кабанис, уступив скорее из снисходительности, чем из убеждения, духу своего времени, придавал своим идеям материалистическую окраску лишь из соображений общественного приличия; что в кругу близких, в свободном общении, он признавал свои сомнения и неуверенность; что впоследствии, прозрев благодаря более серьёзным размышлениям, как более искренний и свободный мыслитель, он пришёл к убеждениям одновременно более истинным и более зрелым [1]. Дамирон сожалел, что издатель недостаточно подчеркнул красоту и величие этой «конверсии» выдающегося ума, который по чисто научному мотиву переходит от неполной системы к более широкой теории, намного более приближённой к истине. Дюбуá д’Амьен (в *Философском словаре*) считал, что Фориэль показал Кабанису ограниченность физиологических доктрин, основанных на философии XVIII

[1] Дамирон, столь строгий к «сенсуалистам», считает, что критика Берара выглядит направляемой духом секты и партии, а сам Берар использовал опубликованный документ в интересах, чуждых подлинной философии.

века; и что Кабанис, будучи, как все искренние искатели истины, открытым к новым идеям, постепенно изменил свои воззрения, не столько на первопричины жизненных феноменов, сколько на интеллектуальные явления, а затем, как бы по расширению, и на физические явления природы и Вселенной. Он утверждает, что Кабанис вполне мог бы представить эти новые идеи как логическое завершение тех, что он высказал в *Отношениях*, по крайней мере в отношении нравственной природы человека. По мнению де Ремюза, который был столь же пренебрежителен к *Письму*, как и к *Отношениям*, Кабанис отнюдь не изменил себе, как это утверждали. Нет здесь ни обращения в веру, ни отступничества, и само сочинение не представляет большой ценности; в нём достаточно противоречий, а стиль его отчаянно туманен. Однако сам де Ремюза, не слишком заботясь о том, чтобы избежать упрёка, который он адресует Кабанису, заявляет, что *Письмо «**полностью спинозистское**»*, а затем тут же утверждает, что это *«**лишь поверхностный стоицизм, александрийство, неспособное удовлетворить разум**»*! Высказываясь с симпатией и восхищением о *Письме о первопричинах* и о его авторе, Сент-Бёв правильно отметил, что де Ремюза был «противником»; но он полагал, что именно Фориэль вдохновил «последнее слово умирающего Кабаниса». Для Минье *Письмо* неотделимо от *Отношений*, оно скорее дополняет их, чем опровергает. В нём Кабанис выражает свои взгляды на божественную силу и человеческую душу, которые он, «в порядке запоздалой дедукции», почти «по счастливой непоследовательности», добавляет к актам механической чувствительности. В Боге он признаёт причину и разум всего; в «я» — независимое существо, которое предшествует, воспринимает, судит и преобразует впечатления. И сам Минье, как и де Ремюза, разрушает сказанное им, добавляя, что Кабанис в этом большом целом, где части чаще связаны друг с другом, скорее развивается, чем противоречит себе, переходя от действия вторичных причин, которым он уделяет слишком большое значение, к признанию первопричины. Напомним, наконец, что Женгене цитирует *Письмо* как «одно из самых прекрасных философских произведений, существующих на нашем языке», чтобы доказать, что внутренние убеждения Кабаниса сильно отличались от тех, которые ему приписывали.

Кабанис поставил перед собой в *Отношениях физического и нравственного* исключительно позитивную задачу. Он не раз предупреждал читателя, что не стоит искать там решения метафизических вопросов, и потому не следует понимать в этом смысле содержащиеся в них утверждения. Ничто, впрочем, не мешало ему впоследствии попытаться такие вопросы разрешить. Возможно даже, что, как и Бенжамен Констан, он чувствовал необходимость обратиться к будущему против настоящего и, особенно в ту эпоху, когда все мысли, собираемые в просвещённых умах, не осмеливались выйти наружу, — ему претила мысль о том, что, раз форма разрушена, то всё её содержимое обречено на уничтожение. Его готовность обратиться к грекам легко понять по предыдущим страницам. Зрелище этой страны, породившей множество выдающихся умов во всех областях, создавшей искусство добродетели и

стремившейся освободить человека от власти случая, от бед общества и самой природы, дав ему ту степень совершенства, на которую способны его силы, — всегда казалось ему самым возвышенным, на что только может быть обращено внимание философов, преданных человечеству, и самым полезным примером, который можно предложить людям (с. 4). Изучение Гиппократа, его подлинных или приписываемых ему сочинений, дало Кабанису во многих вопросах именно **стоические воззрения** [1]. Точно так же Франклин и Тюрго исповедовали «ту простую и утешительную религию, что некогда была религией великих душ, воспитанных стоической доктриной» (с. 16). Что же удивительного в том, что, сталкиваясь с нарастающей религиозной реакцией, он признал: если невозможно искоренить в широкой массе людей основную идею, на которой покоятся все положительные религии, то следует стремиться направить этот поток, а не пытаться тщетно его сдержать или иссушить (с. 15)? И, следовательно, что он нашёл в доктрине, напоминавшей ему о его самых дорогих наставниках — Гиппократе и Франклине, Дюбреиле и Тюрго, которая воспитала величайшие души, самых добродетельных граждан, самых достойных государственных деятелей античности, — «особую полезность для настоящего времени» (с. 6); что он подумал о **стоиках** ещё до того, как Шатобриан вспомнил о Таците? И ученик Кондорсе, поклонник Гомера и Гиппократа, Аристотеля, Демокрита и Эпикура, греческих философов и поэтов, тот, кто в 1799 году писал о сторонниках совершенствования, что «они радуются, когда учёные или писатели делают больше и идут дальше, чем они сами, и всегда готовы выразить уважение и благодарность за всякий труд, приближающий нас к цели», — мог показать Фориэлю, насколько полезным было бы написать **историю стоицизма**. Ему не нужны были чьи-либо подсказки, чтобы «беспристрастно и с пониманием» оценить учение Стои. И, наконец, как мог бы Кабанис — тот самый, кто со времён *Клятвы врача* вновь и вновь привлекал в своих рассуждениях идеи Бога, первой причины, постоянного порядка вещей, замысла природы и финальных причин — противоречить себе, возвращаясь к этим понятиям, чтобы определить, в какой мере они могут быть признаны правдоподобными?

Анализ *Письма* — скорее восхваляемого или порицаемого, чем действительно читаемого — подтверждает эти выводы. Кабанис, более определённо, чем Д'Аламбер и Кондорсе, но идя по проложенному ими пути, показывает, что наблюдения, сделанные философами в разные эпохи за привычками отдельных людей и народов, — это, пожалуй, самое действенное средство для совершенствования знания о человеческой природе. Обсуждение исходных идей, на которых они основывались, учит нас отслеживать развитие разума по различным маршрутам, которыми он может идти, и выводить из этого более надёжные правила для его целенаправленной деятельности. Это позволяет нам понять, какую пользу могут принести те или иные воззрения в

[1] Ср. Целлер, *Die Philosophie der Griechen*, и Л. Штейн, *Die Psychologie der Stoa*, т. I, с. 46, 132; т. II, с. 129.

практической жизни; какому состоянию умов они особенно соответствуют; в чём они совпадают и в чём расходятся; как следовало бы их модифицировать или сочетать, чтобы они более широко и устойчиво способствовали развитию ума и направлению склонностей. Философское изучение космогоний и теогоний проливает яркий свет на историю народов и человеческого духа. Не было бы даже чрезмерным утверждать, что подлинная история различных эпох даёт меньше поучительного, чем их мифология: *«Остерегаемся,* — говорит он в одном месте, справедливо отмеченном Сент-Бёвом, — *думать, подобно мрачным умам, что человек любит и принимает заблуждение ради самого заблуждения; не существует и не может существовать безумия, в котором не было бы крупицы истины, связанной с правильными идеями, но плохо очерченной и плохо связанной с её следствиями»*. Разве это не принцип современного **эклектизма** в его историческом применении? Мы не отрицаем этого, но он принадлежит Кабанису, а не Фориэлю; именно к идеологам [1], и в этом отношении, восходит школа, которая яростнее всех их оспаривала.

Философы изобрели религии, поэты и ораторы сделали их популярными, законодатели — подчинёнными своим целям. Греческие философы, начиная с Сократа, — будь то те, кто допускал управление миром со стороны высших разумов, те, кто отрицал их участие в происходящем, или те, кто вовсе отвергал возможность их существования, — почти все придавали морали религиозную основу. Они искали её источник и побуждения к ней в тех представлениях о первых причинах и природе жизненных сил, которые сами себе выработали. Они ошибались, предоставляя мораль на волю теоретических мнений и ища далеко то, что находилось в них самих. Правила морали, говорит Кабанис в 1806 году, как и в 1800-м, вытекают из взаимных отношений между людьми, устанавливаемых их потребностями и способностями; эти отношения постоянны и универсальны, поскольку человеческая организация неизменна. Что касается побуждений к исполнению этих правил, они заключаются в общей пользе, которая их определяет и составляет их суть; в личных выгодах, связанных с привычкой подчинять этим правилам свои поступки, а иногда и собственные склонности. Привычка к добродетели настолько соответствует человеческой природе, что даёт внутреннее удовлетворение, не зависящее от расчёта; и благодаря мягкому стремлению к симпатии, которую она развивает и совершенствует, она наполняет сердце постоянной удовлетворённостью и в конце концов делает даже жертвы новым источником счастья.

Мудрецы античности не могли предвидеть всех тех бедствий, которые религиозные идеи, будучи соединены с моралью и политикой, со временем станут вызывать как непосредственные и прямые причины. Если бы они внушили людям представление о тайной воле невидимых сил как о дополнительном побуждении к уважению моральных законов, к их постоянному соблюдению и к чистому почитанию их даже в глубинах совести

[1] См. также то, что мы говорим о Дежерандо, гл. VIII, § 2.

и желания, — они совершили бы дело весьма полезное и достойное похвалы [1]. Но они должны были бы не допустить, чтобы кто-либо осмелился говорить от имени божественных сил, делать их соучастниками преступных замыслов и сеять в умах семена всех заблуждений. Они этого не сделали — и, быть может, это попросту невозможно. Религиозные идеи и учреждения оказали человечеству немалые услуги; но с утверждением жреческой касты началось то великое и глубокое заговорщическое движение против рода человеческого, которое либо постоянно мешало мудрым и отеческим замыслам законодателей и правителей, либо, напротив, поддерживало их в их стремлении к одурачиванию и порабощению.

Если даже отрешиться от их косвенного влияния на суждения и поступки, с религией прямо не связанные — от смятений, тревог, ужасов, которые она зачастую вызывает в самых добродетельных душах; от раздоров, вражды, жестоких распрей, возникающих из-за неё в семьях; от куда более тяжкого ущерба, заключающегося в том, что мораль основывается исключительно на религии и потому отдана на произвол как здравых, так и порочных рассуждений; от глубоко безнравственного учения об искуплении, позволяющего самому чёрному злодею спокойно предаваться преступлениям, — беспристрастный наблюдатель признает, что религии нанесли человечеству гораздо больше зла, чем добра. Их полное уничтожение, говорит Кабанис в духе философов XVIII века, стало бы одним из величайших благ, которое может принести человечеству разум и гений. Но если религиозные или суеверные идеи тесно связаны с нашим способом чувствовать и осмыслять движущие силы Вселенной, если невозможно искоренить среди народных масс основную идею, лежащую в основании всех положительных религий, и если даже опасно добиваться этого, пусть лишь в отношении некоторых отдельных людей, — тогда следует искать способы направить этот поток, который невозможно ни сдержать, ни иссушить. Ослабить пагубное влияние религиозных идей на здравый смысл, мораль и счастье отдельных людей, усилив и очистив, напротив, их положительное воздействие, которое всё же иногда проявляется, — быть может, в этом и заключается путь к прогрессу социального искусства, надежда на то, что однажды на земле воцарится простая и утешительная религия, приносящая лишь добро. Таковой была религия Франклина и Тюрго; такой была религия великих душ, сформированных **стоической доктриной**, тех возвышенных умов, питавшихся всегда великими и благородными размышлениями, которые связывали существование каждого

[1] «Нет ничего более возвышенного, чем мысль о том, чтобы поставить таким образом человеческую природу в постоянное соотношение с высшим разумом; нет ничего более величественного, чем заставить человека содействовать всеобщему порядку, поставить его счастье в согласие его поступков и стремлений с вечными законами вселенной; нет ничего более неоспоримого, чем сказать о добродетели, что она предписана нам первыми причинами, ибо законы, которые определяют потребности, развивают способности, порождают страсти человека и производят законы морали, являются делом этих причин, о которых, следовательно, можно сказать, что они выражают их волю». Ср. Вольней, т. II, § 3.

человека с судьбой всего рода человеческого и давали добродетели самые благородные и возвышенные основания и цели, представляя её как участие в общем порядке Вселенной.

Какие же идеи о всеобщих причинах природы человек неизбежно формирует в своём разуме? Какие из них даже самое строгое испытание рассудка не может окончательно и безоговорочно отвергнуть? Человек, который, перестав видеть во всех операциях природы нечто иное, кроме как необходимое следствие свойств, присущих различным телам, достиг предельной точки, до которой способно довести его правильное применение разума, — может и должен всё же спросить себя, какая сила вложила эти свойства в тела [1]. Ни одна *чисто механическая* система мира никогда не будет связана в своих важнейших частях столь внутренней необходимостью, чтобы не приходилось по аналогии допускать наличие разума и воли в той причине, чьи действия обнаруживают столь поразительные признаки согласованности и которая всегда движется к определённой цели с такой точностью и уверенностью. Если мы и можем познать лишь наблюдаемые следствия первопричины, то догматическое невежество, хотя и может одерживать победу над положительным утверждением, будто причины слепы и механичны, не обладает той же силой против противоположного утверждения. Напротив, последнее опирается на совокупность абстрактных рассуждений, которые кажутся неоспоримыми, и, кроме того, — на все те непосредственные впечатления и суждения, которые оказывают куда большее влияние на большинство людей, чьи убеждения, касающиеся практической жизни, всегда должны быть с нею сообразны.

С другой стороны, человек наделён воображением, и даже самые верные идеи оказывают подлинное влияние лишь тогда, когда способны не только убедить, но и тронуть [2]. А между тем первое чувство, которое охватывает человека, когда он обращает взор на вселенную и на самого себя, — это чувство ужаса: каждое мгновение он ощущает себя подчинённым действию сил, которые ему неизвестны. Даже если гений научных открытий развеял часть покровов природы, остаётся всё же достаточно тьмы, чтобы держать человеческий род в неопределённости, сопряжённой со страхом. К тому же чувствительность человека поддаётся почти бесконечному развитию: он стремится расширить своё бытие, свои нужды, свои привязанности, свои желания; он хотел бы действовать на всё, охватить всё, ринуться в бесконечность [3]. Но его силы заключены в весьма узкие пределы. Переступив границу своей чувственной жизни, он мысленно переносится в лучший мир, где больше нет ни перемен, ни рокового конца человеческой жизни. Он надеется на будущую жизнь, которая сохранит не только его личность, но, главное, вернёт

1 Именно это и сделал Кабанис в *Отношениях*.

2 См. работу об общественном образовании, ст. «Праздники».

3 Ср. с. 241.

ему тех, кого он любил на этой земле; которая утвердит справедливость и власть существа, управляющего вселенной, дарует добродетели награду, более достойную её, и осуществит, наконец, для слабого и несчастного ту вечную справедливость, которой они слишком часто тщетно ищут в мире скорбей и страданий [1]. И хотя наши идеи, чувства и привязанности — это плод впечатлений, полученных органами, находящимися под опосредованным или непосредственным воздействием различных тел, невозможно утверждать, что распад этих органов влечёт за собой уничтожение нравственной системы и — тем более — той причины, которая делает нас способными ощущать, и которая, по всей вероятности, останется для нас вечно непостижимой. Поэтому защитник идеи будущей жизни, опираясь на качества, которые в Верховном Существе неотделимы от разума и воли, а также на положение человека и нужды его сердца, выстраивает цепь доводов, тем более весомых, что возражающие им доводы не утверждают ничего положительного.

В подобных вопросах не была применена должная методология: деисты и спиритуалисты, атеисты и материалисты — все они прибегают к методу доказательства. Но по отношению к сущностям или фактам, которые не поддаются непосредственному восприятию чувств, мы можем лишь производить расчёты вероятности, приближающейся к достоверности, но никогда её не достигающей [2]. К тому же невозможно познать первичные и всеобщие факты, поскольку их нельзя связать с предшествующими явлениями [3]; можно лишь зафиксировать их и наблюдать их влияние на последующие факты. Так как Вселенная не сопоставима ни с чем [4], силы, которые приводят её в движение и поддерживают в состоянии вечной активности, могут быть изучены только по их наблюдаемым следствиям. Ориентируясь на аналогию, мы приписываем этим силам некоторые свойства, признаки и действия которых мы наблюдали в объектах, более близких нам. Поэты и теурги наделяют первопричину всем тем, что есть наиболее возвышенного или внушительного в человеческой природе, но при этом также — противоречивыми качествами или теми, что опровергаются фактами. Философы же, напротив, возможно, слишком поспешно отняли у неё все свойства. К каким же выводам, достаточно вероятным, чтобы породить в нас убеждённость, мы приходим? Прежде всего нужно отбросить почти лишённые смысла слова: «деизм», «атеизм», «спиритуализм», «материализм», и даже само слово «Бог», смысл которого никогда не был точно определён и очерчен.

Чувствовать, вспоминать и рассуждать — вот что составляет **разум**; совокупность определений, рождающихся из суждений, — это **воля**; разум и воля составляют нравственную систему человека. Если в состоянии неведения

---

1 См. то, что мы говорили о Вольтере и Руссо.

2 П. Лалуа и Ф. Пикаве, *Моральное и гражданское воспитание. Наука, философия наук и метафизика*, с. 198.

3 Ср. выше, с. 235 [в данном издании — несколькими страницами после начала главы IV].

4 Там же, ibid.

мы склонны считать одушевлёнными все движущиеся тела и приписывать им разум и волю, то для человека, способного охватить взглядом Вселенную в её целом и в деталях, все явления будут представлять собой прямое и необходимое следствие свойств материи. В действиях причины, которая не может быть познана самой по себе, он находит свойства существ, чьи поступки и способы действия ему известны; он распознаёт эти аналогии, чтобы после всестороннего рассмотрения либо принять их, либо отвергнуть.

Все вероятности склоняют человека к тому, чтобы рассматривать произведения природы как результаты операций, сравнимых с теми, которые совершаются его собственным разумом при создании наиболее тщательно продуманных произведений; чтобы постичь идею высшей мудрости и воли, внимательной ко всем деталям. Размышление укрепляет его в этом мнении, не предоставляя, впрочем, строгого доказательства. Но противоположная гипотеза не опирается ни на какую подлинную аналогию, почти не имеет вероятности на своей стороне и может быть защищена лишь против упрёка в абсолютной невозможности. Все правила рассуждения в сфере вероятности вновь возвращают человека к его первоначальному впечатлению. В исследованиях природы и в философских рассуждениях, к которым они ведут, не следует прибегать к тщетным и бесплодным объяснениям через конечные причины [1] ; но когда мы размышляем о причине или о первопричинах, все правила вероятности заставляют нас признать их как цели.

Более того, поскольку чувствительность наблюдается только посредством организации, она не может быть её продуктом; скорее, она пронизывает все части материи, в которых мы отчётливо замечаем действие движущих сил, стремящихся привести эти части ко всем возможным формам упорядоченного и систематического расположения:

Mens agitat molem, et magno se corpore miscet. [«Дух приводит материю в движение и проникает во всё её великое тело» — Вергилий, Энеида].

Активные силы оживляют материю, приводят её в движение, трансформируют согласно чрезвычайно искусным, сложным, разнообразным, но вместе с тем постоянным и устойчивым планам. Они вызывают к жизни, развивают и доводят до совершенства чувствующих и разумных существ [2]. *«И вот, признаюсь,* — говорит Кабанис, *— мне, как и многим другим философам, которых, впрочем, трудно было бы упрекнуть в доверчивости, представляется невозможным даже вообразить, каким образом причина или причины, лишённые разума, могли бы наделить им свои творения; и я лично думаю, как и*

---

1 *См. выше, passim.* Кабанис и здесь ясно показывает, каким образом он может занять, не противореча себе, иную точку зрения, чем в *Отношениях*, где он рассматривал вещи в позитивном плане.

2 Мы уже указывали, говоря о десятом *Мемуаре*, на склонность Кабаниса объяснять «низшее через высшее» (ср. § 2)

великий Бэкон, что нужно быть столь же легковерным, чтобы формально и категорически отказать в разуме первопричине, как и чтобы верить во все мифы мифологии или Талмуда».

Не ошибаются те, кто признаёт за первопричиной силу, справедливость, благость и прочее. Но нелепо представлять её как правителя, целиком занятого благополучием своих подданных и управляющего ими при помощи череды случайных мер и уловок; нелепо прибавлять к каждому её атрибуту эпитет «бесконечный» — «слово, лишённое смысла»; собирать в ней все человеческие совершенства, одновременно исключая из неё всякий чувственный признак, — и тем самым воплощать в этом образе пустоту. Можно предположить, что во Вселенной, устроенной так, что все её части взаимно сочувствуют друг другу, существуют частные центры, где сосредотачивается принцип разума, и один общий центр, куда сходятся и в котором воспринимаются все движения [1]. Так рассуждали стоики: для них все существа, и особенно живые, были частями Великого Целого, а их разум — эманацией всеобщего Разума. Каждая часть материи, каждое чувствующее и живое существо играло свою роль в общем строе; разумное и способное к размышлению существо должно было познать эту роль и исполнять её тем вернее, чем совершеннее был его разум и чем шире его возможности действия. Сегодня мы скорее подумаем, что жизнь и организация проявляются всюду, где организация может возникнуть и сохраняться; что невозможно установить предела тому совершенству [2], которого могут достичь организмы в силу вечных законов; и что, быть может, существует во сто крат большее расстояние между разумом некоторых существ, обитающих в других мирах, и разумом человека, заточённого на земле, чем между разумом человека и разумом полипа или зоофита [3].

Так встаёт другой вопрос: разделяет ли эта моральная система человека после смерти судьбу органического сочетания? Вопрос более трудный, ибо очевидные аналогии, по-видимому, благоприятны для тех, кто отрицает устойчивость «я», которое мы видим формирующимся и рождающимся, растущим и совершенствующимся вместе с органами, точно соответствующим их состояниям — болезни или здоровья, ослабевающим, стареющим и угасающим в тот самый момент, когда в органах прекращается всякое проявление чувствительности [4]. Тем не менее нельзя доказать, что жизненная сила есть всего лишь продукт. Мнение, которое делает её активным началом неизвестной природы, но необходимым для объяснения фактов, обладает большей степенью вероятности. Всё склоняет нас к убеждению, что общая жизнь животных сосредоточена в одном центре, а частная жизнь органов — лишь эманация той жизни, которая оживляет всю систему. Таким образом,

1 Именно это Кабанис предполагал для человека в *Отношениях*..

2 Ещё одно выражение, которым Кабанис часто пользовался (см. выше)..

3 Ср. § 2.

4 Кабанис вновь возвращается к выводам *Отношений*.

ослабление одних органов вызывает усиление активности других; их разрушение вызывает в других органах слаженное и симметричное усилие, направленное на выполнение утраченных функций. Чувствительность подобна флюиду, который тем обильнее устремляется к наиболее свободным частям аппарата, чем важнее те, что стали недоступны [1]. **Жизненный принцип** — это субстанция, реальное бытие, которое своим присутствием приводит органы в движение и удерживает их элементы в единстве, а в отсутствии — оставляет их распадающему действию. Неразложимый, как и другие элементарные начала организма, он является эманацией общего, чувствующего и разумного принципа Вселенной; он воссоединится с этим общим источником всякой жизни и всякого движения. Устойчивость жизненного начала влечёт за собой устойчивость «я» — узла всех интеллектуальных и моральных результатов; однако невозможно быть здесь столь же уверенным, как в отношении разума первопричины. Ещё более слабы вероятности, если речь идёт об идеях, чувствах, нравственных привычках, которые мы считаем неотделимыми от нашего «я». Тем не менее отрицание этого невозможно доказать и оно несовместимо с совершенной справедливостью — идеей, неотделимой от представления о первопричине; это нравственный аргумент, имеющий вес и способный склонить чашу весов в условиях полного неведения духа. Но верховный устроитель мира может исполнять функции воздающего и карающего лишь посредством общих законов, санкция которых не менее реальна и действенна уже в этой жизни [2], даже если загробной жизни и не существует. Добродетельные люди, по прекрасному выражению, которое Платон вкладывает в уста Сократа, должны с доверием смотреть и на смерть, которая не может принести им ничего, кроме блага, и на жизнь, чьи истинные радости предназначены только для добродетельного человека, а невыносимые горести — лишь для злого [3].

Несомненно, мораль имеет прочные основания в человеческой природе, но выводить правила нашего поведения из законов природы или порядка, называть добродетелью то, что им соответствует, а пороком — то, что ему противоречит; рассматривать каждое существо как служителя первопричины, который действует вместе с ней для осуществления общего замысла и осуществляет часть её могущества — значит не строить мораль на религиозной вере, а выводить её из её единственного подлинного источника — из природы вещей в целом и человеческой природы в частности; значит расширять и возвышать её; значит давать человеку возвышенное представление о достоинстве его существа и о прекрасном предназначении, к которому он призван верховным устроителем.

---

1 Те же идеи встречаются выше — в *Отношениях* и в более ранних работах

2 Это то, что Кабанис всегда утверждал.

3 Ср. гл. III, § 1 — о том, что Кабанис говорит о Галене.

Впрочем, именно эта религия была и всегда будет единственно истинной — единственной, которая даёт верное и возвышенное представление о Высшей Причине, которая возвышает дух и насыщает сердце, не вводя в заблуждение разум; которая даёт человеку нечто гораздо большее, чем бессмертие, показывая его существование как связанное с прошлым и будущим; которая одна только предлагает добродетели вечные надежды, способные удовлетворить разум. Священнослужение её совершают все люди, стремящиеся познать законы природы, а особенно законы природы нравственной. Её культ состоит в том, чтобы всё больше и больше следовать этим законам, развивать наш разум и наши склонности, совершать все действия, полезные для индивидов, для отечества, для человечества в целом. В тот момент, когда почти все позитивные религии были столь глубоко поколеблены, и когда столь многие просвещённые люди признают моральную полезность религии, есть основания полагать, что могущественное правительство, дружелюбное к человечеству, — пишет Кабанис, который, по-видимому, не до конца отказался от надежды видеть Наполеона работающим во имя своих философских идеалов, — могло бы на этой столь простой и столь богатой основе учредить культ и торжества, чье великолепие и блеск значительно превзошли бы наши бедные современные празднества.

Все, кто прочтёт это, признают вместе с Сент-Бёвом, что *Письмо о первопричинах* свидетельствует о «подготовке новой эпохи, что оно дышит самыми возвышенными чувствами и затрагивает наиболее добросовестные размышления»; но они воздадут за это честь самому Кабанису и увидят в нём человека, который «угадывает и предвосхищает историю философий, с беспристрастной и проницательной мыслью». Более того, если они вспомнят это замечательное сочинение, где Ренан изложил свои сомнения, вероятности и убеждённости, они сочтут, что мыслитель, исходящий из стоицизма, порой менее красноречив [1], менее «переливчат и разнообразен», но не менее оригинален и не уступает широтой духа тому, для кого христианство — «тень, в которой мы до сих пор живём». А вспоминая Форьеля, они будут бесконечно

[1] «Если боль не была бы злом, — говорит Кабанис, полемизируя с известным парадоксом стоиков, — она не была бы злом для других не более, чем для вас самих; мы должны были бы считать её ничем — и у них, и у нас; почему же тогда эта нежная человечность, которая характеризует величайших из стоиков, может быть даже лучше, чем твёрдость и постоянство их добродетелей? О, Катон! почему я вижу, как ты сходишь с коня, сажаешь на него своего заболевшего товарища и идёшь пешком, под палящим солнцем Сицилии, по длинной и гористой дороге? О, Брут! почему, в суровую морозную ночь, под полотнищем плохо закрытой палатки, ты снимаешь с себя плащ, который едва защищает тебя от холода, чтобы укрыть им своего дрожащего от лихорадки раба, лежащего рядом? Возвышенные и достойные поклонения души! Ваши собственные добродетели опровергают эти преувеличенные мнения, противные природе, этому вечному порядку, который вы всегда рассматривали как источник всех здравых идей, как оракул мудрого и добродетельного человека, как единственное надёжное руководство для всех наших поступков!». Сент-Бёв (Форьель, с. 183) справедливо говорит, что здесь Кабанис поднимается до подлинного красноречия — до того уровня, где мысль и сердце сливаются воедино.

благодарны ему за то, что он передал другим благую весть, которую сам когда-то услышал.

26 апреля 1807 года Дестют де Траси сообщил Бирану о первом приступе Кабаниса словами, которые показывают, насколько последнего любили его друзья и насколько Де Траси, внешне такой холодный, был в действительности чувствительным и сердечным [1]. Спустя месяц (12 мая) Де Траси не высказывал особого утешения по поводу состояния здоровья Кабаниса [2]. В августе (7-го),

---

[1] «В прошлую среду, находясь уже несколько дней в очень плохом состоянии, он неосторожно предался чрезмерному умственному напряжению; в результате произошёл удар крови с серьёзными признаками: он потерял сознание, голова помутнела, язык стал непослушным, рот перекосило, — но, к счастью, всё это длилось не более двух минут. Ришеран находился с ним в саду, отвёл его домой, ухаживал за ним, и он был настолько в своём уме, что первым охарактеризовал свою болезнь и рассуждал с Ришераном о ней, как о болезни другого человека, чтобы решить, что следует предпринять. Две небольшие постановки пиявок, несколько ножных ванн, несколько клизм, слабительное — и всё восстановилось. Весь день он разговаривал со всеми нами очень весело, даже больше, чем мы хотели ему позволить; на следующий день он спустился к жене, а ещё через день — в свой сад. У него осталась лишь небольшая слабость и затруднение в области кишечника, где и находится источник всего недуга; в остальном, наконец, не останется абсолютно никаких следов этого события, которое следует рассматривать, и он сам его так рассматривает, скорее как предостережение, чем как несчастный случай. Но вы понимаете, как много осторожности требует крепкое, но утомлённое сложение, ослабленность которого принимает такой облик; именно этим мы и занялись, и он к этому относится очень разумно. Поэтому я надеюсь, что во всём этом несчастье найдётся и польза, и что он начнёт лучше заботиться о себе. Его глубоко опечалила необходимость признать эту необходимость; но спустя всего несколько часов после первого момента он сказал мне, что Кондорсе получил такое же предостережение ровно в том же возрасте — в пятьдесят лет, в 1790 году, что он сам лечил его от этого, и что Кондорсе настолько оправился, что лучшие из его произведений были созданы именно после этого. Это доставило ему настоящее удовольствие. Вот мысли и чувства, которые его занимают — вы его узнаете в этом; и он также искренне заботится о том, чтобы вы не тревожились о нём — и вы узнаете его и в этой нежной заботе, перемешанной с признательностью. Честно говоря, считайте, что я с вами откровенен и рассказываю всю правду, по крайней мере, такой, какой я её вижу; вы понимаете, что я достаточно тронут, чтобы скорее преувеличить опасения, чем надежду. Мы сохраним этого дорогого человека, и, надеюсь, даже обойдём это неправильное предрасположение природы; он всегда будет самим собой, и, возможно, станет даже сильнее через некоторое время, как это случается у Пинеля и у многих других, ведь очевидно, что он проходит критический возраст, который, как он прекрасно знает, существует у мужчин так же, как и у женщин; у бедных маленьких существ вроде меня кризисы не так явно выражены, но моя нынешняя проходит тяжело из-за страданий и из-за цены, которую он придаёт моим заботам. Сегодня больше ничего не скажу; обещаю вам, что буду часто сообщать о нём, чтобы не дать ему делать это самому, ведь мы запрещаем ему писать, насколько это в наших силах. В ближайшие дни он отправится в деревню к мадам де Кондорсе; мы строим интриги, чтобы привить ему вкус к ботанике — он склонен согласиться, и это будет большим счастьем: мягкое упражнение, мягкое занятие — совершенство! Это, как известно, у Руссо почти уравновешивало вредные последствия изучения моральных наук». (Письмо, сообщённое г-ном Навилем.)

[2] «Я вижу, как его обычная утончённость превратилась в слабость и как старость начинается для него на десять лет раньше, чем должна была бы; и я уже совершенно не думаю ни о чём, кроме как о сохранении его жизни, столь драгоценной для стольких людей, и больше

будучи сам болен, он пишет Бира́ну, что вести о Кабанисе неутешительны [1]. Страдающий приступами перемежающейся лихорадки и обеспокоенный здоровьем матери своего зятя, «прекрасной женщины, столь необходимой обеим семьям», он сообщает Бира́ну, что Кабанис чувствует себя достаточно хорошо и даже охотится. В декабре он вновь делится новостями о нём [2].

Точные сведения о последних месяцах жизни Кабаниса отсутствуют. Мы знаем, со слов Де Траси, Женгене и Минье, что зиму он провёл неподалёку от деревушки Рюэй, объезжая верхом с племянником соседние деревни и навещая больных. Второй удар был сопровожден паралитическим состоянием. 5 мая 1808 года, после прогулки, во время которой у него с женой состоялся «самый нежный душевный разговор», он лёг в постель и проспал несколько часов. Около часу ночи глухие стоны возвестили его близким, которых он перед тем попросил удалиться, о новом приступе, ставшем роковым.

совсем не надеюсь увидеть, как он вновь принесёт услуги всему обществу; особенно же я укоряю себя за то, что не сообщал вам о нём ежедневно. Однако вы, конечно, можете быть уверены, что если бы не было полного затишья и не случилось бы новых приступов, я непременно известил бы вас. Истина в том, что он сейчас чувствует себя так хорошо, как только можно желать после такого происшествия; он действительно и вполне вернулся в своё обычное состояние. Недавно он совершил двухдневную поездку на расстояние в пятнадцать лье отсюда, с той же энергией; устал физически, отдохнул умственно и вернулся в ещё лучшем состоянии, с хорошим сном и пищеварением; вчера он снова уехал, чтобы провести месяц с женой у своей золовки в Мёлане, и проделал путь верхом; будет много гулять, и я не сомневаюсь, что вернётся в превосходном виде. Природа одарила его очень большой врождённой силой, и бывают моменты, когда я надеюсь, что она утратит тот порочный ход, который взяла на время, и что, пережив этот кризис, она будет действовать даже лучше, чем прежде; уверяю вас, что не премину вас об этом уведомить. Особенно с вами я люблю говорить об этом замечательном человеке, который вас знает, а значит, и любит; он глубоко тронут вашим участием». (Там же.)

1 «Его голова, полная самого любезного ума, всё же всегда слаба и всегда склонна к расстройству. Его обожаемый племянник искренне надеялся на счастье увидеть вас; он находится в вашей стране и, конечно, много вам о нём говорил, так что теперь вы знаете о нём не хуже меня, а то и лучше, ведь я люблю думать, что моя меланхолия влияет на то, как я его вижу. Несомненно, и это меня печалит, что моя меланхолия лишает меня многих способов сделать мои заботы для него полезными и приятными; скоро он отправится в деревню, ещё более отдалённую, чем эта, и я буду видеть его отъезд с некоторым удовольствием, в надежде, что именно тот образ жизни, о котором вы мне писали, принесёт ему больше пользы, чем моя скучная компания. Ему бы ваша компания, сударь, — она была бы его исцелением. Он не может ни читать, ни заниматься умственным трудом». (Неопубликованное письмо, сообщённое г-ном Э. Навилем.)

2 «Наш дорогой друг, к счастью, чувствует себя хорошо: он охотится, бегает, крепнет; но, тем не менее, он по-прежнему не способен ни к малейшему умственному усилию, и малейшее обстоятельство настолько заметно отражается на нём, что в любую минуту можно опасаться роковых рецидивов. А пока он находится в двенадцати лье от меня, и другие дела удерживают меня здесь. Не знаю, когда он вернётся, и даже не смею этого желать, настолько ему необходимо наслаждаться покоем уединения, лишь бы ничто его там не потревожило». (Там же.)

Кабанис был оплакан всеми, кто его знал: бедняками, среди которых он жил, и друзьями, ценившими его достоинства. Его останки были помещены в Пантеоне. Однако именно Институт оказал ему высшие почести. 21 сентября Дестют де Траси занял место Кабаниса во Французской академии и произнёс «*хвалебное слово о человеке, который был ему дороже всех и который в свою очередь его нежно любил*». Он осмелился заявить, что Кабанис выполнил двойную задачу, которую сам себе поставил: внёс философию в медицину и медицину — в философию. Говоря о *Rapports du physique et du moral de l'homme*, он произнёс: *«Этот великолепный труд останется навсегда одним из величайших памятников философии нашего времени и одним из тех, что наибольшим образом будут способствовать славе века, в который мы вступаем. Какая простота изложения, какая глубина выводов, какая тонкость анализа в деталях и какая поразительная правда в целом!»*. К этому он добавил, усиливая чувство утраты из-за столь преждевременной смерти: *«Он вынашивал план большого труда о возможных способах усовершенствования человеческой природы, используя уже приобретённые знания, чтобы ещё больше увеличить её силы, способности и благополучие. Он уже собрал все основные идеи. Они подтверждали или расширяли истины, рассеянные в его разных сочинениях, они были их прямым приложением. Ему оставалось лишь взяться за перо — это был тот памятник, который, как он считал, лучше всего прославит его имя»*. Быстрое угасание жизненных сил не позволило ему осуществить этот замысел.

М. де Сегюр ответил на речь Де Траси, восхваляя Кабаниса, его труды и особенно *Révolutions de la médecine*, сочинение, которое он назвал выдающимся образцом истории философии. Затем была прочитана выдержка из перевода *Илиады*, за которой последовала *Прогулка* Фенелона, где Андрие́ с энтузиазмом восхвалял Кабаниса [1].

---

[1] О ты, от кого я узнал эту трогательную историю!
Ты, чью память мы чтим сегодня,
Дорогой и добрый Кабанис, у меня нет счастливого дара
Тех красноречивых штрихов, того благородного порыва,
Что, исходя из твоей души — столь нежной и столь мудрой, —
Всегда оживляли страстью твои писания и твою речь!
В твоих глазах, в твоих чертах сияла доброта;
Справедливый и гордый, но без гордыни, простой в своей достоинстве,
Всегда сострадательный к человеческим бедам,
Ты исцелял недуги, разделял страдания
Ты был любезным подражателем божественного Фенелона,
Как и он — дорогим бедняку и его утешителем,
Как и он — искренним другом истинной красоты,
Воспитанный на древних, полный своего старого Гомера,
Твое знание, твой гений увековечивают твое имя;
Ты возвращал нам одновременно Гиппократа и Платона
О, небеса! И тебя больше нет! Твоя преждевременная смерть,
Будет всегда оплакиваться всеми, кто тебя любил.
Увы! В наших друзьях мы умираем и сами:

В 1810 году Институт включил *Rapports du physique et du moral de l'homme* в список сочинений, достойных премии в области морали и воспитания.

Все единодушны в оценке личности Кабаниса. Мы не будем пересказывать мнения его друзей. Но даже Форьель, связанный с несколькими философскими противниками Кабаниса, всегда отзывался о нём как о *самом нравственно совершенном человеке*, которого он знал. Мандзони, желая выразить ту *нежность, доброту и любовь*, что он увидел в друге своего друга, называл его *«ангельским Кабанисом»* [1]. Минье напоминал о самоотверженности врача, щедрости политика, возвышенности писателя и умеренности мудреца.

Как могло случиться, — удивится читатель, — что столь оригинального мыслителя забыли или презирали? Чтобы это понять, нужно вспомнить, насколько сильной была политическая, религиозная и философская реакция, последовавшая за Революцией. Фрейсину, в своих конференциях в Сен-Сюльписе с 1803 по 1809 год, а затем с 1814 по 1822 год, относил Кабаниса к ***докторам материализма***, которые, прикрываясь научным аппаратом, пытались механически объяснить мышление с помощью *«двусмысленных и ошибочных» сравнений* [2]; и создавали «системы столь же абсурдные в метафизике, сколь пагубные в морали». При Реставрации Фрейсину вошёл в состав Королевского совета по народному образованию и *«снабжал советами и возражениями»* профессоров и учеников Нормальной школы [3]. Получив руководство образованием, вновь подчинённого религии, он выказывал почти такое же неприятие идеологов, как и приверженность к «лионской философии», как это делал и его предшественник М. де Корбьер [4]. Последний, впрочем, разделял мнение своих политических единомышленников, де Бональда и де Местра, считавших идеи Кабаниса *гнусными*, а их авторов *врагами рода человеческого*. Руайе-Коллар и его сторонники, хоть и противостояли столь ожесточённым критикам идеологов, были с ними солидарны в осуждении их доктрин. Руайе-Коллар, провозглашавший Декарта и Кондильяка *«скептиками»*, направлял по всей Франции молодых преподавателей — *«настоящих миссионеров морали»*, чьё влияние, как он надеялся, поможет

Проливая за них слёзы, мы оплакиваем самих себя.
Ах! По крайней мере пусть надежда смягчит наши жалобы
Пусть их души, после них, не будут погашены;
Будем верить, что есть Бог, который, когда жизнь прожита,
Сохраняет наказание для преступления, награду для добродетели;
Там доброта будет вознаграждена;
Я люблю питать эту сладкую мысль, что однажды;
Благодетельные смертные оживут, воссоединившись,
С Фенелоном, с Кабанисом.

1 Сент-Бёв, *Форьель*, стр. 162 и 188.

2 *«Защита христианства», «Духовность души»*.

3 Кузен, *Философские фрагменты*, 1826, стр. 353.

4 *Лицей, т. IV, стр. 311 (Об обучении философии)*.

положить конец скептицизму и возродить веру на более широкой и прочной основе [1]. Виктор Кузен *посвятил всю свою жизнь продолжению философской реформы*, начатой Руайе-Колларом, и видел рядом с Кондильяком *«Гольбаха, Ламетри и весь разгул материализма и атеизма»* [2]. Вот почему Дамирон и пишет свой труд о *философии во Франции XIX века* — не только против теологической школы, но и против сенсуализма и его моральных, политических, поэтических и религиозных последствий [3]. В то же время Эме Мартен публикует сочинения Сен-Пьера и в широко цитируемом Предисловии изображает Кабаниса как *нетерпимого атеиста*. Между тем, Биран и Ампер заняты борьбой против тех, чьими учениками они некогда гордились быть; Дежерандо становится всё более *религиозным*, Ларомигьер в своих *Лекциях* не произносит ни разу имён своих прежних друзей, а Тюро доказывает существование Бога и бессмертие души.

В последние годы к Кабанису относятся всё строже. Сегодня можно услышать: лучше бы новое поколение со всей серьёзностью повторяло утончённые пустяки схоластов, чем высказывало с наивным энтузиазмом эту чудовищную нелепицу, что мозг переваривает мысль, как желудок пищу, — столь бесстыдно приписываемую «мастеру физиологии». Его труд якобы полон «тысячи ошибок», а его система одновременно возмутительна и причудлива [4]. Курно извиняется, когда ссылается на Кабаниса. Если Песс издаёт новое издание *Rapports*, Ремюза заявляет, что там нет ни системы, ни метода, что это ни научный трактат, ни философский. Напрасно Минье называл его основателем, пусть и неполным, новой науки и полезным реформатором старой; напрасно Сент-Бёв утверждал, что Кабанис заслуживает как философ куда большего признания, — в конце концов, ему оставляют лишь мимолётное упоминание в истории философии [5]; его просто замалчивают [6] а то и приписывают его заслуги его ученикам, Бирану и Амперу [7]. И вот, когда во Франции вновь обратились к тем исследованиям, что прославили Кабаниса, даже те, чьи труды он бы приветствовал, не пожелали признать его своим предшественником и предпочли ссылаться на более уважаемые иностранные имена.

---

1 Там же.

2 Предисловие к переводу Теннемана. Ср. Тюро, статья о Фрагментах Кузена (Сборник статей), с приложенными к ней примечаниями.

3 См. похвалу лекциям Фрейсину (стр. 62) «который сделал достаточно хорошие возражения против сенсуалистической гипотезы».

4 Ларрок, *Лицей*, т. III, стр. 203–215.

5 Иппо (*Hippeau)* (1839) даже относит нравственное сочинение Вольнея к более позднему времени, чем *Отношения* (стр. 413), Эжен Левек ограничивается утверждением, что Кабанис «вывел из сенсуализма материализм».

6 Гарнье, *Сравнение философских школ*, стр. 217 *Краткий курс психологии*, 1831; Анри Жоли, *Курс философии и История философии*; Журден, *Понятия философии* и *История философии*; Буийе, *Понятия истории философии*; Фуйе, *История философии* и др.

7 *См. Буийе, указ. соч., особенно Равайссона, Отчёт (уже цитированный, § 1), и Бертрана, Психология усилия.*

Мы не имеем никаких оснований становиться в ряды противников Кабаниса, равно как и не стремимся, вслед за некоторыми его поклонниками, искать в его трудах оружие против той или иной философской доктрины. Прежде всего, и превыше всего, мы ведём работу историка — беспристрастно. Мы показали оригинальность Кабаниса и объяснили, почему она была недооценена. Осталось кратко подытожить достигнутые выводы.

Кабанис — ученик и поклонник греков, Тюрго и Франклина, Кондорсе и Гольбаха, Вольтера и Руссо, Бонне, Кондильяка и Гельвеция. Он подготовил, для Мирабо, один из самых оригинальных проектов по народному просвещению, обнародованных во время Революции; для Гара — труд, ставший вехой, о *Революциях и реформе медицины*. Как профессор, он блестяще изложил обязанности профессии, которую считал *священной* [1] ; как политик он думал лишь о Франции и согражданах. Как продолжатель дела Кондорсе, он защитил, а подчас и углубил учение о совершенствовании человека. Он создал в *Rapports* физиологическую психологию [2], рекомендовал психологию животную, эмбриональную и болезненную, настаивал на значении внутренних ощущений, предвосхитил или подготовил идеи Ламарка и Дарвина, Шопенгауэра и Гартмана, Конта, Льюиса и Прейера, не считая тех, кто, через Бирана и Ампера, заимствовал у него опосредованно. Его *Письмо к Тюро* стало наилучшим ответом на книгу *Гений христианства*: греческие философы, как и французские, итальянские и английские, дали ему для этого все основания. Таким образом, он пришёл к *беспристрастной и разумной* истории философии, а его ученик Форьель передал эти взгляды Кузену и Огюстену Тьерри. Наконец, он решился затронуть метафизические вопросы, которые рано или поздно встают перед каждым мыслителем, и попытался — с полной искренностью и высоким духом — изложить свои сомнения, вероятности и убеждения: он завершил свою спекулятивную жизнь среди **платонизирующих стоиков**, так же, как начинал её с Гомером, Гиппократом и Галеном.

---

1 Неопубликованное письмо мадам Кабанис, рукопись в Версале.

2 Напомним ещё одно свидетельство, которому нельзя не доверять: «Кабанис — первый французский писатель, который философски и методически рассмотрел отношения физического и морального». (Жане и Сеай, *История философии*.)

Второе поколение идеологов

Рационалистическая идеология и ее связь с наукой

Глава V

Дестют де Траси — идеолог, законодатель и педагог

I

Его образование; Д. де Траси в Учредительном собрании; в армии Лафайета; в Отёе; в тюрьме; стойкость его убеждений и надежд.

Шотландия, после Греции, привилегированная земля для философии. Она не только породила философов, заслуживающих уважения, таких как Д. Стюарт и Хатчесон, Браун и Гамильтон, а возможно ещё Скотт Эригена и Дунс Скот, но также оригинальных мыслителей, вроде А. Смита, Хейна и Рида. Более того, даже те её сыновья, которые покинули родину, оставили в потомстве выдающихся мыслителей. Она дала Канта — Германии, и Дестюта де Траси — Франции.

Вместе с Дугласом, прибывшим во Францию защищать Карла VII от англичан, прибыли четыре брата по фамилии Стутт (Stutt), которые остались в составе шотландской гвардии Карла VII и Людовика XI и стали сеньорами Ассе в Берри. Потомки второго из них, благодаря браку, приобрели земли Траси в Ниверне. Они обосновались в Парале-Фрезиль, в Бурбонне, и смогли выгравировать на башне своего поместья следующую надпись: «Добро, честно приобретённое». Один из них, в 1676 году, был, вместе с Катина, генерал-майором французской пехоты. Его сын покинул военную службу после заключения Утрехтского мира; его внук, отец Дестюта де Траси, участвовал в походах в Богемии и Ганновере и командовал жандармерией короля в Миндене, где был тяжело ранен и оставлен умирать. Спасённый одним из своих слуг, он умер в 1761 году. Его сын Антуан, рождённый в тот же год, когда вышел «Трактат о ощущениях», на смертном одре поклялся отцу — со слезами на глазах — быть солдатом, как его предки. Ребёнок, которому было семь лет, по-

видимому, до этого жил счастливо и спокойно под родительской крышей [1]. Он любил упражнения верховой езды, которым отдавался целыми днями: он даже будет утверждать, что так обстоит дело со всеми детьми. Его мать, которая, как представляется, была весьма выдающейся женщиной, полностью посвятила себя его воспитанию. Сначала поселившись в Париже, она обеспечила ему классическое образование. Спустя сорок лет Дестют де Траси всё ещё вспоминал, как его заставляли разбирать Корнелия Непота, Плутарха или даже Аристотеля (C., 41), и говорил о греческом языке, что это «самый прекрасный» язык по мнению знатоков (Id., 206) [2]. Проходил ли он курс философии, венчавший классическое образование? Это вполне возможно, поскольку в его произведениях упоминается то, о чём говорили в школе (V, p. 372 и 375). Но способ, которым он об этом говорит, показывает, что он не извлёк из этого большого пользы: «После изучения латыни и риторики, — говорит он в 1796 году (IV, 341), — давался так называемый курс философии, который сводился к нескольким слабым или ложным представлениям о физике и метафизике. Эта философия была настолько всеобщепризнанно дефектной и бесполезной, что ни один ученик даже не делал вид, что изучает её, если только не был вынужден к тому неотложными обстоятельствами, и никто не заботился о ней». Он не выносит лучшего суждения и об «старой логике», основанной на произвольных гипотезах и пустых формулах (I, 46), или о логике Аристотеля — произведении весьма мощного ума, но оказавшем пагубное влияние, поскольку покоится на ложных основах (Gr., 4).

Дестют де Траси провёл несколько лет в Страсбурге, где молодые дворяне завершали своё образование, готовясь к военной карьере: там он стал превосходным наездником (I, 8). В то же время он занимался учёными штудиями, о которых у нас нет достаточно точных сведений. Тогда профессор Мюллер обсуждал со своими учениками философские учения своего времени, особенно воззрения Юма и Канта. Если Дестют де Траси и не познакомился тогда с философией последнего, которую, несмотря на незнание немецкого языка, он мог бы изучать по латинским трактатам, то впоследствии у него была возможность обращаться за разъяснениями к людям, чьё мнение он научился ценить и которые, быть может, стали причиной того, что он всегда высказывался о философе, чьи доктрины он оспаривал, с высочайшим уважением. Поступив в мушкетёры, он с добросовестностью исполнял свои служебные обязанности. Его философские склонности напоминают о Вовенарге, но о Вовенарге здоровом и радостно смотрящем в будущее: *«Я находился,* — говорит он, — *в той поре, что следует непосредственно за*

---

1 «Под присмотром родителей, — скажет он позднее (т. IV, стр. 336), — должны проходить первые восемь или девять лет жизни. Эти годы использованы хорошо, если ребёнок научился читать, писать и получил некоторые чисто подготовительные сведения; если он приобрёл хорошие привычки и те счастливые расположения духа, которые в большей или меньшей степени неизменно даёт обычное общение с людьми, обладающими хорошим образованием и либеральными нравами». По перекрёстным ссылкам см. № 1, стр. 398.

2 См. то, что мы говорили о Кабанисе в предыдущих главах.

завершением образования и когда, ещё не имея серьёзных обязанностей в избранной мною карьере, я мог без угрызений совести предаваться размышлениям и исследованиям, к которым влекла меня моя склонность. Я стал наблюдать за людьми всех времён и народов и искать причины наиболее значительных явлений, которые они представляют взору наблюдателя». Уже тогда, испытывая жгучую потребность постичь истоки и основания собственного знания, он читал энциклопедистов и экономистов, Монтескьё и Гельвеция; как Тюрго и Кондорсе, он ездил в Ферней навещать Вольтера и питал к нему живейшее чувство восхищения, почти благоговение. Всю жизнь он будет бороться с фанатизмом, и тогда, когда некоторые попытаются связать террористов с Вольтером, он будет провозглашать Вольтера человеком, обладавшим исключительной проницательностью во всех суждениях, о котором следовало бы написать статью в истории науки. Кондильяк, начавший с Локка, не поднялся бы на достигнутую им высоту без Вольтера. Это тот человек, кто боролся с множеством метафизических предрассудков и победил их (C., 443), кто первым во Франции стал рассматривать историю с философской точки зрения (IV, 288). Когда политическая и религиозная реакция полностью восторжествовала, он возмущался против «жалких людей», утверждавших, будто Вольтер льстил могущественным, и против «подлых клеветников», которые никогда бы не осмелились похвастаться тем, что не восхваляли действия, чувства или пагубные изречения великих мира сего — и тем более, что осуждали их, как это делал Вольтер (C., 372). В последние годы своей жизни, которую он называл «остатками бесполезного существования», он не знал иного удовольствия, кроме как слушать чтение Вольтера или сам себе декламировать шедевры «героя разума».

Иные влияния также способствовали формированию его характера и развитию его ума. От своей матери он, по словам Минье, унаследовал возвышенные чувства. В доме деда и бабушки — последняя была внучатой племянницей великого Арно — он впитал старинную вежливость и строгую честность. Подобно Руайе-Коллару, но с более широким и свободным умом, он научился ценить отшельников Пор-Рояля, чей пример оказал глубокое воздействие на его образ мыслей и манеру поведения; автор *Грамматики* и *Логики*, «упрямец Траси», вызывает в памяти Арно и продолжает труды тех, «кем по праву следует восхищаться за их редкий дар, и чья память всегда будет дорога друзьям разума и истины» (II, 5; III, 148).

Полковник-лейтенант полка королевской кавалерии, граф де Траси и сеньор Пара-ле-Фрезиля, после смерти своего деда он вступил в брак с мадемуазель де Дюрфор-Сиврак, родственницей герцога де Пентьевра, который в том же году, когда Филадельфийский конгресс провозгласил независимость Соединённых Штатов, а Тюрго покинул министерство, передал ему командование своим полком. Он с восторгом воспринял начинание Лафайета, призванное содействовать признанию прав человека на другом полушарии (C., 231), и с огорчением — падение Тюрго. Хотя он никогда не мог полностью отвлечься от

стремления узнать, каким образом мы познаём окружающее, и в чём можем быть уверены, он не пренебрегал удовольствиями: будучи превосходным танцором [1] и элегантным полковником, он даже изобрёл кадриль, которую назвал своим именем. Он предавался, как пишет Гизо, очарованию этой светской жизни, столь привлекательной из-за оживлённости умов и мягкости отношений, довольствуясь тем, что дышал воздухом своего времени, разделял его идеи и надежды, не обращаясь ни к какому специальному изучению.

В 1789 году Дестют де Траси, тридцати пяти лет от роду, был направлен в Генеральные штаты дворянством Бурбоне, которое, согласившись с двумя другими сословиями, составило весьма либеральную тетрадь наказов: в ней оно требовало равенства гражданских прав, представительной монархии и строгого финансового контроля, соглашалось на участие в налогообложении — как поземельном, так и территориальном — и сохраняло за собой лишь одно фискальное исключение: освобождение от налога на поместье в два арпана. Дестют де Траси прибыл в Собрание, как говорит Гизо, хоть и не совсем точно, но вполне справедливо — чуждый всякой корысти и лишённый личных амбиций. Он верил, всю жизнь верил в пользу революции [2].

Большая часть полезного труда шла на то, чтобы создавать богатства, составлявшие доходы королевского двора и всего имущего класса, причём эти доходы почти полностью расходовались на предметы роскоши, то есть на содержание огромной массы населения, чей труд ничего не производил, кроме наслаждений для нескольких лиц (V, 258). Общественное образование также не представлялось ему находящимся в хорошем состоянии, поскольку оно сводилось фактически к изучению языков и литературы; так называемый курс философии, преподававшийся как венец учёной подготовки, незаметно занимал место целого ряда полезных знаний, которые следовало бы включить в подлинный план обучения (IV, 341).

В своих требованиях Дестют де Траси шёл дальше большинства своих коллег. Даже после Террора он настаивал не только на точном балансе между доходами и расходами государства, но и на провозглашении равенства и

---

1 См. его слова о танце — *Мемуары Национального института*, т. I, стр. 438.

2 «Франция, — пишет он после 1806 года, — при своём прежнем правительстве, конечно, не была столь несчастна, как сами французы охотно это утверждали; но и процветающей она не была. Её население и сельское хозяйство не находились в упадке, но они стояли на месте, или же, если и делали некоторый слабый прогресс, то он был меньше, чем у нескольких соседних наций, и, следовательно, мало соразмерен с прогрессом просвещения века. Она была обременена долгами, не имела никакого кредита; ей постоянно недоставало средств для полезных расходов; она ощущала неспособность покрывать даже обычные издержки своего управления, а тем более — предпринимать какие-либо крупные усилия во внешней политике. Одним словом, несмотря на ум, численность и активность её жителей, богатство и протяжённость почв, а также на блага очень долгого, почти не нарушавшегося мира, она с трудом удерживала своё место среди соперников, пользовалась малым уважением и вовсе не вызывала страха за границей» (т. V, стр. 256).

уничтожении всех привилегированных сословий, на исключении священников из всякого рода содержания и государственных функций, включая преподавание нравственности, на единообразии законов, обычаев, административного устройства, единых весах и мерах, на праве на развод, равенстве в наследовании и почти полном запрещении свободы завещания, на полной и безусловной свободе заниматься любым видом промышленности, на свободе внутренней и внешней торговли — безо всяких стеснений и ограничений, на свободе ссуд под проценты с предоставлением всех возможных гарантий и надёжности, какую только может обеспечить хорошее законодательство об ипотеке, а также на личной свободе и свободе печати (Моу., 205).

Однако не следует видеть в нём утописта, пренебрегающего реальностью, или новатора, стремящегося начисто стереть прошлое. Он считает, что не всегда справедливо — сопротивляться несправедливому закону; что не всегда разумно — в данный момент и с ожесточением бороться с тем, что лишено разумности. Ведь прежде всего нужно понять, не принесёт ли сопротивление больше вреда, чем повиновение (С., 17). Он хочет, чтобы к опыту времени добавлялось преемственное развитие — чтобы, скажем, в области народного образования продолжали дело прежних основателей; чтобы им подражали, сообразуясь с духом эпохи, подобно тому, как века следуют один за другим и дополняют друг друга (IV, 366). Современным языком говоря, **он скорее желал бы эволюции, чем революции**. Вот почему он вошёл в Учредительное собрание лишь 27 июня — вместе с большинством дворянства; но занял место слева и голосовал почти за все предложения, направленные на установление нового порядка. Он с радостью встретил отмену феодальных прав и десятин, что должно было привести к глубочайшим переменам в жизни страны (V, 258); Декларацию прав человека и гражданина, которая навсегда останется вехой в истории человеческих обществ (С., 231). Он осудил эмиграцию и выразил свою преданность Собранию и верность своему полку, который пытались вывести за границу. В 1806 году он всё ещё высмеивал тех людей, которые, преувеличивая собственное значение, искренне полагали, что, покидая свои замки, они обрекают деревню на безработицу, и что крестьяне, разделив их имущество и купив его за бесценок, станут от этого только несчастнее (V, 253). Он осуждал выпуск ассигнатов, особенно после того, как стал свидетелем того, как за пару ботинок платили три тысячи франков и были счастливы получить их тайком по такой цене; и также — введение мандатов, которые, несмотря на номинальную ценность в сто франков, не стоили даже бумаги, на которой были напечатаны (V, 159, 157, 158). Он бы предпочёл, чтобы Национальное собрание, свергнув старые власти и оказавшись единственным органом управления, не стало Учредительным, а созвало бы собрание, которое под его покровительством занялось бы выработкой конституции. Напротив, он считал большой ошибкой то, что оно объявило своих членов не подлежащими избранию в последующее собрание, лишив их тем самым всякого влияния на дальнейший ход событий (С., 170).

Дестют де Траси поддерживал связи со своими коллегами — Лафайетом, Сийесом, Мирабо, Вольнеем, Талейраном, Грегуаром, возможно, также с Кабанисом и Кондорсе. Он вновь принял командование в качестве полковника 78-го пехотного полка, а затем был произведён в маршалы лагеря и поставлен во главе кавалерии в армии, которой командовал Лафайет. Король, к которому он отправился, чтобы попрощаться, оказал полное внимание великому сеньору, присоединившемуся к армии принцев, но не удостоил ни словом, ни взглядом того, кто, занимая высокий пост в одной из армий нации, был прежде одним из самых блистательных и любимых гостей на балах королевы. После 20 июня Лафайет безуспешно добивался закрытия клуба якобинцев и наказания виновных в покушении. Обвинённый и оправданный лишь слабым большинством голосов, он после 10 августа отказался от командования и покинул страну, перейдя границу. Австрийцы арестовали его, и он оказался в заключении в Ольмюце. За день до этого он подписал бессрочный отпуск для Дестюта де Траси, который, отказавшись последовать за ним, решил остаться во Франции. Он вернулся в Париж, поселился в Отёе вместе со своей матерью, женой и тремя детьми, и завязал всё более тесные отношения с Кабанисом и мадам Гельвеций, с Кондорсе и Дону. Он занялся воспитанием своих детей, но одновременно с этим вновь отдался учёным занятиям [1].

В то время как Биран, уединившись в Перигоре, изучал без определённой системы математику, химию, естественную историю, Кондильяка и Бонне, Цицерона и Фенелона, тем самым собирая в уме множество разнородных идей, Дестют де Траси, более методичный, вновь занялся изучением математики, физических и естественных наук, избрав своими наставниками Бюффона, Фуркруа и, прежде всего, Лавуазье. Этот по-настоящему плодотворный период оставил след во всех его сочинениях, и более того, именно он дал им начало, поскольку Траси занялся «первой философией» лишь с целью предоставить наукам исходную точку, которой нигде не было, и основание, которое бы не покоилось на зыбком песке (III, 344). Он утверждал, что физико-математические науки столь же необходимы, как языки и словесность, как нравственные и политические науки, для всякого полноценного образования (IV, 338). Чтобы жить как разумный человек, как хороший отец семейства, как просвещённый гражданин — словом, как разумное существо — и тем более для подготовки к исполнению каких-либо функций, необходимо после элементарных курсов арифметики и физической географии, дающих общее представление о строении мира и о главных существах, его населяющих или на нём обитающих, пройти курсы чистой математики, естественной истории,

[1] «Отданный обстоятельствами, — говорит он, — моему влечению к уединённой и созерцательной жизни, я принялся за занятия, не столько чтобы увеличить свои знания, сколько чтобы познать их источники и основания. Это было предметом любопытства всей моей жизни. Мне всегда казалось, что я живу в тумане, который тяготил меня, и самая крайняя рассеянность никогда не могла полностью отвлечь меня от желания узнать, что такое всё окружающее нас, как мы это познаём и в чём мы можем быть уверены».

химии и физики, которые дают достаточное знание трёх царств природы и всех тех разделов физики, которые, основанные на опыте, недоступны математическому исчислению; и, наконец, — курс прикладной математики, где теория алгебраического анализа применяется ко всем областям природы, которые допускают такую формализацию (III, 344). Различая алгебраический язык от прочих языков (II, 230), Дестют де Траси критикует математиков, утверждающих, что скорость движения — это отношение между пройденным пространством и затраченным временем (I, 125). Науки о пространстве и его проявлениях обязаны своей точностью той удивительной особенности, что объекты их можно делить на отдельные части с такой степенью чёткости, ясности и устойчивости, которая не оставляет ничего желать (I, 131). Поэтому возможность применения вычислений к объектам различных наук пропорциональна тому, насколько эти объекты поддаются точному измерению (I, 138). И Дестют де Траси полагает, что если бы он написал небольшой учебник по элементарной геометрии, то смог бы привести немало ошибок, вызванных в этой науке ложными метафизическими представлениями (I, 142). Он также отвергает идею, будто теория вероятностей может быть объектом подлинной науки, и критикует взгляды Кондорсе [1] (IV, 183). Изучение математики само по себе не более, чем любое другое, способно сделать ум правильным (IV, 257). Наиболее же пригодной для формирования ума он считает естественно-научную подготовку, особенно химию, которая придаёт уму полезные навыки. То же самое можно сказать и о физиологии — если под ней понимать и знание о чувствительном центре, и о наших умственных функциях. Рассматривая свойства тел как физик не менее, чем как психолог (I, 125), Траси вспоминает усилия, предпринятые великими современными химиками, чтобы выразить в числах силу сродства между определёнными кислотами и основаниями, хотя эти числа и не позволяют строго вычислить степень действенности, а их применение не делает сами наблюдения точнее и умозаключения надёжнее (I, 138). Чтобы показать, что недостаточно желающему изменить облик науки просто обновить её номенклатуру, он приводит в пример французских химиков. Они открыли теорию горения и поняли, что настоящий флогистон — подлинная причина явлений горения — это такое вещество, которое, не присутствуя изначально в горючем, соединяется с ним, высвобождая свет и тепло, увеличивает вес тела и делает его негорючим — и что именно оно составляет основу жизненного газа. Они уточнили смысл понятий «флогистон», «горение» и «горючее» — и даже если бы они не придумали слова «кислород», они всё равно усовершенствовали бы науку и в действительности создали её язык (III, 47). Подобно Паскалю, Дестют де Траси восхищается чудесами природы: *«Кто из нас,* — говорит он, — *после утверждения, что возмущать нас должно не чудесное, а абсурдное, — сможет когда-либо постичь поразительную малость шариков жидкости, циркулирующей в нервах насекомого, или невероятную тонкость частиц аромата, исходящего от тела, которое в течение лет заполняет своим*

[1] См. гл. IV, § 1.

запахом обширное пространство, не теряя при этом сколько-нибудь заметной доли своего веса? Кто способен представить себе ужасающую множественность световых лучей, исходящих от освещённого тела, из каждой точки которого исходит целый пучок лучей ко всем точкам пространства? И кто сумеет вообразить неуловимую тонкость молекул этой материи, которые, словно бы, пересекаются и проникают друг сквозь друга в миллиардах различных направлений, не причиняя ни малейшего препятствия, ни малейшего смещения?» (I, 190).

Состояние, в котором ныне пребывает наука о мышлении, аналогично положению астрономии сто лет назад. Локк соответствует Копернику, Дюмарсе — Галилею, Кондильяк — Кеплеру; следовательно, необходимо совершенствовать инструменты, которыми она пользуется, то есть языки, и выработать план новых наблюдений и опытов (M., 326). Было весьма разумно требовать, чтобы молодым людям, для которых он пишет свои *Элементы идеологии*, были даны основы физики и естественной истории, чтобы их познакомили с основными видами тел, составляющих вселенную, дали представление об их сочетаниях, устройстве, о движении небесных тел, о вегетации и строении животных (I, 5). Поэтому он **включает идеологию в состав зоологии или физиологии**, а детальную историю нашего разума — в состав «человеческой физики» (III, x), и подчиняет прогресс метафизики состоянию физики, будучи убеждён, что с развитием физики постепенно **исчезают и сны платонической философии, и произвольные допущения спиритуалистов**: по мере того как наука увеличивает совокупность достоверного знания, она даёт нам мужество признать незнание того, что лежит за его пределами, и отворачивает от попыток это угадать (C., 445). Хотя он и оставляет поиски физиологических причин тем, кто способен проникать в подобные тайны, ограничиваясь рациональной идеологией, он признаёт и физиологическую идеологию и требует, чтобы аналитик обращался к физиологам (M., 396). Он восхищается трудами Пинеля и Кабаниса, настоятельно рекомендует их к прочтению и прилагает все усилия, чтобы ни одно из его собственных объяснений не противоречило позитивному знанию, добытому скрупулёзным наблюдением над нашими органами и их функциями (I, 323). Наконец, рассмотрев круг наук, чтобы показать, с чего начинается всякое знание, он предлагает план сводной таблицы начальных элементов всех наук — в неё должны войти физика, естественная история, числовая и буквенная арифметика, алгебра, дифференциальное и интегральное исчисление (III, 364). Подобно Кабанису и большинству идеологов, он, таким образом, не отделяет философию от наук [1].

Во время Террора, когда жирондисты были объявлены вне закона, а Кондорсе, Дону, Мерсье, Женгене, Лавуазье и многие другие — арестованы

[1] То, что м-р Поль Жане говорит о Ларомигьере, верно (гл. VIII, § 3), но то же нельзя сказать о том, что он говорит об идеологах в целом. (Le Temps, 1882)

или оказались в бегах, комитет надзора департамента Алье в октябре 1794 года издал указ об аресте Дестюта де Траси — по обвинению в подозрительности, не-гражданственности и аристократизме. Ему был назначен налог в сто тысяч ливров в качестве временного взноса, «необходимого» для жалованья революционной армии и помощи «несчастным гражданам». Дестют де Траси оправдывался тем, что уже восемнадцать месяцев как проживал в Отёе под Парижем [1]. Комитет приостановил исполнение ордера на арест и временно принял предложение, сделанное де Траси. Но несколько дней спустя отряд солдат под командованием генерала Ронсена окружил его дом, произвёл обыск и увёз Дестюта де Траси в Париж, где он был заключён в тюрьму. Пример Жолливе, который, едва войдя в камеру, достал из портфеля чернильницу, перо, кипу бумаг и за шатким столом принялся работать над ипотечной системой, которую позже обосновал, рассчитывая её на основе кадастра Франции, вернул Траси душевное спокойствие и вкус к учёной работе. Проведя шесть недель в заключении, они оба были переведены в монастырь Кармелитов и помещены в одну камеру, где продолжили свой трудолюбивый образ жизни

Кондильяк дал Лавуазье метод, а Лавуазье привёл Дестюта де Траси к Кондильяку: «До того, — говорит он, — я читал у него лишь *Опыт о происхождении человеческого знания* и не знал, остался ли я им доволен или разочарован. В тюрьме Кармелитов я прочёл все его сочинения, и они вновь вывели меня к Локку. В совокупности они открыли мне глаза; их сопоставление указало мне то, что я искал. Это была наука о мышлении. *Трактат о системах* стал для меня озарением, и, не найдя *Трактат о ощущениях* ни полным, ни свободным от ошибок, я с тех пор составил для себя краткое изложение главных истин, вытекающих из анализа мышления». 5 термидора, в тот самый день, когда зачитывали список сорока пяти человек, подлежавших передаче революционному трибуналу, он излагал достигнутую им теорию в лаконичных формулах: *«Произведение способности мыслить или воспринимать = знание = истина… Во втором сочинении, над которым я работаю, я покажу, что к этому равенству нужно прибавить ещё три члена: = добродетель = счастье = чувство любви; а в третьем я докажу, что следует добавить: = свобода = равенство = человеколюбие. Недостаток достаточно точного анализа до сих пор мешает нам найти промежуточные выводы или утверждения, способные сделать зримым тождество этих идей. Я надеюсь доказать на деле то, что Локк и Кондильяк обосновали посредством рассуждений: что мораль и политика поддаются доказательству».* И он добавлял, что впредь будет всегда исходить именно из этой отправной точки — если небо дарует ему ещё немного времени для жизни и учёбы.

[1] «Он там дал доказательства гражданской доблести и всегда был вынужден бороться с партией контрреволюционеров, жертвой которых он никогда не переставал быть». Он не мог удовлетворить требование о внесении 100 000 ливров, но, чтобы показать, что готов на все жертвы, зависящие от него, он отказался от доходов со своих имений в департаменте Алье.

Записанный для суда на 11 термидора, он был спасён падением Робеспьера. Из тюрьмы, как и Дону, он вышел лишь в октябре 1794 года и вернулся в Отёй — к своей семье и друзьям. Но Кондорсе он там уже не застал. Из тюрьмы он вышел философом: он не утратил ни одной из своих убеждённостей, ни одной из своих надежд. Всю свою жизнь он оставался поклонником Вольтера, Гельвеция, Кондорсе, Кондильяка; другом Кабаниса, Дону и людей, продолжавших традиции XVIII века. Когда Лагарп, некогда неистовый новатор, обвинявший философов в робости и холодности к человечеству, дошёл до того, что стал упрекать их в разрушении всего (I, xxx) и возлагал ответственность за Террор на Дидро и Гельвеция, Рейналя и Гольбаха, Руссо и даже Вольтера; когда другие, вроде Ривароля и Шатобриана, полностью отрекались от прежних взглядов и — под аплодисменты широкой публики — переходили к нападкам на философию и «философизм», Дестют де Траси, потерявший высокое положение и жестоко пострадавший как морально, так и физически, заявлял, что момент, когда человечество располагает обширным запасом приобретённых знаний, превосходным методом и полной свободой — это начало совершенно новой эры в его истории. Французская эра должна, по его словам, предвещать такое развитие разума и такое возрастание счастья, которые невозможно предугадать по примеру прежних веков, не имеющих ничего общего с наступающим (Gr., 8). Есть, — говорит он в другом месте, — особая публика, состоящая из тех, кто поносит свою страну — *«либо потому, что они покинули её в беде, либо потому, что не могут блистать в ней»*, — чьего одобрения он не станет добиваться и чья недоброжелательность его мало заботит (V, 270). Хотя он признаёт, что Франция при старом режиме была не столь жалка, как её представляли (с. 256), он воздаёт должное новой Франции: «Произошла Революция. Она перенесла все мыслимые бедствия, была разорвана страшными войнами — гражданскими и внешними; многие её провинции были опустошены, а города превращены в пепел; все были разграблены бандитами и поставщиками войск; внешняя торговля была уничтожена; её флоты полностью уничтожены, хотя и не раз возобновлялись; её колонии, некогда считающиеся необходимыми для её процветания, оказались потерянными, и, что ещё хуже, она утратила всех людей и богатства, которые расточала ради их покорения; почти весь её металлический денежный фонд был вывезен — как вследствие эмиграции, так и бумажных денег; она содержала четырнадцать армий в условиях голода, и несмотря на всё это — известно, что её население и сельское хозяйство значительно возросли за какие-то несколько лет. И к моменту создания империи — не имея ещё ни малейшего улучшения в морской сфере и внешней торговле, которым приписывают столь важную роль, не зная ни одного мгновения покоя, чтобы восстановиться, — она несла огромные налоги, совершала гигантские расходы на общественные работы, справлялась со всем без займов и обладала колоссальной мощью, которой ничто не могло противостоять на континенте Европы, и которая могла бы подчинить весь мир, если бы не английский флот» (V, 257). Если не считать нескольких редких и кратких фрагментов, в которых он скорбит о смерти Кондорсе — «величайшего философа нашего времени» (C., 383), и о «славном

и несчастном Лавуазье, навсегда достойном наших сожалений» (М., 287), или вспоминает о печально знаменитом Конвенте, «принёсшем столько вреда человечеству, сделав разум ненавистным», и который, несмотря на высокий ум и великие добродетели некоторых своих членов, «дался подчинить себя фанатикам и лицемерам, негодяям и обманщикам, тем самым заранее сделав бесполезными свои наилучшие замыслы» (С., 169), — трудно было бы догадаться, читая его труды, что он едва не погиб во время Террора. И даже после прочтения этих трудов остаётся убеждение, что пережитая опасность никак не изменила его способа мышления.

II

Д. де Траси в Институте в Институте; средства утверждения нравственности народа; Бонапарт и де Траси; Мемуар о способности думать; моторика; я; идеология; активность и пассивность; знаки; привычка.

Менее чем через год после того, как Дестют де Траси покинул монастырь Кармелитов, Конвент приступил к организации народного образования: были основаны начальные школы, центральные и специальные школы, а также Национальный институт наук и искусств. По предложению Кабаниса, Дестют де Траси был принят в секцию анализа ощущений и, как большинство идеологов [1], считал, что задача Института — «способствовать прогрессу всех человеческих знаний». 2 флореаля (апрель 1796 года) [2], он зачитал *Мемуар о том, как мы приобретаем знание о внешних телах и о собственном теле*. Он утверждал, что мы существуем лишь через наши ощущения и идеи, и что все существа существуют для нас только через те представления, которые мы о них имеем. Следовательно, знание о том, каким образом формируются наши идеи, составляет основание всех наук. Именно анализ идей позволил французским химикам — великому Лавуазье и его соратникам — добиться столь значительных успехов в анализе тел. Такой анализ особенно необходим, чтобы методически осмыслить моральные и политические науки — грамматику, логику, педагогику, мораль и политику — и заложить для них прочные основания. Все они сводятся к решению этого грандиозного вопроса: зная способности одного вида живых существ, найти все возможные средства счастья, которые доступны этим существам. Чтобы тщательно рассмотреть этот вопрос и извлекать из него только необходимые следствия, нужно следовать **методу геометров** — идти шаг за шагом, отказываясь от всяких поспешных суждений. Один факт установлен достоверно и не вызывает сомнений: все наши идеи происходят из ощущений. Но ощущения это лишь внутренние модификации нашего существа, и ни одно из них не указывает на причину,

1 См. гл. I, § 3.

2 *Декада философская, 18 июля 1796 г. — Извещение о работах Ж. Лебретона*.

которая его вызывает. Как же мы учимся приписывать их внешним телам? Кондильяк утверждает, что это происходит через осязание; однако и оно, как и прочие четыре чувства, дает нам только внутренние модификации, если считать, что мы ещё не совершали движений. Значит, именно способность к движению и осознание его — вот что позволяет нам воспринимать тела как причины наших ощущений. Эта способность часть более общей способности, называемой **чувствительностью**; она не связана ни с одним из чувств в отдельности, но охватывает их все и представляет собой единственное звено между нашим «я» и остальными существами.

В конце IV года и в начале V года (республики) [1], Дестют де Траси зачитал ещё два *Мемуара*, посвящённых анализу мышления — точнее, способности мыслить или способности воспринимать. Он предлагал, чтобы наука, вытекающая из этого анализа, называлась **идеологией**, или *наукой об идеях*, — с целью отличить её от старой метафизики.

Будучи ещё почти новой, эта наука, как он утверждал, располагает немногими устойчивыми и общепризнанными истинами, несмотря на труды многих выдающихся авторов, хотя и будучи основанной на фактах, она столь же способна к достоверности, как и точные науки. Это объясняется тем, что до сих пор её никогда не рассматривали методически и свободно, она никогда не была предметом прямого изучения ни одного научного сообщества. Вторая секция (Института) должна была бы перечислить известные истины, усовершенствовать языки — инструменты, которыми она пользуется, — и согласовать, какие наблюдения и эксперименты необходимо провести для прояснения спорных пунктов. Сам же он, представляя краткое обозрение идеологических истин, которые считал устойчивыми, утверждал, что способность мыслить, как она дана в нас, распадается на пять различных и существенных способностей: способность чувствовать, способность вспоминать, способность суждения, способность хотеть и, наконец, способность двигаться — которая представляется ему, наравне с прочими, неотъемлемой частью способности мыслить и необходимой для её действия, поскольку **ощущение движения** (в противоположность ощущению сопротивления) вводит в действие нашу способность сравнивать, то есть рассуждать. Далее, рассматривая отношения четырёх из этих способностей к способности хотеть, он приходил к выводу, что они отчасти зависят от неё, а отчасти независимы. Он объяснял формирование наших идей как знаний, а также наших идей как чувств и страстей. Свобода представлялась ему способностью действовать в соответствии со своей волей; свобода и счастье — одной и той же идеей, рассматриваемой с точки зрения средства и цели.

В VI году (республики) Дестют де Траси вошёл в состав двух комиссий, созданных для рассмотрения проектов пасиграфии, представленных Меймьё,

[1] *Декада философская, 30 нивоза V года — Извещение Талейрана-Перигора*.

Задкинсом-Урвицем, Фурно, Монтиньоном, а также проекта Бюте по лексикологии. В январе 1798 года, будучи недоволен изменением, внесённым в формулировку вопроса, предложенного для конкурса на премию по морали, он написал *Мемуар о способах оснований морали народа* [1] который был опубликован в месяц вантоз в «Меркюре» (*Mercure*). Убеждённый, что первый шаг в морали — это предотвращение тяжких преступлений, что наиболее полезный принцип, который следует вбить в головы, — это убеждение, что всякое преступление неизбежно становится причиной страдания для самого преступника, и что подлинные опоры общества и крепкие устои нравственности — это жандармы и тюремщики, присяжные, уголовные судьи и государственные обвинители, — он выдвигал следующие требования: 1° национальная жандармерия, с постоянной организацией, неизменным порядком повышения в должности, полностью подчинённая единому постоянному начальнику, связывающему своё положение и славу с совершенством службы; 2° институт присяжных, который необходимо сохранить, чтобы не пришлось учреждать его заново в будущем; 3° судьи, независимые как от властей, так и от подсудимых, а значит — хорошо оплачиваемые, назначаемые на длительный срок и перемещающиеся по округам; 4° государственные обвинители, зависящие от правительства и подлежащие отставке даже за простую небрежность; 5° законы, предусматривающие не суровые, а чётко градуированные наказания, соразмерные не столько тяжести преступления, сколько степени соблазна к его совершению; 6° судебная процедура, предоставляющая максимум возможностей для справедливой защиты, но не упускающая ни одного средства установления истины: ибо если бы законодатель смог сделать наказание очевидно неизбежным, почти все беспорядки были бы предотвращены. Что касается пресечения всякого рода мошенничеств, он выступал за хорошо организованные гражданские суды, простое и быстрое судопроизводство, строгие меры против злонамеренных банкротов, возложение судебных издержек на истцов, действующих недобросовестно, отстранение от государственной службы лиц с дурной репутацией и прочее. И прежде всего — за полицию, скорее неудобную, чем парализованную, которая, будучи обязана быстро передавать арестованных суду, имела бы широкие полномочия для осуществления самих арестов.

Большинство законодателей и философов ошибочно полагали, что абсолютное обобществление имущества устранит у людей возможность причинять вред друг другу. Ведь даже если предположить, что каждый сможет отказаться от собственных мыслей, индивидуальные интересы всё равно вновь возникнут, как только дело коснётся распределения общей массы страданий и удовольствий. Важно не уничтожать, а согласовывать и сдерживать

[1] Данный мемуар включает четыре главы: I. О наказании преступлений. II. О пресечении менее тяжких правонарушений. III. Об обстоятельствах, дающих возможность причинить вред другому. IV. О расположении к причинению вреда обществу и его членам, или о порочных наклонностях: § 1. О нравственном воспитании людей; § 2. О нравственном воспитании детей.

различающиеся интересы, которые могут вступать в противоречие, — посредством установления законов, пресекающих преступления и проступки, принятием мер, способствующих слиянию частных интересов с интересом общим, сближению мнений с их общим центром — разумом, и привнесению в деятельность правительства простоты, ясности, упорядоченности и постоянства. Можно также устранить у людей желание вредить друг другу, воздействуя на их склонности, работая над воспитанием — как взрослых, так и детей. Моральные идеи не вложены в нас изначально и не имеют более небесного происхождения, чем прочие наши идеи: мораль — это всего лишь приложение науки о возникновении идей и чувств, и она может совершенствоваться только после идеологии, которая, в свою очередь, зависит от прогресса физики [1]. Но прямое обучение может только усовершенствовать теорию морали, а не распространить и не внедрить её на практике. Если необходимо, чтобы существовали некоторые школы — для подготовки кадров в различные государственные службы, для развития учёной теории и подготовки наставников, для предоставления законодателям систематического понимания частной и общественной морали — то подлинными воспитателями основной массы человечества являются законодатели и правители. Обеспечивая полное, быстрое и неизбежное исполнение карательных законов, устанавливая точный баланс между доходами и расходами государства, провозглашая равенство и уничтожая всякое привилегированное сословие и наследственную власть, исключая священников из всякой оплаты и из всех общественных должностей, включая преподавание морали, вводя развод, равенство в наследовании, почти полное запрещение свободы завещания, полную и абсолютную свободу занятия любыми видами промышленности, свободу внутренней и внешней торговли, свободу ссуды под проценты — обеспеченную и облегчённую хорошим законодательством об ипотеке, — они сделают для нравственного воспитания людей и детей больше, чем все профессора вместе взятые. Последнее, впрочем, будет надёжно обеспечено, если родители сами будут обладать хорошими привычками, выработанными благодаря хорошим общественным институтам. «Остановиться, — говорит бывший лейтенант Лафайета, — на этих могучих мерах и затем сосредоточиться на пользе прямых поучений, даваемых в школах и на общественных праздниках, это всё равно что пренебречь артиллерией армии ради её оркестра».

Этот *Мемуар*, в своих основных положениях свидетельствующий о практическом складе ума и исключительно здравом смысле, показывает, насколько несправедливо сводить идеологов к одним лишь утопистам. Он объясняет нам, почему они колебались — при том, что могли бы, допустим, сделать это эффективно — вступать в беспощадную борьбу против правительства, которое занималось организацией гражданской, военной и судебной администрации, наводило порядок в финансах и обеспечивало

[1] См. те же идеи у Кабаниса, гл. III и IV.

пресечение преступлений и правонарушений; которое обнародовало в 1803 и 1804 годах Гражданский кодекс, в 1806 году Кодекс гражданского судопроизводства, в 1807 году Торговый кодекс, в 1808 году Кодекс уголовного следствия и в 1810 — Уголовный кодекс. Ведь по многим пунктам оно удовлетворяло пожеланиям, которые Дестют де Траси высказывал ещё в 1798 году. Разве оно не прокладывало каналы и водоёмы, дороги, мосты и набережные? Разве не обещало миллион тому, кто изобретёт машину для прядения льна, и ещё миллион тому, кто сумеет заменить тростниковый сахар свекольным? Разве не предоставило пенсию Жаккару и не наградило Ришара Ленуара и Оберкамфа? [1]

В первые месяцы 1798 года Бонапарт, готовя экспедицию в Египет, предложил Дестюту де Траси вновь взять шпагу и отправиться вместе с ним. Дестюту де Траси было сорок четыре года; он колебался два дня [2], а затем отказался и окончательно расстался с карьерой военного, которой была посвящена первая часть его жизни.

Полностью посвятив себя отныне философским исследованиям, он зачитал в Институте трактат [3], предназначенный служить продолжением и дополнением к его анализу способности мыслить. В этом сочинении он рассматривал постепенное усовершенствование индивида, усовершенствование человеческого рода, влияние знаков и эффектов, вызываемых частым повторением одних и тех же восприятий. Затем он исследовал воздействие, которое оказывают на развитие индивида и вида так называемый язык действия и членораздельные знаки, отмечая их достоинства и недостатки. Перейдя к анализу привычки, он показывал, какое действие она может оказывать на наши ощущения, движения, воспоминания, суждения и желания — и приходил к выводу, что именно привычка является почти единственной причиной нашей способности к интеллекту и, одновременно, единственным источником тех трудностей, которые мы испытываем, пытаясь постичь её саму.

Затем он переработал эти различные *Мемуары*, чтобы придать им более совершенную редакцию, и завершил их второе чтение 22 жерминаля. Напечатанная в первом томе *Мемуаров второй секции* (Института), его работа вышла в свет в конце VI года, наряду с тремя мемуарами Кабаниса и двумя Ларомигьера. Она разделена на три части, посвящённые: способу, каким мы приобретаем знание о внешних телах и о собственном теле; особым

---

1 См. то, что говорит Дестют де Траси о новой Франции, § 1, и конец своей речи при вступлении во Французскую академию, гл. VI, § 3.

2 Он скажет несколько лет спустя (Gr., стр. 206): «Если бы иезуиты лучше выбирали книги, которые они печатали… то типография уже теперь была бы полностью учреждена у маронитов, а вслед за тем, возможно, и у многих народов Востока… и невозможно определить, какие последствия имело бы такое положение вещей во время экспедиции в Египет и Сирию».

3 *Декада философская*, 30 жерминаля VI года — извещение Лакюэ.

способностям, составляющим общую способность мыслить; тому, как действие элементарных способностей мышления привело к нынешнему состоянию человеческого разума, и трудности, которую мы испытываем, стремясь распознать операции нашей души. Эти три части, из которых первая является введением ко второй, прояснённой и дополненной третьей, составляют полное изложение идеологической теории Дестюта де Траси. В первой части он восхваляет Локка и Кондильяка, который, устранив всякую неясность относительно происхождения идей, научил людей, как именно ощущения внутренне их модифицируют. Рядом с ними он ставит Кабаниса, который с успехом исследовал внутренние эффекты чувствительности. Возражая Локку и Д'Аламберу, он утверждает, что можно дать определение протяжённости, пространства и движения, разложив каждое из этих понятий так, чтобы показать, от какого чувства происходит каждая их составляющая. Но больше всего он спорит с Кондильяком, который, приписав осязанию познание тел, был введён в заблуждение из-за несовершенного анализа эффектов этого чувства. Он с проницательностью критикует *Трактат об ощущениях*, указывая на его противоречия и неясности. Кондильяк, говорит он, полагал, что идея протяжённости формируется из одновременности нескольких ощущений, как идея длительности — из их последовательности. Именно эта ложная трактовка понятия протяжённости не позволила ему открыть, каким образом мы приобретаем идею протяжённости и идею тел. Показав, что знанием тел мы обязаны **мотильности** (способности к движению), он отличает её от осязания: все наши чувства составляют способность получать различные впечатления от внешних тел — не воспринимая при этом сами эти тела; мотильность же — это способность извлекать из этих же тел впечатление сопротивления нашим движениям, которое даёт нам знание об их существовании. Это **шестое чувство**, до сих пор не выделенное, потому что у него нет собственного органа. Это достоверная, новая и плодотворная истина, проясняющая понятия о движении, пространстве, месте, теле, протяжённости, длительности и времени. «Я двигаюсь, — говорит он, — я это чувствую, и не получаю никакой модификации моего "я", кроме ощущения движения. То, что я встречаю, есть ничто, пустота. Я продолжаю движение и чувствую, как моё ощущение прерывается, сталкивается с чем-то. Я называю *препятствием* или *телом* то, что оказывает мне это сопротивление и мешает мне двигаться. Из ничего и из тела я вывожу обобщённое понятие *пространства*, которое пусто, если я не встречаю ничего, и полно, если встречаю тела. *Место* это участок пространства, полного или пустого, определяемый его отношением к другим участкам пространства; *поверхность* это совокупность точек, ограничивающих тело; *форма* — расположение частей поверхности; *протяжённый объект* или *тело* — это существо, которое мы непрерывно ощущаем в то время, как ощущаем определённое количество движения. Протяжённость тела — это, для нас, постоянное представление о количестве движения, необходимом, чтобы его охватить». Все части нашей способности чувствовать, соединённые со способностью вспоминать, могут дать нам идею о *длительности*; но без мотильности я не имею никакого средства оценивать длительность — могу

лишь иметь понятие *времени*, то есть участка длительности, измеренного движением [1].

После этой теории, имеющей первостепенное значение в истории французской философии [2], напомним ещё, что говорит Дестют де Траси о *я*. *Я*, — говорит он, — это абстрактная идея совокупности всех чувствующих частей, составляющих целое; оно есть их результат. Его пространственное измерение состоит из всех частей, которые одновременно ощущают и подчиняются одной и той же воле; во времени — из всех восприятий, которые мы знаем как принадлежавшие этим частям. Идея *я*, — добавляет этот бывший завсегдатай королевских балов, — составлена из частей, объединённых для ощущения, так же как идея бала состоит из лиц, собравшихся для танца; в обоих случаях все составляющие элементы могли сменяться один за другим, их активность могла быть нарушена, приостановлена, прервана — но это всегда остаётся тем же самым балом и тем же самым *я*, если только система не была разрушена [3].

Первая часть *Мемуара* завершала анализ происхождения идей [4], до того завершённый лишь частично; вторая представляет собой картину операций нашей мысли в процессе формирования знаний и чувств. Наука о мышлении не имеет собственного названия, поскольку выражение «анализ ощущений и идей» лишь описывает сам род деятельности, которой нужно заниматься. Эту науку нельзя называть *метафизикой*, потому что это слово обозначает науку, изучающую природу существ, духов и различные уровни интеллекта, происхождение вещей и их первую причину, — то есть науку, отличную от физики, частью которой, как показал Локк, является знание способностей человека. Несомненно, наши ощущения это всё для нас: физика есть знание наших ощущений, рассматриваемых в тех существах, которые их вызывают, — история *внешнего мира*; метафизика это знание этих же ощущений, рассматриваемых по их воздействию *в нас*, — история нашего *я*, *внутреннего мира* [5]. Это красивое и завершённое деление, но оно предполагает новое употребление слова, которое было слишком скомпрометировано. Слово *психология*, о котором думал Кондильяк, означает «наука о душе»: оно предполагает знание некоего существа, души, и может навести на мысль [6], будто речь идёт о смутных поисках первопричин, а не о знании эффектов и их практических следствий. Слово *идеология*, или *наука об идеях*, — очень

---

1 См. те же идеи у Бэна (The Senses and the Intellect), Спенсера (Principles of Psychology), Тэна (L'Intelligence), Рибо (Psychologie anglaise).

2 Ср. А. Бертран, *Психология усилия*. Ср. наше Введение к Записке Бирана.

3 См. то, что сказано о балете, § 2.

4 Кабанис критикует Кондильяка и дополняет его изучением внутренних ощущений; Дестют де Траси критикует его и дополняет изучением моторности. Как можно утверждать, как делают все историки, что идеологи — это «чистые кондильякианцы»? Ср. повсюду.

5 Дестют де Траси часто будет пользоваться словом «метафизика», при этом нужно хорошо помнить новый смысл, который он ему придаёт.

6 См. по этому поводу мнение Кабаниса, гл. III и IV.

разумное: оно не вызывает ассоциаций с понятием причины; оно совершенно понятно в контексте значения французского слова *idée* («идея») и строго точно в рамках данной гипотезы; и столь же точно с точки зрения греческой этимологии. Ведь греческое слово (ὁράω) означает «я вижу, я воспринимаю, я познаю», а слово (εἶδος) или (ἰδέα), обычно переводимое как «образ», при точном анализе означает *восприятие посредством зрения*. Мы сделали из (ἰδέα) слово *идея*, чтобы обозначить восприятие вообще; точно так же мы вполне можем создать слово *идеология* для обозначения науки, которая изучает идеи [1].

Что касается способности мыслить, чьими продуктами являются восприятия или идеи, то она сводится к пяти способностям: **Чувствительность** (sensibilité), или способность воспринимать ощущения — запах, вкус, шум и звук, цвет и свет, тепло и холод, сухость и влажность, боль или удовольствие внутри тела, движение; **память**; **суждение**, или способность воспринимать связи (отношения), — которая остаётся бездействующей до тех пор, пока мы не получим ощущения, указывающие на её источник, пока мотильность не даст нам восприятий движения и сопротивления; **воля**, или способность воспринимать желания; **мотильность** — без неё мы не имели бы ни знания внешних тел и собственного тела, ни знаков, ни вообще какого-либо знания, поскольку всякое знание представляет собой соотношения или восприятия, относящиеся к нашему суждению. Мысль объединяет различные соотношения (сопротивление, цвет, вкус, запах, вес, форма, объём) и создаёт из них единую идею; она различает сходные качества, по которым предметы отличаются друг от друга: связывать и отвлекать (абстрагировать) — вот две операции, с помощью которых мы формируем составные идеи [2].

Дестют де Траси не осмелился исследовать физиологические причины чувствительности и способностей, из неё вытекающих, равно как и причины связи этих способностей с волей. Он оставляет эти глубокие и полезные исследования тем из своих коллег, кто способен глубже проникнуть в подобные тайны, и делит идеологию на *физиологическую* и *рациональную* [3]. Первая, весьма занимательная, требует обширных знаний, но в нынешнем состоянии

---

1 Гамильтон критикует этот термин, который хотел бы заменить, «чтобы избежать двойной ошибки — философской и греческой», на термин «идеология».

2 Речь идёт об идеях, представляющих собой частные представления о качествах тел (первый порядок), или о тех же частных идеях, ставших общими благодаря операции абстрагирования (сверхсоставные), либо о конкретных идеях уже обобщённых идей, но применённых, как, например, идеи жизни и смерти, к какому-то отдельному индивиду (третий порядок), либо о тех же конкретных и обобщённых идеях, как идеи жизни и смерти, применённых к другим индивидам (четвёртый порядок). Наконец, из идей жизни и смерти или из других идей я составил себе идеи причины и следствия. Я вижу, как один человек убивает другого, я составляю частную идею убийства (пятый порядок), которую затем распространяю на все подобные события (шестой порядок).

3 Дестют де Траси берёт на себя ту часть, которой специально не занимается Кабанис. Но и тот не пренебрегает рациональной идеологией, и этот — физиологией. Они взаимно дополняют друг друга и должны рассматриваться на одном уровне.

научного просвещения она может, в лучшем случае, рассчитывать на уничтожение множества заблуждений и установление лишь немногих истин. Вторая требует меньших знаний и, возможно, сопровождается меньшими трудностями, но, располагая достаточно связанными фактами и занимаясь только их следствиями, она допускает более прямые применения и построение завершённой системы. Для того чтобы дать полноценный анализ страстей и чувств, такой, какой ещё не был предложен, даже Адамом Смитом, Дестют де Траси хочет объяснить, как формируется *первое желание*. Кондильяк показал, что *потребность* есть принцип всех операций мысли, но он не объяснил ясно, что собой представляет сама потребность. Он доказал, что *желание* рождается из потребности, но ошибся, сделав потребность формой знания, тогда как наши *первые потребности*, из которых происходят все прочие и которые вытекают из самой организации, — это простые восприятия, чистые чувства, непосредственные продукты одной лишь способности чувствовать, и, следовательно, они *предшествуют* любой операции суждения, любому восприятию связи — то есть *любому знанию*. Потребность есть сама по себе *ощущение* — всякое удовольствие или всякая боль, которую мы воспринимаем. Желание же это потребность, сопровождаемая восприятием связи, *знанием* [1]. Это, в живом существе, желание *воли*, которую мы хотим сделать своей, как просим у цветка его аромат, а у плода его вкус. Добрая воля — это та, что соединяется с нашей; злая та, что сопротивляется. Если мы желаем власти, богатства, почестей и прочего, то это потому, что думаем, как с помощью этих вещей мы сможем склонить к себе чужие воли. Именно это желание создаёт прелесть дружбы и истинной любви, порождает в нас потребность в уважении со стороны других и даёт начало нравственной чувствительности, человеколюбию [2].

Является ли чувствительность активной или пассивной? — это вопрос слов. Если под действием понимать в общем смысле всякое движение существ, доступных нашим чувствам, — тогда мы активны в самой операции чувствования. Если же быть активным означает действовать свободно, по собственной воле, а быть пассивным значит действовать по необходимости, принуждённо, — то мы пассивны, когда воспринимаем ощущение, не желая его, и активны, когда испытываем его лишь после того, как вызвали его сознательным актом нашей воли. Быть свободным — значит иметь возможность действовать в соответствии со своей волей; свобода это способность удовлетворять свои желания. **Свобода** и **счастье** — две стороны

---

1 На первой ступени находится чистое ощущение, лишённое всякой идеи причины, рождающее частное желание испытываемого ощущения. На второй — индивидуальная идея тела, причины данного ощущения, образованная посредством операции конкретизации, рождает желание этого тела. На третьей и четвёртой ступенях идея ощущения или тела, распространённая на все аналогичные ощущения или все подобные тела посредством операции абстрагирования, порождает желание этого ощущения или этого тела вообще и т. д.

2 Эти идеи встречаются у Кабаниса.

одной и той же идеи: истины моральные, политические, физические и математические, все это средства к счастью и свободе, к благополучию и могуществу. Наша воля не является свободной в том смысле, что наши первые желания вынуждены, необходимы и неизбежно вытекают из природы существ и их отношений к нашей организации. Но у нас весьма часто есть возможность по собственному желанию вызывать восприятие ощущения или воспоминания, из которых возникают новые привычки, приводящие к другим впечатлениям, к новым знакам, порождающим новые сочетания, новые знания, которые служат основой новых желаний. В этом смысле воля свободна. Тем не менее ни одно из волевых действий, благодаря которым мы вызвали эти восприятия и вызвали новые желания, не могло возникнуть без причины; следовательно, самое сложное из наших желаний является столь же необходимым результатом, как и самое простое. Если бы мы знали всю цепь причин и следствий, мы бы увидели, что всё существующее — существует по необходимости. Вера в свободу, как и вера в случай в физическом мире, происходят лишь от незнания причин [1]. Впрочем, это вопрос чисто умозрительный, не имеющий никакого влияния на практические применения идеологии и затрудняющий лишь тех, кто непременно хочет составить себе ясное представление о первой причине всего сущего и приписать ей намерения, соответствующие мелочным построениям их слабого ума [2].

Средствами, через которые действует наша чувствительность, являются внутренние и внешние органы; общими же средствами, посредством которых действуют память, суждение, воля и мотильность, служат внутренние органы. Связь идей устанавливается согласно отношениям сходства или различия, соответствия или несоответствия, следствия, зависимости, времени и места. Чувствительность поставляет материал; суждение определяет способ, по которому этот материал используется. Истинные знания, основанные на опыте или факте, представляют собой знание впечатлений; истины рассудка, которые возникают из сравнения отношений между абстрактными идеями, без привлечения нового опыта, — являются лишь их следствиями. Поэтому Кондильяк ошибался, считая рассуждение особой способностью, поскольку рассуждения это лишь последовательность суждений, а всё наше знание сводится к восприятию связей [3], к составлению из них идей существ и идей, от них абстрагированных, к распознаванию связей между идеями, заключёнными в фактических отношениях. Наши истинные средства познания это интеллектуальные способности; а наблюдение и анализ — лишь способы их применения. Совершенство науки определяется не числом наблюдаемых фактов, а степенью понимания законов, ими управляющих. Если бы все науки достигли, как астрономия, такого уровня, при котором каждая сводится к одному-единственному принципу, то вся совокупность человеческого знания

1 Эти идеи, воспроизведённые в *Идеологии*, напоминают Спинозу.

2 См. те же идеи у Кабаниса.

3 Мы уже указывали у Кабаниса на эту теорию, которую в наши дни хотят приписывать исключительно Амперу, — гл. IV, § 1 и заключение.

уместилась бы в нескольких предложениях. Чтобы объединить все отрасли знания, было бы достаточно найти первичное положение [1] из которого вытекали бы все основные положения. Тогда стало бы очевидно, что вторичные истины — это не более чем следствия первичной истины, в которой они уже заключены имплицитно и которая представляет собой лишь частичные развертывания этой истины — наподобие тех коробочек, в которых внутри обнаруживается ещё одна, в ней — третья, и так далее. Кондильяк, говоря, что все истины суть одна, лишь отчасти уловил эту прекрасную концепцию, потому что он сводил правильные рассуждения или суждения к уравнениям, в то время как первичная и общая идея по своему охвату гораздо шире всех тех, что она в себе заключает.

Дестют де Траси не стремился во второй части дать завершённый и классический трактат об *умственном понимании* (об уме), но лишь *проспект*, *оглавление* ещё только подлежащего написанию сочинения. Он утверждал только то, в чём убедился посредством глубоких размышлений, тщательных наблюдений и повторённых опытов. Он испытывал личную уверенность в том, что не высказал ни одного предположения, которое не было бы строго истинным. Следовательно, возможно придать общественной науке признанные и систематические принципы, которые позволят объяснять и даже предсказывать счастье и несчастье различных обществ.

В третьей части, уже ранее кратко проанализированной, Дестют де Траси замечает, что чувствительность и способность к совершенствованию мы получаем от природы, или от нашей организации, но достаточно трудно определить, до какой степени может развиться отдельный индивид в изоляции. Дети, найденные в лесу, дают лишь неполные и неточные наблюдения; рождённые глухонемыми могли бы предоставить более надёжные сведения, но до сих пор они недостаточно тщательно изучены [2]. Тем не менее, вполне очевидно, что посредством языка действия мы не смогли бы формировать абстрактных идей. Настолько ясно, что прежде чем представить идею, нужно сначала её подумать, что трудно понять, как некоторые образованные люди могли утверждать, будто мы не можем мыслить без знаков. Напротив, очевидно, что мы никогда не имели бы знаков, если бы у нас не было мыслей, которые нужно выразить [3]. Но как только знаки изобретены, часто бывает, что мы воспринимаем знак раньше, чем саму идею. И если знаки обладают преимуществами, то имеют и серьёзные недостатки. Один и тот же знак сначала вызывает весьма несовершенную, а то и вовсе ложную идею; затем — идею, отличную от той, которую связывают с ним другие люди, использующие этот знак; и наконец — идею, зачастую весьма далёкую от той, которую мы сами прежде с ним связывали. В этом мы видим и то, в чём состоит

---

1 См. Тэна, уже цитированного в предыдущих главах в связи с Кабанисом.

2 Ср. Дежерандо, гл. VIII, § 1.

3 См. то, что мы говорили о Рёдерере (гл. II, § 2) и о Кабанисе (гл. IV, § 2), — в опровержение одного утверждения Сент-Бёва, слишком широко принятого.

исправление первоначальных идей, или же прогресс разума у молодёжи; и причины разнообразия и противоположности мнений среди людей по многим вопросам; и источник непрестанной изменчивости их взглядов на протяжении разных периодов жизни. Эти недостатки постепенно ослабевают по мере совершенствования знаков, и можно попытаться определить, каким условиям должен отвечать письменный язык, чтобы быть совершенным. Большим препятствием на пути к этой прекрасной мечте служит невозможность с самого начала найти ограниченное количество корневых слогов, которые позволяли бы с помощью производных форм воспроизводить, в наглядной форме, комбинации нашего разума при формировании идей; а затем — невозможность найти человека, который, движимый лишь любовью к истине и обладая универсальным знанием, мог бы единолично и в один приём создать целостный язык. Впрочем, — говорит Дестют де Траси, — совершенный язык это несомненно, химера, как и совершенство в любом другом виде.

Среди достоинств знаков он отмечает и поразительную лёгкость, с которой они позволяют нам воспроизвести те ассоциации и комбинации простых идей, которые были осуществлены создателем сложной идеи; ту передачу знаний, которую они обеспечивают нам о всех фактах, наблюдённых нашими собратьями, давая нам тем самым доступ к опыту всех времён и всех людей. Кроме того, они пробуждают любознательность; они дают нам нравственные потребности, внушая, что наши ближние наделены волей, которую нам столь важно — и выгодно — постараться привлечь на свою сторону.

А ведь те идеи, которые мы столь быстро формируем с помощью знаков, мы имеем без ясного сознания каждого из их элементов и способа их соединения. Это удивительное явление — следствие действия, которое оказывает на нас частое повторение одних и тех же впечатлений. Часто повторяющееся впечатление производит в нас предрасположенность, которую мы называем **привычкой** [1]. Однако различные привычки имеют весьма различное действие; одна и та же привычка зачастую вызывает эффекты, которые кажутся совершенно противоположными. Физическая чувствительность и нравственная чувствительность могут как притупляться, так и обостряться; движения, ставшие чрезвычайно лёгкими, то полностью подчиняются воле, то становятся совершенно непроизвольными. Суждения могут отличаться исключительной тонкостью — или быть настолько смутными, что человек даже не осознаёт их. Воля иногда определяется *без всякого мотива*, а иногда — *вопреки очевидным мотивам* [2]. Однако простое повторение чистого ощущения, как бы часто оно ни происходило, не оставляет в нас никакого нового состояния. Частое повторение

---

1 Мы уже указывали на то значение, которое Кабанис придаёт привычке, — гл. IV, § 2.

2 Если возразят, что ощущение уже не вызывает затем удивления, то это потому, что удивление есть результат суждения и что, следовательно, внимание, которое из него проистекает, не является элементарной способностью, а представляет собой модификацию нашего существа, порождённую суждением, которое рождает желание познавать. Это — опровержение теории Ларомигьере, изложенной уже в *Мемуаре* от 7 жерминаля IV года.

одних и тех же движений делает их выполнение более лёгким за счёт увеличения гибкости органов, не изменяя и не усиливая при этом самого восприятия этих движений. Чем чаще воспоминания были повторены, тем легче они возвращаются. С желаниями дело обстоит так же: и вместо того чтобы, вслед за Кондильяком, говорить, что страсть это сильное желание, ставшее привычкой, следует сказать, что страсть это желание, ставшее сильным и постоянным потому, что суждение, породившее его, стало привычным. Когда определённое суждение повторяется очень часто, оно само и все его аналогичные формы становятся для нас чрезвычайно лёгкими, не привлекают никакого внимания и едва ли ощущаются. Отсюда следует, что в одно неделимое мгновение мы совершаем множество операций, о которых почти не отдаем себе отчёта и которые почти невозможно осознать или объяснить. Привычка, воздействующая напрямую лишь на наши суждения, — есть причина множества кажущихся противоречий, которые мы с удивлением наблюдаем в человеке, и всей той трудности, с какой мы пытаемся распознать происходящее в нём и выстроить науку идеологии.

Таким образом, Дестют де Траси объяснил состояние изолированного индивида и **глухонемого от рождения**, состояние говорящего человека и градации между дикарём и просвещённым человеком. Он обнаружил причину всего, чем мы являемся, источник трудностей науки и множество доказательств того, что его способ понимания действия нашего разума обоснован. Он может применить свою идеологическую теорию к различным областям нравственных наук. И действительно, Дестют де Траси заложил основы своей системы, обратил внимание мыслителей на роль знаков и привычки, и тем самым подготовил труды Дежерандо и Прево, Ланселена и Бирана.

III

Д. де Траси в Совет по общественному просвещению, циркуляры преподавателям; Доклад о состоянии народного образования; универсальный язык; чувство сопротивления; существование; замечания по вопросам просвещения населения; Д. де Траси и Лагарп.

Вскоре после этого Дестют де Траси получил возможность применить свои идеи к *науке воспитания*. В феврале 1799 года он был назначен в Совет народного просвещения, получив специальное поручение ускорить рассмотрение *тетрадей по общей грамматике и законодательству*. Он составил шесть циркуляров, утверждённых министром. Первый содержал серию вопросов; второй, адресованный преподавателям законодательства, определял характер и объём преподавания, которое им вверено; место, которое этот предмет должен занимать в системе образования в целом, связь с другими дисциплинами, время, которое ему можно посвятить, и порядок изложения, которому следует придерживаться. Курс должен дать молодым людям здравые

принципы частной и общественной морали, чтобы сделать их добродетельными гражданами, просвещёнными в отношении своих интересов и интересов своей страны [1]. Показывая, каким *должно быть*, он научит судить о том, что *есть*. Он будет следовать за той частью курса общей грамматики, которая объясняет возникновение наших идей и чувств, и предшествовать курсу истории — ибо необходимо обладать твёрдыми принципами, чтобы читать историю без вреда. Третий циркуляр призывает преподавателей древних языков присылать свои курсы и напоминает им, что молодёжь не может выучить принципы языка, не имея хотя бы основательных понятий общей грамматики, и не способна понять правила языка, не зная, что происходит в их собственном разуме, когда они мыслят и пытаются выразить свои мысли. Таким образом, элементарный трактат по идеологии и общей грамматике будет служить подготовкой к курсу латинского или греческого языка. При этом в качестве руководства будут использоваться Кондильяк, Дюмарсе или какой-либо другой крупный метафизик.

В тот же день Дестют де Траси направил ещё два циркуляра. Первый требовал от преподавателей общей грамматики прислать свои тетради. Курс будет включать в себя идеологию, общую грамматику, французскую грамматику и логику. Будучи дополнением и венцом курса древних языков, он станет введением в курсы изящной словесности, истории и законодательства. Преподаватель всегда будет двигаться от известного к неизвестному, используя знания, полученные учениками при изучении древних языков, чтобы дать им более глубокие уроки по идеологии и общей грамматике, применяя эти знания к французской грамматике, которая составляет первый шаг в изучении изящной словесности. Наконец, на этом основании он выведет правила искусства рассуждать [2]. Второй циркуляр, направленный преподавателям истории, содержал аналогичный призыв. Курс истории должен дать общее представление о событиях, последовательно происходивших у народов, заслуживших внимания историков; научить *наблюдать движение человеческого духа* в разные эпохи и в разных странах, выявлять причины его прогресса, заблуждений, временных откатов в науках и искусствах, показать *социальную организацию* и устойчивую связь между счастьем людей и числом, а главное точностью их идей. Курс подготовит тех, кто пожелает, к

---

1 1° элементы морали, почерпнутые из исследования природы человека и его умственных способностей, основанные на его правильно понятом интересе, на неодолимом желании быть счастливым и составляющие то, что называют естественным правом; 2° применение этих принципов к организации политического тела, к кодексу его уголовных, гражданских и экономических законов, к его отношениям с иностранными народами, то есть к публичному, уголовному и гражданскому праву, к политической экономии и праву народов.

2 То есть — изучение того, что составляет достоверность наших знаний, истинность наших восприятий и правильность наших выводов, опирающееся на исследование наших умственных способностей, на эффект, который оказывает на них частое повторение одних и тех же операций, и на использование знаков, с помощью которых мы комбинируем и передаём наши идеи. Это — резюме предыдущего Мемуара.

углублённым исследованиям, и предложит сводную картину всеобщей истории, с указанием источников, в которых можно почерпнуть более глубокие знания по каждой из её частей, а также полезные советы о том, как пользоваться авторами и как их оценивать. История, если речь идёт о метафизике, морали, социальном искусстве и политической экономии, может, скорее, *закреплять старые предрассудки*, чем открывать подлинные принципы; поэтому она должна следовать за курсами общей грамматики и законодательства. Какую бы пользу ни приносило изучение истории Греции и Рима, **нельзя пренебрегать и историей восточных народов**, у которых были обнаружены истоки большинства истин и заблуждений, пришедших к нам через греков и римлян.

Дестют де Траси анонсировал на будущее более подробные инструкции и отмежевался от намерения восстанавливать практику диктантов, которые в старых школах отнимали слишком много времени. Тем не менее он выражал надежду, что некоторые из запрашиваемых тетрадей превратятся в превосходные элементарные пособия.

После 18 брюмера, совершённого при поддержке его друзей и с одобрения Института, Дестют де Траси был назначен сенатором. Однако Конституция VIII года не удовлетворила его [1]. Тем не менее он продолжал начатое дело: 16 плювиоза (февраль 1800 года) он представил Совету важный доклад, в котором изложил точное состояние народного образования и предложил возможные пути его улучшения. Он указывал, что преподаватели, как правило, используют для преподавания древних языков — методы Гайля и Геруля; для естественной истории — труды Бюффона, Жюссьё, Добантона, Ласепеда, Кювье; для математики — Безу, Боссю, Лежандра, Кузена; для физики и химии — Фуркруа, Бриссона, Гюйтона, Гаюи; для общей грамматики — Кондильяка, Дюмарсе, Дюклоса, Кур де Жеблена, Локка и Харриса; для изящной словесности — Баттё, Блэра, Кондильяка; для истории — Роллена, Милло, Вольтера; для законодательства — Монтескьё, Гоббса, Филанджери, Беккариа и др. Он отмечал, что несколько тетрадей по общей грамматике и законодательству были признаны достойными особого внимания, и Совет передал их планы и идеи другим преподавателям. Отмечая положительное влияние Политехнической школы на преподавание математики, он утверждал, что по этому примеру можно судить о том, какую пользу принесли бы аналогичные учреждения в области словесности и нравственных наук. Курс общей грамматики, по его словам, — один из тех, где Совет отметил наибольшее число преподавателей, выделяющихся своим просвещением и рвением [2]. Состояние народного образования внушает обоснованные надежды,

---

1 «Нет, — скажет он позднее (С., стр. 207), — меры, которая могла бы воспрепятствовать узурпации, когда вся действенная сила сосредоточена в одной руке. Назначение сенаторов, — прибавлял он, — порочно с самого начала и стало ещё более порочным, равно как и их полномочия, вследствие незаконных постановлений, которые они называют конституциями Империи».

2 Ср. гл. I, § 2.

и любое потрясение, а даже просто перемещение центральных школ было бы общественным бедствием. Тем не менее, можно было бы отменить деление курсов на три секции, создать вторую кафедру древних языков, допускать учащихся без ограничения по возрасту, принять учебный план «соответствующий истинному пути человеческого разума и благоприятный для развития разума», в котором моральные и политические науки, столь необходимые гражданину, заняли бы подобающее место. Никто не должен был бы получать высокие должности в Республике, не пройдя углублённого обучения в Париже, в Высшей школе, которая по отношению к этим наукам стала бы тем же, чем является Политехническая школа для математических и физических наук. Такую школу можно было бы легко организовать, внеся лишь небольшие изменения в Коллеж де Франс и добавив несколько кафедр. Но поскольку изучение моральных и политических наук крайне запущено, будучи отвергнуто предрассудками, следует объявить, что через несколько лет никто не будет допущен в специальные школы, не пройдя курс законодательства в центральной школе.

Этот замечательный доклад, одобренный Советом, был направлен министру, который лишь ограничился подтверждением его получения. Бонапарт уже готовился к упразднению второй (идеологической) секции Института — и у него не было ни малейшего желания создавать новый очаг «идеологического брожения». Придётся ждать вплоть до наших дней, чтобы стало возможным — пусть в теории, если не на практике — признание того, что управление большим государством требует предварительных научных знаний, так же как строительство моста или руководство фабрикой [1].

Три месяца спустя Дестют де Траси зачитывал в Институте несколько размышлений о **проектах пасиграфии**. *«Хотелось бы*, — говорил он, — *иметь универсальный язык и универсальное письмо. Но язык, в самом широком смысле, это система знаков, выражающих наши идеи; в узком смысле это система знаков, исходящих от голосового органа и воздействующих на орган слуха. Письмо же, это не собрание знаков, а совокупность знаков-знаков, которые преобразуют в зрительные знаки, и притом без изменения, голосовые знаки устного языка»*. Создавая пасиграфию, стремятся не столько к созданию универсального письма (ведь наш алфавит с одинаковым успехом передаёт все языки Европы), сколько к созданию универсального языка. Но трудно надеяться, что новый язык может стать универсальным. Пусть даже первичные корни всех языков — это звуки и артикуляции, продиктованные природой в определённых обстоятельствах, — всё остальное есть дело условности. Язык может стать универсальным, как и национальным, только в результате добровольной договорённости. Но надеяться на такую добровольную готовность принять новый, искусственно созданный и заранее

[1] Г-н Бутми в большой мере содействовал распространению этой идеи, создав и организовав работу Свободной школы политических наук.

спроектированный язык — абсурдно, учитывая, что даже учёные, располагавшие готовым и почти универсальным латинским языком, допустили его почти полное исчезновение. Кроме того, проекты пасиграфии и не предполагают создания устного языка: это языки визуальные, письменные. Однако если и создавать новый язык, который мог бы стать универсальным, он должен быть устным, потому что только тогда он был бы: более полезным, более лёгким для записи, более подходящим для выражения и передачи идей, более пригодным для размышления, более доступным для изучения и запоминания. К тому же он не был бы и труднее в создании, поскольку звуковые знаки предлагают более удобные и более различимые комбинации, чем визуальные знаки. Но для этого потребовалось бы ясно и полностью продумать методическую и философскую классификацию всей совокупности бесчисленных идей, наполняющих наш разум, точно различить все ряды их производных, модификаций и сочетаний — а это задача непреодолимая. И даже если бы она была преодолена, то новый язык лишь усугубил бы путаницу, поскольку он никогда не стал бы универсальным. **Проект пасиграфии ошибочен по самому своему замыслу** и не даст никакого полезного результата. Всё, что можно было бы сделать — это взять уже известный язык, в котором никто не был бы заинтересован сохранять его нерегулярности — например, латинский или греческий, — и использовать его широко, не стесняясь исправлять. Такой язык стал бы лучше наших современных. Но и он не был бы ни полностью философским (потому что для этого необходимо, чтобы все наши науки, особенно идеология, были завершены), ни совершенно универсальным, так как его пришлось бы непрерывно изменять. Лучше улучшать наши собственные языки: тот язык, в котором будут охотнее прислушиваться к голосу разума, который будет наиболее стройным, наилучшим образом произносимым и записываемым, в котором науки и искусства достигнут наибольшего прогресса, — вот тот язык, который более других приблизится к универсальности.

Рассмотрев вопрос, к которому он уже обращался в последней части своего большого *Мемуара*, Дестют де Траси возвращался к проблеме, с которой всё начиналось. С помощью новых доказательств он показывал, что именно ощущению сопротивления мы обязаны знанием тел, и что до приобретения этого знания действие нашего суждения невозможно, поскольку мы не в состоянии различать между собой одновременные восприятия. В последнем издании *Сочинений Кондильяка*, наряду с *Языком исчислений* — драгоценным памятником редкого таланта автора и образцом для тех, кто хочет применять те же методы к иным предметам, — он особенно отмечал изменения, внесённые в *Трактат о ощущениях*, все остальные сочинения Кондильяка, представлявшиеся ему лишь применениями или резюме этого основного труда. Напоминая, что история мыслей Кондильяка — это, так сказать, история науки с 1746 по 1780 год, он излагал взгляды Кондильяка на происхождение идей в 1746, 1754 и 1780 годах. В 1746 году Кондильяк ошибочно утверждает, вопреки Локку и Вольтеру, что глаз судит, то есть естественным образом распознаёт

фигуры, величины, положения и расстояния. В 1754 году, в *Трактате о ощущениях*, он считает, что именно через осязание, сопряжённое с движением, мы учимся приписывать наши восприятия чему-то внешнему по отношению к нам. В своих последних размышлениях он ещё ближе подходит к мнению Дестюта де Траси. Он мог бы сказать, как его преемник: *«Мы узнаём, что существует тело, потому что оно препятствует нашим движениям и даёт нам ощущение сопротивления. А потому мы не можем ни познать, ни даже вообразить ничего, кроме того, что обладает сопротивлением и протяжённостью»*. Если он и не дошёл до этого, то потому, что упускает из виду собственное утверждение: когда мы двигаемся, мы *ощущаем* это. Кроме того, Дестют де Траси, который анонсирует разъяснения относительно свойств тел, чтобы соединить всё ещё слишком разделённые метафизику и физику, отмечает в вариантах и в «Языке исчислений» несколько новых идей, *в точности таких*, какие он сам изложил в своём *Мемуаре*. Он согласен с Кондильяком по трём основополагающим положениям: 1° Все наши идеи происходят из ощущений; 2° Простое и чистое ощущение — это лишь модификация нашего существа, не содержащая ни восприятия отношений, ни суждения; 3° Только ощущение сопротивления даёт нам возможность отнести восприятие к чему-то *вне нас*. Более последовательно следуя из этих принципов, Дестют де Траси отходит от своего предшественника. Считая ощущение сопротивления составным — состоящим из ощущения движения и ощущения твёрдости, — он не верит, что статуя, лишённая движения и не обладающая знанием тел, может различать, сравнивать, воспринимать отношение между текущим запахом гвоздики и запахом розы, о котором она помнит. Таким образом, первая часть «Трактата о ощущениях» рушится. Больше не может быть речи о том, чтобы искать знания, желания или привычки у человека, который имел бы один, два или даже пять чувств, но не испытал бы ощущения сопротивления, ибо до него он не способен вынести ни одного суждения.

В своих предыдущих трудах Дестют де Траси не занимался доказательством того, что тела существуют, и что мы их познаём, поскольку считал эту задачу излишней. Однако ему возражали, что ощущение сопротивления само по себе, не более чем прочие ощущения, не даёт уверенности в том, что оно происходит извне. Он посчитал себя обязанным заняться этим вопросом. В июле он зачитал в Институте ***диссертацию о существовании и гипотезах Беркли и Мальбранша*** [1]. Мальбранш, предавшись размышлениям о Боге и о душе, пришёл к принятию платонических мечтаний об умопостигаемом мире. Но его взгляды всё же не следует отвергать: в них есть, что заслуживает внимания. Беркли написал *Новую теорию зрения* — поистине превосходное сочинение, полное идей, отличающихся точностью, проницательностью и глубиной, которые восхищают. Он справедливо утверждал, что не существует некоего сущего, которое можно было бы назвать «материей», поскольку существуют

[1] См. то, что мы говорили о Тюрго, Введение, § 3.

лишь *отдельные тела*; что тела нам известны только через ощущения, которые они нам причиняют, и что для нас *реально* существует только то, что воспринимается — ощущения и идеи; но он совершенно произвольно заявил, будто причины этих ощущений *непременно* должны существовать в мышлении некого духа и *не могут* иметь никакого иного способа бытия. Он допустил **постоянную двусмысленность**, *непрерывную путаницу* между впечатлением, получаемым чувствующим существом, и *качеством*, присущим или способным быть присущим другому существу, — и которое *вызывает* это ощущение. Проблема существования собственного тела особенно ясно показывает границу между *старой метафизикой* и *идеологией*. В первой эта проблема одна из последних и производных следствий некоего якобы предшествующего знания; в идеологии же — она *предшествует* всему остальному, и даже стоит *за пределами* того, что мы вообще собираемся изучать [1]. Когда существо, наделённое чувствительностью, испытывает какую-либо модификацию, оно ощущает, что существует, «Я мыслю — следовательно, существую», — это выражение очень глубокое и справедливое. Чувствовать значит существовать; ведь это значит быть чувствующим, а быть чувствующим — значит быть. Но и быть воспринимаемым — тоже значит существовать, ибо это тоже способ быть. Когда я ощущаю вкус, запах, звук, тогда я узнаю лишь о собственном существовании. Я ощущаю движения и *ощущаю, что сам их совершаю*; я переживаю особый способ бытия, который мы называем **волей**, и который является частью моего «я»; но эти движения *прекращаются*, несмотря на то, что воля сохраняется — значит, я заключаю, что они прекращаются по причине чего-то, что не является мною. Это «что-то» существует и не есть «я»: камень, который я кладу в руку, мешает мне сжать её, как я делал это прежде, — когда хотел; значит, несомненно, он не есть я. Моё собственное тело — это тело, принадлежащее мне, потому что моё «я» ощущает всё, что с ним происходит, и моя воля заставляет его двигаться. **Сопротивляться — значит существовать**; существо, обладающее этим качеством, действительно является существом, и существом, **отличным от меня**. Оно сопротивляется мне *непрерывно* — вот вам его *протяжённость*; в определённом направлении — вот его *фигура* и *форма*; оно сопротивляется или поддаётся движению с большей или меньшей силой — вот его *мягкость* или *твёрдость*, *вязкость* или *делимость*, *твёрдость* или *текучесть*; оно увлекается моим движением — вот его *подвижность*. Все наши ощущения всегда являются результатом столкновения с каким-либо существом, более или менее способным к сопротивлению — то есть с каким-либо **телом**, и с нашими *органами*, которые тоже являются существами, способными к сопротивлению, — **то есть тоже телами**.

В октябре 1800 года республиканский заговор Арены и Черакки, в котором полиция сыграла слишком активную роль, а позднее — адская машина (24 декабря), дело рук роялистов, но приписанная якобинцам и повлёкшая за собой

[1] Противники де Траси — Руайе-Коллар, Кузен и даже Биран — следуют за ним и делают из внешнего восприятия главный философский вопрос.

депортацию ста тридцати республиканцев, оттолкнули Бонапарта от республиканцев, почти все из которых первоначально с одобрением восприняли 18 брюмера. Совет народного просвещения, состоявший из идеологов, был **ликвидирован** [1]. Дестют де Траси продолжил свою прерванную работу другим способом. Считая, как он уже не раз писал ранее, что законодатели года IV под именем *грамматики общего характера* учредили курс, включающий идеологию, грамматику и логику, призванный через философию языка служить введением в курс *частной и общественной морали*, он решил оказать услугу профессорам, предложив им в качестве текста для толкования, как план и основную заготовку — «**Элементы идеологии**» для центральных школ. Но как раз в этот момент предстояло принять решение о форме учебных заведений. Тогда он опубликовал *Наблюдения о современной системе народного просвещения*, в которых пытался — согласовывая, развивая и дополняя уже ранее высказанные идеи, доказать, что эта система великолепна, её основы не вызывают никаких нареканий, что она уже дала множество хороших результатов и ни одного дурного, и что, чтобы извлечь из неё все плоды, на которые она вправе рассчитывать, нужно лишь правильно понять её дух и постепенно привести в действие все её элементы, связав их между собой. Различая людей рабочего класса, которым с раннего возраста требуется труд детей, и людей учёного сословия, располагающих большим временем для занятий, он показывал, что для первых нужны многочисленные школы и завершённый в своём роде курс обучения, а для вторых — центральные и специальные школы. Образование учёного сословия, о котором следует заботиться в первую очередь, должно завершаться к двадцати годам. Первые восемь лет отданы домашнему воспитанию, четыре — специальным школам; остаются ещё восемь — для центральных школ, где и должны быть получены все общие знания, необходимые для воспитанного человека. Обучение должно охватывать языки и словесность, физико-математические науки, моральные и политические науки [2]. Центральные школы таким образом предоставят все ресурсы для тех, кто готовится поступать в различные специальные школы. В каждой профессии, впрочем, необходимы все три рода знаний: нельзя быть ни литератором, ни эрудитом, не имея хотя бы элементарных познаний в физике и математике; невозможно заниматься последними, не зная хотя бы одного языка, кроме родного; моральные и политические науки тем более нуждаются в этих вспомогательных средствах, а каждый человек обязан, как индивид, знать свои интеллектуальные способности, а как член общества — принципы частной и общественной морали. Именно поэтому закон предусматривает, что в каждой школе должен быть профессор древних языков и профессор словесности, профессор

[1] Записка Люсьена Бонапарта извещала В. Кампенона, секретаря совета, что секретариат совета будет размещён при канцеляриях учреждений народного просвещения, и что туда нужно перевезти все предметы, хранение и надзор за которыми были ему поручены. Члены совета узнали о его упразднении лишь из копии этой записки и из письма, её передавшего.

[2] «Это, — говорит Дестют де Траси, — основы всех учёных сословий: литература и учёность, гражданское и военное искусство, медицина, гражданские или политические функции».

естественной истории, профессор физики и профессор математики, профессор общей грамматики, профессор морали и законодательства, профессор истории. Все эти дисциплины изучаются параллельно и на всех этапах занимают то больше, то меньше времени — но так, чтобы никогда не выпадать из поля зрения, и взаимно усиливать друг друга[1]. Некоторые части будут преподаваться повторно, и на каждом этапе рассматриваться под новым углом. План обучения, предложенный Дестютом де Траси, соответствует всем этим условиям. **Первый год**: элементарные сведения по латинскому и французскому языкам, арифметика, по необходимости — уроки письма. **Второй год**: продолжается начальное обучение латинскому и французскому языкам; даются элементарные сведения по физической, исторической и политической географии, по естественной истории; с **третьего года**: начинаются более рациональные и потому более трудные занятия — курсы латинского и греческого языков, математики, общей грамматики. **Четвёртый год** (с 12 до 14 лет), возможно самый важный: продолжаются те же дисциплины. **Пятый год**: курсы латинского и греческого, естественной истории, химии и физики, морали и законодательства. **Шестой год**: продолжение курса морали, теперь уже *общественной морали*; разъяснение происхождения властей, источников богатства — то есть *социальной организации и политической экономии*. **Седьмой год**: курсы словесности, прикладной математики, истории. **Восьмой год**: повторение всего, что было пройдено в области языков, словесности и идеологии; применение математических теорий к основным разделам физики; приучение к здравому суждению о людях и вещах; готовность жить как разумный человек и продолжить одно из трёх направлений учёбы в специальных школах.

Некоторые лица не желают, чтобы преподавали историю; но её нельзя заменить никакой книгой, потому что не существует ни одной, которая не утверждала бы какую-либо ошибку — моральную, политическую, физическую или математическую. Все знают что-то об истории, хорошо или плохо. А способ, которым человек привыкает воспринимать человеческие события, определяет большую часть его взглядов, служит источником его чувств, его страстей и скрытым принципом его поведения. Так не оставим же это на волю случая; последуем совету доброго и мудрого Роллена, который, сожалея о том, что история не преподаётся, отводил ей значительное место. Но, возражают, разумная мораль и особенно идеология — это знания, недоступные возрасту, в котором дети должны ими заниматься. Несомненно, не следует включать в курс общей грамматики (на третьем и четвёртом году обучения) то, что должно входить в курс словесности (на восьмом году); но нужно с ранних лет приучать

[1] Необходимо иметь некоторые предварительные сведения разного рода, чтобы понимать книги, с помощью которых изучают язык; изучить один язык и ход вычисления, чтобы размышлять об умственных операциях, общее представление о которых облегчает изучение языков, литературы, физических и математических наук, необходимых для усвоения законодательства и истории, которые, в свою очередь, проливают новый свет на философскую историю человеческого ума, на логику и риторику.

детей хорошо рассуждать, хорошо мыслить, а следовательно — анализировать свои мысли. И эта работа вполне посильна для умов, занятых изучением языков. Инструкции, адресованные профессорам, могли бы разъяснить им, в каком смысле следует преподавать каждый курс, каковы связи между ними, и какой метод преподавания ожидается от них. **Общество образованных людей**, аналогичное Совету народного просвещения, учреждённому Франсуа (де Нёшато), могло бы: составлять такие инструкции, приглашать профессоров составлять свои курсы, тетради, не для того, чтобы учащиеся учили их наизусть или им их диктовали, а чтобы они были направлены в это общество, где их бы рассматривали, предлагать опубликовать лучшие, и награждать их авторов. Пансион, управляемый частным лицом, обладающим достойными качествами, и принимающий двадцать стипендиатов, обеспечил бы успех и оживил бы центральную школу.

Специальные школы уже обучают, подобно Политехнической школе — физико-математическим наукам; как медицинские школы физическим наукам; как Музей естественной истории естественным и физическим наукам. Следовало бы создать специальные школы для моральных и политических наук и для словесности и языков, Первая могла бы быть размещена в Коллеж де Франс [1], а вторая — в Национальной библиотеке [2].

Что касается юридических школ, их следовало бы учредить несколько, и дополнить кафедрами, которые сделали бы из них также специальные школы по моральным и политическим наукам. Государство никогда не создаст пансионы при специальных школах; но Пританей может принимать учащихся из различных специальных школ Парижа — тех, кто проявил успехи во всех центральных школах: он станет французским Пританеем, большим пансионом Республики и образцом для всех частных пансионов.

Для рабочего класса социальные институты всегда будут самой важной частью образования, которое, если образование учёного класса будет хорошо организовано, будет обеспечено на три четверти. Чтобы не оставить народ во власти гибельных заблуждений, ему нужно преподавать истины, относящиеся к тем трём разделам, которые мы отметили в обучении высшего класса. Образование должно отличаться лишь степенью глубины, а не природой содержания: оно должно состоять не в рассуждениях или тонких анализах, а в

---

1 Ср. *Отчёт* Дестюта де Траси в Совет народного просвещения, стр. 322.

2 В Коллеж де Франс следовало бы учредить кафедры, где излагались бы принципы политической экономии или вообще социальной организации, где преподавалась бы статистика различных государств и теория налога, теория денежной системы, обмена и различных отраслей торговли. В Национальной библиотеке следовало бы устраивать курсы общей грамматики и ораторского искусства, поэтического искусства — для общего образования литераторов; специальные курсы грамматики и литературы различных народов, древних и современных, — для подготовки переводчиков или учёных, владеющих особой областью эрудиции.

здравых выводах; следовательно, необходимо тщательно проверять как учителей, так и книги. Когда министр будет уверен в компетентности жюри по народному образованию, он поручит ему принимать и даже поощрять прошения от коммун, желающих открыть начальные школы и, представляя достойного кандидата для руководства, готовых взять на себя половину или три четверти расходов: *«Никакое обучение не полезно там, где его не хотят, и лучшее доказательство искреннего желания учиться — это согласие оплатить часть его стоимости»*. Многие коммуны будут лишены начальных школ, и те, что будут созданы вначале, не будут образцовыми. Но в них научатся читать, писать, получат некоторые полезные сведения, там не будет преподаваться ничего вредного; будет сделано много добра и не причинено зла. Когда образование учёного класса будет завершено и усовершенствовано, из него можно будет извлечь то, что следует передать в обучение рабочего класса; тогда будет легко распространить среди широких слоёв граждан достаточно чистый и обширный свет знаний.

Мы подробно остановились на этом *Мемуаре*, потому что он показывает, в каком смысле понимали закон Брюмера как его создатели, так и его исполнители; потому что он, как и *Мемуар о средствах основанного воспитания народной морали*, раскрывает исключительно практический склад ума и вновь доказывает, что «идеолог» не значит «утопист», предоставляя множество указаний, которые и сегодня можно было бы с пользой применить. Начальное образование стало действительно плодотворным только тогда, когда преподаватели высшей или средней школы сумели изложить науку простыми и понятными словами, доступными для начальных учителей и их учеников. Финансовое положение государства, возможно, было бы более устойчивым, не в ущерб качеству образования, если бы помнили, что лучшее доказательство искреннего стремления к знаниям — это готовность оплатить часть расходов, с ними связанных.

«Декада» отозвалась об этом сочинении и напомнила о планах Талейрана и Кондорсе, «шедевре глубокой и ясной философии». Прочитав Дестюта де Траси, говорилось в ней, можно было испытать сомнения относительно участи, уготованной центральным школам; но оставалось убеждение, что для Республики их утрата будет опасна, и что для Франции это несчастье. Затем *Декада* сравнивала этот труд, исполненный столь философского духа и столь ясного стиля, с *Речью о состоянии литературы* Лагарпа, где, по её словам, обнаруживается «искусство всегда иметь наготове фразы — без единой мысли и без малейших знаний, с патетикой столь нелепой, что она не годится даже для школьников и регентов» [1]. Успех — либо тех, кто раздувает пустые фразы, как Лагарп, либо тех, кто анализирует идеи, как Дестют де Траси, — зависит, по её словам, от исхода борьбы между противниками и защитниками Революции.

[1] Она напомнила слова Фонтенеля: «Мой брат служит мессу каждое утро, а весь остальной день не знает, что говорит», добавив, что Лагарп не служил мессу каждое утро, но весь день был совершенно похож на брата Фонтенеля.

Она не сомневалась, что философия и свобода одержат победу, и что брошюра Дестюта де Траси обеспечит ему место среди имён, чтимых как защитники разума и свободы. Несколько дней спустя [1], Дестют де Траси писал профессору центральной школы в Уазе, что главное ясно осознавать: каждый человек, развивающий свой ум, нуждается в трёх взаимодополняющих видах знания, и что представители зажиточного класса должны найти их объединёнными в центральных школах. Идеологи питали надежду на будущее, которую акты консульского и имперского правления, увы, не должны были оправдать. Но если бы они вернулись сегодня, — они могли бы с лёгкостью показать, что их потомки пользуются тем, что им самим не было дано утвердить.

К этому моменту Дестют де Траси уже полностью овладел своей доктриной и ясно видел все её практические следствия. Он изложил её в одном труде, а другие следствия обозначил в своих *Мемуарах*, которые имели огромный резонанс, в своих циркулярах, в *Докладе* и *Замечаниях*, раскрывающих человека, способного с умением руководить народным просвещением. Ему оставалось лишь придать своей теории окончательную форму, изложив её в особых трактатах.

[1] *Декада философская*, 20 фрюктидора IX года.

Глава VI

Дестют де Траси, идеолог, грамматик и логик, экономист и моралист

I

Элементы идеологии; метод для изложения и изучения идеологии; позитивные тенденции, физика и геометрия.

10 термидора IX года *Декада* анонсировала первую часть *Проекта «Элементов идеологии»* как «превосходное произведение», о котором она собиралась вскоре сделать подробный разбор. Дестют де Траси не стремился написать полную историю человеческого духа, а хотел прояснить процесс формирования идей, чтобы с полной достоверностью обосновать теорию их выражения. Поэтому он ограничился пятью или шестью основными пунктами: числом действительно различающихся интеллектуальных способностей и действием каждой из них; формированием наших сложных идей; существованием и свойствами тел; влиянием привычек; происхождением и действием знаков. Возобновив план большого *Мемуара о способности мыслить*, он разрабатывал его в семнадцати главах [1].

Если Кондильяк — создатель идеологии, то Дестют де Траси не щадит его в критике. Он отличается от учеников Кондильяка, которые добавляли или убирали из его деления способностей ума, и от сектантов Кондильяка, которые не признали бы его правым в том, что он сводит способность чувствовать к ощущениям, воспоминаниям, соотношениям и желаниям. Наряду с Кондильяком и Локком, для которых идеология — часть физики, Дестют де

[1] Восьми главам посвящено описание наших умственных способностей, трём — применение этих знаний к изучению свойств тел, шести — изучение последствий соединения нашей способности чувствовать со способностью двигаться.

Траси ссылается на Гоббса, «**одного из наших величайших философов**», и на *Трактат о человеческой природе*, переведённый Гольбахом; на Бюффона, красноречивого толкователя природы, который не считал свою *Историю человека* завершённой, пока не попытался описать его способность мыслить; на Мальбранша, одного из наших величайших гениев; на Беркли, превосходный ум; на Пинеля и Кабаниса, философствующих физиологов, которые продвинут вперёд идеологию; на Д'Аламбера и Руссо, Лапласа и Боннатера [1].

Дестют де Траси использовал свои прежние исследования [2]. Однако его мысль чаще всего претерпела изменения в форме. Если ранние сочинения были написаны для учёных, то *Идеология* предназначалась для центральных школ и должна была быть понятна и полезна для здравомыслящего человека, даже без пояснений опытного преподавателя. Так, если де Траси считает, что дидактический труд должен быть сдержанным и не должен стремиться волновать воображение, он в то же время убеждён, что такой труд должен быть методичным (V, 362); что, чтобы быть понятым, всегда нужно отталкиваться от той точки, где находится человек, с которым говоришь, от идей, ему наиболее знакомых; что нужно располагать истины в должном порядке, не упускать ни одной из существенных, устранять всё излишнее, делать так, чтобы все истины были взаимосвязаны, взаимно поддерживали друг друга и были представлены достаточно ясно, чтобы их могли понять даже наименее образованные. Этого метода [3], который авторы элементарных учебников слишком часто, к сожалению, не применяют, де Траси придерживался почти во всём своём труде. Он воспользовался тем, что его читатели уже изучали греческий язык, естественную историю, физику, математику, чтобы привести их к размышлению и постепенно приучить к анализу мышления. Так же, вместо того чтобы начинать с определений, он приводит множество наглядных примеров, делает акцент на смысле слов в обыденных выражениях, чтобы

---

1 Он добавляет (стр. xxx), что если он не привёл имена авторов, чьими идеями он иногда пользовался, то лишь потому, что не вспомнил, кому именно был ими обязан.

2 Глава I трактует о мысли, подобно главе I, ч. 2, Мемуара, опубликованного в VI году. Глава VI рассматривает образование сложных идей, ранее изученное в главах III и V, ч. 2. Кондильяковский анализ мысли подвергается критике в главе XI, так же как это было сделано в гл. I, ч. 1, и в Мемуаре VIII года. Существование, которое было предметом Записки термидора, рассматривается в гл. VI; способность двигаться, волить — проанализированные в гл. II, ч. 1, и гл. IV, ч. 2 большого Мемуара — составляют предмет глав XII и XIII. Три последние главы, посвящённые изучению эффектов, производимых в нас частым повторением одних и тех же действий, постепенному совершенствованию наших умственных способностей, знакам и их действию, развивают в некоторых пунктах и иногда почти дословно воспроизводят идеи, изложенные в третьей части Мемуара о способности мыслить. Наконец, главы IX и X, посвящённые свойствам тел, в значительной степени воспроизводят гл. I, ч. 1, добавляя обещанные в Мемуаре прериаля разъяснения, призванные установить связь между метафизикой и физикой, ещё слишком разделёнными.

3 Ср. П. Лалуа и Ф. Пикаве, *Нравственное и гражданское воспитание, или Практическая философия*, стр. III.

наиболее легко и надёжно привести к идеям, которые они выражают [1]. Когда речь идёт, например, об объяснении формирования сложных идей, он говорит юным читателям: *«Персик, вкус которого вы пробовали вчера, дал вам ощущения красивого цвета, приятного запаха, приятного вкуса; вы ощутили его мягкость на ощупь; вы знаете, что он растёт на дереве, имеющем определённый вид и находящемся в определённом месте. Из всех этих идей вы формируете одну идею — идею этого персика... Вы видите других существ, имеющих с ним много общих черт, но в то же время заметно отличающихся... Вы отвлекаетесь от этих отличий... вы утверждаете, что это тоже персики: и вот идея становится общей и состоит только из признаков, присущих всем персикам»* [2]. Он делает со своими читателями то же, что раньше делал с детьми, ещё совсем юными, не отличавшимися особыми интеллектуальными способностями, и которые тем не менее с лёгкостью и удовольствием восприняли все эти идеи (стр. 5).

Прежде чем указать, какие изменения претерпела мысль автора по существу, важно показать, какой метод использует и рекомендует Дестют де Траси для изучения идеологии, какими границами он её ограничивает и какую её часть он намерен исследовать лично. Метафизика, то есть то, что имеет целью определить принцип и цель всех вещей, угадать происхождение и предназначение мира, принадлежит, по мнению автора, к области искусства воображения, предназначенного скорее удовлетворять, чем обучать (XV). Поэтому де Траси отказывается утверждать или отрицать, существует ли чувствительность у растений или минералов, потому что мы находимся в полном неведении по этому поводу, а в подлинной философии, считает он, никогда не следует ничего предполагать (гл. II). Чувствительность и память — это результаты устройства, механизмы которого в своей сути для нас непостижимы (гл. III). Если мы и можем представить себе жизненную силу лишь как результат притяжений и химических соединений, дающих на время особый порядок явлений, но вскоре возвращающихся в лоно более общих законов, то есть законов неорганической материи, — мы всё же не знаем, в чём именно эта сила состоит. Мы не знаем природы движения, происходящего в нервах и сопровождаемого восприятием, не знаем, каким образом

---

1 Так, он пользуется фразами «я думаю это», «я думаю о нашей вчерашней прогулке» и т. п., чтобы показать, что мыслить — это всегда чувствовать и только чувствовать; что у нас есть идеи четырёх различных видов, а также что в нас есть чувствительность, память, суждение, воля. Точно так же он употребляет высказывания «лошадь хорошо бегает», «Пьер весел», «Жак чувствует себя хорошо», чтобы установить, что суждение заставляет нас чувствовать связи (отношения).

2 См. также несколькими страницами далее объяснение того, как формируется общее понятие о клубнике. Тэн, который, к счастью для своих читателей, не запретил себе воздействовать на воображение, удачно воспользовался аналогичными примерами: «Вы смачно вонзаете зубы в прекрасный красный персик, сладкий, тающий; все сосочки вашего языка поднимают свои нервные хохолки, чтобы впитать изысканный сок розовой и сочной мякоти, и вы испытываете ощущение вкуса и т. д.» (Классические философы XIX века во Франции, 5-е изд., стр. 241 и сл.)

осуществляются движения, вызываемые **жизненной силой** (гл. XII). Единственное полезное дело это изучать то, что есть, чтобы познать это и извлечь из этого наибольшую выгоду, не вдаваясь в поиски причин и истоков, которые являются бесконечным источником заблуждений и ошибок (гл. III).

Мы уже видели, что Дестют де Траси сознательно ограничил себя рациональной идеологией, хотя и не отказался от того, чтобы освещать её при помощи данных физиологии. В своём новом труде он сохраняет ту же позицию: идеология — это, по его мнению, часть зоологии, и его книга покажет, что изучение идеологии полностью состоит из наблюдений и не содержит в себе ничего более таинственного или туманного, чем другие разделы естественной истории. Разумеется, он сожалеет о том, что не связал её теснее с физиологией, но при этом ни одно из его объяснений не противоречит точному знанию, которое даёт внимательное наблюдение за нашими органами и их функциями [1]. Он возлагает все надежды на философов-физиологов, особенно на Кабаниса, в деле дальнейшего продвижения идеологии. Более того, все люди начинают с детского идиотизма, заканчивают старческой деменцией, а в промежутке страдают в большей или меньшей степени манией, в зависимости от того, насколько нарушаются глубоко укоренившиеся интеллектуальные операции: отсюда следует, что патологические исследования тоже будут способствовать прогрессу идеологии, и Пинель, объясняя, как заблуждаются безумцы, учит разумных тому, как они мыслят.

Если Дестют де Траси считает, что он уже сделал достаточно, прочно утвердив идеологию человека, то он желал бы, чтобы некоторые необычные факты, наблюдаемые вскоре после рождения у некоторых животных, были бы снова изучены под строгим и точным углом зрения. Он считает, что Драпарно мог бы оправдать те надежды, которые на него возлагались (стр. 302), и создать труд по *сравнительной идеологии*. Сам же де Траси опирается на наблюдения над дикарями, деревенскими жителями удалённых областей, над детьми и животными; он выражает сожаление, что дети, найденные в лесах, не были изучены с должными предосторожностями и в достаточных подробностях (гл.

[1] Некоторые сведения о нервах (гл. II), движения которых служат поводом к внутренним или внешним ощущениям, обобщают материал, преподаваемый в классе естественной истории; общие наблюдения о связи физиологии и идеологии, способности двигаться и способности чувствовать (гл. XI, XII, XIII) ясно показывают, что он очень хорошо знаком с результатами, к которым пришли современные ему физиологи, и прекрасно понимает, насколько необходимо, чтобы добиться успеха в этих исследованиях, рассматривать наш индивидуум — целиком и во всей его совокупности (гл. XII). Кроме того, полагая, что все наши умственные операции, наши восприятия суть эффекты движений, происходящих в наших органах (стр. 275), он подтверждает физиологическим рассмотрением того, как совершаются наши ощущения, предположение о том, что мы впервые воспринимаем протяжённость собственного тела (стр. 174). Он считает, что можно попытаться объяснить, через особенности нашей организации, память (стр. 303) и некоторые факты, которые указывали бы, что в природе ощущения не заключается необходимость давать знать, откуда оно пришло и каким путём пришло (стр. 46).

XV), ибо было бы чрезвычайно интересно выяснить, чем наши способности обязаны совершенствованию индивида, а чем — развитию вида, и мы тем лучше узнаем самих себя, чем под более разными углами будем на себя смотреть [1].

Какой метод Дестют де Траси применил в той части идеологии, которую он считал своей собственной областью? В его труде сталкиваются два ума совершенно различного склада: физик, который опирается исключительно на наблюдение, и геометр, слишком часто прибегающий к рассуждению. Физик утверждает, что изучение идеологии целиком состоит в наблюдениях и является разделом физиологии животных, требующим самых тщательных и детальных наблюдений (с. 311). Подобно тому как изучают падение дыма в пустоте и его подъем в воздухе, идеолог должен исследовать различные способы, которыми протекают явления, и обнаружить среди них некоторые общие законы, то есть устойчивые способы действия. Если факты всегда соответствуют тем, какими они должны быть при условии истинности этих законов, значит, мы не ошиблись, заметив их, и не вообразили их лишь для того, чтобы подогнать под них факты (с. 284). Нужно всегда исходить из фактов (с. 6) и предпочитать теорию, основанную на положительных фактах, теории, которая опирается лишь на соотношение двух общих идей, принимаемых за реальные сущности (с. 16) [2]. Геометр, напротив, видит в любой науке цепь суждений, длинную цепь, в которой все звенья равны между собой; никакая наука не является сама по себе более туманной, чем другая (с. 14); всё зависит от порядка, в котором эти звенья расставлены, чтобы избежать «слишком широких прыжков». Только чистая геометрия обладает абсолютной достоверностью, потому что только протяжённость может быть строго разделена на отдельные части. Все остальные науки обладают достоверностью, пропорциональной тому, насколько их предмет может быть количественно оценён в терминах протяжённости. Следовательно, сила чувств, склонностей, мнений никогда не может быть оценена с точностью, даже в самых благоприятных условиях, иначе как по их последствиям; поэтому исследования в области моральных и политических наук значительно труднее, а результаты — менее строгие. Де Траси сочетает оба метода в неравной пропорции, подобно шотландцу, отказавшемуся от метафизического объяснения причин, но всё ещё находящемуся под влиянием Декарта [3]. Он много наблюдал за тем, как человек мыслит (с. 3), собирал факты, не пытаясь проследить их причины, которые ему неизвестны, и не делал преждевременных выводов (с. 269). Он использует одновременно анализ и синтез: «Когда мы, так сказать, разберём по частям все компоненты способности мыслить, мы снова соберём их вместе, чтобы увидеть их в действии» (с. 50). Если он и предположил существование

1 См. те же идеи у Кабаниса, гл. III и IV.

2 Мы отметили аналогичные тенденции у Кабаниса (гл. III и IV), что позволило нам считать чрезмерно строгим, в своей общей формулировке, суждение, высказанное Тэном о методе идеологов.

3 Дестют де Траси в своей *Логике* ставит Декарта выше Бэкона (ср. § 3) (cf. § 3).

общего закона, аналогичного законам гидростатики или механики, например закона, управляющего всеми нашими движениями, он выдвинул гипотезу — или, как сам говорит, догадку — и требует, чтобы её проверили фактами. Чем больше фактов она объясняет, тем ближе мы к истине, ведь совершенство науки в том, чтобы все возможные факты проистекали из одной причины (с. 284). Факты это *следствия*, которые всё больше подтверждают закон или *принцип* (с. 378); самые абстрактные истины — лишь выводы, основанные на наблюдении фактов (с. 6). Таким образом, если множество фактов подтверждают гипотезу, её можно принять, если она не противоречит разуму (с. 277), то есть не содержит внутреннего противоречия (с. 299). Можно пойти и дальше: сопоставляя сложные эффекты привычки с наблюдениями над свойствами наших движений, как внутренних, так и внешних, и над последствиями этих свойств в реализации каждой из наших интеллектуальных способностей, можно легко выделить ближайшие причины всех этих эффектов (с. 291). В отсутствие фактического доказательства можно прибегнуть к доказательству рассуждением (с. 46). А так как рассуждение приводит к результатам быстрее, чем наблюдение, то Д. де Траси слишком часто злоупотребляет им. Он воображает мир, в котором ощущения, суждения и желания не оставляют в нас никакого долговременного следа (с. 304); утверждает, что первый человек, живущий в одиночестве, оказался бы гораздо менее развитым, чем самый дикий из дикарей, потому что у него не было бы в распоряжении никакого языка (с. 317); пишет, что возможно, было время, когда мы чувствовали, но ещё не судили (с. 47). И всё же, несмотря на всё это, он справедливо говорит, что почти все идеологические феномены включают настолько разнообразные и многочисленные обстоятельства, что мы судим о них совершенно по-разному, в зависимости от угла зрения; что чтобы узнать их по-настоящему, нужно рассмотреть их со всех сторон (с. 407); что трудность такова, что требуется уже немалый прогресс, чтобы просто понять, в чём она заключается (с. 242). И всё же он не колеблется утверждать, что факты находятся в нас, что результаты близки к нам, и что всё настолько ясно, что трудно понять, как столь многие так сильно всё запутали (с. 15) [1]. Признав необходимость физиологической, патологической, детской и сравнительной идеологии, он утверждает, что, если не ошибается, он дал ясное представление о всеобщем инструменте всех наших открытий, о его приёмах, действиях, результатах и о начале всех наших знаний, — «что, быть может, ещё никогда не удавалось». Более того, он уверен, что его способ разложения мышления даёт объяснение всем объяснимым феноменам (с. 228).

[1] «Достаточно подробно рассмотреть механизм наших умственных операций, чтобы увидеть, что он не так сложен, как это сначала полагали» (стр. 3).

II

Способность к мышлению; существование тел, новая доктрина; Траси и Биран; критика Кондильяка; Привычка и знаки.

Первая часть труда, посвящённая описанию интеллектуальных способностей, воспроизводит — с ещё большей точностью — некоторые идеи из большого Мемуара. Способность мыслить или ощущать это способность иметь идеи или восприятия, то есть собственно ощущения, воспоминания, соотношения (раппорты) или желания. Она включает, таким образом, четыре элементарные способности: собственно чувствительность, память, суждение и волю. Что касается первой, Дестют де Траси, как и Кабанис, принимает во внимание внутренние ощущения — колики, тошноту, голод, головную боль, усталость, ощущение движения и т. д. Память не сообщает нам ни причины, ни способа появления воспоминаний, и без суждения мы никогда не различали бы текущее ощущение и воспоминание. Что касается суждения, или способности воспринимать отношения, оно предполагает две идеи или группы идей — и только две [1]. Воля, будучи результатом организации, как и прочие способности, делает нас счастливыми или несчастными, направляет движения наших членов, операции нашего разума и сливается с «я» больше, чем какая-либо иная способность. Она плод наших желаний, а желания — результат наших суждений: единственный способ их регулировать, а значит и быть по-настоящему нравственными, состоит в том, чтобы формировать справедливые и истинные суждения [2].

Посредством этих четырёх способностей формируются все наши идеи или составные восприятия. Только акт способности чувствовать представляет собой простую идею. Если мы относим его к существу вне нас, идея, которая включает в себя как действие чувствования, так и суждения, является составной, но касающейся одного-единственного факта. Пробуждается ли воспоминание об этом случае по поводу нескольких других, ему подобных? — оно становится общей идеей, общей для ощущений одного и того же рода и не содержащей ни одной из особенностей, присущих каждому из них. Объединять несколько элементарных идей или восприятий — значит составлять или формировать индивидуальную составную идею реального существа, например, персика или клубники. Исключить из них особенности, свойственные каждому восприятию, — значит абстрагировать, чтобы образовать составную и общую идею. Следовательно, общие идеи — это лишь способы классификации наших

---

1 Таким образом, предложение имеет лишь два термина; суждение в нём выражается утвердительной или повествовательной формой, придаваемой глаголу быть, а не самим этим глаголом, который входит в состав сказуемого. Нет отрицательного предложения, поскольку отрицание служит лишь для того, чтобы модифицировать сказуемое.

2 Ср. Декарт, *Рассуждение о методе*, ч. 3.

идей об индивидах; иначе говоря, это чистые порождения нашего духа, в которых участвуют только ощущения, воспоминания, суждения и желания.

Снова Дестют де Траси поднимает вопрос, который встречается почти во всех его прежних работах. Если наши ощущения, воспоминания, суждения, желания — лишь модификации нашего собственного существа, если наши составные идеи формируются из этих элементов и без всякого внешнего вмешательства, — как же мы пришли к суждению, что они вызваны существами, не являющимися нами же? Существуют ли тела, и откуда мы это знаем? Внутренние ощущения, вкусы, звуки, зрительные впечатления, тактильные ощущения, не сопровождаемые движением, ничего не говорят нам о собственном существовании. Когда я двигаю рукой, я испытываю ощущение движения; когда движение прекращается из-за какого-либо препятствия, я ощущаю это. *«Это уже многое*, - говорит Дестют де Траси, - *но этого недостаточно, как я раньше думал, слишком поспешно делая выводы* [1]. *Не зная ещё, что у меня есть рука и что существуют тела, я не обязан на основании этих изменений моего состояния признавать, что то, что прекращает моё ощущение движения, есть некое внешнее существо»*. В чём же состоит изменение, которое Дестют де Траси вносит в свою прежнюю доктрину?

Прежде всего он обращается к воле. Предположим ощущение движения, сопровождаемое желанием его испытать: оно прекращается, в то время как желание сохраняется. Я узнаю, что существует нечто, противостоящее моему желанию: желание — это я, а то, что ему противится, — вне меня. Но Дестют де Траси утверждал ранее, что без способности к движению у нас не было бы ни воли, ни суждения. Теперь он уже не может этого утверждать, не впав в порочный круг. Поэтому он полагает, что ощущение, приятное или неприятное, сопряжено с суждением, посредством которого мы чувствуем соотношение между ним и нашей способностью чувствовать, и что необдуманное желание двигаться при сильной боли предшествует или сопровождает первое из наших движений.

Ни Дестют де Траси, ни кто-либо из тех, кто его изучал, не изложили причин этих изменений. Но после чтения Кабаниса это становится понятным: *«Такой способ рассматривать предметы*, — говорил Дестют де Траси, — *ставит нас на путь понимания того, как некоторые обстоятельства нашей организации, происходящие от различий темпераментов, возрастов, болезней, оказывают столь сильное влияние на наши суждения и склонности, и позволяет постичь, чем являются инстинктивные детерминации*». Так вот, Кабанис [2] выводит инстинкты самосохранения, питания и т. п. из детерминаций, свойственных нервной, кровеносной и пищеварительной системам, чётко разделяя сознание и впечатления: таким образом, можно

1 Ср. гл. V, § 2.
2 Ср. гл. IV, § 2.

хотеть или желать, не обладая знанием; извлекать из способности чувствовать — детерминации и идеи. Дестют де Траси, который «обращался к физиологии за разъяснением», согласовал свои воззрения с воззрениями «своего учителя и друга», а Кабанис впоследствии встал на его сторону против Бирана, потому что его собственные идеи «по этому вопросу уже давно были определены».

И действительно, Биран, который считал себя и провозглашал учеником Дестюта де Траси, «развивая его первоначальные идеи о роли усилия», с горечью жалуется, что был оставлен своим наставником. Неопубликованные письма, труды, изданные после смерти Бирана, сочинения самого Дестюта де Траси, Ампера, Дежерандо позволяют нам наблюдать дискуссию, имеющую первостепенное значение в истории философии. Кабанис находится на стороне Дестюта де Траси, Ампер — на стороне Бирана, причём и тот и другой не раз меняют свои взгляды; Дежерандо полемизирует с Дестютом де Траси, объединяя в критике и Бирана, и Кабаниса. Ясно видно различие в точках зрения, которые занимают Дестют де Траси и Биран. Последний — спиритуалист и субстанциалист: он стремится перейти от психологических фактов к сущностям и причинам. Дестют де Траси же остаётся идеалистом и феноменалистом, или, точнее, он занимает позитивную позицию и решительно отвергает всякие метафизические утверждения. Его линия была продолжена Тюро, Брауном, Бейном, Спенсером, Миллем, Тэном, Рибо, тогда как Биран вдохновил французских эклектиков [1].

Вернёмся к *Éléments d'Idéologie.* Благодаря ощущению движения и воле мы узнаём, что существуют тела. Первое свойство, которое мы им приписываем, — это сила инерции, предполагающая подвижность и силу импульса. Из этих трёх первоначальных свойств Дестют де Траси, как и прежде, выводит протяжённость; из неё — непроницаемость, делимость, форму и фигуру [2], пористость. Что касается длительности, то она может принадлежать существам без протяжённости, поскольку проистекает исключительно из последовательности наших ощущений; но это не относится к измеренной длительности, то есть ко времени, которое возникает из движения и протяжённости и, в свою очередь, в сочетании с протяжённостью служит для измерения движения. С большой точностью Дестют де Траси показывает, что величина становится измеримой в той мере, в какой можно ввести в неё чёткие и устойчивые деления. Если протяжённость в наивысшей степени обладает

---

1 По совету м-ра Поля Жане мы перенесли изложение этой интересной дискуссии во *Введение* к первому *Мемуару* Бирана *О привычке*. Чтобы убедиться, что она по-прежнему представляет интерес, можно обратиться к: William James, *The Feeling of Effort*; Renouvier, *Psychologie rationnelle* и *Critique philosophique* (passim); A. Bertrand, *La Psychologie de l'effort*.

2 Дестют де Траси различает, как мольеровский Панкрас, фигуру и форму. И, что ещё лучше, это различие не следует пренебрегать: форма, познаваемая осязанием, всегда остаётся одной и той же; фигура же — это впечатление, которое эта форма производит на наш глаз, и оно меняется в зависимости от обстоятельств и положения.

этими качествами, то длительность, части которой мимолётны и смутны, становится воспринимаемой благодаря вращению Земли вокруг своей оси, и её единицей служит день. Движение, части которого аналогичны частям длительности, представляется через протяжённость, а его энергия измеряется длительностью. Именно потому, что протяжённость допускает лёгкие, точные и постоянные деления, потому, что она может быть точно воспроизведена в масштабе, меньшем, чем в натуре, геометрия с лёгкостью достигает истины и достоверности [1]. По этой же причине и другие науки достигают истины и достоверности, или применяют расчёт, в той мере, в какой предметы, которыми они занимаются, поддаются сведению к измерениям протяжённости. Следовательно, степень ясности и достоверности различных наук — механики, физики, медицины, нравственных и политических наук — зависит от природы объекта, а не от природы умственных операций. Анализ наших интеллектуальных способностей даёт более точные представления о природе тел; он должен был бы стать естественным введением в физику, как и в любой другой род познания.

Глава XI подводит итог всем критическим замечаниям, которые Дестют де Траси уже высказывал в адрес Кондильяка и его последователей. Затем автор рассматривает последствия соединения способности чувствовать со способностью двигаться. Подобно Кабанису и высказываясь достаточно осторожно, он подчиняет способность мыслить подвижности, и представляет себе в нас некий активный принцип, не как подлинно творящую силу, абсолютно новую и независимую от всех уже существующих в мире сил, а как силу, возникающую из притяжений и химических соединений, которые порождают особый порядок явлений, чтобы вскоре вновь подчиниться более общим законам, управляющим неорганической материей. Пока эта сила существует, мы живём, движемся и ощущаем. Мы не знаем, как осуществляются видимые или внутренние движения, которые она вызывает; мы не знаем ни характера движения, за которым следует восприятие, ни различий, отделяющих движения, предшествующие разным восприятиям, воспоминаниям, желаниям или суждениям. В свою очередь, способность желать действует на подвижность. Но движения, поддерживающие и обновляющие жизнь, нам совершенно неизвестны и, следовательно, не подчинены власти воли. Те движения, о которых мы иногда осведомлены, а иногда нет, в последнем случае независимы от воли; в первом — иногда происходят без нашего участия, иногда вопреки нашей воле, иногда — по воле. Некоторые движения всегда совершаются добровольно; другие — всегда помимо нас; третьи — всегда невозможны. Наконец, даже те, которые наиболее подчинены нашей воле, сами являются результатом множества других внутренних движений, происходящих без нашего желания и даже без нашего ведома. Это, по словам Дестюта де Траси, — действия, которые совершаются

[1] Огюст Конт, *Курс положительной философии*, 3-я лекция: «Математика имеет целью определять величины друг через друга, исходя из точных отношений, существующих между ними».

потому, что мы этого хотим, но движения, подготавливающие их, происходят сами по себе. Что касается интеллектуальных способностей, то влияние, которое оказывает на них воля, пропорционально тому, которое она оказывает на движения, порождающие восприятия, воспоминания, суждения и желания. В этом вопросе, как и в вопросе о свободе воли, Дестют де Траси возвращается к ранее выработанным идеям, при этом стараясь показать, что мы не ошибаемся, отождествляя себя с нашей волей, придавая большое значение воле других или их «я», говоря о заслуге или вине, о наказаниях и наградах, «поскольку воля оказывает влияние, опосредованно, через способность направлять наше внимание на определённое восприятие, помочь нам восстановить воспоминание, исследовать соотношение».

Четыре последние главы завершают историю мышления исследованием эффектов, которые в нас производит частое повторение одних и тех же действий, а также постепенного совершенствования интеллектуальных способностей как в отдельном человеке, так и в духе человечества — благодаря развитию знаков. Привычка есть источник всех наших успехов и всех наших заблуждений; знаки — самое ценное изобретение человека. Дестют де Траси воспроизводит в новом порядке и с большей точностью доктрины, изложенные в *Mémoire sur la Faculté de penser* («Мемуаре о способности мыслить»). Закон привычки заключается в том [1], что чем больше повторяются движения, тем легче и быстрее они совершаются, но тем менее они становятся ощутимыми. Этот закон применим к ощущениям, к воспоминаниям, в которых он устанавливает ту самую *«связь идей — столь важный идеологический феномен, наблюдение за которым столь справедливо восхваляется, ибо он проливает яркий свет на наши умственные операции и сам по себе представляет собой не что иное, как механическая или химическая связь органических движений, порождающих наши идеи»* [2]. Он применим и к суждениям, и к желаниям; он позволяет объяснить ряд необъяснимых прежде фактов, позволяет понять, почему человек, подчинённый привычному желанию, действует ради его удовлетворения вопреки самым очевидным доводам разума: это происходит потому, что обдуманные и ясно осознанные суждения сталкиваются с другими, более привычными и неосознанными [3] ; потому что в нас почти одновременно совершается невероятное количество интеллектуальных операций, о которых мы не имеем никакого представления. Так же объясняются и те инстинктивные детерминации, которые сравнительная идеология могла бы с такой пользой

---

1 Таким образом, установление законов привычки следует приписывать Дестюту де Траси и Кабанису, а не Бирану, как это делают гг. Жане и Сеай (стр. 378).

2 Дестют де Траси продолжает Декарта и Мальбранша, предшествует Спенсеру. Следовательно, неправомерно говорить, как это делает м-р А. Бертран (Revue philosophique, июль 1890, стр. 8): «Дестют де Траси выбрал более лёгкий путь — путь описательной и дедуктивной психологии, тогда как век вступил на более трудный путь психологии физиологической».

3 Ср. гл. III и IV о Кабанисе.

изучать [1]. Уже с первого дня у животного совершается множество сложных сочетаний с той же быстротой, какую мы приобретаем только благодаря упражнениям.

Точно так же Дестют де Траси вновь показывает, насколько первый человек, рождённый взрослым и организованный, как мы, оставался бы, живя в изоляции, ниже самого ограниченного дикаря, поскольку у него не было бы никакого языка, и он не мог бы воспользоваться опытом ни одного существа, подобного ему. Он указывает на преимущества знаков, придавая ещё большее значение их идеологической роли и рассматривая грамматику, идеологию и логику как нечто единое. Различая, и вполне обоснованно, природные знаки и знаки искусственные, то есть произвольные, он утверждает, как и прежде, что мы начинаем мыслить ещё до того, как располагаем искусственными знаками, которые впоследствии будут вызывать, направлять и фиксировать общее движение человеческого духа в его построениях и поисках. Вопрос о знаках, если речь идёт о природных, сводится к тому, можно ли отделить способность чувствовать от способности действовать. Он, говорит, может представить себе состояние, в котором внутренние движения, производящие наши восприятия, происходили бы без сопровождающих их внешних движений, их проявляющих, — состояние, в котором мы бы мыслили без знаков [2]. Наконец, он совершенно справедливо отмечает, что знаки, исходящие от голосового органа и направленные к органу слуха, являются наиболее распространёнными, потому что они наиболее удобны и наименее ограничены в возможности совершенствования. Самое важное действие знаков — в том, что они помогают нам сочетать элементарные идеи для формирования составных идей и закреплять их в памяти; они соединяются с внутренними движениями, которые при чисто интеллектуальных восприятиях лишь в малой степени возбуждают нервную систему, чтобы придать этим восприятиям энергию ощущения, которое ими вызвано; они становятся своего рода ярлыком идеи, формулой, которую мы легко запоминаем, потому что она чувственна, и которую используем в последующих построениях, даже если мы уже забыли, каким образом она была первоначально сформирована.

Успех *Éléments d'idéologie* («Элементов Идеологии») был столь же велик, как и успех *Rapports du physique et du moral de l'homme* («Отношений между физическим и нравственным в человеке») [3].

---

1 Ср. гл. III и IV о Кабанисе.

2 Именно в этом смысле психологические исследования современности решили данный вопрос. См. Куссмауля, *Нарушения речи*; Тэна, *Об уме* (*De l'Intelligence*); Рибо, *Болезни памяти*; Балле, *Внутренняя речь* и др.

3 «Мы полагаем, — пишет Тюро в *Декаде*, — что эта книга ознаменует собой эпоху в истории французской философии». Для него Дестют де Траси является достойным выразителем чувств истинных философов и носителем их учения: он соединяет ясный метод и совершенный порядок, очень чёткое и точное изложение всего того, что известно как положительное и существенное, с простотой и плодотворностью новых теорий о существовании внешнего мира, о свойствах тел и о знаках. Женгене находит в книге

III

Мемуары о Канте; Чистая мука и мука опыта; Немецкая философия и французская философия; Грамматика; Д. де Траси и Джеймс Милль; Речь и письмо; Универсальный алфавит и язык; Суждения Кабаниса, Туро и Бирана; Логика, посвященная Кабанису; История логики; Ошибка; Зарождение наших идей; Критика Ларомигера; Общие и специальные науки; Девять частей элементов идеологии; Дополнение к логике, вероятности; Идеология и физиология.

Кант в то время уже был знаменит во Франции: его труды, получившие признание ещё с самого начала в Страсбурге благодаря Мюллеру и его ученикам, привлекли внимание Сийеса и Грегуара, Бенжамена Констана, Дежерандо, Прево, Франсуа де Нёфшато и писателей из журнала *Décade*. Мерсье, восторженно превознося Канта, чтобы противопоставить его Локку и Кондильяку, и Вийе, оскорблявший французскую философию и Революцию, — не сумели отвратить от него симпатии; Институт высоко оценил его, включив в число тех, из кого выбирали иностранных членов [1]. Когда вышел перевод Кинкера — «одно из самых полезных сочинений для продвижения рациональной философии», — Дестют де Траси взялся за анализ кантианства и 7 флореаля X года прочёл обстоятельную *записку о Метафизике Канта* [2], которую он, к тому же, изучал и в латинском переводе его сочинений. «В Германии, — говорит он, — люди становятся кантианцами так же, как становятся христианами, магометанами, браманистами, как прежде были платониками, стоиками, скотистами, томистами или картезианцами. Во Франции нет глав школ: никто не идёт под чужим знаменем, каждый

ясность и аналитический метод, которые устраняют из этой ещё новой науки всё, что в ней могло бы быть смутным или тёмным. Дежерандо, хотя и не считает верной общую систему книги и оспаривает гипотезу об источнике наших знаний, отмечает в ней большое количество тонких и утончённых наблюдений, чистый, элегантный и лёгкий стиль. Если Прево из Женевы отказывается использовать *Элементы* для преподавания — что неудивительно, так как уже десять лет назад он установил программу своего курса, — он тем не менее признаёт достоинства автора и считает, что это сочинение, прокладывающее новые пути, создано для того, чтобы вызывать внимание, уважение и стремление к соперничеству у мыслящих людей. Он даже указывает, среди частных наблюдений, которые можно было бы выделить и с пользой изложить отдельно, на теорию привычки, «искусно прослеженную и выведенную» Бираном. Следует, однако, отметить его утверждение: по мнению Прево, Дестют де Траси является подлинным автором теории привычки. Наконец, том едва успел выйти в свет, как уже несколько известных профессоров взяли его в качестве текста для своих лекций, а большое число молодых людей — в качестве предмета своих занятий.

1 *Ф. Пикаве, Философия Канта во Франции с 1773 по 1814 год.*

2 *О метафизике Канта*, «или наблюдения над сочинением под заглавием “Опыт краткого изложения критики чистого разума”» И. Кинкера, переведённое с голландского Ж. ле Ф. 1801. Эта записка, находящаяся в третьем томе *Мемуаров Национального института*, занимает страницы с 544 по 606.

придерживается своих личных взглядов, и если в ряде пунктов между нами есть согласие, то оно возникает без всякого намерения к единомыслию. Когда немцы утверждают, будто мы — последователи Кондильяка, так же как они — кантианцы или лейбницианцы, они забывают, что Кондильяк ни разу не выступал как догматик, не создал системы, не разрешил ни одного из тех вопросов психологии, космологии или теологии, из которых немцы составляют свою метафизику; что, быть может, нет ни одного из тех, кто, подобно ему, ограничивался изучением наших идей и их знаков, исследовал их свойства и выводил из них некоторые следствия, — кто бы принял его грамматические принципы, был бы полностью удовлетворён его анализом интеллектуальных способностей или его теориями рассуждения. Не его положения ценятся, а его метод. Этот метод медленно, но верно ведёт, во всех областях человеческого знания, тех, кто добросовестно наблюдает факты, извлекает из них следствия лишь с полной уверенностью, кто никогда не выдаёт простые предположения за факты и соединяет между собой лишь такие истины, которые естественно и без пробелов связаны друг с другом, кто признаёт своё незнание и предпочитает его любому утверждению, основанному лишь на правдоподобии». Именно этот метод, строгий и по-настоящему научный, хотя сам Дестют де Траси не всегда следовал ему в *Идеологии*, он и сравнивает с философией Канта. Несомненно, — говорит он языком, напоминающим студента из Страсбурга, друга Сийеса и Грегуара, — Кант философ весьма выдающийся, автор трудов, способствовавших прогрессу просвещения и распространению здравых и либеральных идей. Он весьма уважаем в Германии, где самые искусные умы считают за честь быть его учениками; но никто не утверждает, что он наблюдатель-фактолог. Его философия преподносится как всеобъемлющая система, охватывающая метафизику, мораль, политику, все разделы рациональной философии, как мир умопостигаемый, так и мир чувственный. Между тем нам откровенно признают, даже при признании его выдающегося литературного дара, что в его сочинениях есть неясности; разве это не серьёзное подозрение против системы, чья прочность уже кажется сомнительной на фоне известной несовершенности самой науки? Его доктрина, как утверждают, представляет собой полное обновление человеческого духа: следовательно, она должна опираться на идеологию более совершенную, чем все предыдущие, и именно эту идеологию следует изучить и познать, чтобы судить о ней. Именно так и поступает Кинкер, который в объяснении философии Канта обращается к *Критике чистого разума*, и в ней — прежде всего к её идеологической доктрине. Однако в ней чувствительность рассматривается как пассивная, в противоположность активному рассудку — что, как раз, и есть противоположность истине. Он говорит об ощущаемых объектах как о вещах, находящихся вне нас, при этом повторяя, что чувствительность предоставляет рассудку весь материал для его понятий, но не поясняет, что есть впечатления, исходящие от наших внутренних органов и жизненных функций, так же как и впечатления, приходящие извне; что есть воспоминания или восприятия прошлых впечатлений. Если границы и свойства чувствительности определены плохо или изложены неясно и расплывчато, то

рассудок ещё хуже обойдён. Утверждают, что при этом упущена способность суждения, которая, между тем, является элементарной и коренной — способностью формировать понятия. Но это результат не какой-то одной способности, а нескольких различных. Разум же называется способностью заключать от общего к частному, что, если даже допустить существование такой способности, было бы противоположностью разуму: ведь всегда мы поднимаемся от частных идей к общим. Вся эта аналитика, таким образом, неполна и не может привести ни к какой прочной системе.

Разумеется, можно признать, что не было бы ни восприятия, ни познания, если бы не существовало существ, способных чувствовать, и объектов, способных быть воспринятыми; что восприятие и познание были бы иными, если бы сами эти существа были иными. Но нельзя утверждать, будто существует знание, происходящее от применения этих способностей к объектам. Говорят, что знание механизма мельницы — это не то же самое, что знание материала, подвергаемого помолу, и что оба знания необходимы для полного понимания того, что такое мука. Хорошо, допустим. Но в производстве муки участвуют два необходимых агента: мельница и зерно; одно поставляет материал, другое производит и определяет форму — но из этого не следует, что существует два рода муки. Мельница сама по себе не производит чистую муку, так же как зерно само по себе не даёт «опытной муки». Только их совместное действие даёт подлинную муку.

Объяснение чувствительности даёт нам лишь чёткое и точное применение принципов, истинность которых не была доказана. Пространство и время здесь представляются как формы, которыми наше познание будто бы наделяет явления, а не как свойства самих вещей; тогда как в действительности наше познание не облекает ни явления, ни вещи ни в какую форму, не навязывает законам ничего, но наблюдает вещи, отмечает явления, которые они проявляют, и распознаёт законы, которым те подчиняются. Вот к каким результатам приходят, когда опираются на абстрактные принципы, а не на факты, и когда полагают, будто общие идеи дают нам возможность судить о частных.

Точно так же говорят о законах или формах рассудка, к которым якобы должны относиться все возможные наши суждения; утверждают, что логически возможно предположить у души способность читать будущее, потому что, рассматривая формы суждений и силлогизмов как законы и свойства мышления, принимают кору за дерево, вводят человеческий разум в заблуждение и откладывают тот момент, когда он узнает собственные подлинные способы действия [1].

[1] «Это я разовью, — добавляет Дестют де Траси, — и полностью докажу в моей *Грамматике* и моей *Логике*»

Наконец, неясность становится ещё большей, когда речь заходит о разуме, когда начинают говорить об идее всеобщности, возведённой в закон и универсальный закон человеческого разума, когда упоминают некоего чистого разума, который черпает из самого себя концепции и принципы, независимые от чувствительности и рассудка [1]. Разве не очевидно, что ничто не врождённо в нас, кроме самих средств познания, и что именно незнание того, как формируются наши общие идеи, заставляет верить, будто они изначально присутствуют в нашем разуме, будто они врождённые образцы, так же как классификации, которые мы на их основе создаём, ошибочно принимаются за законы, управляющие их возникновением? И каким образом можно логически доказать, что три науки, из которых составляется метафизика, — невозможны и иллюзорны, и одновременно утверждать, что чистые идеи о душе, о мире и о Боге якобы необходимы нашему разуму для того, чтобы он мог исполнить своё предназначение?

Можно только радоваться, глядя на всё это, что мы всегда утверждали: *идеология* — это вещь совершенно отличная от метафизики. Греки были врачами, поэтами, ораторами, художниками, математиками, но они не были идеологами; и всем известно, насколько они были метафизиками. Аристотель, один из величайших умов, когда-либо прославлявших человеческий род, не имел в своём распоряжении достаточно наблюдённых фактов, чтобы заняться интеллектуальной историей человека. Он полагал, что формы рассуждения, являясь следствиями интеллектуальных операций, в то же время являются и их причинами; подлинная наука о мышлении, быть может, готовая уже к рождению, была тогда же и задушена в зародыше. Когда Бэкон почувствовал и провозгласил, что необходимо заново перестроить человеческий разум, он не смог добиться этого, несмотря на весь свой гений. Декарт и Мальбранш приложили к созданию науки о человеческом разуме возвышенные усилия, но часто тщетные — потому что хотели построить целую систему, тогда как могли бы лишь заложить её основания. Немецкие философы находятся в том же положении. Сохраняя следы, привычки и предрассудки той старой школьной доктрины, в которой они были воспитаны, они всё же чувствуют, что нужно изучать человеческий разум в его операциях. Но они не знают наблюдений, сделанных во Франции; они никогда не принимают во внимание ни наших органов, ни языковых знаков, ни методов вычисления, и представляют себе человеческий разум как некое абстрактное существо; они больше предполагают, чем наблюдают, и, не зная, как формируются наши идеи, полагают, что наиболее общие из них являются источником и началом всего. Они даже не знают Кондильяка, поскольку никогда не ссылаются на последнее издание его сочинений. Они почти не изучали ничего, кроме *Трактата об ощущениях* — сборника догадок, который было бы большой ошибкой считать сегодня образцом. Они не обращаются ни к первой части *Грамматики*, ни к

[1] Прочитайте, как Ларомигьер объясняет врождённые идеи Декарта, и вы увидите, насколько эта интерпретация близка к доктрине Дестюта де Траси.

Искусству мыслить, ни к *Логике*, ни к *Языку вычислений*, где человеческий дух сталкивается с инструментами, которые он сам себе создаёт или которыми пользуется, и с предметами, к которым он их применяет; ни к *Трактату о системах* — шедевру, где они были бы заранее полностью опровергнуты. Никогда нельзя быть идеологом, не будучи физиологом, а значит — физиком и химиком; не будучи одновременно грамматиком, алгебраистом и философом [1]. Только во Франции мы близки к тому, чтобы в теории постичь, полностью и ясно, в чём и почему человек бывает прав или неправ; только здесь видно наибольшее внимание к методологии в книгах и преподавании, наибольшую ясность стиля, надёжность в исследованиях; и именно здесь в последнее время с наибольшим успехом велась работа по совершенствованию идеологической теории, основания которой были заложены Бэконом, Гоббсом, Локком и Ньютоном.

Таким образом, в этом *Мемуаре* Дестют де Траси энергично защищал философию и научный метод; он противопоставлял доктринам Канта собственные положения, не упуская случая указать в ряде мест на слабые стороны противоположной системы. Он делал для эмпирической школы, с таким же талантом, пусть и не с таким успехом — тоже самое, что в наши дни сделал Стюарт Милль в своей *Философии Гамильтона.*

Именно в тот момент, когда Дестют де Траси читал свою работу о Канте, он находил в процессе рассмотрения *Мемуаров*, присланных в Институт в ответ на вопрос о влиянии привычки, новые основания провозглашать превосходство французской философии. В труде Бирана, получившем единодушное одобрение, Дестют де Траси особо выделял, за её ясность, главу о чувствах; а за очень хорошие наблюдения — ту, что касалась суеверных идей; за блестящие разработки — главу, в которой рассматривались опасности, порождаемые неточностью человеческого разума и его склонностью к заблуждению, а также способы, как себя от этого обезопасить. Если последняя глава, говорил он, является самой удовлетворительной и самой ясной во всём сочинении, то потому, что автор правильно ухватил суть своей темы и хорошо выбрал отправную точку.

«Чтобы быть идеологом, — говорил Дестют де Траси, завершая свой Мемуар о Канте, — *нужно быть философом-грамматиком; а чтобы соответствовать этому последнему условию, необходимо знать несколько языков»*. В начале своей *Грамматики* [2], он добавлял, что это обширнейшая

---

1 Отметим эти утверждения, чтобы ещё раз убедиться: идеологи соединяют философию с науками.

2 19 термидора II года Кабанис пишет Бирану: «Мой добрый сосед Траси только что издал свою *Грамматику*; я нахожу её анализ более глубоким, а ход изложения — более твёрдым, чем в его *Идеологии*; это составляет прекрасное целое, и когда он напишет свою *Логику*, это будет превосходный свод; он ознаменует эпоху в истории науки об уме». (*Неопубликованные письма*, собрание Э. Навилля)

наука, и что пришлось бы заняться поистине пугающими исследованиями, если бы кто-то захотел не упустить ни одной грамматической истины. Каким же исследованиям он себя посвятил, чтобы составить свой труд? Он знал латинский и греческий языки, возможно — английский и итальянский, но не знал немецкого. Он изучал французские грамматики Кондильяка, Жирара, Девьенна; итальянские — Кортичелли и Бенчирекки; немецкие — Готшеда и Юнкера; английские — Сире и Мазер-Флинта; труды авторов из Порт-Рояля, восхищение которыми никогда не будет чрезмерным, и которые провозглашали, что знание того, что происходит в нашем уме, необходимо для понимания основ грамматики; работы Дюмарсе, первого из грамматиков; Бозюэ, Уорбёртона и Кайлюса, Дюкло и Кур де Жеблена, аббата д'Оливе, Хорна Тука, который привёл к надлежащей мере заслуги своего соотечественника Харриса, когда-то столь превозносившегося; а также замечательные примечания Тюро к его переводу Харриса — это настоящие диссертации, часто ценные и всегда значительно превосходящие сам текст. Он изучал *Путешествие в Сирию* и сочинение об упрощении восточных языков отличного наблюдателя Вольнея. У всех этих авторов он искал сведения о шведском, еврейском и восточных языках, о баскском и перуанском, об иероглифике и китайском языке; но, похоже, он не знал замечательного труда президента де Бросса *О механическом образовании языков*. Наконец, человек большого ума — возможно, его коллега Ларомигьер — сказал ему справедливо, что «никогда нельзя как следует понять вещь, если не видишь, как она могла быть сделана» — замечание, основанное на глубоком понимании наших умственных операций, которое побудило его (де Траси) придать наивысшую важность полному прояснению происхождения языка и письма.

Рибо, говоря о *Генеральной грамматике* Джеймса Милля [1], замечает, что развёрнутая экспозиция доктрин, которые к моменту написания уже во многом устарели, была бы излишней; что в XVII веке язык рассматривали с точки зрения логики, а не психологии; и что подобные объяснения, в лучшем случае, применимы лишь к семье арийских языков. Этого нельзя сказать в полной мере о грамматике Дестюта де Траси, поскольку он изучил больше материалов и избрал более всеобъемлющий метод. Однако очевидно, что значительный прогресс сравнительной филологии обязывает нас говорить об этом труде лишь настолько, насколько это необходимо для того, чтобы показать: в области грамматики, как и в психологии, Дестют де Траси был новатором — и часто удачливым, — а французская философия поступила бы разумно, если бы продолжила на этом пути (как и на многих других) традицию идеологов, пусть даже с её уточнением и дополнением за счёт открытий филологов и физиологов [2].

---

1 *Психология английская*, стр. 64 и сл.

2 М-р Бэн — автор весьма ценимой грамматики.

В предисловии автор, хотя и признаёт заслуги древних, а также Пор-Рояля, Дюмарсе и Кондильяка, высказывается о них гораздо строже, чем Кабанис: все они построили теорию знаков, не определив предварительно теории идей. К свободомыслию древних, считает он, нужно, для подлинного прогресса в познании человека, добавить научность и сдержанность новых времён: таков характер *французской эпохи*, который даёт основания ожидать развитие разума и рост счастья, которые невозможно судить по примерам прежних веков. Поэтому Дестют де Траси, которого не поколебали ни упразднение Второго отделения Института, ни закрытие центральных школ, как и Кабанис, отстаивает мысль о том, что аналитический дух отнюдь не является признаком упадка и истощения гения. Он, кроме того, подчёркивает, что анализ считается завершённым лишь тогда, когда удаются обе операции — разложение и воссоздание, из которых одна составляет основание, а другая доказательство [1]. Наконец, он убеждён, что его грамматика имеет одно неоспоримое достоинство: она начинает с самого истока и естественным образом продолжает трактат по идеологии [2].

В своём происхождении язык располагает лишь теми знаками, которые представляют впечатления, составленные из нескольких восприятий, то есть целое суждение. Животные обладают только таким языком: каждый жест, каждый крик — это выражение двух ощущений, связанных актом, по своей природе аналогичным акту суждения. Это, как говорил Тюро, «точное, новое и прекрасное прозрение — различие в самой сущности способности к языку у человека и у животных». Сущность речи, или всякого выражения посредством знаков, заключается в том, что она состоит из предложений, то есть из высказываний-суждений. Первоначально суждение выражается одним-единственным знаком: таковы, до сих пор, междометия в нашей артикулированной речи [3]. При разложении суждения первым элементом оказывается имя, выражающее идеи, обладающие самостоятельным существованием. Второй элемент, т.е. знак относительной или атрибутивной идеи — это не прилагательное, потому что идея, выражаемая им, действительно должна принадлежать какому-либо субъекту, но при этом не указана как такая, что принадлежит ему в настоящий момент. Только слово быть, существовать, которое выражает идею бытия само по себе, может передать её, будучи

---

1 См. Ф. Пикаве, *Введение к “Трактату об ощущениях” Кондильяка*.

2 Из шести глав, составляющих сочинение, первая рассматривает разложение речи на составляющие — в любом языке; вторая — разложение предложения во всех языках, но главным образом в языке артикулированном и в особенности во французском; третья — элементы предложения в разговорных языках и особенно во французском; четвёртая — синтаксис; пятая — устойчивые знаки наших идей и в особенности собственно письмо; шестая — создание совершенного языка и улучшение наших разговорных языков.

3 Идеи, которые встречаются у Лукреция, у де Бросса, а также у Дарвина, Тайлора (*Первобытная цивилизация*), Мишеля Бреаля (*Смеси по мифологии и лингвистике*).

соединено с другими словами. Глаголы, будучи результатом соединения быть с другими действиями, образуют второй элемент речи [1].

К имени и глаголу — существенным формам предложения в любом типе языка — устные языки добавляют вспомогательные знаки. Междометие, при разложении, даёт имя и глагол — два элементарных знака, выявляемых при разложении предложения. На первом месте среди полезных знаков находятся прилагательные, которые изменяют идею — то в её объёме, то в её содержании. Сюда входят числительные, некоторые местоимения и артикли. Предлоги происходят от имён или прилагательных; они связывают имена, глаголы, прилагательные с подчинённой и дополняющей идеей. Превращаясь в окончания, они образуют в некоторых языках падежи имён; во всех языках (за исключением баскского и перуанского) [2], — лица, числа, наклонения и времена глаголов; включённые в слова, они служат образованию сложных форм и производных от корней. Наречия выражают предлог и его дополнение; союзы — целое предложение, но без самостоятельного смысла. Все они содержат союз что (que), который можно было бы считать единственным союзом, так же как быть — единственным глаголом. Союзные прилагательные, обычно называемые относительными местоимениями, состоят из союза что (que) и определительного прилагательного le или il, чьи функции они совмещают.

Синтаксис, который учит, как соединять знаки, изучает их расположение (конструкция), некоторые изменения, которым они подвергаются (склонения), и изобретение особых знаков, предназначенных для обозначения взаимных связей между другими знаками (пунктуация). Конструкция является естественной, когда знак идеи, которая наиболее сильно нас затрагивает, предшествует всем остальным; прямой — когда знаки расположены так, чтобы воспроизводить последовательность идей при формировании суждения. Следовательно, обратная конструкция может быть естественной, оставаясь при этом глубоко отличной от прямой конструкции.

Спряжения входят в число склонений; у глаголов есть три наклонения: прилагательное, субстантивное и атрибутивное. Последнее включает в себя изъявительное наклонение, к которому нужно присоединить условное и сослагательное. Времена изъявительного и условного наклонений сводятся к двенадцати и образуют две серии: одна включает настоящее и пять прошедших времён; другая — будущее и пять прошедших. Первая серия относится к действительной (положительной) реальности, вторая — к возможной (гипотетической). Первые три времени каждой из серий — je suis, j’ai été или je fus, j’ai eu été или j’eus été и je serai, j’aurai été, j’aurai eu été — являются абсолютными, поскольку указывают лишь на их соотношение с моментом речи.

---

1 Относительно этого утверждения см. замечания, которые м-р Финдлейтер делает к теории Милля.

2 Следует отметить это, чтобы понять, какие «положительные» исследования вели эти люди, которых привыкли считать лишь чистыми теоретиками.

Последние три — j’étais, j’avais été, j’avais eu été и je serais, j’aurais été, j’aurais eu été — являются относительными, потому что выражают, помимо отношения ко времени речи, ещё и отношение одновременности с другим бытием. Что касается сослагательного наклонения, то оно представляет собой косвенный падеж атрибутивного наклонения, в котором существование, подчинённое другому, не должно делиться на действительное и возможное: оно имеет лишь шесть времён, соответствующих двум вышеназванным сериям.

Как из преходящих и мимолётных знаков наших идей возникли постоянные и устойчивые знаки? Прикрепив к каждому слову устного языка изображённую или начерченную фигуру, получают иероглифическое или символическое письмо. Изображая звуки, из которых состоит каждое слово, получают слоговое или алфавитное письмо. В обоих случаях преходящие и мимолётные знаки заменяются знаками устойчивыми и постоянными. Но символическое письмо не способно передавать изменения устной речи и не может быть надёжно истолковано, когда само слово исчезло. Если существует восемьдесят тысяч знаков, из которых образованные китайцы знают едва ли более пятнадцати тысяч, то всё остальное — это неразрешимая живопись утраченных слов, исчезнувших в ходе языковых преобразований. Если у народов, использующих иероглифическое письмо, обнаруживаются знания, несовместимые с этой системой письма, которая ведёт к одурачиванию народных масс, к застою среди образованных, к отсутствию контактов с иностранцами, к утрате знаний и суеверному преклонению перед древностью и т. д., — то это потому, что такие знания были получены от другого народа, имя и страна которого всё ещё остаются неизвестными

Но чтобы знать, в чём состоит письмо, необходимо понимать, что такое речь. Наряду с голосовыми звуками, представленными гласными, и артикуляциями, выраженными согласными, Дестют де Траси выделяет три другие свойства звуков, о которых грамматики ничего не говорят: *длительность*, *тон* и *тембр*. Произнося гласную **a**, мы придаём ей определённую длительность, ощущаем звук как более или менее краткий, более или менее высокий, и различаем простую артикуляцию в слове *amour*, которая модифицируется очень заметной придыхательной нотой в слове *hache*. Если придыхание — это подлинная артикуляция, встречающаяся в любой гласной, то, напротив, в произношении согласной различается голос или schéva — настоящее *немое e*, ещё короче самых кратких гласных. Звук не может существовать без артикуляции, голоса, тона и длительности — так же как тело не может быть без формы, величины и тяжести. Тот, кто произносит **a**, дополняет его тоном, артикуляцией и длительностью; тот, кто произносит **b**, — голосом, длительностью и тоном. Поскольку грамматисты не восходили к первым природным фактам, они не поняли ни происхождения языка, ни происхождения письма. Учитывая предыдущий анализ, письмо легко объясняется через музыку. Сначала существуют лишь тоны в ограниченном числе, и каждому из них соответствует знак — нота, следы которых находят на

очень древних памятниках. Затем стали записывать длительность звуков. Распевая знаки, к ним добавляют артикуляции и голос. Так же, как когда-то изобрели ноты, чтобы передать тон и длительность, были изобретены согласные и гласные, чтобы передать артикуляцию и голос; позднее были добавлены ударения, чтобы обозначить высоту и количество, то есть знаки, изначально применяемые исключительно к музыкальному звуку. Если действовать таким образом, то станет ясно: чтобы отдельно передать каждое из свойств звука и не оставить ничего на домыслы, потребуется: для артикуляций: двадцать согласных [1]; для голосов: семнадцать гласных [2]; для тонов: два ударения, обозначающие крайности — высокий и низкий, оставляя без знака средние; для длительности: цифры 1, 2, 3, 4, указывающие, насколько каждый звук длится дольше самых кратких, или schévas. С этими сорока тремя знаками можно было бы получить почти универсальный алфавит. Если бы какая-либо учёная организация продолжила эту работу, точно определив число артикуляций, голосов, тонов, длительностей и соответствующих им знаков; если бы она напечатала несколько хороших образцов текста — в прозе и стихах — с использованием такого алфавита, то правильное произношение и подлинная просодия были бы зафиксированы с максимально возможной точностью. Если бы таким же образом были напечатаны образцы текстов на иностранных языках, при необходимости добавив несколько новых знаков, то это дало бы нам действительно полный алфавит, орфографию, действительно достойную этого названия, и энциклопедический памятник современному состоянию речи и её точного воспроизведения [3].

Можно ли после универсального алфавита ввести по-настоящему универсальный язык? Так же, как и в 1798 году, Дестют де Траси не верит, что можно установить универсальный язык ни для обиходного, ни для научного использования — и даже в последнем случае он не считает это возможным без недостатков: ведь если бы такой язык и объединил учёных всех стран, он одновременно затруднил бы их общение с согражданами. Наконец, он также сомневается в возможности создания совершенного языка. Тем не менее он указывает на некоторые изменения, которым должны были бы подвергнуться современные языки, чтобы стать менее несовершенными — и было бы небезынтересно сопоставить эти предложения с теми, что выдвигались современными реформаторами. Он желал бы: чтобы слова были составлены в

---

1 *M, n, gn, ill, b, v, d, g, l, z, j, i (aspiration* de amour), p, f, *t, k, r, s, ch, h* (héros).

2 **Два** *a*, patin et pâté, **три** *e*, tête, tette, té; **три** *eu*, jeu et jeûne, beurre et jeune, je, me, tombe ; **два** *o*, hotte et hôte ; **один** *i*; **один** *u*; **один** *ou*; четыре носовых, an, *ein, un, on.*

3 Именно к классу грамматики и французской литературы, то есть к тому, который вновь станет Французской академией, обращается Дестют де Траси, задолго до Луи Авэ, «чтобы восстановить и закрепить правильное произношение и истинную просодию нашего языка». См. Луи Авэ, Упрощение орфографии. Можно заметить, что положительные исследования, рекомендованные Дестютом де Траси, были возобновлены. Предпринимались попытки создать антропологический алфавит: Кудеро (Bulletin de la Société d'anthropologie, 1875), Уитстон, Фабер изготовили машины, способные дать нам знание о механизме человеческого голоса.

соответствии с истинной последовательностью идей; чтобы синтаксис был как можно более простым; чтобы конструкция была полной и прямой; чтобы существительные были без рода, а число обозначалось с помощью прилагательных, падежи — предлогами; чтобы прилагательные были неизменяемыми; чтобы был только один глагол — глагол «быть», с тремя наклонениями и двенадцатью временами в прилагательном наклонении; только одно настоящее время в субстантивном наклонении; одно настоящее в атрибутивном наклонении с шестью окончаниями, обозначающими три лица и два числа; союз que («что») как корень всех союзов, отделяемый от прилагательного в союзных прилагательных. [1].

Мы уже видели, как Кабанис оценил новый труд своего друга. Тюро, посвятивший ему три статьи в *Décade*, был не менее восторженным. Он тоже считает это сочинение во многих отношениях превосходящим *Идеологию*. Все основные идеи, углублённые, упрощённые и сближённые между собой, представляются ему пригодными для того, чтобы ускорить и обеспечить поступательное движение человеческого разума на его бесконечном пути; подлинные и важные наблюдения, прежде неполные и разрозненные, касающиеся грамматики, теперь соединены, прояснены и подтверждены множеством новых наблюдений, связанных с простыми и плодотворными принципами, благодаря методу, применённому с наивысшей возможной проницательностью. И именно собственные идеи автора, по мнению Тюро, составляют безусловно самую оригинальную, самую интересную, самую полезную и самую значительную часть труда. Аналогично и Биран, хотя и полемизирует с теориями *Идеологии*, использует *Грамматику* как основание для своих размышлений и находит превосходным очерк о постоянных знаках наших идей: «Пусть же учёные из нашей Академии надписей (третьего отделения), — восклицает он, — ещё раз попробуют утверждать, что идеология ни на что не годна!» [2]! Добавим, что в этом труде поднимаются многие вопросы, которые и по сей день волнуют филологов (пусть теперь у них в распоряжении несравненно более обширные материалы), а также психологов, опирающихся на физиологию, в которой уже далеко не всё погружено во тьму. Метод, избранный автором, хотя порой и чересчур гипотетический, временами приближается к подлинному научному и позитивному наблюдению. Ни один другой труд не был бы столь пригоден для того, чтобы привить грамматистам вкус к идеологии, а философам — вкус к таким полезным для познания человека исследованиям [3].

---

1 Дестют де Траси идёт дальше, чем Луи Авэ, не пренебрегая, в отличие от авторов волапюка, связью между идеями и словами.

2 Неопубликованные письма, сообщённые м-ром Навиллем.

3 См. Рибо, *Психология английская*, статья о Джеймсе Милле и др. Работы Дестюта де Траси были продолжены Франсуа Тюро, племянник которого был известен как философ не менее, чем как филолог; Кардайяком, которому неоднократно приписывали теории, заимствованные им у идеологов. Ср. гл. VIII, § 4.

В том же году, когда вышла его *Грамматика*, Дестют де Траси сблизился с Бираном, который приехал в Париж для печати своего *Мемуара*. Весной 1804 года он пишет Форьелю, что «картина человеческих безумств», с таким самодовольством нарисованная Дежерандо, вновь пробуждает у него желание заняться этими размышлениями: «Я всё больше убеждаюсь, — добавляет он, — что тот, кто знает три или четыре [размышления], знает уже тысячу» [1]. В конце того же года он выпускает новое издание *Идеологии*. Не следует понимать буквально его утверждение в *Предуведомлении*, что он лишь перепечатал первое издание. Он сам заботливо уточняет, что включил в него примечания и пояснения, которые покажутся важными тем, кто углублённо изучает предмет. Тюро, представивший книгу читателям *Décade*, отметил удачные усовершенствования и полную переработку главы VII, посвящённой вопросу об *экзистенции* (существования) [2].

Дестют де Траси ещё нисколько не утратил уверенности; он совершенно спокоен относительно прочности своих принципов. Существование секции анализа в Национальном институте и кафедры общей грамматики, хотя она просуществовала очень недолго, кажется ему явлением, давшим уму «поразительный импульс, который не прекратится». В августе 1804 года он писал Бирану: *«Сейчас делаются прекрасные вещи по общей объяснительной грамматике и сравнительной грамматике. Священный огонь не угасает; у меня есть мысль, что через некоторое время это всех удивит; в этом уж точно не будет вины некоторых людей»*. А в декабре он высказывается ещё яснее. Если он находит немного полезного для себя в сочинении Прево о знаках и если *Précis d'Idéologie* де ла Буллиньера заставляет его сказать, что автор лучше своей книги, он всё же заявляет, *«что в Анже ведётся хороший курс нашей науки, и другой в Безансоне, что Андриё начинает его в Политехнической школе, что священный огонь живёт всегда»* [3].

---

1 Сент-Бёв, Форьель, стр. 184.

2 Примечание в три страницы, помещённое в конце главы IV, показывает, что Дестют де Траси занят составлением своей *Логики*, где он должен установить, что идея, выраженная сказуемым, является более общей, чем та, выражением которой служит подлежащее. В другом месте, говоря о привычке, он сожалеет о потере Драпарно и замечает, что в идеологии испытывают то же, что испытали в химии, где сначала были замечены только самые грубые элементы, тогда как самые тонкие ускользали от наблюдения. Затем, в примечании в десять страниц, где он цитирует *Мемуар* Бирана *О привычке* («одно из лучших произведений, когда-либо написанных на эти темы»), он устанавливает разницу, отделяющую алгебраический язык от других языков, и заключает, что его нельзя перенести на другие предметы, что невозможно придать другим языкам его свойства, ни достичь посредством силлогистических форм того же эффекта, что с помощью алгебраических формул. Наконец, он исключает длинную реккапитуляцию, завершавшую первое издание, и заменяет её *Сводным изложением с рассуждениями*, служащим аналитическим указателем, «более пригодным для того, чтобы показать взаимосвязь идей и дать почувствовать их слабость, если бы они оказались плохо обоснованными или плохо проведёнными».

3 Ср. гл. VII, § 1. Неопубликованные письма, сообщённые м-ром Навиллем.

Уже в начале XIII года Дестют де Траси сообщает Бирану, что только что закончил свою *Логику*: «Я обошёл, — говорил он, — весь мой маленький круг; он замкнулся совершенно точно, безо всякого преднамеренного расчёта, что свидетельствует о том, что он был вычерчен правильно» [1]. Посвящение Кабанису [2], датированное 1 флореаля (май 1805), на два месяца позже письма, в котором Кабанис сообщает Бирану, что третье отделение только что увенчало его *Мемуар о разложении мысли*, а Ларомигьер опубликовал свои *Парадоксы Кондильяка.*

Логика насчитывает шестьсот семьдесят страниц и включает *Предварительное рассуждение* (140 страниц), девять глав (с 140 по 522 страницу), *Продуманную выдержку* (с 522 по 561), наконец *Приложение* (с 561 по 567), где находятся *Краткое изложение «Instauratio magna»* и перевод *Логики* Гоббса.

«Предварительная речь» заслуживает внимания по многим причинам. Чтобы доказать, что логика является наукой чисто спекулятивной, а не искусством рассуждения, как это принято говорить [3], Дестют де Траси пишет историю логики, где, оставаясь строгим в своих оценках, стремится беспристрастно изложить доктрины своих предшественников. Аристотелева логика, по его мнению, имеет основной недостаток: она не объясняет ни действия интеллектуальных способностей в формировании идей, ни порождение их знаков, ни эффекты и способы использования этих знаков; она плоха как искусство и не является наукой о истине и достоверности — наоборот, она заставила считать их излишними и вредными. Однако, замечает он, стоит прочесть французский перевод *Органона*, сделанный Ф. Канэем в

---

1 *Неопубликованные письма* от 1 вандемьера. — Нет ли здесь ошибки в дате, и не следует ли отнести это письмо на несколько месяцев позже, если Дестют де Траси 4 августа 1804 года пишет: «Я ещё не вполне доволен тем, что уже сделал в своей *Логике*» — особенно если принять во внимание, что в то время Дестют де Траси должен был вносить изменения в свою *Идеологию* и исправлять её корректуры? Однако, если рассматривать гл. VIII как ответ на *Парадоксы*, можно допустить, что речь идёт о добавлении этой главы, а не о всей *Логике* целиком.

2 Дестют де Траси дождался, пока труд будет завершён, чтобы преподнести его своему другу. Эта дань была обязана быть отдана человеку, который под скромным заглавием *Отношения физического и нравственного в человеке* на самом деле дал историю этой связи; который изложил её самым ясным и мудрым образом, наиболее красноречиво и точно; которому все, кто пожелает следовать возвышенному предписанию дельфийского оракула, будут вечно обязаны благодарностью. Чтение *Отношений* и, ещё более, беседы с Кабанисом дали ему мужество и надежду. Его наибольшее честолюбивое стремление состоит в том, чтобы его собственный труд рассматривался как следствие сочинения Кабаниса; чтобы сам Кабанис видел в нём лишь следствие принципов, которые он изложил. Так было бы исполнено желание Локка: подробная история нашего разума стала бы частью и разделом физики человека.

3 Бартелеми Сент-Илер (*Логика Аристотеля*, стр. 12) весьма убедительно показал, что данный вопрос является одним из важнейших, какие только можно затронуть в этих областях.

1589 году. Было бы полезно, чтобы существовал распространённый, часто используемый французский перевод *Логики* Аристотеля, и Дестют де Траси даёт полезные советы тому, кто бы решился сделать такой перевод хорошим и понятным [1]. Сам он тщательно изучил *Категории*, *О толковании*, *Первые* и *Вторые аналитики*, *Топику* и *Софистические опровержения.* Французские идеологи, «вовсе не являются неистовыми новаторами, не отступили от школы Аристотеля, и не пытаются вопреки его намерению заняться тем, что великий учитель называл бесполезным или невозможным. Напротив, они его продолжатели, его ученики и, можно сказать, исполнители его духовного завещания» [2]. Также Дестют де Траси с вниманием анализирует Бэкона, и в ряде случаев толкует его совсем не так, как Лассаль. Если Бэкон и был великим человеком, обладал выдающимся умом, обширными познаниями и замечательным даром, то все же первая часть его сочинения (*О предвидении наук*) плоха, потому что основана на ложном анализе наших интеллектуальных операций; вторая (*Novum Organum*) — ещё более несовершенна; третья (*Естественная и экспериментальная история*, призванная стать основой философии) это всего лишь попытка, предпринятая в неверном направлении; четвёртая (*Лестница разума*) состоит из шести отрывков, тем лучших, чем меньше они следуют предписанному методу. О пятой части (*Предварительные знания второй философии*) до нас дошло только предисловие, а шестая (*Вторая философия*) даже не начата [3]. Более того, Дестют де Траси полагает, что Декарт, не зная Бэкона [4], написал то же самое, но с меньшим пафосом и показной пышностью, зато яснее [5]. О Гоббсе, чью *Логику* он переводит и настоятельно рекомендует читать внимательно, он отмечает — помимо анализа формирования идей, слов как знаков или отметин наших идей, и восприятия — следующее утверждение, которое само по себе должно бы закрепить за Гоббсом репутацию **основателя идеологии** и обновителя моральных наук: *«Принципы политики происходят из познания движений души, а познание движений души — из науки об ощущениях и идеях»*. Мессии из Пор-Рояля

---

1 Именно это и сделал м-р Бартелеми Сент-Илер, отвечая на задание Академии моральных и политических наук в 1837 году.

2 Точно так же можно было бы утверждать, что психологи-эволюционисты лишь возобновили метод и рамку [греческое слово в тексте]. Мы показали это в наших лекциях в Высшей школе (Hautes-Études) в учебном году 1888–1889.

3 Ж. де Местр был более оскорбителен по отношению к Бэкону — был ли он более суров?

4 Это неверно.

5 «Нет, — говорит он, — ни одной полезной вещи из великого *Возрождения наук*, которая не содержалась бы в первых сорока страницах замечательного *Рассуждения о методе*. У Декарта даже есть большие заслуги сверх тех, что у Бэкона. Он сумел свести всё, что составляет хорошую методику, к тем четырём знаменитым принципам, которые действительно заключают её всю целиком; он увидел и сказал, что первым предметом нашего исследования должны быть умственные способности, которые одни позволяют нам познавать всё остальное; что первая вещь, в которой мы уверены, — это наше собственное существование, в котором мы убеждены потому, что ощущаем его. “Я мыслю, следовательно, я существую” — это самое глубокое слово, когда-либо сказанное, и единственное подлинное начало всякой здравой философии». Разве мы были неправы, сделав идеологов преемниками Декарта?

относятся к Декарту так же, как Гоббс — к Бэкону: в их *Логике* и *Общей грамматике* содержится зачаточная теория идей и улучшенная теория знаков; они подготовили почву для Локка, чей *Опыт исследования человеческого разума* есть первый трактат по логической науке. Если Кондильяк более подробно и добросовестно исследовал ход мыслительной деятельности человека в *Опыте о происхождении человеческих знаний*, если он разработал тему до конца в *Трактате об ощущениях* и *Трактате о животных*, — его метод, с полным основанием высоко оцениваемый, на самом деле есть лишь метод Бэкона и Декарта [1]; его идеологическая и логическая доктрина, к сожалению, так и не была собрана в одном сочинении и не была сведена в одну стройную систему взаимосвязанных идей. Он совершил большую ошибку, не обратив должного внимания на идеи П. Бюффье, заслужившего похвалу Вольтера и указавшего, что имя всегда является подлежащим в предложении, глагол — его подлинным сказуемым, а все остальные элементы — лишь модификаторы имени и глагола; что подлежащее содержит в себе сказуемое и что цепь предложений может быть логически связной только в той мере и потому, что каждое сказуемое последовательно включает в себя то, что следует за ним.

«Наученные усилиями наших предшественников, — говорит Дестют де Траси, который сделал для логики и рациональной идеологии то же, что Кабанис сделал для физиологической идеологии, — мы знаем, что чувствовать значит целиком существовать; что суждение это всего лишь выделение какого-либо обстоятельства из предшествующего восприятия. Но что же это за наука, логика? Это исключительно метафизика; но не старая метафизика, которая по отношению к новой то же самое, что астрология — к астрономии, алхимия — к химии. Истинная метафизика, или теория логики, есть наука о формировании наших идей, об их выражении, их сочетании и их выведении. Сначала она была неизвестна, затем отвергнута, и, наконец, преследуема, когда она с блеском появилась в рядах Национального института и на кафедрах публичных школ, однако она всё же сделала шаг вперёд. Необходимо завершить её усовершенствование. До Кондильяка правильность рассуждения объясняли тем, что в общих суждениях содержатся частные; называли предикат "большим термином", а субъект "малым термином", при этом утверждая, что оба они равны среднему термину. Для Кондильяка суждения — это уравнения, рассуждения — это последовательности уравнений, а идеи, сравниваемые в суждении и рассуждении, тождественны. Но в суждении субъект включает в себя предикат; в последовательности суждений каждый предикат включает в себя следующий, подобно тем коробочкам, в одной из которых находится другая, меньшая, а в той ещё одна, и так до самой последней. Или ещё лучше — как это бывает с трубками подзорной трубы, которые, будучи вложены одна в другую, при поочерёдном вытягивании из внешней продолжают её и удлиняют

[1] Тем самым Дестют де Траси вновь примыкает к Декарту. См. то, что он сказал о методе Кондильяка в *Мемуаре о Канте* (§ 2).

тем самым трубу: каждый раз, когда вы выносите новое суждение, замечая, что одна идея содержит в себе другую, прежде не замеченную, — эта последняя становится новым элементом, который добавляется к тем, что уже составляли первую, и увеличивает их число».

Существуют ли истина и ошибка, или, иначе говоря, почему и каким образом мы уверены в чём-либо? Дестют де Траси решает этот вопрос как продолжатель Декарта. Природа суждений объясняет правильность рассуждений, а природа идей — правильность самих суждений. Первый факт, в котором мы уверены, — это наше чувство, аффекция или знание; поскольку чувствовать для нас, это то же самое, что существовать и мыслить, то первое суждение, которое мы можем вынести с уверенностью, это то, что мы уверены в том, что чувствуем. Декарт сказал: «Я мыслю, следовательно, существую». Он мог бы сказать: мыслить и существовать для меня — одно и то же, и я знаю с уверенностью, что существую и мыслю, в силу самого акта мышления, который я сейчас осуществляю. Благодаря этой возвышенной мысли он вновь поместил всё человеческое знание на его подлинное основание, на его исходную и фундаментальную базу; ведь даже самый убеждённый скептик не может сомневаться в том, что он существует, воспринимая самого себя сомневающимся, — а это и есть уверенность в своём существовании и в каждом из его модусов [1].

Но откуда берётся ошибка? Вспомним различия, установленные в *Идеологии*. Чистые ощущения или простые идеи не подвержены никакой ошибке; однако они перестают быть чистыми и становятся составными идеями, как только мы прибавляем к ним мысль о том, что они происходят от иного существа. Что касается индивидуальных и частных идей, а также обобщённых или абстрагированных представлений о существах, их качествах и модусах, — они составлены посредством суждений. Хотя мы и уверены, что воспринимаем их так, как они нам даны, мы не уверены в точности суждений, с помощью которых они были составлены. Воспоминания, будучи достоверными как актуальные восприятия, могут быть ложными, если мы судим, что они являются верным отражением предыдущего восприятия; таким образом, идеи существ и их модусов при каждом своём возрождении приобретают или теряют ряд элементов; точно так же и суждения, и ощущения, и желания воспроизводятся в памяти лишь весьма несовершенно. Причина всех наших заблуждений заключена исключительно в суждениях; и тем не менее, как актуальные восприятия, суждения столь же достоверны, как и все прочие. Наши желания, реальны постольку, поскольку мы их ощущаем, становятся ошибочными в силу суждений, лежащих в их основе или вмешивающихся в них. Следовательно, все актуальные восприятия достоверны и допускают

[1] Ему можно было бы возразить, как и Декарту, различая существование феноменальное и существование ноуменальное; но Дестют де Траси мог бы ответить, что он занимается, в отличие от Декарта, только первым. Он оказался бы, таким образом, почти в полном согласии с пирронистами.

ошибку лишь в силу своей связи с прошлыми восприятиями; именно в несовершенстве нашей памяти коренится причина всех ошибок. Уверенные в том, что мы ощущаем, мы не всегда уверены в связи между тем, что ощущаем сейчас, и тем, что ощущали прежде.

Набросаем гипотетическую схему[1] последовательного возникновения наших идей. Если достоверность актуальных восприятий и недостоверность связи этих восприятий с восприятиями прошлыми объясняет все факты, мы заключим, что именно они и являются двумя причинами [всех заблуждений], — так же как мы верим в существование первоначального толчка и постоянного притяжения, объясняющих все небесные движения. Я начинаю жить — я это чувствую; здесь не может быть ошибки. Я ощущаю воспоминание об этом, и в этом втором восприятии тоже нет ошибки. Но я сужу, что это воспроизведение первого. С этого момента возникает возможность заблуждения, не потому, что само суждение ложно, а потому что идея, выступающая в роли субъекта, несовершенно представляет собой первое воспоминание. Я открываю в идее своего первого ощущения идею того, что оно приятно для переживания: я могу ошибиться, потому что моё первое воспоминание — это не точная копия первого ощущения, и я сужу о нём так, как не стал бы судить о самом ощущении. Но, считая это восприятие приятным, я желаю испытать его вновь; мои члены снова приходят в движение, затем ощущение исчезает, как и в первый раз. Воспоминание об этом ощущении вернётся ко мне, осложнённое множеством идей, которых не было при первом его возникновении; оно станет менее достоверным. Осложнение происходит даже тогда, когда я сужу о чувстве, пока оно ещё длится: отсюда возникают новые поводы к ошибке. Но вскоре я сужу, что ощущение прекратилось по воле существа, отличного от меня, хотя я хотел его продолжения. Я постигаю существование двух различных и отделённых существ: одно — желающее, другое — сопротивляющееся. Мои идеи проясняются, превращаясь все в идеи существ или модусов, а моё актуальное восприятие всё труднее связывается с предшествующими восприятиями. Я осознаю, что идеи это не только мои собственные модификации, но и следствия свойств независимых существ; я полагаю, что для того чтобы быть правильными, они должны соответствовать существованию этих существ, а не только быть связаны друг с другом. И всё же — ошибочно; потому что взаимосвязи между идеями оставались бы теми же самыми, даже если бы модификации происходили, без внешней причины, исключительно от нашей чувствующей способности. Но невозможно предположить, что одна и та же чувствующая способность одновременно хочет и сопротивляется: если существует даже только две таких способности, они не могут отрицать друг друга, и не могут отказать в существовании существам, которые повинуются одной и сопротивляются другой. Следовательно, необходимо признать реальное существование существ, являющихся причинами наших восприятий. Это, впрочем, не мешает тому, что наши

[1] Мы вновь находим здесь математика на месте физика. Ср. § 1.

восприятия остаются для нас всем; что они являются истинными, если хорошо связаны между собой, ибо, рождаясь друг из друга, последние не могут быть более ложными, чем первые, если мы видели в первых лишь то, что в них действительно есть [1] ; и, наконец, что они, в таком случае, соответствуют реальному существованию этих существ, так как первые восприятия, происходя непосредственно от существ, их вызывающих, составляют для нас их существование, а все прочие — лишь их развертывания и следствия. Но наши идеи становятся всё более сложными, и точное воспроизведение воспоминаний становится труднее. Эта трудность ещё возрастает вследствие превращения идей в обобщённые или абстрактные, использования знаков, связи идей и частого повторения одних и тех же интеллектуальных актов. Она увеличивается по мере расширения, количества и утончённости наших идей, и образует достаточную причину всех наших ошибок. Она объясняет также эффекты, возникающие из различных состояний наших организмов, ибо привычное чувство жизнедеятельности изменяет идеи в зависимости от времени и изменяет суждения, искажая воспоминания. Она объясняет также искажения, возникающие в наших суждениях в силу различий темпераментов, полов, возрастов, состояния здоровья и болезней, а также различных недугов [2]. Отсюда следует, что для того, чтобы иметь ясный ум и здравое суждение, необходимо обладать либо малой подвижностью натуры, либо силой рефлексии, которая позволяет точно отделять от идеи, о которой мы судим, посторонние ей впечатления. Кроме того, поскольку наши первые и простые восприятия достоверны, немногочисленны, одинаковы для всех в своих взаимосвязях и составляют все прочие идеи, которые остаются верными, если мы в первых восприятиях усмотрели только то, что действительно в них есть, — существует, для всего рода, некая всеобщая причина, некий общий и универсальный смысл.

Итак, мы рассуждаем с помощью слов, на основе уже сформированных идей, суждений и воспоминаний: чтобы хорошо рассуждать, формы не имеют значения; но необходимо описывать идею, если её понимание, а следовательно и значение её знака, становятся смутными и неясными, то есть нужно внимательно рассматривать лишь то, о чём идёт речь, и точно это представлять. Таким образом, первые две части старых логик оказываются расширенными, третья — уничтоженной, четвёртая даёт лишь неполный принцип. Тем не менее логики были искусны и полезны. Бесполезными всегда оставались лишь метафизики, которые отваживались догматизировать по поводу самых сложных абстракций и по поводу природы мыслящего существа, которого они не знали, не изучая ни происхождения наших идей, ни наших интеллектуальных операций. И мало найдётся логиков, идеологов, философствующих

[1] Здесь можно также сопоставить теорию Дестюта де Траси с декартовской теорией первых сущностей.

[2] Дестют де Траси вдохновляется Кабанисом и дополняет его. Ср. гл. IV.

грамматистов, которые не могли бы упрекнуть себя в том, что порой были метафизиками.

Мы указали на место, где Дестют де Траси, по-видимому, критикует Ларомигьера и его теорию внимания; двенадцатая глава *«Логики»*, где он утверждает, что его труд завершён, но тем не менее, хотя и довольно неохотно, старается найти новые доводы, которых якобы ещё недоставало для обоснования его принципов, — выглядит как ответ [1] на *Парадоксы* [2]. Последняя глава представляет собой резюме трёх частей, составляющих логическую науку, и программу того, что должно следовать далее. Начало напоминает первые страницы *Рассуждения о методе*, которым оно уступает лишь потому, что написано в 1805 году, а не в 1637. Траси, пришедший к идеологии через науки, никогда не помышлял о том, чтобы отделить одно от другого; он попытался, вслед за Д'Аламбером и до Ог. Конта, предложить классификацию и иерархию наук, в которой есть немало достойного; наконец, он сослался, чтобы оправдать свои идеологические исследования, на те же доводы, которые ныне приводят те, кто хочет отстоять против Ог. Конта легитимность метафизики. Ничто лучше не способно показать с наилучшей стороны философа, которого в нашей стране слишком недооценивают.

Все науки, даже те, что наиболее точны в своём ходе и наилучшим образом упорядочены в целом, казались ему оставляющими позади себя множество *неизвестных*, скрытых за их первыми принципами. Наука об абстрактных количествах не объясняет ни того, как мы формируем идею числа, ни того, как мы приходим к абстрактным идеям; геометрия не учит ни тому, как мы познаём протяжённость, ни в чём состоит это свойство, ни почему именно оно даёт повод для особой науки, которая влияет на все прочие. Физика, позитивная наука о свойствах существ, воспринимаемых нашими чувствами, и о законах, которыми они управляются, не объясняет, как эти свойства вытекают и происходят друг из друга, как они для нас зависят от наших познавательных способностей, как они связаны с протяжённостью, каковы их отношения со временем и количеством. Естественная история не объясняет ни в чём состоит

---

1 Он отвечает не только на *Парадоксы* и Ларомигьера: возможно, речь идёт также и о возражениях Бирана и Кабаниса. «Я должен ещё поблагодарить моих судей, — говорит он в конце главы, — за то, что они, так сказать, вынудили меня сделать мои доводы столь убедительными, насколько это было возможно».

2 Постепенно он объясняет, что в природе всё необходимо, но всё контингентно для нас, которые не знаем полной цепи причин ни для чего. Отсюда следует, что ход нашего мышления одинаков и в вопросах контингентных, и в вопросах необходимых. Предписанные формам рассуждения правила излишни. Всякий силлогизм сводится к сориту и доказателен только потому, что содержит в себе сорит. Считать — значит рассуждать, но рассуждать — не значит считать. В рассуждении нет ни сложения, ни вычитания, но в сложении и вычитании есть рассуждения. Всякое рассуждение, включая вычисления, состоит лишь в подстановках выражений, и единственная причина правильности этих подстановок всегда заключается в умственной операции, состоящей в том, чтобы видеть, что подставленная идея заключена в предыдущей.

существование существ, ни что оно собой представляет относительно их и нас; ни каковы интеллектуальные последствия чувствительности у различных видов, и в особенности — у нашего.

Как и эти общие науки, специальные науки, ещё менее надёжные в своих методах и более несогласованные между собой, лишены первичных понятий, на которые им надлежало бы опираться. Политическая экономия не указывает ни происхождения, ни природы наших потребностей, ни прав, которые эти потребности нам дают, ни обязанностей, которые налагает на нас осуществление нашей способности действовать. Мораль — ещё менее методична, поскольку до сих пор спорят о её цели и её принципах. Законодательство, происходящее из морали и политической экономии, и включающее науку о правлении и науку о воспитании, тем более лишено прочного основания. Логика, претендующая направлять как специальные, так и общие науки, была ограничена искусством выводить следствия и оставляет в стороне искусство полагать принципы. Грамматика плохо или почти не объясняет, как у нас появляются знаки для наших идей и каковы их преимущества и недостатки: она также лишена основополагающих принципов.

«Великолепное здание наших знаний, — говорит Дестют де Траси, — которое сперва представилось мне столь внушительным фасадом, таким образом оказалось лишённым основания и покоилось на вечно зыбучем песке».

«Эта печальная истина, которая проникла меня скорбью и тревогой, доказала мне, что великое обновление, столь часто провозглашённое и, как считалось, осуществлённое Бэконом, имело место лишь на поверхности; что все науки действительно избрали более упорядоченное и более разумное направление, начиная от определённых данных или условно принятых исходных точек; но что все они нуждаются в начале, которого нигде не оказалось. Именно эту потребность пытались удовлетворить с помощью первофилософии; но первофилософия — это не позитивная и чётко выраженная наука, высказывающая догматы о каком-либо особом роде существ или о последствиях их существования и их взаимных связей; она должна состоять в изучении наших средств познания. Возделываемая ранее людьми высокого ума, она уже достигла значительного прогресса; но всё ещё обозначалась сложным названием «анализ ощущений и идей» и не отождествлялась с научной частью логики, тем более — с первофилософией. Когда я предлагал, — добавляет Дестют де Траси, который позволяет нам присутствовать при становлении своей мысли, — назвать её идеологией, словом, которое было лишь сокращённым переводом выражения, которым её обозначали, это показалось попыткой придать ей новый характер; я и сам тогда не предвидел, куда приведёт меня это исследование. Поставленный, как у Бэкона, лицом к лицу с объектом, подлежащим изучению, я отбросил всё, что другие в нём видели или думали видеть до меня; я рассмотрел — без предварительных предубеждений, без заранее принятой позиции — всю совокупность моих идей и вскоре

различил в их составе постоянное повторение небольшого числа интеллектуальных операций, всегда одних и тех же, которые суть лишь разновидности акта ощущения».

Д. де Траси затем напоминает основные идеи своей Идеологии — четыре элементарные операции: чувствовать [1], вспоминать, рассуждать и хотеть; существование сведено к способности ощущать; ощущение движения — единственное, что может дать нам знание о существовании других существ. «Недостаточно, — говорит он с уверенностью человека, убеждённого в обладании истиной, — уделили внимания этим фундаментальным основам моего труда и всей философии; были встречены с благожелательностью, а порой и с одобрением, отдельные части, которые могут обладать действительной ценностью лишь постольку, поскольку они опираются на эти предварительные положения. Я полагаю, что достаточно точно почерпнул их из природы, полностью освободив от всякого гипотетического мнения, от всякого произвольного принципа, эти первые данные, на которых покоится всё моё произведение. Их следует изучать, обсуждать и утверждать как можно тщательнее, если мы действительно хотим, чтобы наши знания были основаны на прочном и незыблемом фундаменте. Я сознаю, что в этом утверждении звучит оттенок притязания — утверждать, что сказанное мной заслуживает изучения; но я прошу этой милости не для себя, а для предмета, который я рассмотрел в одиннадцати первых главах: в них заключена вся истина истории нашего разума».

Затем, подводя итог *Идеологии*, *Грамматике* и *Логике*, Траси добавляет — скорее как картезианец, чем как натуралист: «Заблудиться, следуя по пути, которым я шёл, весьма трудно. Я изучал с пером в руке; я не знал этой науки, когда начал её писать, ибо она не существовала нигде; у меня не было никакой предвзятости; я не знал, куда приду; я наблюдал наш разум без предубеждений и записывал то, что видел, не зная, к чему это приведёт. Я возвращался назад всякий раз, когда видел, что пришёл к абсурду; я переделывал по пять раз отдельные части своей Логики; я всегда находил место, где сбился с пути, то есть где я неправильно воспринял исходные факты; наконец, без допущений, без противоречий, без лакун я пришёл к результату, которого я ни не предвидел, ни не желал. Он правдоподобен, он даёт объяснение всем феноменам — невозможно не обрести в нём полного и всецелого доверия».

Насколько же — и справедливо — мы сегодня более недоверчивы! Противники идеологов, оспаривая их утверждения, показали нам, что эти вопросы не столь просты, как тогда казалось, и позволили нам формулировать, пусть и не решать, во всей их почти бесконечной сложности те проблемы, которые идеологи считали окончательно разрешёнными. И эта услуга,

[1] «Я увидел всё яснее, и позднее, что согласно нашей организации три другие операции следуют за операцией чувствования». — Разве мы не были правы объяснять влиянием Кабаниса перемену в доктрине Дестюта де Траси по вопросу об существовании? (См. § 2.)

оказанная нам таким образом, отнюдь не мала, если признать, что знание своей собственной неосведомлённости абсолютно необходимо для каждого, кто хочет заниматься наукой о человеке и о вселенной.

После того, что он уже сделал, Дестют де Траси говорит о том, что ещё предстоит осуществить. История нашего разума, рассмотренная в аспекте его познавательных средств, должна быть дополнена изучением воли и её последствий, то есть исследованием различных способов, которыми мы распоряжаемся своими силами, а также тех средств, при помощи которых мы правильно судим о чувствах и страстях, побуждающих нас к действию. Из этого можно было бы вывести принципы искусства правильного управления ими. *Экономика, мораль, законодательство* предоставили бы подлинные элементы всех разделов моральных и политических наук, и таким образом завершилась бы история интеллектуальных способностей человека. Затем человека следовало бы рассматривать в момент, когда он применяет свои познавательные средства к изучению других существ, — наблюдать, как он открывает их существование и свойства: так были бы найдены элементы всех наших физических или абстрактных наук — физики, геометрии и исчисления. Сначала показали бы, как, благодаря реакции нашей чувствующей способности на мышечную систему, мы узнаём о существовании тел и об их различных свойствах; отсюда бы возникли классификации и описания естественной истории, наблюдения и сочетания физики. Затем следовало бы изучать протяжённость в её конкретном и позитивном виде; установить, что она представляет собой лишь отношение к движению наших членов и почему вследствие этого она столь исключительно поддаётся измерению и вычислению. Тогда можно было бы углубиться в эту науку с уверенностью, что всегда удастся выйти обратно на свет, когда это потребуется. Наконец, перешли бы к количеству — свойству ещё более общему, чем протяжённость, и к самой абстрактной идее после идеи существования. Стало бы ясно, что наука о количестве полностью покоится на этом соглашении: каждый из различных чисел находится на равном расстоянии от предыдущего и последующего, и это расстояние всегда есть единица. Мы бы поняли, почему эта наука столь надёжна, почему она обладает столь многочисленными элементами и столь обширными возможностями комбинации; почему она применима ко всему, но к одним предметам — лучше, чем к другим. Мы бы узнали, что эта наука, несмотря на свои языки и частные формы, подчинена логике и всеобщей грамматике: перед нами открылась бы прекрасная прелюдия к науке исчисления.

Подлинные *Элементы идеологии* включали бы девять различных частей — идеологию, грамматику и логику; экономику, мораль и управление; физику, геометрию и исчисление — все одинаково необходимые, но образующие вместе ствол энциклопедического древа наших реальных знаний. К ним можно было бы прибавить в качестве приложения указание на ложные науки, которые уничтожает знание наших познавательных средств и их законного применения:

«Человек тогда мог бы с полной уверенностью идти по любому пути, который он пожелает себе открыть».

Такова последняя часть *Идеологии* Дестюта де Траси, которая, по нашему мнению, является самой выдающейся [1].

Для второго издания *Rapports* («Отношений»), Дестют де Траси составил рассудительное извлечение, служащее аналитическим оглавлением. Читая его и сопоставляя с основным текстом, можно легко заметить различие в складах ума двух глав школы. Кабанис придаёт изложению широту, даже блеск; он возвращается к своим идеям, чтобы уточнить степень их вероятности, и заботится больше о том, чтобы придать каждой идее объём и выразительность, чем о том, чтобы связать её с предшествующей и последующей. Дестют де Траси, напротив, ясен и точен, употребляет только необходимые слова, но прочно связывает идеи между собой, устраняя полутона и придавая целому утвердительный тон и характер несомненности, которого у Кабаниса не найти [2]. С Бираном Траси продолжает свои дискуссии. В 1805 году Биран приезжает в Париж и сближается с Ампером: оба часто обедают у Дестюта де Траси, где «спорят по вопросам метафизики» [3]. Траси в 1817 году отправляет Бирану

---

1 Чтобы иметь вполне точное представление, нужно отметить несколько мест, которые у нас не было случая процитировать. Дестют де Траси, отвечая на критику, которую Дежерандо сделал его теории о познании внешнего мира, энергично защищает французскую философию против немецкой и справедливо различает учёность и глубину. Он говорит, что, будучи убеждённым сторонником Революции и человеком, который не захотел «покинуть свою страну в бедственном положении», чего бы это ему ни стоило, он не ищет расположения определённой публики. И в другом месте, напоминая, что XVIII век во Франции начался царством лицемерия, а закончился, как говорят, царством развращённости, он добавляет, что можно сильно тревожиться за конец XIX века, который должен быть отвратительным. Однако он не борется прямо, со своей стороны, «с этой старой метафизикой, которая рушится и существование которой, более чем думают, поддерживает влияние лицемеров». Его главное стремление — отделить от неё и различить идеологию, введя её снова в состав положительных наук (стр. 261), к которым он её относит и в тех примерах, которые приводит, чтобы доказать, что ближайшей и практической причиной всех наших ошибок является наша поспешность в суждениях (стр. 166). Поэтому он заботится, подобно тому, как поступил бы м-р Рибо (*Болезни памяти*, стр. 125), заявить, что во всём, что он говорит и когда-либо скажет о материи, безразлично предположить, что материя одушевлена в силу своей организации или же духами разных порядков (стр. 190).

2 Де Ремюза отметил это справедливо: ошиблись бы, если бы судили об *Отношениях* по *Сводному изложению с рассуждениями*. В учении Кабанис и Дестют де Траси в общем согласны, но не в одинаковой степени достоверности и связности их идей. Один пример: там, где Кабанис говорит, что мозг в некотором роде переваривает впечатления, что он органически производит секрецию мысли, Дестют де Траси утверждает, что «тысяча фактов показывает нам мозг, или мозговой центр, как особый перевариватель или орган-секретор мысли».

3 В 1806 году Биран, с 31 января занимавший должность субпрефекта, снова приезжает в Париж, но остаётся там очень недолго: он даже не едет в Вилетт, где находится Кабанис. Затем он продолжает держать Дестюта де Траси в курсе своих работ и, между прочим, сообщает ему о своём намерении участвовать в конкурсе для Берлина. Дестют де Траси всё

более утверждался в своих новых взглядах, тогда как Биран всё сильнее привязывался к тем, которые, как он полагал, почерпнул из *Мемуара о способности мыслить*. Поэтому взаимопонимание становилось всё труднее. К сожалению, у нас сохранилась лишь малая часть переписки между ними. 26 апреля 1807 года Дестют де Траси сообщает Бирану, что у Кабаниса случился первый приступ, и поздравляет его с основанием в Бержераке медицинского общества. 12 мая он даёт ему новые сведения о Кабанисе, советует — что бы ни случилось — напечатать его драгоценный труд и рассказывает о приёме Мори: «Он утомил, — говорит он, — свою публику в течение семи четвертей часа. Пикар, ответивший ему за полчаса, наговорил ещё больше глупостей за этот короткий промежуток; хорошее лишь то, что собрание, даже отобранное ими самими, не нашло во всём этом ничего приятного. Хорошо ещё и то, как об этом рассказал Мерсье: по его словам, Мори сказал *Dominus vobiscum*, Пикар поклонился и ответил *et cum spiritu tuo*». Наконец, он сообщает ему о появлении *Коринны*: «Там, как всегда, есть остроумие и талантливые вещи, но, я думаю, это уступает *Дельфине*. Её уже начинают поносить в хороших газетах и могли бы раскритиковать по многим пунктам в других, если бы таковые были». В августе Дестют де Траси жалуется уже на своё здоровье: «Я нахожусь в физическом и моральном состоянии, которое делает меня абсолютно неспособным ни на что; это не болезнь, если хотите, но хуже, потому что этому нет конца и нет исцеления; это привычное, невыносимое состояние, это меньше боль, чем постоянное недомогание; это — с величайшим трудом вегетировать». Биран спрашивал его мнение о методе Песталоцци. «Я усматриваю, — говорит он, — что здесь есть драгоценная основополагающая идея об использовании упражнений в первых актах интеллекта, и думаю, что она особенно полезна для обучения тех, кто обречён иметь его в очень ограниченной степени». В ноябре он отвечает на три письма, которые Биран написал ему в сентябре: «Кабанис чувствует себя довольно хорошо, но сам он (т. е. Кабанис) заболел: приступы третичной лихорадки сильно его изнурили, и он едва оправился. Кроме того, он чуть было не потерял мать своего зятя — “эту очаровательную женщину, столь необходимую, столь незаменимую для обеих семей”, которая была при смерти. Теперь у него есть некоторая надежда; но это уже победа, когда она смогла проглотить ещё одну ложку мяса, не отвергнув её». Биран прислал ему некоего г-на де Гранжа; он пригласил его на тот же день, что и Жакмона с Ларомигьере, которого, казалось, тот особенно хотел видеть. Де Гранж согласился, но затем написал, что не может прийти. Ларомигьере не увидел его так же, как и Дестют де Траси, и оба они были этим очень огорчены. «Я с сожалением вижу, — добавляет он, — сплетни, которые распускают клеветники из школы в Периньё, возглавляемой большим викарием; боюсь, как бы это не был кот, пущенный под ноги той, что поднимается (намёк на подлую уловку против женщины). Я, впрочем, искренне желаю ей успеха, но священники очень ревнивы ко всему, что не делают сами; думаю, отчасти поэтому они ненавидят всю новую логику». Дестют де Траси напоминает, что, по его мнению, судить — значит приписывать одну идею другой; рассуждать — связывать ряд суждений, в которых сказуемое одного становится сказуемым следующего. Если это верно в одном случае, как вы признаёте, значит, это должно быть верно всегда. «Пожалуйста, — добавляет он, — не действуйте путём возражений и вопросов, а скажите: вот случай, где ваш принцип не применим, — и я беру на себя твёрдое обязательство всегда устранить затруднение». С болью он видит, что Биран его не понял, потому что это — неопровержимое доказательство того, что он очень плохо объяснился. И он добавляет слово, которое может показаться резким, но которое он позволяет себе, потому что считает необходимым: «Вы оказываете мне слишком большую честь, приравнивая меня к Кондильяку; я всего лишь его ученик, но так же невозможно преподавать мою логику вместе с его, как с логикой Аристотеля, потому что, в сущности, логика Кондильяка — это логика Аристотеля. Её суть — лишь модификация принципа силлогизма, что две вещи, равные третьей, равны между собой; всё это — ложь, или пусть чёрт меня поберёт, или, по крайней мере, совершенно очевидно, что это несовместимо с моими идеями; поэтому, объединив их, ничего стоящего не получится; если мой принцип никуда не годится, то всё равно нужно искать другой — вот единственный вывод, который

напечатанное отдельно *Приложение к Логике*; в нём он напоминает выводы этого последнего труда, прежде чем применить к изучению нашей воли и её следствий свою теорию причин достоверности и ошибки. Четырнадцать афоризмов, сопровождаемых замечаниями и выводами, напоминают одновременно Бэкона, Декарта и Спинозу, но не содержат ничего нового в отношении его доктрины. Иное дело — заключение, в котором он утверждает, вопреки Д'Аламберу и Кондорсе, что наука о вероятности не является ни частью логики, ни даже её приложением. Скажут: она учит нас, оценивая вероятность мнения, правильно судить о том, вероятно оно или нет? Но ведь физика учит нас утверждать, что такое-то свойство присуще такому-то телу; наука о количестве — что такое-то число является результатом такого-то вычисления; однако ни та, ни другая не являются частями логики. Наука о вероятности ничем не привилегирована. Более того: это не наука, а множество фрагментов различных наук, которые невозможно объединить, не смешав всё в одно. Под этим названием, в самом деле, понимается как оценка данных, так и вычисление их сочетаний. Успех в оценке данных зависит, если речь идёт о вероятности какого-либо рассказа, от знания конкретных обстоятельств факта, то есть от истории; от физики — если речь идёт о вероятности физического явления; от социальной науки, морали, идеологии — если речь идёт о результатах обучения, о рассуждениях собрания. А сочетание данных относится к науке о количестве или к самому исчислению, ибо трудность заключается не в том, чтобы придать абстрактной единице ту или иную конкретную величину, ту одну, ту другую, а в том, чтобы знать все средства, которые даёт развитое исчисление, позволяющее из этой единицы и всех её кратных создавать наиболее сложные комбинации и регулярные связи, не теряя при этом нити. Следовательно, с любой точки зрения, наука о вероятности не является самостоятельной и обособленной наукой.

Посредством такого разложения «науки о вероятности» Дестют де Траси объясняет, почему именно математики первыми пришли к её идее, почему они выбрали для неё предметы с чрезвычайно простыми исходными данными — и почему, когда они попытались применить её к предметам со множеством, с тонкостью и сложностью данных, они в основном произвели лишь учёные пустяки. Чем дальше они продвигались в следовании следствиям, вытекающим из немногих данных, которые им удалось уловить, тем сильнее эти следствия оказывались отличными от тех, которые породили бы те же данные, соединённые со всеми другими — зачастую более важными — данными, которые они были вынуждены отбросить, поскольку не могли ни распознать их, ни оценить. Именно это произошло у Кондорсе в его рассуждениях о решениях собраний и о судебных приговорах.

я осмеливаюсь утверждать». *Неопубликованные письма*, сообщённые м-ром Б. Навиллем. Ср. *Введение* к первому *Мемуару о привычке.*

.

Но не следует думать, что из-за этого нужно отказаться от великих надежд, которые Кондорсе возлагал на применение исчисления в целом, и теории вероятности в частности — к прогрессу моральных наук. Действительно, если невозможно выразить в числах все оттенки наших моральных представлений и все предметы, относящиеся к социальной науке, то эти предметы связаны с другими, которые часто позволяют свести их к количествам, поддающимся исчислению: так, например, степени ценности полезных или приятных вещей, которые могут быть представлены количествами веса или протяжённости одного и того же предмета, поддаются исчислению и сравнению. Точно так же мы можем, по их эффектам, вычислить силу и устойчивость скрытых пружин, вызывающих и поддерживающих действия жизненных органов. И существует бесчисленное множество вещей в моральных науках, которые предоставляют аналогичные возможности, и, следовательно, к которым исчисление применимо. Тем более необходимо с особым тщанием отличать их от тех вещей, которые таких возможностей не предоставляют, и в отношении которых применение исчисления является злоупотреблением, — а также от тех, которые настолько неразрывно усложнены с формами количеств, упрямо сопротивляющихся редукции, что неизбежно ведут нас к грубейшим ошибкам. Ибо в обоих случаях исчисление направляет нас хуже, чем здравый смысл, поддержанный достаточным вниманием, или чем обычные инструменты рассуждения — то есть наши обыденные языки, их формы и слова, из которых они состоят.

С этим небольшим трактатом, в котором мы находим столь оригинальные и до сих пор малоизвестные идеи о применении исчисления в моральных науках [1], мы сопоставим *Логические принципы, или Сборник фактов, относящихся к человеческому разуму*, который, по-видимому, был написан в то же время, но также был опубликован лишь в 1817 году. Дестют де Траси не добавляет в нём ничего принципиально нового по сравнению с идеями своих предыдущих трудов, но он с ещё большей определённостью подчёркивает своё строго научное направление. Он стремился наблюдать нашу чувствительность — то есть различные способы, посредством которых мы существуем по-разному, а также последствия, из неё вытекающие, — а не открывать существо, наделённое этой чувствительностью, его природу, его начало, его конец или его дальнейшее предназначение. Последние вопросы могут входить в состав метафизики и, как вполне справедливо замечает Дестют де Траси, не должны нас занимать в первую очередь; ибо чтобы познать причины чувствительности, нужно сначала познать саму чувствительность, то есть изучить её проявления, те эффекты, через которые она становится нам доступной. Ещё до Огюста Конта он утверждает, что идеология должна быть лишь частью и подотделом физиологии, которая, по сути, не должна даже носить особого названия, и которой отныне физиологи не смогут пренебрегать. Но это утверждение он

[1] См. исследования Фехнера и его последователей по психофизике (Рибо, *Немецкая психология*), а также работы Кетле, продолженные в других направлениях криминологами Ломброзо, Гарафало, Тардом и др.

обосновывает иначе, чем Конт: когда физиологи пренебрегают этим аспектом, — говорит он, — они делают все свои остальные объяснения неполными, как это наглядно демонстрирует замечательное произведение, в котором Кабанис действительно заложил подлинные основания всех наших физических и медицинских знаний.

IV

Комментарий к Монтескьё; суждения о политической и религиозной ситуации; «Трактат о воле и ее действиях»; Методология; идеология, экономика, мораль и законодательство; обрабатывающая производственная и торговая индустрия.

Именно сочинению *Комментария к Монтескьё* Дестют де Траси посвятил 1806 и 1807 годы [1]. Он хотел поразмышлять над каждой из великих тем, затронутых Монтескьё, чтобы сформировать по ним собственное мнение, прояснить его для себя и зафиксировать в письменной форме. Но вскоре он понял, что собрание этих размышлений образует собой полноценный трактат по политике, или, иначе говоря, по социальной науке — трактат, который был бы ценен, если бы каждое из высказанных суждений оказалось верным и если бы все они были хорошо взаимосвязаны. Однако, если бы он расположил их в ином порядке, к чему он и был склонен, учитывая огромное преимущество, которое давали ему знания, накопленные за пятьдесят поразительных лет, отделяющих его труд от труда Монтескьё, он уже не смог бы вести дискуссию с мнениями последнего и имел бы меньше шансов добиться того, чтобы его собственные взгляды были приняты и рассмотрены. Кроме того, такая форма изложения лучше соответствует порядку, которому должны следовать науки: каждое произведение должно исходить из наилучших взглядов, признанных его современниками, чтобы добавить к ним новую ступень точности; каждый автор, следуя строго, как того требует Кондильяк, от известного — к неизвестному, будет тем самым эффективно способствовать прогрессу социальной науки — науки, наиболее важной для человеческого счастья и той,

[1] Сам он (Дестют де Траси) сообщает нам, что сочинение существовало уже с 1806 года; что оно было написано (в 1806 г.) в эпоху, когда невозможно было сказать точно, каким будет конец императорского правительства, хотя и нетрудно было предвидеть, что оно не сможет долго продлиться. (*Сочинения Монтескьё*, 1828, т. VIII, предуведомление и с. 73, 99, 107). Кабанис, со своей стороны, пишет Бирану в апреле 1807 года: «М. де Траси в настоящее время работает над замечаниями к одному из наших величайших писателей, которого вполне справедливо считают человеком гениальным, но который в произведении, считающемся его шедевром, возможно, выдвинул не меньше опасных заблуждений, чем важных истин. Это будет очень красивое и хорошее произведение». (Неопубликованные письма, сообщённые г-ном Навиллем.)

которую совершенствуют в последнюю очередь, ибо она есть результат и продукт всех остальных [1].

Монтескьё обращался к разуму, просвещённому историей, чтобы определить наилучшие законы и наилучшие формы правления; Дестют де Траси же, прежде всего, апеллирует к разуму, опирающемуся на идеологию. Поэтому он находит в высшей степени ценными примечания и письма Гельвеция к Монтескьё и к Сорену относительно книги *О духе законов*; он неоднократно ссылается на это свидетельство. Ему также приходит на помощь Кондорсе, «величайший философ нашего времени»: не будучи столь суров и не отказываясь оспаривать взгляды Монтескьё, как и не соглашаясь во всём с Гельвецием, он подчёркивает «диалектическую силу», с которой последний опровергает *О духе законов*, и приводит эту критику, «которая никогда не публиковалась и, вероятно, и не предназначалась для публикации». Траси — не восхваляет эрудицию Монтескьё и не присоединяться к тем, кто упрекает его в том, что он не понял духа законов древних времён: он вовсе не останавливается на чисто исторических главах. Вопрос о распределении общественных сил, по его мнению, должен рассматриваться не исторически, а теоретически. Минье и Тэн упрекали Дестюта де Траси за то, что он пренебрег историей, которая могла бы дать ему ценные указания как для социальной науки, так и для идеологии; однако у нас сложилось бы ложное представление о его методе, если бы мы буквально приняли утверждения Тэна [2].

Действительно, главное, что Дестют де Траси упрекает в *О духе законов* Монтескьё, — это то, что тот ссылался на сомнительные анекдоты и недостоверные истории, что он поверил в то, будто в Лакедемоне законы позволяли кражу, будто мы располагаем достаточной информацией о Радаманте, чтобы хвалить его за способ, каким он вершил суд; что он искал — у самых ненадёжных авторов или в наименее известных странах — большое количество фактов, либо мелких, либо сомнительных, либо плохо засвидетельствованных, чтобы использовать их в качестве доказательств своих принципов или рассуждений; что он постановил, «вопреки прямому мнению Цицерона», что бывают случаи, когда можно издавать закон, направленный против одного единственного человека.

Разумеется, Дестют де Траси сомневается в своих социальных доктринах не более, чем в своих идеологических теориях [3]. Он, безусловно, упрекает

---

1 Такое место занимает социология в классификации Конта.

2 «Дестют де Траси обнаруживает, что Монтескьё слишком рабски держался за историю, и переделывает его сочинение, строя общество, которое должно быть, вместо того чтобы рассматривать общество, которое есть». См. то, что мы говорили в гл. VI об аналогичном утверждении г-на Тэна в отношении Кабаниса.

3 «Извлечение истин, которые он выделяет из двенадцати первых книг, — говорит он, — довольно полно содержит всё, что касается организации общества и распределения его властей. — Можно будет увидеть, смею я надеяться, — добавляет он, — ещё до того, как

прежних экономистов в том, что они были слишком метафизичны и недостаточно наблюдали природу человека; он критикует даже Смита, хотя и высказывает в его адрес величайшую похвалу, а также Сэя, «автора лучшей книги по политической экономии, которая когда-либо была написана»; он льстит себе, что оказался яснее и полнее своих предшественников. Но и в этой области, как и в других, не следует принимать его за чистого утописта: смертная казнь представляется ему столь же справедливой, как и всякое иное наказание; форма правления не имеет сама по себе особой важности, и было бы довольно слабым доводом в её пользу утверждать, будто она более, чем другая, соответствует подлинным принципам разума, «ибо, — как он прекрасно говорит, — в делах этого мира дело не в умозрении и теории, а в практике и результатах».

Дестют де Траси различает два типа правлений: общие или национальные правительства, которые берут начало в воле народа и имеют своей целью общее благо, и частные правительства, претендующие на то, что они основаны на особых правах и частных интересах. Только первые имеют своими принципами разум; только они могут действительно желать, чтобы просвещение было здравым, мощным и всеобщим. На первой ступени цивилизации, в детстве общества, находятся чистая демократия, правление дикарей; и чистая монархия, правление варваров: умы ещё невежественны, государство опирается прежде всего на силу, а справедливость сводится к мести [1]. Затем с ростом просвещения законы становятся более умеренными, наказания менее жестокими; аристократия формируется под началом одного или нескольких вождей. Наконец, мнения уступают место разуму, религия философии: чистое представительное правление, при одном или нескольких руководителях, становится совершенным типом государства, оно рождается из общей воли и на ней основывается; его руководители — слуги закона; его законы — следствия естественных потребностей; его наказания — средства предотвращения будущего зла. В конституции, которую он предлагает как результат своих размышлений, Дестют де Траси возлагает на всех граждан, без различия происхождения, состояния или образования, обязанность избирать выборщиков, которые назначают должностных лиц. Законодатели, многочисленные, разбитые на секции и обновляемые по частям, устанавливают нормы в пределах, заданных конституцией. Исполнительную власть временно осуществляют несколько государственных деятелей, объединённых в коллегию, действующих от имени всех и строго в рамках закона.

перейти к множеству различных предметов, рассматриваемых в остальных книгах, что способ, которым мы рассматривали общество, его организацию и его прогресс, представляет собой центр света, который, брошенный среди всех этих объектов, однажды развеет все их темноты» (с. 233).

[1] Дестют де Траси приводит примеры бесформенных обществ — от североамериканских до народов Нигритии и островов Южного моря. Если предположить, что такие же исследования будут опираться на коллективную эрудицию *Descriptive Sociology*, то мы получим *Принципы социологии* Спенсера.

Сохранительный орган, состоящий из мужчин, закалённых возрастом и опытом, не допускает, чтобы законодательное собрание нарушало конституцию своими законами или чтобы исполнительный совет нарушал закон своими действиями; он проверяет выборы и рассматривает государственные преступления, наблюдает за деятельностью чиновников и, при необходимости, смещает их. Конвенция, сосуществующая с остальными властями, может быть наделена задачей пересмотра конституции, чтобы та могла развиваться в соответствии с ходом общества и приспосабливаться к его изменениям.

«Эта книга, — говорит Минье, — написана с редкой энергией и высшей простотой, в ней природа и механизм налогообложения изложены особенно совершенным образом; она обладает достоинствами самого высокого порядка». Наивысшая похвала, которую можно ей выразить, заключается в том, что если бы автор располагал менее элементарной и лучше развитой идеологией, а также более богатой и надёжной исторической документацией, то этот труд не уступал бы по глубине, а, возможно, даже превосходил бы по ясности и точности те прекрасные книги, в которых Спенсер изложил свои *Принципы социологии* и защитил *Индивида против Государства*.

Оставим в стороне экономические теории, изложенные в четвёртом томе *Идеологии*, а также ранее упомянутые отрывки, касающиеся Старой и Новой Франции, Декларации прав и Лафайета, Конвента, Конституций годов III и VIII и т. д. [1]. Мы не можем, однако, умолчать о тех местах, где Траси выражает своё мнение о политической и религиозной ситуации в тот момент, когда Наполеон находился на вершине своей власти, а Кабанис писал своё *Письмо о первичных причинах*. Будучи человеком, заставшим подписание Конкордата, реформу Института и упразднение центральных школ, он объясняет, что в наследственной монархии суверен должен прибегать к поддержке религиозных идей, обеспечить себе услужливость священников, преподающих эти идеи, выбрать ту религию, которая в наибольшей степени требует подчинения умов, более всего запрещает всякое исследование, придаёт наибольший авторитет примеру, обычаю, традиции, решениям начальства и в наибольшей степени рекомендует веру и доверчивость, предлагая множество догматов и тайн. Чтобы сделать умы мягкими и весёлыми, лёгкими и поверхностными, ему следует прибегать к прекрасной словесности и изящным искусствам, даже к эрудиции и точным наукам, которые отвлекают подданных от дел и философских исследований. Наконец, он должен умножать чины, титулы, привилегии, отличия и, в сущности, свести образование низших классов народа почти исключительно к религиозному обучению (стр. 47). Вместо того чтобы позволить каждому в полной мере наслаждаться прекрасным правом — говорить и писать всё, что он думает, он нанимает писателей, заставляет говорить профессоров, проповедников и актёров, утверждает привилегированные учебники, заказывает альманахи и катехизисы,

[1] Ср. гл. V, § 1.

наставления, памфлеты и газеты, умножает инспекции, регламенты и цензуру (стр. 70). Если ему часто приходится жертвовать средствами для исправления расстройства дел в знатных семьях, которые он поддерживает, то благодаря власти, сохраняемой ими в его руках, он получает возможность извлекать ещё больше ресурсов за счёт остальных (стр. 109). Если он единоличный глава свободного народа, избранный на ограниченный срок, но без предохранительных мер, обладающий полной властью над армией и финансами, то он один держит в руках всю реальную силу. Ему необходимы дела и раздоры, ссоры и войны, чтобы оставаться нужным: он всегда найдёт повод. Возможно, он обеспечит своей стране военные успехи и внешние преимущества, но никогда — внутреннего спокойного счастья. Его станет невозможно отстранить и заменить: он останется у власти до конца жизни или утратит её только в результате великих общественных бедствий. Как только он оказывается на посту пожизненно, остаётся либо смириться с жизнью в конвульсиях беспорядка и даже дойти до распада общества, либо позволить ему сделать власть наследственной (стр. 192). А восстание, столь жестокое средство, что народ, обладающий хоть малейшим рассудком, будет долго терпеть бедствия, прежде чем на него решится, и отложит своё решение до такой степени, что, если захваты власти осуществляются искусно, он постепенно привыкнет к рабству, вплоть до того, что уже ни не захочет, ни не сможет освободиться таким путём [1]. Траси также утверждает: нет никакой меры, способной предотвратить узурпацию, если вся активная сила уже передана в одни руки — как это произошло с Конституцией года VIII. Если же, кроме того, Сенат-консерватор, сформированный порочным образом, оказался не в состоянии хотя бы на мгновение защитить вверенный ему залог, то это потому, что свободу невозможно защищать в нации, настолько уставшей от своих усилий и бедствий, что она предпочитает даже рабство малейшей тревоге, которая могла бы возникнуть из-за попытки сопротивления: французы позволили у себя отнять, без малейшего ропота и почти с удовольствием, даже свободу мысли и личную свободу [2]. Наконец, по мнению Траси, чем меньше влияние религиозных идей в стране, тем она добродетельнее, свободнее и спокойнее. Ни одна религия не может принадлежать всему обществу, ибо, являясь непосредственным и личным отношением каждого индивида к творцу всех вещей, она по самому своему существу не может быть общей для него и его сограждан [3].

---

1 «Мы тогда, — говорит Дестют де Траси в 1819 году, — очень опасались, чтобы угнетение не продлилось достаточно долго, чтобы к нему привыкли».

2 «Не всегда справедливо, — говорит он в другом месте, — сопротивляться несправедливому закону; не всегда разумно сейчас же и насильственно противиться тому, что неразумно. Прежде всего надо знать, не приносит ли сопротивление большего зла, чем повиновение».

3 «Мне кажется довольно бесполезным, — замечает он, критикуя как Кабаниса, так и Монтескьё, — искать, что должен был бы сделать основатель религии, чтобы её приняли и чтобы она могла распространиться. Осмелюсь надеяться, что больше не будет создаваться новых религий, по крайней мере у цивилизованных народов».

Такую книгу невозможно было издать во Франции. Дестют де Траси отправил её Джефферсону, который перевёл её и организовал преподавание по ней в Колледже Чарльза и Марии (College of Charles and Mary); книга, напечатанная в 1811 году, стала популярной в Америке.

Комментарий, как и *Приложение к первой части*, был подготовкой к *Трактату о воле и её последствиях* [1]. Автор, по-видимому, начал работу над этим последним сочинением ещё до смерти Кабаниса, и, возможно, уже тогда определил место для многочисленных страниц *Комментария*, посвящённых роскоши и использованию богатств, налогам и государственным расходам, населению и торговле, промышленности, сельскому хозяйству и денежному обращению и т. д., которые вошли в *Трактат* дословно или почти без изменений. Утомлённый, быть может, чрезмерно долгим и напряжённым умственным трудом, измученный страданиями и утратами друзей, Дестют де Траси испытывал разочарование от политики Империи, становившейся всё менее либеральной и всё более вредной для Франции. Заменив Кабаниса во Французской академии, он говорил: *«Моя душа так отягощена жестокими скорбями, что не может открыться ни для какого иного впечатления»*. А затем, воздавая должное своему другу, он добавлял: *«Печально, что столь удачные усилия по совершенствованию разума и улучшению человеческой судьбы по сей день подвергаются клевете... Удручает, что столь добросовестный и осмотрительный наблюдатель был обвинён в безрассудстве, что против г-на Кабаниса снова были выдвинуты те банальные упрёки, которые в веках невежества столь бесстыдно извергались на всех учёных, что превратились в поговорку»*. И он завершал эту речь восхвалением Наполеона, вполне понятным, впрочем, если вспомнить, что Кабанис был по приказу императора погребён в Пантеоне, и что Дестют де Траси сам горячо желал некоторых из тех реформ, которые Наполеон в действительности осуществил [2].

В ноябре 1809 года он покидает Отёй и переселяется на улицу д'Анжу, в предместье Сен-Оноре, чтобы, как он пишет Бирану, «там печально закончить свою жизнь». В том же письме он сообщает о намерении прислать сочинения Тюрго: «Именно такие люди, как вы, — добавляет он, — заслуживают досуга; я же уже ни на что не гожусь. Если бы вы были рядом, мы бы поговорили, я, возможно, отвлёк бы вас от чистой идеологии, чтобы увлечь вас к её приложениям — к экономике и морали. И вы сделали бы это ещё лучше, чем в

---

1 Дестют де Траси утверждает это на с. 107 *Комментария*. Следовательно, не следует говорить (как это делает Минье), что *Комментарий* «был для него последним произведением».

2 В нём он говорит о неслыханных чудесах, которые сделают бессмертным царствование Наполеона Великого; о мире, о Гражданском кодексе; о чудесах, порождённых волей человека гениального (ср. гл. V). Встреча в Эрфурте состоялась двумя месяцами ранее, и тогда Наполеон был столь же удачлив в Испании, как и в остальных своих походах.

статье “Существование”, и даже лучше, чем в “Происхождении богатства”, хотя в ней есть отличные мысли; но ведь сколько нового с тех пор открылось!»!

Конец этого письма позволяет предположить, что Дестют де Траси вернулся к своим размышлениям и исследованиям в области морали и политической экономии. В следующем году он работает над своим четвёртым томом [1]. Возможно, именно к этому времени относится письмо, в котором он просит Форьеля высказать мнение скорее о форме, чем о содержании, поскольку «не слишком боится, что его друг сочтёт это неверным» [2]. Как и в других своих трудах, Дестют де Траси абсолютно убеждён, что он открыл истину. По его мнению, чтобы разрешить трудности, которые кажутся запутанными, зачастую достаточно самого обыкновенного здравого смысла — при условии, что исследователь возвращается к первым принципам. Поэтому, как только он проясняет первую часть, он видит, как мрак отступает перед ним, и всё распутывается с лёгкостью. Если его взгляд на потребление согласуется с тем, что он сказал о производстве и распределении, если он в то же время проливает яркий свет на весь механизм общества — то согласие и эта ясность объясняются тем, что он нашёл истину [3]. И если он отказывается воспевать гимн в честь свободы — первого из всех благ для чувствующего существа, — то лишь потому, что он стремится удовлетворить, а не возбуждать любовь к добру и истине.

Метод, используемый Дестютом де Траси, по-прежнему соединяет в себе дедукцию и наблюдение. Факт и рассуждение доказывают, что человек не может существовать в изоляции, как и то, что счастье человека пропорционально объёму его просвещения; оба эти аспекта возрастают и могут

---

1 С. 150, гл. VI, *О деньгах*: «Это рассуждение приводит нас прямо к бумажным деньгам, которыми в данный момент (1810) наводнена Европа и к которым всегда прибегают и т. д.». Мы также знаем, что написание других глав относится уже к периоду после смерти Кабаниса. Так, в гл. IX, посвящённой размножению населения, упоминаются «Испания и нынешняя несчастная война» (с. 193). Добавление имени Тюрго к именам Смита и Сэя в страницах *Комментария*, вставленных в гл. II, «О формировании наших богатств», также, по-видимому, указывает на то, что эта глава была написана после письма от 15 ноября 1809 года. Наконец, слова Дестюта де Траси о России, «о которой он не намерен ни писать панегирик, ни составлять сатиру» (с. 191), могли бы навести на мысль, что он продолжал работать над своим произведением и после указа последних месяцев 1811 года, открывшего порты России для ввоза колониальных товаров из Англии.

2 См. это письмо полностью в гл. VII, где речь идёт о Форьеле.

3 «Это напоминает, — говорит он, — действие тех зеркал, где предметы отражаются ясно и в правильных пропорциях, когда вы находитесь в правильной точке зрения; но всё кажется смутным и раздробленным, когда вы находитесь слишком близко или слишком далеко. Точно так же и здесь: как только вы признаёте, что наши способности — это наше единственное первоначальное богатство, что только наш труд производит все остальные богатства и что всякий труд, правильно направленный, продуктивен, всё объясняется с поразительной лёгкостью; но когда вы хотите признавать продуктивным только труд земледельческий или помещать источник богатства в потреблении, вы, двигаясь дальше, не встречаете ничего, кроме мрака, путаницы и неразрешимого хаоса».

возрастать бесконечно. Однако наблюдение нередко подменяется конструктивной гипотезой. Так, после того как он, по его словам, изобразил нацию, счастливо расположенную, пользующуюся всевозможными благами и употребляющую их разумно, но чьё процветание — лишь преходящее, он может утверждать, что картина, которую он только что обрисовал — движение обществ от их зарождения, — поражает своей правдоподобностью; что в ней нет ни произвольно созданной системы, ни заранее выстроенной теории, а только простое изложение фактов; однако на деле мы видим в этом всего лишь идеальную конструкцию общества, аналогичную тем идеальным конструкциям индивида, какие создавали Кондильяк, Бонне, Бюффон и даже Декарт, — конструкциям, в которых наблюдение дало материал, но не связующую нить между элементами [1]. Тем не менее у него имеется множество точных и личных наблюдений. Дестют де Траси с большим реализмом изображает Францию при старом режиме и при новом правительстве: людей, вынужденных из-за волнений покинуть свои замки и искренне убеждённых в том, что вся деревня останется без заработка, не замечая, что основную часть жалованья давали не они, а их фермеры; людей, уверенных, что если крестьяне даже разделят их земли или купят их за бесценок, то от этого только станут ещё несчастнее. В том же духе, уже около сорока лет владея имениями в местности с крупными фермами, в винодельческом регионе и в краю бедных метайерий, он всегда внимательно следил за их функционированием — и больше с точки зрения общего блага, чем личной выгоды; он добился ощутимых улучшений в двух последних и убеждён, что «если имеешь достаточное поле для наблюдений [2], то больше выиграешь, углубляя их, чем расширяя». Он совершенно справедливо настаивает на необходимости тщательного обсуждения таблиц смертности, рождаемости, браков, средней продолжительности жизни и общего числа населения: такие данные часто бывают неточными, и даже в случае точности они должны быть подвергнуты внимательному анализу и сопоставлению с большой проницательностью, чтобы дать верные выводы, а не серьёзные ошибки. Более того, подобные данные существуют только в немногих странах и лишь в недавнее время; так что в политической экономии, как и в астрономии, на старые или отдалённые наблюдения рассчитывать можно весьма слабо. Поэтому, даже отмечая, что колебания нашей чувственной природы заключаются в определённых пределах и что к ним всегда можно применять теоретические соображения, выведенные из теории пределов чисел, он заботится о том, чтобы подчеркнуть, насколько деликатным и искусным делом является исчисление всех социальных и экономических величин, и как неосторожно было бы без разбора применять к ним строгую числовую шкалу. Он, соответственно, не боится отказаться от резких, окончательных решений, которые, рассматривая совокупность человеческих интересов как ряд из

---

[1] Каждый, по его словам, может сам посмотреть и убедиться, что всё именно так представляется непредубеждённому взгляду; но он не указывает, куда именно следует смотреть и что именно следует увидеть.

[2] Виктор Жакемон, по его просьбе, наблюдает за происходящим в северных провинциях Франции (см. гл. VII, § 4).

слоновой кости шариков, утверждают, будто бы, какой бы из них ни коснуться, в движение придёт только последний. Всё это потому, что он представляет вещи такими, какими их видит, а не какими можно было бы их вообразить. Потому что, если крайняя простота и доставляет удовольствие уму, облегчая его усилия, то она встречается лишь в абстракциях, им же самим созданных; и даже в механике, когда речь идёт о реальных телах, необходимо принимать во внимание множество обстоятельств, которые отпадают, когда мы имеем дело лишь с математическими линиями и точками. Наконец, отметим, что как никогда ранее, Дестют де Траси исходит из строго позитивной точки зрения: *«Можно без разницы предполагать во всём последующем,* — говорит он (стр. 13), — *что "я" есть абстрактное существо, которое мы называем чувствительностью индивида, проистекающей из его организации, или монада без протяжённости, или некое малое, тонкое, эфирное, неощутимое, неосязаемое тело»*.

Какую цель он поставил перед собой? Он вовсе не хотел написать просто трактат по политической экономии, а представить первую часть *Трактата о воле*, который должен состоять из трёх частей и сам является продолжением *Трактата о разуме*. Поэтому он не стал вдаваться в подробности, но постарался вернуться к истоку наших потребностей и наших средств, показать, как они рождаются из способности хотеть, и указать на связь между физическими потребностями и потребностями нравственными. Отсюда — введение очень общего характера, которое в равной степени не принадлежит ни экономике, ни морали, ни законодательству и имеет целью объяснить, какие идеи являются необходимыми для существования этих трёх наук и какими из них мы обязаны нашей способности хотеть. Почему же это сочинение составляет четвёртую часть *Элементов идеологии*? Потому что наши чувства, наши аффекты по своей сути не отличаются от восприятий или идей; быть аффективными — это для них лишь случайное свойство, так как некоторые модификации перестают быть таковыми, хотя прежде и были. *Восприятия* или *идеи* — это родовое понятие, а *идеология* — наука, которая изучает волю так же, как и разум. Итак, способность хотеть, охватывающая не только сознательные и формализованные акты воли, но и самые тонкие и неосознанные склонности, даёт нам ясное знание о нас самих как об индивидуальности — следовательно, идею собственности. Таким образом, экономика и мораль оказываются взаимосвязаны, поскольку без естественной и необходимой собственности на наши потребности и чувства мы никогда не пришли бы к условной или искусственной собственности. С другой стороны, воля есть причина всех средств, с помощью которых мы удовлетворяем эти потребности: труд, использование наших сил — это наше единственное сокровище, наша единственная сила. Так мы поэтапно приходим к идеям богатства и нищеты, свободы и принуждения, к правам, возникающим из потребностей, и обязанностям, возникающим из средств.

Это идеологическое введение показывает, что общество есть необходимое следствие потребности в воспроизводстве и склонности к симпатии. С экономической точки зрения, оно представляет собой цепь обменов или сделок, в которых обе стороны всегда что-то выигрывают. Эти обмены ведут к объединению усилий, увеличению и сохранению знаний, разделению труда. Производить — значит посредством изменения формы или связи придать вещам полезность, которой они прежде не имели. Полезно — это то, что увеличивает наши удовольствия или уменьшает наши страдания; мера полезности, цена или истинная ценность вещи — это количество жертв, на которые мы готовы пойти, чтобы завладеть ею. Следовательно, чтобы обогатиться, нации, как и индивиды, должны заниматься тем трудом, который оплачивается дороже всего.

Изменения формы порождают **фабричную индустрию**, в которую входит и сельское хозяйство; ведь ферма — это фабрика, а поле — это инструмент или склад сырья. Всякая индустрия предполагает теорию, применение и исполнение, то есть учёного, предпринимателя и рабочего: предприниматель получает прибыль только пропорционально успеху своего производства, а самые необходимые работы оплачиваются хуже всего. Таким образом, сельское хозяйство это первое из искусств с точки зрения необходимости, то есть средств нашего существования, но не с точки зрения богатства, то есть средств нашей жизни.

Изменения места осуществляются **торговой индустрией**, коммерцией. Вещи приобретают новую ценность, на которую торговец получает свою прибыль. Посредством торговли люди одного района, одной страны или разных стран объединяются друг с другом; внешняя торговля содействует ещё большему развитию торговли внутренней. Как и производственная индустрия, торговля требует теории, применения, исполнения, то есть — учёных, предпринимателей и рабочих.

Драгоценные металлы — вещи, обладающие ценностью и способные измеряться друг относительно друга, становятся всеобщей мерой и образуют денежную единицу, когда государственное клеймо удостоверяет их вес и пробу. Уменьшать количество металла, соответствующее условно установленным денежным наименованиям, значит совершать кражу, вредную даже для того, кто её совершает. Ещё более тяжёлой и пагубной кражей является создание бумажных денег. Деньги это не просто знак, это ценность, это подлинный эквивалент того, что ими оплачивается. Как и всякая ценность, деньги должны свободно сдаваться в аренду (т. е. даваться под проценты); государственная власть не должна вмешиваться в установление процента, так же как она не объявляет недействительными и незаконными аренды земель, которые заключаются по слишком высокой цене.

Процесс формирования богатств позволяет нам понять их распределение и потребление. Подобно собственности, неравенство является необходимым следствием нашей природы. Все люди являются собственниками, поскольку обладают средствами, и потребителями, поскольку имеют потребности. Но со временем одни получают авансы (капиталы), а многие другие — нет и живут только за счёт средств первых: так возникают наёмные работники и наниматели — одни продают свой труд по максимально возможной цене, другие стараются купить его как можно дешевле. Богатые праздные люди используют труд лишь ради собственного удовольствия и тем самым уничтожают его ценность; предприниматели, напротив, используют труд полезным образом — так, что он возмещает свою стоимость, способствует сохранению и приумножению уже накопленных богатств и обеспечивает доход другим владельцам капитала, за счёт которого те живут. Фонд, из которого оплачиваются наёмные работники, меняется мало, и именно в эту категорию вливается избыток из всех остальных социальных классов. Человек быстро размножается везде, где он имеет достаточно средств к существованию; верить в возможность и тем более стремиться к увеличению численности населения иначе, чем путём увеличения этих средств, — абсурдно и варварски. Следовательно, границы, которых может достичь класс наёмных работников, определяют и границы всей численности населения, а всё, что реально полезно бедному, полезно и для общества в целом. Как собственник, бедняк заинтересован в сохранении собственности тех, кто его нанимает, так же как и в сохранении своей свободы распоряжаться своим трудом и своим местом проживания; в том, чтобы заработная плата была достаточной и стабильной. Как потребитель, он заинтересован в том, чтобы производство было экономичным, пути сообщения лёгкими, а торговые связи многочисленными; то есть — в упрощении ремесленных процессов и совершенствовании методов

Потребление всегда противоположно производству. Потребление наёмных работников осуществляется за счёт капиталистов. Праздные богачи, живущие на ренту, потребляют впустую; деятельные люди, живущие за счёт прибыли, также впустую потребляют то, что удовлетворяет их потребности, но их потребление как индустриальных людей возвращается к ним с прибылью: они платят и своим рабочим, и рантье, и тем, кого нанимают последние, а затем возвращают себе свои средства через покупки их продукции, совершаемые рантье и рабочими. Так устанавливается циркуляция, благодаря которой богатства непрерывно обновляются. Что касается роскоши, или избыточного потребления, то оно не может ни ускорить циркуляцию, ни увеличить её фонд, поскольку замещает полезные расходы бесполезными. Государство — это очень крупный потребитель, «очень крупный рантье, у которого власть заменяет капитал». Налог это всегда жертва: он лишь перекладывает расходы из одних рук в другие, если затрагивает лишь личное потребление; но он уменьшает общественное богатство, если наносит ущерб производительному потреблению. Следовательно, лучшие налоги — это те, что наиболее умеренны, наиболее разнообразны и наиболее древни. Все государственные расходы столь

же бесплодны, сколь и необходимы; поэтому желательно, чтобы они были как можно более ограничены; чтобы государство не создавало долгов и не могло их создавать, особенно таких, что обременяют будущие поколения и неизменно ведут государства к гибели.

Следовало бы привлечь внимание экономистов — особенно тех, кто занимается сегодня наукой о обществе — ко всем частям этого замечательного труда, где можно найти ещё множество проницательных и точных взглядов, остроумных и плодотворных наблюдений. Достаточно упомянуть, например, трактовку двух изречений: *«возлюби ближнего твоего, как самого себя»* и *«любите друг друга»* — первое истолковано как плод глубочайшего неведения, выдумывающего роман о человеке; второе — как результат познания, способного изложить его историю; утверждение, что симпатия, возможно являющаяся зародышем любви, может существовать у всех живых существ [1]; восторженное изображение всеобщего блага и общественного прогресса, проистекающего из непрерывных обменов; страницы, где Дестют де Траси различает собственников, настоящих кредиторов, от земледельцев; где он устанавливает, что законы всегда должны стремиться к защите слабых, а общество должно покоиться на свободном распоряжении индивидуумом своими способностями и на гарантии всего, что он может с их помощью приобрести; наконец, строгие рассуждения о роскоши, формах налогообложения и государственных займах.

Автор, уверенный, что он обладает истиной, тем не менее знает, что его утверждения будут оспорены, и особенно те, которые устанавливают иерархию важности различных социальных классов [2]. Ведь ещё труднее внушить вкус к истине, чем открыть её. Так, последствия наших поступков позволяют нам оценить достоинство или порочность чувств, которые побудили нас к действию; анализ наших чувств необходим, чтобы различить те, которые основаны на здравых суждениях и всегда ведут нас правильно, от тех, что рождаются из иллюзий и искажений рассудка, создавая слепую совесть,

---

1 Ср. Кабанис, гл. IV, § 2.

2 «Как убедить, — говорит он, — этих сельских крупных землевладельцев, столь расхваливаемых, в том, что они всего лишь ростовщики, обременяющие сельское хозяйство и чуждые всем его интересам? Как заставить признать этих богатых бездельников, столь почитаемых, что они абсолютно ни на что не годны и что их существование — зло, так как оно уменьшает число полезных работников? Как добиться признания от всех тех, кто оплачивает труд, что дороговизна рабочей силы — вещь желательная и что вообще все истинные интересы бедного человека совершенно совпадают с подлинными интересами всего общества? Здесь препятствием выступает не только их интерес, понимаемый верно или неверно, но и их страсти, и среди этих страстей — самая сильная и самая антисоциальная из всех — тщеславие. Тогда уже не остаётся никакой возможности для доказательства, а по меньшей мере — для убеждения! Ведь страсти умеют всё затемнить и всё запутать, и вполне справедливо и остроумно сказал Гоббс, что если бы люди сильно желали не верить в то, что дважды два — четыре, они сумели бы сделать эту истину сомнительной».

уводящую нас с пути разума — единственного пути, ведущего к счастью. Если результаты человеческих поступков, если последствия их страстей будут правильно изложены, то станет легко указать те правила, которыми они должны руководствоваться, и написать подлинный «Дух законов», который мог бы стать наилучшим завершением *Трактата о воле.*

V

Мораль; воля и причинность; критика по последствиям; Д. де Траси в 1814 году; в 1830 году; его роль и влияние.

Дестют де Траси, по-видимому, посвятил 1812 и 1813 годы размышлениям о морали, которой он уже занимался в 1798 году. В 1817 году, больше не надеясь завершить свой труд, он обнародовал начало тома, в котором хотел изложить природу и последствия наших различных потребностей. Эти сорок страниц заслуживают внимания: в них слышится последний отголосок полемики с Бираном, и становится совершенно ясно, почему позитивная, а не метафизическая доктрина де Траси не могла долго удовлетворять того, кто считал себя его учеником. Но, прежде всего, там содержится энергичная тирада против противников идеологов — красноречивый и гневный ответ всем тем, кто, как де Бональд или Фрейсину, Руайе-Коллар и его преемники, воспользовались враждебностью Бонапарта, чтобы бороться с идеологами всеми возможными средствами. Читая эту «честную дискуссию», нельзя не пожалеть, как и Кузен [1], что «де Траси не смог вступить в схватку с новой философией, не сумел учредить научную полемику, элементы которой он мог бы найти в углублённом изучении философских вопросов, в аналитическом даровании и строгой логике, в которых он многократно давал убедительные доказательства».

Произведение начинается с вопроса, который позднее часто поднимали биранианцы, следуя за своим учителем: *являются ли наши акты воли действенными причинами так называемых произвольных действий*? Несомненно, мы знаем, что желание двигать наши конечности, использовать органы, прибегать к телесным или умственным способностям часто даёт результат. Но мы не можем постичь, как простой акт ощущения — желание чего-либо — способен порождать длинную цепь движений, о которых индивид даже не имеет сознания, не знает ни их способа, ни их последовательности, ни их ближайшей цели, и которые, тем не менее, все направлены к достижению желаемого результата [2]. Ещё менее постижимы произвольные движения у

---

1 *Предисловие к Руководству Теннемана, с. XV.*

2 См. *Опыты* Юма; *Нити* Гексли, гл. X; Жане и Сеаль, *История философии*, с. 350; Биран, *статья о Лейбнице и Сочинения*, passim.

низших животных, которым пришлось бы приписать интеллектуальные способности, намного превосходящие наши: дар предвидения, познания в геометрии и химии, щедрость, предусмотрительность и бурю страстей. Более вероятно, что они — машины, сконструированные для осуществления определённых эффектов, но обладающие, вопреки утверждению Декарта, чувствительностью и волей. И у них, и у нас происходят внутренние движения, неизвестные самому индивиду, которые вместе с ощущением и волением производят внешние движения, кажущиеся результатом последнего. Эти различные движения следуют друг за другом, связываются между собой необходимым образом — наподобие тех, что обслуживают питание и в которых воля не принимает никакого участия. В этом смысле предустановленная гармония Лейбница [1] — идея весьма красивая и чрезвычайно правдоподобная: она помогает нам объяснить множество фактов из жизни животных, которые иначе кажутся совершенно чудесными.

На возможные возражения Дестют де Траси отвечает, прежде всего, вопросом: почему движения, порождающие чувство воления, не происходили бы с такой же необходимостью, как и те, что поддерживают жизнь? Почему акт воления не мог бы быть безразличным обстоятельством по отношению к производимому эффекту, кажущимся существенным лишь потому, что он всегда предшествует ему или его сопровождает? Почему, наконец, так называемая внутренняя убеждённость не могла бы быть иллюзией? Тем, кто утверждает, что чувство воления есть акт нашей души, и что именно её воздействием на тело движения последнего совершаются в соответствии с нашей волей, он указывает — оставаясь в пределах своей позитивной точки зрения — что, не утверждая и не отрицая ни того, что у нас есть душа, ни того, что она бессмертна или нематериальна, можно предположить, что если она есть у нас, то она есть также и у животных, которые отличаются от нас лишь степенью, или у существ, способных к ощущению, не проявляя его внешне. Из этого вытекает необходимость признать существование универсальной души [2], причины всего происходящего в природе; отсюда следует, что всё в ней совершается по неизменным законам. Но существование души не может быть доказано [3], это лишь гипотеза, призванная объяснить то, чего мы не знаем. А между тем, согласно подлинной философии, необходимо признать собственное

---

1 Не указывает ли упоминание Лейбница на то, что Дестют де Траси пересмотрел эти страницы после того, как прочёл статью Бирана? Де Траси, впрочем, специально замечает, что если здесь он и оказывается на стороне Лейбница против Декарта, то в целом находит философию последнего неизмеримо предпочтительнее: француз исходил из принципа (пусть и не всегда ему следовал) пользоваться наблюдением и опытом, тогда как другой больше полагался на воображение и догадки. Это видно по различному прогрессу наук у народов, для которых эти философы были вождями и первыми учителями (с. 315).

2 Это и есть мнение Кабаниса (гл. IV, § 5).

3 Де Траси, в отличие от Кабаниса, не принимает во внимание невозможность доказать обратное (см. с. 283). В этом узнаётся человек, которому было унизительно верить, который хотел знать, но предпочитал оставаться в неведении, нежели довольствоваться предположением.

неведение, не прикрывая его гипотезами. Более того, такая гипотеза ничего не объясняет, поскольку если мы не знаем, как внутренние движения порождают чувство воления, вызывая вслед за собой другие движения, кажущиеся его следствием, то мы тем более не можем постичь, что такое душа, как она чувствует и хочет, а затем воздействует на тело и приводит его в движение в соответствии со своей волей. Разве это не *попытка объяснить непонятное через ещё менее понятное*?

Но, возражают снова, эта точка зрения унижает человечество, ставит его под **ярмо непобедимой необходимости**, лишает его заслуг и вины за его поступки; следовательно, это мнение в высшей степени безнравственно. Я не знаю, — отвечает Дестют де Траси, — что значит «унизить человечество». Речь не идёт о том, чтобы унизить нас или возвысить, но о том, чтобы понять, каковы мы на самом деле: ведь наивыгоднейшее и наиблагороднейшее для нас — это познание, это открытие истины. Упрёк в безнравственности был неоднократно использован во зло: говорили, что безнравственно отрицать движение солнца, одержимость, колдовство, предсказания и силу слов. Сегодня такие отрицания не считаются несовместимыми ни с философской моралью, ни даже с религиозной, христианской моралью. Не случится ли то же самое однажды и с учением о всеобщей необходимости? Пойдём дальше: как бы ни думали и ни говорили те «доктора», с которыми «никто не хотел бы поменяться моралью, ни теоретической, ни практической» [1], упрёк в безнравственности не имеет места в философии. Следовало бы принять утверждение как истинное, даже если бы оно оказалось безнравственным — если бы такое вообще было возможно. Но между разумом и добродетелью, между истиной и добром нет противоположности: это вещи неразделимые и неразрывные. Следовательно, суждение об учении должно исходить не из последствий, а из оснований, на которых оно зиждется — или, по крайней мере, нужно быть полностью уверенным, что сами эти последствия действительно заслуживают упрёка [2]. А в данном случае тревогу вызывают ложные и ошибочно выведенные последствия. Ведь эта непобедимая необходимость, столь унизительная для тщеславия софистов, присутствует при всех гипотезах и подавляет нас своей очевидностью и своей силой. Потому что даже если бы в добровольных действиях усматривали эффект чувства воления, они всё равно оставались бы необходимыми: ведь воля возможна только в силу предшествующих мотивов, которые с необходимостью её определяют. Не следует страшиться этой истины, против которой всякое восстание тщетно: она не безнравственна и не уничтожает ни достоинства, ни порочности наших чувств и поступков. Ибо судить о них следует по их последствиям — весьма ощутимым и весьма важным — а не по их причинам, весьма туманным и безразличным: необходимое оно или нет, всё, что ведёт к благу человечества, — похвально и

---

1 Это напоминает остроту какого-то юмориста, сказавшего, что «некоторые люди кладут столько морали в свои книги, что её уже не остаётся на их собственную жизнь». См. Тэн, *Классические философы XIX века*.

2 Лучше и не скажешь.

добродетельно, всё, что ведёт к противоположному — порочно и заслуживает осуждения. Вот истинный и единственный камень пробный морали. Наконец, какое бы мнение ни было принято, оно никоим образом не повлияет на то, что следует включать в моральное учение: истина, что подлинные причины наших произвольных действий это внутренние движения, не имеет непосредственного практического применения, и мы всегда можем говорить о нашей воле как о причине этих действий, поскольку она всегда им предшествует, если ничто ей не препятствует.

Дестют де Траси основывает мораль, «углубляясь ещё дальше», на постоянных фактах, установленных **физиологией**. Последняя различает органическую или внутреннюю жизнь, включающую функции самосохранения и имеющую своим главным центром большой симпатический нерв; и животную или внешнюю жизнь, состоящую в функциях отношения (взаимодействия с внешним миром), сосредоточенную в мозге — специальном органе, в котором происходит обработка и комбинация ощущений. Функции, зависящие от большого симпатического нерва, независимы от нашей воли; остальные подчинены воле. Действия этих двух принципов взаимосвязаны, и в некоторых случаях большой симпатический нерв заменяет собой мозг. Из жизни самосохранения рождается чувство индивидуальности, которое ставит нас в противопоставление с нашими ближними и порождает страсти ненависти. Из жизни отношений проистекает потребность в симпатии, присущая всей одушевлённой природе, сближающая нас с другими существами и дающая начало доброжелательным страстям. Примирение этих двух видов страстей и есть задача справедливости, то есть разума.

После нескольких слов об отношении к любви, которую Дестют де Траси, по-видимому, предоставил описывать своему ученику Стендалю, «без вольностей, без пресности, без педантизма, без восторженности», книга внезапно обрывается. Автор, по-видимому, хотел оставить законодателям и философам задачу выводить последствия и предлагать такие политические, гражданские, нравственные и уголовные законы, которые были бы наилучшим образом способны развивать наши способности и добродетели, подавлять или сдерживать наши дурные наклонности и обеспечивать наше счастье. Возможно, он также хотел бы высказать свои взгляды на религиозные идеи, организацию общества и воспитание молодёжи. Не придавая им дидактической формы, он изложил их для широкой публики в *Материалах, касающихся народного просвещения*, в *Средствах для основания морали народа*, а также в *Комментариях к «Духу законов»*.

Этот последний труд показался столь замечательным Дюпон де Немуру, что в 1814 году он хотел перевести его на французский язык, и Дестют де Траси был вынужден, чтобы его отговорить, показать ему рукопись оригинала. То, чего не сделал Дюпон де Немур, сделали другие: перевод был напечатан в Льеже, затем переиздан в Париже. Дестют де Траси, который вовсе не

намеревался публиковать его в Европе, издал текст в том виде, в каком он его и написал, когда увидел, что «все печатают его без его ведома». Это было в июле 1819 года; 2 апреля 1814 года Д. де Траси предложил Сенату объявить об отречении императора [1]. Он без особого сожаления воспринял Реставрацию; но с первых же дней опасался, «как бы то, что погубило Стюартов, не погубило и Бурбонов». В Палате пэров он отказался участвовать в политических процессах и выступал против мер, направленных на воссоздание старого порядка. Его *Комментарий*, который в 1810 году мог бы показаться сатирой на имперское правительство, в тот момент, когда министр Деказ сместился вправо после избрания Грегуара, должен был выглядеть настоящим памфлетом. Сам он посчитал необходимым добавить к главе о законах, формирующих политическую свободу в её отношении к конституции, примечание, ещё раз показывающее, что «идеолог» и «утопист» — вовсе не синонимы [2].

Но если мы ничуть не жалеем о применении наших средств познания к изучению воли и её последствий, то совсем иное дело — третья часть труда и приложение. Краткие замечания, рассыпанные по его сочинениям — о физике, геометрии, математическом исчислении, о ложных науках — дают почувствовать, сколько мы потеряли из-за болезни и уныния, которые прервали его работу [3]. Поражённый катарактой, он решился на операцию, но не заботился должным образом о восстановлении и так и не вернул полностью зрение. Его здоровье, уже пошатнувшееся после смерти Кабаниса, всё более ухудшалось. «Я страдаю, — говорил он, — значит, я существую»; при этом нравственные страдания были ещё мучительнее. Реставрационное правительство, за редкими всплесками либерализма, было мало способно, с учётом преобладающего положения, предоставленного им духовенству и религиозным идеям, понравиться человеку, который читал или декламировал

---

1 Возможно, он своим влиянием на Бирана, с которым тогда ещё был тесно связан, способствовал появлению знаменитого доклада, который в декабре 1813 года показал императору, что идеологи не отказались от своих идей.

2 «Я, — сказал он, — глубоко убеждён, что конституционная монархия, или представительное правление с одним наследственным главой, есть и ещё очень долго будет, несмотря на свои несовершенства, наилучшее из всех возможных правлений для всех народов Европы и особенно для Франции. Все народы, которые получили от своего монарха конституционную хартию, провозглашающую и освящающую основные права людей в обществе, и которые, подобно французам, приняли её с радостью и признательностью, уже не находятся в положении народов, которым ещё предстоит создавать себе конституцию: у них она действительно есть, и им остаётся лишь неукоснительно исполнять её и с каждым днём привязываться к ней всё крепче. Откровенность, с которой я до сих пор излагал свои взгляды, должна быть верной гарантией искренности того мнения, которое я высказываю в данный момент. Я нисколько не думаю, что этим себе противоречу. Я твёрдо верю, что лишь устанавливаю то весьма важное различие, которое всякий разумный человек не может не признать, между абстракциями теории и реалиями практики. Достоверно одно: если бы я был в этом не вполне убеждён, я бы этого не сказал».

3 «Нельзя сомневаться, — говорит Минье, — что Дестют де Траси создал бы по геометрии и исчислению подлинные философские шедевры».

шедевры Вольтера. Революция 1830 года, во время которой он вышел на улицы, «в шёлковых чулках, с лицом, скрытым под широким зелёным абажуром, с длинной тростью в руке», среди баррикад, могла заставить его поверить, как и его друга Лафайета, что он продолжит дело 1789 года. Но он, должно быть, вскоре разуверился — как разуверился и Тюро, человек куда менее требовательный, который всё же считал, что министерство не поняло: «необходимо было заменить легитимность национальным суверенитетом».

Дестют де Траси был не более доволен и философскими тенденциями. Биран, становившийся всё более роялистом и католиком, отдалялся от идеологов и рассматривался их противниками как «вождь» в борьбе, которую они вели против «сенсуализма». Кузен и его сторонники были не более снисходительны к идеологической школе, чем Шатобриан, де Бональд, Ламенне или де Местр. Дестют де Траси мог бы прочесть у Дамирона, что *«сенсуализму соответствовали, в эпоху Директории и Империи, слабая вера в нравственные начала, развращение совестей или их унизительное раболепие, грубость в поведении власти, материализм искусств и презрение к религии»* (с. 31). Он мог бы, как и Брюссе, выразить сожаление, что Францию вновь пытаются погрузить «в иллюзии и химеры онтологии». Точно также, он мог бы считать, видя, что не только Биран, но и Дроз, Дежерандо, Ларомигьер оказались, вместе с Кузеном, Жуффруа и Руайе-Колларом, включены в число эклектиков, — что онтологизм начинает «давать трещины» даже внутри самой школы. Более того, он видел в собственной семье следы влияния, оказываемого политической, религиозной и философской реакцией. Его сын, около 1818 года, вторым браком женился на мадемуазель Ньютон, вдове генерала Ле Тор. Молодая женщина «любила священников, кресты, колокола, монахов, иконы, часовни и всех святых»; позднее она занялась изучением Отцов Церкви, «чтобы узнать, что они говорили о душе, — те, кто, в отличие от иных, не искал руками эту душу, чьё бессмертное существование позволяет человеку с полным правом верить, будто весь мир был создан исключительно ради него» [1].

Но, как сказал Минье, Дестют де Траси слишком верил в свои идеи, чтобы быть поколебленным идеями других. Он оставался приверженным своим теориям с спокойной твёрдостью, полагая, что человеческий разум переживает лишь временное заблуждение, и с уверенностью рассчитывая на его возвращение к истине. Вместе с Брюссе, возможно, он считал, что *«химия, физика, естественная история, математика, история, ныне ставшая по-настоящему философской»*, — это *«медные бастионы, которые канто-платонизм никогда не сможет сокрушить»*. Поэтому он поддерживал труды молодых учёных, которые к нему обращались, и с интересом следил за развитием естественных наук, которые привели его к философии и, как он верил, могли вновь привести к ней и будущие поколения. Его доверие не было

[1] Сент-Бёв, *Lundis*, т. XIII, с. 190 и 203.

обмануто, и его влияние — прямое или косвенное — оказалось, как и влияние Кабаниса, значительным и плодотворным во всей сфере спекулятивной мысли.

Придя к философии через науки, Дестют де Траси придал идеологии имя и позитивный характер. Если он и ошибался, полагая, что может создать её с нуля, то он совершенно ясно понимал, что, чтобы стать самостоятельной и полноценной наукой, она должна опираться на физиологию и патологию, на изучение детей, безумцев и животных. Он тесно связал её с грамматикой и логикой, с моралью и политической экономией, с законодательством и политикой. Как соратник Кабаниса, он вдохновил Дежерандо и Бирана, Ампера и Стендаля, Тюро и Борда-Демулена, Брюссе и О. Конта, Мильна, Янга и Брауна. Благодаря ему идеология распространилась среди естествоиспытателей и врачей — в Италии, в Англии, в Америке, как и во Франции [1].

[1] См.: *Mém. de l'Inst. nat.* (M., сокращение) I и III; D. de Tracy, *Éléments d'Idéologie*, 5 т., 1825, 26, 27 (сокр. I, II (Gr.), III, IV, V); *Commentaire sur l'Esprit des Lois* (сокр. C); *Œuvres de Montesquieu* VIII, с *Moyens de fonder la morale d'un peuple* (сокр. Моу.); Кабанис, Прево, Бира́н, Минье, Гизо, Сент-Бёв, А. Бэн, Спенсер, Льюис, Бертран, Дамирон; де Сегюр, *operibus citatis*; Ш. де Ремюза, *Essais de philosophie*; Реторе, *Critique de la ph. de Thomas Brown*; Шабо, *D. de Tracy*; *Cabanis, Tracy, Biran, Lettres inédites* (Col. Naville) и др., и др.

Второе поколение идеологов

Психологическая и рациональная идеология, сравнительная и прикладная

Глава VII

Помощники, ученики и продолжатели Кабаниса и Д. де Траси

Кабанис и Дестют де Траси — главные представители второго поколения идеологов. Рядом с ними и вслед за ними следует поместить целый ряд мыслителей: одни из них малоизвестны, другие знамениты, даже прославлены, но все они заслужили, чтобы их имена не были забыты потомством. Строго и систематически классифицировать их невозможно. Однако для ясности изложения мы разделим их на три группы: в первую войдут современники Дестюта де Траси и Кабаниса; во вторую и третью — их ученики и продолжатели: учёные и реформаторы, «чистые» идеологи, историки и литераторы.

I

Дону во время революции; Дону и Бонапарт; Эссе об индивидуальных гарантиях; Дону, историк философии; М.-Ж. Шенье и Декарт; Андриё и Политехническая школа; «Бенджамен Констан и наука о религиях»; Ж.-Б. Сэй и политическая экономия; Брийя-Саварен.

Дону (1761-1839) по праву принадлежит место одновременно в трёх поколениях идеологов, как по времени своей жизни, так и по своим трудам. Как влиятельный член Конвента после Термидора, один из главных авторов Конституции III года, создатель Института и системы народного образования, он мог бы быть поставлен рядом с Кондорсе и Сийесом, с Гара и Лаканалем. Как знаменитый профессор при Реставрации, он пережил Кабаниса и Шенье, Женгене и Тюро, Ларомигьера, Жакмона и Дестюта де Траси, которым

посвятил биографические заметки, способные в должной мере ознакомить с их жизнью и трудами [1]. В этом отношении он вполне мог бы быть отнесён к третьему поколению. Однако он заседал в Институте вместе с де Траси и Кабанисом, присутствовал на собраниях в Отёе и обедах tridi. Это один из тех, кто способствовал тому, что идеология впала в немилость у Наполеона. Следовательно, его нужно оставить его в числе тех, чьи доктрины и память он всегда защищал.

Про Дону написано немало [2]. Остаётся лишь изучить в нём идеолога — и это легко сделать благодаря множеству документов, богатых сведениями самого различного рода, которые ныне находятся в нашем распоряжении.

Дону, ставший ораторианцем потому, что не мог стать адвокатом и не желал быть хирургом, преподавал философию и теологию. Он был удостоен премии в Ниме за панегирик Буало и награждён в Берлине за мемуар о родительской власти. Он добился одобрения своего проекта у Оратория и представил его Учредительному собранию: в нём он различал четыре ступени образования — первую, домашнюю; четвёртую, профессиональную; вторую, допускавшуюся как публичная (с шести до десяти лет); и третью, соответствующую колледжам. Осуждая последнюю «как подати на соль», он предлагал взамен систему из восьми лет обучения, в которой после изучения латыни, греческого, французского и истории переходили к логике, метафизике и морали. Диспуты на латинском языке отменялись; преподавание логики сводилось к анализу ощущений, всеобщей грамматике, причинам ошибок, основаниям достоверности, правилам критики — ко всему, что касается ясности идей и очевидности суждений, взаимосвязи и порядка знаний. Метафизика больше не включала онтологию, но преподавались «Федон» или «Тимей» Платона. Преподаватель морали — «главная фигура колледжа» — переводил *Об обязанностях* Цицерона и преподавал естественную мораль, опираясь на Платона, Цицерона, Сенеку, Плутарха, Марка Аврелия, Монтеня, Паскаля, Николя, Камберленда, Лабрюйера, Ж.-Ж. Руссо и др. Седьмой год был посвящён изящной словесности, восьмой — физике и математике.

---

1 Замечание о Шенье появилось в 1811 году во главе каталога его библиотеки; заметка о Жиньене — это речь, произнесённая на его похоронах 18 ноября 1816 года; *Notice sur François Thurot* была помещена во 2-е издание *De l'Entendement et de la Raison* и воспроизведена во вступлении к *Mélanges de feu François Thurot* (1889); *Notice sur la vie et les ouvrages de Laromiguière* была опубликована в январе 1839 года в *Journal de la langue française*; *Discours prononcé aux funérailles de D. de Tracy* 22 марта 1836 года был напечатан отдельно. Когда Дону скончался, он работал над заметкой о Кабанисе.

2 Несколько месяцев спустя после его смерти Тайяндье, его ученик в Коллеж де Франс, коллега по Палате и душеприказчик, издал *Documents biographiques sur Daunou*. Наталис де Валли уже ранее воздал хвалу бывшему редактору *Journal des Savants*. Валькенаэр и Минье собирались представить труды члена Академии надписей и Академии моральных и политических наук, тогда как Герáр и Виктор Леклер занимались учёным и литературным историком Франции. Наконец, его земляк Сент-Бёв рассматривал в нём писателя и мастера стиля, литературного критика и знатока языка.

Викарий митрополии в Аррасе и в Париже, Дону был направлен в Конвент, где оспаривал право этого собрания судить Людовика XVI. Затем он выступил против проекта конституции, представленного Комитетом общественного спасения, и написал для Лионской академии мемуар, который был удостоен премии предпочтительно по сравнению с мемуаром Наполеона Бонапарта. Арестованный в октябре, он был заключён в различные тюрьмы, в последний раз — в Пор-Рояль, ставший тогда «Свободным Портом» (Port-Libre), где вновь перечитал Тацита и Цицерона. Он был освобождён через два месяца после 9 Термидора и добился принятия декрета о назначении пенсий ряду учёных и художников, после выхода в свет *Эскиза* Кондорсе. Член Конституционной комиссии [1], он консультировался с Сийесом, который отказался изложить свои идеи, полагая, что «его не поймут», и в результате Дону стал главным автором Конституции III года, в которую он включил положение о создании Национального института. Затем он возглавил Конвент и вошёл в состав Комитета общественного спасения; в вандемьере он стал одним из пяти членов комиссии, которой было доверено исполнительное управление, и в значительной степени был автором закона 3 брюмера IV года, организующего систему народного образования [2]. Избранный двадцатью семью коллегиями, он возглавил Совет пятисот, работал над пересмотром законодательства о печати и был докладчиком совместной комиссии, занимавшейся специальными школами, посвящёнными «математическим и физическим наукам, наукам нравственным, экономическим и политическим, изящной словесности, механическим искусствам, военному делу, сельскому хозяйству, ветеринарии, медицине, рисованию и музыке» [3].

Дону вошёл в состав Института во «втором классе» — секции социальных наук и законодательства. Именно он произнёс инаугурационную речь в присутствии Директории, министров, послов и избранного общества. В этом выступлении он с ясностью и достоинством обозначил цель нового учреждения [4]. С 25 февраля 1796 года он был профессором всеобщей грамматики в центральных школах, но уже в следующем году его сменил Ларомигьер, когда Дону поручили управление библиотекой Пантеона. В

---

1 «Босси д’Англа, Дону, Ланжюине — имена, которые всегда всплывают, когда луч свободы сияет над Францией» (г-жа де Сталь).

2 См. гл. III, § 3.

3 Льяр опубликовал доклад Дону и показал, что лицеи, хотя и менее обширные, чем те, которые задумал Кондорсе, тем не менее ещё в значительной степени осуществляли «то объединение и согласование теоретических наук, которое должно существовать в законе, так же как оно существует в природе духа и вещей».

4 «Собрать и увязать все отрасли знания; отодвинуть пределы познания и сделать его основы менее тёмными и более доступными; вызывать усилия талантов и вознаграждать их успехи; собирать и обнародовать открытия; принимать, передавать и распространять весь свет мысли, все сокровища гения — таковы обязанности, которые закон возлагает на Институт». — Сент-Бёв назвал ту часть этой речи, которая относилась к изящным искусствам, «по-настоящему классической страницей момента».

Journal des Savants он написал хвалебную статью о Шарле Бонне, представлял *«Гермеса»*, переведённого Тюро, переводы *Происхождения языков* Адама Смита и *Уроков риторики* Блэра. Он сотрудничал с Гара и Фонтаном в журнале *La Clef du cabinet des souverains*; с Гара, Шенье, Бужоленом и Кабанисом — в *Conservateur*; и отказал Талейрану, министру иностранных дел, когда тот предложил ему пост своего генерального секретаря. Похвала генералу Ошу, которую он произнёс от имени Института, вызвала у госпожи де Сталь восхищение «талантом и характером автора». Позднее, участвуя в организации Римской республики, он показал, что идеологи были зачастую, если не всегда, людьми весьма практическими [1]. Он отказался арестовать своих прежних коллег — де Воблана [2], Пасторе, Дюплантье, изгнанных после переворота 18 фрюктидора. Вновь избранный депутатом в Совет пятисот, он стал его председателем и, отвечая на делегацию от Института, произнёс слова, ставшие более знаменитыми, чем справедливыми: «Нет философии без патриотизма, нет гения вне республиканской души». Вместе с Гара, Женгене, Жакмоном и Дестютом де Траси он входил в состав Совета народного образования.

Похоже, что он, в отличие от Вольнея, Кабаниса и некоторых других их друзей, не принял активного участия в перевороте 18 брюмера. В комиссии, где он заседал вместе с Гара, Кабанисом и Шенье, по поручению Бонапарта ему было поручено за одну ночь подготовить проект конституции. Камбасер назвал его проект «лукавым», и он был в значительной мере отклонён как слишком либеральный. Назначенный государственным советником и поставленный во главе народного просвещения, Дону отказался от этой должности, чтобы вступить в Трибунат, где стал его председателем. После победы при Маренго [3],

---

1 Следует прочесть переписку Дону с Ла Ревейером-Лепо (Тайландье), чтобы оценить, с каким здравым смыслом и с какой надёжностью Дону судил о людях и событиях.

2 Ваубланг сам сообщил Дону в 1815 году, «что ему пришлось окончательно заменить его в архивах» (см. Тайландье, с. 239). Фуше оказался более признателен.

3 К этому времени относится сцена, напоминающая разрыв между Бонапартом и Волнеем. Её рассказывали по-разному. По версии Тайландье, приглашённый Бонапартом на обед, Дону был настойчиво уговариваем принять пост государственного советника. Дону вновь отказался. Консул, удивлённый этим упорством, постепенно распалился и в конце концов дал волю раздражению, при этом вырвались такие слова: «Я предлагаю вам этот пост не потому, что люблю вас, а потому что вы мне нужны. Люди для меня — это инструменты, которыми я пользуюсь, как мне угодно… Быть может, я люблю двух или трёх человек — мою мать, мою жену, моего брата Жозефа… — А я, — спокойно ответил Дону, — люблю Республику» — и отошёл. «Я слышал, — добавляет Тайландье, — как подробности этой сцены рассказывали нескольким из его тогдашних друзей, и они передавали её именно так, как я только что изложил». — «Дону, — говорит Сент-Бёв, — испугался; он подумал, что этот человек способен на всё, что он вполне мог устроить этот обед, чтобы его погубить, внезапно вообразить, что ему не оказали должного уважения, что его оскорбили, — что угодно, — и немедленно приказать его арестовать. У него разыгралось воображение, и он уже не мог сдержаться. Бонапарт, стоя к окну, говорил, не видя его; Дону заметил в углу свою шляпу, которую оставил там; пока консул заканчивал фразу, он быстро подошёл, взял её, прошёл через комнаты и вышел из дворца. — Я слышал, — добавляет Сент-Бёв, — этот рассказ и от самого месье Дону, и от человека, прожившего с ним более сорока лет. Я слушал, и только улыбался». Трудно понять эту улыбку. Пример герцога Энгиенского,

Первый консул снова попытался, но безуспешно, привлечь Дону на свою сторону. Последний выступил против учреждения особых судов для политических преступлений и правонарушений. Его речь была искажена в *Moniteur*, а сам консул лично написал в *Journal de Paris* резкую статью против «жалких метафизиков» [1]. Законодательный корпус и Трибунат предложили кандидатуру Дону в Сенат. Бонапарт пригласил сенаторов к себе и заявил: *«Граждане, предупреждаю вас: я расценю избрание Дону как личное оскорбление. Вы знаете, что я никогда не прощал ни одного такого случая».* Его кандидат Ламартильер получил 52 голоса из 54. Год спустя Бонапарту удалось добиться исключения Дону и его друзей из Трибуната — *«потому что он хотел, чтобы все знали: он никогда не прощает своим врагам»* [2]. Как справедливо замечал Тейяндье, Трибунат отклонил всего лишь шесть законопроектов из тридцати трёх, представленных ему; и среди тех, которые он оспаривал, были законы, восстанавливающие право ауспиций (право государства наследовать имущество иностранцев), обязательные клейма, работорговлю неграми; законы, уничтожавшие суд присяжных и подчинявшие граждан юрисдикции министра полиции. Следовательно, речь шла не о неподобающей [3], или систематической оппозиции.

Дону, больной и обескураженный, отошёл от политики. Он представил Институту, после *Мемуара о классификации книг*, который Дестют де Траси высоко ценил, *Анализ различных мнений об истоке книгопечатания* и *Исследование о выборах по спискам*, которое, возможно, ускорило упразднение второго класса: у идеологов больше не оставалось никаких возможностей открыто противостоять мерам, уничтожавшим общественные свободы; если у них ещё и были идеи — то только Бонапарт имел право их озвучивать. Угрожаемый увольнением из Пантеона, Дону подписал письмо, написанное его другом, которое Даву вручил императору. Как сказал Сент-Бёв, он капитулировал. Наполеон сохранил за ним должность и даже написал ему, что «горячо желает использовать его дарования на более высоком посту» и

Моро, ста тридцати демократов, высланных сенатским постановлением после заговора роялистов в нивозе, показывает, что Бонапарт «способен на всё». Дону был не единственным, кто так думал. В 1802 году г-жа де Сталь была сильно обеспокоена за Шенье и хотела предложить ему «деньги, приют и паспорт — смотря по тому, что ему могло понадобиться». Что же до утверждения, будто «Бонапарт знал Дону слишком близко, чтобы бояться его», то оно совершенно неверно, поскольку вскоре после этого Бонапарт вступил в прямую борьбу с Дону и сделал всё возможное, чтобы устранить его из Сената и вывести из Трибуната. Сент-Бёв напрасно пытался осмеять Дону. Разве нельзя, не будучи «трусом», внезапно покинуть хозяина, который раздражается из-за отказа принять его предложение? Тем более — когда он «способен на всё»? См. § 5.

1 «Их дюжина или пятнадцать, — говорил он, — и они воображают себя партией. Неуёмные пустословы, они называют себя ораторами… Против первого консула пускали адские машины, точили кинжалы, строили тщетные козни; прибавьте к этому, если хотите, насмешки и нелепые предположения дюжины или пятнадцати туманных метафизиков. Всем этим врагам он противопоставит французский народ».

2 Journal et Souvenirs Станисласа де Жирардена, т. III.

3 Это выражение Тьера в *Histoire du Consulat*, т. III, с. 410–411.

«молится Богу о его святом покровительстве». Несколько дней спустя после коронации в Нотр-Дам он назначил Дону архивариусом. Дону, в свою очередь, устроил в Архивы Шенье, уволенного за своё *Послание к Вольтеру* с должности инспектора народного образования; на это Наполеон лишь заметил: «Вот какую штуку мне сыграл Дону». В ответ Дону издал *Историю анархии в Польше* Рюльера, заметив при этом, что «именно высочайшей честности главы Империи и неизменной либеральности его чувств и мыслей публика обязана чистоте текста этого сочинения» [1]. Затем он выпустил издание Буало и написал *Опыт о светской власти пап*, который, возможно, показался ему шагом к разрыву Конкордата. В этом сочинении он не скупился на похвалы «новому основателю Западной империи, которому предстоит исправить ошибки Карла Великого, превзойти его в мудрости и могуществе, увековечить славу своего великого царствования, обеспечив с помощью энергичных институтов процветание грядущих правлений». Дону, как ранее Кабанис и Вольней, а позднее Бенжамен Констан, поддался соблазну надежды, что вместе с человеком, открыто провозгласившим себя сторонником идеологии, восторжествуют и некоторые из дорогих ему идей. В действительности, они не всегда ошибались, полагая, что он продолжает дело Революции.

Дону был награждён орденом Почётного легиона, но отказался от должности цензора, не сумев добиться, чтобы его отказ был опубликован в *Moniteur*. Затем он руководил передачей папских архивов во Францию и зачитал свой *Мемуар о Роке* (Destin). В нём он утверждал, что под этим именем древние философы разумели Провидение, разумного и просвещённого Бога: христианство, следовательно, не является столь новой идеей, как принято думать. В ответ, как можно полагать, на Руайе-Коллара, пытавшегося возродить метафизику, он принижал «пневматологию», считая её неспособной расширить наш опыт, ни посредством непосредственного восприятия, ни через свидетельства и отношения, — и требовал терпимости «как единственного средства быть справедливым и разумным».

Во время Второй Реставрации Дону был смещён с должности де Вобланом, но назначен Барбе-Марбуа руководителем *Journal des Savants* и консультировал либеральных министров. В 1819 году он стал профессором Коллеж де Франс и депутатом. Дестют де Траси, Андриё и О. Тьерри присутствовали на открытии его курса, имевшего большой успех — в том числе потому, что профессор нисколько не воздерживался от намёков на современность: *«Я требую,* — говорил он с величайшим достоинством, — *от имени учеников, которые будут меня слушать, свободы никогда их не обманывать: говорить им правду, чистую и полную, есть уважение, которое я должен их возрасту, долг и право моего собственного»*. После рассмотрения различных степеней достоверности

[1] Именно опираясь на этот текст, Лафайет и Сент-Бёв обвинили Дону в том, что он отказался от намерения оставаться великим Moyen. Не справедливее ли было бы сказать, как мы уже замечали в случае с Дестютом де Траси, что он тогда вовсе не терял надежды на осуществление некоторых из тех реформ, которых желал?

исторических свидетельств [1], он переходил к исследованию того, что такое человек как нравственное существо — «материя истории» — и излагал картину человеческих аффектов: справедливых и несправедливых, разумных и безумных, доброжелательных или враждебных, великодушных или трусливых. Переходя к политике — «нравственности обществ» — он излагал неотъемлемые права личности, ссылался на Дестюта де Траси и принимал его деление форм правления на национальные и специальные. Юношам он ещё говорил, прежде чем приступить к рассмотрению двух основ истории, географии и хронологии, что «нет ничего надёжнее, чем добросовестность; нет ничего могущественнее, чем истина; и нет ничего искуснее, чем добродетель».

В то же самое время Дону с трибуны выступал против восстановления имущественного ценза, против цензуры и приостановки действия свободы личности. Он выпустил второе издание своего *Опыта о личных гарантиях* — «аргументированную программу справедливых и неоспоримых требований умеренного либерализма». Переведённый на немецкий, греческий и испанский языки, этот труд имел в Южной Америке почти такой же успех, как *Комментарий* Дестюта де Траси в Соединённых Штатах. Его курс лекций 1829 года дал ему повод защитить своих друзей, атаковав того, кто «желал покончить с философией XVIII века». Кузен утверждал, будто ход и длительность различных эпох в истории определяются необходимостью. Дону отвечал: *«Что бы ни делали, в картине причин и следствий всегда останется множество точек, недоступных для предвидения и проницательности даже самых опытных умов. Слово “случай” будет сохраняться в наших хрониках, как и в обыденной речи, выражая повсюду и в любой момент наше неведение... История искажается и становится фальшивой, когда хочет быть изображением необходимостей; она состоит только из случайностей и изменчивых явлений»*. И его лекции пользовались таким успехом, о котором не подозревают те, кто судит о нём лишь по нашим учебникам [2] !

---

1 Именно у Дону Жане заимствует свою главу из *Critique historique*, которая является лишь разбором «полного и законченного трактата Дону» (*Traité élémentaire de philosophie*). Огюстен Тьерри дал отчёт об этом курсе в *Censeur Européen* 5 июля 1819 года, прежде чем перейти к лекциям Кузена.

2 *Lycée*, IV, с. 258–267. Редактор соглашается с Дону в упрёке Кузену за то, что тот уничтожает нравственную силу человека неким подобием фатализма; но он упрекает его и в том, что, свергнув необходимость, Кузен лишь ставит на её место случай. Впрочем, он находит обоих профессоров одинаково достойными уважения, а их направления — одинаково полезными в тех обстоятельствах, при которых они возникли: «Нет, — говорит он, — ни повода жаловаться, ни повода осуждать; есть лишь повод аплодировать и извлекать пользу; Аристотель и Платон оба служили науке путями противоположными». Валетт, полемизируя с Кузеном, ссылается на уроки Дону, «который, разумеется, не является материалистом, ибо упрекает немецкую философию в том, что она уничтожает всякую нравственную свободу». Он также приводит слова партии Ламенне: «Мы ведь говорили, что философы никогда не придут к согласию. Нам не захотели верить; так спросите же господ Дону, Кузена и Бруссе». — Не любопытно ли видеть, как обвиняют в фатализме главу школы, которая сделала «нравственную свободу» критерием, пригодным для оценки систем?

Дону выступил с протестом против *Ордонансов* (1830), вновь вернулся на службу в Архивы после Июльской революции и подал в отставку с профессорской должности. Он пытался воспрепятствовать избранию Кузена в Академию моральных и политических наук, сам не смог получить должность пожизненного секретаря и не упускал ни одной возможности восхвалять школу, к которой принадлежал, и нападать на ту, что стремилась её заменить [1].

Он умер 20 июня 1840 года, распорядившись, чтобы его тело было перевезено в Сад Луи (Jardin Louis) [2], до девяти часов утра — без объявления, без речей, без какой-либо церемонии.

Как и все идеологи, Дону посвятил свою жизнь истине и разуму. Он был, по выражению Минье, одним из самых редких людей своего времени — по трудам и по образу жизни, по дарованиям и по нравственной добродетели. Особенность его оригинальности заключалась прежде всего в том, что он, после Кабаниса и Дежерандо, но ещё до Форьеля и Кузена, преобразил подход к истории — особенно к истории философии. В течение тридцати лет он был сотрудником *L'Histoire littéraire*, редактором *Journal des Savants* и *Biographie universelle*, автором *Курса исторических исследований* в двадцати томах. Он с замечательным мастерством, если не о великих неличностных деятелях, проложивших путь Наполеону, то, по крайней мере, о писателях, философах и благодетелях человечества — говорил так, что никогда не разделял историю идей от истории людей и институтов. Наконец, и это особенно важно: он с наибольшей возможной для ученика XVIII века беспристрастностью изучал схоластов. Его статья о святом Бернарде так же знаменита, как и *Речь о состоянии словесности во Франции в XIII веке* — «наиболее достойный фронтиспис для одного из разделов монументальной и в то же время оригинальной истории». К этому можно добавить статьи о Пьере Преподобном (*Pierre le Vénérable*), Ришаре Сен-Викторском, Александре Галесийском (*de Hales*), Роберте Гроссетесте, Винсенте из Бове, Иоанне из Ла-Рошели, Фоме из Кантимпре, святом Фоме Аквинском, Пьере Испанском, Гильоме из Шартра, Альберте Великом, Роджере Бэконе и других — об авторах писем, трактатов и *Житий святых*. Соберите все эти фрагменты — и вы получите историю схоластики XII-XIII веков, вполне достойную внимания. А если вы после этого перечитаете то, что сделали Кузен и его ученики, а также то, что сделал Орё

---

[1] Кабанис и «другие мудрецы, составлявшие общество в Отёе», Нормальные школы, их ученики и их наставники, Гара, Дестют де Траси, Тюро и Ларомигьер, стояли выше «молодых профессоров, которые, сами того не желая, содействовали насилиям деспотических правительств и которых напрасно спрашивали, какой метод, какую положительную и внятную доктрину они намерены поставить на место философии, владычество которой они гордились тем, что разрушили, — и от которых можно было услышать лишь непроницаемые оракулы, почти все устарелые, заимствованные и плохо переведённые».

[2] Он не пожелал даже, за девять часов до своей смерти, — говорит Сент-Бёв, — произнести зловещего имени Пер-Лашез.

(*Hauréau*), вы наверняка скажете себе, что первые, расширяя горизонты, шли по пути, уже проложенному Дону; что второй — его преемник как в догматическом, так и в историческом отношении, но преемник, который разумно воспользовался всем, что было сделано до него и рядом с ним [1].

Вместе с Дону из Трибуната были устранены и другие идеологи: Дезрено и Шенье, Ларомигьер и Ж.-Б. Сэй, Бенжамен Констан и др. Дезрено сотрудничал с *Décade philosophique*, где анализировал перевод Смита, выполненный Гарнье; позднее, будучи советником Университета, он по инициативе Ларомигьера способствовал включению философии в официальные учебные программы. Женгене, чьё участие в *Décade* и *Заметке о Кабанисе* уже было нами отмечено, трудился над своим выдающимся сочинением *История итальянской литературы*, после того как он написал беспристрастную, тонкую и умную критику *Гения христианства*. Мы уже также упоминали М.-Ж. Шенье — одного из решительных защитников центральных школ [2]. Известно, насколько яростны и несправедливы [3] были обвинения, обрушившиеся на него после Террора, особенно со стороны тех, кто нарочито называл его брата «Абелем Шенье». Известно, с каким энтузиазмом М.-Ж. Шенье принял Революцию, с какой страстью, а порой и с ожесточением он сражался даже с самыми близкими ему людьми, когда считал их идеи противоречащими тем, за торжество которых он боролся [4]. Мало кто знает, что именно он, в октябре 1793

---

1 Следует принять во внимание, для истории философии, также статьи о Плотине, Порфирии, Прокле, Симпликие, Варроне (*Biographie universelle*), об Арнобии, об Александрийской школе, о гностицизме, о «Горгии» Платона, о Декарте, о Бонне, о Бэконе, о Дюмарсе и др. (*Journal des Savants*).

2 Ср. гл. I, § 2.

3 «Шенье, послушайте меня, — говорил Камиль Жордан. — Сыну естественно с кинжалом в руке броситься на палача своего отца; но брату неестественно допустить, чтобы его брат погиб на эшафоте, когда он мог бы спасти его одним лишь желанием. Первый был виновен, второй был чудовищен; первый — человек, второй — чудовище». — Следует прочесть, что написал по этому поводу Дону: «Тираны поклялись отомстить за своего идола (Марата, о котором Шенье не сказал ни слова в своём докладе об исключении праха Мирабо из Пантеона, куда его должны были заменить прахом Марата) через гибель Шенье и всей его семьи. Его отец был подвергнут угрозам; двое его братьев были арестованы; вскоре и он сам был обвинён, вызван, разыскиваем, вписан в свой черёд на одной из страниц списка проскрипций. Это сделало его ещё более настойчивым в ходатайствах о спасении братьев; в течение нескольких месяцев он не имел иной мысли, и его просьбы были столь горячими, столь упорными, что он сумел спасти одну из двух жертв. Мы не намерены здесь восхвалять эти его действия, к которым побуждали его самые нежные чувства, но которые он совершил бы и тогда, если бы руководствовался лишь личным интересом; ибо опасности тех, кто носил его имя, усугубляли его собственные; до него добирались, ударяя по ним. Андре Шенье погиб 7 термидора; и эта одна дата достаточно опровергает клевету, столь же нелепую, сколь и чудовищную. Если бы кто-то, 7 термидора, действительно имел возможность спасти своих самых близких, несомненно, такой кредит, такая власть никак не могли принадлежать тому, кто сам погиб, — если бы этот кровавый режим продлился ещё пятнадцать дней». — Ср. Вильмэн, La Littérature au XVIIIe siècle, 58-я лекция.

4 См. его письма в Journal de Paris, в Moniteur и др. (Œuvres, V), где он защищает против своего брата общества «Друзей Конституции». — См. также, что он говорил после

года, от имени Комитета народного просвещения, представил доклад о перенесении праха Декарта в Пантеон. Подобно Д'Аламберу и Кондорсе, Шенье утверждал, что опыт, этот первый философ, опроверг космологическую систему Декарта; что Локк и Кондильяк шли по более надёжному пути в лабиринте метафизики; что новые открытия в математике принесли славу после него Ньютону, Лейбницу, Эйлеру, Лагранжу. Но, как и они, он причислял Декарта к «тем великим людям, которые раздвинули границы общественного разума и чьё свободное гениальное мышление стало достоянием человеческого духа», потому что «именно он первым в современной Европе охватил весь круг философии, в то время как Кеплер и Галилей овладели лишь его частью, и придал своему веку мощный и стремительный импульс». Празднество, назначенное по случаю переноса останков, не состоялось. В 1796 году Шенье вновь потребовал исполнения декрета. Мерсье, этот враг Локка, Кондильяка и Ньютона [1], выступил против [2]. Шенье защищал Декарта и Вольтера, которых Мерсье тоже не щадил, но проект был отложен [3].

В *Речи об общественном образовании* (5 ноября 1797 года) Шенье настаивал на важности физического воспитания, «без которого всякое иное образование было бы неполным и бесплодным», и включал в «гимнастику свободного народа» бег, борьбу, искусство плавания, упражнения с пушкой и ружьём [4]. После доклада, в котором он восхвалял Афины [5], Шенье представил проект декрета о распределении 300 тысяч ливров между рядом учёных и художников, среди которых значились Адансон и Битоубе, Боссю и Делиль, Де Саль и Дюси, Лагарп и Лаланд, Ламарк и Мармонтель, Монтикля и Палиссо, Сен-Ламбер и Андриё, Колен д'Арлевиль, Франсуа де Нёфшато, Парни, Ретиф

вандемьера о Карно — «децемвире, искусном в искусстве просчитывать преступление и сеять раздоры, соединяющем в себе мрачную подозрительность Бийо-Варенна, свирепую зависть Робеспьера и холодную жестокость Сен-Жюста».

1 Ср. гл. I, § 3.

2 «Мы не являемся, — говорил он, смешивая, как обычно, верные идеи с причудливыми взглядами, — академическим корпусом… Великий человек принадлежит человеческому роду; Тассо и Вергилий принадлежат не одной только Италии. Не будем же восстанавливать новые канонизации или опасаемся, что вскоре они, как и старые, станут предметом насмешек. Был ли Декарт романистом или строгим умом — предоставим времени определить границы его славы… Церемония перенесения его праха в Пантеон будет воспринята народом почти так же, как процессия великого Ламы. Я прошу, чтобы репутация Декарта жила или угасала в его сочинениях».

3 Новая иллюстрация того, что идеологи отнюдь не были противниками Декарта.

4 Мы отправляемся искать в Англии школьные игры и упражнения, рекомендованные Шенье, так же как находим у Милля, Бэна и Спенсера философию идеологов. Как верны слова Лабрюйера и Вольтера!

5 «Классический город и кормилица великих мужей, где Перикл, выходя из мастерской Фидия, спешил слушать уроки Сократа; где оратор Эсхин, призванный к отчёту перед народным собранием, восхищался Демосфеном, громящим его; где Платон, наставив своих многочисленных учеников в садах Академа, отправлялся с ними в театр, чтобы там решить спор между Еврипидом и Софоклом и присудить награду гению». Следует отметить эту похвалу Платону, которую Шенье повторяет и в своём докладе о Национальном институте музыки.

де ла Бретонн, Руссель, Сен-Анж, Селис и Верне. Именно по его предложению были возвращены депутаты, объявленные вне закона, а также Талейран. Против Мерсье, который «хотел реализовать химеру универсального языка, навязав язык Французской республики народам, ею побеждённым», Шенье выступал за включение немецкого, английского, итальянского и испанского языков в программу центральных школ Парижа. Вместе с несколькими идеологами он принял активное участие в перевороте 18 брюмера, но вскоре понял, что трудился вовсе не во имя свободы. Будучи трибуном, он энергично выступал против права ауспиций и гражданской смерти, защищая «секту экономистов, в рядах которой были искусные и просвещённые публицисты, а также величайший администратор Франции XVIII века, бессмертный Тюрго». Госпожа де Сталь написала Дону, предлагая его другу деньги, убежище и паспорт. Шенье, инспектор народного образования, был уволен в 1806 году после публикации *Послания к Вольтеру*. Дону напрасно писал Фуше, не предупредив об этом самого Шенье, утверждая, что это будет смертный приговор, поскольку Шенье не имел состояния, а постановками его пьес — уже известных или ещё не поставленных — воспрепятствовали. Ему удалось устроить Шенье на службу в Архивы, и сам Наполеон в 1808 году поручил ему продолжить *Элементы истории Франции* Мийо. Поражённый болезнью, от которой впоследствии умер, Шенье всё чаще навещал Дону, с которым его связывали всё более тесные узы. Изливая «подлости, творящиеся вокруг, и лицемерные отступничества, которые его душили», он вспыхивал гневом, «его голос звучал с яростью, чёрный глаз пылал, он был великолепен и грозен» [1]. В связи с декадными премиями (prix décennaux) ему поручили подготовить доклад по *Катехизису* Сен-Ламбера, исключённому из конкурса из-за того, что он был опубликован ранее, а также предложить для награждения *Курс литературы* Лагарпа, *Курс обучения глухонемого от рождения*, составленный Сикаром, и *О связи физического и морального* Кабаниса. Он умер в 1811 году. Шатобриан, которого Шенье критиковал с присущей ему резкостью, не замедлил отомстить — и обрушился на «Шенье-цареубийцу», мстя, как говорит Сент-Бёв, не только автору критики *Аталы*, но и его друзьям: Женгене, Вольнею, Морелле и другим, которые тоже его не щадили. Как справедливо заметил автор одной брошюры — «весьма разумной», по словам всё того же Сент-Бёва, — человек, написавший *Опыты о революциях*, находясь вдали от самого зла, вряд ли имел право упрекать Шенье, который оказался *в самом очаге и центре этого зла*, за то, что он этим злом был затронут.

Андриё отвечал первому консулу, когда тот жаловался на оппозицию со стороны Трибуната: «Вы, гражданин, принадлежите к секции механики, и вам известно, что опираются только на то, что сопротивляется». О нём же Наполеон говорил: «В Андриё есть нечто большее, чем просто комедии» [2]. Член третьего класса Института, он воспевал Локка в своих стихотворениях и прозаических

1 Сент-Бёв, *Дону*, стр. 332.

2 Жюль Симон, *Une Académie sous le Directoire*, с. 178.

произведениях [1]. Затем он представил на сцене *Гельвеций, или Месть мудреца,* поэму, посвящённую, как он сам писал [2], «во славу философских наук». *Décade philosophique* анонсировала появление этого произведения в тот самый день, когда Женгене публиковал вторую выдержку из *Гения христианства*. Там писалось, что: «Андриё тем более достоин уважения, что в наше время требуется немалое мужество, чтобы мстить за философию против этой шайки хулителей, которые всеми силами стремятся, пусть не полностью погасить свет разума, но, по меньшей мере, замедлить его поступательное движение».

В 1804 году граф де Сессак, директор Политехнической школы и член Института, предложил Андриё кафедру грамматики и литературы, которую собирались учредить в Школе. Андриё согласился и разделил свой курс на четыре части: 1° грамматика, по которой он читал философский курс, соответствующий уровню молодых людей, привыкших к серьёзным и абстрактным занятиям; 2° немного риторики, но прежде всего — искусство говорить; 3° искусство писать. Поэзии он уделял немного внимания, ограничиваясь в основном общими замечаниями. Он особенно стремился чётко различать для своих учеников прозу и стихи, поскольку, как он говорил, молодые люди и без того склонны восхищаться произведениями, в которых поэтические образы, предназначенные для поэзии, переносятся в прозу — ведь поэтическая проза есть не что иное, как ложь. Потому что, как справедливо говорит господин Журден, *«существуют только стихи и проза: всё, что не является стихами, — это проза, а всё, что не является прозой, — это стихи»* [3]. Наконец, заключительная часть курса представляла собой краткую историю французской литературы до наших дней. В учебной программе, которую он представил Совету по усовершенствованию преподавания, он предусмотрительно отметил, что будет выделять в литературе её нравственное значение. Совет приветствовал эту идею, и Андриё стал также преподавателем нравственности в Школе [4]. Мы знаем из свидетельства Дестюта де Траси [5], что этот курс «понравился идеологам» и, несомненно, способствовал сохранению

---

1 Локк, шагами ровными и неторопливыми,
Путём сомнения приходит к истинам.
Тот Локк, что исследовал бездну нашего бытия
Не предположил, что мы наставлены до рождения.
Человек, говорил он, ничему не научился, кроме как через чувства,
Предметы поражали его зарождающиеся органы,
И каждая запечатлённая в разуме картина
Слагает его память и становится его мыслью.

2 Неопубликованное письмо, год X (Papiers de l'Institut).

3 Похоже, что Андриё имел в виду главным образом *Гений христианства* в этой общей критике. Легко понять, почему романтизм, ссылающийся на Шатобриана, был встречен «некоторыми идеологами» неприветливо. Для них это было скорее вопросом содержания, чем формы.

4 *Lycée*, I, с. 181.

5 Неопубликованное письмо от 25 декабря 1801 г., цит. гл. I, § 2.

их влияния в том образовательном кругу, в котором впоследствии оказался и Огюст Конт.

Андриё, впрочем, выступает как идеолог и в своих стихах, где он сравнивает Кабаниса с Фенелоном [1], и в своём курсе в Коллеж де Франс в 1828 году, где он говорит о физиологических наблюдениях, достаточно достоверных, чтобы с большой вероятностью утверждать, что мы мыслим мозгом. Он рассматривает такие слова, как воля, разум, инстинкт, как ярлыки, приклеенные для распознавания, — названия, придуманные ради облегчения исследований; тогда как на деле, как говорил ещё Гиппократ, в человеке всё заговорено, всё взаимосвязано, всё действует согласно [2]. На следующий год, как и Дону и Валетт (Valette), он выступает против Кузена [3].

Уже в 1797 году Бенжамен Констан [4] критиковал в *Политических реакциях* мнение Канта, утверждавшего, что даже в отношении убийц, которые спрашивают вас, не укрылся ли в вашем доме их преследуемый ими друг, — ложь будет преступлением [5]. Кандидат в Институт, затем трибун [6], он был тесно связан с мадам де Сталь, дружил с Кабанисом и Форьелем, с Дону, Дестютом де Траси и Гара, и оказался в числе тех оппозиционеров, кто скорее и сильнее других не понравился Первому консулу [7]. Однако в 1814 году он поддался обольщению идеи превратить Наполеона в защитника свободы. Уже в год X (1801-1802) он в четвёртый раз начинает переработку своего труда о религиях [8]. В это время он читает отрывки из *Гения христианства*, где Женгене, «начав с желания быть не слишком суровым и не задевать автора, был постепенно увлечён силой истины и любовью к философии и Республике» [9]. В

1 Ср. гл. IV, § 5.

2 *Lycée*, I, с. 183. — Это выражение Кабаниса.

3 «Философы исследуют, существуют ли идеи, независимые от языка; некоторые из них утверждают, что некоторые — например, идеи бесконечного, пространства, времени — являются врождёнными. Знаменитый Декарт так говорил. Что до меня, я не знаю; я в это не верю; однако я бесконечно ценю Декарта, но считать возможным разрешать неразрешимые вопросы — это крайность. Что я знаю, так это то, что человек владеет иностранным языком лишь тогда, когда он думает на этом языке. Следовательно, совершенствовать речь — значит совершенствовать мысль». (*Lycée*, IV, с. 464.)

4 Автор *Адóльфа*, которому в литературном отношении предшествовал де Сенанкур, был в наше время много изучаем именно благодаря новым документам, ставшим известными. Наша цель здесь — лишь представить «идеолога». О Бенжамене Констане см.: Сент-Бёв, *Lundis* и *Portraits contemporains*; Лабуле, *B. Constant*, 2 т. in-8; Фаж, и др.

5 Ф. Пикаве, *Introduction à la Critique de la Raison pratique*, с. V.

6 Бенжамен Констан сближал Сийеса и Рёдерера.

7 См. письмо Бенжамена Констана к Форьелю и письмо г-жи де Сталь к Рёдеру, опубликованные Сент-Бёвом, с. 157.

8 Сент-Бёв, с. 161.

9 Сент-Бёв, с. 161. - «Чтобы отвлечься от прочих глупостей, — писал также Бенжамен Констан к Форьелю, — я читаю Шатобриана. Трудно, стараясь на протяжении пяти томов находить удачные слова и звучные фразы, не преуспеть иногда; но чаще всего это двуслойная белиберда; и в самых прекрасных местах есть примесь дурного вкуса, которая

конце 1802 года Констан читает *Отношения физического и морального в человеке* и отзывается о них с подлинным энтузиазмом; но уже тогда он указывает, в формулировках, весьма близких (за вычетом проклятий) к тем, что будут в его *Письме о первопричинах*, что не станет трактовать свой предмет в духе Дюпюи и Вольнея [1]. В 1808 году, после смерти Кабаниса, он присоединяет свои сожаления к словам Форьеля и скорбит, что «люди такого рода, кажется, исчезают с лица земли». Связанный с Виллерсом, защитником Канта, он в 1803 году проводит некоторое время с ним и мадам де Сталь в Меце [2]. В начале 1804 года он пишет Виллерсу, что *Опыт о духе и влиянии реформации Лютера* вернул ему мужество продолжать его собственное сочинение. В 1809 он публикует *Подражание Валленштейну*. В 1812 году с ним происходит «нелепая и неприятная история»: некий немецкий профессор, которому он доверил план и части своего труда по истории и развитию древних религий, похищает у него идею и форму с такой точностью, что в объявлении его курса дословно воспроизведены названия книг и глав [3]. В конце 1813 года Констан отвлекается от этой работы «политической экспедицией»: он пишет брошюру *О духе завоевания и узурпации* [4]. Затем происходит падение Наполеона: «Итак, — пишет он Виллерсу, — великая трагедия завершилась фарсом, столь же грязным со стороны главного актёра, сколь сама трагедия была кровавой. Человек судьбы, Аттила наших дней, тот, перед кем молчала земля, не сумел умереть. Я всегда это говорил, но мне не верили, и теперь все в замешательстве». Бенжамен Констан возвращается в Париж, он там 13 апреля, и сообщает Виллерсу, что «возможно и даже вероятно, что у нас будет

свидетельствует об отсутствии как чувства, так и добросовестности. Он обобрал идеи из труда *О литературе* во всём, что касается аллегории, описательной поэзии и чувствительности древних, с той лишь разницей, что то, что автор этого труда приписывает совершенствованию, он приписывает христианству. Этот плагиат не помешал ему делать очень едкие намёки, а эти намёки, в свою очередь, не помешали ему считать своим дружеским долгом защищать и даже хвалить его». (Sainte-Beuve, Chateaubriand et son groupe littéraire.)

1 «Есть, — говорил он, — в природе таинственная часть, которую я люблю сохранять как область моих догадок, моих надежд и даже моих проклятий против некоторых людей».

2 Виллер пишет мадам де Сталь 25 июня 1802 года, после того как встретил в Париже Форьеля, супругов Сюар и Стапфера: «Мой очерк философии Канта имеет, по крайней мере, один общий штрих с вашим последним произведением (*Литература, рассматриваемая в её взаимосвязях*) — он был слишком силён для публики, которой предназначался». Мадам де Сталь отвечает ему, что Локк вполне примирим с Кантом и что она усердно изучает немецкий язык. 16 ноября 1802 года она пишет, что читает мемуар Дежерандо, удостоенный премии в Берлине, и что собирается выпустить *Дельфину*; затем 20 июля 1803 года — что у неё большое желание отправиться в путешествие по Германии; наконец, 15 октября сообщает, что будет в Меце через десять дней. Она прибыла туда 26 октября и выехала 9 ноября. (Briefe an Ch. de Villers.)

3 См. в приложении любопытное письмо, которое Бенжамен Констан пишет Виллеру, чтобы попросить его вмешаться и не допустить, чтобы подумали, «что его план был переведён из анонса немецкого курса».

4 «Имя чудовища, — пишет он Виллеру, — не названо, но я не думаю, чтобы его когда-либо так хорошо анализировали и показывали более низким и более отвратительным».

свобода»[1]. Он работает над тем, чтобы эта свобода «была мудрой и подлинной», публикуя брошюры и газетные статьи. Но восстановление цензуры, запрет публичных развлечений по воскресеньям и праздникам — всё это, казалось, предвещало возвращение десятины; жалобы на покупателей национальных имуществ и угрозы ультрароялистов встревожили «конституционалистов» и способствовали возвращению Наполеона. С ним Бенжамен Констан пытается осуществить то, что не удалось сделать с другими: он составляет значительную часть *Дополнительного акта к конституциям Империи*. После второй Реставрации он защищает либеральные доктрины на страницах *Минервы* и возвращается в Палату депутатов в 1818 году вместе с Мануэлем и Лафайетом.

В 1824 году он начал публиковать *Религию, рассматриваемую в её источнике, формах и развитии*[2]. Некоторые хотели видеть в этом отход от прежней школы: «Немецкая учёность, набравшая к тому времени хороший ход, — писали[3], — заставила его стыдиться Гольбаха, Дидро и Дюпюи». Действительно, Бенжамен Констан выступил против системы Дюпюи, которую считал ложной. По его мнению, даже если сакральная метафизика и физика со временем стали философскими, из этого не следует, что народ видел в религиозных представлениях лишь некие усовершенствованные абстракции. К тому же история богов — это история природы только для тех, кто её изучал, а масса людей природы не изучает. Наконец, даже если человек на заре общественной жизни замечает смену света и тьмы, чередование дня и ночи, смену времён года — он всё же не различает движения светил, их прямое или ретроградное течение, их временные остановки, не улавливает соответствий между формами земли и небесными фигурами, а тем более — перемен, которым эти соответствия подвергаются на протяжении целых столетий[4]. Опрокидывая теорию Дюпюи, Констан считает, что тем самым опроверг и Вольнея. О Дидро он ничего не говорит, но *Систему природы* Гольбаха он оценивает строго: «она поразила меня ужасом и изумлением», признаётся он, ибо, по его мнению, эта система, при всей своей неспособности объяснить

---

1 Читая эти письма, легко понять столь разные суждения Бенжамена Констана о Наполеоне и о Бурбонах: он мало заботился о самих личностях и ценил их лишь постольку, поскольку они могли дать свободу. Это точка зрения, общая ему с большинством идеологов.

2 Сент-Бёв сближает письмо Бенжамена Констана о *Гении христианства* с тем, которое он тогда написал Шатобриану: «Благодарю Ваше Превосходительство за то, что, когда сможете, изволите уделить несколько минут чтению книги, в которой, смею надеяться, несмотря на различия во мнениях, некоторые подробности смогут вам понравиться… Вы имеете заслугу первым заговорить на этом языке, когда все возвышенные идеи были в немилости, и если я получу какое-то внимание со стороны публики, то буду обязан этому тем волнениям, которые *Гений христианства* вызвал и которые продолжались, потому что сила таланта оставляет неизгладимые следы. Ваше Превосходительство найдёт в моей книге весьма искренний дань превосходству вашего таланта и мужеству, с которым вы сошли на арену, опираясь только на собственные силы и т. д.».

3 Мемуары герцога де Брольи, Revue des Deux Mondes, 1 апреля 1886 г., с. 534.

4 I, 299; II, 382. — Это последнее слово, — говорит он, — выдаёт всю ложность системы.

множество явлений, покоится на предпосылке столь же произвольной, как и догматический спиритуализм. Точно так же Констан критикует Гельвеция и его доктрину разумно понятых личных интересов.

Но хотя он и полемизирует с Дюпюи, чьи идеи, впрочем, никогда не были единодушно приняты всей школой, он **нисколько не щадит и немцев**. Если он критикует Вольнея, то всё же не отказывает ему в достоинствах. Если отвергает *Систему природы*, то признаёт за её автором заслугу быть «неустрашимым противником высокомерной власти». Если по вежливости ссылается на Шатобриана и воздаёт должное его характеру и таланту, то вслед за Женгене упрекает его в том, что тот пытался приписать христианству поэтическую ценность — будто бы народ выбирает свою веру ради того, чтобы снабдить стихотворцев новой мифологией; упрекает и в том, что в *Мучениках* он допустил анахронизм почти в четыре тысячи лет, представив как сосуществующие гомеровский политеизм и современный католицизм. Если же Констан вдохновляется немецкими философами, то лишь потому, что они принимают ту доктрину, которая была дорога Тюрго, Кондорсе и Кабанису, а именно: что всё в человеке подвержено прогрессу. Точно так же и христианство — если оно является самой удовлетворяющей и самой чистой из всех возможных форм религиозного чувства, то именно потому, что оно поддаётся усовершенствованию.

И с других сторон Б. Констан примыкает к Кабанису, Дестюту де Траси, а порой даже к Дюпюи и Вольнею: он выступает против Ламенне, де Местра, де Боналя, Феррана, Экштейна и всех тех жалких софистов, которые выдают себя за защитников религии, будучи при этом не менее коварны по отношению к правительствам, чем к народам. Он едва ли более снисходителен к священникам и к жреческой морали, чем Гольбах, Гельвеций или их последователи. То, что он пишет о климатах, напоминает Кабаниса, как и в случае с тем знаменитым изречением, выгравированным на храме Исиды, и с его хвалебным отзывом о стоицизме, — этом «великом порыве души, уставшей видеть мораль в подчинении развращённым людям и эгоистичным богам». Как говорили Дежерандо и Кабанис, как верили Форьель и Кузен: «всё служит разуму в его вечном движении. Системы это лишь инструменты, с помощью которых человек открывает частные истины, даже если заблуждается относительно целого; и когда сами системы исчезают, то истины остаются» [1].

Очень легко понять, вспоминая письмо Бенжамена Констана про *«Отношения физического и нравственного»*, каков был путь, пройденный его духом. Кабанис уже почти признал, что невозможно искоренить в широких массах людей ту фундаментальную идею, на которой покоятся все позитивные религии, и потому искал простую и утешительную религию, которая приносила

[1] Если он цитирует немцев, а не Кабаниса, то потому, что было бы плохой рекомендацией ссылаться на человека, чей «материализм в то время клеймили», и потому, что Германия, как и в другое время Англия, была в моде.

бы лишь добро. Бенжамен Констан, наученный более долгим опытом, думает так же, но считает, что стоицизм подавляет в человеке зародыш многих нежных и глубоких чувств. Для него религия — действительно, как говорят немцы, язык, на котором природа говорит с человеком, но она также подчинена закономерному прогрессу, которому подчиняются не только народы, но и сами жрецы, ими управляемые. Таким образом, христианство превосходит стоицизм. Разве оно не было, как сказал бы Кабанис, религией «Тюрго и Франклина»? Разве оно не придаёт стоицизму ту жизнь и теплоту, которых ему недостаёт? Разве оно не единственное, что способно, наряду с политической и религиозной свободой, породить все добродетели и весь прогресс? Так, исходя, подобно Кабанису, из доктрины усовершенствуемости человеческого существа и стремления к политической свободе, Бенжамен Констан приходит к христианству, превзойдя по пути стоицизм [1].

Примерно в ту же эпоху Биран завершал аналогичную, но гораздо более бурную эволюцию, которая от Кабаниса и Дестюта де Траси привела его к Бонне и Кондильяку, затем к стоицизму и, наконец, к христианству, близкому к мистицизму.

Религиозное чувство отличает человека от животного [2]: его не следует подавлять, как и сострадание, любовь и все другие непроизвольные эмоции. Возникающее из потребности человека вступить в связь с окружающей природой и с неизвестными силами, которые, как ему кажется, ею движут, это чувство вводит мораль в религию, видоизменяя в благоприятном направлении представления о Боге, духовности и бессмертии. Но содержание — это не формы, религиозное чувство — это не религиозные институты. Любая позитивная форма, даже если она удовлетворительна в настоящем, содержит в себе зародыш будущего сопротивления прогрессу; религиозное чувство отделяется от неё и ищет новую форму. Именно через это различие объясняется последовательность религиозных явлений в летописях различных народов; через него же объясняется тот факт, что определённые религиозные формы кажутся враждебными свободе [3] — тогда как само религиозное чувство всегда ей благоприятствует — и объясняется победа новых верований над прежними. Таким образом, Бенжамен Констан не смешивает эпохи различных религий, все из которых подчинены идее прогресса; он отвергает научные объяснения, которые ошибочно ставят выше народного или буквального смысла. Отделяя

---

1 Посредством этого самого понимания Бенжамен Констан приходит к тому, чтобы говорить благожелательно о Шатобриане, который стал для него предшественником, а порой и ценным союзником; чтобы судить с одобрением Платона, «без которого христианство снова превратилось бы в еврейскую секту»; чтобы цитировать Кузена, его переводчика, который, по словам *Catholique*, изложил теорию, «в конце которой окажется система г-на Констана» (IV, 472; V, 184 и 186).

2 Ещё до де Катрфажа он называет человека животным религиозным.

3 «Недавно, — говорит он, — полнейший деспотизм, который мы знали, овладел религией, как покладистым и усердным помощником». - Ср. гл. V, § 4.

религии, находящиеся под контролем жрецов, от тех, которые сохраняют независимость от духовного руководства, он показывает, что «религии, сумевшие с наибольшим успехом противостоять жреческой власти, были самыми мягкими, самыми человечными, самыми чистыми».

Без сомнения, это произведение было преждевременным, поскольку история различных религий остаётся до сих пор неполной, и лишь теперь начинают смутно осознавать, какой она должна быть [1]. Но это была удачная вылазка сторонников идеи совершенствования (perfectibilité) на эту территорию, и следовало бы пожелать, чтобы — здесь, как и в других областях — исследования этих мыслителей вдохновляли последующих авторов в большей степени. Безусловно, Кройцер, усовершенствованный Гиньо и столь часто цитируемый [2], уступает ему по ясности и точности, не превосходя его при этом значительно по эрудиции.

Наконец, эту книгу стоило бы перечитать в наше время: можно было бы подумать, что она была написана для наших современников [3].

Жан-Батист Сэй, исключённый из Трибуната, так и не примирился с Наполеоном. Как и Дону, он однажды обедал с ним, — не в Тюильри, а в Мальмезоне, — но отказался оправдывать финансовые меры, которые собиралось принять правительство. Он также отказался занять пост директора по сбору объединённых налогов, считая эту систему губительной для

---

1 Bibliothèque de l'École des Hautes-Études, Sciences religieuses, Paris, 1889.

2 Бенжамен Констан критикует и то, и другое с большим здравым смыслом.

3 «Таинственное волнение, желание верить проявляются повсюду. Всюду вы различаете секты… восторженные, потому что потребность в восторге свойственна всем временам… английские методисты (читайте: Армия спасения), обитатели кладбищ, желающие во что бы то ни стало возобновить связь с невидимым миром и общение с мёртвыми (читайте: спириты), в Германии — все философии, пропитанные мистицизмом (ср. последний роман Бурже и статьи, которые он вызвал). Во Франции даже из среды этого серьёзного и усердного поколения поднимаются отдельные, тайные усилия… Полные уважения к любому религиозному мнению, каково бы оно ни было, они говорят с одинаковым почтением о святой воде и воде лустральной (читайте: буддийские церемонии, Лотос, Заря, Инициация). Заметьте, как инстинкт этой обновляющей волны охватывает наших прозаиков и поэтов. К кому они обращаются за эффектами? К иронии, к философским афоризмам, как Вольтер? Нет, — к неопределённой медитации, к мечтательности, чей взгляд всегда обращён к безграничному будущему и к бесконечному. Многие теряются в облаках, но их стремление к облакам есть попытка приблизиться к небесам. Они чувствуют, что именно так установят они связь с новой публикой, публикой, утомлённой неверием и желающей чего-то иного, хотя, быть может, ещё не знающей, чего именно (ср. вступительную речь г-на де Вогюэ и его обращение к студентам). Следует, значит, вернуться либо к навязанной религии, либо к религии свободной… следовательно, уважать развитие религии… требовать религиозной свободы — безграничной, бесконечной, индивидуальной… которая умножит формы религии, каждая из которых будет чище предыдущей… Пустите поток разделиться на тысячу ручьёв… они будут орошать землю, которую он бы разорил».

Франции [1]. Будучи непримиримым оппозиционером, Сэй должен быть причислен к числу идеологов. В качестве редактора *Décade* [2], он анализирует там *Жизнь Б. Франклина,* написанную самим Франклином и переведённую Кастера, публикует *Советы Лептомена о выборах,* говорит об Орасе Сэе, «который разработал план сочинения об уме человека и, чтобы достойно его реализовать, начал с анализа Локка и Кондильяка» и др [3]. Но наиболее значимым остаётся отрывок, иллюстрирующий его полное идейное родство с коллегами. Речь идёт об *Элементах естественного законодательства* Перро: «Вот ещё одно хорошее произведение, — писал Ж.-Б. Сэй, — вышедшее из тех центральных школ, о которых некоторые люди любят говорить с таким пренебрежением». И, показав, что в этом сочинении рассматривается человек как индивидуум, его обязанности по отношению к себе и его отношения с ближними, он добавлял: «Этому же автору публика обязана и другим высоко ценимым произведением — *Опыты о физическом и моральном человеке.* Настоящая работа лишь прибавит к его репутации; и, обеспечив путь своим ученикам, он теперь способен осветить путь и своим коллегам-преподавателям». По поводу этого первого сочинения, восхваляемого Ж.-Б. Сэем, Бужолен, хотя и утверждая, что автор ошибочно приписал Вольтеру атеизм, писал: «Наука метафизики в наши дни во Франции направляется таким образом; больше не дозволяется уводить её с истинного пути и терять в лабиринте теологических споров, если, конечно, хочется получить уважение просвещённых умов, которые, по примеру выдающихся метафизиков — таких, как Гара, Кабанис и др., — применяют рассудок лишь к наблюдаемым и открытым фактам». Для одного из конкурсов Института Ж.-Б. Сэй написал *Олби, или Опыт о средствах улучшения нравов нации*. Два года спустя появился в двух томах его *Трактат по политической экономии*, о котором Дестют де Траси говорил: «лучший, какой до сих пор был написан» [4]. Как и большинство идеологов, он мыслит самостоятельно и подвергает критике тех, чьим

---

1 «Бонапарт, — напишет он позднее, — заставил цивилизацию идти вспять. Это, — скажет он ещё, — незнание политической экономии привело его на Святую Елену. Он не видел, что неизбежным результатом его системы будет истощение его ресурсов и утрата привязанности большинства французов».

2 Ж.-Б. Клеман в предисловии к восьмому изданию пишет, что Одрьё и Женгене предлагали ему пост главного редактора. Это, однако, кажется, мало согласуется с заявлениями, которые мы приводили (гл. I, § 4). С другой стороны, он добавляет, что оставил руководство в 1799 году. Между тем Ж.-Б. Сэй, «заменённый Женгене» 20 нивоза VIII года, переводит 20 мессидора IX года несколько анекдотов из жизни Гёте, а в X году *La Décade* пишет: «Мы те же самые, что и прежде». Это, по-видимому, несомненно, что он сотрудничал в *Décade* до тех пор, пока в ней было возможно писать свободно.

3 Леон Сэй (Débats от 8 июля 1890) привёл несколько страниц из автобиографии, которые вызывают у нас глубокое сожаление о том, что Ж.-Б. Сэй так быстро её прервал. По нашей просьбе он любезно согласился разыскать, не сохранилось ли каких-либо следов переписки между Сэем, обосновавшимся в Ошьи, и его друзьями, оставшимися в Париже. Ничего обнаружено не было.

4 «Заметьте, — добавлял он (Commentaire, с. 280), — что, написав это тринадцать лет назад, я мог цитировать только первое издание г-на Сэя, и что второе издание этого отличного труда ещё превосходит первое».

авторитетом принято было восхищаться: Кондильяка за «остроумную болтовню в книги, где почти всегда принцип основывается на произвольном предположении»; Руссо и его *Общественный договор*; Вольтера и Дюпона де Немура. Но при этом он цитирует у Кондильяка справедливое замечание о том, что абстрактное рассуждение — это не что иное, как исчисление при помощи иных знаков; цитирует он также Паскаля и Локка, Кондильяка, Траси и Ларомигьера — за то, что они доказали: «когда люди не придают одним и тем же словам одних и тех же понятий, они не понимают друг друга, спорят и убивают друг друга»; Кабаниса, Д'Аламбера и Сеннебье — за то, что они показали: «расчёт не может быть применён к политической экономии»; Тюрго — «чьи административные начинания, осуществлённые или запланированные, входят в число самых блистательных, какие когда-либо были задуманы государственным деятелем»; Беккариа, Верри и Смита — «до которого не существовало политической экономии», хотя он мог кое-чему научиться у французских экономистов, и при этом оставил ряд вопросов неясными или недостаточно освещёнными. Как и Кондорсе, как и Дестют де Траси, также и Сэй верит в медленный, но неотвратимый прогресс просвещения, в нынешние и будущие успехи общественного разума. Как и последний, он считает, что мораль едва ли может быть предметом публичного преподавания и что доброе поведение людей возможно лишь как результат хорошего законодательства, хорошего воспитания и хорошего примера. Подобно ему же, он придаёт большое значение дедукции [1]. Он особенно опирается на общие факты [2]: если он основывает их на наблюдении частных фактов, то требует не только личного свидетельства, постоянства результатов, но и того, чтобы «строгое рассуждение объясняло, почему они были именно такими». Ведь множество частных фактов недостаточно достоверны, ничего не доказывают — или даже доказывают прямо противоположное тому, что хотят ими подтвердить!

Благодаря Ж.-Б. Сэю, чей успех имел общеевропейский масштаб, доктрины и метод идеологов были переданы множеству мыслителей, которые порой и не осознавали, насколько они обязаны этой школе. Назовём Шарля Конта — зятя Ж.-Б. Сэя, бессменного секретаря Академии моральных и политических наук до Минье, друга О. Тьерри и автора *Трактата о законодательстве*; а также Дюнуайе, который особенно настаивал в своём сочинении *Свобода труда* на следующем положении: «производительные силы, как и сами продукты, относятся к сфере политической экономии и пр.» [3].

Бастиа сравнивал *Трактат* Ж.-Б. Сэя с сочинениями Ларомигьера за ту лёгкость, с которой читатель переходит от одной идеи к другой, и писал в 1821 году, что из всех трудов по вопросам политической экономии он читал только

---

1 Хотя он и принимает политическую экономию за науку наблюдения, он отличает её от ботаники и естественной истории (эти собирают и классифицируют наблюдения; она же должна выводить общие законы из наблюдения фактов).

2 Ср. гл. IV и гл. VI, где мы говорили о Кабанисе и Дестюте де Траси.

3 См. Дестют де Траси, гл. VI, § 4.

Смита, Сэя, де Траси и журнал *Цензор*. В 1845 году он снова напоминал о теории Дестюта де Траси, который сводил промышленность к двум видам деятельности: труду, который преобразует, и труду, который транспортирует [1]. Жозеф Гарнье, в своём *Трактате по политической экономии*, называет Дестюта де Траси рядом с Контом, Росси, Бастиа, Дюнуайе — среди наиболее выдающихся экономистов, продолживших дело физиократов и Адама Смита [2]. Наконец, Джон Стюарт Милль, во многих отношениях принадлежащий к той же школе, составил весьма лестный портрет Ж.-Б. Сэя, с которым он встретился в Париже в 1820 году [3].

Газета *La Décade* в тот самый день, когда Женгене опубликовал свой последний отрывок из *Гения христианства*, анонсировала выход сочинения гражданина Брийя-Саварена — бывшего члена Учредительного собрания и судьи Кассационного трибунала. В своём труде *Взгляды и проект политической экономии* автор привлекал внимание к различным важнейшим вопросам хорошего управления и общественного благосостояния, предлагая, в частности, создание особого класса стажёров при гражданских и морских префектах, государственных комиссарах и административных структурах судов [4]. Будучи земляком Биша (*Bichat*), Монгрэ (*Montègre*) и Ришерана (*Richerand*), Брийя-Саварен изучал в Дижоне право, одновременно занимаясь химией под руководством Гюйтона де Морво (*Guyton de Morveau*) и медициной — у отца будущего герцога Бассано. Во время Террора он бежал сначала в Швейцарию, затем в Америку. Позднее служил в штабе Ажеро, начальником которого был Шерен, и в 1798 году стал комиссаром Директории в Версале, где познакомился с Монтюкля, автором *Истории математики*, показавшим ему фрагменты своего *Словаря гурманской географии.* Отличавшийся как образованный магистрат и учёный, Брийя-Саварен, подобно Дежерандо, вошёл в состав Общества содействия национальной промышленности и представил

---

1 Oeuvres complètes, Correspondance et Mélanges, т. I, с. 17 и 432.

2 8-е изд., с. 654. Он напоминает о делении на производственную индустрию и торговую индустрию; отмечает, что Дестют де Траси мог с полным правом сказать: всё благо человеческих обществ — в правильном применении труда, всё зло — в его утрате; и поясняет эту мысль примером. Он снова цитирует его, когда даёт определение слова «экономия»; он опирается на его авторитет, чтобы отстаивать законность ссуды под проценты, и называет его одним из самых основательных мыслителей нашего времени; он даже приводит отрывок из его *Грамматики*, чтобы установить, что следует понимать под наукой и под искусством (с. 52, 66, 78, 109, 539, 627).

3 «Проезжая через Париж, я прогостил некоторое время у г-на Сэя, выдающегося экономиста, друга и корреспондента моего отца, с которым он сблизился во время визита, совершённого им в Англию через год или два после заключения мира. Он принадлежал к последнему поколению людей Французской революции; это был прекрасный образец истинного французского республиканца; он не склонился перед Бонапартом, несмотря на все соблазны, которым подвергался; он был честен, благороден, просвещён. Он вёл тихую и учёную жизнь, счастью которой способствовали и тёплые частные дружбы, и общественное уважение».

4 Не является ли это «в чрезвычайно практической форме» Школа администрации 1848 года и нынешняя Школа политических наук?

там ирригатор собственной конструкции. Друг Андриё, сторонник неологизма и романтизма, он был любителем медицины и с удовольствием посещал защиту диссертаций [1], Как знаток гастрономии и признанный эксперт, он по настоянию Ришерана согласился опубликовать свои *Гастрономические размышления.* Несмотря на боязнь, что его будут воспринимать как человека, интересующегося только «пустяками» (особенно те, кто знает о книге только по заголовку), он нашёл утешение в том, что тридцать шесть лет непрерывной и серьёзной государственной службы уже обеспечили ему противоположную репутацию. В 1825 году он публикует свой остроумный, обаятельный, изобретательный и оригинальный труд в лёгкой, даже фривольной форме — труд, который, по словам Ришерана, все захотели прочитать. Однако книга эта полностью затмила «экономиста и юрисконсульта» Брийя-Саварена. Тем не менее, в *Физиологии вкуса* мы видим настоящего идеолога. Именно он выстраивает теории и факты по «аналитическому порядку», исследует происхождение гастрономии, составляет философскую историю кулинарии, говорит об аналитической гастрономии и её изысканиях относительно воздействия пищи на организм. Он открывает в человеческом языке движения «спикации», «ротации» и «йеррации» — неизвестные у животных, и излагает размышления о сне и сновидениях, ссылаясь на Рёдёрера и полемизируя с Галлем, — размышления, которые напоминают идеи Кабаниса и до сих пор представляют интерес для изучения.

Это человек, воспитанный XVIII веком, который, «заложив теоретические основания гастрономии, чтобы поместить её в разряд наук», и «точно определив, что следует понимать под гурманством, отделяя его от обжорства и невоздержанности», упрекает излишне суровых моралистов в том, что они стремились видеть порок там, где существует лишь «разумно понятое наслаждение». В его взглядах легко распознать экономиста, для которого «гурманство — это та связь, что объединяет народы посредством взаимного обмена предметами повседневного потребления».

II

Идеология, физика и математика, Лакруа и Био; Ланселин

Математические, физические и естественные науки продолжают следовать методу, который по их примеру приняла идеология, и сохраняют с ней свою связь. Чтобы быть исчерпывающим, следовало бы написать историю научного движения нашего века. Мы ограничимся лишь несколькими именами. Мы уже

[1] Он воздаёт должное врачам — своим соотечественникам — и цитирует описание смерти, данное Ришераном, *Физиологию страстей* Алибера и *Химию, приложенную к земледелию* Шапталя.

говорили о Лакруа и его взгляде на анализ и синтез. Профессор на факультете наук, после защиты центральных школ, он оставил *Опыты об обучении*, чтение которых до сих пор рекомендуется ученикам наших философских классов [1]. Сент-Бёв с удивлением обнаружил, что Био, «восхваляемый как христианин первых веков» графом Шамбором, написал в 1803 году *Опыт по всеобщей истории наук во время Французской революции*, где твёрдо отстаивал доктрину усовершенствования (perfectibilité), а в 1809 году, в статье о влиянии точных идей на литературные произведения, подверг критике систему конечных причин Бернардена де Сен-Пьера. Он был бы ещё более удивлён, если бы знал Био, как мы, сначала как восторженного профессора центральных школ и убеждённого редактора *Декады*. Но Ланселин, чьё творчество весьма мало известно, покажет нам ещё лучше, насколько идеология была тесно переплетена с науками.

Десять страниц у Дамирона, ни слова у Кабаниса, краткая заметка в *Декаде*, любопытное письмо, которое мы обнаружили в архивах Академии моральных и политических наук, — вот всё, что у нас есть, наряду с его сочинением, которое само по себе довольно трудно даже найти, — о Ланселине, имя которого не значится ни в одной истории философии, ни в одном биографическом или философском словаре [2]. Родившийся в Нормандии в 1769 году [1], он получил

---

1 Поль Жане, *Éléments de philosophie scientifique et morale*, с. 458 и сл.

2 См. Дамирон, *Essai*, т. I, с. 150–161 (Дамирон чрезмерно хвалит Ланселина, называя его ясным, строгим и широким умом, искусным рассуждателем). Кабанис отмечает (*Rapports du physique et du moral*, I, xvi) первую половину сочинения Ланселина, в которой представлены самые основы науки с некоторых новых точек зрения, после напоминания о лекциях Гара, трудах Дестюта де Траси, Дежерандо и Ларомигьера. *La Décade* (10 термидора XI года) пишет, что труд Ланселина — один из тех, уже одной своей концепцией заслуживающих похвалы, ибо невозможно даже подумать о том, чтобы за него взяться, не обладая столь разнообразными и обширными знаниями. Убеждённый сторонник системы совершенствования, целиком преданный культу философии и восхищённый до энтузиазма людьми гения, которые отодвинули границы человеческого разума, Ланселин предпринял попытку идти по следам Бэкона и двух главных авторов *Энциклопедии*, представив целостную картину и генезис наук. Журналист справедливо добавлял, вопреки словам самого Ланселина, что великие образцы ему хорошо знакомы и что он долго обдумывал их взгляды и принципы. Он приветствовал решение Ланселина работать для потомства над памятником, достойным человека и француза. Письмо Института датировано 16 вандемьера VI года. Ланселин требует вернуть ему его *Mémoire* для пересмотра, подумывает озаглавить его: «О средствах создавать, совершенствовать науки и увеличивать силы человеческого духа, или Доказанное влияние знаков на формирование идей»; он предлагает делать сам и поручать другим все наблюдения, которые могли бы иметь отношение к наукам и искусствам, и просит продолжить с Институтом переписку, которую он начинает. Его труд называется: *Introduction à l'analyse des sciences ou de la génération, des fondements et des instruments de nos connaissances* par P.-F. Lancelin, ingénieur constructeur de la marine française et membre de plusieurs sociétés savantes, 1-я часть, Париж, IX год (1801), LVI–442 с. Вторая часть, Париж, XI год (1802), XVI–318 с., носит тот же заголовок, но Ланселин называет себя уже «бывшим инженером французского флота и членом Общества содействия национальной промышленности, Гальванического общества, Академического общества наук Парижа, Департаментского института Нанта и др.». Третья, Париж, XI год (1803), 131 с., носит тот же заголовок, что и вторая.

превосходное гуманитарное образование в Кане и два года изучал философию под руководством самого бесстрашного из схоластов. Затем он посещал публичный курс математики, преподаваемый Лё Каню, врачом и философом, состоявшим в переписке с Д'Аламбером, и именно ему он был обязан первым пробуждением своего разума. Будучи учеником Школы морского инженерного дела, где его преподавателем был Лабе, впоследствии профессор Центральной школы при Пантеоне и (в V году Республики) переводчик *Введения* Эйлера в анализ бесконечно малых, он изучал там математику, полюбил свою профессию и философские изыскания. В 1789 году он уже был инженером-кораблестроителем, а с 1796 года — главным инженером. В VI году Республики он был назначен заведующим четвёртым лесным округом, простиравшимся от Дюнкерка до Луары.

Ланселин (P. F. Lancelin) утверждал, что, когда он завершал работу над своим сочинением, ему были известны лишь *Опыт* Локка, *Логика* Кондильяка и *Философские и нравственные сочинения* Бэкона (в V году Республики). Принять это утверждение невозможно [2], и хотя мы не станем приписывать его труду больше оригинальности, чем в нём действительно содержится, но и не будем по этой причине считать его менее интересным и менее любопытным.

Ланселин участвовал в конкурсе на тему о «влиянии знаков» и был удостоен почётного упоминания наряду с Прево, тогда как Дежерандо получил премию. Первая часть его труда была посвящена Бонапарту, первому консулу, «призванному осуществить замыслы философии и надежды философов», и представлена на рассмотрение Национального института, учёных обществ Европы, друзей подлинной философии, разума и истины. Рассматривая мозг как центральный орган, а наши идеи, их знаки и искусство их применения — как материалы, инструменты, рычаги мозга, он ставит себе целью восходить к происхождению наших чувств, ощущений, интеллектуальных и нравственных способностей, разложить на составляющие голову и сердце, душу или

---

1 Мы указываем 1769, а не 1770, как Дамирон, потому что сам Ланселин говорит, что был лишён в возрасте тридцати двух лет (постановление Первого консула от 21 мессидора IX года — 1801) чести служить своей стране (III, 127).

2 Ланселин сообщает, что за десять лет до этого перевёл *Introductio in analysin infinitorum* Эйлера, что пробудило в нём сильный вкус к геометрическому анализу и навело на мысль о его трактате о математических языках (III, 40). Он выступает против гипотезы статуи Кондильяка, которой не нашёл в Логике; цитирует Декарта и Бюффона, Лейбница и Франклина, Кондорсе и Кабаниса, Смита и Гельвеция, д'Агессо, которого называет великим человеком, Монтескьё, которому ставит в упрёк, что тот занимался скорее тем, что есть, чем тем, что должно быть; Вольтера, которого помещает в ряды лучших философов и восхваляет с энтузиазмом; Руссо, которого энергично критикует. Сначала, подобно Дежерандо, критикуя слово «идеология», он в итоге принимает его, как принимает и многие идеи друга Кабаниса, и повторяет, полемизируя с *Философией Канта* Виллера, что его философия и философия его соотечественников не более французская, чем английская, шведская или итальянская, а человеческая. Кроме того, Ланселин, владеющий латинским, итальянским и английским (I, 424), позиционирует себя как продолжателя Д'Аламбера и Дидро, Лагранжа, Эйлера и Лапласа, Кондильяка и Кондорсе.

нравственную природу человека, то есть совокупность ощущений, привычек и способностей, система которых варьируется в зависимости от организации и воспитания; и тем самым — создать то, что Д'Аламбер называл «экспериментальной физикой души». Термин «идеология» он считает слишком ограниченным, поскольку анализ идей — лишь один из элементов моральной анатомии человека, и предпочитает термин «метафизика». В этой науке, которая охватывает человека, искусства, науки, вселенную и природу, которая анализирует и разлагает всё на части, чтобы ясно показать, что содержит каждая идея и каждый предмет, он видит основание публичного образования, воспитания, нравственности и законодательства [1]. Среди метафизиков он помещает Ньютона, Франклина и Вашингтона, Локка, Кондильяка, Байи, Лавуазье и Кондорсе, Бонапарта, Лагранжа, Лапласа, Монжа, Фуркруа и Кабаниса, которые соединяют в себе точность, широту и глубину.

Сочинение состояло из трёх частей: анализа мыслящей способности, развития воли и классификации наших знаний. Первая часть, разделённая на три секции, посвящена общему развитию чувствительности, операциям духа, идеям, возникающим из них, и формированию интеллектуальных способностей, выражению идей, основаниям философской грамматики и точного языка.

Ланселин признаёт лишь одно чувство — **осязание**. *Рука это один из главных инструментов усовершенствования*. В бесчисленном множестве планет, блуждающих вокруг звёзд, должно существовать бесконечное число новых видов существ, которые различаются продолжительностью жизни, формой и организацией, в зависимости от жизненной и производящей энергии того небесного тела, которое даёт им рождение и их питает, от его массы, его расстояния от центра, от количества теплорода (калорика) и света, которое оно получает. Инстинкт это система первичных способностей; разум, в высшей степени усовершенствованный размышлением и опытом, есть расширенный инстинкт, позволяющий человеку быстро распознавать наилучший способ действия. Физическое и нравственное часто представляют собой одно и то же, обозначенное разными словами: переменные и преходящие способности, составляющие душу организованных и живых существ, это результат организации тела, как свойство показывать время является следствием конструкции часов. **Материя**, будь то инертная или живая**, это великое целое**, вселенная, совокупность всех тел; природа — это сумма тел и сил, которые их оживляют; тяготение и теплород — это совокупные силы, составляющие душу мира. К математическим и физическим наукам, которые изучают основные свойства тел, к метафизике и наукам, исследующим вторичные качества — самопроизвольное движение, ощущения, идеи, чувства — можно добавить ещё одну науку, целью которой будет точное определение изменений ощущений и способностей, соответствующих естественным или случайным изменениям

[1] Узнаются идеи, отмеченные у Дестюта де Траси, гл. V.

материальных частей, и устранение нарушений, вызванных внешним воздействием или взаимным влиянием двух систем. Не существует ни абсолютного творения, ни уничтожения, есть лишь превращения материи, сумма которой остаётся постоянной. В бесконечном пространстве, вмещающем её, силы, вечно действующие — тяготение и теплород — сохраняют, изменяют, разрушают первичные движения больших масс: планет, комет, звёзд или солнц, а также химические явления растительности и жизни. Миры формируются и распадаются в течение длинной цепи накопленных веков; одни небесные тела угасают, другие загораются; новым скоплениям или системам предшествуют разрушенные или изменённые; тысячи живых видов исчезают, уступая место другим, которые со временем изменятся и исчезнут вследствие вековых изменений и частичного или полного распада систем, породивших их своей организацией. Материя, пространство и длительность — вечные элементы, с помощью которых природа, сумма тел и сил, производит бесконечную цепь движений, событий, превращений и метаморфоз, из которых текущее состояние вселенной есть лишь мимолётное звено. Тяготение управляет формированием и движениями великих небесных тел; вместе с теплородом оно вызывает и поддерживает растительность и жизнь; под именем сродства (аффинитета) оно формирует животных, растения, минералы; наконец, воля или сила двигаться у организованных и чувствующих существ в значительной степени является всего лишь действием тяготения.

В этой первой части, и во всём своём труде Ланселин предстает как человек, в котором перебродили все идеи, порой плодотворные, порой разрушительные, великие или наивные, чрезмерно позитивистские или дерзкие до предела, — все те идеи, что были пущены в обращение в XVIII веке [1]. Эти идеи Ланселин воспроизводит неуклюже, но с энтузиазмом; он их преувеличивает, искажает, но порой и развивает с удачей. В этой первой секции узнаются Кабанис и Лаплас, но на ум приходят Спенсер и Тиндаль.

Во второй части вновь появляются Кондильяк и Локк, Бэкон и Дестют де Траси. Анализ — это двойственная операция, которая соединяет и разлагает: необходимо определить число и качество элементов, из которых должна состоять каждая интеллектуальная и нравственная идея, свести мыслящую силу к трём формам: разуму, воображению и памяти — и составить аналитический словарь, в котором за каждым словом, выражающим сложную идею, будут следовать все термины, обозначающие частные идеи, из которых она состоит. Третья часть напоминает Д’Аламбера. Ланселин предлагает составить словарь истины, в который будут внесены самоочевидные вещи или те, что поддаются демонстрации: утверждения, признанные истинными в геометрии, механике, астрономии, физике и т.д.; затем — системы, искусство предположения, теория вероятностей, факты и рассуждения, которые не являются очевидными, но

[1] Ланселин говорит о «брожении», вызванном в его голове великой идеей, указанной Бэконом, развитой Д’Аламбером, Дидро и энциклопедистами.

могут стать таковыми посредством строгой демонстрации, — в рамках истории гения и воображения; наконец, собрать теорию и практику абсурда: мифологию, теологию, религии, метафизические мечтания, историю жрецов, прорицателей, магов, колдунов, шарлатанов всех видов — с целью провести демаркационную линию между разумом и безумием, между истиной и заблуждением. Если он предлагает сблизить уравнения и утверждения, привлечь учёных и философов к совершенствованию наук и языков, создать язык исключительно аналитический, посвящённый только прогрессу философии, разума и истины; ограничить образование детей раннего возраста изучением рисования — «необходимого введения ко всем профессиям и талантам»; создать школы нравственности и законодательства, народные праздники, а из философских книг извлекать всё, что в них истинно, полезно и хорошо, чтобы затем без вреда сжечь по меньшей мере три четверти из них; тщательно подбирать элементарные книги для каждой области образования — в нём без труда узнается читатель Кондильяка, поклонник Лавуазье и Эйлера, Д'Аламбера и Лагранжа, Лапласа, современник и ученик авторов закона брюмера IV года, Кондорсе, Кабаниса и Дестюта де Траси. Здесь проявляется и преувеличение тогдашних доктрин [1]; но также и идеи, которые скорее напоминают Ламарка и Дарвина, чем де Мале или Робине. Из того, что мы не видели, как меняются живые виды, — говорит Ланселин, — мы не имеем права заключать, что они неизменны, не больше, чем роза имеет право считать вечным и неизменным садовника, которого она знала в течение тех двенадцати или пятнадцати дней, что прожила. В ходе последовательных революций Земли, эманации Солнца, наступил момент, когда в результате брожения и сближения органических молекул, в изобилии рассеянных по земному шару, зародыши самца и самки животных видов либо образовались, либо развились благодаря соответствующей температуре, прошли ряд нарастаний и метаморфоз, и в конце концов достигли того состояния, в каком мы видим ныне животных и растения. Быть может, сначала существовали бесформенные существа, чудовища, которые, не обладая достаточными способностями, не смогли ни сохранить, ни передать жизнь; быть может, природа на протяжении веков производила бесплодные попытки. Но существа более сильные, более хорошо организованные — выжили, размножились и образовали виды. Быть может,

[1] По мнению Ланселина, метод обладает такими преимуществами, что его можно было бы назвать «Искусством систематически строить человеческие головы» — посредством плана обучения и воспитания, основы которого, как он полагает, он заложил в своей книге. Искусное правительство может порождать во всех областях людей таланта и гения, определяя наилучшие средства для формирования тела, ума и сердца; поручая их применение людям мудрым и просвещённым и заботясь о том, чтобы домашнее воспитание соответствовало воспитанию общественному. Далее Ланселин пытается подчинить аналитической формуле — FP = SP = CS + CR + CB + AS = N T + N' T' + N'' T'' + N''' T''' — силу или способность мыслить, и человеческий ум. (FP = сила мысли; SP = дух; CS = способность воспринимать идеи; CR = способность сохранять их; CB = способность их сочетать; AS = искусство знаков; N, N', N'', N''' = количество идей, усвоенных, сохранённых, скомбинированных и выраженных в единицу времени; T, T', T'', T''' = время, в течение которого осуществляется каждая из этих способностей.)

человек с самого начала был таков, каким мы его видим; а быть может, ему потребовались века и целые ряды вариаций, чтобы достичь того состояния, в котором живут дикари на островах.

Ланселин, восхваляя Бонапарта, одновременно горячо выступал в защиту неограниченной свободы печати и высмеивал все религиозные представления: неудивительно, что он был довольно холодно принят человеком, который вскоре должен был заключить Конкордат, упразднить класс моральных наук и полностью лишить прессу свободы. За несколько дней до подписания Конкордата, по постановлению первого консула, Ланселину была назначена пенсионная отставка. Болезненный и лишённый необходимых средств, он смог опубликовать вторую часть своей книги только в конце 1802 года. Он не удивляется тому, что не занял места «в уме магистрата, который должен носить Францию в своём сердце, а земной шар в своей голове». Чувствуя потребность любить всех, не завидовать никому, ненавидеть только преступления, он просит у своих врагов лишь одного — пощадить его, не губить клеветой, ядом или кинжалом, ибо он желает посвятить всю свою жизнь поиску истины и совершенствованию разума [1]. Кондильяк и Гельвеций, Кондорсе и Кабанис, Руссо и Дестют де Траси, по-видимому, дали Ланселину большинство идей, которые он развивает во второй части. Нужно признать, что у него встречаются весьма здравые суждения — об образовании, соответствующем каждому гражданину, каждому сословию, каждому положению. Но важно отметить, что говорит Ланселин о религиях, чтобы показать, на примере человека, на которого сильно влияла среда, насколько религиозные взгляды уже подверглись глубокой трансформации. Он говорит, что *«крестьянин, ремесленник, испытывают смутные желания, тревогу, которой требуется определённость, и сильную страсть к чудесному. Люди настолько несчастны, что было бы жестоко лишить их средства стать хотя бы немного менее несчастными»*. Им можно было бы, следовательно, дать своего рода нравственный катехизис, в котором религия имела бы своё место в форме праздников, посвящённых природе и отечеству, любви и дружбе, благодарности, гению, добродетелям, создателям наук и искусств, великим людям и всем истинным благодетелям человечества. И при всём том, что он утверждает: господствующие религии дурны, когда они нетерпимы и

[1] В одиннадцати главах он излагает происхождение страстей и нравственных привычек, которые выводит из любви к себе — первого двигателя человека; рождение симпатии как универсального принципа общительности и расширения любви к себе; значение, которое следует придавать формированию хороших привычек — первых основ воспитания и морали. Он анализирует элементы воспитания и указывает, каким должен быть план образования, чем отличается воспитание индивидов от воспитания народов, и рассматривает его влияние на законодательство, правительство и общественное управление; опровергает апостолов невежества и говорит о нравственных силах, действующих на государства, а также, попутно, о религиях как политических рычагах. Он анализирует силы, совместное действие которых создаёт характер, настаивает на значении привычки и видит в свободе или счастье результат хороших привычек, хорошего плана воспитания, законодательства и управления.

противоречат морали; что человек здравомыслящий и разумный, вынужденный логикой признать, что душа рождается и умирает вместе с организацией тела, будет обвинён в материализме — как будто в природе существует что-то, кроме материи и сил; как будто природа могла бы иметь Творца; как будто всякий, кто наблюдает, изучает, мыслит и рассуждает, не является подлинным материалистом, — Ланселин всё же признаёт, что религия ещё долго будет пользоваться влиянием и смягчать для многих людей неизбежные бедствия существования, и он ограничивается лишь — хотя и весьма энергично — требованием терпимости к тем, кто в неё не верит. Философия XVIII века перестаёт быть агрессивной.

Все сильнее заболевая и, возможно, потеряв ещё больше сил, Ланселин в 1803 году издал третью часть своего *Введения в анализ наук*. Она вовсе не является наименее интересной. Великие системы тел, — говорит он, — имели своё начало и окончатся; животные виды погибнут в результате ослабления или усиления солнечного тепла либо внутреннего калорика. Тяготение и калорик, породившие нынешнюю организацию Солнечной системы; разум и воля, управляющие формированием организованных и чувствующих существ, всё это первопричины почти всех вторичных движений, четыре великих всеобщих факта, к которым ограничивается доступ наблюдения и за пределы которых она не может подняться. Показать, как из них вытекают факты второго порядка, а из тех факты третьего порядка; восстановить скрытую нить, связывающую непрерывной цепью все факты с основным фактом, упорядочивая их в естественном ряду их происхождения или передачи производимых ими движений, — такова должна быть задача ума. Единая наука природы включает первую группу наук, которые можно назвать первичными, и которые возникают из описания тел, классификации объектов и фактов [1]. Человек является предметом особой науки [2]. Затем следуют регулярные или нерегулярные продукты мыслящей силы: математические и физико-математические науки, рисование, живопись, скульптура; поэзия — эпическая и драматическая; музыка и изящная словесность; космогонии и теогонии, теософия и астрология, онтология и пневматология, магия и прорицание.

---

1 Круг наук включает космографию (включая уранографию и географию), зоологию и ботанику (экономическую или философскую), минералогию и метеорологию, химию и общую физику.

2 Человека следует наблюдать во всех точках земного шара, на всех ступенях цивилизации, во всех состояниях, профессиях и условиях. Наука о человеке включает анатомию, физиологию, медицину, идеологию, которая восходит к происхождению наших знаний, даёт картину ощущений, идей, чувств, привычек и человеческих способностей, но для полноты нуждается в сравнительной идеологии, выявляющей умственные и нравственные способности животных; всеобщую грамматику как ветвь идеологии; логику как следствие двух предыдущих наук и науку о руководящих методах ума; науку воспитания, имеющую целью формирование привычек тела, ума и сердца; всеобщую мораль; законодательство и историю. Ср. Кабаниса и Дестюта де Траси.

Над всеми науками и всеми искусствами возвышается истинная философия, подлинная метафизика — универсальный анализ, или наука принципов. Подготовленная Аристотелем, Гиппократом и Плинием, созданная Бэконом, обогащённая Ньютоном, Локком, Кондильяком, Эйлером, Д'Аламбером, Дидро, Гельвецием, Вольтером, Кондорсе, она многим обязана Декарту, Бюффону, Лейбницу. Один человек не в силах глубоко изучить и упорядочить все науки; поэтому необходимо, чтобы учёные разделили между собой область универсального анализа и каждый из них выработал философию той науки, которой он занимается.

К этой картине человеческих знаний, восходящей к Бэкону, Дидро и Д'Аламберу, к Дестюту де Траси, но ведущей также к Амперу и Конту, Ланселин хотел бы присоединить картину вековых изменений природы, или материи и сил, которые её оживляют, рождения, картину жизни и смерти небесных тел. Убеждённый, вслед за Декартом, что существует общий и надёжный метод, применимый к решению всех видов проблем, он указывает три вопроса, которые особенно привлекли его внимание [1]. Ни один философ не строил более обширных замыслов и не возлагал на будущее таких надежд, как Ланселин. Он уже составил, как он сам говорит, *Аналитический трактат о математических языках*; он думал продолжить его *Духом языков*, чтобы сблизить живые языки с языками точными, а также наметить *Философский и беспристрастный обзор важнейших произведений человеческого духа*, где отделил бы истину от заблуждения у лучших философов. Возможно, он вернулся бы к вопросу о том, в какой степени религия может быть полезна людям. Наконец, он был бы склонен взяться за осуществление того труда, которого нас лишила смерть Кондорсе! Но Ланселин умер, по-видимому, вскоре после этого, едва достигнув тридцати пяти лет: нищета, болезнь и чрезмерный труд помешали ему воплотить в жизнь эти многочисленные проекты.

В школе, взгляды которой так часто критиковали за узость и упрекали в стремлении ограничивать поле исследований, у Ланселина, безусловно, не было недостатка ни в амбиции, ни в метафизической смелости, и он считал, что не отклоняется от линии Лапласа и Кабаниса, Дестюта де Траси и Кондорсе, а следует тем же путём и применяет тот же метод.

---

[1] 1° Представить элементы всех наук, которые должны служить основой воспитания, в виде полного курса обучения, в виде элементарной и аналитической энциклопедии; 2° объяснить — что касается организации миров и особенно Солнечной системы — касательную силу планет и их движение с запада на восток; 3° выяснить, в какой мере при современном состоянии наших математических, гидравлических и механических знаний кораблестроение ещё поддаётся усовершенствованию, и определить пределы, которых оно сейчас не может превзойти. Поиск решения этих трёх задач — это, по Ланселину, задача, которая должна заполнить всю его жизнь.

III

Идеология и естественные науки, Сюэ, Алиберт, Ришеран, Флуренс и др. ; Биша и Кабанис; Шопенгауэр и Гартман; Ламарк; его трансформизм и психология; Бори-де-Сен-Венсан; сравнительная идеология и философия науки, Драпарно; идеология и медицина, Бруссе.

Для естественных наук потребовалось бы сочинение ещё более значительное, чем для физических и математических наук, если бы мы действительно захотели показать, какой прогресс они совершили под влиянием идеологии и какой вклад, в свою очередь, они внесли в неё. В нём следовало бы отвести место **Сюэ** (Süe) — сотруднику *Декады*, профессору и библиотекарю Медицинской школы, автору таблиц, добавленных к *Отношениям физического и нравственного*, — а также **Русселю**, автору *Физической и нравственной системы женщины*, незавершённой *Системы физического и нравственного человека*, *Заметки о симпатиях*, *Опыта о чувствительности* и *Сообщения о госпоже Гельвеций* [1]. Точно так же стоило бы упомянуть **Алибера** (d'Alibert) [2] и **Ришерана**, которых хвалили Кабанис и Брийя-Саварен, и указать, что Ришеран ещё в 1839 году, говоря о Кабанисе, выказывал восхищение, которое он не мог не передать своим ученикам; **Флуренса** (Flourens), которого Сент-Бёв представляет как ученика Дестюта де Траси и который доводит нас вплоть до 1867 года [3]; **Этьена Жоффруа Сент-Илера**, создателя философской анатомии и отца Исидора, современника Дарвина [4]; **Эскироля** и его исследования в области душевных расстройств и т. д. [5]. Так же как преемники Кабаниса, ученики Пинеля продолжают соединять философию с медициной, восхвалять анализ и ссылаться на Гиппократа [6]: идеология остаётся госпожой

---

1 Алибер, поместивший похвальное слово Русселю во главе издания его сочинений, говорит нам, что он питал к Кабанису «уважение, которое невозможно выразить», и добавляет: «Какой бы радостью для него было — быть свидетелем успехов, которых достиг этот писатель в знаменитых трудах, объясняющих человека в его самых поразительных явлениях и оправдавших ожидания медицины так же, как и философии».

2 В его Éloge de Roussel можно видеть, как идеологи, даже при Империи, подходили к политическим вопросам. Он передаёт мнение Русселя о праве завещания, об выборах, о Ликурге и правлении в Спарте и восхваляет «представительную систему, которая лишает свободу её буйства и опасностей, не обделяя её при этом её преимуществами».

3 *Lundis, XI, с. 456.* Следует, однако, отметить, что в метафизике Флуренс выступает против Гельвеция и Кабаниса, сближаясь с Декартом. Ср. *Histoire des travaux de Buffon, с. 123.*

4 См. Перрье, *La Philosophie zoologique.*

5 См. Равассон, *La Philosophie au XIXe siècle*, с. 209 и сл.

6 У нас перед глазами речь *Sur le système naturel des idées, appliqué à l'enseignement de la médecine*, произнесённая 16 ноября 1814 года при открытии курса медицины Ж.-Г.-А. Люголем. Она посвящена Пинелю — «который первым, применив анализ к изучению болезней, классифицировал их; который этой методой лишил доверия все гипотезы». Автор прославляет Гиппократа и его метод философствования, различает частные факты или наблюдения, собранные у постели больных, которые составляют приобретённую и положительную часть медицины, и общие данные или абстрактные истины, образующие её

медицинского факультета даже во времена борьбы между Пинелем и Бруссе. Но есть люди, которых недостаточно просто упомянуть: это — Биша, Драпарно, Ламарк, Бори де Сен-Венсан и Бруссе.

Биша (1771-1802), «все сочинения которого, — говорит Брийя-Саварен, — несут на себе печать гения, сочетал порыв энтузиазма с терпением ограниченных умов и, умерев в тридцать лет, заслужил, чтобы его память была отмечена общественными почестями». Он разделяет жизненные явления на два класса: называет животной жизнью функции, связывающие нас с внешними телами, а органической жизнью — те, что служат постоянному составлению и разложению наших частей. Этому различению двух жизней он придаёт такую чёткость, точность и значимость, которых оно не имело ни у Аристотеля, ни даже у Бюффона. Как и Бартез, не будучи ни более спиритуалистом, ни более материалистом, он провозглашает необходимость наконец-то перейти к строгому изучению жизненных явлений, отказавшись от изучения их причин. Подобно Кабанису, он считает, что нужно наблюдать ребёнка и взрослого, старика и женщину, самого человека в разные времена года, когда его душа спокойна или взволнована страстями, — чтобы получить общие результаты неоспоримой ценности. Как и он, Биша придаёт большое значение различению между церебральной системой и ганглиозной системой [1].

Именно при чтении *Философской нозографии* Пинеля у Биша возникла идея и план трактата, в котором он классифицировал оболочки. Цитируя Аристотеля, Бюффона и Бартеза, он мог бы по этому признаку быть причислен к идеологам. Но он ничего не говорит о Кабанисе. Последний, в предисловии к *Отношениям физического и нравственного*, упоминал «тех, кто, не колеблясь, счёл возможным присвоить себе несколько содержащихся в книге идей, не сочтя нужным указать их источник», и добавлял, что «поскольку он стремится распространять истины, которые считает полезными, он гораздо больше обязан этим авторам, чьё знание и талант придают идеям такую силу и вес, которых он сам, увы, не мог им сообщить». И тут же, в примечании, он «оплакивает смерть Биша, которая вызывает у него столь острое сожаление, что он не может не выразить его именно в этом месте». Кабанис полагал, что Биша заимствовал у него несколько идей. Был ли он прав? Бюиссон это отрицает. Говоря о различении церебральной и ганглиозной систем, изложенном в пространной сноске в *Физиологических исследованиях о жизни и смерти*, он утверждает, что другие — неизвестно почему — также пытались приписать это себе в то время,

философскую часть (ср. Ж.-Б. Сэй, § 1). Он опирается на Бэкона и Декарта, Локка и Кондильяка и, кажется, апеллирует одновременно к Пинелю и Кабанису, когда говорит о «великих врачах, которые, следуя примеру Гиппократа, вновь связали медицину с областью здравой философии и всё более и более сужали двойное владычество рутины и ложной философии». Наконец, он превозносит аналитический метод, который один только и учит искусству открытий и умению строго переходить от известных истин к тем, которые мы стремимся открыть.

1 *Ф. Пикаве, статья Barthez и Bichat (Grande Encyclopédie).*

как это сочинение уже давно находилось в руках широкой публики [1]. Здесь он намекает на Кабаниса. Насколько мог, он старался утвердить оригинальность Биша. Множество его отдельных тетрадей содержали в деталях различие двух видов жизни и служили основой его преподавания. Мемуары для Медицинского общества содействия, и особенно шестой из них, сделали его известным широкой публике.

У нас нет никаких оснований полагать, что Кабанис хотел приписать себе идеи других. Никто, более чем он, не стремился отдать каждому должное. Этого мы не можем сказать о Бюиссоне. Поклонник де Боналя, которого он постоянно цитирует и чьё определение человека считает превосходным, он яростно нападает на «софистов», на Сен-Ламбера и на «безумного автора *Системы природы*, настолько абсурдной, что она заставляет краснеть даже своих сторонников». Его политические и философские взгляды отдаляли его от Кабаниса и не оставляли ему особой возможности быть беспристрастным. Более того, если *Исследования* (Биша) действительно были в обращении у всех, когда Кабанис выразил свою претензию, это ещё абсолютно ничего не доказывает. Бюиссон не относит физиологические исследования Биша ранее 1798 года, поскольку до этого тот был всецело поглощён анатомией. Между тем Кабанис уже опубликовал свои *Наблюдения о госпиталях*, *Степень достоверности медицины*, преподавал в медицинской школе и зачитал в Институте большинство мемуаров, которые позже войдут в *Отношения*. Мемуары Медицинского общества, включая и труды Биша, были представлены как «приложение его идей». Наконец, Тюро публиковал в *Декаде* своё второе письмо о Кабанисе в то же самое время, когда та анонсировала *Исследования* Биша. Как он мог заимствовать у Биша доктрины, которые уже давно обнародовал сам? [2] Что Биша не упомянул Кабаниса — это можно объяснить различием политических взглядов [3]. Быть может, он считал своими теории, изложенные учителем, чьи курсы он мог посещать. В любом случае, абсолютно бесспорно, что эти идеи были впервые представлены и развиты Кабанисом, и попытки умалить его оригинальность были вызваны желанием бороться с идеологами.

Шопенгауэр не ошибался. Намекая на то, что Биша с талантом развил доктрины Кабаниса, он сблизил их в тот момент, когда уже было невыгодно ссылаться на последнего. Хотя он говорит о прогрессе физиологии, достигнутом благодаря Мажанди, Флуренсу, Беллу и Маршаллу Холлу, он считает, что эти успехи были недостаточны для того, чтобы Биша и Кабанис

---

1 *De la Division la plus naturelle des phénomènes physiologiques, avec un Précis historique sur Bichat. 1802, p. 356.*

2 Бертран справедливо замечает: «Ошиблись бы, если бы сделали из Бирана подражателя Биша». Но вместо того чтобы считать их обоих учениками врачей XVIII века, почему бы не увидеть в Бише, как и в Биране, ученика Кабаниса — и, возможно, Дестюта де Траси, — с той разницей, что Биран это признаёт, а Биша об этом ничего не говорит?

3 См. заметку Бюиссона.

казались устаревшими. Он не желает, чтобы писали о соотношении физического и нравственного, прежде чем не усвоят Кабаниса и Биша in succum et sanguinem — до полного растворения в соках и крови. Он признаёт, что после Канта именно Гельвеций и Кабанис стали для него вехами в жизни. И это тем более заслуживает внимания, что Шопенгауэр рассматривал свою философию как метафизический перевод физиологии Биша — то есть доктрины двух жизней, а саму эту доктрину — как физиологическое выражение своей философии. Что Шопенгауэр нашёл у Биша более полное, более физиологическое изложение, очищенное от философских тенденций, которыми пронизана теория у Кабаниса [1], — мы нисколько не отрицаем; что Биша был оригинальным учеником — мы в это верим. Но мы также считаем, и доказали это, что он был учеником именно Кабаниса [2].

Шопенгауэр, не отделявший Кабаниса от Биша, показывает, что невозможно не связать их с другими мыслителями, с которыми мы их уже сопоставляли. Сильное влияние на него оказал также Гельвеций, на которого он ссылается, чтобы его не считали учеником Гегеля; Вольтер, Дидро и Шамфор [3] ; Ламарк, имя которого часто соседствует у него с именем Кабаниса [4]. Но Кабанис, кроме того, придавал большое значение бессознательным впечатлениям и инстинкту, сближая его одновременно с тяготением и с чувствительностью. Шопенгауэр поставил волю выше разума, тем самым подготовив теории своего преемника Гартмана. Не является ли Кабанис — пусть не прямо, но уж во всяком случае косвенно — одним из предшественников «мифологии бессознательного» [5] ?

Де Бональд, как и Шопенгауэр, сблизил Кабаниса и Ламарка. Жан-Батист Пьер Антуан де Монне, шевалье де Ламарк (1744-1829), ученик иезуитов из Амьена, военный, а затем служащий у банкира, находился в отношениях с Бюффоном, который способствовал печати его *Флоры Франции* и поручил ему сопровождать своего сына в Голландию, Германию и Венгрию. Бедный и вынужденный работать на книжных издателей, он описал в *Методической*

---

1 Это можно заключить и из тех отрывков, где он сближает эти два имени и говорит, что «среди 50 миллионов двуногих с трудом можно было бы найти такую мыслящую голову, как Биш», а также из тех, где он критикует Ламарка и Кабаниса за то, что они хотели «построить физику без метафизики». Бюрдо, французский перевод Sur le besoin métaphysique de l'humanité, II, с. 309.

2 Поль Жане (Revue des Deux Mondes, 1880) показал, что если первая книга великого труда Шопенгауэра восходит к Канту, то вторая — отчасти к Кабанису и Биша. Ср. Рибо, Schopenhauer.

3 Фуше де Карей: «Он был современником Вольтера и Дидро, Гельвеция и Шамфора». Рибо напомнил, что Шопенгауэр особенно вдохновлялся Шамфором в своей критике женщин, и привёл (с. 130) фразу последнего, которая «содержит в зародыше его метафизику любви».

4 Ср. Ф. Пикаве, *Revue de l'enseignement secondaire et supérieur*, XIII, с. 325.

5 Выражение принадлежит Фуйе. Бертран справедливо говорит, что нашим физиологам следовало бы приписать «всю действительно научную и прочную часть» теории бессознательного. Разве важная роль, которую играет инстинкт у Гегеля и особенно у левых гегельянцев (Поль Жане, Causes finales, 1-е изд., с. 504 и сл.), не является доказательством влияния теории Кабаниса, развитой Биша и Бираном?

энциклопедии все растения от буквы A до P, дал характеристики 2000 родов, исследовал гербарии, ботанические сады, книги и обращался ко всем путешественникам. Соннера подарил ему великолепный гербарий, собранный в Индии; Вольней привёз ему из Америки камни, наполненные раковинами [1]. Назначенный в 1794 году ответственным за беспозвоночных в Музее естественной истории, он имел перед собой огромный объём работы — и выполнил его. Он пролил свет на неведомый мир и нашёл в изучении этих животных, чья организация отличается особым разнообразием и своеобразием, средства для решения проблем естественной истории и философии. Первая из этих проблем — это проблема вида; вторая касается причин, благодаря которым возникает и сохраняется жизнь, а также поразительной прогрессии, которую можно наблюдать у животных как в усложнении их организации, так и в количестве и развитии их способностей.

Заслуги этого естествоиспытателя никогда не оспаривались, даже со стороны Кювье. *Флора Франции*, статьи в *Методической энциклопедии*, *Естественная история беспозвоночных животных* (7 томов) и классификация, предложенная Ламарком с 1794 по 1807 год, поставили его в первый ряд. Мы должны показать, что сделал Ламарк для естественной философии и психологии. Изучать его следует прежде всего по *Зоологической философии*. Без сомнения, он уже высказывал в своей *Гидрогеологии* и в *Рассуждениях или исследованиях об организации живых тел* (1802) ряд идей, которые вновь встречаются в *Зоологической философии*.. Но сам он говорит нам, что последняя работа [2] — это не что иное, как новая редакция, переработанная, исправленная и значительно расширенная версия *Исследований*, в которой он использовал материалы, подготовленные для *Биологии*, от написания которой он отказался.

Как человек, близкий к Бюффону, который — до и после де Мале и Робине — предлагал различные решения вопроса о происхождении видов, Ламарк, после того как он изучил богатые коллекции и огромное число

---

1 Ср. Кювье, *Éloges historiques*; Дарвин, *Происхождение видов*; Геккель, *История естественного творения*; Де Катрфаж, *Ч. Дарвин и его предшественники во Франции*; Шарль Мартен, *Введение к новому изданию "Философии зоологической"*; Людовик Карро, *Этюды по теории эволюции*; Перрье, *Зоологическая философия до Дарвина*. См. в Приложении документ, показывающий, что Ламарк во Франции не был столь пренебрегаем, как это принято считать.

2 *Философия зоологическая* состоит из трёх частей: первая, предназначенная для изложения основных фактов и общих принципов естественных наук, содержит рассуждения о естественной истории животных, их признаках, взаимных отношениях, организации, распространении, классификации и видах. Вторая часть рассматривает физические причины жизни, условия, которых она требует, возбуждающую силу её движений, способности, которые она даёт телам, ею обладаемым, и результаты её существования в этих телах. Третья посвящена физическим причинам ощущения, тем, которые составляют производящую силу действий, и, наконец, тем, которые вызывают акты интеллекта у различных животных.

беспозвоночных, оказался неспособен надёжно установить границы видов среди множества полипов, лучевых, червей и насекомых, и не смог найти для их разграничения иные признаки, кроме мельчайших, а порой и вовсе детских особенностей. Именно это привело его к утверждению, что виды не обладают абсолютной постоянством, не столь древни, как сама природа, но подвержены изменениям обстоятельств, которые с течением времени вызывают изменения в их признаках и форме. Дарвин назвал Ламарка своим предшественником; Геккель поставил его рядом с Гёте и Дарвином и особо отметил его заслугу в том, что тот попытался доказать происхождение человеческого вида, по линии эволюции, от млекопитающих, близких к обезьянам. М. де Катрфаж сосредоточился в основном на слабых местах его учения, тогда как Мартен высветил его вклад в формулировку трансформистской доктрины: влияние среды на организм и наследственную передачу признаков, по его словам, принадлежат Ламарку, который, кроме того, предвосхитил и довольно чётко описал борьбу за существование — не увидев, впрочем, бесконечных последствий этого принципа и той огромной роли, которую он играет в природе. Людовик Карро особо отметил ту осторожность, с которой Ламарк представлял трансформизм как теорию, которую и спиритуалисты могли бы принять: неспособность материи к ощущению, природа как орудие высшей воли, различение идеи и ощущения. По мнению Перье, Ламарк никогда не хотел сказать, будто «животное всегда в конечном итоге получает орган, которого оно желает», но он приписывал трансформации видов стимулирующему воздействию внешних условий, выражающемуся в форме потребностей, и таким образом объяснял то, что мы называем адаптациями. Перье также подчеркнул важность теории актуальных причин, пришедшей на смену идее катаклизмов или всемирных бедствий, а также колебания Ламарка в вопросе о человеке — «о котором можно было бы думать, что он лишь видоизменённый четверорукий примат, если бы его происхождение не отличалось от происхождения животных, но который, тем не менее, поскольку отличается от высших животных в психологическом плане лишь в степени, должен происходить от них, как и они — от самых простых форм» [1]. Таким образом, трансформистская теория Ламарка была представлена во всех своих аспектах, и мы ограничимся тем, чтобы кратко напомнить её основные положения.

Ламарк различает то, что он называет «частями искусства» — систематические распределения, классы, отряды, семейства, роды, номенклатуру — и законы и действия природы, которая создала лишь отдельных индивидов, сменяющих друг друга и подобных тем, кто их породил. Подчёркивая важность изучения взаимосвязей, он сравнивает не только классы,

[1] Перрье цитирует только Геккеля и, как и Карро, после утверждения, что Ламарк — философ и психолог — видит в человеке непосредственное излияние Творца, замечает, что эта уступка и сегодня могла бы привлечь к трансформизму многих людей, которых удерживают уважаемые убеждения; но он ошибочно, вопреки Мартену, утверждает, что Ламарк не признаёт иной причины уничтожения видов, кроме самого человека.

семейства, виды, но и части, составляющие индивидуумов — органы чувств, дыхания, кровообращения и т. д. Таким образом, он видит в животном мире разветвлённый ряд, неравномерно градуированный, который не имеет разрывов в своих частях — или, по крайней мере, не всегда их имел, если верно, что исчезновение некоторых видов привело к их образованию.

За очень длительное время природа произвела все организованные тела, начиная с самых простых, возникающих в результате самозарождения в подходящих местах и при соответствующих условиях. Функции и органическое движение, установившиеся в этих зачатках, постепенно развивали органы и разнообразили живые существа. Над животными наименее совершенными, которые движутся только в ответ на внешние раздражители, обладая лишь раздражимостью без чувства и воли, поднимаются те, кто, испытывая ощущения, обладает смутным ощущением собственного существования и подчинённой, вынужденной волей; затем — те, кто наряду с раздражимостью и ощущениями имеет внутреннее чувство бытия, способность формировать смутные представления и определяющую волю, хотя всё ещё подвержен склонностям, влекущим к определённым объектам; и, наконец, — самые совершенные животные, обладающие ясными и точными идеями, способные сравнивать и комбинировать их для формирования суждений и сложных понятий. Каждая новая способность проистекает из добавления специального органа, из усложнения организации. Природа создаёт организацию, жизнь, чувство; она умножает и разнообразит органы и способности исключительно через потребность, которая устанавливает и направляет привычки. То, что мы делаем с домашними животными, природа осуществляет — только за счёт времени — со всеми существами: климат, пища, характер и качество местности, словом, разнообразие или изменение среды порождают новые потребности, которые требуют иных привычек, вызывают развитие тех частей, что используются чаще, или же — усилиями внутреннего чувства — создают новые части [1]. Изменение, происходящее таким образом — удлинение шеи у жирафа, языка у муравьеда, появление рогов — передаётся всем последующим особям, подверженным тем же обстоятельствам. Следовательно, природа последовательно произвела все виды: она начала с наиболее несовершенных, или самых простых, и закончила наиболее совершенными, постепенно усложняя их организацию. Животные распространились по всем обитаемым

[1] Ламарк сводит свою теорию к двум следующим законам: 1° У всякого животного, которое ещё не достигло предела своего развития, более частое и продолжительное пользование каким-либо органом постепенно укрепляет этот орган, развивает его, увеличивает его и придаёт ему силу, пропорциональную продолжительности этого употребления; тогда как постоянное неупотребление данного органа постепенно его ослабляет, портит, снижает его способности и в конце концов приводит к его исчезновению; 2° Всё, что природа заставила приобрести или утратить особей под влиянием обстоятельств, в которых их род долгое время находился, и, следовательно, под влиянием преобладающего использования данного органа или, напротив, постоянного неупотребления какой-либо части, она сохраняет через воспроизводство у новых особей, происходящих от них, при условии, что приобретённые изменения общи обоим полам или тем, кто произвёл этих новых особей.

регионам земного шара. Каждый вид, под влиянием условий, в которых он оказался, приобрёл те привычки, которые мы ныне ему приписываем, и те изменения в своих частях, которые показывает наблюдение. И чтобы опровергнуть этот вывод, нужно было бы доказать, что ни одна точка земного шара никогда не меняется — ни по своей природе, ни по экспозиции, ни по положению, ни по климату; а затем — что ни одна часть животного организма не изменяется, даже спустя большое количество времени, под действием изменения обстоятельств!

Не менее интересна, хотя и гораздо менее известна, психология Ламарка, которую, впрочем, невозможно отделить от его физиологии. С особым удовольствием он развивает вторую и третью части своего труда (с. 18). По методу он восходит к Декарту, Кондильяку, Кабанису, Бюффону [1]. Но он обладает и своей оригинальностью. Изучение беспозвоночных привело его к трансформизму и позволило ему найти причину жизни: это органическое явление, результат взаимоотношений между частями тела, содержащимися в нём жидкостями, возбудительной причиной движений и изменений, происходящих в организме. Под действием тепла живые молекулы растягиваются и удаляются друг от друга: из этого особого состояния напряжения, или оргазма, рождается раздражимость. Под действием электричества оргазм прекращается — и мышца сокращается. Поэтому Ламарк не может согласиться с Кабанисом и его учеником Ришераном в том, что жить — значит чувствовать, что чувствительность и раздражимость это явления одного и того же порядка; ибо если это и верно для человека и наиболее совершенных животных, то у беспозвоночных, обладающих нервной системой, жить едва ли значит чувствовать, а у растений и низших форм животного мира это вовсе не чувствовать [2]. Кабанис, следовательно, ошибся, когда, желая показать общее происхождение физического и нравственного, начал с изучения человека, в котором — именно из-за сложности явлений — крайне трудно уловить их истоки. Идя дальше Дестюта де Траси, Ламарк хотел бы, чтобы

---

[1] Анализ, рассматривая сначала предмет в целом, изучает его массу, протяжённость и совокупность частей, его природу и происхождение, а также связи с другими известными объектами. Затем он делит его на главные части, которые изучает отдельно, снова делит и подразделяет, пока не дойдёт до самых малых, чьи признаки стремится выявить, не пренебрегая мельчайшими деталями; после этого он выводит из них следствия, и постепенно философия науки устанавливается, исправляется и совершенствуется. Никто не восхищается гением Кондильяка больше, чем Ламарк: его глубокими мыслями и открытиями (т. II, с. 351). Подобно своим современникам, он допускает, что все акты интеллекта берут начало в идеях и что всякая идея, как считали Аристотель, Локк, Кондильяк (Ламарк даже цитирует Нежона), имеет происхождение от ощущения (т. III, гл. 7). Вместе с Кабанисом, чьё интересное сочинение он цитирует более одного раза и которое, по множеству содержащихся в нём фактов и наблюдений, предоставляет наилучшие средства для продвижения этой области человеческих знаний, он признаёт, что физическое и нравственное имеют общий источник, что физическая чувствительность — источник всех идей.

[2] Ламарк встречается с Аристотелем, трактат *О душе* которого, впрочем, по методу и результатам близок к эволюционистским исследованиям.

внимание было обращено прежде всего на организацию самых простых животных, с тем чтобы затем постепенно восходить к человеку. В то же время он считает, что было уделено недостаточно внимания влияниям нравственного (морального) на физическое. Натуралист, который приписывал потребностям способность создавать органы, должен был, по более чем одному пункту, отойти от Кабаниса и Дестюта де Траси.

Внутреннее чувство (sentiment intérieur) является результатом совокупности внутренних ощущений, порождаемых витальными движениями и взаимосвязью всех участков нервной жидкости, образующих единое целое. Это внутреннее чувство служит связующим звеном между физическим и нравственным: оно предупреждает индивида об ощущениях, которые он испытывает, и даёт ему осознание его идей и мыслей. Кабанис лишь смутно предвидел механизм ощущений, не изложив ясно его принципов; он неправильно понял природу инстинкта, выводя его из внутренних впечатлений, тогда как инстинкт, по Ламарку, проистекает из того, что вслед за эмоциями, вызванными потребностями, внутреннее чувство побуждает индивида к действию без участия воли. Кабанис также ошибся относительно меланхолии: именно постоянные и обоснованные огорчения вызвали те изменения в брюшных органах, с которыми он связывал её происхождение. Внутреннее чувство, кроме того, представляет собой производящую силу, которая даёт начало произвольным действиям. Однако воля предполагает суждение, сравнение идей, мысли или впечатления; следовательно, воля никогда не бывает по-настоящему свободной и не является столь надёжным проводником, как инстинкт.

Ламарк расходится со своими предшественниками и современниками и в вопросе о разуме. Разум, по его мнению, требует наличия особой системы органов: внутреннее чувство должно привести в движение нервную жидкость в гипоцефале, чтобы могли происходить операции разума. Поэтому, хотя всякая идея происходит из ощущения, не всякое ощущение способно породить идею; для этого необходим особый орган и участие внимания. Галль хотел доказать слишком многое, и в результате — как реакция — ничего из его теории не было принято, хотя она и содержала значительную долю истины. Дестют де Траси смешал собственно ощущения с осознанием идей, мыслей и суждений. Кондильяк доказал, что знаки позволили человеку расширить круг своих идей, но он не установил, что они участвуют в формировании самих идей. Главные акты разума — это внимание, мышление (или размышление), память и суждение. Внимание есть акт внутреннего чувства, который подготавливает часть органа разума к какому-либо акту интеллекта и делает её способной воспринимать впечатления, а также вновь делать ощутимыми и актуальными идеи, уже запечатлённые в нём. Без него ни одна из операций разума не может осуществиться, и совершенно очевидно, что внимание не является ощущением, как утверждал Гара. Образование развивает человеческий разум только путём

сосредоточения внимания на столь разнообразных и многочисленных объектах, которые могут воздействовать на его чувства [1].

В резюме: Ламарк был выдающимся естествоиспытателем, которого его позитивные исследования привели к утверждению — задолго до Дарвина — что виды изменяются под влиянием окружающей среды, и что такие изменения передаются по наследству; к отстаиванию, вслед за Аристотелем, необходимости начинать изучение жизни с растений и низших животных; к дополнению учения Кабаниса, с бóльшим учётом влияний нравственного начала; к формулированию, до современных авторов и после Аристотеля, плана сравнительной психологии, начинающейся с самых примитивных животных; к признанию, прежде, чем Ларомигьер разработал свою теорию, решающей роли внимания в операциях разума и в образовании. Дарвин, Льюис, Спенсер, Бэйн, Рибо воспроизводили, развивали и дополняли — зачастую не ведая того — идеи, уже высказанные Ламарком.

Рядом с Кабанисом, Биша и Ламарком следует поставить Бори де Сен-Венсана, автора книги *Человек. Зоологический очерк о роде человеческом*, которая вышла в 1825 году, после того как первоначально была опубликована в виде статьи в *Классическом словаре естественной истории*. «Из всего, что было написано о человеке до Кабаниса и Биша, — говорит он, — едва ли можно было бы найти, за исключением Локка и Лейбница, хотя бы полоктаво, заслуживающего сохранения».

Интеллектуальный человек, как «следствие человека-млекопитающего», должен, чтобы познать самого себя, проникнуть в устройство своего организма и организм животных, а также сравнить различные изменения, которые вносят в него возраст, здоровье или болезнь. Он настаивает на последовательном появлении морских форм жизни, затем растений, травоядных и хищников; сближает орангутана и человека и видит в различии большого пальца на стопе «лишь один из тех многочисленных переходов, посредством которых природа обычно соединяет все существа в бесконечном целом своих гармоний». Он вводит, по словам де Катрфажа, новое положение — влияние, которое оказывают на закрепление видовых признаков действия предков, находившихся сами в устойчивых условиях существования [2].

В своём десятом *Мемуаре* Кабанис упоминал Драпарно — профессора общей грамматики в центральной школе Монпелье, естествоиспытателя и философа, достойного уважения в обоих качествах. Он напоминал о прекрасном плане опытов, с помощью которых тот хотел определить степень интеллекта или чувствительности, присущей различным расам, и составить их

---

1 Ланселин, Ларомигьер и Дежерандо, как и Ламарк, отводят место вниманию. — Ср. Рибо, *Психология внимания*.

2 Revue des Deux Mondes, LXXVIII, с. 858. — Бори де Сент-Венсан, посвящая свою книгу Кювье, Ламарка не упоминает.

идеологическую шкалу. Дестют де Траси высказывался ещё более точно и восторженно [1]. Как сообщает *Декада*, Драпарно был кандидатом в секцию идеологии, конкурируя с Прево и Дежерандо. Что касается его учения, то у нас есть лишь два текста, чтобы составить о нём представление: две речи, произнесённые в X году Республики — одна при открытии центральных школ, другая при открытии курса зоологии.

Первое из этих выступлений посвящено философии наук. После того как Драпарно воздал хвалу центральным школам и выразил протест против врагов философии, которые напрасно будут противиться распространению просвещения и не смогут остановить постоянное движение человеческого духа к совершенствованию, он переходит к рассмотрению самой философии, стараясь определить её природу, отличая её от схоластики: «Философия, достойная нашего изучения, — говорит он, — это чисто эмпирическая наука, более плодоносная по своим результатам, более способная вести к полезным открытиям и всегда деятельная в своих замыслах и усилиях, подобно самой природе, которая и является постоянной целью её исследований и устремлений: это, одним словом, философия наук, или естественная философия».

Он включает в неё все человеческие знания и начинает с рассмотрения источников истины, то есть наших реальных и положительных знаний, а затем переходит к источникам заблуждений, то есть наших ложных и химерических представлений. Источниками истины являются чувства, наблюдение и опыт; разум, индукция, вычисление или рассуждение. Без ощущений рассуждение неустойчиво или иллюзорно; без разума чувства почти ничего не дают. Драпарно говорит о наблюдении в превосходных выражениях [2]. Ещё до Ламарка он настаивает на важности внимания и почти готов утверждать, немного изменив знаменитую формулу Бюффона, что гений — это всего лишь высокая степень внимания. Наблюдатель должен не только сосредоточить своё внимание на изучаемом объекте, но и повторять наблюдение, чтобы избежать, как сказал бы Декарт, поспешности; и, прежде всего, он должен освободиться от всякого духа системности и забыть все теории. По этой причине наблюдение легче в физико-естественных науках, чем в науках нравственных. Действительно, воздействие наших внешних чувств и впечатления, производимые физическими объектами на эти чувства, постоянно побуждают

---

[1] В 1801 году он полагал, что сделает достаточно, если заложит на прочной основе идеологию человека; он желал, чтобы учёный профессор, уже проявивший необходимую способность и достаточную широту ума, оправдал возлагаемые на него надежды и занялся бы сравнительной идеологией. В 1804 году, вместо того чтобы предаться этим надеждам, он, по его словам, вынужден был оплакивать преждевременную потерю столь замечательного человека и добавлял, что это — большое несчастье для науки.

[2] Лучший трактат об искусстве наблюдения, по его мнению, — это философская история прогресса человеческого ума в различных отраслях знания, об открытых в науках, особенно в физических науках, важных открытиях, и, наконец, о методах и приёмах, которыми руководствовались изобретатели. Методы в науках — то же, что машины в механике: они экономят время и восполняют силу.

нас выходить за пределы самих себя. Лишь одно чувство побуждает нас наблюдать происходящее внутри нас самих. Через это внутреннее чувство мы вполне способны воспринимать свои идеи, свои знания, свои страсти, все состояния внутренних органов. Но те впечатления, которые дают нам внешние ощущения, более живые, более разнообразные и более чёткие, чем те, что являются плодом внутренних ощущений или размышлений; потому нам легче направлять внимание на действия природы, чем на действия собственного духа. Вот почему естественные науки уже были развиты, когда метафизика и другие нравственные науки всё ещё находились в зачатке. Только в наше время последняя стала по-настоящему экспериментальной наукой, основанной на наблюдении. Опыт рождает феномены, варьирует их, комбинирует, умножает, повторяет, противопоставляет, соединяет. Все фактические истины исходят из наблюдения или опыта; из рассуждения, которое собирает факты, сравнивает их, классифицирует, комбинирует и выводит из них принципы, происходят истины дедуктивные. В толковании природы всё сводится к тому, чтобы переходить от чувств к разуму и от разума к чувствам, входить в себя и снова выходить из себя. Но нельзя придавать реальность абстрактным понятиям — причинам, началам, силам, способностям; нельзя считать их существующими сами по себе.

Драпарно сводит математический или рациональный анализ к анализу эмпирическому; он считает, что синтез и анализ всегда должны быть соединены как в операциях природы, так и в операциях духа. Но синтез — это ни хорошая индуктивная методика, ни удачный способ изложения. Существует лишь один метод расширения человеческих знаний и ускорения их прогресса — это наблюдать, а не воображать; анализировать, а не определять.

О второй части этой речи мы скажем немного. Драпарно справедливо утверждает, что не существует ошибок чувств, что все ошибки проистекают из суждения и имеют четыре основные причины: мы судим либо не располагая достаточными данными, либо не умея ими пользоваться, либо не желая их использовать, либо руководствуясь ложными правилами вероятности. Он желает, чтобы подлинные системы строились на достоверно установленных фактах. Следуя за Д'Аламбером и предвосхищая О. Конта, он считает, что вся задача физических наук состоит в установлении связи между феноменами и объяснении фактов через факты, поскольку принцип — это всего лишь факт, принимающий последовательно различные формы. Нужно ограничиться наблюдением и экспериментом, крайне умеренно использовать гипотезы и абстрактные принципы: философское сомнение, — говорит он, ссылаясь на Томаса Рида, — есть одно из лучших средств предохранения от ошибки и самое надёжное её исцеление.

Вторая речь посвящена жизни и жизненным функциям; это своего рода краткое изложение сравнительной физиологии. Драпарно выступает против тех, кто видит в жизненном начале нечто иное, кроме как абстрактный принцип

— родовое название, под которым объединены явления одного порядка [1]. Жизнь, по его мнению, есть результат организации: анатомия, химия, физика и наблюдение за различными живыми существами позволят нам, таким образом, раскрыть скрытые механизмы жизни. И Драпарно говорит о взаимосвязи наук, о совершенствуемости человека — как подлинный ученик Декарта, Д'Аламбера и Кондорсе [2].

Не менее заслуживают внимания соображения, которые Драпарно — примерно в ту же эпоху, что и Ламарк — высказывает относительно значения классификаций и, косвенно, **иерархии наук**. Когда внимательно изучаешь все индивидуальные существа, говорит он, становится очевидно, что в природе нет классов и что невозможно приписать каким бы то ни было установленным классам чёткие и однозначные признаки. Так, чувствительность у зоофитов развита крайне слабо, тогда как некоторые растения реагируют на прикосновения и внешние раздражения; существует аналогия между жизненными функциями животных и растений. Даже между неорганическими и органическими телами, как и между проявляемыми ими феноменами, нельзя провести чёткой границы, поскольку идея самозарождения не противоречит разуму, и ряд наблюдений даже, кажется, свидетельствует в её пользу. Если до сих пор не удалось объяснить все жизненные явления исключительно посредством механических и химических законов, то это объясняется лишь тем, что механизм живых тел ещё не изучен в совершенстве. За прогрессом физических наук последует и прогресс физиологии: если не ограничиваться наблюдением отдельных видов, не довольствоваться только аналогией, а прибегать к тщательному наблюдению и эксперименту, делать меньше теорий и собирать больше фактов, то можно значительно продвинуться в познании жизненных явлений. Ведь теории — это лишь общие формулы, служащие для связывания известных фактов, но один-единственный новый факт может их изменить; они должны приниматься лишь временно, до появления лучших. Теории заслуживают благожелательного отношения только в той мере, в какой

---

1 «Объяснить ли явление, — говорит он, — значит ли это свести его к какой-то скрытой причине, существование которой лишь предполагается и для которой нельзя определить ни природу, ни способ действия? И узнаем ли мы лучше явления жизни, если нам скажут, что они производятся действием жизненного принципа? Или же, напротив, мы бесконечно лучше осветим природу этих явлений, если сумеем свести их к механическим или химическим законам? Современная теория дыхания — тому очевидное доказательство».

2 «Все отрасли человеческого знания, — говорит он, — сходясь в одном общем стволе, оказывают друг на друга самое активное влияние и взаимно содействуют своему совершенствованию. Нет такой науки, которую можно было бы считать по существу свободной и независимой от других; физика, химия, естественная история, медицина — это лишь природа в её различных аспектах. Отдавайтесь с рвением наблюдению и опыту и не полагайтесь на пустые слова для истолкования природы… совершенствование человека — бесконечно… прогресс наук не имеет предела, и нет в природе ничего, причины чего мы однажды не сумели бы узнать; не выносите суждений, не произведя хороших наблюдений, и отказывайтесь от своих прежних мнений, когда будет доказано, что они ошибочны; принимайте новые, когда они окажутся более точными; такая доктрина способна ускорить прогресс знаний и совершенствование человеческого духа».

они способствуют наблюдению, проясняют опыт и позволяют делать выводы, ведущие к новым фактам.

Драпарно упоминает Дестюта де Траси как первого метафизика, который детально разработал способ влияния, оказываемого двигательностью на формирование наших идей и возникновение знаний. Покидая область сравнительной физиологии ради идеологии, он, подобно Кабанису, придаёт большее значение инстинкту и, на примере куриных (gallinacés), утверждает, что Кондильяк приписал слишком большое влияние осязанию в операциях зрения: «Эти размышления и многие другие, рассеянные в данном небольшом трактате, — добавляет он, — составляют часть труда, который я намереваюсь опубликовать под заглавием *Сравнительная идеология* (Idéologie comparée), и в котором я буду рассматривать мышление и интеллектуальные функции у различных организованных существ, так же как в настоящем я рассматриваю жизнь и жизненные функции. Я уже упоминал об этой новой отрасли идеологии в плане курса метафизики, который в своё время был принят с большим одобрением министром внутренних дел (Люсьеном Бонапартом) и Комитетом народного просвещения. В то время правительство пригласило меня опубликовать мой курс полностью; я охотно бы откликнулся на это почётное приглашение, если бы иные литературные труды и обязанности на новом посту не отняли у меня на это времени».

Что стало с этой *Сравнительной идеологией*, которую призывали к жизни Дестют де Траси и Кабанис? Что стало с *Курсом*, одного лишь плана которого оказалось достаточно, чтобы Дестют де Траси и его друзья выдвинули кандидатуру Драпарно в Институт? Этого мы совершенно не знаем, несмотря на все наши поиски. Тем не менее, уже того, что у нас есть, достаточно, чтобы потребовать для него того места, которое было бы менее скромным, если бы он прожил дольше, но которое и так остаётся весьма почётным. Следуя за Д'Аламбером, но в более определённой форме, и предвосхищая Огюста Конта, он свёл всю философию к философии наук, ограничил физические науки изучением связей между явлениями и подчинил физиологию физико-механическим наукам. Относительно внимания и классификаций он высказал идеи, аналогичные тем, которые принесли славу Ламарку. Наконец, он задумал *Сравнительную физиологию* и *Сравнительную идеологию*, которые, возможно, могли бы направить умы по пути, богатому на открытия, интересные для познания человека. По всем этим основаниям его имя заслуживает сохранения в истории французской философии и науки.

В тот самый год, когда Дамирон и Кузен хотели «покончить с сенсуализмом», Бруссе пришёл на помощь Андриё, Валетту и Дону, которые с не меньшей отвагой, пусть и не столь успешно, вели ту же борьбу против Кузена. Друг Биша и ученик Пинеля, военный врач при Империи, он своим преподаванием в Валь-де-Грас и на улице Фуэн разрушил влияние Брауна, поколебал авторитет Пинеля и добился признания своей *физиологической*

медицины. Раздражимость [1], приводимая в действие внешними агентами, стимулирует органы к усилению их функций; изменённая же вследствие чрезмерного или недостаточного воздействия этих агентов, она становится источником болезни, которая исчезает лишь тогда, когда чрезмерную раздражимость ослабляют ослабляющими средствами или когда слишком слабую раздражимость усиливают возбуждающими средствами [2].

Став главой школы и любимым учителем пылкой молодёжи, Бруссе счёл своим долгом защитить философию, соединённую с науками и особенно с медициной, которую почти с одинаковой яростью атаковали как теологическая, так и эклектическая школы. Разве не означало это одновременно защиту целостности «его власти» и попытку вернуть на свою сторону тех противников, кто всё ещё был учеником Кабаниса — а может быть, и тех, кто сохранял уважение к Пинелю? Бруссе прекрасно понимал, что речь шла о расколе между философией и науками [3].

Бруссе, родители которого были убиты шуанами, направлял свою борьбу против иезуитов и священников, против фанатизма и христианства, «склонного к гордыне и нетерпимости»; против «умного человека», воспевшего религиозное чувство, — и который, хоть и весьма плохо его объяснил, зато сделал его модным и влиятельным; и против другого знаменитого автора [4], воспевшего христианство и нашедшего его более поэтичным, чем мифологию. Но прежде всего он направлял свою резкую и настойчивую полемику — не гнушавшуюся ни презрения, ни оскорблений — против «канто-платоников», как он называл Кузена, Жуффруа и Дамирона. Он упрекал их в том, что они впустую «вставляют душу в мозг», как клавесинист — своего рода «душу» в инструмент, и создают «физическое идолопоклонство», вновь воздвигая «пантеон онтологии». Возвращаясь к идеям Кабаниса и соединяя их с

---

1 См. какие вопросы ставит себе Кабанис относительно соотношений раздражимости и чувствительности, гл. IV, § 1.

2 «Бруссе, — говорит Миге, — строит всю науку о живом и больном организме на одном-единственном явлении, так же как Кондильяк основал на единственной способности — ощущении — всю науку о человеческом уме».

3 «Введённые, — говорит он, — на путь наблюдения идеями Декарта о Методе и советами Бэкона, просвещённые относительно природы инструмента, служащего для этой цели, трудами Локка и Кондильяка, французы приступили к расширению всех знаний… физики, химии, естественной истории… настал черёд медицины с Галлером, Шоссье, Пинелем, Биша. Мы все наблюдали сообща, мы пользовались советами Кондильяка, чтобы усовершенствовать наш научный язык… благоразумный и глубокий Дестют де Траси (в другом месте он говорит: «Дестют де Траси, ученик Кабаниса, которого следовало бы изучить, выучить и перечитывать вновь, прежде чем писать о интеллектуальных способностях»), один лишь труд которого может обеспечить человеческому роду сохранение знаний, добытых с таким трудом; учёные исследования Кабаниса давали нашей родине философическое превосходство… физиология и медицина иной раз диктовали законы идеологии и, казалось, навсегда отдаляли возможность вторжения в нашу науку эфемерных систем философских школ».

4 Бенжамен Констан и Шатобриан.

собственной теорией раздражимости, он в *L'Irritation et la folie* («Раздражение и безумие») объяснял все интеллектуальные явления возбуждением мозговой субстанции. Внешний поток, исходящий от органов чувств, устанавливает связь мозга с внешним миром и приносит впечатления от предметов; внутренний поток, идущий от внутренних органов, устанавливает связь индивида с самим собой и сообщает о потребностях инстинктов. Реагируя на эти два вида возбуждения, мозг преобразует впечатления в идеи, а инстинктивные стремления — в произвольные действия, так же как желудок, реагируя на раздражения, вызываемые пищей, превращает её в хилус.

Книга имела колоссальный успех. *«Сенсуализм,* — писал Дамирон, посвятив Бруссе втрое больше места, чем Кабанису, — *не приобрёл благодаря этой книге ни одного нового сильного аргумента, но обрёл мужество, вновь ожил, и хотя это, по сути, скорее заслуга ораторская, чем рациональная, тем не менее, нельзя отказать г-ну Бруссе в признании»*. Выжившие представители идеологической школы приравняли его к Дону. «Это произведение, написанное с талантом, — говорил Валетт (Aristide Valette), — будет грозным оружием против г-на Кузена, потому что оно отстаивает экспериментальный метод». «Эта учёная и изобретательная работа, — отмечал Тюро (Thurot), — может предложить спиритуалистам, которые с пренебрежением отвергают все достижения физиологии, мудрые советы и полезные уроки». Бруссе, в Академии моральных и политических наук, до самой своей смерти отстаивал против Дамирона, Жуффруа и особенно против Кузена ту философию, которую он выбрал и которой стал поборником [1].

Но Дамирон сказал о системе Галля, противопоставляя её системе Бруссе, что ни одна другая, по своим следствиям, не соответствует лучше спиритуализму. И действительно, Галль, особенно в своём *Трактате о врождённых предрасположениях души и духа*, боролся — хотя и не раз с похвалой цитировал — с Дестютом де Траси, Гельвецием и Ламарком; он часто ссылался на Мальбранша и Отцов Церкви и утверждал, что его система не ведёт ни к материализму, ни к фанатизму. Бруссе захотел отнять у эклектиков эту опору; он принял систему Галля и на этих новых доктринах обосновал выводы своего *Трактата об раздражении и безумии*. Эта работа была опубликована уже после его смерти, в 1839 году [2]. Не будучи оригинальным философом, Бруссэ вновь сделал популярными [3] доктрины Кабаниса и Дестюта

---

1 Жюль Симон, Виктор Кузен. Бруссе с похвалой цитирует Дежерандо и Дюпюи, а затем, когда Бирана стали считать противником идеологов, он выступает против «этого поэта, который не всегда понятен».

2 Найденный тогда документ, опубликованный с целью выставить Бруссе, подобно Кабанису, в противоречии с самим собой, устанавливает, что Бруссе, деист, имел, как и Кабанис, «чувство первопричины и первой силы, которая всё связывает и всё увлекает». Здесь нет ничего противоречащего «Трактату о раздражении», куда та же мысль, впрочем, была введена во втором издании.

3 См. список подписчиков на сооружение памятника Бруссе во втором издании.

де Траси, вернул врачам интерес к психологическим исследованиям, сохранил и подготовил аудиторию для тех, кто в наши дни возродил физиологическую психологию [1].

IV

Идеология и новаторы; Бюрден, Сен-Симон; Фурье, Леру, Рейно, Конт, Литтре; бывшие ученики Кабаниса и Д. де Траси; Дроз; Франсуа Тюро; союз филологии и идеологии, защитник школы Тюро; Ампер — христианин и либерал, философ и ученый; «Очерк по философии науки»; Биран.

Когда уходили из жизни Дону и Бруссе, школа, которая казалась мёртвой, уже преобразилась — благодаря своей исключительной жизнеспособности — так, чтобы предложить новые доктрины новому времени. Уже отмечалось, что некоторые из тех, кто основал или хотел основать новые школы, заимствовали у идеологов отправную точку своих построений [2]; остаётся теперь установить несомненную и точную преемственность этих доктрин.

Реабилитация народа, улучшение положения самого многочисленного и самого бедного класса волновали большинство тех, кто участвовал в Революции, так же как волновали и Кондорсе. Но в 1813 году Сен-Симон считал, что четыре наиболее значительных труда в области **науки о человеке** принадлежат Вик-д'Азиру, Кабанису, Биша и Кондорсе, и он намеревался свести эту науку в один труд, включающий две части, каждая из которых должна состоять из двух разделов. Первая часть должна была быть посвящена отдельному человеку, вторая — человеческому роду; разделы первой части представляли собой физиологическое и психологическое резюме, в котором автор должен был следовать за Вик-д'Азиром и обсуждать его взгляды; разделы второй части должны были составить *Очерк истории прогресса человеческого духа до настоящего времени и начиная с современного поколения*, в котором подвергались бы разбору идеи Кондорсе. Можно ли яснее изложить замысел продолжить труд идеологов, «связывая, комбинируя, организуя, завершая идеи Вик-д'Азира, Биша, Кабаниса и Кондорсе, чтобы сформировать из них систематическое целое»? Более того, именно доктор Бурден, по его словам, открыл ему важность физиологии. В одном разговоре,

---

1 См. также: Miguet, *Notices et Mémoires*; Damiron, *op. cit.*; Dubois d'Amiens, статья «Broussais» в *Dictionnaire philosophique*; Louis Peisse, *La Médecine et les Médecins* и F. Picavet, статья «Broussais» (*Grande Encyclopédie*).

2 Равайссон, op. cit., с. 45: «задача заключалась, согласно формуле, заимствованной Сен-Симоном у Кондорсе… цель Фурье была та же… мысль, вдохновлявшая Пьера Леру и Жана Рейно, была мыслью о всеобщем совершенствовании…» На с. 54: «доктрина, основанная О. Контом, имела двойное происхождение… теории сен-симонистов… и теории френологов, особенно же Бруссе».

который часто вспоминается, тот будто бы сказал ему, что науки начинали с гипотез и все в итоге становились положительными; что астрономия и химия уже стали таковыми; что не составит никакого труда первому гению сделать физиологию наукой положительной, если он просто приведёт в систему труды Вик-д'Азира, Кабаниса, Биша и Кондорсе. Тем самым он сделает положительными мораль, политику, философию и усовершенствует религиозную систему, которая, как доказал Дюпюи, всегда основывалась на научной системе. Бурден рекомендовал выстраивать серии сопоставлений между структурой неорганических тел и тел организованных, между человеком и другими животными в разные эпохи; серии прогресса человеческого духа. Именно в 1798 году Бурден предложил Сен-Симону совместно осуществить то, что впоследствии было реализовано или намечено Дестютом де Траси, Кабанисом, Драпарно и др. [1]. Кто же такой этот Бурден, которому так многим обязаны Сен-Симон и Конт? *La Décade* даёт о нём некоторые сведения. В VIII году (1799/1800) Моро упоминает его, напоминая о трудах Кабаниса. В XI году он сообщает о выходе *Курса медицинских исследований* в пяти томах, принадлежащего перу некоего г-на Бурдена, «врача, уже известного по нескольким работам», — и собирается проводить гальванические опыты в его пневматическом кабинете [2], тогда как *Décade* публикует письмо последнего по поводу бешенства. Было совершенно естественно, что друг идеологов рекомендовал изучение Вик-д'Азира, которого хвалил Кабанис, самого Кабаниса, который его цитировал, Биша и Кондорсе. Если он обратился к философу, чтобы довести до конца задуманное им дело, то потому, что в 1798 году Дестют де Траси ещё не выполнил для идеологической части того, что Кабанис сделал для части физиологической. А если Сен-Симон потом о нём больше не упоминает, то потому, что проект, о котором он думал, был в значительной мере осуществлён [3].

Шарль Фурье, автор фаланстерской системы, своей концепцией «страстного влечения» напоминает Гельвеция и Гольбаха, в то время как сама цель, к которой он стремится — счастье человечества — в общем связывает его с философами XVIII века. То же самое можно сказать о Пьере Леру и Жане Рейно: оба, придавая значительное место идее усовершенствования, восходят к Тюрго, Кондорсе и Кабанису; однако автор *Опровержения эклектизма* и *Человечества* вдохновляется, быть может, больше Дестютом де Траси и

---

1 См. предыдущие главы. Заметьте также обращение к Дюпюи, упоминание Батона, Ньютона и Локка как «научных колоссов», цитату из *Предварительного рассуждения* д'Аламбера к *Энциклопедии* и т. д., похвалу *Элементам физиологии* Ришерана. Мы оставляем в стороне колоссальные несогласованности человека, который черпал в курсах, книгах, беседах необходимые для своих построений знания и обращался к императору «в силу его великодушного характера», чтобы придать политике «положительный характер».

2 Кабанис сам цитирует Бюрдена, гл. IV, § 2.

3 Не следует говорить вместе с г-ном Равайссоном, что беседа имела место в 1813 году. Сен-Симон говорит, с. 45: «пятнадцать лет назад г-н Бюрден сказал мне эти слова и сделал это предложение, которое я принял». И Анфантен добавляет: «пятнадцать лет отсылают к 1798 году начало трудов Сен-Симона».

Ларомигьером, своей триадой — ощущение, чувство, знание — тогда как автор *Земли и Неба*, *Зороастра* скорее напоминает Кабаниса из *Письма о первых причинах.*

Мы только что указали на один из источников позитивной философии — и не из наименее значительных: на **закон трёх стадий**, в общих чертах сформулированный одним из тех, кто шел по тому же пути, что и идеологи. Мы видим, как он зарождается и медленно формируется у Тюрго [1], Даламбера и Кондорсе, у Кабаниса, Дестюта де Траси и Тюро, Ампера, Дежерандо, Ланселина и других. Существуют и иные истоки. Говорили о Бруссе. Но Конт выразил основные идеи *Курса позитивной философии* уже в 1822 году, в *Системе позитивной политики*, а затем — в 1826 году — в серии лекций, прерванных психическим расстройством и возобновлённых в 1829 году в присутствии Фурье, де Бленвиля, Бруссе и Эскироля, «которые с почтением приняли эту новую философскую попытку» [2]. Разве это не было удачным ответом тем, кто говорил об «школах» сенсуалистской, эклектической, теологической [3], — дать первой из них новое, выразительное имя — «позитивная», а пренебрежительно оставить наименование «метафизической и теологической» тем, что напоминают детство человечества? В этом отношении, следовательно, Конт ничем не обязан Бруссе. Тем, что он ему действительно обязан — как и сам Бруссе был обязан Галлю, Кабанису или Биша, — а значит, что опять возвращает нас к идеологам, является подчинение психологии физиологии. Что касается «социальной физики», учреждение которой казалось ему необходимым для завершения философии науки, то это чисто идеологическая традиция: Институт, и особенно Дестют де Траси, вслед за Кондорсе, трудились над тем, чтобы придать общественной науке ту же степень достоверности, какую имеют математика и физика. Точно так же классификация наук отсылает нас к Институту и Политехнической школе, к Даламберу, Дестюту де Траси, Ланселену, Драпарно. Действительно, Конт, земляк Драпарно, был воспитанником Политехнической школы [4].

---

1 Так и устанавливает г-н Равайссон. — Мы, со своей стороны, показали, что идеологи были далеки от того, чтобы считать Тюрго «мечтателем», как будто бы сказали, по словам г-на Равайссона, Конт, Сен-Симон, Бюрден. О. Конт начинает, как и Кондорсе с д'Аламбером, вместе с Бэконом, Декартом и Галилеем, «Позитивную философию».

2 Первая лекция была напечатана в начале 1830 года.

3 Если перечитать эту первую лекцию после Дамирона и Бруссе, то можно увидеть, что закон трёх стадий был грозным оружием против «эклектиков».

4 См. то, что мы сказали о Политехнической школе, гл. III, § 2, и письмо Кабаниса (гл. V, § 5); о Андриё и Ампере как профессорах Политехнической школы см. § 1. Если Конт ссылался на Юма, то это потому, что он хотел, как и многие тогда, «завести себе иностранных предков». В своём Календаре он включает Декарта, Барона, Монтеня, Локка, Дидро, Кабаниса, Фонтенеля, Монтескьё, Бюффона, Лейбница, Адама Смита, Кондорсе, Биша, Бруссе, Галля, Ламарка, д'Аламбера, Галилея и др. Разве не в память об идеологах он видит в Бонапарте «одного из главных реакционеров»? Ампер, который там фигурировал в 1819 году, был исключён в 1851-м «по причине его нравственной неполноценности».

Но если Конт и продолжает идеологов [1], в этом нет сомнений, то обнаруживается, что, подобно Фурье и Сен-Симону, он отличается от них поразительным невежеством в «идеологии» и в истории, которое, по-видимому, он стремится компенсировать «безграничной уверенностью» в собственных силах. Можно подумать, что в эти времена догматической реакции сомнение абсолютно изгнано из всех школ: каждая из них утверждает свою доктрину как прямое откровение свыше и рассматривает как «неверных» всех, кто не принимает её безоговорочно. Как бы то ни было, легко понять, что Литтре, воспитанный отцом, чьи убеждения были близки к идеологам [2], и сам приученный к научной методике и исследованиям, нашёл в позитивизме философию всей своей жизни: разве не стремился он научным путём ответить на все те вопросы, которые человеческий разум может, если не поставить, то, по крайней мере, разрешить?

В то время как Сен-Симон и Фурье, Леру, Рейно и Конт заимствовали у идеологов часть их теорий, чтобы преобразовать их в соответствии с потребностями новых поколений, другие писатели, ранее бывшие их верными учениками, отходили от них, приближаясь к философским и религиозным доктринам, вновь вошедшим в моду после Реставрации. Таковы были Дроз и Тюро, Биран и Ампер, чьё изучение позволяет нам увидеть, с одной стороны, какова была с 1796 по 1810 год сила влияния Кабаниса и Дестюта де Траси, а с другой — насколько мощным оно оставалось и после этого периода, даже на тех, кто не всегда осознавал, что подвержен ему.

Дроз (1773-1850) [3], преподаватель центральной школы Безансона, опубликовал *Опыт об искусстве красноречия* и выставил свою кандидатуру в Институт; в 1803 году он обосновался в Париже, где сблизился с Пикаром, Андриё и Кабанисом, и по совету двух последних написал роман *Лина*, затем *Опыт об искусстве быть счастливым* и *Похвалу Монтеню*. В 1823 году он издал труд под названием *О нравственной философии, или о различных системах науки о жизни*, который Жуффруа охарактеризовал как «обращение к эклектизму», а Дамирон поставил его рядом с Руайе-Колларом и Кузеном. После своей книги *Царствование Людовика XVI* он опубликовал *Мысли о христианстве* и *Признания христианского философа*, где изложил, вместе с историей, мотивы обращения, напоминающего обращение Био. Этот эклектический и христианский моралист оправдывал своё сочинительство на тему применения морали к политике, ссылаясь на «мирную, медленную, но надёжную революцию, которую вершит время и которая ведёт род человеческий к лучшей судьбе». Именно он возглавлял комиссию, уполномоченную судить конкурс по *Урокам философии Ларомигьера*, после того как подписался под созданием памятника Бруссе, по-видимому, в знак

1 Слово «позитивный» очень часто встречается у Дестюта де Траси и Тюро.

2 См. в Приложении любопытное письмо, где у отца можно найти две склонности сына — позитивизм и старофранцузский.

3 См. также заметки Сент-Бёва (Lundis, III) и Миге.

признательности за энергичную апологию того человека, которого он сам когда-то прославлял с такой горячей эмоциональностью [1].

Франсуа Тюро [2] (1768-1832) никогда полностью не отдалялся от Кабаниса и Дестюта де Траси, и, кроме того, представляется нам фигурой более значительной, чем Дроз, «обладавший редким искусством быть счастливым»: Тюро один из тех скромных людей, чьими трудами активно пользуются, но которых почти не цитируют. Никто в той мере, как он [3], не способствовал столь плодотворно прогрессу философских и грамматических исследований; и, пожалуй, никто не был столь быстро забыт, когда ради отказа от идеологов — обратились к шотландцам или немцам. Будучи учеником школы мостов и дорог, подпоручиком пожарной охраны Парижа, домашним учителем в Отёе и гостем мадам Гельвеций, он посещал в Нормальной школе лекции Сикара и Гара, а затем по поручению Исполнительной комиссии по народному просвещению занялся переводом *Гермеса* Гарриса. Этот перевод, снабжённый примечаниями и *Предварительной речью*, где с истинным мастерством были изложены успехи грамматической науки и связь между философией и грамматикой, был посвящён Гара, которому Тюро воздавал величайшую похвалу «как философу и как литератору». Кабанис, Дестют де Траси, Дону высоко отзывались как о труде, так и об авторе. Сам Тюро, превознося Бэкона, Локка и Кондильяка, уже тогда упоминал **Платона** как одного из величайших умов Греции. В «тьме средневековья» он выделял имена Симплиция, Филопона, Аммония, Боэция, Алкуина; указывал на религиозные споры XVI века как на фактор прогресса для французского языка и высоко оценивал труды Порт-Рояля, Бурура, Бюффье, Данжо, Дюмарсе, Жирара, де Бросса, Тюрго и Кур де Жеблена.

В феврале 1797 года Тюро открыл в Лицее для иностранцев курс общей и сравнительной грамматики, от которого до нас дошли программа и несколько лекций [4]. В них, по словам Дону, содержится новая структура, меткие наблюдения, остроумные идеи. В первой лекции Тюро исследует

---

1 «Всегда, — говорил он, — Кабанис делал лучше тех, с кем беседовал, потому что он предполагал их столь же добрыми, как и сам; потому что он имел полнейшее убеждение, что истина распространится на земле; и потому что никакое усилие во имя дела человечества не могло показаться ему тягостным. Его слова, мягко оживлённые, текли с изящной лёгкостью. Когда, в его саду в Отёе, я с наслаждением его слушал, он оживлял для меня одного из тех философов Греции, которые, под зелёной тенью деревьев, наставляли учеников, жадных их слышать».

2 Hermès ou *Recherches philosophiques sur la grammaire universelle,* Paris, au IV, *Vie de Laurent le Magnifique,* an VIII; *Apologie de Socrate,* 1806; *les Phéniciennes d'Euripide,* 1813 ; *le Gorgias,* 1815; *Oeuvres philosophiques de* Locke, 1821-1825; la *Morale d'Aristote,* 1823; *la Politique d'Aristote* 1824; *Manuel d'Épictète, etc.,* 1826; *De l'Entendement et de la Raison,* 1830; Oeuvres *posthumes,* 1837 ; *Mélanges* de *feu* Fr. Thurot, 1880.

3 Если не считать его племянника Шарля Тюро — филолога и философа, подобно ему, человека большого изящества, которого постоянно переиздают и так редко цитируют.

4 Oeuvres posthumes и Nouveaux mélanges.

происхождение и очерчивает историю грамматики, показывает, как анализ, аналогия и этимология способствовали формированию языков, как грамматика связана с идеологией. Он совершенно справедливо утверждает, что начинать следует не с изучения латинского языка и грамматики, а с изучения родного языка, потому что по отношению к нему имеется больше данных, больше естественных и приобретённых средств. Во второй лекции он рассматривает соотношение между элементами и формами языка и нашими интеллектуальными способностями, их действиями, привычками и различными типами идей, которые они позволяют нам усвоить и которые мы нуждаемся выразить. Совершенство искусства речи, — говорит он, — в существенной степени зависит от той степени достоверности, которую приобрели метафизика (читай: идеология), а особенно логика. И далее, суммируя взгляды спиритуалистов и материалистов, он добавляет: «Мне кажется, что тот, кто в таком случае имеет благородную смелость признать, что не знает, — по крайней мере, самый благоразумный». Третья лекция посвящена учреждению знаков; четвёртая и пятая — различным классам слов. Пятая, шестая и седьмая должны были включать применение принципов к французскому языку и анализ образцов прозы и стихов; восьмая и девятая — сравнение французского языка с латинским и греческим, а затем — с некоторыми новыми европейскими языками.

По приглашению Лекультё де Кантлё, чьих сыновей он обучал, Тюро перевёл *Жизнь Лоренцо Медичи* Роско, потому что «история — это школа народов, она предлагает им полный курс экспериментальной науки о человеческом сердце», и потому что она даёт результаты, из которых можно вывести выводы, бесконечно полезные для счастья и совершенствования человеческого рода. Если бы история трактовалась людьми гения с той же строгой методологией, какая уже существует в некоторых науках факта, она могла бы дать полное учение, способное утвердить социальное счастье на его подлинном основании — то есть на позитивном знании связей, объединяющих людей между собой.

Сторонник свободы, противник «абсурдных систем теологии или утончённой и тёмной метафизики», Тюро с воодушевлением встретил труды Кабаниса и Дестюта де Траси. Два восторженных отклика были им написаны в VIII году (1799/1800) по поводу первых *Мемуаров* Кабаниса, чтобы отметить тот прогресс, который они давали человеческому разуму, проливая столь же ценное, сколь и неоспоримое просветление на позитивную науку морали [1]. Напоминая об основных ошибках Кондильяка [2], Гельвеция и Бонне, которые были исправлены Кабанисом, и высоко оценивая его глубокие познания в физиологии и ум — одновременно точный и обширный, — он утверждает, что

[1] Тюро очень чётко различает — и уже с 1799 года — три разряда знаний: позитивный, метафизический, теологический.

[2] Он, следовательно, тоже не является простым учеником Кондильяка.

наука о человеке в этих трудах была рассмотрена с совершенно новой точки зрения; что открыт был необъятный и весьма соблазнительный простор для аналитического и исследовательского духа. С присущей ему смелостью он заявляет [1], что был сделан большой шаг вперёд, поскольку наблюдения, касающиеся инстинкта, были связаны с философским анализом; что пассаж, в котором мозг сравнивается с желудком и который он цитирует целиком, представляет собой анализ столь же остроумный, сколь и строгий, способный пролить свет на механизм ассоциации впечатлений и идей [2]. Затем, проанализировав эти новые и дерзкие доктрины, «которые необычайно сужают власть сокрытых качеств и расплывчатых абстракций, оставляя при этом по-прежнему необъяснённым сам принцип действия, в котором, следовательно, позволительно помещать грёзы, питающие воображение слабых умов», — он возмущается посредственностями, которые неспособны оценить труд, «не принадлежащий к числу наименее выдающихся памятников философии этого века» [3].

В отзыве на *Идеологию* мы находим почти столь же много восхищения и энтузиазма, если не доверия [4]. Принимая все доктрины, «счастливо продвигаемые» Дестютом де Траси в этой книге, которая, содержащая всё, что известно положительного [5] и существенного о знаках, «станет вехой в истории французской философии», он утверждал вместе с автором, что последняя (идеология) чрезвычайно далека от всякого духа секты или партии и должна входить во всё, что совершается во благо, поскольку она не что иное, как просвещённое и методическое применение разума к различным предметам, которыми способен заниматься человеческий ум.

В 1802 году Тюро стал директором Школы наук и изящной словесности, основанной профессорами Политехнической школы — Лакруа, Пуассоном и другими друзьями «здравого образования». В этом заведении он в основном занимался языками, литературой и историей. Вероятно, именно в этот период

---

1 Это слово следует отметить у человека, который пользовался, даже злоупотреблял словом «может быть».

2 Тюро говорит, что рациональная философия утратила надежду заполнить разрыв между впечатлениями и идеями, и добавляет, что она права, если речь идёт о восхождении к сущности и первопричине явлений. Он, таким образом, занимает, как и Кабанис, позитивную, а не метафизическую точку зрения.

3 «Пусть они, — говорит он, — изливают насмешки и клевету на эти возвышенные размышления; философ не презирает того, чтобы замечать тщетные и бесплодные усилия, которые они предпринимают, чтобы отвлечь его от его благородных трудов:

Он в мире идёт своим путём,
Проливая потоки света
На своих тёмных хулителей.

4 «В последнее время поднялся почти всеобщий крик о преследовании философии и философов, и так как идеология — это существенная основа всякой здравой философии, она должна была разделить эту неблагосклонность».

5 См. то, что мы сказали об истоке «позитивной философии».

он написал свою *Речь о пользе древних языков* [1], особенно для молодых людей, предназначенных к свободным профессиям. Развивать следует те зачатки доброты, чувствительности, великодушия, которые природа вложила в ребёнка. Точные науки к этому не приспособлены; итальянский, английский, немецкий языки, при всех их достоинствах, не могут заменить древние языки как средство совершенствования вкуса и развития умственных способностей. Изучение выдающихся произведений гения Корнеля, Расина, Боссюэ, Вольтера, Бюффона и стольких других писателей, составляющих славу нашей нации, не может и не должно освобождать нас от изучения шедевров Гомера, Вергилия, Цицерона, Демосфена и других знаменитых греков и римлян — точно так же, как знакомство с творениями Микеланджело, Рафаэля и современных живописцев или скульпторов не может заменить для художника изучение Аполлона Бельведерского, Лаокоона и других уцелевших произведений античного искусства [2].

В то же время Тюро следил за печатью *Отношений* (Rapports) и анонсировал их во *Французском гражданине*, настаивая — с целью успокоить робкие умы, устрашаемые тем, что им представляют как пагубное и опасное в материализме, — на различии между наукой о человеке и теологией, последняя из которых имеет в своём ведении «бездонную бездну, в которой теряется и уничтожается человеческий разум». «Язык Кабаниса, — говорил он, — когда тот рассуждает как врач и философ о различных органах человека, о влиянии полов, куда более целомудренен, чем язык Шатобриана в главе, посвящённой целомудрию; этот факт может показаться странным тем, чьи религиозные или иные предрассудки внушают столь жалкие и странные представления о том, что они называют философией и философами».

В 1803 году Тюро женился на мадемуазель Татте, дочери биржевого маклера. В том же году он составил три извлечения из *Грамматики* Дестюта де Траси [3]. Начиная с 1804 года, Тюро, как и Дону, и многие другие, проявляет меньше уверенности, энтузиазма и решительности. Анонсируя второе издание

---

1 «Похоже, — говорит Дону, — что она была составлена в начале XIX века, может быть, более чем за десять лет до пагубных вторжений 1811 и 1815 годов, которые завершили ввоз во Францию германских систем философии и литературы». С мнением Дону можно будет согласиться, прочитав анализ перевода, сделанного Кораем, трактата Гиппократа, где Тюро выражает аналогичные идеи.

2 Тюро прекрасно понимал, в каком месте следует сохранить изучение древних языков. По этому вопросу, имеющему современный интерес, см. *Mémoires de la Société pour l'enseignement secondaire*, где проанализировано, изложено и обсуждено всё, что было опубликовано по этой теме.

3 «Превосходя в нескольких отношениях *Идеологию*, она (работа) углубляет, упрощает и сближает, по важному и трудному предмету, все основные идеи, которые ускоряют и обеспечивают движение человеческого духа в его бесконечном пути. Идеям своих предшественников автор придаёт достоверность, ясность, значимость и новый размах благодаря собственным идеям, составляющим наиболее оригинальную, интересную и существенную часть его книги».

Идеологии, он говорит о *Логике*, которая придаст всему зданию значительную прочность. Автор окажет философии важную услугу и заслужит признательность тех, кто заинтересован в совершенствовании науки о человеке и методов, пригодных для управления его умом. Но Тюро не знает, каков будет «окончательный приговор потомства». Ещё более колеблющимся он выглядит, анализируя перевод *Библиотеки* Аполлодора: «Не знаю, ошибаюсь ли я, но мне кажется, что философский дух... мог бы, если бы его перенести, так сказать, в область учёности, придать ей в некотором роде новое лицо» [1]

Тем не менее, публикуя и комментируя *Апологию Сократа* по Платону и Ксенофонту, Тюро по-прежнему вдохновляется теми же заботами, что и все друзья философии: Сократ, говорит он, намекая на «яростные тирады и чудовищные обвинения», стал жертвой своей любви к философии — философии, которая с тех пор была прославляема просвещёнными и добродетельными людьми всех времён и народов, но преследуема и поругаема злыми или безумными.

Став свободным после закрытия Школы наук и изящной словесности, которая «не сделала своего директора богатым», Тюро начинает сотрудничать с *Меркурием*. Отзываясь о переводе *Илиады* Сен-Эньяном, он вновь высказывается утвердительно, когда речь заходит о Кабанисе: тот, по его словам, «отличается широтой и разнообразием знаний не меньше, чем редчайшими душевными качествами, исключительно гибким талантом, самым утончённым вкусом и глубочайшим чувством прекрасного». В этот период (1809) он, подобно Дону, сближается с Наполеоном в его борьбе с Папой [2]. Затем он хвалит преподавателей старого Университета и утверждает, что «по знаку от выдающихся деятелей, которых выбор монарха поставил во главе, французские учителя, воспитанные этим Университетом, придадут нашему народному образованию всё блеск и развитие, на которое оно способно». Но в то же время он добавляет: «обращаться следует к другим нациям Европы, а не к книгам старого Университета, чтобы возродить и распространить изучение и вкус к древней литературе».

Именно к этому времени относится ссора Тюро с Гайлем, недовольным тем, что премию десятилетия за перевод отдали не ему, а Кораю (Coray): Тюро, если бы захотел, мог бы быть весьма «остроумен и язвителен» [3]. Став помощником

---

1 Вот мы и подошли к «может быть», о которых говорили выше.

2 «Публичная власть, — говорит он, — уже не расположена служить в угоду ярости лицемеров, обрушивавшихся с речами против философии; она смотрит свысока на конфликт человеческих мнений, будучи совершенно уверена, что те, которые тщетны и безумны, в конце концов рассеются и исчезнут безвозвратно, уступив место тем, что основаны на разуме и истине».

3 После того как он приводит место, где Гайль рассказывает, что, чтобы перевести одно выражение Гиппократа, он обратился к Порталю, Алле, Шоссье: «Жаль, — говорит он, — что он не подумал о г-не Пинеле, ведь только он один мог дать ему здравые советы в той ситуации, в которой он находился». Затем он приписывает Гайлю следующий пассаж: «Я

Ларомигьера, он говорит о «могучей руке, которая избавила нас от диких и грубых людей, творивших в революцию, и которая восстановила, посредством торжественных учреждений, изучение языков и истории греков и римлян — благодеяние, за которое потомство не должно быть менее благодарным, чем нынешнее поколение». Затем, после издания *Финикиянок* Еврипида, он в 1814 году анонсирует второе издание *Политической экономии* Ж.-Б. Сэя, «издание которой было запрещено полицией правительства, взявшего себе в задачу подавление всякой полезной истины». Он не прощает Наполеону того, что тот торжественно объявил, будто во всём виновата идеология — в то время как причиной бедствий была его собственная слепая и жестокая амбиция. Преподавая в Коллеж де Франс, он комментирует Платона, Ксенофонта, Марка Аврелия и ищет у Гомера философские или религиозные традиции древней Греции, а затем публикует *Горгия*. В 1818 году он открывает свой курс в факультете словесности *Речью о философии*, в которой Дону усмотрел зародыши великого труда, опубликованного двенадцать лет спустя, хотя и не развитие тех доктрин, о которых мы уже говорили и которым предстоял удивительный успех. Все наши реальные, положительные и полезные знания происходят из наблюдения, посредством которого мы определяем неизменную последовательность фактов или событий, предлагаемых нам природой или обществом: разум лишь мечется от ошибки к ошибке, когда предполагает факты, реальность которых не подтверждается никаким опытом, никаким наблюдением. Алхимия уступила место химии, стала положительной наукой, лишь тогда, когда отказалась от философского камня и Великого делания, чтобы заняться наблюдением явлений и анализом составов с целью познания их частей. То же самое относится и к другим наукам: «Всякая реальная наука, всякое положительное знание состоит только в более или менее обширных сериях тщательно наблюдаемых фактов, порядок и последовательность которых были подтверждены многочисленными и разнообразными опытами, позволяющими нам во многих случаях с уверенностью предсказать, что должно последовать из таких-то или иных данных и известных обстоятельств, сами же эти обстоятельства — не что иное, как факты, реальность которых удостоверена нами либо непосредственно, либо косвенно». Ошиблись ли мы, утверждая, что у Тюро были идеи, которые ему не приписывали, и что позитивизм лишь продолжил линию идеологической школы?

При либеральном министерстве Тюро возвращается к надеждам своей юности: он верит в торжество истины и терпимости, в прогресс всеобщего разума, в ощутимое и скорое улучшение участи человечества. Он уже тяготеет к шотландцам в вопросах внутреннего наблюдения. Излагая историю логики и

не могу драться по трём причинам: 1° Во всей греческой и латинской стране нет ни одного оружейника; 2° к тому же я не знаю, берут ли меч за острие или за рукоять; 3° мои родители воспитали меня в отвращении к дуэли, а в дуэли можно убить переводчика так же, как кого угодно». Наконец, он перечисляет все награды Гайля и указывает всё, чего ему недостаёт, чтобы быть эллинистом: «Никогда столь незначительная заслуга не вознаграждалась столь щедро».

её древние достижения, он полностью анализирует *Органон* и трактат Порфирия, даёт правила индукции и изучает источники нашего знания — сознание, восприятие, свидетельство и индукцию, — критикует трансформированное представление о чувственности у Кондильяка, а также попытку Кондорсе и Лапласа применить исчисление вероятностей к обществу, и в то же время широко вдохновляется (хотя и судит свободно) трудами Дестюта де Траси, логику которого он анализирует как «превосходящую логику всех его предшественников». Он курирует издание Локка и подаёт в отставку с должности доцента факультета; переводит — в пользу греков — *Мораль* и *Политику* Аристотеля, *Наставления* Эпиктета, *Таблицу* Кебета и *Речь Ликурга против Леократа*. В Энциклопедическом обозрении он рассматривает *Парадоксы* Кондильяка и *Философские фрагменты* Кузена, «который выступил с твёрдым намерением реформировать философские доктрины, не зная, однако, какую другую систему ему следует поставить взамен». Он напоминал, что Императорский университет имел задачей «поддерживать всё, что способствовало дискредитации философских и политических воззрений XVIII века» [1]; что многие заслуженные люди содействовали этим установкам, не желая того, и что Кузен лишь последовал этим различным импульсам, когда атаковал Локка и Кондильяка. Читая Кузена, Тюро отмечал выражения вроде «печальная философия», «философия чувства», «сенсуализм», употреблённые этим писателем, «слишком риторичными и недостаточно философскими» [2], что он представлял старые вещи как новые, а довольно банальные мнения как ценные открытия. В его трудах, добавлял Тюро, нет ни одного существенного наблюдения, принадлежащего ему самому; напротив, он, кажется, с презрением обошёл те наблюдения, которые были сделаны до него; он считает, что с помощью мистических и образных выражений решает вопросы, которые тем самым лишь затемняет, и принимает слова за вещи. Эта статья не понравилась и не могла понравиться Кузену [3]: Тюро оказался замалчиваем в *Опыте*, где, однако, Дамирон отвёл место Ланселину, Азэ, Берару, Кератри. Тем не менее, Тюро не складывает оружия, так же как и Дону или Бруссе. В 1828 году он с одобрением упоминает труд Туссена (Toussaint), «принадлежащего к французской школе, которую в последнее время столь старательно стремились опорочить», и приветствует намерение автора вернуть идеологии её истинную природу — быть, как и все другие естественные науки, наукой о фактах.

В феврале 1830 года выходит труд, который, по словам Дону, обеспечивает Тюро выдающееся место среди писателей своего времени — *Введение в философию* [4]. В этом сочинении виден человек, которого изучение древних и

---

1 Руайе-Коллар.

2 См. что говорит Тэн, гл. VIII, § 5.

3 Шарль Тюро напоминает, что Кузен в 1833 году говорил с пренебрежением о полемике, вызванной этим предисловием, но сам много из неё почерпнул, не признавая этого.

4 Первая часть посвящена рассудку, вторая — разуму.

Три раздела первой части посвящены: один — познанию наиболее общих фактов — ощущение, восприятие, интуиция, впечатление, чувство, сознание, осязание, вкус, обоняние, слух,

новых философов сделало менее категоричным и который в определённой степени испытал влияние философской и религиозной реакции; но вместе с тем — это всё ещё прежний ученик Кабаниса и Дестюта де Траси, противник эклектизма. Аристотель и Платон, Цицерон и Сократ, Боссюэ и Паскаль, Тюрго и Кондорсе, Кондильяк, Декарт и святой Августин, Лейбниц и Рид, Юм и Локк, Гоббс и Беркли, Ларомигьер и Флёри, Мальбранш и Дугалд Стюарт, Бюффье и Бэкон, Д'Аламбер и Лакруа, Эйлер и Хартли, Пинель и Ансиллон, Руссо и Хатчесон, Фенелон и Вольтер, Смит и Арно — все эти мыслители были хорошо знакомы Тюро и почти каждый из них давал ему «некоторые ценные указания». Так, в первой части, которая, по его словам, представляет собой краткое изложение учения о восприятиях, он следует Риду и принимает различие между восприятием и ощущением, а также идею приобретённых восприятий. Далее он утверждает, что физическое и нравственное всегда останутся разделёнными между собой «несоизмеримым расстоянием», отделяющим факт сознания от модификации материи. Но он не идёт дальше признания существования двух различных порядков явлений и не представляет себе, «что означало бы для души существовать отдельно и независимо от тела» — даже отдельно от способностей или функций, по которым она распознаётся. Тем не менее, он верит в бессмертие, потому что чувство, побуждающее нас надеяться на награду или бояться кары в будущем, в зависимости от того, повиновались ли мы нравственному закону или нет, — неуничтожимо [1]. Вместе с Бенжаменом Констаном он рассматривает влияние религиозного чувства на добродетель и счастье; а с Мальбраншем принимает идею первой причины, всесильной и всеразумной.

По многим пунктам Тюро думает иначе, чем в 1800 году; однако он не покинул школу. Он по-прежнему отсылает к Кабанису и Дестюту де Траси, когда речь заходит о привычке: именно *Отношения* — несомненно, одно из самых достойных произведений философии XVIII века, написанное с большим талантом искренним другом человечества и добродетели — он цитирует, чтобы доказать необходимость соединения физиологии с идеологией. Вслед за Дестютом де Траси, которого он ставит в логике выше перипатетиков и Кондильяка, он предпочитает название **идеология** терминам психология или метафизика; он выделяет особое место чувству движения, критикует Монтескьё и усматривает в потребностях источник прав человека, а в средствах источник его обязанностей. Он оправдывает то, что занялся политикой, ссылаясь на *Комментарий к Монтескьё* и на том, в котором Дестют де Траси изложил «с не меньшим интересом, чем методичностью» принципы социального порядка и политической экономии. Он опирается на Дону — «одного из самых учёных

зрение, приобретённые восприятия, чувство, инстинкт и привычка, организация; другой — науке, абстракции и языку, понятиям и представлениям, предложению, общей и метафизической грамматике; третий — воле, чувству и страсти, симпатии, моральному восприятию, религиозному чувству, влиянию законодательства на добродетель и счастье. Вторая часть рассматривает разум, истину и её признаки, метод и рассуждение.

[1] См. *La Croyance à l'Immortalité* г-на Ренувье (Critique philosophique, passim)

людей, самых выдающихся умов и лучших писателей нашего времени», — чтобы осудить нетерпимость и изложить гарантии индивидуальной свободы. Он ссылается на своих близких — Дюнуайе и Шарля Конта, Бентама и Дюмона из Женевы, а также на самого Бруссе, хотя и упрекает последнего за попытку свести идеологию к физиологии. Все они упоминаются и хвалятся как учёные, изобретательные и проницательные мыслители.

Тюро, напротив, жалуется на то, что был изобретён термин, внушающий женщинам и светским людям мысль о том, будто сенсуалисты сочиняли непристойные книги или, по крайней мере, трактаты по гастрономии. Ему не нравятся те, кто говорит с восхищением о себе и своих доктринах, а о противоположных мнениях — с презрением и высокомерием, используя такие выражения, которые заставляют видеть в этих взглядах нечто безнравственное и опасное. Он не увлекался теми возвышенными метафизическими спекуляциями об абсолютном, бесконечном, которые так занимали немцев, потому что нашёл в них многое, превосходящее его понимание, а также многое уже давно сказанное. Он выступает против тех, кто изобретает новые или необычные выражения для уже известных вещей: априорные формы, чистая чувствительность, категории чистого рассудка, чистый разум — и тем самым приводит других к тому, чтобы говорить, что «я полагает само себя», обращаться к понятию интеллектуальной интуиции, возрождать схоластические и варварские термины — вместо того чтобы пользоваться философским языком Декарта, Паскаля, Боссюэ и Мальбранша. И он задаётся вопросом, отнесут ли его к «сенсуалистам» или к «эклектикам», замечая при этом, что всякий человек, занимающийся ремеслом, искусством или профессией, неизбежно становится эклектиком — то есть выбирает те средства, которые кажутся ему наиболее полезными или наименее неудобными.

Июльская революция 1830 года представлялась Тюро как реванш и продолжение 1789 года, но вскоре он, как и Дестют де Траси, и Дону, с сожалением констатировал, что «торжество справедливости и свободы было вновь отложено на неопределённый срок и что единственное изменение состояло в замене старшей ветви Бурбонов младшей». Он умер в 1832 году от холеры, оставив, как пишет Шарль Тюро, репутацию ума «в высшей степени рассудительного, умеренного, справедливого, убеждённого в том, что истину следует искать ради неё самой и ради улучшения человеческого состояния». Добавим, что он не был мыслителем без оригинальности и обладал довольно редкой заслугой — тесно соединить филологию с идеологией, к огромной пользе и для той, и для другой.

Отец Тюро, восхищавшийся Локком, подготовил своего сына к тому, чтобы тот стал учеником Кабаниса и Дестюта де Траси. Ампер не находился в тех же условиях. Его мать была глубоко религиозна, и его первое причастие стало «одним из важнейших событий его жизни». Его отец, мировой судья в Лионе до 1793 года, был гильотинирован и завещал своим детям: «всегда иметь перед

глазами страх Божий, который внушает нашим сердцам невинность и справедливость». Ампер испытал и другие влияния. Чтение *Похвалы Декарту*, написанной Тома (Antoine Léonard Thomas), пробудило в нём вкус к физическим и философским наукам; взятие Бастилии произвело на него глубокое впечатление; *Энциклопедия*, «в которой он даже изучал геральдику», познакомила его с философией XVIII века.

Христианин и либерал, философ и учёный — таков был Ампер всю свою жизнь; однако на первый план он выдвигал то одну, то другую из этих сторон своей личности. После смерти отца он вышел из «состояния почти идиотии», в которое впал, благодаря ботанике, вкус к которой ему привили письма Жан-Жака, а также латинской, итальянской и греческой поэзии. Со своими друзьями он читает *Трактат о химии* Лавуазье, к которому испытывает восхищение, ещё более усиливающее в нём вкус к анализу — методу, рекомендованному Лавуазье вслед за Кондильяком. Влюблённый в мадемуазель Каррон, происходившую из католической и роялистской семьи, он женится на ней сначала по церковному обряду — 15 августа 1799 года, а спустя несколько недель — и по гражданскому праву. Баланш, в прелестном прозаическом эпиталамии, которым он воспевает этот брак, сам предстает перед нами как человек, испытанный влиянием XVIII века. Бог в этом тексте упоминается часто, но автор не забывает уточнить, что «зрелище счастливой жизни, прожитой в исполнении долга, это наилучшее произведение, какое человек может предложить божеству».

В декабре 1801 года Ампер становится профессором физики и химии в центральной школе города Бур. Его жена, ставшая матерью и тяжело больная, остаётся в Лионе. Именно тогда он произносит ту речь, которую опубликовал А. Бертран [1], усматривающий в ней набросок *Опыта о философии наук.* Ампер говорит о прогрессе человеческого духа в нашу новую эпоху; он различает свойства материального существа и модификации разумной субстанции, которые дают начало двум классам наук, внутри которых наблюдаются одни и те же градации и одни и те же деления [2]. Затем он работает над *Опытом о математической теории игры*, который вызывает интерес Баланша и Дежерандо. Тем временем здоровье его жены всё ухудшается, и она сталкивается с финансовыми трудностями. Ампер возвращается к религиозным идеям [3]. Он узнаёт, что в лицеях будет учреждён курс трансцендентной

1 *Annuaire de* la *Faculté des lettres de Lyon,* третий год.

2 Это — космологические и ноологические науки из «Эссе».

3 «Состояние моего духа, — пишет он жене, — странно: я как человек, который тонет в собственном плевке и тщетно ищет ветку, за которую мог бы ухватиться. Идеи Бога, вечности преобладали среди тех, что носились в моём воображении; и после множества мыслей и странных размышлений, подробности которых были бы слишком длинны, я решил попросить у тебя псалтырь Франсуа де Ларпа, который должен быть дома, в бумажной обложке, кажется, зелёной, и часослов — на твой выбор». И несколько дней спустя он пишет ей, «что завтра пойдёт молиться за неё и за своего сына»; затем снова, «что слышит звон к мессе, куда хочет пойти просить об исцелении своей Жюли». В ответ Жюли

математики, и готовится к конкурсу. Дежерандо пишет в его поддержку «дружеское письмо» экзаменаторам — Деламбру и Вийяру. Те сообщают ему, что его место в Лионе. Назначенный в лицей, он возвращается к умирающей жене: 15 мая 1803 года он впервые с момента смерти своей сестры идёт в церковь Полемьё, 19 мая присутствует на торжественной мессе, 22-го запрашивает адрес священника, 28-го беседует с ним в исповедальне, 6 июня получает отпущение грехов и 7-го пишет, что «этот день определил всю остальную его жизнь». Но 14 июня он записывает «духовное причастие», 4 июля присутствует на «мессе Святого Духа», а 13-го записывает строки, которые Сент-Бёв сравнит с пергаментом Паскаля [1].

14-го числа он потерял свою жену.

Со своими лионскими друзьями он создаёт католическое общество для научного изучения оснований христианской религии, доказательств её божественного происхождения и откровения. Баланш и он проявляют в этом деле большую активность. Ампер обращает в веру Бредена. Барре, ставший впоследствии иезуитом, пишет ему в 1805 году, что «после Бога» именно он оказал сильнейшее воздействие на дух его брата и побуждает его попытаться сделать то же с их младшим братом. Но скорбь терзает его: он хотел бы найти облегчение своей боли, сменив обстановку и место. Тем временем он занимается «почти исключительно исследованиями разнообразных и увлекательных явлений, которые человеческий разум предлагает наблюдателю, освободившемуся от влияния привычек». Он работает для Института над *Мемуаром о разложении мышления*, фрагменты которого опубликовал Б. Сент-Илер. Дестют де Траси уже издал свою *Идеологию* и *Грамматику*; Кабанис — *Отношения*; Биру — *О влиянии привычки*; Дежерандо — *О знаках* и *Сравнительную историю систем*, в которой он возражал против теории Дестюта де Траси. Будучи тогда глубоко религиозным, Ампер, несомненно,

просит вернуть ей её часослов, который он взял, чтобы пойти исповедоваться и причаститься на Пасху. «Дело в том, — говорит он, — что я им пользуюсь постоянно».

[1] *«Mulla flagella peccatoris ; sperantem autem in Domino misericordia circumdabit».*

«Firmabo super le oculos meos et instruam te in via hac qua gradieris. Amen».

«оже мой! благодарю Тебя за то, что Ты создал меня, искупил и просветил Своим божественным светом, дав мне родиться в лоне Католической церкви. Благодарю Тебя за то, что Ты призвал меня к Себе после моих заблуждений; благодарю Тебя за то, что Ты простил их мне. Чувствую, что Ты хочешь, чтобы я жил лишь для Тебя, чтобы все мои минуты были посвящены Тебе. Лишишь ли Ты меня всякого счастья на этой земле? Ты — Владыка, о Боже мой! мои преступления заслужили это наказание. Но, быть может, Ты ещё услышишь голос Своих милостей.

« Mulla flagella percatoris, sperantem autem in Domino misericordia circumdabit. Надеюсь на Тебя, о Боже мой! Но я буду покорен Твоему приговору, каким бы он ни был; я бы предпочёл смерть. Но я не заслужил неба, и Ты не пожелал ввергнуть меня в ад. Соблаговоли помочь мне, чтобы жизнь, проведённая в страдании, заслужила для меня добрую смерть, которой я сделал себя недостойным.

« О Господи! Соблаговоли соединить меня на небесах с тем, что Ты позволил мне любить на земле».

испытывал определённую неприязнь к *Отношениям*, а также недоверие к Дестюту де Траси. Его предпочтения склонялись к Биру, который старался «не наносить ущерба ничему уважаемому и по-настоящему достойному уважения», и к Дежерандо, которого он знал и любил [1]. Таким образом, он принимает точку зрения Лакруа, с которой соглашались Биран и Дежерандо, а именно: что Локк, Бонне, Кондильяк пришли к открытиям, сделавшим их бессмертными, посредством синтеза, несмотря на то, что в изучении способностей они применяли анализ — тот самый, который произвёл революцию в химии. Для каждой из способностей, рассматриваемых как элементарные, он хочет: 1° дать ясное представление; 2° выяснить, какое представление она нам предоставляет и какие физиологические явления можно предположить как «содействующие» её возникновению; 3° как соединяются представления, составляющие сложное представление, и что нам известно о физиологических причинах и законах, управляющих этими ассоциациями; 4° какое чувство реальности сопровождает это представление; 5° какие аффективные чувства оно возбуждает; 6° в какой степени осуществление способности зависит от внутренней активности; 7° требует ли оно развёртывания внешней активности.

Вслед за Бираном он различает способность воспринимать и способность испытывать аффективные состояния, хотя и утверждает, что существует крайне мало ощущений, в которых действовала бы только одна из этих двух способностей. Однако он не признаёт никакого другого Я, кроме совокупности всех наших восприятий всех видов, и определяет, вместе с Дежерандо, мышление как составленное из восприятий или идей. Как Локк и Дежерандо, он называет рефлексивными восприятиями те, которые дают способность замечать наши собственные действия; вместе с последним он принимает существование суждений без сравнения, посредством которых мы соединяем чувствительные или рефлексивные восприятия. Если он признаёт четыре способности — воспринимать, чувствовать, связывать и хотеть, — то вторую он понимает так же, как Биран. Он не желает, как некоторые авторы [2], считать внимание особой способностью и замечает, вслед за Дестютом де Траси, что абсурдно поступать так, определяя внимание в духе Кондильяка. Отмечая, что именно Дестют де Траси первым указал на злоупотребление словом сопротивление, допущенное Кондильяком и его учениками, он разбирает седьмую главу *Идеологии* и считает, что автор поднялся недостаточно высоко, чтобы объяснить формирование наших первых суждений; но если целью было — из исходного суждения заключить существование объектов вне нас, то он приблизился к цели ближе, чем кто-либо из своих предшественников. Вслед за Дестютом де Траси он использует термин идеология и критикует кондильяковскую теорию тождественности; однако, развивая теорию

[1] Нет ничего более неверного, если хочешь познать философию Ампера, чем смешивать без разбора, не принимая во внимание хронологию, как это сделали его сын и многие другие, отрывки, написанные «когда он был горячим христианином» и когда он был либо неверующим, либо безразличным.

[2] Ср. Ларомигьер, гл. VIII, § 3.

идеологического принципа абстрактных истин, он вдохновляется именно Дежерандо, — «и эта теория была бы полной, если бы Дежерандо ограничился рассмотрением отношений зависимости, возникающих из того, что группы, между которыми эти отношения существуют, образованы из тех же самых идей, но комбинируемых по-разному, хотя и эквивалентно». Таким образом, именно Дежерандо [1] он в значительной степени обязан той «способности усматривать связи», которой он придаёт столь важное значение.

Ампер также ссылается на Канта и вводит физиологические соображения при рассмотрении любого вопроса; но он утверждает, что идея бесконечного «вовсе не противоречива»; что мыслящее существо может занимать место внутри бесконечной мысли; что необходима душа, чтобы сравнить два удовольствия — «от бокала вина и от теоремы геометрии».

В вандемьере XIII года (осенью 1804 года) Ампер, назначенный репетитором по анализу в Политехнической школе, переселяется в Париж, всё ещё скорбя по Жюли. Он устанавливает тесные отношения с Бираном, иногда обедает в Отёе вместе с Траси и Кабанисом, которых часто видит и которые проявляют к нему даже больше дружбы, чем математики. Единственное удовольствие, которое он испытывает, — это спорить о метафизике. Некоторые его идеи крайне отличаются от взглядов месье де Траси; тот, однако, по-видимому, ценит его исследования и придаёт больше значения его метафизике, чем сам Ампер ожидал. «Насколько же восхитительна наука психологии!» — восклицает он.

Друзья из Лиона присылают Амперу молитвы, которые он старается распространить в Париже — среди тех, кто ещё не забыл о своём Боге. Баланш, размышляющий о том, чтобы принять духовный сан, испытывает тревогу [2]. Сам Ампер предупреждает нас, что его религиозный пыл угас [3]. Из Лиона, где он проводит каникулы, он пишет Бирану, что обсуждал вопрос о

---

1 Который сам следовал Дестюту де Траси и Кабанису. Ср. цит. III–VI.

2 «Эта идеология не повредит ли вашим религиозным чувствам? Будьте очень осторожны, мой дорогой и весьма дорогой друг, вы на склоне пропасти; стоит лишь вашей голове закружиться, и я не знаю, что тогда случится».

3 «Скройте от моей матери, — пишет он в 1804 году Бредену, — сомнения, которыми я мучим. Вы знаете лучше, чем кто-либо, до какой степени я верил в откровение римско-католической религии. По приезде в Париж я впал в невыносимое состояние духа. О! как я сожалею о времени, когда жил этими, быть может, призрачными, мыслями». Он пытается защититься от сомнения: «Остерегайся своего ума, — пишет он в ту же эпоху, — он так часто обманывал тебя. Как ты ещё можешь полагаться на него? Когда ты стремился стать философом, ты уже чувствовал, сколь ничтожен этот ум, заключающийся в известной лёгкости производить блестящие мысли. Сегодня, когда ты стремишься стать христианином, не чувствуешь ли ты, что нет иного доброго ума, кроме того, что приходит от Бога... Учение мира — учение погибели. Образ мира сего проходит... Трудись в духе молитвы... Да пребудет душа моя отныне соединённой с Богом и Иисусом Христом. Благослови меня, Боже мой». (Correspondance et souvenirs, I, 12, 14, 16, 17, 22; Journal, p. 351.)

происхождении чувства «Я». Он верит в ноуменальное я, существование которого доказывается тем же способом, что и существование других субстанций, и он стремится устранить всякое сомнение относительно «этого существования, лежащего в основании надежды на загробную жизнь». Ампер и Биран расходятся только по одному пункту: последний отождествляет чувство усилия и мышечное ощущение [1].

Друзья считают, что Ампер изменился. «В прошлом году, — пишет Бреден, — это был христианин, а теперь это уже просто человек гения, великий человек… у него гордость исследовать таинственные глубины человеческого разума… он видит в цивилизации только развитие сил и способностей, средство для продвижения наук, гражданской свободы, независимости наций» [2]. Можно ли яснее указать на влияние Кабаниса и Дестюта де Траси?

Вернувшись в Париж, Ампер возобновляет свои беседы с Бираном; но тот вскоре возвращается в Бержерак. Печаль и сомнение снова овладевают Ампером. «Вы, кто так ясно понимаете, что нет противоречия между благостью Творца и осуждением проклятых, — пишет он Бредену, — постарайтесь меня в этом убедить». Он не сомневается в бессмертии души, «достоверность которого может быть доказана лишь через откровение», но ад живёт в его собственной душе. Баланш хочет, чтобы он вернулся в Лион, чтобы преподавать философию или происхождение всех гуманитарных наук в «Салоне искусств Камиля Жордана» и создать себе новый очаг. Но Ампер отказывается возвращаться в те места, где прошли его детство и годы счастья. С Бираном он всё больше занимается метафизикой. Труд последнего это целиком духовная метафизика, как у Канта, может быть даже ещё дальше отстоящая от всего, что связано с материализмом. Что касается собственной концепции интеллектуальных феноменов, то она, как он сам говорит, проще и ближе к фактам. Вопреки своим друзьям из Лиона, он защищает метафизику — ту, что порой возвращала ему душевный покой и отдых, и которая всегда будет для него предметом слишком достойным, чтобы её оставить. Религиозное чувство почти угасло в нём и уступило место неуверенности: он колеблется между самыми противоположными мыслями. Он продолжает общение с Дестютом де Траси и с Бираном, которому сообщает о своём курсе в Афинее [3], наполовину математическом, наполовину метафизическом. Заимствуя у Дестюта де Траси и особенно у Дежерандо, он выстраивает психологию как науку о детерминациях, действиях, идеях, координациях. Он связывает с ней мораль, экономику, идеологию, логику и распределяет явления на пять систем: актуальную (интуитивную), меморативную, волевую, доверительную и интеллектуальную. Одновременно он излагает классификацию всех наук, приняв в основу отношения между идеями, из которых состоит каждая наука. Дежерандо просит

---

1 Ср. Бертран, гл. III.

2 *La Philosophie des deux* Ampère, p. 194 ; Correspondance et souvenirs, *pp. 23 et 24.*

3 *Correspondance, 27, 34, 38; la Philosophie des deux Ampère, p. 220.*

у него небольшой текст для своего *Обзора прогресса философии с 1789 года* и сводит его с новой женой. Но это брак несчастный: жена недостойна его, она «считает его сумасшедшим, безумным, одержимым нелепыми принципами, потому что у него в голове и в душе живут идеи и чувства, которые, по его мнению, составляют нравственную красоту и добродетель, потому что он не думает исключительно о деньгах». Ампер вновь обращается к Богу и молится ему с жаром, но вспоминает противоречия и невозможности, которые, как он считал, существуют в христианстве. Он сожалеет о времени, когда верил твёрдо и хотел укрыться в монастыре. Он посылает Бирану изложение своих главных психологических идей и возвращается к науке, которую он любит, той самой, что уже однажды принесла ему душевный покой. Он навещает Дестюта де Траси после пяти месяцев полного уединения. Но теперь он уже не видит причин, по которым когда-то верил, что католическая религия вдохновлена Богом, тех причин, которых прежде было достаточно, чтобы обратить Бредена! А тот, увидев его в сентябре 1808 года ещё целиком охваченным глубокой скорбью, от которой, как ему казалось, Ампер никогда не сможет избавиться, говорит нам: «Стоит только слову „метафизика“ сорваться с его губ — и перед нами уже совсем другой человек. Он с невероятным, неиссякаемым увлечением начинает развёрнуто излагать свои системы идеологии. Его ребёнок спрашивает название какого-то растения, и он тут же объясняет ему системы Турнефора и Линнея и так далее, астрономия, религия, всё».

Разлучённый со своей женой и живя с сестрой, сыном и дочерью, рождённой во втором браке, он теряет свою мать (1809), и это последнее горе вновь открывает множество старых ран.

Инспектор общего надзора Университета, профессор Политехнической школы, Ампер, по-видимому, почти полностью возвращается к христианству. Его полностью захватывают химия и метафизика. Он просит Бирана допустить существование связей между ноуменами, «чтобы не сделать психологию врагом здравого смысла шотландцев, наук и утешительных идей, которые поддерживают добродетель и мораль». Затем он сводит к четырём число систем, в которые укладываются явления, и утверждает, что, «за исключением врождённых идей, Декарт — один из тех метафизиков, чьи теории ближе всего к его собственным». Бирану он рекомендует Локка и Канта, «искажённых Дестютом де Траси и Дежерандо», и одновременно напоминает ему, «что ощущение движения у Д. де Траси, как он сам признал, это явная логическая ошибка (паралогизм)» [1]. Однако Ампер остаётся в тесных отношениях с Д. де Траси именно в тот момент, когда создаётся Философское общество. Это общество, впрочем, изначально вовсе не носит анти-идеологического характера, поскольку в его числе состоят Дежерандо, братья Кювье, Биран, Форьель, наряду с Руайе-Колларом и Гизо, до прихода Кузена и Луаисона. Тем не менее Ампер «предчувствует великую религиозную эпоху» и сокрушается о

[1] *Correspond., pp. 43, 45,* 53, *55, 60, 74, 76; Philosophie etc., pp. 247, 280, 297.*

том, что ему не суждено будет увидеть, какой она станет. Бредену, который советует ему читать Ансилона, он отвечает: «Будет ли он принадлежать к великому движению умов и сердец к небу?» Он размышляет над Евангелием, читает Якоба Бёме, пророков, Отцов Церкви, и пытается обратить Бредена, который «снова пребывает в нерешительности» и «не хочет считать церковью ту, что стремится к господству и властвует лишь через учёность, пышность и гордость». Он причащается на Пасху и советует Бредену поступить так же, «говоря при этом о неизбежном результате неуклонно ускоряющегося движения человеческого духа». Он видится с Бираном и Кузеном: Биран заложил основы теории, доказывающей объективную реальность, делая её одновременно независимой как от чувственности, так и от скептической гипотезы кантовских и шотландских «форм» или субъективных законов. Ампер развил эту теорию. Кузен преподаёт ту часть, которую нашёл Биран, дополняя её Ридом и Кантом. Биран не знает, чей «комплемент» ему принять — Ампера или Кузена; он подумывает опубликовать статью в Archives, «чтобы предупредить предположения о материализме, которые могли бы быть сделаны на основании его *Мемуара об привычке*», и в итоге не публикует ничего из своей теории. Ампер продолжает в первую очередь думать о психологии и публикует схему, в которой резюмирует свои теории. Кузен использует его идеи, не называя имени. Затем в 1818 году Ампер читает курс в Нормальной школе, из которого он намеревается сделать *Элементы логики*, куда войдут все основы его психологии и за которым должен последовать ещё один труд — *О первых проявлениях человеческого духа*. Но в то же время он предаётся своим выдающимся исследованиям по электромагнетизму, считает, наблюдает [1] и засчитывает доклады в Институте (в 1820 году). Тем не менее он продолжает трудиться над полным решением великой проблемы объективности, которую он разъясняет и дополняет вот уже восемнадцать лет. Став в 1824 году профессором экспериментальной физики в Коллеж де Франс, он всё ещё занимается своей классификацией наук, которую он снова изменяет в 1830, 1832 и 1833 годах, и умирает в 1836 году.

Его сын опубликовал в 1838 и 1843 годах *«Опыты по философии наук»* (Essai sur la philosophie des sciences). Первая часть содержит в предисловии резюме его психологической системы по состоянию на 1833 год. Различая сенситивные и активные феномены, а также примитивные концепции, он называет их объективными, ономатическими и объяснительными. Ампер усматривает очевидную аналогию между двумя родами феноменов — сенситивными и активными; и двумя великими объектами всех наших знаний — миром и мыслью, которые, в свою очередь, дают начало двум группам наук: космологическим и ноологическим. Не менее поразительной ему кажется аналогия между четырьмя типами концепций и четырьмя точками зрения, с которых каждое царство природы (в научной классификации) делится на четыре ветви: Первая включает всё, что мы познаём непосредственно; вторая

[1] *Lummpe, Notice sur Ampère.*

— то, что скрыто за этими явлениями; третья — то, где сравниваются свойства тел или интеллектуальные факты с целью установления общих законов; четвёртая — то, что основано на взаимозависимости причин и следствий [1].

Бросается в глаза, насколько искусственной является классификация, составленная подобным образом. Однако не забудем, что Литтре заявил, будто эта таблица «удовлетворяет уму так же, как и глазу». Безусловно, он был прав, и это можно повторить ещё раз: с интересом и пользой прослеживаешь развёртывание ряда наук — и, особенно, добавим мы, — находишь наиболее плодотворные идеи именно там, где классификация удовлетворяет наименьшим образом. С сожалением, вместе с Сент-Бёвом, отмечаем, что Ампер позволил себе «быть унесённым течением идеи», что не собрал вместе ни психологические случаи, ни подлинные открытия в деталях, которыми он усеивал свои лекции; что он не оставил после себя описания и перечисления различных групп фактов, где человеческий интеллект представал бы гораздо более богатым и разнообразным, чем в системе разделения по факультетам. Сожалеют также, что он не выполнил тот замысел, который в несколько ином виде ставил перед собой и Дестют де Траси: дать понимание фундаментальных истин, на которых покоится каждая наука, и методы, которые необходимо применять для её изучения или для её развития, а также указать, каких успехов можно ожидать в зависимости от уровня её развития, отметить новейшие открытия, обозначить цели и основные результаты труда выдающихся учёных, которые этой наукой занимаются — с тем, чтобы удовлетворить того, кто, интересуясь науками, не ставит себе безумной задачи изучить их досконально, но хотел бы иметь о каждой из них достаточное представление. Прочитав более чем одну страницу этого труда можно было бы узнать читателя *Энциклопедии* и друга Дестюта де Траси [2].

Биран [3] способствовал тому, что Ампер полюбил психологические исследования, и был с ним в тесной связи, возможно, по причине

---

1 Ампер не цитирует Бирана, так же как и тот не упомянут в произведениях, изданных после смерти Бирана. Ампер пытался разграничить вклад каждого в письме (Philosophie des deux Ampère, с. 328), где он оставляет Бира́ну всё, что касается познания феноменов, взаимосвязей и отношений между феноменами, ноуменов, а также отношений между феноменами и ноуменами, и не присваивает себе ничего, кроме «отношений между ноуменами». Но к какой эпохе относится эта заметка? Именно ввиду чрезмерной подвижности мысли и у одного, и у другого нам представляется совершенно невозможным, да и мало полезным, точно определить долю каждого в этом сотрудничестве, продолжавшемся более десяти лет. См. также, что об этом сказали Ж. Ж. Ампер, гг. Б. Сен-Илер и А. Бертран.

2 *Essai sur la philosophie des sciences*, 1-я часть, Париж, 1838; 2-я часть, Париж, 1843, с предисловиями Сент-Бёва и Литтре; *Philosophie des deux Ampère*, опубликованная Б. Сен-Илером, Париж, 1866; *Journal et Correspondance de André-Marie Ampère*, собранные госпожой Н. С., 1873; *A.-M. Ampère et J.-J. Ampère, Correspondance et souvenirs*, собранные госпожой Н. С., 2 тома, Париж, 1875.

3 Мы скажем о Биране, по поводу которого мы публикуем специальное исследование во введении к найденному нами в Институте *Mémoire*, лишь то, что будет необходимо с точки

определённого сходства в их положении [1]. Сын врача, ученик доктринёров, быть может, даже Лаканаля [2], он познакомился с философией Кондильяка, которую изучал во время Террора, одновременно с Бонне и многими другими вещами. В IX году Республики его *Мемуар о привычке* был отмечен Институтом: в нём он выступает как восторженный ученик Дестюта де Траси и Кабаниса. Он остаётся им и в X году, хотя уже с большей независимостью, но в XI году сближается с Кондильяком и Бонне. Он поддерживает тесные отношения с Кабанисом до самой его смерти; с Дестютом де Траси — до того момента, вероятно, когда, по выражению Ампера [3] «он даёт себя улестить, опасается не угодить определённой партии» и, чтобы предупредить подозрения в материализме, которые могли бы быть выведены из его *Мемуара о привычке*, критикует *Уроки философии* Ларомигьера, не желая, однако, чтобы все знали, что нападение исходит от него. Но, переходя от Кондильяка к стоицизму, от стоицизма к мистицизму, заходя, таким образом, по тому же пути куда дальше, чем Кабанис, Бенжамен Констан, Тюро и сам Ампер, его сочинения сохранили навсегда, как он и предвидел, «отпечаток глубокого переворота, который сочинения Дестюта де Траси и Кабаниса произвели в его уме» [4], и тем самым передали определённые доктрины идеологов тем, кто не заимствовал их у них напрямую.

V

Идеология, письма, история: Вильмен, Лерминье, Сенанкур, Борда-Демулен, Фабр и др. ; Форьель, ученик Кабаниса; О. Тьерри и его отношения с Дону, де Траси, Форьелем; Виктор Жакмон; Анри Бейль — ученик Д. де Траси; Сент-Бёв — поклонник Дону, де Траси, Ламарка и др.; идеология в Англии, Дугалд-Стюарт; Томас Браун; Джон Стюарт Милль.

Другие писатели, менее специально занятые философией или менее тесно связанные с Дестютом де Траси и Кабанисом, распространяли, полностью или частично, их доктрины и методы во всех направлениях умственного мира. Вильмэн (Villemain), который иногда присутствовал на собраниях в Отёе, восхвалял в своём *Обзоре литературы XVIII века* — труде, который и поныне полезно читать, — Кондильяка, Вольтера и Дестюта де Траси, искусного диалектика, комментировавшего *Дух законов*; он также содействовал тому,

---

зрения, в которой мы находимся здесь. О Биране см. библиографию, помещённую в конце нашей статьи «Biran» в *Grande Encyclopédie*, прибавив к ней книгу г-на А. Бертрана *La Psychologie de l'effort* и нашу *Philosophie de Biran de l'an IX à l'an XI*.

1 Оба потеряли в один и тот же год обожаемую жену. Ампер — первым, и был ещё более несчастен, вступив в новый брак; нечто подобное почти то же самое случилось с Бираном в 1814 году.

2 Ср. гл. II, § 2.

3 Correspondance et Souvenirs, сс. 120 и 124.

4 Неопубликованные письма, переданные г-ном Навиллем.

чтобы Дону принял звание пэра. Лерминье (Lerminier), автор *Философии права*, в своих *Философских письмах* выступал против Руайе-Коллара, «вся философская карьера которого сводится к импорту одной лишь теории Рида», а также против Кузена, который, строго говоря, не является философом, но был поочерёдно шотландцем и кантианцем, александрийцем, гегельянцем и эклектиком. Зато, говоря о влиянии философии XVIII века на законодательство и социум XIX века, он хвалит Кондильяка, Дюпюи, Кондорсе, Кабаниса, Биша, Дестюта де Траси, Бенжамена Констана, Вольнея и Гара, Ларомигьера, Бруссе и Мажанди. Именно от французской медицины он ожидает появления философии природы и человека, способной обогатить Францию. Но его восхищение направлено прежде всего на Дону и Дестюта де Траси [1].

Сенанкур, автор *Обермана*, был сравнен Сент-Бёвом [2], с Шатобрианом, с Бернарденом де Сен-Пьером и сближен с Ламарком; его можно было бы сблизить и с Шопенгауэром. Борда-Демулен, земляк Бирана, поклонник Грегуара и противник эклектизма, друг Жюля Рейно и Пьера Леру, «вновь подхватил несколько идей, намеченных Дестютом де Траси, и последовал за ним вплоть до той войны, которую тот объявил логике как пустому и бесплодному подражанию математическому исчислению» [3]. Упомянем также Викторена Фабра, которого Сент-Бёв, хоть и чересчур сурово, называл «раздутым ритором» или «водянистым выкидышем», но справедливо — «запоздалым учеником школы»; Мериме, друга Виктора де Жакмона, Стендаля, Форьеля, Сент-Бёва и других. Но мы не можем столь бегло пройти мимо Форьеля и Огюстена Тьерри, Виктора Жакмона, Стендаля, Сент-Бёва и Брауна.

Поклонник Вольнея, друг мадам де Кондорсе, Кабаниса и Дестюта де Траси, связанный с мадам де Сталь, Бенжаменом Констаном, Мандзони и Шлегелем, доверенное лицо или советник Огюстена Тьерри, Ампера, Мериме и Бейля, знавший немецкий, итальянский, испанский, баскский, кельтский, диалекты Юга Франции, арабский, санскрит, древнегреческий и новогреческий языки — Форьель стал, для Сент-Бёва, поводом для одного из тех точных, проницательных и изысканных исследований, секрет которых он знал. Однако он отвёл Форьелю слишком большое место в школе, потому что не задался вопросом, чем сам Форьель был обязан своим друзьям и наставникам.

---

1 «Античные и патриархальные фигуры, которые передали век, умиравший, веку, начинавшемуся. Первый (Траси) питает ещё философию предыдущего века своей обширной эрудицией; можно было бы сказать — бенедиктин в школе Вольтера, с его ясным и позитивным умом. Траси превзошёл Кондильяка, продолжив его: он обладает в большей степени, чем его предшественник, некоторыми качествами метафизика. Его идеология — цельная, точная, ясная, энергичная. Комментарий к Монтескьё лишён исторического понимания Духа законов, но изобилует здравыми взглядами на отношения между обществами и правительствами».

2 Сент-Бёв, *Portraits contemporains, I; Chateaubriand et son groupe littéraire*, с. 350 и сл.

3 Равайссон, *La Philosophie en France*, с. 169. См. также Юэ, *Histoire de la vie et des ouvrages de Bordas-Desmoulins*, Париж, 1861.

Форьель, родившийся в 1772 году в Сент-Этьене, получил образование, как и Дону, у ораторианцев. Около 1789 года он состоял в обществе, известном под названием Шамбара́н, где читал *Руины* Вольнея. Был подпоручиком в роте Ла Тур д'Оверня, затем муниципальным чиновником в Сент-Этьене; с 1795 по 1799 год, как представляется, жил в уединении, неустанно работая и занимаясь. Ещё до 18 брюмера он сблизился с Франсэ из Нанта, который познакомил его с Фуше; впоследствии он стал личным секретарём последнего, когда тот занимал пост министра полиции, и оставил его во времена пожизненного консулата. Пока он работал с Фуше, он опубликовал в *Декаде* рецензию на *Литературу, рассмотренную в её связи с социальными институтами* и представил мадам де Сталь как ученицу Кондорсе. Затем он выступал в защиту философии с соображениями, которые, по словам Сент-Бёва, отнюдь не были тривиальными [1].

В 1802 году он поселился в Мезоннет, недалеко от Мёлана, рядом с мадам де Кондорсе, с которой познакомился в Ботаническом саду. Он продолжал поддерживать отношения с Кабанисом и его друзьями, но виделся также и с мадам де Сталь, которая представила его Шатобриану. В то же время он становится другом Вийе и, особенно, Бенжамена Констана, который держит его в курсе своей работы над *О религиях*, пишет ему своё мнение об *Отношении физического и морального* и просит отзыв о своём *Вальштейне*. Именно тогда Форьель пишет статьи о Шольё и Ла Фаре, о Ларошфуко, которого он сравнивает с Вовенаргом и объясняет *Максимы* опытом и воспоминаниями автора. В *Декаде* он рецензирует *Опыты о духе и влиянии Реформации* Вийе (1804): «Оскорблённый, — пишет он, — как и многие другие лица (в частности, г-н де Траси), которые, впрочем, отдают вам должное и чьё признание не должно быть вам безразлично, некоторыми чертами пристрастия, которое, по-моему, мало философично, я откровенно выразил своё мнение». Эта откровенность не понравилась Вийе, который впоследствии также остался недоволен статьёй Тюро о его *Докладе* 1810 года и считал странным, что французы, которых он без конца упрекал в легковесных и поверхностных доктринах, не желали принимать те, что он привозил им из Германии.

Находясь в тесных отношениях с Кабанисом, Форьель поделился с ним своим проектом написать *Историю стоицизма*. Кабанис, противопоставлявший Гомера и греков *Гению христианства*, встретил эту идею с энтузиазмом [2].

---

[1] «Враги философии, — говорил Форьель, — усваивают мнения, недавно ещё бывшие философскими, но становящиеся с каждым днём всё более национальными: они делают из них оружие против идей, которые пока принадлежат лишь нескольким выдающимся людям. Таким образом, они ищут в самих победах философии препятствия для её будущего прогресса».

[2] «Когда вы сообщили мне, — говорит он в своём *Письме о первых причинах*, — о своём замысле написать историю стоицизма, этой философии, создавшей самые великие души, самых добродетельных граждан, наиболее достойных уважения государственных деятелей древности, вы знаете, с какой жадностью я ухватился за надежду наконец увидеть эту историю написанной образом, достойным предмета, и могу вас уверить, что мне не нужны

Однако неверно, как утверждает Сент-Бёв, будто Форьель оказал влияние на Кабаниса и вдохновил его на его «последнее слово», будто Форьель первым попытался ввести историю философии в недра идеологии. Тюрго, Д'Аламбер и Кондорсе уже отвели значительное место беспристрастной истории; Дежерандо опубликовал *Сравнительную историю систем*; Кабанис примкнул к доктрине совершенствования и уже написал *Историю медицины*. Да и *Письмо о первопричинах*, если читать его внимательно, принадлежит мастеру, а не ученику. Форьель был лишь посредником, благодаря которому Кузен лучше узнал идеи Тюрго, Д'Аламбера, Кондорсе, Кабаниса, Дежерандо, стремившихся использовать историю философии для самого её построения.

Форьель собрал материалы и начал работу над *Историей стоицизма* [1]; но прекратил её и отвернулся от философских занятий после смерти Кабаниса. Он даже отказался от обширного очерка, который намеревался посвятить своему

были чувства дружбы, чтобы испытать к осуществлению столь прекрасного предприятия интерес самый живой и настоятельный». И, завершая это знаменитое письмо, Кабанис добавлял: «Продолжайте, мой друг, эту полезную и благородную работу; если большая часть исторических времён, к которым она вас возвращает, должна вновь представить вашему взору самые ужасные и самые отвратительные картины, вы найдёте там также и картины самых восхитительных и самых трогательных добродетелей; их вид отдохнёт ваше сердце, возмущённое и утомлённое столькими сценами ужаса и низости. Воспроизводя их с удовлетворением, наслаждайтесь теми ободрениями, какие они могут дать всем людям, в которых живёт хотя бы искра священного огня, особенно этой доброй молодёжи, которая всегда вступает на жизненный путь со всеми возвышенными и щедрыми чувствами; и не бойтесь обнять пустую тень, наслаждаясь уже теперь заранее признательностью истинных друзей человечества».

[1] Нужно привести, вслед за Сент-Бёвом, некоторые из заметок, которые он держал в руках: «Существенная неточность в истории философии — полагать, что древние философы-физики занимались лишь гипотезами о первых причинах. Это неверно: почти все они изучали природу в её видимых и регулярных явлениях или в её продуктах. Только наблюдали они весьма плохо — по нескольким причинам, которые возможно и важно указать».

«Объяснить причины большого влияния философии Пифагора в Греции на протяжении почти века — от разрушения и рассеяния пифагорейской школы и до смерти Эпаминонда».

«Главная причина, по-видимому, заключалась в поэтических картинах, какие эта философия рисовала о жизни добродетельных людей после смерти».

«Это — основополагающее наблюдение в истории философии: в философии спекулятивной все последующие ошибки или все последующие открытия всегда сводятся к системам предшествующим, как к своему поводу или причине. В философии же морали наибольшее влияние на мнения оказывают частные факты, обстоятельства времени и места».

«Событие большого значения в истории греческой философии — вторжение в Малую Азию сначала Крёза, затем Кира. Милет, до того времени богатейший и наиболее процветающий город этой прекрасной области, был полностью разорён; он перестал быть местом пребывания философских школ. Анаксагор, державший в тот момент школу Фалеса, во время этой войны бежал в Афины и принёс туда философию».

«Ему было тогда всего двадцать лет; Архелай, его ученик, стал тем, через кого ионийская философия окончательно утвердилась в Афинах, где он сделался учителем Сократа».

«Появление Анаксагора в Афинах — событие, весьма сходное с посольством Карнеада в Рим по последствиям, какие они имели для культуры соответственно того и другого народа». Ср. Martha, Carnéade и Tannery, Pour la science hellène.

другу, как говорит Сент-Бёв, из-за своего чрезмерного стремления к совершенству и из-за избытка чувствительности; быть может, добавим мы, также и потому, что Кабанис и его учение подвергались суровому суждению со стороны некоторых его новых друзей.

Дестют де Траси настаивал, чтобы Форьель завершил *Историю стоиков*, посылая ему в подарок свой *Трактат по политической экономии* [1]. Он уже сообщал ему о своём *Комментарии к Монтескьё* [2]. В 1821 году Огюстен Тьерри, находясь в Параи-ле-Фрезиль, праздновал; г-н де Траси всё спрашивал его, пишет ли Форьель свою *Историю провансальской цивилизации*, которая будет опубликована лишь частично, десять лет спустя.

— Он пишет, — отвечал Тьерри.

— Значит, он записывает, — иронично говорил де Траси, знавший, каков был Форьель под влиянием того демона прокрастинации, о котором писал Б. Констан, и которому не суждено было увидеть выход этой книги. В 1810 году Форьель переводит *Парфенеида* Баггезена, живя в Марли и будучи связан с идеологами. Его *Вводная речь* напоминает ученика Кондорсе и Кабаниса, особенно когда он говорит о «золотом веке», стране идиллий, который, быть может, — замечает он, думая о противниках доктрины совершенствования, — ещё более химеричен в прошлом, чем в неопределённом будущем. Став другом Мандзони, внука Беккариа, Форьель пишет итальянские сонеты, изучает

---

1 «Прежде чем снова приняться за работу, мне нужно точно знать, следует ли мне всё бросить в огонь и начать заново, может быть, менее методично, но более практично. Только от вас, сударь, и только от вас одного я могу ожидать этого доброго совета, и это заставит меня рискнуть послать вам эту груду бумаг при первом удобном случае. Впрочем, пользуйтесь ими так, как вам будет угодно и удобно. Берите их, оставляйте их; скажите мне откровенно, если вы не смогли их дочитать. Этого я опасаюсь: ведь я не слишком боюсь, что вы сочтёте, будто в основе это неверно. Прежде всего — пусть это будет исключительно в ваши свободные минуты. Если их окажется недостаточно, значит, оно того не стоит; ибо ваши свободные минуты ценнее, чем время, потраченное многими другими. И особенно — пусть это не отнимет у вас ни единого мгновения от ваших дорогих стоиков. Я гораздо более заинтересован в них, чем во всём, что я когда-либо мог бы придумать. О! какой это прекрасный замысел! и каким это будет прекрасным полотном, когда вы вложите туда свои идеи! Это принесёт много добра. Кому? — Миру, который того едва ли стоит, согласен; но у нас нет другого; и можно существовать в нём лишь мечтая сделать его лучше. Лишь немногие существа, как вы, примиряют меня с ним. (И в постскриптуме) Моя голова совсем плоха; именно из-за неё я начинаю злословить обо всём, что вижу».

2 «Я бы хотел прежде всего не разминуться с вами; но, поскольку вы зависите от отдалённых событий, я всё же думаю, что лучше всего будет отправиться к вам самому. Рискну много говорить вам о Монтескьё, ибо на постоялом дворе человек мечтает, и вы меня к этому поощряли. Для меня это — как поездка в Рим. Я получаю от этого мало пользы; но это — способ наслаждаться, видя, как обыкновенные люди нашего времени, столь проклинаемого и даже справедливо, ясно видят хорошие вещи, которые люди выдающиеся, времени совсем ещё недавнего, видели лишь весьма смутно. Это злит меня, что я стар. Надо бы легче мириться с этим; но каждый извлекает из своих размышлений тот плод, который может; и это зависит от дерева, на которое они привиты. Моё дерево — дичок; дерево же дружбы — единственное, что приносит всегда сладкие плоды, говорят восточные, и они правы».

новогреческий, санскрит и арабский языки, ботанику и провансальскую цивилизацию. В 1823 году он публикует перевод трагедий Мандзони, год спустя после смерти мадам де Кондорсе; затем, в 1824 году — *Народные песни Греции*. Его влияние сказывается на Ампере, которого он побуждает изучать литературные истоки; на Мериме, которому внушает идею перевода испанских романсов; на Бейля, которому он рассказывает арабские истории для его «маленького идеологического трактата о любви». С другой стороны, в 1821 году он — слушатель и доверенное лицо Огюстена Тьерри, который каждый вечер делится с ним мельчайшими подробностями хроник и легенд, вдохновляющих его на создание *Истории завоевания Англии норманнами*; в 1820 году он оказывал ту же услугу Гизо. С 1821 по 1823 год он наблюдает за печатью санскритских книг для Шлегеля или сличает рукописи в Королевской библиотеке. Став профессором зарубежной литературы на филологическом факультете в 1830 году, он публикует в 1832 году двенадцать книг *Об истоках рыцарской эпопеи в средние века*, приписывая её заслуги провансальцам; в 1834 — *Жизнь Данте*; в 1836 — вторую часть своего большого труда *О южной Галлии*; в 1839 — *Жизнь Лопе де Вега*. Он умирает в 1844 году.

Тэн сказал о Биране, что его первая книга прекрасна и останется в истории, потому что, сдерживаемый влиянием Кондильяка (мы бы сказали — Кабаниса) и Дестюта де Траси, он начал с изучения фактов и с точного стиля. О Форьеле, напротив, остаётся сожалеть, что он не оставался дольше под руководством обоих. Вместо того чтобы рассеиваться во всех направлениях, он мог бы сосредоточить свои силы на прекрасном труде, который уже начал, — и тогда мы имели бы *Историю стоиков*, которой нам всё ещё недостаёт, написанную одним из самых свободных, проницательных и искренних умов.

Часто вспоминают предисловие к *Меровингским рассказам*, где Огюстен Тьерри рассказывает, что момент энтузиазма, который он испытал, читая о битве франков с римлянами, быть может, стал решающим для его будущего призвания. Сент-Бёв задавался вопросом, что же такое «порыв, о котором забывают на протяжении нескольких лет», и отмечал, что Тьерри, ученик Вальтера Скотта и Сен-Симона, «был тогда, как и многие другие, в отношениях с Шатобрианом, с которым они взаимно обменивались похвалами и комплиментами». Но он забыл указать на другое влияние, которое не принималось во внимание, когда те, кто его оказывал, уже утратили признание. Достаточно взглянуть на великолепное предисловие к *Десяти годам исторических исследований*, на строки, где речь идёт о Форьеле — «друге, верном и надёжном советнике», чьи сдержанные и тонкие суждения «были его руководством» в минуты сомнений, чьё сочувствие побуждало его идти вперёд. Только в 1821 году Тьерри вступил в столь тесные отношения с Форьелем. В 1819 году он написал отзыв о *Курсе истории* Дону в Коллеж де Франс и увидел в профессоре, который открыто заявлял о своей священной обязанности перед наукой преподавать её во всей полноте, двойную гарантию — патриотизма и знания, точность учёного, широту философа, дар писателя, мягкость

филантропа и строгость гражданина. Он представляет себя как ученика Дону, принимавшего участие в советах, которые профессор давал молодым людям, и подчёркивает, что то, что сформировало характер его наставника, возвысило его душу и расширило его мышление, — это сорок лет уединения и учёных занятий. Разве не возникает искушение, читая эти строки, сравнить их с прекрасными страницами, где страдающий и ослепший Тьерри превозносил самоотверженность, посвящённую науке, как нечто более ценное, чем материальные удовольствия, чем богатство, чем даже здоровье?

В 1820 году Тьерри выступил, анонсируя труд Гара, который хвалил, как преемник Рёдерера, и утверждал, что Франция была обагрена кровью не потому, как это ошибочно утверждают, что философы XVIII века были услышаны народом, а потому, что их философия не стала популярной. И он, тот самый, кто способствовал превращению исторических исследований в характерную черту нашей эпохи, выражает надежду, «что XIX век отнимет у XVIII этот благородный титул — век философии». В том же году он часто встречался с Мандзони, христианским поэтом, называвшим Кабаниса «ангельским Кабанисом», а также с Форьелем и Кузеном [1]. Наконец, Тьерри, который на некоторое время стал учеником Сен-Симона, цитировал, вслед за Дону, глубокое и ясное различие, установленное между типами правления Дестютом де Траси, «философом, которым гордится наша эпоха», и осенью 1821 года находился в Параи-ле-Фрезиль.

Отец Виктора Жакмона состоял в родственных связях с Лафайетом. Будучи идеологом, он входил в состав Совета народного образования и принадлежал к секции анализа ощущений. Как член Трибуната, он голосовал против ордена Почётного легиона и был исключён вместе с Бенжаменом Констаном, Сэем, Дону, Ларомигьером, Андриё и другими. Возглавляя бюро наук при Министерстве внутренних дел, он служил связующим звеном между Моро и Дону, Кабанисом, Шенье, которые замышляли свержение первого консула. *«Около 1809 года*, — пишет его сын, который только пожимает плечами, когда кто-либо пытается вызывать жалость к судьбе Бонапарта на Святой Елене — *с его восемью слугами, четырьмя придворными, двенадцатью тысячами франков годового жалованья и десятью лошадьми, — некие полицейские, вооружённые ордером Фуше, в воскресенье ворвались в наш дом; они забрали книги, бумаги, обыскали всё в поисках следов заговора, а затем увели моего отца. Одиннадцать месяцев он провёл взаперти в тесной и тёмной комнате, которую я запомню на всю жизнь, ибо в течение всех этих одиннадцати месяцев я навещал его два раза в неделю — насколько это было дозволено. Именно там я научился читать и писать. В тюрьме у отца не было слуги, кроме жалкого арестанта, который приходил по утрам брить его и причёсывать, потому что ему не разрешалось иметь ни ножей, ни бритв. Спустя одиннадцать месяцев его наконец отпустили, но лишь для того, чтобы*

[1] Сент-Бёв, *Форьель, 216.*

он отправился в ссылку, длившуюся столько же, сколько и Империя» [1]. Кабанис, рассказав о том, что сделали Дестют де Траси, Дежерандо, Ларомигьер, Ланселин, добавляет, что Жакмон выработал план, ещё более обширный, чем у последнего. И действительно, если верить его сыну, который часто в письмах возвращается к «тому самому знаменитому учению, воздвигнутому на руинах всех прочих», план должен был быть поистине грандиозным. «Если я женюсь в Индии, — пишет Виктор Жакмон мадемуазель Зое Нуазе, — на дочери какого-нибудь набáба с несколькими миллионами, то один миллион я потрачу по возвращении, чтобы напечатать двести восемьдесят томов отцовского красноречия, и ты тогда узнаешь, что такое ощущение». Но он понимает и объясняет, какую пользу его отец находил в этих занятиях: «Вы слишком скромно говорите о своих *Реальных эссенциях*, — пишет он отцу, — Что может быть реальнее того, чем вы им обязаны? Невинное развлечение последних двадцати лет?.. Господа индустриалы, разумеется, отрицали бы их полезность, потому что они слишком глупы, чтобы понять, что обладание идеей или чувством может быть источником наших наслаждений столь же сильно и даже куда более, чем обладание фраком из самой лучшей ткани от господина Терно; и что наибольшая полезность в жизни это удовольствие. Так продолжайте же дистиллировать эти драгоценные Эссенции!».

Мы знаем, кроме того, что отец и сын в философии придерживались взглядов, весьма близких к взглядам Дестюта де Траси и Кабаниса [2].

---

[1] Он добавляет: «Между тем законы о личной свободе тогда были те же, что и сегодня; Кодекс предусматривал против виновников произвольных арестов те же наказания, что и сегодня»! Эти вещи были весьма обыкновенны, и та строгость, с которой был обращён человек уже в возрасте, против которого могли существовать лишь самые лёгкие претензии, который состоял членом одного из крупных государственных корпусов, который был связан старой дружбой с наиболее выдающимися членами Сената, заставляет задуматься, какие же жестокости тогда совершались по отношению к несчастным без защиты и без имени». — Следовательно, Дону (гл. VII, с. 403) «смешон», как, по-видимому, полагал Сент-Бёв, за то, что он «думал, будто этот человек способен на всё»?

[2] «Хотя я скорее материалист, чем спиритуалист, — пишет Виктор, — я, однако, придаю материи, положительной реальности, лишь весьма умеренное значение; и я придаю огромное значение в морали (то есть в искусстве искать счастье) тому, над чем многие люди, несколько ограниченные или очень сухие, смеются под именем химеры. Единственное, что во всём этом несомненно, — это ощущение. Оно существует в природе, каково бы ни было разнообразие его объектов, способов возникновения, причин. Но довольно метафизики; тем более что я уже начал без всякой осторожности раскрывать эти знаменитые реальные Сущности; это значило бы распоряжаться отцовским достоянием — и, без сомнения, распоряжаться им весьма плохо. Есть и такие атеисты, у которых тоже есть культ, причём культ весьма полезный для других людей; ибо это культ человечества. Я знаю не одного такого. Это стоики по отношению к самим себе и ангелы милосердия, снисходительности — по отношению к другим. Как бы ни была восхитительна химия за последние десять лет, она совершенно недостаточна для объяснения функций жизни. В них есть нечто такое, что разуму вполне дозволено считать нематериальным и бессмертным началом... Французские философы прошлого и нынешнего столетий, которых называли сенсуалистами и которых почти все считали материалистами, — я имею в виду Кондильяка, Кабаниса, г-на де Траси, — видели, правда, в чувствительности, в человеческом интеллекте

Нет ничего более увлекательного, чем чтение писем Жакмона, написанных из Америки, с Гаити, из Индии, — писем, отличающихся жизнерадостностью, остроумной простотой и нравственным возвышением [1]. Прочитав их, невольно проникаешься к нему той же симпатией и уважением, какие испытывали к нему не только его друзья во Франции, но и англичане, с которыми он тогда впервые встречался. Обладая умом столь же ясным и точным, как у Вольнея и Бернье, он не успел вычеркнуть из своих *Писем* того, что составляет их главную ценность: суждений о людях и о вещах — и тем самым позволяет нам читать его жизнь и сердце как открытую книгу.

Чисто спекулятивные исследования его мало затрагивают [2]. С тех пор как он увидел Америку, страну, в которой, по его словам, царит отвратительное лицемерие и где имя Франклина даже не произносят, потому что он был «неверующим», он считает Библию её бедствием. Он не христианин, даже не деист. Леди Бентинк пытается обратить его: они беседуют «о добром Боге — она “за”, он “против”, — попутно обсуждая Моцарта, Россини, живопись, мадам де Сталь, счастье и несчастье». Он от этого лучше не становится и опасается, что она, хоть и меньше, чем прежде, но всё ещё уверена в своей

лишь одну из способностей его организации; но они никогда не утверждали, что одни только законы мёртвой материи, одни только законы физики и химии управляют жизнью органической. Впрочем, жизнь бесформенного лишайника, растущего на всём, что даёт ему опору и немного влаги, физиологически столь же необъяснима, как и жизнь самого совершенного из животных — человека. Всё живое в равной мере непостижимо. В этом отношении нет ни большего, ни меньшего; если ты даруешь нам душу, я хотел бы, чтобы ты признал что-то подобное и за другими животными (B. de Tracy, VI, § 5), которые, будучи столь ниже нас, тем не менее обладают несколькими интеллектуальными способностями и несколькими формами чувствительности, общими с нами. Сенека, следуя Эпикуру, чьи философские принципы он разделял, объяснял чувствительность живых существ anima mundi (душой мира), так же как все механические движения небесных тел объясняли посредством притяжения. Эта anima mundi (Cabanis, IV, § 4) мне весьма по душе, именно из-за её неопределённости и неясности. Я вижу в ней нечто, напоминающее разум, и не настолько ясное, чтобы не отвергнуть его как абсурд, если не принять сразу же как истину».

1 Никто не оценил *Correspondance* Жакмона лучше, чем г-н Франсиск Сарсей (XIXe siècle, 9 сентября 1884 г.)… «Книга совершенна, — говорит он, говоря о первой *Correspondance*, которую он сравнивает «с одним из тех пейзажей, которые природа завершает и как бы готовыми передаёт взгляду живописца… Невозможно читать эту переписку, не полюбив глубоко того, кто её написал… Жакмон — это сама природа… Это воображение самое обаятельное, сердце самое нежное, язык самый быстрый, самый ясный, самый непринуждённый, какой только можно себе представить» и т. д., и т. п. Весь этот отзыв заслуживает перечитывания.

2 «Мой отец, — пишет он г-ну де Траси, — может быть, немного упрекнёт меня за то, что я не привожу ему никакой глубокой системы индийской метафизики; но у меня на Ганге есть лодка, которая сейчас спускается из Дели в Калькутту, гружённая вещами куда более реальными, чем реальные Сущности: архивами физической и естественной истории областей, которые я посетил до сих пор; и если эти коллекции, которых мне стоило стольких трудов собрать, прибудут, как у меня есть все основания надеяться, без всяких происшествий в Париж, я по возвращении найду в них повод радоваться, что ограничил свои исследования предметом, специально связанным с моей поездкой».

правоте. Санскрит, по его мнению, представляет лишь филологический интерес, так как послужил только для сочинения теологии, метафизики и прочих бредней такого рода: галиматья в трёх слоях — для сочинителей, потребителей, а особенно — для иностранных потребителей; галиматья в степени 1/0. Он велит перевести для себя названия томов тибетской энциклопедии в 120 томах. Первые девятнадцать посвящены исключительно атрибутам Бога, первым из которых является непостижимость, — что, по его мнению, может избавить от необходимости узнавать о всех остальных. Остальное смесь теологии, плохой медицины, астрологии, фантастических легенд и метафизики: «ужасная галиматья, которая даже не обладает достоинством оригинальности». Европейская метафизика ему тоже не по вкусу: он находит сходство между нелепостью Бенареса (Варанаси) и нелепостью Германии, «у стенографированного Кузена». Новые религии он терпеть не может и прощает религии Анфантена и Базара, которая кажется ему геометрически абсурдной, лишь в силу самой её нелепости. Поэтому молодому человеку, который просит у него совета в чтении, он рекомендует начать с Дестюта де Траси и Гельвеция, а американцам советует читать Смита и *Комментарий к Монтескьё*, а не свои газеты.

Его страсть — быть полезным; но он понимает полезность весьма своеобразно. Кювье, который направлял или вновь направлял научные исследования в философское русло, который открывал факты и создавал науки благодаря своей поразительной способности к обобщению; Вальтер Скотт, Канова и Россини, которые дарили другим приятные ощущения, не вызывая при этом у кого-либо неприятных, — вот, по его мнению, истинно полезные люди, а не те, кто служит лишь удовлетворению физических нужд — откармливая быков, готовя обеды или производя хорошие шляпы, хорошие фраки и хорошие ночные горшки. Ведь моральные устремления занимают в его жизни значительное место.

Существует, — говорит он, — между нежными и великодушными душами всех стран нечто вроде естественного и святого франкмасонства, которое позволяет им мгновенно узнавать и понимать друг друга сквозь внешние различия возраста, языка и национальности». Он читает радже «небольшой курс морали и политической экономии, который, несомненно, пришёлся бы весьма не по вкусу его министрам». Осуществление власти, — утверждает он, — в нашей стране на протяжении сорока лет было неизгладимым пятном, потому что все наши правители презирали закон. М. де Полиньяк, нарушивший закон, должен быть наказан: «Я его ненавижу, но испытываю к нему и некоторую жалость». М. де (Талейран?) — это персонаж, которого честный король не должен был бы принимать. Вместе со своим старым отцом Жакмон возмущается, когда после 1830 года общество предстает в виде зрелища, «более отвратительного, чем когда-либо, из-за яростной войны, которую ведут друг с другом все честолюбия и все алчности»; он с сожалением отмечает, что слава, кажется, оправдывает проступки: «Дело не в том, чтобы ставить Вашингтона

выше Наполеона: уважение или презрение, симпатию или ненависть мы должны основывать не на качествах ума; талант сам по себе ни достоин уважения, ни недостоин — он не несёт в себе никакой обязательной нравственности; а ведь именно нравственность заслуживает уважения [1], а безнравственность, какими бы исключительными талантами она ни сопровождалась, заслуживает лишь презрения». И он не может не сокрушаться по поводу того, что столь прославлены политическое приспособленчество и угодничество Кювье, «заветная шарлатанщина» Гумбольдта — «двух первых людей интеллектуального мира»!

Заболев в августе 1832 года и «убитый деятельностью своей мысли», он чувствует, что прекрасные арии Моцарта, исполненные хорошим скрипачом, могли бы его очаровать и «позолотить пилюлю». Он собирался пригласить музыканта, более чем сносного, «чтобы умереть под музыку», когда лекарства вызвали реакцию. 7 декабря он написал своё последнее письмо; этот труд его истощил: «Прощайте, — писал он отцу и братьям, — о, как сильно вас любит ваш бедный Виктор! Прощайте в последний раз». 7 декабря он умер, «с утешением, что он, насколько мог, способствовал прогрессу науки, в которой ещё многое оставалось несовершенным».

Среди его корреспондентов, помимо отца и братьев, встречаются почти все имена, упомянутые нами в истории идеологии: Мериме, написавший введение к двум томам писем, изданным в 1867 году; Бейль, передавший ему рукопись *О любви*; мадам Лакюэ и мадам Лебретон; Дюнуайе, «который стремился воспитать политически всю нацию»; месье и мадам Виктор де Траси, с которыми он поддерживал самые тесные отношения. Дестют де Траси очень любил Виктора Жакмона, и тот платил ему полной взаимностью. Уже в 1820 году, в возрасте девятнадцати лет, Жакмон обращается к нему из Мобёжа с длинным письмом, в котором описывает состояние культуры в северных провинциях Франции. Из Индии он пишет ему в 1831 году: «Воспоминание о первых годах моей юности часто возвращается в моё сознание, и я всегда с той же нежностью вспоминаю подлинно отеческую заботу, которую имел счастье тогда получить от Вас. Я всегда буду признавать её с сыновним чувством».

В 1824 году Виктор Жакмон писал мадам Виктор де Траси, говоря об одной книге Стендаля: «Публика ещё не созрела для этих идей, её нужно хотя бы подготовить... Если бы рукопись была разборчива, я бы попросил её для себя, для вас и для очень небольшого числа друзей, которым она чрезвычайно понравилась бы, — их он называет людьми 1860 года». Однако Бейлю (прим. настоящая фамилия Стендаля) потребовалось меньше времени, чтобы стать знаменитым. Тэн [2] назвал его великим романистом и величайшим психологом века. Вслед за ним Поль Бурже назвал его «нашим учителем» и до сих пор

---

1 Ср. Марион, *Rapport sur la réforme de la discipline dans l'enseignement secondaire*.

2 Тэн, *Les Philosophes classiques du XIXe siècle*, сс. 182, 312. См. также *Essai sur Tite-Live*.

заставляет его читать и им восхищаться [1]. «Бейль, — говорит он, — всю свою жизнь оставался идеологом в духе кондильякианцев, романтиком в манере испанцев эпохи Ренессанса и циником по отношению к женщинам, в духе распущенных вольнодумцев XVIII века». Этот идеолог, друг Мериме и Жакмона, принадлежит только нам. Дестют де Траси, как справедливо заметил Сент-Бёв, был одним из духовных крестных Бейля, который всегда сохранял к нему признательность и до конца жизни питал к нему восхищение; школа Кабаниса и Дестюта де Траси была его школой, которую он, к удивлению многих, не скрывал даже в наименее подходящие моменты. Его дед, доктор Ганьон, дал ему читать Гельвеция, «который распахнул перед ним двери человеческой природы настежь». Он учился в центральной школе Гренобля, был подпоручиком в драгунском полку, а затем подал в отставку. Он хотел формировать себя «с помощью анализа» и, после одной комедии и одной трагедии, посвятить жизнь философии. Материализм представился ему во всей полноте в следующей формуле: всё существующее — это кристаллизованное. В то же время он становится тревожно скептическим, в духе Пиррона. Он изучает связь идей у Гоббса, **в качестве образца берёт эпикуреизм Шапеля**. Чтобы «избавиться от Руссо» в своих суждениях, он хочет читать Дестюта, Тацита, Прево из Женевы, Ланселина [2], и примерно в то же время оказывается втянут в заговор Моро, с которым были связаны Кабанис, Шенье, Дону, Жакмон. Он покупает «первую часть сочинений Дестюта де Траси», читает 112 страниц с величайшим удовольствием, так легко, как роман, и, находя его рассуждения превосходными, отмечает множество новых зародышей мыслей — счастливые плоды идеологии. Вольней, как он рассказывает, ответил Бонапарту, когда тот сказал ему, что народу нужна религия, что тогда народу понадобился бы и Бурбон; за это он получил пинки, заболел, но готовил для Сената большой доклад, от которого отказался, «чтобы не быть убитым». Затем он сближается с Алибером и сыном де Траси, продолжает читать отца, к которому присоединяет и Бирана, «который учит его вспоминать свои естественные чувства».

В 1811 году, будучи слушателем в Государственном совете и генеральным инспектором короны, он всё ещё верит, вместе с Дестютом де Траси и древними греками, что Nosce te ipsum — «познай самого себя» — есть путь к счастью; в Италии он говорит о Дестюте де Траси ученику Песталоцци и готов был бы держать пари, что в 1913 году о Шатобриане уже не будет идти речи. Позднее он напишет, что изучал в Брауншвейге немецкий язык и немецкую философию и что это внушило ему изрядное презрение к Канту, Фихте и

---

1 Последняя статья г-на Поля Бурже в Figaro от 21 августа 1890 г., о Henri Brulard, не опубликованном ранее романе, который только что издал г-н К. Стрьенски, — это апология, в которой он, при всех признаниях недостатков, весьма удачно подчеркнул качества, заставляющие забыть об этих недостатках.

2 Г-н Стрьенски говорит об одном весьма неизвестном авторе, родившемся в Лавале, который будто бы опубликовал *Histoire secrète du prophète des Turcs* и *La Callipédie*; речь идёт о нашем идеологе, чей труд только что вышел в свет. Ср. § 2.

другим, «великим людям, которые не сделали ничего, кроме учёных карточных домиков».

О любви — это «Опыт идеологии» [1]. И он небезосновательно причисляет себя к этой школе за столь тщательное и проникновенное исследование: в нём он цитирует Вольнея, «одного из наших самых любезных французских философов», Кабаниса, Форьеля, который, «будучи учёным, как десять немцев, излагает свои открытия ясными и точными словами», Дестюта де Траси и его главу Dell'Amore в итальянском переводе *Идеологии*, где содержатся идеи куда более глубокого философского значения, чем всё, что он сам говорит; Женгене и его *Историю литературы Италии*; Бентама и *Анализ аскетического принципа*. Немецкие системы кажутся ему лишь «тёмной и плохо написанной поэзией», и он мечтает основать в Филадельфии «академию, которая занималась бы исключительно сбором материалов для изучения человека в его первобытном состоянии, прежде чем эти любопытные народы будут уничтожены» [2].

Все произведения Стендаля — *Красное и чёрное*, *Пармская обитель* и др., с их персонажами, Жюльеном Сорелем и Анри Брюларом, как и *Заметка* Мериме и *О любви*, показывают нам ученика, а местами даже преемника и защитника, *mutatis mutandis*, идеологов. Мы сожалеем, что месье Рибо, указавший на исследования Спенсера об идее любви, и месье Марион, посвятивший этой теме обширную статью в *Grande Encyclopédie*, не вспомнили о Стендале. Этот идеолог, взявший на себя задачу завершить незаконченный раздел Дестюта де Траси, был, в степени, которую трудно переоценить — вдохновителем или предшественником всех тех, кто, с большей или меньшей удачей, стремился, как Гонкуры, Золя, Мопассан, а также Бурже и многие другие, чтобы роман опирался на тщательно и добросовестно наблюдаемые факты.

Сент-Бёв был «весьма текуч и разнообразен». Но месье Тэн легко объяснит в своём столь ожидаемом очерке «его на первый взгляд странную переменчивость и пёструю карьеру», если учтёт различные и зачастую противоположные политические режимы, к которым ему приходилось приспосабливаться. Нам же достаточно указать на ту сторону его деятельности, которая сближает его с идеологами. Он задумывал написать ту самую историю,

---

1 «Прошу прощения, — говорит он, — у философов за то, что взял слово "идеология": моё намерение, конечно, не в том, чтобы присвоить себе титул, который был бы правом другого. Если идеология — это подробное описание идей и всех частей, которые могут их составлять, то настоящая книга — это подробное и тщательное описание всех чувств, из которых состоит страсть, называемая любовью. Затем я вывожу из этого описания некоторые последствия, например — способ излечить любовь. Я не знаю слова по-гречески, которое бы означало "Рассуждение о чувствах", так же как "идеология" означает "Рассуждение об идеях"».

2 Journal de Stendhal, изд. К. Стрьенски и Франсуа де Нион.

которую мы предприняли, и если он не завершил её в виде связного целого, то, по крайней мере, попытался изложить её «отдельными главами и фрагментами, вразброс» [1].

Друг Форьеля и Дону, он, как сам говорит [2], начал прямо и без обиняков с самого радикального XVIII века, *«с Дестюта де Траси, Дону, Ламарка и физиологии; вот,* — добавляет он, — *моя подлинная основа»*. Поэтому он очень хорошо понял, что философия XVIII века не сводится к одному лишь Кондильяку [3]. Более того, он в определённой степени выступил с апологией Гольбаха [4]. Неудивительно, что он проявлял большую симпатию к Дестюту де Траси, к Форьелю и особенно к Кабанису [5]; что он указал на одну философскую несправедливость, которая проникла и укрепилась после 1817 года и в последующие годы: «Кузен, чтобы обозначить враждебную XVIII веку школу, которая связывала идеи с ощущениями, назвал её сенсуалистской. Для точности следовало бы сказать сенсационистской. Слово сенсуализм естественным образом вызывает представление о практическом материализме, который отдаётся наслаждениям чувств; и если это ещё можно было бы, в каком-то отношении, отнести к таким философам XVIII века, как Ламетри или Гельвеций, то к Кондильяку и ко всем почтённым ученикам его школы — идеологам Отёя и их последователям, Тюро, Дону, самой сдержанности — это не имело никакого отношения» [6].

---

1 Chateaubriand, I, cc. 48 и 34.

2 *Portraits littéraires, III, c. 545*.

3 «Судить, — говорит он, — философию XVIII века по Кондильяку — значит заранее решить видеть её всю в бедной и узкой психологии. Каково бы ни было её состояние, она была сильнее этого. Кабанис и Д. де Траси, которые весьма настаивали на своей преемственности от Кондильяка, куда более непосредственно восходят, в своих метафизических решениях вопросов о происхождении и цели, о субстанции и причине, а также в физиологических решениях вопросов об организации и чувствительности, к Кондорсе, к Гольбаху, к Дидро»

4 «Гольбах, — говорит он о книге Лерминье, — оказывается возмутительно стёртым, чтобы Дидро выглядел более чистым, более спокойным и более возвышенным. Я знаю, что защищать *Систему природы* и голбаховскую фракцию — занятие неблагодарное; но я хочу защищать Гольбаха здесь лишь как человека умного, просвещённого, хотя и любителя, знавшего немало фактов из тогдашней физической науки, не столь уж плохо читавшего Гоббса и Спинозу… уважаемого д'Аламбером, Дидро и оказавшего очень большое влияние на Кондорсе и г-на де Траси».

5 «Кабанис, — говорит он, — и поныне ещё не получил должной оценки: несмотря на беспристрастный пересмотр, мне представляется, что справедливость к нему всё же неполная. Те, кто наиболее справедливы к нему, восхваляют человека и несколько легкомысленно относятся к философу. Между тем Кабанис был философом, если я правильно себе его представляю, в такой же степени, как кто-либо в его время и в нашем; он был философом в самом возвышенном, самом достойном и самом нравственном смысле, просвещённым и страстным любителем мудрости».

6 См. то, что говорит об этом Тюро. Сент-Бёв даже воспроизводит, чтобы возразить против отделения физиологии от психологии, довод, напоминающий Бруссе: «Предположим, — говорит он, — что человек сидит на берегу реки или у бассейна источника и занимается прежде всего тем, что рассматривает отражение предметов в воде, стараясь уловить все отблески, оттенки, определить их взаимосвязи, планы, перспективы и видимую глубину;

Сент-Бёв окончил так, как и начал. В 1865 году он пишет месье Дюруи, что чистый спиритуализм — это учение, наиболее противоположное его собственным устремлениям. Два года спустя он скажет Троплону, когда месье де Сегюр д'Агессо назовёт скандальной номинацию месье Ренана в Коллеж де Франс: «Мы значительно откатились назад, господин председатель, по сравнению с Сенатом Первой Империи, в состав которого входили Лаплас, Лагранж, Сийес, Вольней, Кабанис, Траси... Неужели теперь уже нельзя принадлежать к философской религии этих людей? Вы, столь просвещённый, судите сами». Немного позднее *Апология неверующего* Виардо представляется ему во всех отношениях точной и строгой, и он ставит её автора в религиозном отношении в один ряд с Демокритом, Аристотелем, Эпикуром, Лукрецием, Спинозой, Бюффоном, Дидро, Гёте, Гумбольдтом — словом, в довольно достойную компанию [1]. На следующий год он отвечает мадам Жубер, дочери Кабаниса: «Я очень часто, — пишет он, — слышал о вас от моего почтенного учителя и друга, месье Форьеля. Самая нежная награда для меня — это свидетельство, подобное вашему: я сохраню его как драгоценность, мадам, в качестве ученика, без сомнения, весьма слабого, далёкого, но не недостойного той славной общества Отёя, к которому возраст мой не позволил мне быть причастным, но чья живая традиция была мне передана непосредственно ещё в детстве — сначала месье Дону, а затем Форьелем» [2].

Жуффруа приводит, в предисловии к первому тому Рида, хронологический список шотландских профессоров, в котором он указывает, что взгляды Мильна, второго преемника Рида, в целом воспроизводят мнения месье де Траси. То же самое он вполне мог бы сказать и о Томасе Брауне, преемнике Дугалда Стюарта [3].

Дугалд Стюарт, прибывший во Францию в третий раз в 1806 году вместе с лордом Лаудердейлом, сблизился с несколькими идеологами, а особенно с

что вы подумаете об этом человеке, если он выдвинет в качестве первого принципа, что наблюдаемые им отражения не имеют ничего общего с предметами на берегу, с состоянием берегов или дна, что его исследование не имеет никакой связи с той частью физики, которую называют оптикой, и что ему лучше всего обойтись без неё? Вы сказали бы, что этот созерцатель, возможно, художник, пейзажист, которому, как Каналетто, достаточно наблюдать цвета и прозрачности, чтобы воспроизвести их, но что, конечно, это не настоящий учёный. Психолог, о котором идёт речь, может, по-моему, применить к себе этот образ: каким бы остроумным он ни был как наблюдатель, он обладает лишь наукой отражений и бликов, и при этом он не художник».

1 Correspondance, II, p. 159.

2 Correspondance, Il, p. 311.

3 В ту самую эпоху, говорит г-н Реторе, когда Руайе-Коллар пытался заменить философию Рида философией Кондильяка и его школы, Браун в Шотландии привносил французскую философию «и пользовался ею, чтобы бороться с Ридом и Дугалд-Стюартом».

Дежерандо [1], и впоследствии поддерживал с ними отношения [2]. Браун — врач и поэт не меньше, чем философ — зашёл гораздо дальше. В своих *Лекциях по философии человеческого разума*, опубликованных уже после его смерти и имевших грандиозный успех, он говорит о философии Рида и Стюарта как о совокупности заблуждений, столь странных сами по себе, что только их всеобщее признание в качестве истин могло быть ещё более странным. Психология, по его мнению, — всего лишь одна из ветвей общей физики: подобно Кабанису, Траси, Бруссе или некоторым из их современных последователей, он занимается *Физиологией духа* [3], и следует методу натуралистов. Ощущение движения занимает у него, как и у Дестюта де Траси, центральное место [4]. В рассуждении о простой и относительной ассоциации (suggestion), которые он считает основными интеллектуальными феноменами, он также заимствует доктрину Дестюта де Траси. Теория обобщения у Брауна и у Ларомигьера совпадает до такой степени, что английский текст первого зачастую выглядит как просто перевод с французского второго [5]. И ещё один

---

1 Для выяснения отношений между шотландской школой и французской школой было бы весьма интересно отыскать переписку Дугалд-Стюарта. Г-н Робертсон и г-н Уитч, несмотря на всю свою готовность, не смогли мне её предоставить. Однако я узнал, что переписка и дневник (1789 и 1806) были уничтожены его сыном, полковником Стюартом, поражённым в Индии «солнечным ударом»; что единственная дочь Д. Стюарта умерла за пять лет до своего брата и что не осталось ни одного представителя семьи, у кого можно было бы спросить, не сохранились ли копии или фрагменты уничтоженного труда (письмо г-на Робертсона от 15 ноября 1883 года). Следующий отрывок, переписанный г-ном Робертсоном для меня из *Mémoire* Уитча о биографии Стюарта, покажет, насколько эта утрата прискорбна: «Во время своих поездок по континенту, особенно во Францию, г-н Стюарт завязал широкий круг знакомств среди людей, выдающихся в философии, литературе и политике. Среди его более близких друзей за границей можно назвать г-на Сюара, секретаря Академии и переводчика “Америки” и “Карла V” Робертсона; аббата Мореле, равно отличившегося в литературе и политической науке, к которому г-н Стюарт питал глубокое уважение; г-на Прево из Женевы и барона де Жерандо, с которыми он переписывался; г-нов Галлуа, Шевалье, Гийо, де Нарбона и мадам Готье. Г-н Стюарт встречался также в Париже, среди прочих, с герцогом де Рошфуко, внуком автора “Максим”, бароном Кювье и аббатом Реналем, известным автором “Философской истории двух Индий”».

2 Он цитирует и одобряет Д’Аламбера, Гельвеция, Кондильяка, Тюрго, Кондорсе, Дестюта де Траси, Дежерандо «который видел дальше самого Стагирита», Лакруа, Кабаниса «и его наблюдения, не менее верные, чем любопытные», Лапласа и Ламарка.

3 Это — название сочинения г-на Paulhan.

4 По этому поводу г-н Реторе (с. 73) говорит, что он мог бы сослаться на авторитет Дестюта де Траси. В другом месте, на с. XXVII, он утверждает, «что он знал во всех подробностях доктрины Кондильяка, особенно Дестюта де Траси, и, быть может, даже Ларомигьера…; что французская философия была ему гораздо лучше известна, чем философия его собственной страны…; что все его сочинения изобилуют цитатами из французских авторов». Если он не упоминал имена наших идеологов, не потому ли, что ему претило произносить на кафедре Рида и Дугалд-Стюарта имена тех, кто разрушал их доктрину? Впрочем, он, возможно, указал бы на свои заимствования, как говорит Гамильтон, если бы сам напечатал свои лекции. Неоспоримо то, что он знал идеологов и что до него они уже выразили идеи, принесшие успех его книге.

5 Реторе, сс. 110 и 113.

аргумент в пользу того, чтобы рассматривать влияние Ларомигьера и Дугальда Стюарта как дополняющее влияние Дестюта де Траси, — это то, что у Брауна есть естественная теология, в которой он излагает доказательства существования Бога и перечисляет его атрибуты.

Гамильтон тоже не ошибся и не приписал Брауну всей той оригинальности, которую ему приписывали его поклонники: «Браун, — говорит он [1], — не единственный шотландский метафизик, который присвоил себе, не сказав ни слова, множество психологических анализов школы Кондильяка. Дестют де Траси, со своей стороны, вполне имел бы право многократно потребовать своё обратно у доктора Джонга, профессора философии в колледже Белфаста, чьи доктрины, часто совпадающие с доктринами Брауна, отнюдь не являются плодом той удивительной оригинальности, в существование которой он хочет нас убедить, нас, кто знает источники, из которых черпали и тот и другой». И когда он, в своей знаменитой статье, оспаривает у Рида и Брауна ряд положений, находя в них лишь ошибки, заимствования, заблуждения и неточности, он не забывает подвергнуть критике и сам термин идеология — «двойная ошибка, и философская, и греческая», ставший во Франции особым и отличительным названием той философии, которая выводит все наши знания исключительно из ощущения. Со своей стороны, Кузен говорил о поверхностном, по сути скептическом и сенсуалистическом учении Томаса Брауна и рекомендовал на кафедру логики и метафизики Гамильтона, которого он признавал «союзником» в борьбе против сенсуализма, в то время как Бруссе добивался назначения Жоржа Комба — автора *Трактата по френологии* и главу шотландских френологов. Таким образом, борьба между двумя французскими школами продолжалась… в Шотландии [2].

Борьба ещё не была завершена. Джон Стюарт Милль, воспитанный своим отцом [3] в духе идей XVIII века, провёл год во Франции — «с огромной пользой для своего образования» (1820). Некоторое время он жил у Ж.-Б. Сэя — «прекрасного образца подлинного французского республиканца, честного, благородного, просвещённого». В Монпелье, на родине Драпарно и Конта, он посещал курсы химии у Англада, зоологии у Провансаля, и «курс, который представитель философии XVIII века месье Жергон вёл по логике под названием *Философия наук*». Затем он читал Кондильяка и *Трактат о законодательстве*, где Дюмон из Женевы излагал основные доктрины Бентама — поклонника Гельвеция. «Это был один из интеллектуальных кризисов в истории его сознания». Позже последовали *Опыты* Локка, *Дух* Гельвеция, *Наблюдения о человеке* Хартли — всё это, по его признанию, заставило его почувствовать недостаточность сугубо словесных обобщений Кондильяка и

---

1 *Reid's collected writings with Hamitton's notes and dissertations. Supp. diss., p. 868.*

2 Песс, *Fragments de philosophie par W. Hamilton*; Реторе, *Critique de la philosophie de Thomas Brown*; Стюарт Милль, *La Philosophie de Hamilton*; Ф. Пикаве, статья «Th. Brown» (*Grande Encyclopédie*)

3 См. Рибо, *Psychologie anglaise*.

нащупывающих, хотя и поучительных рассуждений Локка в области психологических объяснений [1]. Беркли, Юм, Рид, Дугалд Стюарт, *Причина и следствие* Томаса Брауна, *Анализ влияния естественной религии на временное счастье человечества* — вот книги, которые, по его словам, оказали значительное влияние на ранние этапы формирования его мышления. Поэтому «философы XVIII века были для него и его друзей образцом, которому они стремились подражать», и они надеялись не уступить им в значимости. Тот же вдохновляющий эффект, который так много благодетелей человечества испытывали при чтении *Жизнеописаний* Плутарха, он испытал, читая *Жизнь Тюрго* в изложении Кондорсе [2]. Увидев, что Тюрго держался в стороне от энциклопедистов, потому что всякая секта вредна, Милль «отказался от названия “утилитарист” и перестал выставлять сектантский дух напоказ». Когда в 1826 году у него наступил «кризис в убеждениях», это были *Мемуары* Мормонтеля, которые озарили солнечным лучом мрак, в котором он пребывал. Около 1829 года он был особенно поражён логической связностью идей в теории естественного порядка прогресса человечества у сенсимонистов, особенно у Огюста Конта — «ученика Сен-Симона». Когда он писал свою *Логику* (1837), он читал первые два тома *Курса позитивной философии* и извлёк из них большую пользу; но затем он отходит от Конта, который, «как социолог», утрачивает из виду свободу и индивидуальность [3]. *Логика* — это нападение на философов интуитивной школы. Идеи, которые Милль развивает в *Принципах политической экономии*, частично пробуждены в нём сенсимонистскими доктринами. Наконец, он вступает в решительную полемику с Гамильтоном — «главной крепостью в Англии интуитивистской метафизики, воплощающей реакцию XIX века против XVIII», — и утверждает, что Браун, против которого Гамильтон особенно направлял свои стрелы, был деятельным и плодотворным мыслителем, оказавшим философии гораздо больше услуг [4].

Со своей стороны, книги Стюарта Милля, дополненные трудами Бэйна, Спенсера и Льюиса, все из которых продолжают линию Брауна, были во Франции проанализированы, процитированы, переведены месье Тэном, Казелем, Рибо [5], и другими, которые, не без успеха, стремились вернуть в почёт философию опыта. Разве не стоит напомнить тем, кто об этом не знает, что Браун, а в определённой степени и Милль, Бэйн, Спенсер и Льюис восходят к нашим идеологам?

---

1 Ср. Кабаниса, который критикует Кондильяка так же, как Милль, Льюис или Бэн.

2 «Произведение, столь хорошо сделанное, — говорит он, — чтобы пробудить самый чистый энтузиазм, ибо в нём мы находим одну из самых мудрых и благородных жизней, рассказанную самым мудрым и благородным из людей».

3 Ср. Дону, Сэя, Дестюта де Траси.

4 *Мои мемуары*. Газель, сс. 53, 55, 61, 67, 103, 108, 134, 156, 201, 202, 216, 236.

5 О французских работах о Милле см.: Ф. Пикаве, *Revue philosophique*, XXIII, 222.

Третье поколение идеологов

Спиритуалистическая и христианская идеология

Глава VIII

Спиритуалистическая и христианская идеология

Люди Революции разрушили старый режим, чтобы заменить его административной и судебной, политической и финансовой, религиозной и университетской организацией, не имеющей ничего общего с прошлым. Но вскоре стало ясно, что нельзя безнаказанно в одночасье изменить учреждения, и что «падение этих великих тел не может происходить иначе, кроме как крайне болезненным путем». Наступила реакция: были восстановлены исполнительная власть, религия, Университет, даже Бурбоны. Некоторые хотели полностью вернуть прежний порядок вещей. И только совсем немногие утверждали, что общественное здание должно быть полностью перестроено по новому плану. И действительно, кто мог ещё, после двадцати лет опыта — одного более разочаровывающего, чем другой — верить в абсолютную ценность конституций, даже самых удовлетворительных с точки зрения разума?

То же самое произошло и в философии. Хотели «воссоздать разум», устранили основные вопросы старой философии, начали — по образцу физических и естественных наук — исследование обширной области, которую надеялись быстро освоить. Надо сказать, начало было удачным, и попытки обещали быть плодотворными для нравственных наук. Но немало поколений израсходует себя, собирая истины в деталях, прежде чем человечество получит ясное представление о целом. А пока нужно жить, и чтобы жить, нужно «по меньшей мере иметь нравственность на время». Старая философия, союзница религии, давала такую мораль: её недостатки были известны, но она была знакома и, худо-бедно, направляла множество поколений. К ней вернулись, как и к другим учреждениям старого порядка. Некоторые возвратились к схоластике и подчинили философию теологии; другие пытались соединить её с новой философией. Кабанис, Тюро, Био, Ампер, Биран, Бенжамен Констан признавали, что с прошлым нельзя порвать абсолютно. Лишь один, или почти

один, Дестют де Траси молча протестовал против всякой, даже частичной, философской реставрации, до тех пор, пока Бруссе не вернул старой идеологии сторонников, но при этом исказил её характер, превратив орудие прогресса в оружие борьбы.

Идеологи третьего поколения любили и прошлое, и будущее, не желая приносить одно в жертву другому. Если некоторые из них, как Дежерандо и Ларомигьер, с ранних пор заняли видное место в школе благодаря своим оригинальным исследованиям, то они всё же не последовали за теми, кто считал, что старая философия должна быть полностью отброшена. Когда повсюду обратились к прошлому, они остались верны уже достигнутому и легко показали, что их положения никоим образом не противоречат религиозным убеждениям. Умеренные из обеих партий сочли превосходными те доктрины, в которых для них искусно сочетались прошлое и будущее. Порой даже ультраконсерваторы признавали, что эти идеи не подрывают устоев, и проявляли к ним уважение. Что же до их противников, те радовались успеху некоторых из идей, которые они сами прежде защищали или восхищались ими. Порталис и Сикар, Дежерандо и Прево, а особенно Ларомигьер и его ученики принесли школе новую популярность. Стараясь ни в письме, ни в преподавании не давать повода для критики их религиозных или политических взглядов, они позволили наукам развиваться, не следуя за ними, и тем самым дали возможность молодым школам возобновить и продолжить те исследования, которые и составили успех идеологов. История этого третьего поколения интересна влиянием, которое его представители оказывали на самых разных людей; интересна она и с точки зрения доктрин. Всё более ограничиваясь, эти доктрины представляют собой paupertina philosophia — бедную философию, которая никому не мешает, потому что не затрагивает вопросов, волнующих каждого, но именно потому перестаёт удовлетворять даже тех, кто считает её безупречной.

I

Portalis и философский дух; Сикар, его труды по грамматике, о глухонемых, его отношения с идеологами.

Порталис (Portalis) был предметом многочисленных исследований [1], когда занялись «людьми, которые способствовали восстановлению общества после его судорог и бурь». Во время Директории он выступал против «новых высылок эмигрантов», против мер, задуманных в отношении неприсоединившихся священников, утверждая, что «если компас открыл

[1] Речи и доклады о Гражданском кодексе, о конкордате 1801 года, изданные его внуком в 1844–1845 гг.; Сент-Бёв, Lundis (1852), т. V, с. 441 и др.

вселенную, то христианство сделало её общительной», и с успехом защищал эмигрантов, потерпевших кораблекрушение в Кале. Осуждённый на депортацию после 18 фрюктидора, он бежал в Швейцарию, затем в Гольштейн, где поселился у графа Ревентлау и сблизился с Штольбергами и Якоби. Именно там, уже почти ослепнув, он продиктовал своему сыну *Трактат об употреблении и злоупотреблении философским духом в XVIII веке*. Вернувшись во Францию после 18 брюмера, он стал государственным советником, принял активное участие в составлении Гражданского кодекса, в работе над Конкордатом [1] и показал, что органические статьи «примирят, так сказать, Революцию с небом». Он умер в 1807 году. Его труд, изданный лишь в 1828 году, принадлежит, как отметил Сент-Бёв, к «духу возвращения и религиозного пробуждения» [2]. Но он остаётся философом, и «его страдания не изменили его принципов». Он вносит коррективы, но сохраняет план Кондорсе: составляет разумную историю человеческого разума начиная с Возрождения, предлагает картину всех добрых идей, всех правильных методов, всех видов прогресса, отличающих и украшающих столетие. Философский дух для него — это *«дух свободы, исследования и просвещения: он хочет всё видеть и ничего не предполагать; он проявляется методично и действует с рассудительностью, оценивает каждую вещь согласно её собственным принципам, независимо от мнения и обычая, и не останавливается на следствиях, а восходит к причинам. В каждой области он углубляет взаимосвязи, чтобы открыть результаты, он сочетает, а не разъединяет части, чтобы сформировать целое; наконец, он определяет цель, объём и границы различных человеческих знаний и стремится довести их до высшей степени полезности, достоинства и совершенства»*. Отличный от философии, ограниченной определённым кругом объектов, он выступает как «результат сравнительных наук», применимый ко всему. Порталис восхваляет Локка, особенно Кондильяка, даже Мабли, Декарта, и — вслед за Дестютом де Траси — преобразует «я мыслю, следовательно, я существую» в «я ощущаю, следовательно, я существую». Не зная, что такое дух, не больше, чем мы знаем, что такое материя, он отбрасывает все системы, касающиеся союза души и тела, о котором мы не можем иметь ни непосредственного восприятия, ни опыта. Кант для него столь же опасен, как и Ламетри: зачем он возрождает изношенные системы, при этом с такой напыщенностью заявляя, будто откроет людям истины, до сих пор сокрытые от их разума, тогда как на деле он лишь порождает плохих рассуждателей, софистов и подрывает все основания человеческой уверенности?

---

1 «Не стоит колебаться, — говорит он, — противникам религиозных идей, между ложными системами философии и ложными системами религии. Ложные системы философии делают ум спорщиком и оставляют сердце холодным; ложные системы религии имеют, по крайней мере, то преимущество, что объединяют людей вокруг некоторых общих идей и располагают их к некоторым добродетелям. Сам философ нуждается, не меньше, чем толпа, в мужестве не знать и в мудрости верить».

2 Бональд написал о разводе по просьбе «знаменитого юриста Порталиса».

В 1828 году сын Порталиса занимал пост министра, тогда как Кузен и Дамирон пытались покончить «с сенсуализмом», в то время как Даннон, Бруссе, Андриё, Валет защищали идеологов. Для некоторых из последних автор *О злоупотреблении философским духом* стал союзником. Валет рекомендует читать его труд наряду с *Трактатом о системах* тем, кого он хочет отвратить от «бесплодных абстракций Кузена». Буйе объединяет его с Дестютом де Траси и вместе с «двумя людьми выдающихся достоинств» провозглашает бесплодность силлогизма [1]. И, по всей видимости, совет Валета был услышан, поскольку в 1834 году появилось третье издание сочинения.

Вместе с Порталисом был депортирован 18 фрюктидора и Сикар, доктринёр, подобно Лаканалю и Ларомигьеру. Но его философская карьера оказалась гораздо более извилистой и куда труднее поддаётся определению. После 9 термидора среди бумаг Кутона нашли книгу, на первой странице которой он написал компрометирующую посвятительную надпись; Лаканаль разорвал её и тем самым спас Сикара, которому впоследствии поручили преподавать в Нормальных школах искусство речи. Его курс был выдающимся и свидетельствовал о симпатии к идеологам. Предположив, будто «все грамматики сгорели в великом пожаре», преподаватель применяет анализ — по примеру Кондильяка и Дюмарсе — чтобы навсегда разрушить здание прежних методов и создать философскую грамматику. Только философия, по его мнению, знает подлинные источники истины и пути, к ней ведущие; она облагораживает, возвышает всё, к чему прикасается: она, если нужно, умеет вычислять движения небесных тел, исследовать причины наших ощущений и мыслей, вести нас по путям честного и истинного; «она не считает себя униженной анализом речевого инструмента, сопоставлением звуков голоса и знаков письменности». Сикар, излагая метод своего обучения глухонемых, напоминает, что «Конвент не желает исключать ни одного человека из числа тех, кому доступно благодеяние просвещения». Но, признавая, что все идеи даются нам через чувства и, следовательно, по поводу внешних объектов — а значит, что не существует врождённых идей — он, подобно Кондильяку, говорит о Боге, об имматериальной и бессмертной душе.

Будучи членом Института с момента его основания, Сикар писал Лаканалю (которого только что обошли в пользу Ла Ревейера-Лепо) письмо, в котором выражал благодарность за оказанную помощь в термидоре [2]. По его просьбе он

---

1 *Lycée, IV, 1829, стр. 123.*

2 «Этот соперник — единственный, кто оспаривал у вас пальму первенства; вы превзошли бы всех остальных: теперь, когда назван он, вас назовут тоже в первый же день. Те, кто предпочёл его вам, вернутся к вам, к кому должны были бы обратиться все голоса. Несомненно вспомнят, и я напомню тем, кто мог бы забыть, всё, чем обязаны вам науки, литература и искусства, и те, кто их культивирует. Настоящий основатель Нормальной школы, друг, утешитель людей пера, не будет подобен тому, о ком когда-то было сказано эта истина, столь жестокая для тех, кого она обвиняла:

Ничего не недостаёт его славе, недоставало нашей.

назначил Ларомигьера помощником преподавателя глухонемых. В Институте он читал мемуар *О методе обучения глухонемого*, своего рода развернутый и осмысленный экстракт из *Гермеса*, переведённого Тюро: «Переводчик, — говорил он, — достойно сражался с английским грамматиком, нередко опровергал его и всегда разъяснял». Затем он издаёт *Руководство для детства*, в котором стремился применить к обучению чтению истины, открытые Локком и Кондильяком. 18 фрюктидора его депортируют как роялиста. Именно тогда он и создаёт свои *Элементы общей грамматики*. В этом труде по-прежнему встречается восхваление Дюмарсе и Кондильяка, Харриса и *Энциклопедии методической*, «внесших столько глубины и распространивших столько света» в область грамматики. Однако он уже уделяет значительно больше места религиозным идеям. Впрочем, он не порвал с идеологами. *Декада* сообщает о его возвращении в VIII году, «после долгой ссылки», а в IX году — о его избрании, или точнее, переизбрании в Институт против Фонтана и Тьебо. Там же говорится, что в X году Сикар зачитал в Филотехническом обществе мемуар *О механизмах речи, рассматриваемых независимо от слуха*. В нём он, как сообщается, подкрепил свою систему экспериментами с глухонемыми от рождения, присутствовавшими на заседании, которые, не слыша самих себя, произносили различные гласные алфавита и все согласные, относящиеся к артикуляционным позициям голосового инструмента. В том же году он переводит и комментирует книгу Хартли *О человеке, его физических и умственных способностях, его обязанностях и надеждах* [1]. Предисловие никак не выдает в нём противника идеологов. По его словам, Хартли менее абстрактен и доступнее для широкого круга читателей, чем Локк, от которого он не слишком отличается; он яснее объяснил, как в человеке формируются идеи справедливого и несправедливого; он обогатил доктрину ассоциации учёными рассуждениями и удачно подобранными, яркими примерами, в значительной степени содействуя тем самым прогрессу искусства воспитания. В своих примечаниях Сикар не стал исправлять неточности, касающиеся физической организации человека, и ограничился утверждением, что человек отличается от животных — и в особенности от обезьян — тем, что они не способны к совершенствованию. Также он выделяет утверждение, что мозг есть особое вместилище идей, и указывает на злоупотребление автора словами, не разделяя при этом крайностей материалистов. Между впечатлением и ощущением, утверждает он, как ученик Мальбранша, должен находиться — чтобы одно вызывало другое — всемогущий Творец всего сущего. Отсюда он порицает язык некоторых современных идеологов, которые видят в человеке лишь животное с более тонкой и совершенной организацией, и рассматривают его душу как следствие, а не причину, как способность, а не как принцип [2]. И тот самый человек, которого чуть было не осудили как сторонника террора,

---

Ещё два-три дня — и один из моих самых дорогих друзей станет моим ценным собратом».

Поль Ле Жандр. Лаканаль.

1 Рибо замечает, что перевод неточен и неполон.

2 Ср. Кабанис, гл. IV, § 1.

говорит об известных жертвах, которые в последние времена шли на смерть, подобно путнику, спешащему достичь, без волнения и даже с радостью, благополучного конца своего пути! Не кажется ли, что перевод Хартли, который, несомненно, не мог не понравиться друзьям Кабаниса, был завершён уже после заключения Конкордата, после появления *Гения христианства* и после разрыва между Бонапартом и идеологами, которому, возможно, Сикар и обязан тем, что его имя было исключено из списка эмигрантов? Не разрываясь открыто с людьми левого лагеря, он целиком принадлежит правому [1].

Восхваление Наполеона появляется там, где его менее всего можно было бы ожидать — в примерах или вопросах общей грамматики. Так, великие эпохи французского народа, по мнению Сикара, — это: установление власти франков, каждая из трёх королевских династий, конец монархии, установление Республики и имперская или наполеоновская династия. Поэтому, когда Сикар в 1811 году писал Женгене, напоминая ему о знаках доброжелательности и дружбы, проявленных в самые трудные времена Революции, Женгене парировал: «Он мне это хорошо отплатил впоследствии, этот кривошейный аббат» [2].

Остаётся отметить заслуги Сикара в деле образования глухонемых. В своей теории знаков, в *Курсе обучения глухонемого* Сикар продолжал дело аббата де Лепе и трудился над подготовкой учителей, способных продолжить его дело. Хотя он, как справедливо заметил Дежерандо [3], совершенно напрасно смешивал метафизику с грамматикой, он дополнил номенклатуру, объяснив своим ученикам, каким образом грамматические формы отражают взгляды разума и функции идей, как в грамматических знаках воспроизводится живая картина умственных операций и их функций, и настаивал на значении синтаксических правил, чтобы глухонемой смог выражать свою мысль самостоятельно. В этом заключается его подлинная оригинальность.

---

1 Бюиссон, противник Сен-Ламберта и поклонник де Боналя, говорит о Сикаре, который самым недвусмысленным образом уверял его, что ребёнок приносит с собой при рождении собственный, отличительный голос (с. 162). Де Бональд цитирует Массие и его знаменитого учителя, чтобы выступить против современных физиологов и Кондильяка. Сикар представляется ему умом более развитым, чем Руссо, хотя он уже ставит его выше Кондильяка.

2 Сикар спрашивал Женгене, где тот опубликовал свою *Критику «Гения христианства»*. В этом эпизоде вновь обнаруживается его обычное двуличие. Он обращается к Женгене и, по-видимому, даёт понять, что будет говорить о «странном сочинении» так же, как и он, и говорит о нём, по суждению Сент-Бёва (Chateaubriand, I, 342), вещи достаточно верные и достаточно великодушные. Но при этом он сумел добиться, чтобы его Курс обучения глухонемого от рождения был предложен вместе с *Rapports* Кабаниса на соискание премии по морали или воспитанию.

3 *De l'Éducation des sourds-muets, I,* 504 и далее.

II

Дежерандо; его «Мемуары о знаках»; его эклектизм; этнологическая психология; моральная философия; История систем; синкретизм и эклектизм; классификация систем; глухонемые и немые; слепые; Прево, Дюмон, Лесаж, Бонштеттен.

«Есть, — говорит Сент-Бёв, — умы по существу мягкие, как, например, у Дежерандо; они проходят через различные эпохи, изменяясь с лёгкостью и даже с талантом; но ни от их трудов, ни от их воспоминаний не следует ожидать какой-либо оригинальности». С таким суждением нельзя согласиться целиком, и мы постараемся показать, что у Дежерандо есть подлинная оригинальность. К тому же можно ясно отметить явные различия между доктринами его ранних трудов и позднейших. Но и в его случае, как в случае Бирана или Ампера, следует спросить себя: не влияние ли идеологов изменило первоначальное направление его мыслей, к которому он вернулся, когда это влияние исчезло?

Дежерандо родился в Лионе в 1772 году, учился в коллегии ораторианцев и проявлял глубокую набожность. В шестнадцать лет он молился Богу, чтобы тот сохранил ему жизнь, которую он просил только для того, чтобы творить добро. В семинарии Сен-Иренея он завершил курс философии. Он собирался отправиться в Сен-Маглуар, чтобы принять сан, как вдруг Учредительное собрание упразднило монашеские конгрегации. Связанный с Камиллом Жорданом, он, по словам Минье, написал вместе с ним серию брошюр в защиту полной свободы совести. Мы не располагаем текстами Дежерандо, но Сент-Бёв сохранил несколько отрывков из сочинений Жордана. Эти брошюры были адресованы католикам, отказавшимся принять гражданскую конституцию духовенства. Оба друга, которых трудно разделить, предстают перед нами не только как спиритуалисты и деисты, как говорит Сент-Бёв, но и как христиане, весьма расположенные к католицизму, а также как политики с роялистскими склонностями. Оба приняли участие в восстании 1793 года. Отряд, в составе которого находился Дежерандо, был разбит войсками Конвента. Дежерандо, получивший пулю в ногу, был спасён их командиром. Город Лион был взят, семья считала его погибшим. Он вступил в один из егерских полков, с которым вошёл в Лион, где его узнали, и ему пришлось бежать в Швейцарию, где он вновь встретился с Жорданом. Вскоре он отправился в Неаполь, где вёл бухгалтерские книги у одного из родственников, а вечерами уединялся для работы в отшельническом приюте у подножия Везувия. После амнистии 4 брюмера IV года он вернулся во Францию и последовал в Париж за Жорданом, назначенным депутатом. Известно, с каким пылом тот защищал религиозные идеи, а также людей, которые ради религии и короля прибегали даже к убийствам. Осуждённый на депортацию, как Порталис и Сикар, Жордан был спасён Дежерандо. Вместе они отправились в Германию. В Эльзасе Дежерандо познакомился с мадемуазель де Ратссамхаузен. Она была умна и кротка, любила Бога, своих родителей, друзей, книги, сельскую местность, прогулки, и

особенно — несчастных [1]. Она была также глубоко набожна и восхищалась Бонапартом. Склонная к психологическим размышлениям, в которых искала пути к самосовершенствованию, и она оказала на Дежерандо влияние, способствовавшее тому, что он стал человеком религиозным и глубоко озабоченным нравственным самосовершенствованием.

Именно в Тюбингене, и, по-видимому, по совету той, что должна была стать его женой, Дежерандо изучал немецкий язык и литературу. В феврале 1798 года она поздравляет его с успехами и ставит немецкую литературу выше французской, упоминая наряду с Кантом — Клопштока, Геснера, Галлера, Шиллера, Гёте, Гердера, Фосса, Шлоссера, Рихтера [2]. Таким образом, именно Эльзас в этот период служил переходной зоной между Францией и Германией [3]. В 1798 году, будучи солдатом 6-го егерского полка, Дежерандо принял участие в конкурсе на тему о влиянии знаков. Его мемуар, переписанный невестой и двумя её подругами, был отправлен в Институт в конце декабря. Дежерандо заключил гражданский брак с мадемуазель де Ратссамхаузен, с которой ранее уже венчался по религиозному обряду [4], и обучал общей грамматике свою жену и её сестру.

По докладу Рёдерера, мемуар Дежерандо был удостоен премии. После поездки в Лион молодожёны переехали в Париж, и Дежерандо сблизился с идеологами и госпожой де Сталь. Именно в её доме в Сен-Уэне он занялся пересмотром своего *Мемуара о знаках* и превратил его в сочинение объёмом в четыре тома, два из которых вышли в вантозе, а два других — в прериале VIII года. Дежерандо тщательно переработал текст, гораздо глубже изучил язык различных наук и внимательнее рассмотрел разнообразные проекты по созданию философского и универсального языка. Он исключил несколько глав, касающихся различных метафизических систем, и особенно немецкой философии. Автор ссылается на Бэкона, Лейбница и, прежде всего, на Локка, Кондильяка и Кур де Жеблена, но считает, что эти мыслители далеко не исчерпали богатую тему, которую представляет для размышлений связь между знаками и искусством мышления. Подобно другим идеологам, он не является строгим учеником Кондильяка, упрекая того в слишком абсолютных максимах, вроде: «изучение хорошо изложенной науки это всего лишь изучение хорошо устроенного языка; все прочие науки обладали бы той же простотой и достоверностью, что и математика, если бы им был дан такой же строй знаков», и в несовершенных наблюдениях и чрезмерных выводах. Он собирает всё, что может дать наблюдение о нашем прошлом состоянии, прежде чем выдвигать гипотезы о возможном прогрессе; стремится точно определить, какую помощь мы получаем от знаков, прежде чем говорить о том, какую помощь ещё могли

1 Письма баронессы де Жерандо за 1800–1804 гг., изданные её сыном.

2 С. 45 и след., Письма мадам де Жерандо.

3 Ф. Пикаве, *Философия Канта во Франции с 1773 по 1814 год*.

4 Несертифицированный (неприсягнувший) священник дал им брачное благословение ночью, в часовне Вогезов. Письма мадам де Жерандо, с. 156.

бы из них извлечь. В первой части, анализируя факты, он пишет историю того, чем мы были, и исследует, каким образом наш разум использовал знаки, как они повлияли на успехи или изъяны нашего знания. Во второй части он строит теорию и старается определить, до какой степени совершенства могут быть доведены знаки и какие результаты могли бы дать предполагаемые реформы в этой области. Каждая из этих частей делится на два раздела. История возникновения знаков и формирования наших идей сопровождается исследованием тех операций, которые человеческий разум осуществлял над самими знаками и над идеями. Точно так же, как он сначала исследует, каким образом усовершенствование искусства знаков может способствовать нашему продвижению в познании фактов, Дежерандо затем задаётся вопросом, как оно могло бы содействовать и в поисках абстрактных истин.

В сочинении Дежерандо можно найти остроумные идеи, справедливые размышления, изложенные, как отмечала *Декада*, часто с излишней многословностью [1], но всё же полезные для психологов и филологов. Впрочем, в нём нет ничего, чего бы уже не встречалось в более сжатой или, напротив, менее разработанной форме у Дестюта де Траси, Гара и Рёдерера. Подлинная оригинальность Дежерандо заключается прежде всего в том, как он отходит от Кондильяка. Он обращается не только к философам XVIII века, но ко всем мыслителям всех времён и, задолго до Кузена, проявляет эклектизм: «Я стремлюсь, — говорит он, — к той заслуге, что легче и, вместе с тем, утешительнее для сердца, сделать истину доступной и популярной. Вместо того чтобы на каждой странице цитировать философов всех веков, я предпочитаю честно признать с самого начала, что им я обязан всем... Я полагаю, что в философии почти всё уже сказано, и что не будет ничтожной славой, даже если ничего не прибавить, собрать рассеянные истины, освободить их от окружающих их заблуждений, расположить их в должном порядке и оказать философии ту же службу, какую трудолюбивые юристы оказали науке права, составив её кодекс и упорядочив все её части в единую светлую систему. Надежда сделать науку об идеях подспорьем для общего счастья, восстановить связь между тем интеллектуальным миром, в котором обитает метафизика, и тем социальным, по которому движутся положительные науки [2], вот единственная мысль, которая побудила меня к этому исследованию».

Он исходит из признанного всеми философами принципа, что исток всех наших знаний в ощущениях, но различает чувствовать или испытывать изменение (пассивное состояние) и воспринимать или осознавать это изменение (активное состояние). Иначе говоря, именно через внимание, как акт духа, ощущение преобразуется в восприятие [3]. Так же и с суждением: он не

---

1 Сент-Бёв, более неуважительный, говорит: «Они не просто мягкие, они тянутся, как макароны, и обладают способностью удлиняться до бесконечности, не разрываясь».

2 Отметим это выражение.

3 Таким образом, это различие было проведено в школе ещё до Бирана; ср. то, что было сказано о Ланселине и Ламарке.

сводит его к сравнению двух восприятий или двух идей, но признаёт суждение как первичное чувство, с помощью которого каждый осознаёт своё существование и существование внешних вещей, наряду с суждениями сравнения, с помощью которых мы выносим суждение о сходстве или различии результатов, предоставленных этим первым актом [1]. Исходя из того же принципа, Дежерандо различает **идею** — как отношение, возникающее на основе восприятия, и **образ** — как повторное возвращение ощущения. Утверждая взаимозависимость различных мозговых органов, ответственных за ощущения, он сводит механическую связь, определяющую возникновение и возвращение идей, к одновременности, последовательности и аналогии, и называет знаком всякое ощущение, возбуждающее в нас идею. Знаки, по его мнению, не являются необходимыми для формирования наших первых идей, хотя они и необходимы для образования некоторых из них. Против современных метафизиков Дежерандо оправдывает старую логику за то, что она учила — мы сравниваем идеи между собой, чтобы узнать, заключена ли одна в другой; вместе с Д'Аламбером и Кондорсе он признаёт, что разум, несмотря на все свои отклонения, всё же медленно, неощутимо, но неотвратимо движется к своей цели, он верит в совершенствуемость человеческого духа. Он стремится занять позицию между догматизмом, то есть методом абстрактных систем, который плохо начинает, и эмпиризмом или скептицизмом, который не умеет делать выводов; между мистическим экстазом Мальбранша и эпикуреизмом Гельвеция. Он утверждает, что, хотя силлогизмом злоупотребляли, это нисколько не доказывает, что он не нужен. Он защищает термин идеология, несмотря на попытки осмеяния, которым его подвергли. Наконец, он признаёт законность применения анализа, в который входят сократическая индукция, приведение к абсурду у схоластов, метод Локка, Руссо и Смита. Но он признаёт также и синтез, который можно найти в *Медитациях* Декарта, в трактате Кларка *О существовании Бога*, в сочинениях Лейбница и Аристотеля, в *Психологии* Бонне и в *Духе законов* Монтескьё.

Дежерандо, как член Института, представил там два мемуара о пасиграфии. В первом он утверждает, что пасиграфия основывается на порочной классификации, вызывает ложные ассоциации идей и только усугубляет и без того распространённое злоупотребление языком. Во втором он отрицает возможность её превращения в универсальный язык и указывает на множество преимуществ, которые мы извлекаем или можем извлечь из многообразия языков. Позднее он представил там же мемуар о Канте, в котором, отдавая должное плодотворному и смелому гению философа, а также обширности его знаний, он считает, что его метод, претензии и темнота изложения располагают к неверной оценке всей системы [2]. Мерсье и Виллерс оспаривали выводы Дежерандо, поддержанные *Декадой* и идеологами.

---

1 См. Ампера, гл. VII, § 4.

2 Ф. Пикаве, *Философия Канта во Франции с 1773 по 1814 год*, с. 20.

Его оригинальность проявляется также в *мемуаре о дикаре из Аверона*, а особенно — в *Рассуждениях о методах, которых следует придерживаться при наблюдении за дикими народами*, составленных им для капитана Бодена. Уже в своём первом сочинении он жаловался на то, что имеются лишь смутные сведения о церемониях, костюмах и внешних обычаях, о мнениях, идеях и нравственном состоянии диких и варварских народов. Вынужденный быть кратким и точным, Дежерандо составил для Бодена мемуар, который в наши дни был воспроизведён Антропологическим обществом как образцовый.

В IX году Республики Дежерандо преподавал моральную философию в Республиканском лицее. В своей вступительной речи он изложил её цель, характер и историю: она относится к человеку в двойном отношении, ибо, с одной стороны, именно в знании человека она черпает самые надёжные истины, а с другой — направляет свои наиболее полезные результаты к его улучшению. Через своё соотнесение с исследованием человека она соединяется с другими науками и выстраивается с ними в единую систему, в центре которой и находится. Её история делится на четыре основные эпохи: первая — это появление Сократа, который свёл мудрость к искусству познания самого себя; вторая — время формирования школ **стоиков** и **эпикурейцев**; третья — та, что с христианством соединила мораль с религиозными идеями; четвёртая начинается с Возрождения и представлена Монтенем, Бэконом, Гоббсом и теми мыслителями — англичанами и французами, — которые то представляли наблюдаемые ими факты, то сводили свои наблюдения в систему, то соотносили их с практикой.

Дежерандо избегал полемики, желая подать пример терпимости, принципы которой он исповедовал. Точно так же он избегал всякой отсылки, способной напомнить о временах национальных бедствий, с такой же тщательностью, с какой другие эти времена разыскивают: «Поскольку мы все страдали, — говорил он, — нам всем подобает забыть. Сегодня быть врагом настоящего и будущего, значит слишком настаивать на воспоминаниях о прошлом».

В трёх последовательных лекциях Дежерандо изложил затем теорию ощущений: он показал, как они образуют единую, внутренне связанную систему; как, соединяясь с общими законами природы и с законами моральных способностей человека, они становятся благодаря этому двойному соединению основанием нашего существования, источником нашего знания и принципом всех наших операций. Изучая отношение ощущений к нашему благополучию, он приписал основополагающий принцип этих двух модификаций (физической и моральной) двум различным степеням чувствительной интенсивности, определил моральные чувства, сопровождающие в нас эти впечатления, и вывел из них объяснение тех эффектов, которые они вызывают; в заключение он обратился с призывом к благотворительности [1].

[1] Décade philosophique, 10 плювиоза IX года.

Для Берлинской академии [1], Дежерандо составил мемуар, который разделил премию «с мемуаром одного берлинского еврея». Одновременно он был назначен корреспондентом Женевского общества искусств и Туринской академии. «Это, по крайней мере, — пишет *Декада*, — доказывает, насколько сегодня доктрина Локка и Кондильяка пользуется признанием со стороны самых просвещённых учёных обществ Европы». Гара, Рёдерер, Ампер, Кабанис, Биран [2] все они благосклонно встретили труд о знаках. Ампер ссылается также и на сочинение *О зарождении человеческих знаний*, а госпожа де Сталь пишет 23 октября 1802 года Камиллу Жордану: «Я читаю сочинение Дежерандо для Берлина — оно поражает меня своей истинностью и ясностью».

В феврале 1803 года Дежерандо завершил *Сравнительную историю философских систем в отношении к принципам человеческого познания*. Доктрина совершенствуемости (perfectibilité) привела Кабаниса к тому, что он признал за всеми системами значение, которого им не придавали ни Кондильяк, ни даже Дестют де Траси. Изучение Гиппократа возвратило его к **стоицизму**. Моральный, религиозный и философский эклектизм, к которому Дежерандо всё более и более склоняется, стал причиной того, что он написал *Историю систем* с редкой — как для своего времени, так и по сей день — беспристрастностью. Благодаря ему, как и благодаря Кабанису и Форьелю, исторический метод становится более широким и точным. И Дежерандо по праву принадлежит этой школе. Он с похвалой упоминает Кондорсе, Кабаниса, Бирана, Тюро, Дестюта де Траси, хотя и оспаривает у последнего одну «весьма остроумную гипотезу,

---

1 Она предложила в качестве темы для премии следующий вопрос: Доказать неоспоримым образом происхождение всех наших знаний, либо представив ещё не использованные доводы, либо представив уже использованные доводы, но придав им новую ясность и силу, способную одержать верх над любыми возражениями. К этому прилагался следующий комментарий: «Важный вопрос о происхождении наших знаний, обсуждавшийся во все времена, в наши дни был затронут с большей остротой, чем когда-либо; он, несомненно, представляет собой большой интерес, и хотелось бы, чтобы доказательства — за или против — были доведены до такой степени совершенства и очевидности, которая позволила бы философам занять по этому предмету определённую позицию, не впадая в синкретизм, который, подменяя интерес безразличием, оказался бы бесплодным для прогресса философии. Академия вовсе не разделяет взглядов тех, кто считает доказанным с математической очевидностью, что часть наших знаний берёт своё начало исключительно в самой природе нашего ума; напротив, она убеждена, что против этого мнения были выдвинуты существенные возражения, на которые до сих пор не дано удовлетворительных ответов, как она убеждена и в том, что существуют очень веские доводы в пользу мнения, выводящего все наши знания из опыта, хотя, возможно, эти доводы ещё не были представлены в их истинном свете».

2 «Мне приятно признать здесь, — говорит последний, — те обязательства, которые я имею перед трудом *О знаках* гражданина Дежерандо. Светлая теория, которую дал нам этот достойный автор, о формировании абстрактных и сложных идей различных порядков, о различении их качеств или различных свойств, о формах наших абстрактных суждений и т. д., была для меня весьма полезна в этой последней части моей работы. Воздавая ему здесь должное, я исполняю обязанность; выражая ему мою признательность, я повинуясь чувству». (Mémoire sur l’Habitude, с. 232.)

предназначенную для объяснения происхождения нашего знания». Эпиграф, заимствованный у Квинтилиана [1] мог бы стоять и во главе Наброска Кондорсе. Этот труд частично осуществляет то желание, которое выражал Бэкон, видеть, «ради умножения человеческого знания, осуществлённую универсальную историю наук и искусств». История философии становится новым предметом для размышлений, и та длинная цепь опыта, которую она предоставляет, как бы сама собой рождает важную теорию. Так как всякая философия в некотором смысле вращается вокруг своих первых принципов или первоначальных истин, находящихся в основе всех прочих, то необходимо после исторического изложения систем, созданных философами о началах человеческого познания, перейти к критическому анализу, в котором можно противопоставить их доводы и сопоставить их последствия. Основываясь на подлинных свидетельствах, классифицируют, делят, определяют доктрины и устанавливают признаки философских революций; затем извлекают из этого новый свет по отношению к фундаментальному вопросу.

Дежерандо не стремится ни к чему иному, как только дать общее введение в историю философии [2], и подготовить для своих преемников регулярную и простую номенклатуру, аналогичную той, что применяется в естественных науках. В семнадцати главах [3] он излагает представления, в большинстве своём до сих пор точные, обо всех школах, даже о тех, которые тогдашняя традиция считала наименее значимыми.

Достаточно привлечь внимание к главе, где он говорит о схоластике: «ничто не выглядит более несправедливо, чем презрение, с которым мы ныне относимся к этой великой дискуссии между реалистами и номиналистами, дискуссии, связанной с самыми прославленными доктринами античности и нового времени и касающейся основополагающего вопроса о происхождении идей. Эта полемика вернула духу независимость, открыла новые пути и подготовила спасительную реформу методов. Вместе с Лейбницем можно сказать: «золото скрыто в этом схоластическом навозе варварства» (aurum latere

---

1 «Им предстояло изобретать, нам же — познавать; столькими наставлениями, столькими примерами снабдила нас древность, что не может показаться, будто какое-либо время было счастливее нашего, для которого трудились прежние, дабы его обучить».

2 Заглавие было заимствовано, как и идеи, Кузеном.

3 I. Предмет и план. — II. Историки философии. — III. Происхождение философии. — IV и V. Первая эпоха: школы Ионии, Пифагор, Гераклит, школы Элеи, софисты. — VI и VII. Вторая эпоха: Сократ, Платон, три Академии, скептики, Аристотель, Эпикур, Зенон. — VIII. Третья эпоха: эклектизм или синкретизм, господство мистических доктрин. — IX. Четвёртая эпоха: арабы, схоласты, господство философии Аристотеля. — X. Пятая эпоха: реформа философии, Бэкон и его школа, экспериментальные методы. — XI. Развитие учения Бэкона и Локка в Англии и во Франции. — XII. Философы, ограничившие принцип опыта более узкими рамками: Гоббс и его школа, эклектики, скептики, современные идеалисты. — XIII. История картезианства. — XIV. Лейбниц и Вольф, духовный автоматизм, принципы противоречия и достаточного основания. — XV. Школа Лейбница и Вольфа. — XVI. Кант и его школа, критицизм. — XVII. Судьбы критической философии и системы, вышедшие из школы Канта.

in stercore illo scholastico barbariei) [1]. Если мы сопоставим Дежерандо и Дону, разве не будет справедливо утверждать, что, продолжая дело Д'Аламбера и Кондорсе, они внесли свой вклад в то, чтобы открыть нам Средние века и побудить нас к их изучению, несмотря на то, что о них всё ещё упорно продолжают говорить как о чём-то «неизвестном и презираемом идеологами»? [2]. Точно так же, читая страницы, посвящённые шотландской и немецкой философии, мы снова будем склонны повторить sic vos non vobis — «вы трудитесь, но не для себя», — видя, что сегодня ежедневно пишут о Руайе-Колларе и мадам де Сталь.

Отделяя синкретизм, который смешивает в одно целое самые разнородные элементы, от эклектизма, который извлекает из различных учений, путём разумного выбора и вдумчивой критики, всё полезное, что может содержаться в каждом из них, Дежерандо видит в истории средство различить — по устойчивым и достоверным признакам — ложную философию от подлинной. Множественность систем была подготовкой к открытию истины; многие мнения, не являясь истиной в полном объёме, составляли её начало. Их различие объясняется их неполнотой, и каждое имеет свою ценность, поскольку приносит элементы, необходимые для формирования точных понятий. Следуя Лейбницу, нужно отбирать максимы философов, прослеживать их истоки у античных авторов, схоластов, немцев и англичан, извлекать золото из грязи, алмаз — из недр, свет — из тьмы, чтобы создать подлинную философию, perennis quædam philosophia, своего рода вечную философию. Поэтому, завершив историческое изложение, он извлекает из него итоги. Все системы стремятся понять, как познания возникают, как они формируются и обосновываются; он исследует их достоверность, происхождение и реальность. Отсюда — догматизм и скептицизм, эмпиризм [3] и рационализм, наконец, материализм и идеализм, между которыми он выдвигает срединную позицию: утверждать только после сомнения, примирять чувства и разум, признавать реальность объектов, познаваемых как внешними чувствами, так и внутренним ощущением [4]. Если проследить историческую преемственность систем, можно увидеть, что сначала возникает эмпиризм, за которым появляется рационализм. Из борьбы между ними рождается

---

1 См. суждения об Альберте Великом, Гийоме д'Оверни, святом Фоме, Дунсе Скотте, Анри де Гане, Гийоме д'Оккаме и др.

2 См. Ф. Пикаве, *Revue critique* (рецензия на Duns Scot Плужанского).

3 Дежерандо присоединяет к этому эпитету (с. 341) слово «сенсуализм», уже употреблённое Виллерсом и тем словом, с помощью которого позднее должны были бороться с его школой.

4 Г-н Ферра, *Spiritualisme et Libéralisme*, с. 177, сблизил Дежерандо с Гегелем, соединяющим посредством синтеза тезис и антитезис, и видел в нём предшественника Кузена в отношении эклектизма и классификации систем — сенсуалистической, идеалистической, скептической и мистической; и, кажется, с основаниями, но забыв о Кабанисе и Форьеле и приуменьшив замысел Дежерандо, куда менее простой и более точный, чем у Кузена. Ср. Тэн, op. cit., с. 149: «Самый верный ученик Кузена, г-н Сессэ, опроверг в Нормальной школе теорию четырёх систем».

скептицизм, утверждающий, что ни чувства, ни разум не способны дать подлинное знание. Тогда предпринимается попытка их соединения: эмпиризм уступает место философии опыта, рационализм — спекулятивной философии, где разум ставится на первое место, а чувственные истины на второе. Экспериментализты выводят идеи из чувственных восприятий, тогда как спекулятивные философы признают врождённые идеи; первые предпочитают аналитические методы, вторые синтетические. Споры вновь возникают относительно реальности объектов, к которым мы относим внутренние или внешние ощущения: материалисты полемизируют с идеалистами, среди которых находятся идентисты — не признающие даже самого "я" и замыкающиеся на нескольких абстрактных аксиомах, независимо от всякого бытия; они составляют авангард и своими спорами порождают абсолютный скептицизм. Тогда становится очевидной необходимость определить, что такое наука. Между революциями этих различных систем существует внутренняя связь. **Философия опыта** исправляет поспешность догматизма скептицизмом благоразумия; она отвергает абсолютный скептицизм авторитетом фактов; она освобождает человеческий дух от оков эмпиризма, возвращает ему вместе с методами и дедукцией способность к обобщению; она возвращает рационализм с расплывчатых пространств, в которых тот блуждал, к точным данным наблюдения; она предлагает идеализму и материализму договор о мире, основанный на двойственном опыте внешних чувств и внутреннего чувства. Неизменная, поскольку ей удалось найти великую формулу равновесия, она как бы держит равновесие между системами [1].

Дежерандо читают так мало, особенно в его первом издании *Сравнительной истории*, что из него с лёгкостью можно было бы извлечь немало идей, которые кажутся оригинальными, когда встречаются у его последователей [2]. Де Бональд почерпнул из него доводы, чтобы показать, «что Европа, центр и очаг всех просвещённых знаний, всё ещё ожидает философии»; Биран взял из него аргументы против де Бональда. Этот труд был переведён на несколько языков. Теннеманн восхвалял его; Дугалд Стюарт видел в нём, в этом редком сочетании

---

1 Г-н Дежерандо приписывает ей даже политические преимущества: «Эмпиризм противится всякой реформе, умозрительные философы вызывают её необдуманно, философия опыта сообразует её с эпохой, с нравами, с уроками прошлого, с обстоятельствами настоящего». Понятно, что такая философия могла понравиться Бонапарту и что он использовал услуги того, кто её исповедовал.

2 Сравнение философии и изящных искусств, использование чудесного в системах, искусство образовывать секту, различение современной философии и древней, проблемы, которые ещё предстоит решить, и те, что являются неразрешимыми, и т. д. Ср.: Равайссон, *Rapport*; Бутру, *Introduction à la traduction de la Philosophie grecque* Зеллера; Брошар, *Le Scepticisme dans l'antiquité grecque*; Виктор Эггер, *La Science moderne* (Revue internationale de l'enseignement, 15 августа 1890); Дюбуа-Реймон, *Les Sept énigmes du Monde* и др.

эрудиции, благородства чувств и философской глубины, поразительное и полное сходство со своими собственными взглядами [1].

Сначала секретарь Консультативного бюро по делам искусств и торговли, Дежерандо стал затем генеральным секретарём Министерства внутренних дел; потом — мастером прошений, был отправлен в Италию, во Флоренцию и Рим, стал государственным советником в 1811 году и интендантом Каталонии в 1812-м. Таким образом, он всё больше сближался с Наполеоном. Произошли трения с идеологами. В своём *Докладе о прогрессе философии* Дежерандо хвалил Канта, немецкие работы по истории философии, превозносил Дугалда Стюарта и упоминал о французской школе лишь как о той, что исправила доктрину Кондильяка. Министр, которому в отношении прочих докладов было поручено «устанавливать границы определённым мнениям [2], противоречащим общественной морали», переложил свою ответственность на Дежерандо, которому пришлось вносить исправления и давать советы людям, чьё превосходство он признавал при множестве случаев: «Они восприняли это как уязвление самолюбия, — говорит мадам Дежерандо, — и последовала буря негодования против того, кто придал форме дружеского совета то, что могло бы стать приказом свыше» [3].

В 1814 году Дежерандо входит в состав Философского общества, заседавшего у Бирана. В 1818 году он преподаёт административное право на юридическом факультете в Париже и публикует четыре тома своих *Институтов*. Один из основателей Общества начального образования, он предлагает для учителей начальных школ *Нормальный курс*, в котором разъясняет направление, которое следует придавать физическому, нравственному и интеллектуальному воспитанию. В 1822 году он выпускает значительно дополненное издание *Сравнительной истории* [4]. Ампер жаловался, что Кузен развивает его идеи, не ссылаясь на него; Биран же говорил, что если Кузен охотится на его угодьях, то делает это с его полного согласия, и что у него, Бирана, есть хорошая доля этой добычи. Издатель Дежерандо, по-видимому, также намекает на то, что Кузен был ему обязан: «Читая, — говорил он, — программы курсов, открытых в последние годы на факультете словесности Парижской академии, можно убедиться, что профессора, как правило, приняли за основу своего преподавания именно ту идею, на которой покоится труд господина Дежерандо». Дамирон и Кузен хотели показать, что во втором издании, как и в последующих работах, Дежерандо отошёл от

---

1 Третий опыт, с. 14. — В этом сочинении Дежерандо следует отметить некоторые выражения, которые мы уже указывали у Тюро: доктрина позитивная, опыт позитивный, науки позитивные и т. д.

2 *Письма мадам де Жерандо, с. 226*.

3 В то же время Сент-Бёв (С. Жордан) отмечает охлаждение между Дежерандо и мадам де Сталь.

4 Четыре тома, охватывающие период до конца схоластики, тогда вышли; ещё четыре тома, посвящённые современной философии, были опубликованы его сыном.

идеологов. Однако он не отказался ни от одной из своих прежних позиций: он по-прежнему восхваляет Бэкона, Кондорсе и Кабаниса. Но с этого времени он всё больше занят моральными и религиозными идеями, которые ещё в юности привлекли его внимание. Уже в 1820 году он пишет *Посетитель бедняка*, а в 1824 году выходит его книга *Нравственное совершенствование*, посвящённая его жене и опубликованная после смерти той, кого он столь нежно любил. В этой книге Дежерандо часто говорит о Провидении и о Боге, но при этом он защищает философию опыта от её противников, которых, впрочем, не называет. Если он и приветствует разумный эклектизм, который заимствует у каждой системы всё ценное и отвергает лишь неполное, он тем самым лишь повторяет то, что уже развивал в своих первых сочинениях. Если он видит в человеке религиозное существо, он продолжает — вслед за Кондорсе — считать его существом способным к совершенствованию и верить, что человек может возвышаться и развиваться путём непрерывного прогресса. Если он христианин, то не в духе тех, кто привязывает себя к поэтической стороне христианства и превращает его, подобно Шатобриану, в нечто вроде суеверия и идолопоклонства. Впрочем, после этой книги, в которой содержатся банальности, повторы и даже напыщенность, но также и весьма интересные вещи, Дежерандо вновь возвращается к изучению идеологии.

В своём *Отчёте* 1808 года и в *Истории* 1822 года Дежерандо уже указывал на интерес, который могло бы представлять наблюдение за глухонемыми до начала их обучения. Говоря об одной глухонемой и слепой девушке, он писал: можно было бы составить книгу об истории её разума, и эта история имела бы, по крайней мере по сравнению с вымышленной *статуей* Кондильяка, то преимущество, что она была бы во всём — положительным опытом. Будучи администратором института для глухонемых, он после смерти Сикара получил поручение представить сравнительную и обоснованную картину различных методов, применявшихся для их воспитания, и предложить возможные пути их прогрессивного усовершенствования. В двух томах он написал свой труд *Об обучении глухонемых от рождения*. В первой части он излагает принципы и цели преподавания; во второй он пишет историю искусства обучения; в третьей рассматривает достоинства различных систем и указывает на усовершенствования, которым они поддаются. Историческая часть свидетельствует о достоверной эрудиции и остаётся актуальной до сих пор; догматическая часть, одна из самых интересных, и она показывает, насколько полезным было бы изучение психологических вопросов для тех, кто занимается глухонемыми. Однако в этой книге, где Прейер [1] и в наши дни отмечал очень удачные наблюдения относительно приобретения языка ребёнком, мы хотим указать лишь на то, что действительно оригинально и напоминает об идеологе. Вспоминая свой *Мемуар* для Бодена, Дежерандо сожалеет о том, что для глухонемого не делается того, что уже пытались осуществить для дикарей. Описание их умственного развития, их верований и предрассудков, их языков

[1] Прейер, *l'Âme de l'Enfant, c. 498.*

было бы крайне полезно для изучения философских наук. Необходимо было бы наблюдать их в семьях и в полной свободе, в различных жизненных обстоятельствах и в разном возрасте. Увы, и он сам не предпринял систематического и последовательного исследования того, что сам же называет *естественной историей глухонемого*, хотя и предоставил некоторые небезынтересные сведения о Джеймсе Митчелле, слепом и глухом, и об одной девушке, глухонемой и слепой, весьма схожей с Лаурой Бриджмен [1]. Более того, будучи губернатором и администратором госпиталя Кенз-Вен (Quinze-Vingts), он пришёл к сравнению положения слепых и глухонемых и сделал некоторые наблюдения относительно моральных и интеллектуальных качеств первых. Как жаль, что он не был сдержан влиянием Дестюта де Траси и Кабаниса! Вместо четырёх томов о *Общественном благотворении*, которые могли бы написать и другие, он, возможно, оставил бы нам — о дикарях, глухонемых и слепых — труд, который, пожалуй, даже более, чем его *История*, поставил бы его в ряд мыслителей, о которых помнит потомство. Вместо оригинальных идей, нередко не доведённых до применения и рассеянных более чем в двадцати пяти томах, он мог бы создать подлинное произведение [2].

О Прево (Prévost) из Женевы уже не раз шла речь [3]. Переводчик Адама Смита, он дал весьма точную характеристику трёх философских школ — французской, шотландской и немецкой; он восхвалял Гара и Тюро и был отмечен в конкурсе на тему *О влиянии знаков*. Как корреспондент Института, он в XIII году Республики заимствует эпиграф для своих *Философских эссе* [4] у автора *О зарождении человеческих знаний*. Повторяя деление на три школы, он упоминает Дестюта де Траси, чьи принципы, по его признанию, он пока что не может полностью принять, хотя и заимствует у него немало; Бирана, который с научной точностью развил теорию привычки, изложенную Дестютом де Траси; Дежерандо, глубоко проанализировавшего, каким образом способности способствуют формированию наших идей, — но прежде всего Дугалда Стюарта и шотландцев. Четыре года спустя он посвятил Дежерандо перевод *Элементов философии человеческого духа* Дугалда Стюарта, сопроводив его письмом, из

---

1 О Лауре Бриджман см. *Revue philosophique*, I, 401; VII, 316.

2 Дежерандо, вернувшись в Академию моральных и политических наук и став пэром Франции, за шесть месяцев до своей смерти председательствовал в комиссии, назначенной для оценки конкурса о Ларомигьере, и просил участников быть более справедливыми к философам французской школы, чьим следам следовал Ларомигьер. О Дежерандо см.: Кузен, *Fragments philosophiques*; Дамирон, *op. cit.*; Журден, *Dictionnaire philosophique*; Мине, *Notice*; Ферра, *Spiritualisme et libéralisme*; Жюль Симон, *Une Académie sous le Directoire*; Поль Жане, *Victor Cousin et son œuvre* и др.

3 См. гл. I, § 2; гл. VI, § 5.

4 «Философия — это практическое искусство, которое стремится научить нас правильному использованию даров природы, которое ищет сделать нас более просвещёнными, чтобы сделать нас лучше».

которого видно, насколько тесными были в ту эпоху, как и в XVIII веке, связи между философами Франции, Шотландии и Швейцарии [1].

К Прево можно было бы приблизить Дюмона, друга Мирабо и переводчика Бентама, который познакомил континентальную Европу с его идеями; Валькнера, который в 1798 году в своём *Опусе об истории человеческого рода* ссылается на Бэкона, но выступает против Вольтера, Монтескьё, Гельвеция, Ларошфуко и Мандевиля, призывая на помощь Смита и Стюарта, переведённого Прево; Лесажа, чьи небольшие трактаты следуют за *Философскими эссе* и в которых Поль Жане отметил весьма интересные идеи о конечных причинах [2].

Но особого упоминания заслуживает Бонштеттен (1745-1833). Он знал Вольтера и Бонне, Бенжамена Констана и мадам де Сталь. Биран его читал и цитировал. В своём сочинении *Исследования об воображении* (1807) он различает чувства и идеи, упрекая современных авторов в том, что они изолировали факты, которые следовало бы наблюдать в их взаимной связи. Он критикует Канта, часто упоминает Бонне и Лейбница, иногда Пинеля, но мог бы отдать Кабанису должное за немало справедливых, пусть и поверхностных мыслей, которые он включает в своё изложение [3]. *Исследования о человеке* (1821), где упоминаются Гельвеций и Локк, Бонне и Бэкон, Гердер и Юм, Смит и Лейбниц, Ривароль и Дидро, Кант и Гарве, направлены на развитие теории чувствительности и посвящены вопросам ощущения, связи идей, нравственного чувства, истины, бессмертия души и существования Бога. Идеологи видят в мышлении только идеи; но необходимо включить в него чувство как составную часть, а не как нечто внешнее или добавочное. Тем не менее, аналитический метод остаётся единственным методом изобретения, поскольку наши знания вначале заключены, как семя, в ощущения, крайне сложные и туманные [4].

III

Ларомигьер и Кондильяк; доктрины Ларомигьера до 1811 года; Парадоксы Кондильяка; Лекции; их успех; эклектизм; изменения в лекциях.

Для Дестюта де Траси, Вольнея, Кабаниса, Кондорсе, так же как и для Ламарка, Ж.-Б. Сэя, Тюро, Ампера, Лапласа, идеология и науки были

1 Дежерандо сам писал в 1804 году: «Я с удовольствием и как с долгом заявляю, что многим обязан за шотландскую философию указаниям, которые мне были даны моими достойными друзьями, господами Прево и Пикте».

2 Поль Жане, *Les Causes finales*, 1-е изд., с. 619 и след.

3 Например, различение шестого чувства.

4 Ср. Кабанис и Дестют де Траси, гл. III–VI, passim.

союзницами, которые могли добиться результатов лишь действуя сообща. С Ларомигьер же строит философию, за исключением некоторых математических общностей, независимо от наук. Огюст Конт и позитивисты присваивают себе математические, физические и социальные науки; Бруссе и натуралисты создают биологическую философию; Форьель, Огюстен Тьерри и их преемники стремятся выделить философию истории; Шарль Конт, Дюнуайе, а также даже Бастиа продолжают в политической экономии идеологическую традицию, тогда как филологи идут в школу Германии и стараются догнать её на почве позитивного знания — прежде чем пуститься в умозрение.

У преемников Ларомигьера от научного сообщества осталась, строго говоря, лишь одна общая черта, но весьма существенная: **метод**. Однако человеческие качества Ларомигьера привлекали к его учению всех, кто с ним соприкасался; а достоинства его как писателя делали его сочинение особенно доступным широкой публике. Исключительно ясное и опирающееся почти исключительно на общепринятые понятия, оно было понятно людям светским, которым оно быстро давало навыки размышления и упорядочивания собственных идей. Его литературные достоинства ценили все, кто придаёт большое значение форме, в которую облечена мысль. Забота, с какой автор избегал всего, что напоминало бы полемику, всего, что могло бы пробудить гнев или ненависть, делала его сочинение особенно рекомендованным для отцов семейств, для которых взращивание мягких и добрых чувств представляется главной целью воспитания. То же самое относилось и к преподавателям, которым, особенно в годы религиозной борьбы, книга нравилась ещё по одной причине: излагаемые в ней доктрины находились в согласии с христианством; философия, не становясь служанкой богословия, тем не менее не демонстрировала ни дерзости, ни экспансивности; она никоим образом не стремилась занять место религии. Вот почему, за исключением тех, кто вовсе не желал никакой философии, большинство представителей духовенства находили её безупречной и нисколько не возражали против её присутствия в школьном преподавании даже в самые смутные периоды [1]; последним из «ларомигьеристов» был аббат, бывший учеником Ларомигьера во времена Реставрации. Поэтому, когда духовенство, испуганное дерзостью некоторых преподавателей, начнёт нападать на философское образование, политики, которым придётся рассеивать эти опасения, будут ссылаться на *Уроки*; и Кузен, и Вильмэн сочтут это сочинение «освящённой книгой»; Июльская монархия, как и Империя, вручит её молодёжи. К этому добавим, что противники эклектизма, не имея возможности преподавать собственные учения, не преминут предложить, в случае если будет установлен официальный курс, выбрать философию *Уроков* — ясную, изложенную в превосходных выражениях, осторожную и не задевающую ничьих убеждений. Учёные вновь обретут в ней свой метод и не будут враждебны этой школьной философии; они

[1] Именно именем Кондильяка и самого Локка в Риме выдвигали возражения против Ламенне.

скажут себе, что её изучение полезно, пусть и недостаточно, для тех, кто однажды захочет присоединиться к их исследованиям. А если позже философы, изучившие науки, осознают это методологическое родство, они с лёгкостью покажут, какую пользу это принесло философии, и подчеркнут необходимость более тесного союза между ними: и тогда хвала самому обаятельному и самому популярному, пусть и не самому великому или оригинальному, из идеологов послужит делу — и приведёт к появлению продолжателей, которые, усовершенствовав метод идеологов за счёт научных открытий, создадут для учёных новую идеологию.

Пьер Ларомигьер родился в 1756 году в Левиньяке, в Руэрге. Как и Биран, Лаканаль, Сикар и Дону, он получил образование у Доктринеров, а затем вступил в их конгрегацию. *«Нас было там,* — говорил он позже, вспоминая свой новициат, — *двадцать четыре юноши, которые, проведя восемь лет, набивая головы греческим и латинским, начинали осваивать искусство преподавания. Надо было начинать с самого низшего класса и в течение двух лет быть готовыми в любой момент ответить на любые вопросы, какие бы ни пришло в голову нашим начальникам нам задать. Часто, только соберёшься сесть за суп, раздавался голос: "Профессор шестого класса, поднимитесь на кафедру и изложите нам все трудности, связанные с союзом que, изложите мнение Порт-Рояля, объясните латинскую просодию, процитируйте третью песнь Энеиды, начиная с шестидесятого стиха…", — и потом следовали бесконечные словопрения и сверхчеловеческие усилия памяти. Через два года молодого преподавателя гуманитарных наук ждали испытания иного рода. Наконец, наступала очередь философии: Nego consequentiam; argumentum in barbara; distinguo — и надо было всё время говорить по-латыни, не допуская ни одного солецизма, иначе вызывал бы насмешки у ornatissimi auditores (самых знатных слушателей). После всего этого нам платили сто экю в год, давали в распоряжение хорошую библиотеку — и мы были счастливы, как каноники»* [1].

Постепенно он стал преподавателем пятого, четвёртого, второго классов в Мойсаке и Лаворе, затем третьего класса в коллеже Л'Эскюй в Тулузе. Он принял духовный сан, однажды отслужил мессу, и, как отмечали, довольно неловко [2]. В 1777 году он находится в Тулузе в должности репетитора по философии и, возможно, уже тогда, как и многие его современники, переписывается с Кондильяком, хотя никогда его не видел [3]. Он преподавал философию в Каркассоне, в Тарбе, где у него учился Доб, а также в военной

---

1 Минье, *Notice historique, Comptes* rendus de l'Académie des sciences morales et politiques. О Ларомигьере, см. Дону, *Notice*, 1839; Сафари, *l'École éclectique et l'école française, 1844*; Малье, *Mémoires de l'Ac. des Sc. m. et p*., 1847; Поль Жане, *Liberté de* penser, 1849; Тиссо и Лам. § 4; Тэн, les *Philosophes classiques* du XIXe siècle, 1858; Гасьен-Арнуль, *Étude sur Laromiguière* ; Комперэ, *Notice sur Laromiquière, acad. des jeux floraux*, 1869 et 1878, etc.

2 Поль Жане, op. cit.

3 «Я отдал бы всё на свете, — говорил он Перрару (Logique classique, с. 39), — за то, чтобы провести с ним короткую беседу».

школе Ла-Флеш, после чего в 1784 году вновь вернулся в Тулузу. Письма, адресованные его матери и брату [1] показывают его таким, каким он был всю жизнь: добрым и нежным, преданным и щедрым, всегда готовым помочь тем, кого любит, пусть даже и немного, всегда стремящимся сделать это с тактом, любезностью и жизнерадостным настроем, способным вызвать у тех, кому он помогал, ощущение, будто это они оказали ему услугу, предоставив возможность сделать добро. Впрочем, именно так он сам это и воспринимал. Этот же человек позже оплатит издание *Истории французов различных сословий за последние пять столетий* и напишет своему другу Алексису Монтею, что нашёл ему издателя [2].

Почти во всех учебниках фигурирует легенда [3], долго считавшаяся достоверной, но оттого не ставшая более обоснованной. Согласно ей, философия Кондильяка безраздельно господствовала во Франции вплоть до 1810 года, и только Ларомигьер, наряду с Руайе-Колларом, якобы выступил тогда против господствующей философии, главным образом под влиянием политико-религиозной реакции. Однако среди идеологов мы не находим ни одного подлинного ученика Кондильяка. Если они и ссылаются на него, то лишь в связи с методом. А ведь метод в XVIII веке, это общее достояние не только всех философов, но и всех учёных. Подобно идеологам, Ларомигьер принимает метод, рекомендованный Кондильяком. Но он остаётся учеником Кондильяка в куда большей степени, чем они: в метафизике он полностью его последователь и говорит о Боге, о душе как свободной, духовной и бессмертной сущности то же, что сказал бы Кондильяк — но чего не приняли бы ни Вольней, ни Кабанис, ни Дестют де Траси, ни даже Гара. Именно потому, что он был более кондильякианцем, чем его прославленные друзья, Ларомигьер и смог стать популярным в то время, когда их доктрины повсеместно оспаривались. Более того, тем, кем он был в 1811 году, он оставался и в 1793, и в 1798, и даже в 1784 году. Пока его коллега, аббат Руа, представлял старые доктрины, Ларомигьер преподавал происхождение идей. Он выступал против врождённых идей, как Локк и Кондильяк, утверждая, что все идеи предполагают ощущение, но при этом считал, что они возникают из применения активных способностей нашего ума к различным способам

---

1 См. письма, опубликованные Гасьеном-Арнулем в *Minerve.*

2 «Удовольствия духа обладают всегда новым обаянием, — говорил он своим слушателям… — но есть и более высокие. Какие бы восторги ни дарило открытие истины, возможно, что Ньютон, пресыщенный годами и славой, Ньютон, который разложил свет и открыл закон тяготения, оглянувшись назад, сказал себе: “Суета!”, тогда как воспоминание о добром поступке достаточно, чтобы украсить последние дни глубочайшей старости и сопроводить нас даже в могилу. Как же ошибаются те, кто полагает высшее блаженство в ощущениях! Они могут знать удовольствие, но не имеют понятия о счастье».

3 Она начинается у Дамирона (1828), который говорит «о привычках, которые надо одолеть, о предрассудках, от которых надо отказаться, о трудности, которую он испытал, расставаясь с идеями, которым отдал свою первую веру и первую любовь».

чувствования [1]. Всё ещё ученик Кондильяка, но также последователь Вольтера, Руссо и Монтескьё, он предлагал своим ученикам защищать тезисы, которые раскрывают в нём, наряду с автором *Уроков*, произведения, почтительно принимаемого даже самыми реакционными политиками и богословами Реставрации, — совсем иного человека: **сторонника Революции**, трибуна-оппозиционера, а подчас и заговорщика, пусть и менее пылкого, но столь же убеждённого, как Дону или Кабанис в последние годы Консульства. Текст одной из этих ученических диссертаций — Non datur jus proprietatis, quoties tributa ex arbitrio exiguntur («Право собственности не существует там, где налоги взымаются произвольно») — в определённой мере выражает политические стремления поколения, совершившего Революцию. Генеральный прокурор пожаловался на эту атаку против неограниченной до тех пор власти королевской власти. Парламент, тот самый, что осудил Ванини и Кала, подверг этот тезис цензуре, но, по-видимому, не смог воспрепятствовать Ларомигьеру устроить его публичное обсуждение [2]. Созыв Генеральных штатов был им благосклонно воспринят. «Как большинство людей учёных, — писал Дону, — особенно тех, кто тогда преподавал в университетах и духовных конгрегациях, он принял дело общественной свободы с открытостью и даже с неким воодушевлением».

В 1790 году, после упразднения конгрегаций, Ларомигьер начал читать публичный курс лекций по социальной философии, по правам и обязанностям человека и гражданина. Курс этот имел большой успех, предвещавший его будущее признание как профессора на факультете словесности [3]. Во время Террора он жил в уединении и, подобно Дестюту де Траси, Рёдереру и многим другим, искал утешения в философии. Его *Проект элементов метафизики*, который Жюль Симон назвал шедевром ясности и стиля — одновременно изящного и простого — вышел в свет в 1793 году. Это были первые две книги из задуманного десятитомного труда, который должен был охватывать анализ мышления, ощущений, идей, метафизические учения, происхождение морали, душу, животных, Бога, искусство рассуждения, а также наши ошибки и неведения. Сийес обратил на книгу внимание и дал её прочесть Кондорсе, Кабанису, Дестюту де Траси [4], и все они признали в авторе одного из своих. В возрасте тридцати восьми лет Ларомигьер, посланный в Париж департаментом Верхняя Гаронна, посещал, подобно Тюро, занятия в Нормальной школе, особенно лекции Вольнея и Гара. Последний, прочитав письменные замечания, направленные ему Ларомигьером, начал свою лекцию словами: «Здесь есть

---

1 «Он начал иметь, — говорит Миге, — в прошлом веке теорию, которая принесла ему известность; он давал в Тулузском университете — как он сам нам сообщает — те лекции, которые пятнадцать лет спустя, в 1811 году, имели столь живой успех в Сорбонне». — Г-н Комперэ отсылает к примечанию, следующему за преамбулой *Leçons*. Это примечание не встречается ни в первом издании, ни в пятом, ни в шестом и седьмом.

2 Поль Жане, op. cit.

3 Льяр, op. cit.

4 Поль Жане, op. cit. - Не знаю, верно ли это для Кондорсе.

человек, который должен бы стоять на моём месте»[1]. По рекомендации Лаканаля, Сикар назначил его помощником преподавателя в Институте глухонемых. Дону уступил ему кафедру всеобщей грамматики. В качестве ассоциированного члена Института, как и Дестют де Траси, Ларомигьер представил там три мемуара, которые, к большому сожалению, так и не были должным образом перечитаны при составлении истории его идей.

27 жерминаля IV года (16 апреля 1796 года) он зачитал [2] мемуар о определении слов, анализе ощущений. *«Будучи,* — говорил он, — *призванным участвовать в ваших трудах, я прежде всего захотел для себя самого прояснить предмет, который нам предложено обдумывать, и задался вопросом: что я должен понимать под этими словами — анализ ощущений».* Он совершенно ясно указывает точку зрения, с которой подходит к теме, отождествляя себя с умами обычными, для которых искусство должно уменьшать толщу покрова, скрывающего истину, и придавать ему такую прозрачность, чтобы можно было различить хотя бы основные черты истины, которую он прикрывает. Его размышления касаются лишь поверхности [3]. И в природе, и в искусстве все произведения вычерчиваются при помощи прямой и кривой — этих начал или первоэлементов всех форм. Зерно есть начало или первоэлемент муки, теста и хлеба. Таким образом, принцип это факт, который принимает последовательно различные формы. В природе и в искусствах мы находим явления или процессы, заключённые друг в друге и все — в самом первом, который служит им принципом: семя конопли становится коноплёй, нитью, тканью, бельём, бумагой; из яйца бабочки возникает гусеница, куколка, бабочка; сложение — умножением, возведением в степень, теорией показателей; внимание превращается в сопоставление, в соотнесение, в суждение, в рассуждение, в рефлексию, в воображение, в разумение; разумение имеет своим принципом внимание. Каждая наука имеет свои начала. Бесчисленные связи, которые тяготят над умом в науках самых сложных, суть лишь оттенки или комбинации немногих элементарных идей или ощущений. Живой и чистый источник сперва даёт лишь тонкий ручеёк, но воды, постепенно увеличиваясь, превращаются в конце концов в величественную реку и образуют океан — без дна и берегов.

Из совокупности ряда фактов, упорядоченных по отношению друг к другу и всех сведённых к одному первому факту, образуется система: один факт, одна идея, одно слово могут заключать в себе целую науку. Чаще всего принципы ускользают от нас: потребовались усилия веков и напряжение гения, чтобы увидеть связь между реальным движением Земли и видимым движением звёзд, между падением камня и орбитой Луны, между свойствами янтаря и явлениями молнии, между подъёмом паров и подъёмом воздушного шара, между

---

1 Ср. Малье и Миге, op. cit.

2 *Mémoires de l'institut national, t. I, p. 451 à 461.*

3 *«Среди описаний восприятия*, — говорит Тэн, с. 17, — *описание Ларомигьера одно из лучших и останется».*

природными способностями человека и его политическими правами. К тому же даже те системы, которые уже установлены, ещё весьма далеки от совершенства. Что же тогда думать об амбициозных умах, «которые дерзнули охватить в своих замыслах и необъятность явлений, представляемых зрелищем мира, и ещё более поразительную необъятность тех, что, скрытые в недрах природы, вечно ускользают от человеческого взгляда, — и попытались под заглавием “система мира”, “система природы” подчинить всё это системе»? Но можно с должной глубиной изучать факты, из которых мы хотим составить систему, изолировать их от всех, с которыми они переплетены, разложить совокупность, частью которой они являются, чтобы сосредоточить на них особое внимание и уловить их специфический характер, чтобы с лёгкостью их сравнивать и уловить связи, которые их объединяют. Когда разум разлагает целое на части, чтобы составить представление о каждой в отдельности, когда он сравнивает эти части между собой, чтобы обнаружить их взаимосвязь и таким образом восходить к их истоку, к их первопринципу, — он производит анализ.

Природа разнообразила свои творения: она показывает нам мёртвую и безжизненную материю; сокровенную силу, которая влечёт элементы друг к другу и удерживает их в вечном покое; материю, способную к организации, питающуюся, растущую и умирающую; живое существо, обладающее независимостью, движущееся, ищущее, преследующее и достигающее объект, удовлетворяющий его потребности; и, наконец, человека, помещённого в центре сферы живых существ, господствующего над минералами, растениями и животными благодаря своему высшему строению, способного к науке и добродетели — посредством разума [1]. Всякое движение в его органах или чувствах сопровождается удовольствием или болью, приятным или неприятным ощущением. Мы постоянно переживаем бесчисленные ощущения, и наблюдение различий, вызванных возрастом, страной, эпохой, полом, образом жизни, обнаруживает бесконечное множество новых вариаций в самой природе ощущения. Если бы всё, что есть в нас, сводилось только к ощущениям, если бы мы сами были ничем иным, как совокупностью ощущений, если бы вся Вселенная существовала для нас лишь как феномен, производный от нашей чувствительности, тогда полная анализа ощущений охватила бы в себе систему Вселенной. Но не универсальную систему вещей и не универсальную систему наук нужно здесь искать, а зародыш всякой науки и всякой человеческой силы. Человек получает впечатления, сравнивает их, судит о них, ищет одни, избегает других, сохраняет о них воспоминание, формирует на их основе устойчивые идеи. Он размышляет о самом себе, учится

[1] «Находясь среди существ и каждое мгновение поражаемый их различными впечатлениями, его слух воспринимает концерт птиц, его глаз — картину цветов, его обоняние — аромат цветов, его рот — вкус плодов, его руки сообщают ему о сопротивлении и форме предметов, которые они схватывают; всё его тело ощущает холод, тепло, влажность или сухость мест, где он живёт; наконец, вся природа, кажется, побуждает его наблюдать её влияние на свою судьбу».

познавать себя и управлять собой [1]. Он становится разумным, нравственным и мыслящим существом. Как же произошло, что ощущение превратилось в разум, нравственность и рассудок? Вот тот вопрос, который предстоит исследовать первому отделению второй секции Института.

Ларомигьер предстает таким, каким он и останется в своих последующих сочинениях. Он ограничивает свои исследования анализом идей и отделяет философию от наук; он говорит о метафизических вопросах так, чтобы не вызвать неудовольствия ни у спиритуалистов, ни у материалистов, ни у атеистов, ни у деистов. Подобно Кабанису, он упоминает природу, формирующую живые существа, материю, организующуюся сама по себе, и превосходство человека, проистекающее из его организации и физических способностей. Хотя он и не говорит об «душе», он формулирует в сомнительной форме утверждение, что всё, что есть в нас, — это только ощущения, и что мы сами — для самих себя — ничто иное, как ощущения. Он представляет возвышенную идею божества как высшую цель, к которой стремятся наш разум и наше сердце.

Стиль — ясен, элегантен, сдержан. Сначала возникает соблазн поверить, что перед нами сама истина, и дать системе полное и безоговорочное согласие. Но стоит лишь задуматься над поднятыми вопросами, как становится очевидным, что реальность ни так проста, ни так легко поддаётся заключению в рамки системы; слишком уж явно, как, впрочем, сам автор признаёт, что его размышления затрагивают лишь поверхность явлений; ясно, что ясность изложения не служит глубине, что сложность реального не была описана, а объяснение ещё менее полно, чем описание.

Но, как и в 1784-м, так и в 1793 году, Ларомигьер не является верным учеником Кондильяка. Он излагает теории, на которых основан кондильякизм [2], в сомнительной форме. Формулируя вопрос, поставленный перед Институтом — как ощущение превратилось в разум, в мораль, в разумность? — он предлагает краткий ответ: *«В метафизике,* — говорит он, — *видно, как внимание превращается в сравнение, в установление отношений, в суждение, в умозаключение, в размышление, в воображение, в разумение. Разум имеет своим источником внимание»*. И это не просто удобный пример для выражения мысли, а уже разработанная теория, о которой он говорил в частных беседах: Дестют де Траси даже счёл нужным обосновать, почему он не включил внимание в число элементарных способностей мышления [3]. Насколько нам

---

1 «Привлечённый чарами истины, которую он уловил, и красотой добродетели, которая дала о себе почувствовать его сердцу, он дерзает подняться к источнику прекрасного и доброго и устремляется к возвышенной идее божества».

2 «Если верно, что все наши знания основаны на ощущениях… если бы было верно, что всё, что есть в нас… было бы только ощущениями;… что мы сами по отношению к самим себе были бы лишь ощущениями».

3 См. гл. V и VI.

известно, только Ларомигьер в то время занял такую точку зрения. Он сохраняет её и во втором мемуаре, из которого был опубликован лишь фрагмент, поскольку внимание, размышление и анализ он называет средствами, с помощью которых мы открываем в предметах множество сторон — знание которых и отличает просвещённого человека от невежды. Наконец, ещё до этого последнего мемуара, Ларомигьер представил *Наблюдения о системе операций разума*. В первой части он рассматривает, насколько трудно открыть систему Кондильяка, и, представляя себе ситуацию, в которой она была бы ещё неизвестна, размышляет, по какой цепочке умозаключений можно было бы к ней прийти. Во второй — он её излагает, в некоторых местах модифицируя и добавляя новые идеи [1]. Никто не считал Ларомигьера простым и чистым кондильякианцем. Разграничение активности и пассивности, внимание как источник разумения — всё это воспринималось как модификации и дополнения, которые Ларомигьер стремился внести в систему Кондильяка.

Второй мемуар был посвящён определению слова **идея** [2]. «Именно способности различать между собой наши идеи и наши объекты, — говорит Ларомигьер, — мы обязаны тем, что вообще имеем идеи». Различая свои ощущения, человек переходит из состояния чувствующего существа в состояние разумного; от ощущений к идеям; чувство становится идеей, когда оно выделено из множества других, с которыми ранее сливалось. Идея — это, следовательно, выделенное чувство, различённое, замеченное ощущение. Восприятие — это не просто чувствование, но чувствование связей и отношений. Идея это ни мысль, ни некий реальный, независимый от наших ощущений сущий элемент, ни нечто среднее между сущностями и их свойствами, ни, как утверждает Мальбранш, сама сущность Божества, ни даже просто сравнённые ощущения, как считал Бюффон. Её собственная характеристика в различении объектов и их свойств, и поскольку мы познаём существование объектов только через ощущения, то именно в различении ощущений следует искать первоисточник нашего знания.

Овладев истинным значением слова идея, легко ответить на вопросы, которые обычно о ней задаются: — Спрашивать, предшествуют ли идеи ощущениям, значит спрашивать, предшествует ли различение ощущений самим ощущениям. — Спрашивать, независимы ли идеи от ощущений, значит спрашивать, можно ли замечать ощущения, не испытывая их. — Спрашивать, существуют ли врождённые идеи, значит спрашивать, есть ли идеи, предшествующие и независимые от ощущений. Чтобы отличить идеи от ощущений, необходимо признать: чувствовать отношения это не то же самое, что просто чувствовать. Всякая идея есть ощущение или его часть, но обратное

---

[1] *Notice des travaux de la classe des sciences morales et politiques* гражданина Талейрана-Перигорда, *Décade philosophique*, 19 января 1796 г. У нас есть только эта заметка, но она одна могла бы с несомненностью оправдать наши утверждения о развитии ларомигьеризма.

[2] Отрывок из этого Мемуара был опубликован вслед за Mémoire sur l'Analyse des sensations. Он занимает 8 страниц (с. 467–474).

неверно: не всякое ощущение становится идеей, ведь не все люди одного возраста, прошедшие через одни и те же обстоятельства и испытания, имеют одинаковый набор идей. Идея это не обязательно образ, поскольку, например, понятие протяжённости не содержится во всех замеченных нами ощущениях. Иметь идею, чувствовать различие, воспринимать — это одно и то же; и поскольку идея предполагает наличие ощущения, она не является самостоятельной операцией разума, ведь именно внимание, размышление, анализ позволяют нам открывать в объектах многообразие точек зрения, знание которых отличает образованного человека от невежды. Часто нам приходится вращать объекты, перемещать их, сопоставлять друг с другом, как говорил Руссо, чтобы заметить связи, которые их характеризуют. Таким образом, идея это результат операций разума, но не сама операция.

Кабанис говорил об этих двух *«Мемуарах»*, что Ламомигьер поставил в них несколько вопросов с большей точностью, чем это делалось ранее, — лишь посредством одного только определения некоторых слов. Сам Ламомигьер считал, что ему удалось уловить «первый луч человеческого разума». Однако на протяжении почти пятнадцати лет он оставит эти идеи дремать и едва ли будет представать перед публикой иначе как ученик Кондильяка.

Получив поручение наблюдать за знаменитым изданием, которое в нескольких пунктах обнаруживало доктрины, весьма отличные от тех, с которыми Кондильяк связал своё имя, Ламомигьер дополняет несколько глав *Языка исчислений* [1] и задаётся вопросом, как далеко могли бы зайти исследования, если бы их автор остался жив. Опираясь на свидетельства некоторых своих друзей и на отдельные указания, почерпнутые из прежних трудов Кондильяка, он полагает, что всем учёным остаётся лишь сожалеть о том, «что этот прекрасный памятник славы нашей нации и человеческого разума не мог быть завершён тем, кто заложил его основание». Кондильяк в этой книге, «отчаянно совершенной по стилю», обнажил самое сокровенное в приёмах гения, щедро раздавал новые идеи, важные наставления, наивные и утончённые, простые и поучительные размышления. Это был лишь пролог к более значительным и трудным трудам: по этому образцу и с этой методой Кондильяк развеял бы хаос, в который злоупотребления и пороки языка ввергли моральные и метафизические науки, превратил бы их неразборчивые жаргоны в прекрасные языки, которые все могли бы легко освоить, ибо даже самые недоступные, на первый взгляд, идеи выходили бы из обыденных понятий без усилия. Его восхищение Кондильяком только усилилось, и произведение, которое он предпочитал, — это *Язык исчислений*, который он прочёл множество раз и собирался перечитать вновь, будучи уверен, что найдёт в нём всегда новое удовольствие и почерпнёт оттуда всегда новое знание. Ламомигьер, чьи *Элементы* и *Мемуары*, по-видимому, имели немного

[1] 7-е изд., т. I, с. 327; де Шабрие указывает, среди прочего, на место с 154-й строки 10-й по 156-ю строку 4-ю и сообщает нам, что заключительная сноска принадлежит Ламомигьеру.

читателей [1], и который был известен в 1810 году главным образом по изданию трудов Кондильяка и по *Парадоксам*, в которых он систематически преувеличивал мысли учителя, таким образом мог быть воспринят как верный кондильякианец.

Ларомигьер, который отказался сопровождать Сийеса в Берлин, как это сделал Дону, и не пожелал последовать за Талейраном в министерство иностранных дел, с удовлетворением воспринял 18 брюмера. Он не захотел быть сенатором, вошёл в Трибунат, откуда был устранён вместе с Ж.-Б. Сэем, Б. Констаном, Дону, Шенье, Деренодом и другими; посещал обеды на улице Бак и собрания в Отёе. Став корреспондентом класса истории и древней литературы после упразднения класса моральных и политических наук, он никогда в нём не появлялся. Будучи хранителем библиотеки Пританэ, он вернулся к философии. Дестют де Траси советовался с ним, использовал его идеи и даже с большим остроумием приписывал ему «глубокое знание наших умственных операций». 20 вантоза XIII года (10 марта 1805 года) Кабанис [2] писал Бирану:

«Наш друг Ларомигьер только что опубликовал небольшой труд под названием *Парадоксы Кондильяка*, в котором он продвинул учение Учителя так далеко по ряду вопросов, что я сам не смог бы последовать за ним до конца; но его сочинение — это шедевр изложения».

Произведение вышло без имени автора [3]: «Это не потому, — говорил Ларомигьер, — что мне нравится скрываться, но мне не нравится выставлять себя напоказ». *Язык исчислений* не имел большого успеха: он выше или ниже уровня современной эпохи? Это остроумная болтовня, блестящая дедукция парадоксов? Или же самая истинная теория, самый совершенный образец рассуждения? Вместо того чтобы изложить доводы, которые удерживают его в нерешительности, Ларомигьер излагает принципы Кондильяка, доводя их до предела. Потому его убеждённость не всегда равна уверенности его стиля: его ум пребывает в сомнении, тогда как перо утверждает; он усиливает выражение, чтобы парадокс стал более заметным, а ошибка — легче опровержимой, если в парадоксе действительно заключена ошибка [4].

---

1 Дóб, который всегда поддерживал отношения с Ларомигьером, по-видимому, не знал последних в 1803 году.

2 Неопубликованные письма, переданные г-ном Навилем.

3 *Парадоксы Кондильяка, или Размышления о языке исчислений*, посмертное сочинение этого автора, год XIII (1805), 82 страницы.

4 Следует отметить эти выражения, которые объясняют отсутствие в этой книге теорий, свойственных Ларомигьеру.

В первой части [1] Ларомигьер показывает, как Кондильяк стремился вывести математику из своей логики, заново создать язык исчислений, на нескольких страницах, которые «навсегда свидетельствуют о гении их автора и о силе его метода».

Во второй части, или логической части, Ларомигьер резюмирует доктрину Кондильяка [2]. На какие основания опирается эта оригинальная и парадоксальная доктрина? Какие средства убеждения она использует?

Язык исчислений — это произведение чистого рассуждения, и не следует искать в нём методов прикладного искусства, экспериментального подхода, описательного анализа или чего бы то ни было, что сводится к простым ощущениям. Рассуждение по отношению к уму — то же самое, что рычаг неограниченной длины по отношению к руке, или мощный телескоп по отношению к глазу. Рычаги и телескопы духа — это методы, а методы — это языки. Наука есть последовательность рассуждений; рассуждение предполагает множественное суждение, касающееся сложных и общих идей. Сложные идеи предполагают знаки; общие идеи — это лишь обозначения: следовательно, мы можем рассуждать только при помощи знаков. Более того, рассуждение есть перевод, подстановка, преобразование, которые невозможно осуществить без знаков: рассуждение предполагает язык, и искусство рассуждать получило

---

1 В издании 1825 года первая часть насчитывает 41 страницу, вторая — 117; в издании 1805 года первая часть насчитывает 21 страницу, а вторая — 58.

2 *«Поскольку в силах человека не изобретать, то все его усилия могут привести лишь к нахождению некоторых истин. Неизвестное находят в известном, ибо неизвестное находится в известном; и оно находится там только потому, что оно то же самое, что и известное.*
Переходить от известного к неизвестному — значит, следовательно, переходить от одного и того же к тому же самому, от тождества к тождеству.
Всякая наука есть лишь длинная цепь тождественных положений, последовательно опирающихся одно на другое и все вместе — на одно основополагающее положение, которое является выражением чувственной идеи.
Различные превращения этой основной идеи составляют различные части науки; а проникновение одной и той же идеи во всё это разнообразие форм устанавливает её достоверность.
Даже самый могущественный гений вынужден проходить одно за другим, и никогда не перескакивая через промежуток, всю цепь тождественных положений.
И всё же, когда знаешь первое положение, знаешь второе; когда знаешь второе — знаешь третье и т. д., так что кажется, будто постигаешь всю науку, не выучив ничего нового.
Этот переход от тождественного положения к тождественному же положению называется рассуждением — это одно и то же.
Рассуждение — не что иное, как вычисление: следовательно, методы вычисления применимы к всякого рода рассуждению, и существует лишь один метод для всех наук.
Но операции вычисления — механические, следовательно, рассуждение механично во всех науках.
Сказать, что рассуждение механично, — значит сказать, что оно оперирует словами, знаками; следовательно, цепь рассуждений или наука — это лишь язык.
Но наука состоит из общих идей; следовательно, общие идеи — это только знаки, слова, наименования».

название логики — то есть речи. Если в морали и политике нельзя произвести тех счастливых преобразований, которые в математике позволяют нам перейти от наиболее абстрактных слов к словам, за которыми стоят лишь ощущения или чистые чувства, — в этом повинны пороки языка. При большей простоте, при помощи аналогии можно было бы рассуждать во всех науках так же, как в математике. Язык исчислений обладает аналогией, простотой и строгой определённостью знаков — тремя качествами, составляющими совершенство языка рассуждения. Из этих условий наиболее необходимым является определённость знаков. Но можно определить знаки и без помощи аналогии — во всех науках; следовательно, они тоже могут иметь столь же строгие доказательства, как и алгебра, даже не обладая столь совершенным языком.

Впрочем, в любом рассуждении происходит вычитание, прибавление или подстановка, как в науке о вычислениях: подставляется одно выражение вместо другого, отличного от него, при сохранении той же самой идеи — так же, как в исчислении суммы, разности, произведения, частные являются лишь сокращёнными выражениями, которые подставляют на место других, менее удобных, но содержащих то же самое число или ту же самую идею. Гоббс сказал, что рассуждение есть вычисление, Кондильяк это доказал; но он не свёл два выражения — рассуждение и вычисление — к абсолютной и непосредственной тождественности. Надо было сказать не то, что рассуждение заключается в составлениях и разложениях, а то, что оно заключается в подстановках: тождество слов показало бы тождество идеи.

Поскольку рассуждение не отличается от вычисления, достаточно рассмотреть ход, принятый в науке исчислений, чтобы научиться рассуждать. Переход осуществляется от сложения к умножению. Через частный случай сложения, где частичные суммы равны между собой, мы видим в сложении — умножение: неизвестное оказывается тем же, что и известное. Точно так же в метафизике и в языке Кондильяка: воображение это точка зрения размышления, размышление это точка зрения рассуждения, рассуждение — точка зрения сравнения, сравнение — точка зрения ощущения. Те же соотношения существуют между моральной свободой, волей, желанием и беспокойством, потребностью и ощущением [1]. Но математика это уже сложившаяся наука, тогда как метафизика — наука, которой ещё только предстоит стать таковой. В самом деле, не существует универсально принятого языка у метафизиков; в метафизике невозможно, как в арифметике, точно указать, на каком звене цепи остановились, потому что различные части метафизики не были систематизированы и не восходят к какому-либо единому и общему принципу [2].

---

1 Позднее Ларомигьер заменяет свою систему на систему Кондильяка.

2 Ларомигьер вновь излагает идеи своего первого Мемуара, прочитанного в Институте.

Но, скажут, вы вынуждены говорить о частичной тождественности — неужели ваш язык противоречив или легкомыслен? Тождество бывает полным — в уравнениях, где одна и та же величина выражена двумя различными способами, или в любом утверждении, которое содержит определение; оно частично — когда вторая часть суждения, то есть предикат, лишь обозначает одну из точек зрения на первую часть, на субъект. Легкомыслие было бы уместно только тогда, если бы речь шла о тождестве выражений, а не о тождестве идей. Из наблюдаемой истины, что тепло расширяет все тела, а холод их сжимает, Лавуазье заключает, что в природе нет соприкосновения: эти два положения тождественны, рассуждение при этом вовсе не легковесно. Демонстрировать значит показать, что перед нами одна и та же идея в двух различных формах. Идея, явно присутствующая в основной посылке, уже оказывается слегка завуалированной во втором утверждении; завеса становится плотнее в третьем, в четвёртом — и вскоре операции и рассуждения совершаются лишь с помощью знаков. Когда мы размышляем над этими утверждениями, у нас сохраняется чувство их связи с предыдущими, а также память или уверенность в том, что таким образом они связаны с исходным положением, идея которого, однако, уже перестала быть у нас на виду. «Я только что, — говорит Ларомигьер, завершая вторую часть своего труда, — изложил материалы дела, большого дела. Речь идёт не о каком-то частном интересе, речь идёт об интересах разума. Моя роль окончена, я буду ждать приговора» [1] .

В кратком заключении он восхваляет *Язык исчислений*, которым Европа обязана Франции, а Франция — Кондильяку, чьи столь новые взгляды, столь естественные принципы и столь неожиданные выводы не могут не привлечь внимания здравомыслящих умов и сурового взгляда критики. Изучение языка рассуждения, добавляет он, — это наиболее достойное занятие для существа, чьим высочайшим качеством является способность рассуждать и которое благодаря этой способности может бесконечно приумножать свою интеллектуальную мощь: *«Это микроскоп, позволяющий нам увидеть предмет, который по своей малости ускользал от наших чувств; это телескоп, приближающий его, когда он слишком далёк; это призма, разлагающая его, когда мы хотим познать его до самых элементов; это мощный фокусирующий центр увеличительного стекла, сжимающий и собирающий лучи в одной точке; это, наконец, рычаг Архимеда, способный сдвинуть всю планетную систему, когда им управляет рука Коперника или Ньютона»* [2].

Когда была создана Императорская университетская система, Ларомигьер, назначенный профессором философии в факультет словесности Парижа, узнал

---

1 Эта фраза встречается лишь во втором издании, но она подготавливает вывод и не изменяет смысла.

2 Вот ещё одна сторона, которая позднее остаётся в тени и по которой Ларомигьер сближается с Дестютом де Траси, Кабанисом и Кондорсе.

от своего друга Деренода [1], что философские дисциплины вовсе не входили в программу лицеев. Поражённый возражениями Ларомигьера, Деренод попросил его изложить их письменно и передал их Фонтану, который был ими убеждён [2].

26 апреля 1811 года Ларомигьер открыл свой курс в факультете словесности речью *О языке рассуждения* [3]. В ней он объединил направления и доктрины, обозначенные в предыдущих сочинениях. Любитель прекрасного языка утверждает, что следует изучать поэтов и ораторов; идеолог считает, что философский метод, необходимый в науках, столь же нужен и в произведениях чисто эстетического характера; человек, модифицировавший кондильякианство, утверждает, что наши чувственные идеи (а не все идеи) происходят от чувств, что мы учимся смотреть, а не просто видим, учимся слушать, а не просто слышим. Аристотель и Гоббс, Лейбниц и Мальбранш, но особенно Декарт — поставленный значительно выше Бэкона [4], — помещаются рядом с Кондильяком или чуть ниже, на очень почётном уровне. Как и в *Парадоксах*, Ларомигьер рассматривает язык не только как средство выражения мысли и формулу для удержания ускользающих идей, но как метод, способный порождать новые идеи. Он усматривает в искусстве мыслить — искусство упорядочивать наши ощущения. Рассматривая рассуждение в духе, до того момента, как начали использовать знаки и приобрели эту привычку, ставшую второй натурой, по которой сегодня мышление является внутренней речью [5], он видит в нём простое чувство тождества между несколькими суждениями или соотношениями. В речи рассуждение есть выражение последовательности

---

1 См. о Дезрено, гл. VII, § 1.

2 Ср. гл. I, § 2, и VII, § 1. Факт этот приводят Малье, г-н Поль Жане, Мине. Моград, этот своеобразный профессор философии, который, впоследствии заменяя Миллона на факультете, «прогуливался», рассказывая о древних философах, по «огромному лазарету интеллектуальных болезней» и превращая свой курс в «философическую клинику», добавляя при этом, что это сравнение скорее забавное (?), чем точное, так как философы — это больные, которые, не зная о своих болезнях, хотят лечить других, утверждал, что именно после того, как епископ Касальский увидел, как он ведёт либо курс философии в Сент-Барбе, тот обратился к Фонтанасу с просьбой о включении философии в круг других предметов преподавания. Дезрено и епископ Касальский могли вмешаться у Фонтанаса, но если обратиться к тому, что мы сказали (гл. I, § 2) об образовании при Империи, то видно, что организация философских занятий была скорее теоретической, чем реальной.

3 «Просвещённые люди, составлявшие Совет Университета, — говорит нам сам Ларомигьер, — утвердили следующую программу:

«Профессор философии будет углублённо разбирать главные вопросы логики, метафизики и морали. Он будет особенно стремиться показать происхождение и последовательное развитие наших идей. Он укажет главные причины наших ошибок. Он даст понять природу и преимущества философского метода».

4 Мы рекомендуем это восхваление Декарта, в котором Ларомигьер выражается как Д'Аламбер, Кондорсе и Кабанис, и ещё более — как Тюро и Дестют де Траси, в эпоху, когда Руайе-Коллар боролся против Декарта, — тем людям, кто делает идеологов противниками Декарта.

5 Кардайак развивает это выражение, которое г-н Виктор Эггер сделал темой весьма интересной диссертации; ср. § 4.

суждений, вложенных друг в друга; переход от известного к неизвестному, связь принципа с его следствием, постоянная синонимия различных выражений, подстановка одних слов другими, более или менее продолжительная цепь тождественных высказываний.

Автор *Проекта* и *Мемуаров* обращается к теме, которая должна была быть рассмотрена в десятой книге первого из этих сочинений, и полагает, что Бэкон и Мальбранш могли бы избежать своих учёных изысканий и длинных перечней, если бы они уделили больше внимания влиянию языков. Он говорит о движении органов, первоначально возбуждённом природой, а затем подчинённом воле, которая направляется к объектам и даёт нам первые представления об внимании, управляющем органами чувств и позволяющем обнаружить идею, скрытую и утерянную в ощущении. Ребёнок, лишённый всякой активности, внутренней или внешней, был бы неспособен направить свои чувства, сосредоточить внимание, приобрести какое бы то ни было знание, занять своё место в ряду разумных существ. Идеолог, который уже прояснил сложные вопросы, объяснив смысл слов анализ ощущений и идея, стремится с той же ясностью определить каждый из терминов, входящих в программу, который он должен осуществить. Он настаивает на том, чтобы никогда не использовать слово, лишённое точности или верности. Наконец, он требует, чтобы весь предмет курса был сводим к одной основной идее — к самой идее метода: «С хорошим методом ум поднимается незаметно от одной истины к другой; ведомый аналогией к источнику света, он наконец вкушает невыразимое наслаждение — покоиться в лоне очевидности».

Ларомигьер читал свои лекции в 1811, 1812 и 1813 годах [1]. Сначала они были открыты лишь для небольшого числа учеников, но вскоре стали публичными — и с этой публичностью, как пишет М. Жане, пришли успех и слава. На скамьях школы собиралась не только молодёжь [2], горячо стремящаяся к учёбе, готовящей счастливую и почтенную жизнь; сюда часто стекались толпы представителей всего, что есть просвещённого и изящного в столице — мужчин и женщин. «Он озарял своими просветлениями, — говорит Минье, — обволакивал рассуждениями, очаровывал своим даром и своими доктринами завоёвывал всё более многочисленных и восхищённых слушателей, которые спешили услышать всё, что исходило из этих уст, золотых, как называл их аббат Сикар». Ларомигьер, «который не любил показываться», сам был вынужден признать этот успех в 1833 году, когда мог уже говорить о своём курсе и своей философии как о «вещах, вошедших в область истории». «Наши лекции, — писал он, — слушали с внимательной доброжелательностью; публика была признательна нам за то, что мы возродили идеи, которые ей слишком долго приходилось игнорировать, и забвение которых повергло бы народы в варварство. Молодёжь не испугалась наших метафизических

1 Ср. Химли, Livret de la Faculté des Lettres de Paris.
2 Гара, Mémoires de Suard, т. II, с. 35.

изысканий: её любопытство придало им привлекательность и своего рода обаяние; даже самый далёкий от этих вопросов слушатель с интересом воспринимал рассказ об ощущениях и движениях своей души; учёные, казалось, ценили некоторые наши новые взгляды на принципы разума; а знаменитый писатель, тогдашний великий магистр Университета, господин де Фонтан, с удовольствием сказал нам, что ему по вкусу простота нашего языка и ясность наших объяснений».

Жуффруа, который не слушал Ларомигьера лично, тем не менее без колебаний ставит его рядом с Руайе-Колларом, как одного из тех, кто воскресил философию XVIII века в языке, отличающемся замечательной ясностью и изяществом, увлёк за собой часть молодёжи, оставил Нормальную школу полной воспоминаний о своих речах и об ardent intérêt, об этом пламенном интересе, который они возбуждали. Дамирон, чьё свидетельство не менее заслуживает доверия, высказывается в том же духе [1]. Виктор Кузен, который впоследствии заменил влияние Ларомигьера, своего первого наставника в философии, собственным, оставил нам наиболее точные сведения об его преподавании. В 1819 году он пишет, что успехи профессора были значительными [2]. А в 1837 году он произносит у могилы Ларомигьера речь, в которой называет себя учеником скончавшегося мастера [3]. Но особенно ярко он выразил впечатление, произведённое курсами 1811 и 1812 годов, в предисловии ко второму изданию *Фрагментов* [4]. Ларомигьер продолжал традицию Гара, и предшествовал Кузену, Жюлю Симону, Каро — тем, чьи лекции очаровывали слушателей, которых вряд ли привлекали чисто спекулятивные исследования, и пробуждали немало философских призваний. Почему же он отказался от

---

1 «Видя его мысли, — говорил он, — выраженные с такой элегантностью и точностью, изложенные в таком лёгком, терпимом, поистине философском духе, невольно хотелось бы их принять, приобщиться к философии, которая предстает с таким обаянием и тонким вкусом».

2 «Таков результат преподавания и стиля, которые всегда ведут читателя или слушателя от того, что он знает лучше, к тому, что он знает меньше или вовсе не знает»..

3 «О прекрасные дни, — говорил он, — философии в Нормальной школе и на факультете словесности Академии Парижа, когда г-н Ларомигьер преподавал с таким блеском и очарованием... Кто вернёт нам красноречие того, кого вот-вот покроет эта могила... те импровизации, из которых и самый удачный стиль даёт лишь ослабленный образ, те несравненные уроки, где в высшей ясности без усилия соединялись прелесть Монтеня, мудрость Локка и порой мягкость Фенелона? Его слово обладало подлинным очарованием. Я видел людей, постаревших в этих размышлениях, которые, слушая г-на Ларомигьера, воображали, что их разум впервые раскрывается свету, тогда как рядом с ними самые простые, обманутые этой изумительной ясностью, думали, будто понимают в совершенстве глубочайшие тайны метафизики».

4 «Навсегда останется, — говорил он, — в моей памяти, с благодарным волнением, тот день, когда я впервые, в 1810 году, будучи учеником Нормальной школы, предназначенным к преподаванию словесности, услышал г-на Ларомигьера. Этот день определил всю мою жизнь: он увёл меня от моих первых занятий, обещавших спокойные успехи, и бросил на путь, где мне не раз выпадали противоречия и бури. Я не Мальбранш, но, услышав г-на Ларомигьера, я испытал то, что, как говорят, испытал Мальбранш, случайно открыв *Трактат* Декарта... Нормальная школа принадлежала ему целиком».

преподавания, которое имело столь явный успех? Навязал ли ему тогдашний режим условия, с которыми его гордость не могла смириться? Или его здоровье потребовало покоя? Лучше придерживаться второй гипотезы [1].

В 1815 году Ларомигьер опубликовал первую часть своих *Философских лекций* [2]. Надиктованные бегло и по памяти, они были неполными: в издании не все лекции оказались включёнными. Однако он не мог забыть идеи, которые составляли суть курса, — как он сам отмечал, и даже более справедливо, чем думал, этих идей было слишком мало. Он считал себя более чем вознаграждённым, если проницательные умы усматривали в его труде хотя бы следы метода, если критика находила, что книга способна пробудить или укрепить вкус к истине и простоте. Том включает **пятнадцать лекций** и посвящён способностям души, рассматриваемым по их природе. В первой лекции речь идёт о методе и предмете философского курса; во второй — о принципе способностей души и о влиянии языка на наши мнения; в третьей — о системе способностей души у Кондильяка; в четвёртой — о собственной системе Ларомигьера; в пятой — о принципах наук. Эта лекция завершается критическим разбором системы Кондильяка, который продолжается и в шестой. Седьмая лекция содержит пояснения относительно метода, его собственной системы способностей, а также по вопросам свободы и внимания; восьмая — разбор возражений, которые могли бы быть ему предъявлены. В девятой и десятой лекциях он показывает, что Кондильяк — спиритуалист, а в одиннадцатой задаётся вопросом: что такое метафизика. О дефинициях говорится в двенадцатой и тринадцатой лекциях; о мнениях философов относительно способностей души — в четырнадцатой; наконец, в последней лекции он задаётся вопросом, достиг ли он какого-либо прогресса с начала философского курса.

В послесловии он сообщает, что во второй части он намерен рассмотреть мыслительную способность в её проявлениях, но что из двух весьма различных точек зрения — одной, касающейся продуктов разума, и другой, касающейся продуктов воли и составляющей предмет морали — он рассмотрит только первую. Он последовательно будет говорить, по его словам: 1° о природе, причинах, происхождении, различных видах и классификации наших идей; 2° об идеях, объектом которых являются реальные существа: тела, душа, Бог; 3° об идеях, объект которых не обладает реальностью или чья реальность оспаривается: субстанции, сущности, возможности, причины, отношения, время, пространство, бесконечное и прочее. «Прекрасных вопросов, —

---

1 «Недуг, от которого он страдал сорок лет, не жалуясь, — говорит Сафари, — отдалил его от преподавания, успехи которого незабываемы». А Минье сообщает нам, что этот недуг, один из самых упорных и мучительных, был прерывистым воспалением мочевого пузыря, приступы которого, всё более частые и тревожные, привели его к смерти.

2 *Уроки философии, или Опыт о способностях души*, соч. г-на Ларомигьера, профессора философии на факультете словесности Академии Парижа, том первый, Париж, изд. Брюно-Лаббе, 436 стр.

добавлял он, — у нас не будет недостатка; они предлагают больше разнообразия и интереса, чем те, которыми мы занимались до сих пор».

Биран подверг критике этот первый том, чтобы ясно показать, что он больше не имеет ничего общего с идеологами. Совершенно справедливо он замечает, что эти лекции, возможно, не удовлетворят всем потребностям созерцательных умов и не исполнят задачи всеобъемлющей философии. Менее точно, но не без основания он утверждает, что Ларомигьер, присоединив активность к чувствительности, не добавил к доктрине Кондильяка столько, сколько принято считать. Совершенно же несправедливо — и, быть может, вспоминая свой первый *Мемуар о привычке*, — он почти говорит, что системы Кондильяка и Ларомигьера «способствуют материализму» [1].

Три года спустя после появления первого тома Ларомигьер выпустил второй. Том открывается введением, посвящённым разбору слова философия — предмета, специально рассматриваемого в курсе, а затем, в двенадцати лекциях, излагается учение о разуме, рассматриваемом по его результатам, то есть об идеях. В двух первых лекциях анализируются природа, происхождение и причины наших идей. В третьей автор доказывает, что различным истокам наших идей нельзя придать единое происхождение, и предлагает некоторые размышления о формировании наук. Четвёртая, пятая и шестая лекции содержат уточнения по поводу природы, происхождения и причин наших идей; седьмая — анализ возражений против порядка лекций и против его учения об идеях. Восьмая лекция содержит критику врождённых идей; в девятой идеи чувственные, интеллектуальные и нравственные распределяются по различным классам. Десятая лекция посвящена абстрактным идеям, одиннадцатая — идеям общим; в последней содержатся размышления о предыдущем изложении и указание на вытекающие из него следствия.

Успех писателя, как отмечал Кузен, был равен успеху преподавателя. Дюмурье написал ему, чтобы поздравить с этим [2]. Гара был не менее восторженным [3]. *Лекции*, переиздававшиеся в 1820, 1822, 1826, 1833, 1844 и

---

1 Сафари и Тиссо выступили против Бирана и защитили Ларомигьера. См. § 4.

2 «Я с наслаждением следил за вашим курсом подлинной философии. Если бы мне посчастливилось встретить подобного наставника сорок лет назад, я был бы теперь лучше, чем я есть, ибо, расширяя мой ум путём упорядоченного развития его способностей, он очистил бы мои ощущения. Оставим бесполезные сожаления! Даже в восемьдесят лет вы обновляете и облагораживаете моё чувство и приносите мне большую пользу». И, пригласив его завершить своё произведение, он добавляет: «В ожидании того, что вы исполните это желание — и, осмелюсь сказать, это повеление вашего восьмидесятилетнего ученика, — эта прекрасная, но ещё не завершённая книга становится моим наставлением. Вы должны понять, насколько она привязывает меня к своему автору. Жалею лишь о том, что слишком поздно стал вашим почитателем, вашим учеником и вашим другом».

3 «Напечатанные в двух томах лекции, в которых сочетается всё вдохновение живого слова и всё то, что стиль привносит в мысль в виде ясности и совершенства, вот-вот выйдут в

1858 годах и постоянно сопровождавшие изложение истории классической философии, остались канонической книгой в период господства философии Кузена. Они ведут нас к тому самому «философскому кризису», который, с появлением Тэна, Ренана, Литтре, Вашеро и английских философов, вновь пробудил — в университетской среде, а особенно за её пределами — вкус к исследованиям, когда-то начатым друзьями Ларомигьера, менее литературными, менее ортодоксальными, но более оригинальными. Тэн восхищался ими, как и Гара, делая, однако, оговорки, которые могли бы сделать Кабанис или Дестют де Траси [1].

Довольно удивительно, что автор книги, чьё литературное достоинство было столь широко признано, так и не вошёл во Французскую академию, где состояли его друзья Андриё, Б. Констан, Дестют де Траси и Дроз. Ему дважды предлагали выставить свою кандидатуру. Однажды Б. Констан пришёл к Ларомигьеру и в присутствии Тюро умолял его выставить себя против «кандидата двора и конгрегации». Ларомигьер, как говорят, сначала согласился, но вскоре передумал. В другой раз Кювье сумел убедить его выдвинуться, но и тогда он вскоре отказался. В одном из этих случаев он даже написал вступление к своей речи при вступлении, посвящённое философскому стилю [2].

Какова же, в сущности, доктрина, изложенная в *Лекциях*? Сафари и Поль Жане сводят философию Ларомигьера к трём основным пунктам: метод, способности, происхождение идей.

Подобно идеологам, Ларомигьер придаёт первостепенное значение методу. Как и они, он продолжает традицию Декарта, Кондильяка и учёных XVII–XVIII веков. Возвращаясь не только к идеям, но даже дословно к выражениям, употреблённым им в *Мемуаре об анализе ощущений* [3], он настоятельно рекомендует прибегать к анализу. Тщательно изучать явления, всё разбирать, всё пересчитывать, всё взвешивать, делить объект, последовательно

переводе на язык Галилея, Гравины и Беккариа; и как было бы желательно для человеческого разума, чтобы все языки Европы овладели ими и перевели их!»!

1 «Ларомигьер, — говорил он, — в философии был как человек света в собственном доме: он оказывал ей почести с тонким вкусом и изысканной вежливостью... заставлял своих слушателей открывать у самих себя и рядом с собой то, что они искали так далеко и у других... В его стиле более всего любят изобильную лёгкость и счастливую естественность. Мысли следуют друг за другом, как воды спокойной реки... Они несут вас и сами продвигают вперёд. Нет ничего приятнее этих тонких различий и остроумных разборов, которые не выводят публику за пределы привычной ей почвы и представляются как завершение курса языка или литературы... При всей прелести, изысканной вежливости и тонкой насмешливости старого французского общества он сохранил подлинный метод французского ума»

2 См. Малле и Поля Жане, указ. соч.

3 См. Приложение, оба текста. Вкус, а не изменение доктрины, вносит различия, впрочем, малозначительные, в выражениях.

исследовать все его свойства, уделять внимание мельчайшим обстоятельствам — вот средства, позволяющие открыть истинные отношения между вещами. Если речь идёт об отношениях одновременности, последовательности, сходства, симметрии, которые выявляются при переходе от одного объекта к другому, от одной идеи к другой, — анализ является дескриптивным. Если же речь идёт об отношениях порождения и вывода, если движение идёт «от одного и того же к одному и тому же», от объекта, рассмотренного под одним углом, к тому же объекту, но под новым углом [1], с целью восхождения к принципу и объединения всех форм в единую систему, тогда речь идёт об *анализе рассуждения.*

Благодаря своим частым заимствованиям у философов всех школ и у литераторов, благодаря своему эклектизму, Ларомигьер, подобно Дежерандо, является предшественником Кузена [2]. По своим литературным вкусам он близок к Гара, но у него нет той напыщенности, которую он с успехом заменяет «обильной лёгкостью, счастливой естественностью и любезным изяществом». Буало, «поэт разума», помогает ему в размышлениях о рассуждении и в подчеркнутом внимании к вниманию. Одна страница Паскаля представляется ему «воплощением человеческого разума в его совершенстве»; вместе с Паскалем он признаёт, что не знает, как тело воздействует на душу, а душа — на тело; и с Паскалем же он **выступает против Канта** и его последователей. С любовью он перечитывает стихи Расина — как и Вергилия, Цицерона, Босюэ, Лафонтена, Лабрюйера и всех великих авторов — и только пожимает плечами, когда какой-нибудь романтик сравнивает его с Ронсаром. На примере анализа одной из басен Лафонтена он показывает, что в человеческом разуме следует признавать не более и не менее трёх способностей. Вместе с Мольером он «работает над дефиницией», и мосье Жак оказывается «в абстракции» отличным метафизиком. Рад находить точки соприкосновения между своими мыслями и мыслями Монтескьё, он критикует теории Вольтера и Бюффона, как и теории Бонне. Ведь, по его словам, для того чтобы проникнуть в глубины человеческого сердца и исследовать его сокровенные изгибы, не слишком даже и гения Лабрюйера или Мольера; и можно было бы вполне построить курс философии — или, по меньшей мере, метафизики и логики — на одной странице Буало, одной сцене Расина, одной басне Лафонтена.

---

1 См. то, что было сказано о мемуарах, прочитанных Ларомигьером в Институте.

2 «Обратитесь, — говорил он, — к Сократу, Платону, Декарту, Мальбраншу, чтобы узнать, какими истинами род человеческий обязан философии… Я хотел бы, по примеру этого великого человека (Лейбница), сблизить умы, которые не так уж далеки друг от друга, как им кажется; я хотел бы показать, что их разногласия менее реальны, чем кажутся, что часто они находятся не столько в самих вещах, сколько в словах… Изучим Декарта… Читайте Мальбранша… Лейбница… Изучайте Локка… Кондильяка… Хотим ли мы поступать хорошо? Не будем ни декартианцами, ни локкианцами, ни мальбраншианцами, ни лейбницианцами: будем принадлежать истине, если сможем, а если нам не выпадет счастье найти её самим, будем пользоваться помощью всех, кто искал её до нас». (Лекции I, IX, X; все эти тексты — из первого издания.)

Учение о способностях хорошо известно. Будучи силами и средствами действия, они не могут происходить из чувствительности — способности по существу пассивной. Душа, будучи активной, применяет себя к ощущениям, чтобы извлечь из них идеи, и тем самым порождает способности разума; стремясь к тому, что ей приятно, и избегая того, что ей неприятно, она порождает способности воли. Внимание, сравнение и рассуждение — вот три способности разума. Внимание даёт точные и ясные идеи. Сравнение открывает аналогии, связи, соотношения. Рассуждение ведёт от одного соотношения к другому — вплоть до того, с которого всё начинается, то есть к принципам, и, в свою очередь, от принципов к самым отдалённым следствиям. Внимание даёт факты, сравнение даёт отношения, рассуждение даёт системы. Став длительным усилием, внимание находит те счастливые идеи, которые являются признаком гения; благодаря сравнению гений приобретает широту, благодаря рассуждению — глубину. Точно так же желание, или направление всех способностей разума на объект, в котором ощущается потребность, предпочтение и свобода в совокупности составляют волю. Разум и воля составляют мышление, а при их правильном использовании — разумность.

Менее известно то, что эта доктрина из первого тома *Лекций* представляет собой развитие той, что была изложена в *Мемуаре* IV года Республики, против которой уже тогда выступал Дестют де Траси, — и что она отражает те модификации, которые Ларомигьер с самого начала вносил в кондильякианство [1].

Идея, — говорит он в 1818 году, как и в 1796-м, — это «различённое чувство». Чувственная идея имеет своим источником ощущение, а своей причиной внимание, которое осуществляется через органы чувств. Идеи способностей имеют своим источником чувство этих способностей, а своей причиной внимание, осуществляемое независимо от органов. Идеи отношений происходят из чувства соотношения и обусловлены сравнением и рассуждением. Моральные идеи происходят из морального чувства и имеют своей причиной действие всех способностей разума [2].

Таким образом, философия, изложенная в *Лекциях*, та же самая, что и в *Проекте* и *Мемуарах*. Мысль Ларомигьера изменилась настолько незначительно, что эти два сочинения были почти целиком и дословно перенесены в первые главы *Лекций*. Следовательно, основная идея Ларомигьера не была навеяна Дóбом, и Биран не оказал на его ум никакого влияния [3].

---

1 См. Кабаниса и Дестюта де Траси, Ланселина, Драпарно, Ламарка и др., а также Приложение. (2) Выражение из упомянутого выше Мемуара.

2 См. § 4. Сафари выводит из этой теории логику и мораль.

3 Поль Жане не сравнивал *Лекции* с мемуарами Института; Тиссо забывает, что мемуар Бирана не был напечатан.

Более того, письма, преимущественно неизданные, охватывающие период с 1820 по 1837 год, свидетельствуют о том, что Ларомигьер больше ничего не изменял в своей философии, как только находил для неё достаточно точную и ясную форму. В 1819 году он писал Валетту: следует перечитывать сто раз прекрасные страницы, которые встречаются у Бэкона, Паскаля, Мальбранша или Кондильяка; от этого и разум, и вкус получают больше пользы, чем от чтения тысячи страниц какого-нибудь философа, имя которого я не хочу называть. Семью годами позже он говорит Сафари: «Вы умеете писать, а это главное». Аббату Року он пишет, что язык нужно постоянно исправлять, что не нужно быть *«ни с Аполлосом, ни с Кифой, но с истиной, если сможем»* [1]; и он жалуется, что большинство умов, особенно среди учёных, ненавидит ясность. Если речь идёт о решении философского вопроса, он его переводит, и продолжает переводить, пока в результате этих последовательных переводов не придёт к очевидному положению, которое и есть искомое решение. *«До тех пор,* — пишет он за два месяца до смерти, — *пока астрономы не располагали принципом, небесные явления оставались необъяснимыми… Вселенная это гигантская система… Человек должен систематизировать свои знания… Зёрнышко пшеницы содержит ваши превосходные печенья-гимблетты, а зёрнышко конопли — эту бумагу»*.

Таким образом, изменения, которым *Лекции* подвергались в своих последующих изданиях, имели целью лишь довести форму до совершенства и придать сочинению большую систематическую цельность; они не затрагивали его содержания. Сокращения были направлены на то, чтобы сделать книгу самодостаточной и не позволять ей обещать больше, чем она даёт [2]. Изменения подсказывались его учениками. Шабриер пересматривает пятое издание, и Ларомигьер с радостью говорит о своём «Аристархе». Аббат Рок желает, чтобы труд был «безупречным», и удивляется тому, что автор вычеркнул фрагмент о «абсолютном». Перрар полагает, что его «знаменитый учитель преувеличивает значение метода», и Ларомигьер соглашается с ним, говоря, что гений обязан всему, «или почти всему», методу. Даже его противники заставляют его исправить неточные выражения (см. выделенную вставку ниже).

---

1 См. Приложение, идеи и выражения из мемуара года IV.

2 Так объясняются те изменения, которые встречаются в заключении первого тома; в изменении заголовка, который из *Уроки философии*, или *Опыт о способностях души* превращается в *Уроки философии о принципах разума, или о причинах и происхождении идей*, «потому что таким образом, — говорил Ларомигьер в 1826 году, — он не обещает ничего сверх того, что я исполняю, как умею».

Патрис Ларрок в своём *Курсе философии* критикует следующую фразу Ламигьера: «Посредством внимания, которое концентрирует чувствительность в одной точке; посредством сравнения, которое её разделяет и которое не что иное, как двойное внимание; посредством рассуждения, которое разделяет её ещё больше и которое не что иное, как двойное сравнение, — дух становится силой, он действует». Если, — говорит Ларрок, — верно, что концентрировать или делить чувствительность есть дело духа, то кондильякианство выиграло бы своё дело. В то же время он замечает, что эти слова противоречат всей системе в целом. Ламигьер заменяет чувствительность на активность в издании 1833 года. Точно так же, по мнению Ларрока, Ламигьер заменяет сугубо кондильякианское определение памяти — «Память есть продукт внимания, или то, что остаётся от ощущения, которое сильно нас затронуло» — на другое, представляющее собой существенную поправку: «Память — это действие, разделённое или объединённое, внимания, сравнения и рассуждения». Ниже приведены некоторые примеры, которые покажут, как Ламигьер осуществлял, с точки зрения формы, редакторскую переработку *Лекций.*

ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ	ПЯТОЕ ИЗДАНИЕ
I. Десятая лекция. Продолжение предыдущей.	I. Десятая лекция. Подтверждение предыдущей лекции.
I. Одиннадцатая лекция. Что такое метафизика, или о слове метафизика.	I. Одиннадцатая лекция. Определение метафизики.
II. Девятая лекция. Анализ, всегда оставаясь единым по своей сущности, варьируется в своих формах.	II. Девятая лекция. Неизменный по своей сущности, анализ варьируется в своих приложениях и в своих формах в зависимости от объектов, к которым он применяется, и умов, которым предназначено учение.
II. стр. 462. К различным типам чувствительности добавьте гений, и в тех, кто ими наделён, предположите одновременно способность долго сохранять внимание, живой вкус к сближению идей, большую силу рассуждения: интеллект, рассматриваемый в его отношении только к философии, поразит вас не менее своими контрастами, чем своим богатством.	II. стр. 368. К каждому из этих различных типов чувствительности прибавьте гений; тем, кто ими наделён, дайте одновременно способность долго сохранять внимание, живой вкус к сближению идей, большую силу рассуждения: интеллект, в своих отношениях исключительно к философии, поразит вас не менее своими контрастами, чем своим богатством.

У меня в руках экземпляр первого издания. Ламигьер, который предназначал его «господину Лемару», собственноручно внёс в него основные исправления.

Хронологический разбор этих добавлений позволил бы нам проследить борьбу между последними представителями идеологической школы и их противниками. В тот самый год, когда появляются *Фрагменты* Кузена,

Ларомигьер [1] обратившись против сторонников Канта, которые нападали на Аристотеля, Бэкона, Гоббса, Гассенди, спрашивает их, одобряют ли они у первого то, что порицают у других. И он показывает им, опираясь с большей хитростью, чем доводом, на Виллера, что они преувеличивают Гассенди, Локка, Кондильяка и всех философов, которые придавали наибольшее значение ощущениям. Он уже говорил, что если можно насчитать с десяток, может быть два десятка великих поэтов, то великих метафизиков — едва ли пять или шесть. В ту же эпоху он добавляет в сноске: «Пусть даже меня обвинят в чрезмерной пристрастности, я скажу, что большинство из этого весьма малого числа метафизиков первого ранга принадлежит Франции». В то же время он ссылается на Мальбранша, чтобы «говорить согласно общему мнению», и обращается к «справедливости читателей», прося их не приписывать всякому чувству то, что он говорит о чувстве как ощущении. В 1826 году он просит тех, кто знаком с диспутами по поводу a posteriori и a priori, уделить хотя бы миг внимания той сноске, где он показывает, что система операций есть одновременно и система способностей. В 1833 году он с горечью констатирует, что этого мига внимания ему так и не уделили [2].

Другие добавления свидетельствуют о всё возрастающей уверенности. Там, где он прежде выступал против ложной доктрины школы Декарта и школы Локка, он теперь добавляет: «и всех школ философии». Он, человек скромный, сравнивает себя с Ньютоном: «До того как призма Ньютона разложила солнечный луч, физика могла лишь прилагать бесплодные усилия, чтобы открыть происхождение цветов. До того как анализ, призма человеческого духа, разложил чувство, метафизика могла лишь блуждать в поисках происхождения идей». Страницы, посвящённые философскому гению, возможно, представляют собой вступление к речи при вступлении во Французскую академию. Речь об идентичности рассуждения была впервые напечатана в Италии в 1820 году. И, наконец, заключение, добавленное ко всему сочинению, вновь отсылает к Мемуару IV года Республики [3].

В 1825 году Ларомигьер выпускает новое издание *Парадоксов Кондильяка*, в котором можно было бы отметить аналогичные правки. Он часто отсылает к этому последнему труду, тем самым показывая, что в 1811 году он принял и в значительной степени сохранил как истины то, что сам же в 1805 году назвал

---

1 Приложение, неизданные письма к Сафари.

2 См. также примечание, где он, по-видимому, полемизирует с Платоном и Кузеном, различая существование, знание, достоверность (II, 172); и место, где он утверждает (II, 374), что объяснил уже не только слово чувствовать, но ещё два слова — действовать и познавать.

3 «Со всех точек вселенной и из всех частей нас самих приходят толпой, без порядка, без света, аффекции удовольствия или страдания. Мысль действует: она внимательна, она сравнивает, она рассуждает. Ум распутывает и отделяет элементы, которые были смешаны; он распределяет их по родам, определяя их характер, число, порядок. Уже сияет свет, день проник в хаос, и разум сотворён. Что же требовалось, чтобы привести такие объекты к такой простоте? Нужно было открыть их принципы».

Парадоксами Кондильяка. Он скончался в 1837 году, оставив после себя переписку и рукописи, быть может, более интересные, чем сочинения, в которых его мысль предстает перед нами в более совершенной, но менее спонтанной форме.

IV

Ларомигьеризм; итальянские философы; французская эклектика; Теста; Перрар; Арман Марраст; аббат Рок; Кардайяк; Валетт; де Шабрие; Гибон; Сафари; Тиссо, Лам и Роберт.

Мы перечислили многочисленные причины успеха философии, получившей популярность благодаря *Лекциям*. Сформировалась не просто школа Ларомигьера [1], в ней были представители весьма разного уровня: Дóб, Перрар, Кардайак, Валетт, Сафари, Жибон, аббат Рок, де Шабриер, Лам и Арман Марра, но его учение распространилось и за пределами Франции. Даже во Франции оно оказало значительное влияние на тех, кто, будь то союзники или противники, стремился его вытеснить; оно стало отправной точкой для тех, кто вновь возвёл в достоинство метод и исследования идеологов.

Англия, Шотландия и Америка находились под влиянием Дестюта де Траси. Германия, если не считать Шопенгауэра — столь «недо-немецкого», как только возможно, — главным образом знала Дежерандо, но почти исключительно была сосредоточена на великом литературном, философском и научном движении, которое с 1800 по 1850 год дало в ней столь поразительные результаты. Оставалась Италия. Философия Кондильяка перешла от двора к учебным заведениям; север страны был завоёван Локком благодаря отцу Соаве (Soave), переводчику *Резюме* Уинна по *Опыту о человеческом разумении*. Философия в Италии шла тем же путём, что и во Франции. Соаве, подобно *Декаде*, **критиковал Канта** в интерпретации Виллера. Галуппи, как и Дестют де Траси, выступал против версии Канта у Кинкера. Борелли, под псевдонимом Лальбаск (Lallebasque), пытался, подобно Бонне и Кабанису, физиологически объяснить порождение идей [2]. Труды Дестюта де Траси переводились на итальянский язык, и Стендаль — на языке страны, ставшей ему столь близкой — цитировал философа, которым восхищался больше всех. Шевалье Боццелли (Francesco Paolo Bozzelli) в своих *Опытах о первичных связях между философией и моралью* (1828) представлял Локка, Кондильяка и Дестюта де Траси как философов, «которые последовательно сменяли друг друга как бы нарочно, чтобы один дополнял другого, всё теснее связывая анализ и последовательность фактов, чтобы ошибка, ускользнувшая от внимания одного,

[1] Господа Компэре и Ферра утверждают противоположное, — ошибочно, как сейчас будет показано.

[2] *Principii della genealogia del pensiero,* Opera del signor Lallebasque, Lugano, 1825, 2 vol.

была настигнута другим вплоть до самых её последних убежищ». Эти трое, добавлял он, — три светила в истории человеческого духа, они освещают путь к истине и не позволяют больше никому блуждать во мгле гипотез. Он сближал Кабаниса и Бирана, защищал Дестюта де Траси от Дежерандо и, одобряя Сен-Ламбера и Франклина, видел в морали лишь совокупность тонких, быстрых, ярких вычислений, происхождение которых теряется вместе с происхождением самого суждения [1].

В течение долгого времени восхищение великими идеологами оставалось в Италии весьма живым. Джоберти, который надеялся, что настанет день, «когда над сенсуалистами будут смеяться, как сегодня смеются над системой Птолемея», писал в 1833 году: «Большинство наших молодых людей всё ещё остаются сенсуалистами, потому что у них в руках только Кондильяк, Траси и Кабанис, и они по-прежнему придерживаются того, что думали во Франции тридцать лет назад» [2]. Но и в Италии, как и во Франции, сторонники философии XVIII века склонялись скорее к тому из идеологов, который в политическом и религиозном отношении был наименее уязвим для критики. Боццелли упоминал «Ларомигьера, философа столь же изобретательного, сколь и глубокого». Джойя и Романьози, ученики колледжа Альберони в Парме, перенесли доктрину Кондильяка в сферу политической экономии и законодательства. Последний даже защищал Кондильяка таким образом, что, читая его, можно было бы принять его за Тюро [3]. Но он не был последовательным кондильякианцем: «Я никогда не говорил, — писал он, — и никогда не скажу, что наш разум подчиняется законам, независимым от нашей чувственной способности». Как превосходно показал Луи Ферри [4], его доктрина — это скорее философия опыта, чем ощущения, и он придаёт активности души значительно большее значение. К тому времени Ларомигьер уже считался в Италии, как и во Франции, одним из «классических метафизиков». Новати перевёл в 1820 году *Лекции*, затем *Речь об идентичности рассуждения* (которая впервые вышла в Италии, прежде чем быть напечатанной по-французски), и, наконец, *Парадоксы Кондильяка*. Галуппи, влияние которого сменило влияние Романьози и которого сравнивают с Ампером [5], уже считал недостаточной «ту реформу, посредством которой Ларомигьер подменяет ощущение более широкой основой чувства»; но он сам выводит идеи из чувства и размышления. Розмини с надменностью, с гневом и всеми возможными средствами борется против сенсуалистов — Кондильяка и

1 Эта книга была указана нам и предоставлена г-ном Полем Жане.

2 Луи Ферри, ук. соч.

3 «Я не хочу, — сказал он, — вдаваться ни в какую личную апологию Кондильяка. Замечу лишь, что одно дело — сенсуалист, и совсем другое — сенсибилист».

4 Г-н Луи Ферри, профессор Римского университета, директор *Rivista di Filosofia italiana* и автор *Очерка по истории философии в Италии в XIX веке*, по просьбе г-на Боассера любезно предоставил нам ресурсы своей учёности, столь же богатой, сколь и приятной (см. Предуведомление).

5 *Философский словарь*, статья *«Галуппи»*.

Д'Аламбера, Кабаниса, Дестюта де Траси, Ларомигьера и Романьози. В *Новом опыте об истоке идей* (1830) он хочет «восстановить порядок в умах, потревоженных и расстроенных доктринами, которые распространили повсюду писатели Революции». Мамьяни (Mamiani) в 1834 году защищает философию опыта как подлинно национальную доктрину, и в одном прелестном письме к Розмини изображает *«рыцаря, живущего в старом и мощном замке, впервые построенном Протагором и недавно укреплённом новыми палисадами и бастионами — Юмом и Кантом, обладающего чудесной силой, подобного Ферранту из Ариостовской эпопеи, рыцаря, который мало верит в Бога и демонов и не имеет иной страсти, кроме как всё опровергать. Этот рыцарь зовётся скептицизмом, и когда философские системы приближаются к мосту, прося пропустить их именем разума, этот беспощадный рыцарь выходит им навстречу и вызывает на бой. Я не могу сказать, скольких он уже сбросил с седла и утопил в реке»*.

Теста, учившийся в колледже Альберони после Романьози и Джойи, также защищал философию опыта против Розмини. Он вдохновлялся Тюрго, Дестютом де Траси и его теорией, основанной на чувстве сопротивления [1], а также Романьози и Ларомигьером. Наконец, Джоберти, видевший сенсуализм даже у Декарта, отнёсся к Розмини ещё более резко, чем тот к сенсуалистам: «Джоберти, — говорит г-н Луи Ферри, — представляет систему Розмини то как замаскированный сенсуализм, то как ничем не ограниченный идеализм. Нет такой ошибки и, можно сказать, такой чудовищности, которую бы он ни находил в ней: пантеизм, атеизм, аморализм, все заблуждения и все пороки, по его мнению, проистекают из этого отравленного источника». Не кажется ли нам, что мы снова видим Кузена, обвиняемого в пантеизме, атеизме, материализме, хотя он сам боролся с сенсуализмом, выводя из него «следствия»? Так философия XVIII века окончательно умирает в Италии. И лишь труды Конта, но особенно Спенсера, Дарвина, а также Шарко (Charcot) [2], вновь приведут к союзу философии и науки.

Джоберти не был более снисходителен к Кузену, чем к Розмини, Декарту или сенсуалистам. И это вполне понятно, если вспомнить, что сам Кузен и его ученики в ряде пунктов продолжали линии, восходящие к Ларомигьеру и его предшественникам. Кузен у него это продолжатель Кабаниса, Форьеля, Ампера, Бирана и Дежерандо. В 1813 году он написал тезис, частично вдохновлённый партией кондильяковцев [3], но вскоре «без возврата и без

---

1 Особенно в сочинении *Della Mente*, 1836.

2 См. Балле, *Внутренняя речь и различные формы афазии*.

3 *De Methodo sive de Analysi*. Оно излагает лекции Ларомигьера и прославляет Кондильяка: «Nisi Condillacus eo tempore nobis ereptus fuisset quo libros omnes suos iterum scribere, miramque illam et auream simplicitatem qua in elementis arithmeticae algebraeque usus est, in philosophiam transferre in animo habebat, forsitan tenebrae quibus metaphysica involvitur, pulsae fugataeque evanuissent». («Если бы Кондильяк не был отнят у нас в то время, когда намеревался переписать заново все свои книги и перенести в философию то удивительное и

оговорок посвятил всю свою жизнь осуществлению философской реформы, начатой Руайе-Колларом». Вслед за Бираном он критиковал *Лекции* Ларомигьера, которые, намереваясь отойти от Кондильяка, тем не менее сохраняли «тайную, но прочную связь ученика с учителем». Однако Дамирон, который сначала поместил Ларомигьера среди сенсуалистов, позднее причислил его к эклектикам. Кузен, став во Франции главой философского преподавания и подвергшийся нападкам за свой якобы пантеизм и приверженность иностранным доктринам, признал себя уже не только учеником Руайе-Коллара и Бирана, но и Ларомигьера. И Поль Жане показал, что между двумя школами (биранистской и ларомигьеровской) в это время возник альянс: Жуффруа и Ларомигьер, под председательством Кузена, составили вместе программу философского преподавания. Окончательный спиритуализм Кузена удивительно сближается с тем, который исповедовал Ларомигьер.

Жуффруа, — говорил Кузен, — был у нас подлинным наследником Ларомигьера. Сафари, полемизируя с Кузеном, не раз дополняет Ларомигьера при помощи Жуффруа. Поступив в Эколь Нормаль, последний застал её ещё насыщенной воспоминаниями о Ларомигьере и Руайе-Колларе. На третьем году обучения ему поручили повторять лекции Тюро на факультете. Позднее он стал преемником Тюро в Коллеж де Франс; затем на факультете и в университетской библиотеке стал преемником Ларомигьера. Если перечитать предисловие к *Эскизам моральной философии*, к *Сочинениям* Рида, статьи *Об организации философских наук*, *О легитимности различия между психологией и физиологией*; если принять во внимание столь различный дух, каким, как показали Сент-Бёв и А. Гарнье, отличались Кузен и Жуффруа, и если вспомнить сказанное выше об аналогии между некоторыми шотландскими и некоторыми идеологическими доктринами, то несложно будет согласиться с оценкой Тиссо: «Жуффруа это продолжатель и популяризатор экспериментальной философии Ларомигьера и шотландцев, с устремлениями, которые у него были делом веры или врождённого убеждения, у Ларомигьера более определённым философским убеждением, а у шотландцев чисто человеческим инстинктом, без особой надежды, что он когда-либо будет подтверждён светом размышляющего разума» [1]. Возможно, к Ларомигьеру стоило бы прибавить также Тюро и Дежерандо [2].

золотое простосердечие, каким он пользовался в изложении начал арифметики и алгебры, возможно, тьма, в которую окутана метафизика, была бы рассеяна, изгнана и исчезла»).

1 О Жуффруа см.: Дамирон, ук. соч.; Сент-Бёв — повсюду; де Ремюза и Каро, *Revue des Deux Mondes*; А. Гарнье, статья «Жуффруа» (*Философский словарь*); Минье, *Notice*; Тиссо, *Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon*, 1816; Тэн, ук. соч.; Феррас, *Либерализм и спиритуализм*.

2 Некоторые места у Жуффруа напоминают Кабаниса и Ламарка: «Природа снова разрушила это творение, — говорит он после того, как упомянул о грубо организованных четвероногих, пришедших на смену бесформенным и гигантским растениям, под сенью которых обитали исполинские пресмыкающиеся, — и, переходя от попытки к попытке, двигаясь от самого несовершенного к самому совершенному, она дошла до этого

Де Ремюза критиковал Дестюта де Траси и Кабаниса как таких противников, в отношении которых невозможно сохранять беспристрастность, поскольку распространение их доктрин представляется опасным. Однако, возможно, именно под влиянием Кабаниса возник труд о неизвестных способностях (facultés inconnues), который, как справедливо замечено, сближается с современными теориями бессознательного. Бесспорно одно: он [Де Ремюза] приобрёл вкус к философии и привычку применять в личных размышлениях аналитические приёмы, рекомендованные в экспериментальной школе, — благодаря Ферко, другу Ларомигьера и профессору лицея Наполеона [1]. Наконец, мы уже видели, что Поль Жане иногда обобщал идеи Кабаниса, Ларомигьера и Дону. Будучи учеником Жибона, «чей *Курс* весьма основательный, насыщенный и содержит немало здравых и оригинальных идей, которые нелегко найти в других местах», он так же обобщал, применительно к особым связям между мышлением и языком, учёные и глубокие анализы Кондильяка, Дежерандо, Дестюта де Траси, Бирана и Кардайяка [2].

Перейдём теперь к тем, кто ссылается на Ларомигьера и более или менее точно воспроизводит его доктрину. *«Опыт идеологии»* Дóба, представляющий собой введение в общую грамматику, любопытен по нескольким причинам [3]. Эпиграф заимствован у святого Августина. Автор, питая к Локку, Бонне и Кондильяку всё то уважение и признательность, которых заслуживают их великие дарования и заслуги перед наукой, которой он сам занимается, нередко критикует их — порой без полного понимания — и при этом выражает живое восхищение Мальбраншем. Будучи другом Ларомигьера, он обязан его *Проекту элементов метафизики*, их беседам и чтению некоторых рукописей вкусом к метафизике и тем немногим здравым идеям, которые имеются в его сочинении, как и тем, что именно лекции Ларомигьера дали первое развитие его рассудку. Тем не менее он его оспаривает, и Поль Жане полагал, что ученик всё же оказал влияние на учителя. Но философская доктрина Ларомигьера уже была сформирована в ту пору, когда он преподавал в Тулузе, и если впоследствии он временами менял форму изложения, суть оставалась прежней.

последнего творения, которое впервые поставило человека на землю. Таким образом, человек, кажется, есть лишь одна из попыток, после множества других, которые Творец доставил себе удовольствие произвести и разрушить. Эти гигантские пресмыкающиеся, эти бесформенные животные, исчезнувшие с лица земли, жили здесь иначе, чем мы живём теперь. Почему бы не наступить и такому дню, когда и наш род будет истреблён, а наши выкопанные кости покажутся тогдашним живым видам лишь грубыми зачатками природы, которая пробует свои силы». (О проблеме предназначения)

1 Сент-Бёв, *Литературные портреты*, т. III, с. 318, и *Переписка госпожи де Ремюза в первые годы Реставрации.*

2 Éléments, с. 234. О Гибоне см. ниже. Прибавим, что г-н Поль Жане написал статьи о Лаканале и Ларомигьере, где похвала занимает больше места, чем критика; показал в Шопенгауэре ученика Кабаниса и Биша и т. д., и т. д.

3 Париж, год XI (1803). Это г-н Поль Жане обратил наше внимание на этот труд, о котором мы читали рецензию в Décade.

Возможно, Доб, но только после Дестюта де Траси [1], побудил Ларомигьера изменить некоторые выражения; но уж точно он не был тем, кто научил его различать активность и пассивность [2].

Перрар, бывший преподаватель колледжа в Маконе и адвокат при королевском суде в Париже, находился в тесной дружбе с Ларомигьером. В 1827 году он опубликовал *Классическую логику* [3], по меньшей мере треть которой заимствована дословно из *Лекций* [4]. Ниже Ларомигьера он ставит Кондильяка, которого, однако, часто цитирует, равно как и Вольтера, у которого заимствует идею врождённости моральных чувств. Он, пожалуй, принял бы систему Дестюта де Траси, если бы в ней всё не сводилось к строго понимаемому ощущению; в то же время он выступает против Кабаниса, ссылаясь на Берара, чтобы предостеречь молодёжь от материализма. Напротив, он защищает Ларомигьера от Кузена, которого называет всего лишь «критиком», опираясь на Сагессу, на Паскаля и на Ж. Кювье.

Всем известно, что после Карреля Арман Марра́ был самым выдающимся редактором газеты *Le National* (в 1818 году), затем — популярным мэром Парижа и многократно переизбиравшимся президентом Национального собрания. Однако очень немногие, даже среди тех, кто, как Жюль Симон, казались бы неспособными этого не знать [5], осведомлены о том, что он был

---

1 См. гл. VI, § 2.

2 Доуб говорит, что Ларомигьер хотел оправдать систему Кондильяка: «Чтобы хорошо понять его мысль, нужно вместе с ним различать два разных момента: момент, когда мы получаем ощущения, и момент, когда мы их испытываем. Рассмотренная в первый момент, душа не пользуется никакой активностью, поскольку причина модификации, которую она собирается воспринять, находится вне её; но как только ощущения восприняты душой, как только она их испытывает, автор утверждает, что она оказывается в активном состоянии, без необходимости предполагать какую-либо способность, отличную от той, чтобы иметь чувство ощущений, если можно так выразиться», — и приводит определения предпочтения, «которое есть всё, что мы понимаем под активностью души, рассматриваемой независимо от тела... определённая точка зрения чувства... модификация чувства».

3 По *Принципам философии* Ларомигьера. У нас перед глазами третье издание — Париж и Лион, *Périsse frères*, 1860 (VIII, 336 стр.), пересмотренное и дополненное автором и его сыном. Другие сочинения Перрара — *Резюме философии*, *Краткие курсы* всеобщей, новой и средневековой истории, *Классическая риторика*, *Синоптическая таблица* гражданского судопроизводства.

4 Восхитительная система способностей, которой Ларомигьер заменил систему Кондильяка, есть, по Перрару, самая верная и самая полная история мысли, одно из прекраснейших завоеваний гения: самый искусный механик не знает лучше часов и каждого их колеса, чем мы знаем, вместе с Ларомигьером, мысль и каждую операцию нашего ума.

5 *Temps* от 18 июля 1890 г. Г-н Ж. Симон, чей отзыв, впрочем, весьма любезен, говорит о времени, когда А. Марра был наставником, и далее добавляет, что он был «ни философом, ни оратором», не упоминая «ни о его лицензии, ни о его докторской степени». В статье от 1 августа г-н Ж. Симон показал, что, без Марра, возможно, была бы Коммуна в 1848 г., и что как журналист он отказался защищать рабовладельцев, хотя ему и нечего было оставить своим «кроме имени и писем, которыми его приглашали к этой постыдной, но доходной службе».

страстным и **убеждённым идеологом**. Между тем это несомненный факт. В конце 1826 года, получив лиценциат по литературе, он представил диссертацию на степень доктора на философском факультете Парижского университета. Во французской части диссертации он ставил вопрос: кому принадлежит главная заслуга в формировании и совершенствовании французского языка — поэтам или прозаикам? — и высказывался в пользу последних, подчёркивая, что французская классика пользовалась языком как «инструментом анализа» и что новая эра началась с Корнеля и Декарта. Латинская часть диссертации была посвящена истине и адресована Ларомигьеру: «doctissimo, sapientissimo viro, aetatisque nostrae philosophorum principi» («самому учёному, мудрейшему человеку, первому среди философов нашего времени»). В ней Марра ссылается не только на Декарта и Мальбранша, но и на Кондильяка, а особенно на Дестюта де Траси и Ларомигьера, которых он считает самыми влиятельными философами своего времени (potentissimi aetatis nostrae philosophi). Вслед за латинским текстом следует примечание по-французски: *«Большая часть этой диссертации была посвящена опровержению возражений, которые могут быть выдвинуты против наших принципов. Эти возражения особенно ярко представлены в одном недавно опубликованном сочинении, важность которого усугублялась высокими должностями, которые занимал его автор в системе народного просвещения. Так как с момента печати нашей диссертации эти функции были им оставлены, мы были вынуждены удалить всё, что могло бы носить характер личной атаки»*. Таким образом, Марра встал на защиту школы ещё до Тюро, Бруссе, Дону, Андриё и Валетта. Наконец, в своём Похвальном слове Гара, в котором он превозносил его превосходство над Сен-Мартеном, «неким предвосхитившим эклектиком», Марра также с похвалой отзывался о Кабанисе и Бруссе [1].

Аббат Рок, профессор философии в колледже Альби, в 1827 году написал Ларомигьеру, чтобы выразить ему своё восхищение, и получил в ответ весьма ободряющее письмо [2]. Неизвестно, участвовал ли он в 1840 году в кампании против эклектизма, но в 1860 году он опубликовал два полемических тома, которые оказали определённое влияние на «ларомигьеристское» движение, развернувшееся вскоре после этого — движение, вызванное в первую очередь деятельностью Тиссо и де Шабрие. В ту пору он вступил в переписку с последним, который не раз упрекал его за недостаток веры в окончательный успех *Leçons de philosophie* Ларомигьера [3]. Жермен Кроз (Germain Crozes) издал

---

1 Марра написал Заметку о Ларомигьере. Он был очень близок с учителем и с некоторыми из его учеников, в числе прочих — с Сафари. (См. в Приложении письма Ларомигьера к Сафари).

2 Г. Компэре, *Заметка о Ларомигьере по неизданной переписке*. См. в Приложении письма, переданные нам господами Крозом и Сегюи.

3 «Вы всё время говорите о них, — сказал ему де Шабрье, — как будто они неизвестны и не признаны. Это ошибка. Они выше нынешнего времени, а потому и менее ценимы, чем следовало бы, но их вкус и восхищение ими растут с каждым днём; так что не предавайтесь такому отчаянию». В другом месте аббата упрекают в том, что он с 1833 года не

в четырёх томах *Курс философии аббата Рока*. Месье Эггер находит его замечательным, а Рибо — любопытным [1] : «Автор, начавший своё образование в начале века, остался верен идеям, господствовавшим в 1810 году. Он постоянно говорит о г-не Кузене как о новаторе, как об отважном мыслителе, чьи дерзкие утверждения оцениваются с точки зрения классической философии… времён Ларомигьера». Действительно, труд Рока уже невозможно понять после Дарвина, Спенсера, Бейна, Льюиса, Рибо и Тэна. Он имеет смысл только если его рассматривать рядом с *Leçons* Ларомигьера и *Études élémentaires* Кардайяка.

Кардайяк был недавно возвращён вниманию читателей Виткором Эггером [2], который последовательно изложил его взгляды на внутреннюю речь. Его также упомянул Балле (Ballet) [3] но ни один из них не восстановил его философский контекст, не поместив его, как это сделал Поль Жане, в один ряд с Дестютом де Траси, Дежерандо, Ларомигьером, Бираном [4], мыслителями, которым Кардайяк многим обязан и чьи исследования о языке и знаках он просто продолжил.

Профессор философии в Коллеж Бурбон, Кардайяк заменял Ларомигьера с 1824 по 1829 год и не считал, что при этом понижает уровень курса, уделяя внимание почти исключительно тому, что наука предлагает в самом элементарном виде. В 1829 году, в то время [5] когда «рационалистические доктрины, проповедуемые с красноречием, казались единственными, которые находили отклик у молодежи», лекции Кардайяка, направленные против идеализма, всё ещё привлекали больше слушателей, чем можно было бы ожидать. Эти лекции были записаны Бурсом, одним из его слушателей и друзей, которому он передал свои записи; отредактированные профессором, они стали *Элементарными исследованиями по философии* (Études élémentaires de philosophie). Кардайяк отходит от идеологов из-за отсутствия согласия между их доктринами и слабого одобрения, которое они получили. Он посвящает целый раздел опровержению материалистов и утверждению духовности души. Если он, вопреки Ларомигьеру, настаивает на том, что общие и абстрактные идеи — это не просто обозначения, то потому, что номинализм ведёт к материализму Бруссе. Тем не менее, он отводит место физиологии, при условии, что из влияния физического на моральное не будет делаться вывод об идентичности этих двух начал. Он полемизирует с утверждениями Ламеннэ, Жозефа де Местра и Мальбранша, но также и с утверждениями Кузена — «красноречивого профессора самого отвлечённого идеализма». Особенно же он опирается на Ларомигьера, остроумного и глубокого автора *Leçons*, но

удосужился перечитать весь труд целиком: «Вот уже двадцать семь лет, господин аббат, прошли для вас без полного чтения этой книги».

1 *Revue philosophique, III, 664.*

2 В. Эггер, Внутренняя реч.

3 *Внутренняя речь и различные формы афазии.*

4 См. гл. VII, § 4, и VIII, § 3.

5 *Lycée, IV, с. 163-167.*

заимствует всё ценное повсюду, где бы оно ни находилось: у Порталиса он заимствует формулу, согласно которой речь есть воплощение мысли [1]; у святого Фомы — ту, согласно которой душа создаётся в момент, когда органы достаточно развиты, чтобы исполнять свои функции (creando infunditur, infundendo creatur); у Биша — различие между двигательными органами и органом речевым. При всём этом он не называет себя ни спиритуалистом, ни сенсуалистом, ни рационалистом, ни эмпириком, ни эклектиком, не определив предварительно на свой лад, что следует понимать под этими словами, и оставляя за собой право мыслить самостоятельно. Область философии становится всё более ограниченной: будь то логика, мораль, теология, онтология или психология — всегда речь идёт о человеке и только о нём одном. Наука, понимаемая таким образом, доступна каждому; каждый приходит к ней с уже готовыми представлениями — вот почему она так мало продвинулась вперёд [2].

Став после 1830 года инспектором Парижской академии, Кардайяк так и не издал Трактат о методах, который ранее анонсировал. Его Элементарные исследования (Études élémentaires), при появлении встреченные как одно из самых выдающихся сочинений, опубликованных во Франции со времени Leçons Ларомигьера, были впоследствии высоко оценены Гибоном, Гамильтоном и Стюартом Миллем, а затем также г-нами Полем Жане, Эггером и Бале.

После Кардайяка преемником Ларомигьера стал Валетт. Получив степень доктора литературы в 1819 году с двумя диссертациями (*De Libertate* и *Об эпопее*), первая из которых воспроизводит *Leçons*, а вторая представляет нам Аристотеля, который, по примеру Ларомигьера, неизменно восходит к первопринципу, чтобы осветить самые отдалённые следствия, он был назначен агреже-заместителем по инициативе Руайе-Коллара [3]. В 1820 году Кювье поручает ему кафедру философии в недавно открытом коллеже д'Аркур [4]. В 1822 году он произносит на вручении наград речь *О преподавании философии* [5].

---

1 Г-н Рабье (*Уроки философии*) приписывает это выражение Кардайяку.

2 Кардайяк различает, как и большинство авторов учебников, последовавших за ним, три главные способности — чувствительность, интеллект, активность, — которые он изучает сами по себе и в их взаимосвязях; он рассматривает последовательно чувствительность, интеллект, активность, доказывая существование свободы и говоря об инстинкте, не упоминая Кабаниса, об активных и пассивных привычках — не называя Бирана. Затем, доказав духовность души, он возвращается к интеллектуальным способностям, среди которых выделяет внимание, память и связь идей, которые он рассматривает с большой тонкостью и проницательностью. Наконец, он завершает рассуждением о разуме, предварительно изложив свои взгляды на речь, не называя своих предшественников, но используя все их исследования и добавляя, особенно в отношении внутренней речи, новые наблюдения.

3 *Lycée*, 11 ноября 1830.

4 См. Приложение, *Письмо Ларомигьера к Валетту*.

5 Paris, de l'imprimerie de P. Gueffier, rue Guénégaud, n° 31, 24 pages.

Латинская диссертация тогда ставилась выше французской; из пятидесяти вопросов, предложенных кандидатам на степень бакалавра и на конкурс, сорок девять были заимствованы из Лионской философии, и лишь один, по теме ассоциации, — у шотландцев; преподавание философии повсеместно поручалось духовным лицам [1]. Валетт показывает, что изучение философии не является ни бесполезным, ни вредным. С одной стороны, он утверждает, ссылаясь на Фрейсину [2], что философия изучает чудеса природы, чтобы лучше познать их Творца и проникнуть в замыслы Его Провидения; чтобы различить в нас две субстанции и доказать с неотразимой силой, что одна из них — свободная, способная к заслуге и вине — предназначена к будущей жизни, к надежде добродетельных и страху нечестивых; чтобы укрепить в юношестве спасительные догматы, без которых невозможно никакое общество. С другой стороны, опираясь на Ларомигьера, он утверждает, что сборник хорошо проведённых наблюдений над нашими различными способами чувствовать и мыслить является могущественной опорой для красноречия, поэзии и искусств воображения.

В 1827 году Валетт входит в состав жюри по агрегации вместе с аббатами Дабюроном и Бюрнье-Фонтанелем, с Ларомигьером и с Буссоном, профессором коллежа Шарлемань. В следующем году он публикует в журнале *Lycée* статьи о *Leçons* Кузена, которые позже объединяет в отдельный том после выхода *Введения в историю философии*. В это время уже существует «школа Ларомигьера» [3]. Валетт к ней принадлежит: он исходит из фактов и применяет экспериментальный метод; однако он ещё более ограничивает уже суженное поле философии, сближая её с обыденными, тривиальными понятиями. Он обращается за поддержкой к Дону, Порталису, Бруссе (за вычетом его материализма), и к *Трактату о системах*, чтобы противопоставить их Канту и Кузену. Последнего он упрекает не только в оскорбительных и неточных выражениях, но и в назидательной и расплывчатой доктрине, в необоснованных утверждениях, в общих фразах; он опасается, что Кузен лишь терзает бесплодные абстракции и довольствуется словами, «овеществляя мысли, по сути духовные, с помощью воображения, щедрого на образы». Именно в следующем году Валетт заменяет Ларомигьера. После того как он воздал хвалу Людовику XVIII — «который захотел сказать через Хартию, что права народов проистекают из того же источника, что и права королей» — он объявляет себя учеником Декарта: он сомневался, «но сомнение никогда не затрагивало тех убеждений, которые должны быть дороги каждой душе». Изучать разум, прослеживать его развитие с детства индивида, отмечая метаморфозы, которым он подвергается в различные периоды жизни, чтобы затем читать, как открытую книгу, историю человеческого рода; чтобы объяснить верования,

1 А. Гарнье, статья в Lycée 1829 г.

2 Кузен поступает так же в 1826 г.

3 Валетт, *О преподавании философии на факультете словесности и, в частности, о принципах и методе г-на Кузена*. Годом ранее *Lycée*, рецензируя труд Сафари, говорил о многочисленных учениках Ларомигьера.

которые поочерёдно господствовали, затем страсти, их вдохновлявшие, и, наконец, перипетии жизни индивида, народа, всего человечества; чтобы понять, что мы должны делать, чтобы превзойти наших отцов, — вот что он ставит своей целью в преподавании, которое ему поручено. XVIII век сделал повсеместным стремление к ясности и взаимопониманию. Философия Кондильяка, которую считают столь бедной и поверхностной, тем не менее способствует значительным успехам юношества в поиске истины. Школа Кондильяка и Локка всё ещё остаётся школой большинства; шотландская школа так и не стала французской, тем более Кант, несмотря на усилия Кузена и эклектиков, которые, в согласии с традиционалистами, обвиняют школу Локка и Кондильяка в том, что она ведёт к материализму, фатализму и эгоизму.

У нас сохранилась также *Вступительная речь* Валетта 1830 года. После того как он воспел Революцию, открывающую новую эру, он без всякой оригинальности пытается определить элементы, составляющие свободу человека или гражданина, и средства её совершенствования в нравственном, гражданском и политическом порядке. Аналогичным образом можно судить и о его речи 1835 года, в которой Валетт призывает философов быть немного более снисходительными друг к другу и остерегаться того, чтобы понимать философские доктрины через призму немногих категорий, названия которых создают ложные представления или не передают точно природу этих учений, поскольку сами их авторы воспринимают эти наименования как оскорбление. После смерти Ларомигьера Валетт, выдвинутый в первую очередь Академическим советом, а во вторую — Факультетом, был обойдён при назначении на должность в пользу Жуффруа. Столь же неудачным оказался он и при добавочном назначении: был выбран Дамирон. В 1842 году, после смерти Жуффруа, Валетт обратился к профессорам с письмом, в котором просил, «чтобы двери Факультета вновь открылись для одного из любимых учеников Ларомигьера и для одной из двух великих философских школ, которые всегда стремились примирить права разума с авторитетом опыта». Он уже давно трудился над тем, чтобы свести в одно сочинение по меньшей мере десять томов лекций, прочитанных им на Факультете, но двигаться быстро невозможно, когда был посвящён Ларомигьером «в тайну и во все трудности искусства писать о метафизике». Впрочем, Ларомигьер сам начал писать лишь после пятидесяти лет и только после того, как прекратил преподавать; Руайе-Коллар за всё время своего преподавания напечатал только одну лекцию. К письму Валетт приложил краткий обзор взглядов Ларомигьера на будущее науки и несколько замечаний о текущем состоянии философских кафедр. Три кафедры философии в Парижском факультете, — писал он, — заняты отцом эклектизма или его учениками [1]. И всё же, добавлял он, намекая на Кузена, на ту поспешность, с которой все стремятся объявить себя его учениками и друзьями, на ту самоотверженность, с которой почти хотят зависеть от него, — всё это наводит на мысль, что происходит реакция в пользу его философии.

[1] Гг. Жюль Симон, Гарнье, Дамирон. См. *Himly, Livret de la Faculté des Lettres de Paris.*

После смерти Жуффруа Дамирон занял его место, Гарнье был назначен помощником на кафедру истории новейшей философии. Валетт опубликовал своё письмо [1].

Победоносный эклектизм, в свою очередь, подвергался нападкам за «последствия, вытекавшие из его доктрин». Джоберти, Маре и многие другие [2], за которыми последовала значительная часть духовенства, обвиняли его в пантеизме и враждебности по отношению к религии. Ученые Ларомигьера присоединились к противникам Кузена, которые, впрочем, отнюдь не все были защитниками католицизма [3].

В ту эпоху, когда борьба, до того времени носившая школьный характер (со смерти Бруссе и Дону), приобрела политическую окраску, ещё оставались трое профессоров философии в Париже — Валетт, Сафари и Гибон, — открыто признававших себя последователями Ларомигьера. Г-н де Шабрье, генеральный директор Архивов, а позднее сенатор Второй империи, с ранних лет находился в отношениях с Ларомигьером. Его попросили дать заключение по поводу переиздания *Leçons*, и он стал душеприказчиком Ларомигьера, унаследовал его рукописи, записи и важные части переписки. Более тридцати лет он оставался апостолом ларомигьеризма. В 1841 году Вильмен предложил королю принять сумму в полторы тысячи франков, предназначенную в качестве премии победителю конкурса по *Leçons*. Этот щедрый дар, сделанный лицом, пожелавшим остаться неизвестным (а именно — де Шабрье) [4], имел целью «вывести на свет и обеспечить должную оценку сочинению, справедливо уважаемому и чьи доктрины занимают выдающееся место в современной философии» [5].

Состоялся первый конкурс, жюри которого составили Жуффруа (после его смерти заменённый Дежерандо), де Кардайяк, Дамирон, Вашеро и Гарнье [6].

---

1 Цитируя слова Пейсса, который тоже хотел «нанести свой удар по сенсуализму», он отмечал, что философия Ларомигьера была вытеснена из Сорбонны и что верность доктринам учителя не являлась достаточным основанием. (*Ларомигьер и эклектизм, друзьям Ларомигьера*, Валетт, бывший заместитель Ларомигьера на факультете словесности, профессор философии Королевского коллежа Людовика Великого, Париж, 1842, 32 стр.)

2 См. Поль Жане, ук. соч., с. 368.

3 Мы уже цитировали Пьера Леру и Борда-Демулена.

4 Письмо Вильмэна: «премия, которую вы столь щедро учредили».

5 Документы, которыми мы пользуемся, воспроизведены в начале 7-го издания. Отчёты о конкурсе находятся в конце труда Сафари *Эклектическая школа и французская школа*.

6 Было представлено десять мемуаров. Дежерандо в своём *Отчёте* отвергает те, что являются недостаточными или представляют собой лишь плохо обоснованную критику *Лекций*, и выделяет три. По поводу одного из них он сближает Жуффруа и Ларомигьера: у последнего в зародыше содержится теория, развитая Жуффруа, согласно которой душа познаёт себя как причину и одновременно как субстанцию. Что касается следующего, он отмечает, что комиссия, «проникнутая чувствами глубочайшего уважения и самой

Второй конкурс был оценён жюри в составе Дро, де Кардайяка, Гарнье, а также господ Bacherot и Равайссона [1]. Через тринадцать дней де Шабрье поздравляет Сафари [2], и советует ему использовать полторы тысячи франков на новое издание, которое обеспечит «более широкое распространение *Leçons*». Он виделся с Вильменом, и в нём вновь пробудилась былая дружба к нему, когда услышал, как тот говорит о Сафари, о Ларомигьере и о благе, которое может быть принесено в данной ситуации. Ему удалось получить подписку на двести экземпляров шестого издания. Кузен произносит великолепную хвалебную речь в честь *Leçons* в Академии моральных и политических наук и даже говорит о де Шабрье, не называя его по имени, как о «возвышенной душе, стойком и твёрдом уме, изящном пере». Но де Шабрье так и не простил ему того, что он выступал против Ларомигьера. Кузен остаётся для него «пышным изготовителем бессмыслицы, чьё владычество — лишь один сплошной крах». Он горячо приветствует кампанию, которую ведут Гибон, Валетт и Сафари.

Мы уже упоминали Гибона, чей *Курс философии* вышел в 1842 году. Не исключая ни психологию, ни логику, Гибон придаёт гораздо большее значение теодицее и морали, чем это обычно бывает в преподавании. История философии исключена, потому что, по его мнению, тем, кто хочет её изучать, не недостаёт источников. Именно в этом исключении, как и в значительном месте, отведённом теодицее, во многом заключается оригинальность Гибона; при этом он не претендует на сами идеи, а лишь на их комбинацию. Никто не заслуживает звания эклектика больше, чем он. Будучи довольно суров к знаменитому писателю, который «возвёл себя в вождя французской философии», он критикует кузеновскую доктрину свободы как странную, расплывчатую, ложную и риторическую, осуждает поверхностные воззрения Кузена и его учеников на метод, однако принимает его выводы о Локке и даже применяет их к Ларомигьеру. Часто он опирается на Жуффруа, иногда — на Дамирона. К оптимизму Лейбница он присоединяет идею прогрессирующей совершенствуемости человека у Кондорсе. Рядом с критикой Кондильяка или с цитатой из Жюля Рейнона он помещает похвалу силлогизму, «великолепному инструменту, несомненно полезному в науке». Он решительно выступает против атеизма, который ведёт к материализму и уничтожает свободу, добродетель и порок, но в то же время считает необходимым при изучении человека придавать большое значение физической составляющей. К этому добавляются прекрасные отрывки, напоминающие Стюарта Милля, утверждавшего, что следует оставлять некоторые вопросы открытыми, или господина Поля Жане, полемизирующего с эпикурейской теорией

искренней привязанности к знаменитому профессору», не отказывалась выслушать справедливую критику, подкреплённую убедительными доводами, и продлевала конкурс.

1 Из семи представленных мемуаров Дроз выделяет два, в которых цель конкурса понята верно: мемуар Тиссо, показывающий влияние, оказанное Ларомигьером даже на философов, которые его оспаривали, и мемуар Сафари — исключительного и преданного ученика Ларомигьера, который проявил достаточно таланта, чтобы заслужить премию.

2 См. Приложение, *Неизданные письма*.

происхождения мира. Он ценит шотландцев и высоко ставит любезного, учёного и остроумного Ларомигьера, достойного уважения Кардайяка и даже Лерминье [1].

Сафари с ранних лет был учеником и другом Ларомигьера. Письма, которые нам любезно предоставили, показывают [2], насколько обаятелен был Ларомигьер и как высоко он ценил Сафари. В 1826 году он присылает ему четвёртое издание своих *Leçons* и указывает на внесённые изменения и дополнения. Затем он ободряет его в намерении составить *Руководство*, «которое принесёт пользу прилежной молодёжи». Сафари сочиняет небольшое стихотворение — *Житель Канталя у подножия Пиренеев*, которое получает награду Академии Цветочных Игр. Он отправляет его Ларомигьеру, «которому оно доставило приятный момент». В ответ тот даёт ему рекомендации по темам, которые можно будет представить на защите в Факультете. Сафари завершает сокращённое изложение *Leçons* для своих учеников. Ларомигьер побуждает его опубликовать этот конспект и сообщает, что все, кому он его показывал, включая Марра, были «чрезвычайно довольны». Сафари работает над его доработкой. В октябре 1827 года он назначается в парижский колледж Бурбон, становится другом Марра и публикует *Аналитическое эссе метафизики*, которое охватывало бы принципы, формирование и достоверность наших знаний в духе системы г-на Ларомигьера, чьи *Leçons* были им изложены в краткой форме [3].

Книга была хорошо принята: журнал *Lycée* заявил, что г-н Сафари заслуживает быть отмеченным «среди многочисленных учеников Ларомигьера». В конце того же года ученик Сафари получает первый приз на общем конкурсе. Ларомигьер поздравляет его от своего имени и от имени Марра. Ещё дважды ученики Сафари получали награды, и их наставник, «в соответствии с тогдашней практикой», как пишет *Lycée*, был награждён орденом и стал штатным преподавателем на кафедре колледжа Бурбон. Сафари с большим неудовольствием наблюдал, как эклектизм вытесняет философию

---

1 Г-н Поль Жане не счёл бы его ларомигьеристом; возможно, действительно, следовало бы просто отнести его к школе идеологов.

2 Мы обязаны публикацией сыну г-на Сафари, который, по просьбе нашего друга г-на Кальдмезона, любезно попросил свою мать расстаться с ними и прислал их нам.

3 Труд, посвящённый Ларомигьеру, состоит из трёх частей, посвящённых принципам наших знаний, их формированию, их достоверности. Похвала учителю встречается на каждой странице: глубина, свет, благородство, истина принадлежат, по мнению Сафари, метафизику, который соединяет в себе Платона, Декарта, Мальбранша, Кондильяка и которого можно сравнить с Фуркруа, Лавуазье, Бертолле. Если Сафари заимствует у Жуффруа, то лишь потому, что тот не сделал ничего, кроме как развил Ларомигьера. Противник материализма и атеизма, он цитирует Тертуллиана и де Бональда, Боссюэ и Фрэссинуса, Рида и Дугалд-Стюарта, довольно точно, что редко для того времени, оценивает Канта, который настаивает на существовании Бога и бессмертии души, но делает их предметом веры, а не знания и ведения. Он почти только называет Дежерандо, Дестюта де Траси и Алибера.

Ларомигьера из классического образования. В 1843 году он принимает участие во втором конкурсе по *Leçons*, получает премию и отказывается от полторы тысячи франков в пользу шестого издания.

В 1844 году в политическом мире разразились бурные протесты против университетского преподавания [1]. Валетт, Гибон и Сафари защищали «перед Комиссией по народному образованию дело преподавания философии, оказавшееся под угрозой из-за того, что это преподавание оказалось воплощено в одном-единственном человеке, а все философские доктрины — отождествлены с одной, которая, справедливо или нет, навлекла бурю на Университет, бурю, от которой теперь пытаются отгородиться, как громоотводом» [2]. Подвергнутые резкой атаке со стороны *Revue de Paris*, трое профессоров направили в журнал опровержение, которое тот опубликовал лишь после судебного приговора. Им с трудом удалось добиться, чтобы их не принимали за иезуитов. Когда борьба утихла, Сафари издал труд *Эклектическая школа и французская школа*, с эпиграфом, ясно выражавшим его надежды: Multa renascentur, quae jam cecidere, cadentque quae nunc sunt in honore («Многое возродится из того, что пало, и падёт то, что ныне в чести»). Посвящённая памяти «его славного учителя и досточтимого друга», книга — хорошо построенная и ясно написанная — имела целью показать, что духовенство, отделённое от иезуитов, и Университет, отделённый от эклектиков, могли бы составить плодотворный союз. В *Предисловии*, написанном с чрезвычайной остротой, Сафари нападает на Кузена и эклектизм [3]. Затем следует глава *Эклектическая школа*, где Сафари критикует Кузена не без проницательности и обоснованности, хотя, возможно, и не вполне беспристрастно [4]. Наконец, в главе *Французская школа* Сафари исследует Кондильяка, а особенно Ларомигьера, которого защищает от критики Бирана и Кузена — как философа, как писателя, как человека. Он дополняет его учение, различая два аспекта чувства: аффективный и перцептивный. Его приёмная семья, говорит он в заключение, сумеет отстоять «наследие его идей и память о его добродетелях».

---

1 Поль Жане, ук. соч.

2 См. Приложение; «он» — это Кузен; см. Поль Жане, ук. соч.

3 На несправедливое обвинение в материализме он отвечает обвинением в пантеизме. И с полным основанием показывает, что Декарт был хвалим Ларомигьером в то время, как Руайе-Коллар и Кузен его атаковали; но у него меньше оснований объединять Ларомигьера и Руайе-Коллара и утверждать, что они вместе передали нам принципы хорошего метода, здравой морали и пример прекрасной жизни, представляя их как школу, истинным учеником которой он является.

4 Эклектизм ещё не выполнил своей задачи: он разрывает науки и не имеет метода; он хотел опорочить философию Кондильяка и его учеников, заклеймив их варварскими и отвратительными именами, и не сумел остаться одновременно независимым и уважительным по отношению к откровению; но он лишь официальная сила, государственная философия, которая пародирует государственную религию.

Тем не менее, Сафари, по-видимому, отказался от борьбы на философском поле [1]. В 1848 году он с радостью увидел, как «религия и свобода обнимаются, как две сестры, навеки неразлучные». Он баллотировался в депутаты как **противник коммунизма** и защитник сельского хозяйства [2]. Уже в 1854 году он выходит на пенсию и поселяется в Вьё-сюр-Сер, где умирает в 1865 году.

Мемуар Тиссо, тогда декана факультета в Дижоне, был напечатан в 1854 и 1855 годах [3]. Несмотря на свои критицизирующие возражения, он высказывает высочайшее уважение как к книге, так и к её автору, и утверждает, что именно Ларомигьер первым попытался вновь запустить в нашей стране спекулятивную философию, связав её с XVII веком и с самыми глубокими и истинными теориями древности. В завершение он косвенно критикует Кузена [4].

Де Шабрье цитирует Тиссо, чей *Мемуар* был опубликован почти в том виде, в каком он был представлен конкурсному жюри, и предоставляет Минье большую часть документов, на основании которых тот составляет свою биографическую заметку. Минье делает оговорки, и де Шабрье «упрекает его в том, что он поддался прежним предубеждениям и допустил некоторые критические замечания, которые, к несчастью для него, непонятны». Мы едва ли можем предположить, что восхваление Ларомигьера со стороны г-на Тэна понравилось де Шабрье, ибо в седьмом издании *Leçons*, которое он опубликовал в 1858 году [5], он представляет Ларомигьера в образе, скорее

---

1 Как когда-то сделал Дестют де Траси, он обратился к земледелию, потребовал отмены налога на соль, затем выставил свою кандидатуру в депутаты в 1846 году под покровительством Гарнье-Пажеса и *National*, то есть своего прежнего друга Марра, обвиняя правительство в том, что оно развращает страну, разрушает авторитет, ослабляет убеждения, унижает характеры. Он обещал всё пожертвовать убеждениям, основанным на истинных принципах морали и политики, которая является их великой практической реализацией.

2 Мемуар о налоге на соль и два других мемуара, в которых он предлагает облегчение налогового бремени на сельскую собственность и введение налога на капиталы, содержат по вопросу о страданиях сельского хозяйства и о средствах их устранения вещи превосходные, хотя и часто повторявшиеся, но так и не реализованные на практике.

3 *Мемуары Академии Дижона, 1854–1855. Оценка «Уроков философии» г-на Ларомигьера, мемуар, получивший почётное упоминание в конкурсе, объявленном по этому предмету в 1851 г. (sic) Министерством народного просвещения, Париж, Ладранж, 1855 (vii–144 стр.)*.

4 «С какими же аплодисментами, — говорил он, — должны были бы быть встречены столь любезные прощальные слова! И всё же я не вижу, чтобы в этих написанных лекциях они были отмечены: это, без сомнения, единственное, что автор забыл туда включить».

5 Два тома, содержащие, помимо *Лекций* и официальных документов, *Речь о языке рассуждения*, *Речь о рассуждении* по поводу *Языка исчислений*, примечание, помещённое вслед за *Языком исчислений* Кондильяка, фрагменты из *Искусства мыслить* и *Языка исчислений*, из Декарта, Паскаля, Мальбранша, выдержки из *Лекций*, призванные показать замысел сочинения.

напоминающем современное представление о Дамироне [1]. В 1861 году он задумывается о публикации отрывков Ларомигьера: «Пусть Господь дарует мне жизнь, — пишет он аббату Року, — чтобы в последний час обрести утешение от исполненного долга». Это он финансирует конкурс, учреждённый Академией в Дижоне, порой более смелой, по *Leçons*. Вероятно, он же добился от министра, чтобы премия была удвоена, а *Leçons* особо рекомендованы. Были присланы четыре мемуара [2]. Господа Лам и Робер разделили между собой премию. Первый опубликовал свой *Мемуар* в 1867 году [3], напомнив об статьях г-на Поля Жане и книге г-на Тэна. Будучи большим поклонником Ларомигьера, он считает его согласным с Боссюэ, прогрессирующим по сравнению с идеализмом XVII века и сенсуализмом XVIII. И хотя он, прежде всего, представляет Ларомигьера как спиритуалиста и деиста, он, вслед за Тэном, видит в нём одного из самых ясных, самых методичных и самых «французских» умов, когда-либо прославлявших нашу страну.

После смерти г-на де Шабрье его наследник писал аббату Року: «Я являюсь хранителем рукописей г-на Ларомигьера. Я буду хранить их до того момента, когда они будут сожжены в соответствии с волей, выраженной г-ном де Шабрье в его завещании…». И он добавлял: «Эта оговорка является последним свидетельством неустанных усилий г-на де Шабрье сохранить ту славу, которая была ему столь дорога». Эта последняя формулировка остаётся непонятной. Однако, вспоминая документы Сийеса, Вольнея и других, уничтоженные или скрытые от огласки, можно сказать, что идеологи проявили либо большую непредусмотрительность, либо были крайне несчастливы, поскольку те, кому они доверили свои суждения — о людях и вещах — которые невозможно было тогда предать гласности, сами оказались под ударом политической, религиозной и философской реакции и, в итоге, пожелали, чтобы осталось неведомым, насколько сурово их родственники или друзья судили всё то, что они сами затем обязались защищать.

---

1 «*Лекции*, — говорил он, — научат видеть в порядке принцип всякого блага, всякой красоты, закон всякого длительного существования и приведут таким образом к признанию верховного устроителя, к тому, чтобы возложить на него свои самые дорогие надежды».

2 Тиссо, *Похвала Ларомигьеру* которого была упомянута в 1843 году, в своём *Отчёте* не щадит эклектическую школу, учебники которой более достойны риторов, чем логиков. Он не щадит также Руайе-Коллара и Бирана; он хотел бы, чтобы высшее образование излагало все системы, подвергало их беспристрастному разбору и делало выводы свободно, не будучи подсудным никакому другому суду, кроме суда общественного мнения. Среднее образование, призванное формировать философский дух, должно было бы скорее указывать вопросы, чем их решать: *Лекции* гораздо предпочтительнее сочинений Боссюэ, Фенелона, Декарта, Пор-Рояля для того, чтобы привить молодёжи любовь к философии.

3 *Философия Ларомигьера,* её соотношение с современными потребностями классического образования, соч. Д. Лам, инспектора Академии, бывшего профессора философии в императорском лицее Дижона, доктора словесности. Герэ, вдова Бетуль, и Париж, Ашетт.

V

«Возрождение идеологии»: господа Тэн, Ренан, Литтре, Рибо

Идеология, всё более ограничиваемая Ларомигьером и его учениками, смогла удержаться в университетском преподавании лишь благодаря союзу то с католицизмом [1], то с эклектизмом, то даже с критицизмом. С Тэном она вновь соединяется с науками, заимствует их метод и встаёт у них в ученики, чтобы воспользоваться достижениями, сделанными с тех пор, как произошло расхождение путей. Именно с похвалы Ларомигьеру начинается знаменитая книга о классических философах: Руайе-Коллар, «по вере и по склонности враг Кабаниса и Сен-Ламбера, которого он собирался атаковать через их отца — Кондильяка», изображается как тот, кто «впрягся в покинутую колесницу и увлёк её через все преграды и через тела поверженных противников, но при этом отвернулся от священной колонны, к которой устремлены были все состязания». Биран, «возведённый в ранг первого метафизика своего времени за то, что был тёмным», сравнивается «то с Плотином, то с бедными женщинами из Сальпетриер». Кузен превращается в отца Церкви, который, будучи оратором, не является философом; который, насилуя свой талант, когда становится историком, и ещё больше — когда становится биографом и портретистом, превращается в великого викария «с покаянными переходами и напыщенными периодами», чей главный принцип — поучать честных людей и нравиться отцам семейств. Жуффруа предстаёт колеблющимся между «анализами Аристотеля и воспоминаниями о катехизисе, начиная как философ, а заканчивая как теолог».

То, что г-н Тэн особенно ценил в Ларомигьере, это метод, унаследованный им от Кондильяка. Именно поэтому он сетовал на то, что в пыли библиотек остаются *Логика*, *Грамматика*, великолепный *Язык исчислений* и все трактаты по анализу, которые направляли Лавуазье, Биша, Эскироля, Жоффруа Сент-Илера, Кювье, — и не колебался ставить их автора рядом с Гегелем. Все те, чьи имена он призывал на помощь в своей борьбе против «классических философов», восходят к идеологам. Против спиритуализма, доктрины людей Писания, он выдвигает позитивизм [2], доктрину учёных; напротив Руайе-Коллара он ставит Флорена, Эли де Бомона, Коста и Мюллера; напротив Бирана — метафизика, глубокого потому, что туманного, — Бирана, сдерживаемого Кондильяком и Дестютом де Траси, автора *Трактата о*

---

1 Мы уже показали Ларомигьера и Валетта, заседавших в жюри агрегации вместе с Бюрнье-Фонтенелем и Дюбуроном, Валетта и Сафари, опиравшихся на де Бональда и Фрэйсина. В 1826 году вышла книга, заглавие которой очень ярко отражает необычайно эклектический дух эпохи: *Elementa philosophiae metaphysicae, excerpta praecipue e scriptis DD. Frayssinous, Laromiguière, de Bonald, etc., ad usum studiosae juventutis; auctore J.-F. Amice du Pontgaut*, in-12, объёмом 2 листа 5/12, Лион и Париж, изд. Разан.

2 См. о соотношениях позитивизма с идеологией, гл. VII, § 4.

привычке, книги, которую могли бы читать врачи, и которую должны бы читать физиологи. Над Кузеном, историком XVII века, он ставит Сент-Бёва и его труд о Пор-Рояле, написанный «романистом и поэтом». Так же он рекомендует изучать в книге Курно — «настоящего учёного и философа» — ту самую достоверность, о которой Кузен говорит столь красноречиво. Он предпочитает Кузену, «учёному-любителю текстов», Анри Бейля (Стендаля) «психолога, художника и знатока чувств». Именно Анри Бейль — «великий психолог века» — противопоставляется Жуффруа, которому, впрочем, Тэн всё же признаёт «изобретательность» и «довольно высокую степень психологической чуткости». Из двух друзей, к которым он обращается, чтобы выяснить, что такое метод, один переписал от руки *Язык исчислений* и владеет библиотекой, где всегда открыты восемьдесят четыре тома Вольтера и тридцать два тома Кондильяка; у другого два самых зачитанных тома — *Этика* Спинозы и *Логика* Гегеля.

Классические философы были лишь введением к труду, который, как никакой другой, способствовал восстановлению плодотворного союза между литературой, науками, историей и философией — того союза, значение которого идеологи осознавали как никто. *История английской литературы* (Тэна) пробудила интерес к идеологии у всех, кто по склонности или по роду занятий интересуется книгами Англии или Америки. *Опыты о Тите Ливии*, *Лафонтен и его басни*, вместе с *Études* Сент-Бёва произвели тот же эффект у тех, кто изучает латинскую и французскую литературу. История была переосмыслена «в идеологическом смысле» благодаря *Истокам современной Франции* (*Les Origines de la France contemporaine*); литературная и художественная критика — благодаря *Опытам* и *Новым опытам*, а также *Статьям о философии искусства*. Широкая публика, прочитавшая, впрочем, большинство произведений г-на Тэна, была завоёвана его *Путешествиями по Пиренеям* и *по Италии*, как и *Жизнью и мнениями Фредерика Томаса Грендоржа*. Книга *Разум* (*L'Intelligence*), навевающая воспоминания о Кабанисе и Дестюте де Траси, о Биша и Дежерандо, о Ларомигьере и Пинеле, напоминает о самых блистательных успехах идеологов в Англии и Америке.

Г-н Ренан [1], с тем же вниманием к методу и к научным результатам, отвёл религиозному чувству то место, которое г-н Вашеро отстаивал для метафизики. Г-н Литтре привлёк к позитивизму множество сторонников. Труды Милля, Спенсера, Бейна, Дарвина, Модсли (Maudsley) и других были переведены и повсюду нашли читателей. Г-н Рибо, сосредоточившись на психологии, познакомил нас с тем, что было сделано в Англии и в Германии. После того как он показал, какой должна быть психология — болезненная, патологическая, физиологическая, животная, детская и этнологическая, — он стремится придать психологии статус самостоятельной науки своими исследованиями по наследственности, памяти, личности, воле, вниманию. Он сближает медиков и

[1] См. выше, passim, и Поль Жане, *Философский кризис.*

философов и придаёт психологическим исследованиям импульс [1], который, по-видимому, в ближайшее время не иссякнет.

Однако метафизика не была уничтожена ни философией наук, ни новой идеологией. Мы стали свидетелями возрождения материализма и атеизма. Идеализм, спиритуализм и деизм остались живыми и, по-видимому, даже обрели новую силу. С религиями происходит то же, что и с метафизиками: прогресс наук, а также развитие идеологии и философии науки помогли нам яснее осознать нашу неосведомлённость. Вопросы происхождения, сущности и предназначения больше никто не стремится устранить — напротив, их стараются рассматривать, опираясь на все данные, которые могут дать позитивные науки, история человечества, институтов и идей.

[1] Особенно благодаря изданию *Revue philosophique*, которую он сумел сделать процветающей и открыть для всех метафизических доктрин.

Заключение

Будет установлено единство между науками, философией наук и метафизикой; между историей философий и историей обществ, религий и литературы, искусств, наук, учреждений и языков.

Мы изложили истоки, проследили существование, объяснили исчезновение и возрождение идеологической школы. Было бы слишком длинно напоминать обо всех вопросах, по которым беспристрастное, полное и сопоставительное изучение текстов привело нас к утверждениям, отличающимся — полностью или частично — от утверждений прежних историков, и мы не можем не отослать читателя к предыдущим главам. Мы ограничимся кратким резюме основных выводов каждой из них.

Декарт и скептики, философы, стоявшие на стороне опыта, и учёные были властителями умов XVII века. Локк их обобщил и по этой причине был признан вождём мыслителями XVIII века. В эту эпоху были затронуты все метафизические вопросы: экспериментальная, физиологическая, зоологическая, этническая психология, мораль, эстетика — всё это изучалось как независимые науки; философия наук, история систем и научных открытий достигли значительного прогресса. Мыслители всех стран совместно исследовали область спекулятивного; Кондильяк был не единственным метафизиком и не единственным философом.

I. - **Идеологисты, или идеологи**, — это не просто ученики Кондильяка. Они принимают термин, созданный Дестютом де Траси, и ту науку, которую он обозначает; они перенимают метод и продолжают, развивая их во всех направлениях, исследования XVIII века. В политике влияние этой школы ощущается более полувека. Создавая Институт, «живую Энциклопедию», она на длительное время осуществляет плодотворный союз литературы, наук и философии. Создавая нормальные, центральные и специальные школы, она готовит себе наследников и преемников. Журнал *Décade*, распространяющий её доктрины во Франции и Америке, в Италии, Испании и Германии, знакомит

своих читателей с литературными и философскими произведениями этих различных стран.

II. - Главным представителем первого поколения идеологов является Кондорсе, преемник Д'Аламбера и Вольтера, Тюрго, экономистов и математиков. Госпожа де Кондорсе поддерживает союз французской и шотландской философии. Сийес намеревается ознакомить публику с Кантом; Рёдерер восходит к Руссо, Тюрго, Смиту и начинает переводить Гоббса. Лаканаль превозносит прежде всего Бэкона, Руссо и Кондильяка. Скептики, а также Монтень, Гассенди, Гельвеций и Мабли, Гольбах и Дидро — всё это традиции, продолженные Вольнеем и Дюпюи, Марешалем и Нежоном; Бэкон и Локк, Бонне и Кондильяк — через Гара. У Пинеля в предшественниках, помимо физиологов и натуралистов, — Монтень и Декарт, Локк, Кондильяк, Смит и Дугалд Стюарт; а также Лаплас, Бюффон, математики и астрономы.

III и IV. - Кабанис — ученик греков и Тюрго, Франклина и Кондорсе, Гольбаха, Вольтера и Руссо, Бонне, Кондильяка и Гельвеция. Следуя Гиппократу, он соединяет философию с медициной и медицину с философией; вслед за Кондорсе он развивает учение о совершенствовании (постепенном усовершенствовании человека и общества). Создатель физиологической психологии, он предвосхищает или подготавливает Ламарка и Дарвина, Шопенгауэра и Гартмана, Конта, Льюиса и Прейера, а также беспристрастных и проницательных историков философии; он завершает, вместе с платонизирующими стоиками, ту линию, которая начиналась с Гомера, Гиппократа и Галена.

V и VI. - Дестют де Траси, вместе с Кабанисом, является главой второго поколения идеологов. Он дополняет физиологическую идеологию рациональной идеологией; он показывает, как англичанам, так и французам, как учёным, так и философам, что необходимо сделать её инфантильной, патологической и животной, чтобы превратить её в отправную точку логики и грамматики, морали и политической экономии, законодательства и политики, так же как и математических, физических и естественных наук, для которых он предлагает классификацию и иерархию.

VII. - Вокруг Кабаниса и Дестюта де Траси группируются их **соратники**: Дону и Шенье, Андриё и Бенжамен Констан, Ж.-Б. Сэй и Брийя-Саварен; Лакруа, Био и Ланселин, Сю, Ришеран, Эскироль, Биша, Ламарк, Драпарно и Бруссе; **новаторы** — Сен-Симон и Фурье, Леру и Рейно, Конт и Литтре; **ученики** — Дроз и Франсуа Тюро, Ампер и Биран, которые постепенно отдаляются от своих прежних наставников; **литераторы** и **историки** — Вильмэн и Леминье, Сенанкур и Мериме, Форьель и О. Тьерри, Виктор Жакмон, Анри Бейль (Стендаль) и Сент-Бёв; и, наконец, Браун, ведущий нас к Стюарту Миллю, Льюису, Спенсеру и Бейну. Через них идеология,

физиологическая, рациональная или прикладная, распространяется во всех направлениях интеллектуальной жизни.

VIII. - Став метафизической, спиритуалистической и христианской в третьем поколении, идеология имеет своими представителями Порталиса и Сикара, Дежерандо и Прево, Дюмонта и Вакенеэра, Лесажа и Бонштеттена, но прежде всего Ларомигьера, влияние которого ощущается как на итальянских философов, так и на французских эклектиков. Его школа включает Дóба и Перрáра, Армана Маррá и Рока, Кардайяка и Валетта, де Шабрье и Жибона, Сафáри, Тиссó и Лама. Имя Ларомигьера становится отправной точкой новой идеологии, соединённой с науками и литературой, с историей и литературной или художественной критикой, но не уничтожающей ни религий, ни метафизик.

Теперь несложно определить, какое участие школа приняла в этом тяжком, но животворном труде, посредством которого поколения людей совершают — либо едва заметные, либо стремительные — продвижения в исследовании неизвестных областей, число и протяжённость которых увеличиваются по мере того, как знания о них становятся всё богаче и точнее. Если для правительства многое — это просто продержаться, то для школы этого мало. Лишь та школа достойна жить в памяти людей, которая открыла новые истины, повлияла на своих современников и на потомков. Мы можем знать, но мы не вправе требовать, чтобы запомнили имена платоников, эпикурейцев, перипатетиков, которые из века в век сохраняли доктрины своих учителей, не прибавив к ним ни одной оригинальной идеи, не извлекши из них никакого удачного применения, не вызвав их возрождения среди людей, которым эти идеи были неизвестны — к их великому интеллектуальному и социальному ущербу.

Рассматривая же ту область, которую человеческий разум завоевал, охватил или хотя бы едва наметил, наблюдатель обнаруживает три ясно различающиеся сферы, в которых господствуют или пытаются господствовать науки, философия наук и метафизика. Науки, происходящие от метафизики или являющиеся её сёстрами, день за днём приобретают всё более неоспоримую достоверность и расширяют свои владения. Это связано с тем, что они всё более уклоняются от вопросов, принадлежащих преимущественно к метафизике; они устраняют явно химерические поиски и опираются на методы и результаты тех из своих областей, которые достигли очевидности и ясности. На первом плане стоят математика и математические науки. Они отказываются выяснять происхождение тех понятий, с которых начинают, и ограничиваются тем, чтобы требовать от ума, работающего с универсальными и необходимыми положениями, внутреннего согласия с самим собой. В науках физических, естественных и моральных требуется согласие не только с самим собой, но также и с фактами. Первые тем ближе подходят к математической достоверности, чем больше они прибегают к дедукции и исчислению. Естествознание, представители которого лишь в редких случаях могут

воспользоваться вычислением, а порой даже не имеют возможности прибегнуть к эксперименту, достигает лишь более низкой степени достоверности. Наконец, в моральных науках объекты гораздо более сложны; применение вычислений, дедукции и эксперимента ещё затруднённее; прямая наблюдаемость вовсе не всегда возможна и часто должна заменяться свидетельством. В этих науках мы достигаем лишь вероятностей, более или менее приближающихся к достоверности.

Философия наук напоминает тех смелых первопроходцев, которые, продвигаясь за пределы областей, давно завоёванных цивилизацией, исследуют неизведанные земли, чтобы расширить владения человечества. Так, механизм мира материи — смелая гипотеза Декарта — во многом стал научной истиной. Сначала он был доказан для звука, тепла и движения, затем для света и тепла, и, по-видимому, в ближайшее время будет доказан и для электричества, а следовательно, и для магнетизма.

Метафизика, соперница религии, со своей стороны, была решительно атакована науками и философией наук. Некоторое время можно было подумать, что человек, чья поступь стала твёрдой на обширной и прочной почве, где господствует позитивная наука, больше не станет пускаться в плавание по зыбкому океану, столько раз становившемуся свидетелем кораблекрушений. Но так же, как метафизика не вытеснила религию, науки и их философия не уничтожили метафизику.

Идеологическая школа предпринимала во всех направлениях поиски, порой весьма удачные. Мы встретили среди её представителей генералов, включая самого Бонапарта, ораторов и политиков, священников и судей, романистов и поэтов, литераторов и критиков, журналистов и профессоров, дипломатов и администраторов, врачей и инженеров, математиков и естествоиспытателей, физиков и моралистов, историков и экономистов, филологов и метафизиков. Результаты их изысканий касаются как наук и философии наук, так и метафизики.

Оставим в стороне чисто школьную идеологию, которая, тем не менее, не лишена оригинальности. Гара предлагает структуру позитивной идеологии, которую Дестют де Траси дополняет и наполняет содержанием. Отделившись от метафизики, идеология становится физиологической, патологической или болезненной у Кабаниса и Медицинского общества взаимного стимулирования (Société médicale d’émulation), у Дестюта де Траси и Ламарка, Драпарно и Бруссе, у Пинеля и Эскироля. Общество наблюдателей человека (Société des Observateurs de l’homme) и Институт, особенно Дежерандо, показывают, насколько было бы полезно, если бы идеология стала этнической, и как она может ею стать; тогда как Вольней предвидит, какой свет она могла бы извлечь из изучения языков; Кабанис — из истории философии; Дестют де Траси — из научных методов. Сикар и Дежерандо наблюдают за глухонемыми. Последний

подчёркивает полезность исследований над слепорождёнными и над индивидами, которые, подобно Лоре Бриджмен, обладают ещё более выраженными аномалиями. Инфантильной у Дежерандо и Общества наблюдателей человека, идеология у Кабаниса распространяется на плод и эмбрион; с Леруа и Дюпоном де Немýром она делает попытки стать зоологической; с Драпарно и Ламарком — выстроить психологическую и физиологическую шкалу живых существ. Кабанис, Дестют де Траси, Биран, Бруссе и их последователи придают большое значение внутренним и неосознаваемым впечатлениям сознания; Брийя-Саварен изучает вкус, Рёдерер изучает зрение; Дестют де Траси и Биран, Кабанис, Ампер, Дежерандо, Тюро, Браун — чувство движения, подвижность, усилие. Внимание исследуется Ларомигьером и Добом, Дестютом де Траси и Ламарком, Драпарно и Дежерандо; сон и сновидения — Кабанисом; воображение и чувство — Бонштеттеном. Стендаль создаёт идеологию любви; Бенжамен Констан идеологию религиозного чувства; мадам де Кондорсе, Рёдерер и Кабанис — идеологию симпатии. Инстинкт исследуется Дюпоном де Немýром и Кабанисом, Драпарно и Ламарком; привычка Кабанисом, Дестютом де Траси, Бираном и Ламарком. Работы по языку могли бы заполнить целую библиотеку: и не только у Вольнея и Гара, Рёдерера и авторов пасиграфий или универсальных языков, Дестюта де Траси и Бирана, Ампера, Дежерандо и Прево, Сикара и Тюро, Порталиса и Ларомигьера, но и у тех, кто, как Кардайяк, всё больше отделяет философию наук, приближая её к здравому смыслу, всё это до сих пор достойно прочтения тем, кто стремится прояснить столь важную часть психологии. Что касается связи физического и морального, можно сказать, что до самого недавнего времени даже самые полные учебники по медицине или философии не делали ничего иного, как воспроизводили и развивали идеи Бирана, а особенно Кабаниса или Бруссе.

Идеология — это центр, вокруг которого группируются все прочие исследования. Дестют де Траси и Ланселин, Ампер и Драпарно связывают её с науками в целом. У Кондорсе и Вольнея, Лапласа и Дестюта де Траси она участвует в решении вопроса о существовании науки о вероятностях. Ларомигьер и Биран, Дестют де Траси и Кабанис, Лакруа и Био, Ланселин и Прони обращаются к языку вычислений и к методу математики. Физики и химики — тоже идеологи. Дестют де Траси и Ланселин хотят с помощью идеологии пролить новый свет на методы и данные физических наук. Кювье начинает с идеологии; Ламарк интересуется ею не меньше, чем зоологией; Кабанис и Биша, Моро и Ришеран, Виктор Жакмон и Бруссе, Пинель и Эскироль, врачи и психиатры уделяют идеологии столько же внимания, сколько физиологии, медицине и ботанике.

Ещё более тесна связь между идеологией и моральными науками. Логика — продолжение идеологии — становится предметом исследований у Дестюта де Траси и Тюро, Бирана и Ампера, Брауна, Ларомигьера и его школы. Вольней и Сен-Ламбер, Кабанис и Дестют де Траси стремятся превратить мораль в

позитивную науку, основанную на идеологии. Из идеологии же исходят литературная критика Женгене и его сотрудников, Кабаниса, а отчасти даже критика Вильмэна и Сент-Бёва; стихи Кабаниса и Андриё, романы Дроза, Сенанкура, Стендаля и его преемников. Никогда ещё философия и идеология не были настолько полно и успешно объединены. Мораль, ведомая идеологией, приводит к социальной науке, к которой обращаются Ларомигьер и Камбасерес, Талейран и Боден, Кондорсе, Сийес и Рёдерер, Вольней и Кабанис, Дестют де Траси и Дону, реформаторы, социалисты и коммунисты — Сен-Симон и Фурье, Конт и Жан Рейно. Политическая экономия культивируется Кондорсе, Рёдерером, Дезрено и Брийя-Савареном, Дестютом де Траси и Ж.-Б. Сэем — ещё до Ш. Конта, Дюнуайе, Бастиа и Милля. Никогда в другое время нельзя указать столько трудов, где педагогика, соединённая с идеологией, была бы столь смелой и столь всеобъемлющей. Там, где сегодня мы полагаем, что открываем нечто новое, мы на самом деле восстанавливаем идеи, уже предложенные или даже реализованные идеологами.

История претерпевает глубокое преобразование. Благодаря теории совершенствования Кондорсе возвращает ей то значение, которое она утратила со времён Декарта; Кабанис приходит к беспристрастности и эклектизму. Дроз, Форьель и Дону предшествуют Огюстену Тьерри. Литературная история, наряду с историей в собственном смысле, приобретает более беспристрастный характер у Женгене, Дону, Форьеля. Кабаниса, Тюро и Дестюта де Траси занимаются историей медицины, грамматики, логики; Кондорсе — историей наук и учёных. Вольней и Дюпюи подходят к истории религий лишь как эрудиты. Бенжамен Констан изучает их с интересом и сочувствием. Философов всё чаще оценивают беспристрастно, начиная с Кондорсе. Кабанис обращается к античным авторам, о которых до сих пор можно читать у Нежона. Дону с достаточной точностью излагает теории философов античности и средневековья; Тюро пишет об écossais и греках. Дежерандо и Форьель вдохновляют Кузена и его последователей. Наконец, география у Вольнея и Жакмона становится точной, научной и идеологической.

Идеологи были не менее успешны и в области философии наук. Ланселин и Драпарно, Дестют де Траси и Ампер исходят из идеологии, чтобы ещё до Конта выстроить классификацию и иерархию наук. Ещё до Спенсера Лаплас изложил гипотезу туманности; до Дарвина Кабанис и Ланселин, Ламарк, Бори де Сен-Венсан и Драпарно уже были явными трансформистами. Гипотеза бесконечного совершенствования принимается почти всеми идеологами; с её помощью они объясняют развитие способностей и развитие человечества; они проливают свет на историю религий, наук, философий — как и на историю людей и институтов; они предоставляют Конту исходные элементы для формулировки закона трёх стадий.

Наконец, они, как и их предшественники XVIII века, вовсе не отказались от метафизики. Безусловно, они уже весьма отчётливо различают науку,

философию науки и метафизику; безусловно также, некоторые из них предпочитают оставаться на позитивной почве. Но проблема объективной ценности познания тщательно рассматривается Кабанисом и Дестютом де Траси, Дежерандо и Ампером, Бираном и Тюро, которые формулируют из неё теорию относительности познания и отношений. Кондорсе, а особенно Дестют де Траси, Биран и Ампер, Дежерандо и Ларомигьер занимаются вопросом существования внешнего мира. Представления о материи у Лапласа, Кабаниса и Ланселина, представления о жизни у Кабаниса и Биша, Ламарка, Драпарно и Бруссе образуют космологию, отличающуюся как широтой, так и дерзновением. Спиритуализм Ларомигьера был передан школе, продолжившей его. Биран, а особенно Кабанис, развили весьма оригинальный стоицизм; Бенжамен Констан аналогичным образом преобразовал христианство, которое впоследствии Биран сблизил с мистицизмом. Ампер и Дежерандо, Дроз, Ларомигьер и его ученики придают своей религиозной вере форму, родственную их идеологии: ничто не может сравниться со спокойствием и уверенностью Дежерандо и Ларомигьера, если не считать терзаний и неуверенности Бирана и Ампера.

Нет ни одного современного метафизика, который бы не воспроизвёл или не развил какую-либо из идеологических доктрин или не столкнулся бы с сокрушительными возражениями против своей системы — со стороны оппонентов, чью роль, казалось, давно следовало считать завершённой. Мы упоминали Шопенгауэра, Гартмана и Спенсера, господ Тэна и Ренана, Конта, Льюиса, Милля и Бейна и многих других — как спиритуалистов, так и материалистов, как верующих, так и скептиков.

II

Если оставить в стороне политические и религиозные влияния, которые в определённой степени вынудили школу трансформироваться и прервали её регулярное и естественное развитие, то сегодня становятся ясны внутренние причины, мешавшие ей оставаться тем, чем она была в начале. Амбиции школы были велики: её наиболее выдающиеся представители хотели порвать с прошлым, воссоздать одновременно с человеческим разумом и моральные науки — по образцу математических и физических; заложить основы философии науки и даже наметить новую метафизику, которая опиралась бы на знание как самых общих, так и самых частных законов и явлений. Но, восхваляя и рекомендуя наблюдение и опыт, они слишком часто прибегали к гипотезам. Провозглашая достоинства истории и прекрасно объясняя, как её следует писать, они слишком часто воспринимали её как уже завершённую — или как нечто, что можно рационально сконструировать. Они настаивали на необходимости положить идеологию в основание всех наук, но слишком легко

верили, что для того, чтобы превратить её в самостоятельную науку, достаточно наметить её план и обозначить метод. Они стремились сделать её физиологической и этнической, инфантильной, патологической и зоологической; но забывали, что для этого необходимо собрать многочисленные и безупречные наблюдения о различных народах и животных, о детях, уродах и т. д., что предварительно нужно было бы сформировать саму физиологию и патологию. Утверждая бесконечную совершенствуемость человеческого духа, они полагали, что могут придать своему труду такую завершённость, что у потомков останется лишь совсем немногое, что можно было бы в нём изменить. Они увидели, что в природе идёт борьба за существование между видами — растительными и животными, — и они восприняли свободу, равенство, братство как естественные законы человеческой природы. Они предугадали роль наследственности в формировании как нравственного, так и телесного склада человека и захотели воссоздать разум и сердце человека заново, уничтожив всё наследие прошлого — того самого прошлого, которое и подготовило склонности и способности тем более могущественные, чем большим числом веков и поколений они были выкованы. Они, наконец, распознали и подчеркнули роль чувств и страстей в человеческой жизни, но при этом уверовали в исключительно благотворное влияние просвещения и стремились достичь морального и характерного прогресса прежде всего через прогресс знания.

Опыт показал всю противоречивость и ошибочность этих предпосылок. Уже Кабанис, Б. Констан, Биран и многие другие понимали, что невозможно — да и, возможно, не нужно — отнимать у широких масс их религиозные верования, а у некоторых их метафизические вероятности. Не раз уже в этом веке умы, утомлённые позитивными поисками и измученные жаждой неизвестного, обращались вновь к религии и метафизике, не заботясь о том, согласуются ли они с науками и опираются ли достаточно на них.

С другой стороны, физиология сделала значительные успехи, но эти успехи показали, сколь многого ещё не хватает, чтобы познать нервную систему и уловить — в её почти бесконечной сложности — связи между физическим и нравственным. То же самое можно сказать об отличных наблюдениях над детьми и душевнобольными, над слепыми и глухими, над дикарями и животными. История просветила нас в отношении психологии наших предшественников; романисты и критики — в отношении психологии наших современников. Но именно это позволило нам ещё яснее осознать, как много ещё нужно собрать в этой области позитивных знаний.

Просвещение всё шире распространяется в народных массах, и все науки достигли такого уровня развития, что вполне позволили бы утверждать бесконечную совершенствуемость разума. Но преступлений не становится меньше, и, возможно, никогда эгоизм не пользовался такой честью, как ныне. Доктрина борьбы за существование, бесспорная в области естественных наук,

кажется, стала практическим правилом жизни людей и народов. Вооружать свою страну для войны и предварять её тарифными боями — главная задача государственного деятеля. В любой момент различия интересов, рас и языков, религий и учреждений могут привести к ужасным войнам — между континентами или между народами. Внутри каждой страны борьба обостряется — между различными партиями, а главное — между классами, и подчас кажется, что социальный переворот уже на пороге. Когда мы перечитываем тот отрывок, где Жуффруа рассказывает, как он в декабрьский вечер осознал утрату своей религиозной веры, или Ночи Мюссе, где прорывается такая глубокая и жгучая боль, — мы чувствуем, насколько велико различие между поэтическим, литературным и по существу эгоистичным пессимизмом Байрона и Шатобриана, Ламартина и их преемников, и тем бескорыстным пессимизмом, которого, кажется, с трудом могут избежать — пусть на мгновения — даже те мыслители, кто в обычное время полны уверенности.

III

Что сделал бы сегодня идеолог, подобный Кабанису или Дестюту де Траси, обладая столь же открытым умом и столь же высоким нравственным обликом, одинаково преданный как поиску истины, так и улучшению участи своих собратьев? С бесконечной тщательностью он собирал бы все позитивные результаты, полученные физиологами, врачами, психиатрами, филологами и историками, и доказавшие, насколько плодотворными оказались пути, открытые в начале века. Со своей стороны он стремился бы, по одному или другому направлению, приумножить число достигнутых истин — и извлек бы из них немало полезных следствий для морали и политики, педагогики и логики, законодательства и политической экономии, эстетики и литературной, научной, религиозной или художественной критики. Он всегда тщательно различал бы то, что полностью прояснено, от того, что освещено лишь частично, или от того, что по-прежнему остаётся в темноте; он никогда не придавал бы практическим правилам большей силы, чем позволяют достигнутые теоретические знания. Не пренебрегая возможностью в надлежащее время и после достаточной подготовки подойти к «социальному» или «школьному» вопросу, он стремился бы решать — постепенно и надёжно — каждую из проблем, составляющих эти общие вопросы, часто неразрешимые именно потому, что они слишком обобщены и объединяют противоречащие друг другу элементы.

Точно так же, если бы он изучал историю философий, он позаботился бы о том, чтобы осветить её через историю институтов и людей, литератур и наук, религий и языков, — с тем, чтобы затем использовать её для обогащения

психологии и истории, как и тех наук, на которых они обе непременно покоятся.

Философия наук, возможно, привлекла бы его не менее, чем психология. Даже не будучи математиком или астрономом, химиком или физиком, натуралистом или филологом, он с живым интересом следил бы за трудами, посредством которых каждая наука стремится построить собственную философию. С не меньшей тщательностью он осознавал бы значение смелых гипотез, при помощи которых Декарт и его современные наследники — Дарвин и Спенсер, вслед за Ламарком и Лапласом, — пытались обобщить выводы, законы и классификации, к которым пришли отдельные науки. Разумеется, он не мог бы шаг за шагом следовать за их развитием; разумеется, нередко ему пришлось бы довольствоваться общими представлениями, — но он сам практиковал бы те методы, с помощью которых совершаются открытия, он умел бы понять, каким путём шли изобретатели. Его взгляд охватывал бы более широкий горизонт, и область, принадлежащая ему самому, озарялась бы новым светом.

Но какую позицию занял бы он по отношению к метафизике? Несомненно, физическая вселенная представилась бы ему бесконечно более разнообразной и более сложной, чем она казалась Платону и Аристотелю; человек показался бы ему ещё в большей степени, чем Паскалю — заброшенным между бесконечно большим и бесконечно малым. Он отказался бы принимать целиком и без критики воззрения Платона и Аристотеля, Декарта или Лейбница, Канта или Конта. Ведь, по существу, разве философствовать не значит мыслить свободно и самостоятельно? Он не примкнул бы и к тем философам — а их ещё немало, — кто стремится адаптировать к научным данным воззрения, заимствованные у религий или старых систем.

Он, конечно, не утверждал бы, что человечество должно отказаться от понятий, унаследованных от предков, так же как оно отказалось от их одежды и примитивного жилья, их пищи и грубого оружия, их суровых и диких нравов. Но он также не посчитал бы, что мир Ньютона, Лапласа и Пастера можно удовлетворительно объяснить Богом Платона и Аристотеля.

Для новой науки — как в её частях, так и в целом — он пожелал бы новой метафизики: с трудом, но с мужеством он стал бы искать ту счастливую формулу, которая, не умаляя и не искажая научные истины, сумеет сохранить в метафизиках и религиях то, что составляет для нас их жизненность и их обаяние; которая соединит бесконечно сложную и живую реальность с идеалом совершенства, который каждый из нас смутно предчувствует, с жаждой запредельного, что терзает лучших и благороднейших.

Наш идеолог уже не будет верить во всемогущество разума; он больше не станет считать свободу, равенство и братство естественными законами;

возможно, он усомнится в бесконечной совершенствуемости человечества. Но разум для него будет — хрупкий и драгоценный цветок, возделывание которого может подготовить, пусть и не осуществить полностью, все формы прогресса и придать существованию новое обаяние и ценность. Свобода представится ему прекрасной вещью — когда она будет озарена разумом, столь же заботящимся о правах других, сколь и об использовании собственных. Равенство покажется ему желательным лишь постольку, поскольку оно всё более сближает каждого человека с теми, кто превосходит его в разуме и нравственности. Он будет любить своё отечество и трудиться, насколько хватит сил, чтобы сделать его более великим и более уважаемым. Но он не сочтёт на этом свою задачу завершённой: он не забудет, что жители других стран — тоже люди. Насколько это будет в его власти, он станет бороться с предрассудками и недоразумениями, которые вооружают народы друг против друга. Всеми силами он будет противостоять нарастающей волне эгоизма; он будет показывать — как советами, так и собственным примером, — что единственный способ сделать свою жизнь выносимой — это забыть о себе, чтобы подумать о других. Над борьбой за существование — природным законом живых существ — он поставит идеальное братство, о котором мечтали буддисты и стоики, христиане и философы XVIII века. Он будет знать природу и с помощью самих тех средств, которые она нам предоставляет, станет стремиться уменьшить страдание, сделать борьбу менее ожесточённой, устранить несовершенства и увеличить ценность индивидов — даже более, чем их благосостояние. Он будет знать, что человеку необходимо, чтобы совершенствоваться, подчинить природу себе; что требуется неустанный труд, чтобы сохранить достигнутое и подготовить новое; чтобы заставить реальность рождать идеал.

Приложение 1

Центральные школы

Центральная школа в Осере

Публичные упражнения, которые ученики проведут 15 фруктидора VII года. — Программа общего и публичного экзамена, который ученики будут проходить 15, 16, 17, 18 и 19 фруктидора VIII года.

Законодательство. — Преподаватель: Лапорт

Законодательство есть искусство давать народы законы; но для того чтобы лучше определить его и дать ему название, полностью его объясняющее, следует называть его гражданской, политической и моральной наукой. Его называют гражданским, потому что из него проистекают истоки общественного блага; политическим, потому что оно обнаруживает и выявляет все социальные истины, потому что оно — глаз и провидение Законодателя; моральным, потому что оно соединяет права с обязанностями.

Законодательство делится на естественный кодекс и договорной кодекс. Последний подразделяется на основные законы, гражданские и уголовные и т. д. и т. п.

Генеральная (общая) грамматика. — Преподаватель: Луи Фонтен

Первая часть: Идеология. - Что такое общая грамматика?
Какова её цель? Что такое человек?
С какой точки зрения философ-грамматик рассматривает человека?
Какие части человеческого тела особенно наблюдает грамматик?
Что представляют нам ощущения в телах?
Дайте мне представление об анализе.
Как происходит разложение ощущений и идей?
Как затем происходит их воссоздание с помощью анализа?
Сколько вы различаете видов качеств?
Как порядок способствует ясности в наших идеях?

Каков порядок возникновения идей?
Что вы понимаете под Родом, Видом и Индивидом?
Каковы наши идеи каждая сама по себе? Каковы операции души?
Раскройте нам своё представление о внимании.
Что в грамматике понимают под Сравнением?
Что такое Суждение? — Рефлексия (Размышление)?
Что такое воображение, рассматриваемое как операция души?
Что такое рассуждение?
Продолжение идеологии. - Что такое человеческий разум?
Каковы собственно душевные способности? — и в частности желание?
Что такое воля, рассматриваемая как способность?
Что вы понимаете под способностью мыслить?
Что следует понимать под привычкой тела и души?
Дайте нам краткое представление о причинах чувствительности.
Сделайте краткое изложение причин памяти.

Вторая часть: собственно общая грамматика, или метафизика языка. Что такое язык действия? Откуда происходит язык действия? Нужно ли его изучать? Являются ли знаки этого языка искусственными или произвольными?

Как язык действия выражает мысль?
Как одновременные идеи становятся последовательными?
Каковы преимущества языка действия? Каковы его недостатки?
Почему начинают с языка действия?
К чему сводятся принципы языков?
Устроен ли человек так, чтобы говорить языком членораздельных звуков?
Были ли слова выбраны произвольно?
Сохранились ли какие-нибудь следы первичного языка?
Каким образом языки образуют систему, смоделированную по системе наших знаний? Какие языки наиболее совершенные?
У всех ли у них одни и те же основания? Чем они различаются? Как они совершенствуются?
В чём состоит искусство анализа наших мыслей?
Предоставляют ли языки средство для расчленения мысли?
Покажите, насколько искусственные знаки необходимы для расчленения операций души.

Какой метод следует применять при пользовании искусственными знаками, чтобы составлять отчётливые представления всякого рода?
Основан ли порядок возникновения идей на природе вещей?
Сколько методов вы различаете, и каковы преимущества метода обучения?
Не следует ли рассматривать языки как столько же аналитических методов?
Как язык действия расчленяет мысль?
Каким образом языки, на первых этапах, анализируют мысль?

Третья часть: Введение в логику. - Дайте некоторое развёрнутое изложение об абстрактных и общих идеях?

Покажите, что искусство рассуждать сводится к хорошо устроенному языку. (Четвёртая часть, а именно «Логика, или искусство рассуждать», перенесена на следующий год.)

Применение анализа к сформировавшимся языкам, и в частности к нашему. Как осуществляется анализ мысли в усовершенствованных языках? Как расчленяют речь на предложения? Раскройте их различные виды.

Покажите, как выполняется анализ предложения. Дайте подробный анализ членов предложения и примените его к примерам и т. д. (Документы предоставлены г-ном Газье.)

Центральная школа в Сенте

Программа церемонии распределения наград
на 30-й день месяца, VI год Республики.

Кортеж, состоящий из магистратов, представителей властей, должностных лиц, профессоров и награждённых учеников, образует шесть групп с знамёнами, на которых будут надписи: 1° *«Изучайте древних — они ближе всего к природе, и их гений уже не принадлежит им»* (Руссо); 2° *«Аполлон, приготовь свои кисти, чтобы увековечить наших воинов»*; 3° *«Они — хранительницы искусств»*; 4° *«Декарт научил людей признавать истинными лишь те принципы, о которых они имеют ясные идеи»* (Гельвеций); 5° *«Чтобы познать людей, нужно видеть их в действии»* (Руссо); 6° *«Красноречие сильнее оружия»*. Четыре других знамени будут нести надписи: 1° «Юные граждане, Отечество аплодирует вашим успехам и улыбается радости ваших родителей»; 2° «Невежество — величайшее из несчастий как для правительств, так и для народов»; 3° «Искусства питают человека и утешают его»; 4° «Пусть глупцы говорят что хотят — знание имеет свою цену».

Генеральная (общая) грамматика. — Преподаватель: гражданин Вандеркан.

Изучение общей грамматики состоит в исследовании постоянных форм, которым человек подчинил выражение мысли посредством речи.

Исследовать, каким образом человек впервые дал понять своим собратьям свои чувства; вывести из недостаточности языка действия необходимость членораздельных звуков; подняться к истоку языков и задаться вопросом о

причинах их разнообразия; перейти к изобретению письменности; отметить первые приёмы этого искусства; увидеть его торжество в открытии книгопечатания и заметить их влияние на цивилизацию человеческого рода — таковы первые темы его размышлений. Он делит общую грамматику на три основные раздела: первый рассматривает слова в отдельности; их изучают в двух отношениях — как материал речи и как знаки идей. Во втором разделе исследуют их специфические характеристики, наблюдают все их свойства и «случаи» (изменения, формы). Анализ картины мысли позволяет выделить два больших класса слов: один состоит из тех, что меняют свою форму и служат для изображения главного предмета картины; другой — из тех, что формы не меняют и служат только для указания отношений, существующих между первыми. Описывая последовательно эти различные знаки, он будет часто обращаться к самой мысли и показывать повсюду «человека природы», который, создавая язык, удовлетворяет насущную потребность выражать свои идеи точно и быстро. Третий раздел рассматривает слова, связанные между собой по определённым правилам для создания картины мысли. Здесь спросят: что такое фраза, чем она отличается от предложения; отметят различные их виды. Будут определены условия грамматического и осмысленного анализа, и ученики будут упражняться в этом виде работы. Одновременно будут изучаться общие законы, которым подчиняются слова в их взаимных связях. Совокупность этих законов составляет синтаксис и построение фразы.

Затем принципы, выявленные в ходе занятий, будут применены к французскому языку, с рассмотрением тех модификаций, которые они в нём претерпевают. Далее последует изложение основных правил, составляющих искусство письма в отношении лишь построения фраз. Пунктуация станет одной из тем этих последних занятий. Если изучение языков полезно, то знание того языка, на котором говоришь, — необходимо. Преподаватель будет умножать замечания по этой части своего курса. Изучение общей грамматики в собственном смысле слова — одно из наиболее подходящих упражнений для развития четырёх способностей человеческого ума, которые выделяет идеология: внимания, размышления, памяти и воображения; ведь знание и гений заключаются в совершенствовании этих способностей. (Xambeu, op. cit.).

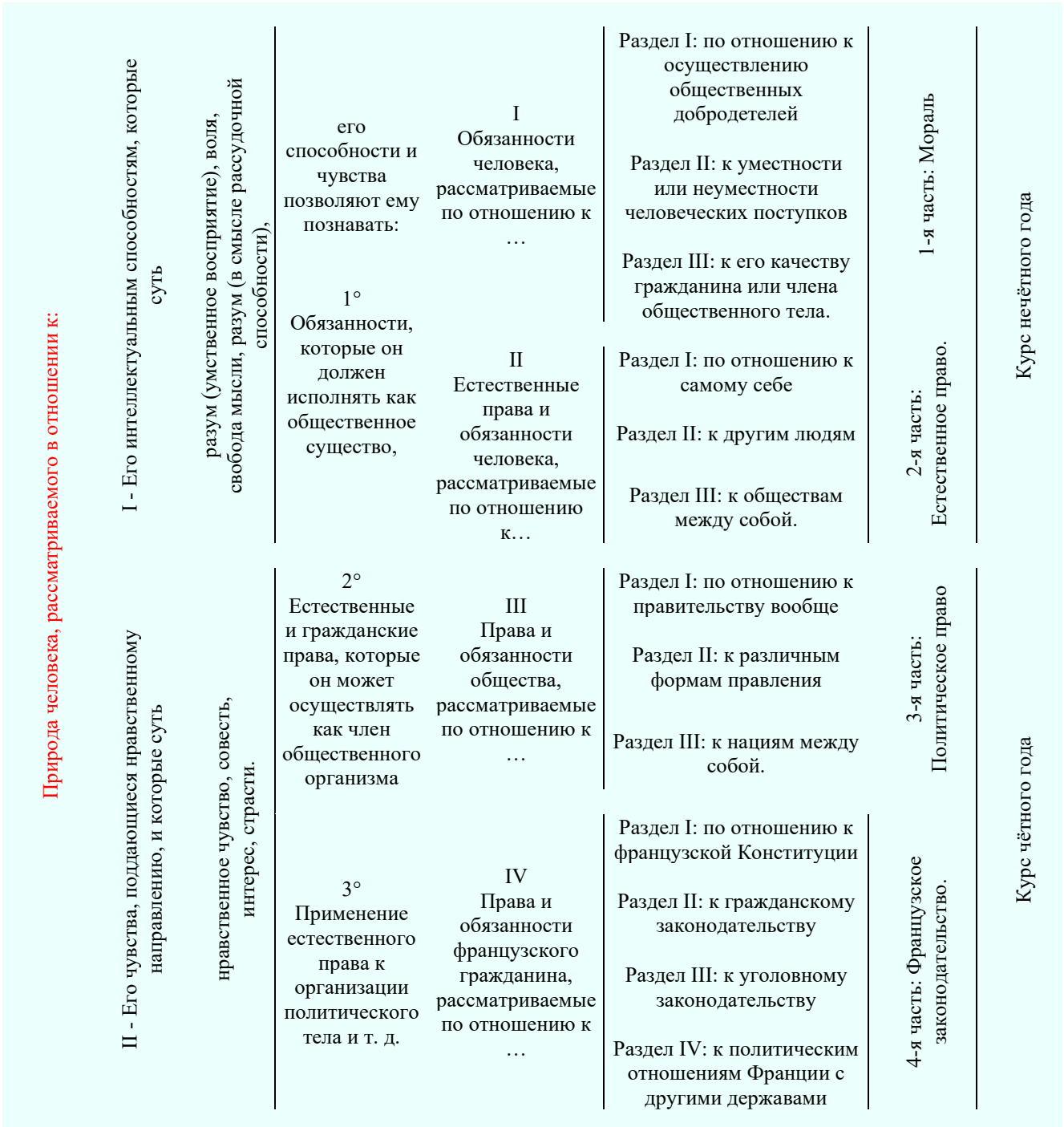
Центральная школа в Туре

Аналитическая таблица курса морали и законодательства

Naturamque sequi patriaeque impendere vitam (Следовать природе и посвящать жизнь Отечеству). — Лукан.

Человек мыслит, судит, рассуждает и принимает решения. Посредством этих способностей он исследует, какова природа его существа, какова цель,

ради которой он существует; он рассматривает свои новые отношения с самим собой, с обществом, с Отечеством и с человеческим родом, то есть — что он должен самому себе, что он должен обществу, что общество должно ему, и что общества должны друг другу.



Леру, профессор законодательства, был смещён 18 фрюктидора IX года. Он был мэром Меттре. Байню, также профессор законодательства, стал, неизвестно в какую дату, заместителем комиссара правительства при уголовном трибунале.

В школе также существовал курс анализа ощущений (что, по-видимому, указывает на то, что она была организована ещё до закона от 3 брюмера IV года), который вёл Буржюс, с Байо в качестве его заместителя.

СОСТОЯНИЕ КУРСОВ

Общая грамматика

Год VI,	1-й триместр	10 учеников	Год VII, триместр вандемьера. 3 учеников.
	2-й триместр	12 учеников	
	3-й триместр	14 учеников	

Мораль и законодательство — *Литература*

Год VII,	ванд. и фримера	8 учеников.	Год VII, вандемьера. 10 учеников.
	нивоза плюв. вант.	7 учеников	нивоза 10 -

История

Год VI,	фример	4 учеников.	Год VII, триместр	вандемьера.	14
	нивоз	5 учеников		нивоза	11 -
	жерминаль	5 учеников			
	мессидор	5 учеников			

Среди учеников Центральной школы называют Пьера-Фиделя Бретонно (1778–1862), знаменитого врача, именем которого названа улица в Туре, и который опубликовал следующие труды: *Трактат о дифтерите*, *История дотинтерии*, *О пользе компрессии при идиопатических воспалениях кожи*, *Лечебная терапия перемежающейся лихорадки* и др., а также *Рукописные письма* (библиотека города Тур, № 1444).

(Документы, предоставленные г-ном Ребю, профессором лицея города Тур.)

Приложение 2

Дань уважения Институту в виде Послания Гара

Гражданину Гара, члену Консервативного сената.

Хочу выразить тебе свой ужас перед преступлениями,
свидетелями и жертвами которых мы сами были.
Гара, ты, чей ум исследует мысль,
признаёт её силу, определяет её судьбу,
с тем чувством совершенства,
которое возвышается и расширяется через созерцание,
посвяти нашим замыслам своё глубокое знание
и в человеческом сердце открой новый мир.
Дай добродетели жить, как в золотом веке;
ты сказал: для народов она — подлинное сокровище;
и когда ты приближаешь рассвет счастья,
я, слабый, осмелюсь вновь попытаться это повторить:

Тарб, 21 брюмера LX года.

Подпись: Б. Дотофрей.

(Неизданные бумаги Академии моральных и политических наук.)

Приложение 3

Неизвестное письмо Кабаниса о совершенствовании

(Décade от 30 жерминаля, год VII) [1]

С момента основания вашего журнала я был одним из его самых постоянных читателей, и его слава мне дорога; поэтому с подлинным удовлетворением я прочитал в вашем номере от 10 прериаля опровержение некоторых несколько неблагозвучных положений, содержавшихся в предыдущем номере. Мое чувство при этом чтении было таким же, какое испытываешь, получая хорошие вести о друге — вести, сообщающие, что друг, за здоровье которого опасались, на самом деле чувствует себя хорошо.

Философская Декада действительно должна продолжать заслуживать свое название: ей не позволено иметь что-либо общее с неофициальными защитниками предрассудков; и было бы чересчур печально видеть патриотов, которые таким образом стреляют по своим лучшим войскам, видеть разумных и нравственных людей, становящихся в положение войны с теми, чьи усилия направлены лишь на то, чтобы связать непосредственными законами Природы слишком долго остававшиеся неопределёнными или плохо обоснованные принципы морали и разума.

По мнению последних, лишь тогда, когда привычки здравого смысла [2] пустят корни во всех слоях общества, свобода, мир и счастье окажутся действительно утверждёнными на прочных основаниях; и тогда добродетель, о

---

1 Она не была подписана и была отправлена из А..., департамент Сены, 20 жерминаля VII года. Но оглавление третьего триместра VI года приписывает её гр-ну Кабанису.

2 Следует вспомнить то, что говорит о здравом смысле Декарт в начале *Рассуждения о методе*.

которой легкомысленные люди составляют себе суровое представление, будет наконец воспринята в её истинном виде — как средство быть счастливым. Эти же люди добавляют, что настанет день, когда преимущества, сопряжённые для человека с привычками добродетели, будут настолько убедительно доказаны, что над злым человеком будут смеяться, как над глупцом, всякий раз, когда не сочтут необходимым заковать его, как безумца.

Мне кажется, в этом нет ничего особенно дурного; признаюсь вам, я нахожу здесь полезное чувство уверенности в прочности тех оснований, на которых личный интерес поддерживает мораль, чувство, которое, по-моему, должно быть разделяемо всеми теми, кто верит в добродетель, не имея нужды верить в ад.

Впрочем, эта доктрина о совершенствовании человеческого рода в отношении разума и в отношении нравственности далеко не нова. Некоторые современные философы — такие как Бэкон, Бюффон, Прайс, Смит, Пристли, Тюрго, Кондорсе — рассматривали это совершенствование как бесконечное, то есть как одну из тех величин, к которой расчёт может беспрестанно приближаться, но никогда не достигает её; однако во все времена его признавали или ощущали, и оно служило основанием или побуждением для трудов гения, для попыток найти наилучший способ воспитания, для исследований на тему лучших форм правления. Усилия исследователей истины, моралистов, законодателей всегда опирались на эту веру, что человек способен к совершенствованию — как в индивидуальном порядке, так и, тем более, в коллективном, в масштабе целых наций. Без этой посылки, в самом деле, непрерывные изменения, которые нам показывает история, революции империй, варварство и цивилизация, невежество и прогресс ума, зло и добро — всё это стало бы одинаково необъяснимым.

Нет, надежда усовершенствовать человека, сделать его более разумным, более добрым, более счастливым — отнюдь не химера. Эта надежда, подтверждаемая всеми ясно понятыми фактами, может быть отвергнута лишь ограниченной и мрачной философией, опытом неполным и стеснённым узкими деталями. Она была не только движущей силой и светочем мудрецов и учёных древности; она была также тайным руководителем и душой усилий тех блистательных умов, которые покрыли её славой через искусство. В прекрасные эпохи Греции поэты, музыканты, живописцы, скульпторы проводили жизнь рядом с философами; они не ограничивались тем, что почерпали в их беседах взгляды, пригодные для направления таланта, — они питались у них образцами нравственной красоты, через более глубокое изучение страстей; они стремились сами давать людям полезные уроки, укреплять власть добродетелей, придавая истине очарование чувства и соединяя её с сильными эмоциями, способными властвовать над воображением и сердцами. И вот так искусства становятся поистине божественными, ибо

гений возвышает себя самого гораздо больше своей целью, нежели блеском своих трудов.

…Возможно, критик разделяет заблуждение некоторых людей, которые, впрочем, как будто намеренно устроили так, чтобы уже никогда от него не отказаться; он, быть может, думает, что современная философия стремится, напротив, иссушить душу, охладить всякий энтузиазм и что друзья разума — это лишь враги всего возвышенного в человеческой природе. Если таков его способ судить о них — значит, он их вовсе не знает.

Другое заблуждение, которому эти же люди, по-видимому, не менее преданы, состоит в предположении, что эта философия занимается предметами и обсуждает вопросы совершенно непостижимые или же пустые; и тут вы совершенно справедливо замечаете, что то, что и поныне называют метафизикой, не имеет ничего общего с тем, что носило это имя в прежние времена. Напрасно пытаются смешать две столь различные вещи: ни цель, которую ставят себе ученики Локка и Кондильяка, ни орудие, которым они пользуются, ни способ его применения не могут ни в чём сблизить их с теми старыми схоластами, чью нелепость они, напротив, сделали ещё более очевидной, возведя её к непосредственному источнику всех их заблуждений.

Если ныне мы перестаём принимать абстракции за реальные сущности, изгоняем пустые тонкости из всех дискуссий, различаем предметы, которые могут быть подчинены нашим исследованиям, от тех, которые им не подлежат; если, определяя с большей точностью значение стольких неопределённых слов — таких, как время, вечность, бесконечное, субстанция, пространство и др., — мы, кажется, наконец избавились навсегда от бесконечных и мрачных споров, служивших их темой более двух тысяч лет, — кому мы обязаны этим? Не тем ли самым людям, которых обвиняют в том, будто они питаются пустыми идеями, тонкостями и абстракциями?

…Со времён Локка, Гельвеция и Кондильяка метафизика есть не что иное, как знание приёмов работы человеческого духа, изложение правил, которых человек должен придерживаться в поиске истины, будь этот поиск направлен на нас самих или на существа и тела внешнего мира, с которыми мы можем вступать в отношения. Она применяется одинаково и к физическим наукам, и к наукам нравственным, и к искусствам: её принципы можно изложить и подкрепить примерами как в лаборатории химика или даже в мастерской простейшего ремесленника, так и во второй секции Института или в школах логики, грамматики и законодательства. Если она обучает философа общему искусству наблюдения или эксперимента, то она же показывает каждому мастеру, в чём состоит особое искусство, которым он владеет; объясняет, почему, как только распознаны материалы, над которыми он работает, и цель, которую он ставит, органы человека или иные инструменты искусства должны применяться по определённым правилам или методам, а сами эти методы,

равно как и инструменты, совершенствоваться в определённом направлении. Истинная метафизика, одним словом, есть наука о методах, которую она основывает на знании человеческих способностей и сообразует с природой различных предметов.

Итак, если совершенствование идей зависит от совершенствования образования, то совершенствование образования, в свою очередь, зависит от совершенствования методов. Именно методы учат нас классифицировать предметы наших исследований, располагать их в таком порядке и под таким углом зрения, который наиболее благоприятен для их анализа; они же учат нас сокращать и упорядочивать наши идеи; и только от них, одним словом, мы можем ожидать появления хороших элементарных книг во всех областях наук и искусств.

Стоит лишь иметь хоть какое-то представление об обучении и подумать о тех обстоятельствах, которые могут сделать образование более или менее полезным, сократить его или, напротив, ещё более затянуть его медлительность, — чтобы понять: отсутствие хороших элементарных книг и применение порочных методов — вот главные причины того множества затруднений, которые так часто отпугивают молодых учеников. По этой же причине даже те, кто всё-таки обучается, почти повсюду делают это крайне плохо; и чаще всего это несовершенное образование, вместо того чтобы укрепить и упорядочить ум, ослабляет его и приучает к дурным привычкам, которые сохраняются на всю жизнь или которых удаётся избавиться лишь ценой величайших усилий.

Ибо применение хороших элементарных книг… и хороших приёмов обучения, которые эти книги указывают и день ото дня совершенствуют, — это не только средство сберечь самое драгоценное наше сокровище, то время, которое так быстро ускользает от нас… Они направляют и удерживают ум на верном пути; упражняют его и придают ему более твёрдую поступь; приучают ничего не постигать наполовину, ничего неопределённого не принимать, каждую идею сводить к наиболее точной её формулировке; наконец, в некотором роде заранее угадывать во всяком случае, где находится истина и какие средства могут сделать её ощутимой для всех. Отсюда легко понять, что влияние хорошей формы обучения не ограничивается предметами, которые юный ученик изучает в данный момент: оно распространяется и на все те, которыми он будет заниматься впоследствии; и что хорошо построенное обучение одного-единственного, даже самого простого из этих предметов, иногда может придать уму такую закалку, что он становится, так сказать, непроницаем для заблуждений.

Особенно же для малоимущего класса образование должно быть простым, ясным и лёгким — для этого класса, который непрестанно отвлекается от размышления самыми насущными нуждами жизни, который обычно обращает

своё внимание лишь на самые непосредственные её предметы, который может уделить совсем немного времени развитию ума, который, к тому же, лишён того постоянного источника более здоровых и более точных идей, каким служит для других классов привычка к более утончённому языку. И всё же без известной степени образования, и в особенности без известного направления, заданного идеям в этом важном классе, напрасно было бы надеяться сделать его по-настоящему счастливым, привить ему здравые и нравственные привычки. А так как, к сожалению, он ещё и самый многочисленный во всех цивилизованных государствах, то на карту поставлено не только личное счастье тех, кто к нему принадлежит, но и общественное спокойствие, — и в ещё большей мере это зависит от того, какую именно и каким образом мы дадим ему эту самую инструкцию.

Об этом говорили часто, но нельзя уставать повторять: если все правительства имеют большой интерес в том, чтобы воспитывать и развивать здравый смысл бедного и рабочего класса, то для правительств республиканских этот интерес неизмеримо больше, особенно для тех, где власти действительно представляют нацию. В этих правительствах, действительно, недостаточно, чтобы масса народа обладала достаточными знаниями для того, чтобы выбирать себе просвещённых и добродетельных делегатов, оценивать их поведение, ставить тех, кого она признала достойными своего доверия, на посты, наиболее им соответствующие, — всё это, впрочем, требует немало рассудка и даже способности к умозаключениям; необходимо ещё, чтобы эта масса обладала достаточной мудростью и достаточно верными представлениями о своих правах, чтобы уметь быть одновременно спокойной и свободной; чтобы избегать, с одной стороны, предаваться тем коварным советникам, которые говорят ей о её правах лишь с целью возбудить её; и чтобы никогда, с другой стороны, не позволить себя увлечь приманкой обманчивого мира к тому, чтобы пожертвовать своими правами и своей свободой. Представительное правление — лучшее из всех, потому что оно основано на мнении, потому что из него черпает свою силу; но нужно, чтобы мнение было здравым, то есть чтобы народ обладал достаточным рассудком, чтобы мнение просвещённых людей вскоре становилось мнением всего тела нации.

Но кроме того, везде, где большая масса лишена образования, подлинного равенства не существует: можно сколько угодно провозглашать его во всех законах, закреплять во всех общественных формах, но оно не может тогда проникнуть ни в привычки, ни даже в чувства: невежество увековечивает бедность и зависимость бедняка; оно устанавливает между ним и другими людьми отношения унижения и господства, которые даже самые мудрые законы бессильны устранить. Это стало по-настоящему известно лишь современным философам, единственным, кто сделал свободу предметом подлинной науки. Они научили нас, что свобода иногда может быть порождена счастливым инстинктом народов; но что она не может быть сохранена и

усовершенствована иначе как через просвещение. Они показали, что состояние смут или великих общественных бедствий может временно и насильственно утвердить равенство; но оно может быть реальным и прочным лишь в том народе, где полезные знания, переставая быть сосредоточенными в руках немногих, постепенно становятся достоянием всех. Поэтому те же философы считали одной из первых обязанностей законодателя — повсюду умножать и с мудростью согласовывать средства образования.

Но вы сейчас скажете мне, что мы ушли весьма далеко и от учения о прогрессе человеческого рода, и от аналитической философии, и от её методов? Нет, это не вы скажете, а цензура тех, кто судит иначе, чем вы, мне не кажется настолько грозной, чтобы заставить меня опустить ещё несколько замечаний, которые приходят мне на ум и которые, как мне кажется, сам предмет естественно подсказывает.

Недостаточно, чтобы быть свободным от предрассудков, просто перестать верить в непогрешимость папы, в различия по рождению, в божественное право королей. Когда эти заблуждения уничтожены, остаётся ещё множество других, которые продолжают бродить не менее пагубным образом и могут исказить влияние самых чистых истин до такой степени, что те начинают порождать множество дурных последствий, подобных тем, что происходят от ошибки. Есть даже такие, которые зависят исключительно от порочной манеры, в которой эти истины входят в умы; отсюда, между прочим, и то, что они часто теряют значительную часть своей власти над некоторыми людьми, которые видят достаточно ясно, но умеют охватить лишь одну точку и один момент. Все эти предрассудки разум должен стремиться уничтожать один за другим; и по мнению философов, осмеливающихся устремлять свой взор в будущее, это великое дело никогда не будет доведено до полной завершённости, никогда не будут в достаточной мере усовершенствованы представления, составляющие основу наших суждений, и сами суждения, которые являются подлинным источником наших поступков. Одним словом, они думают, что мы никогда не достигнем предела, за которым уже нечего будет делать, — ни для того, чтобы расширять и умножать наши наслаждения[1], ни для того, чтобы совершенствовать средства их достижения. И я замечу мимоходом, что насмешливое прозвище “доктора” никогда не применялось более неуместно, чем к людям, которые в настоящем состоянии науки видят лишь ступень для восхождения к будущей науке и которые, вместо того чтобы кичиться своими идеями, вовсе не стесняются признать, что их главное достоинство заключается в способности вести нас дальше.

Вы, граждане, не забыли, и вы напомнили вашему коллеге, что нынешние ученики этой школы были первыми, кто дал почувствовать пользу учреждений,

[1] «Ибо в конечном счёте такова истинная цель всех трудов духа, всех изобретений искусств». Чтобы понять, в каком смысле Кабанис понимает это расширение наших наслаждений, см. гл. III и IV.

говорящих к сердцу, — тех учреждений, которые у древних производили столь восхитительные результаты, придавая авторитету морали и законов опору чувства и воображения. Разве философия, основанная на знании способностей человека и сводящая всю систему идей и нравственных чувств к ощущениям, могла в самом деле пренебречь этим могучим рычагом энтузиазма, который, если можно так выразиться, сам по себе является лишь своего рода более возвышенным и более сочувственным ощущением?

Разве не эта самая философия, которую стараются представить нам холодной, утончённой и чисто рассудочной, дала нам самые верные анализы и самые проникновенные суждения о средствах, которые должны применять искусства подражания, чтобы волновать душу? Разве не очевидно, что от Аристотеля до Гравины, Беккариа, Смита и Дидро всё лучшее, что было сказано об ораторском искусстве, поэзии, музыке и изобразительных искусствах, принадлежит не только тем, кто ограничивается тем, что с талантом практикует эти искусства, но людям мыслящим, любящим отдавать себе отчёт во всех своих впечатлениях и в изучении человеческой природы старающимся распознать источник всех явлений, которые она открывает нашим взорам? Если я не ошибся в своих догадках о авторе статьи, на которую вы ответили, — разве этот любезный поэт, чьи стихи одинаково дышат здравым смыслом и изяществом, не обязан сам в чём-то духу своего века?...

Он, я надеюсь, позволит мне ещё прибавить, завершая это письмо, что было бы довольно трудно найти веское основание для враждебного нападения на тех людей, которые всё сводят к разуму и считают, что он может непрестанно совершенствоваться. Несомненно, нет людей, с которыми было бы проще и приятнее общаться. Убеждённые, что злые — это всего лишь плохие мыслители, люди, к несчастью, дурно устроенные или дурно воспитанные, они никогда не изменяют своей снисходительности. Среди вечных образцов, которые они неизбежно любят созерцать, какие успехи, какая слава показались бы им достойными зависти или спора? Они не только позволяют мелким притязаниям спокойно кипеть вокруг себя: они делают больше — они смотрят на них с неким удовольствием, рассматривая их как движущие силы полезных трудов. В своих надеждах на постепенное улучшение идей, вместо того чтобы придавать большое значение собственным усилиям, эти надежды, напротив, дают им истинную радость в том, чтобы видеть, как их превосходят; и сама их доктрина помещает самые живые наслаждения их самолюбия в торжествах тех людей, которые делают лучше и идут дальше. Наконец, так как они одни, быть может, по-настоящему понимают, что всякий труд — в науках, в литературе или в искусстве — ускоряет движение умов и помогает приблизить нас к цели, то они одни всегда готовы воздать дань уважения и признательности каждому такому труду; а жанры, которые ограниченный разум иногда склонен презирать как совершенно пустые, являются для них всё же полезными союзниками тех, что вызывают восхищение своей важностью и возвышенностью. Такой образ мыслей и суждений — не только самый философский и справедливый; он ещё,

повторю, и самый удобный, и самый успокоительный для самолюбия. Что же до меня, признаюсь откровенно: я люблю жить и беседовать с людьми, для которых это стало подлинной привычкой; и вот, граждане, что и навлекло на вас эти длинные размышления, которыми я ограничиваюсь, обращаясь к вам письменно, не имея, к несчастью, возможности сделать это лучше.

Приложение 4

Письмо Бенжамена Констана к Виллерсу

Гёттинген, сентябрь или октябрь 1812.

Мой дорогой Виллерс, со мной случилась одна нелепая и неприятная вещь, в которой я призываю вас на помощь, хотя и не слишком знаю, сможет ли она мне чем-либо послужить. Я сообщил Тёлькену план и несколько частей моего дьявольского «Политеизма»; и Тёлькен, с величайшей простодушностью, присвоил себе не только идею в целом, но и форму — с такой точностью, что объявление о курсе, который он намерен читать этой зимой, содержит слово в слово названия моих книг и моих глав. Что до идей — я бы уступил ему их столько, сколько он хотел бы, ведь всё зависит от их обработки; но мне досадно, что буквальная форма, от начала до конца, оказывается в небольшом печатном объявлении, так что, если моя книга выйдет, какой-нибудь учёный критик, знакомый с объявлением Тёлькена, подумает, что я позаимствовал у него свой план. Дело дошло до того, что он скопировал заголовки, о которых, по его собственному признанию, он никогда раньше не думал, например, такой: «О религии как чистой форме и её влиянии на мораль». Вся последняя часть и большая часть первой — это перевод (моего) оглавления. Добрейший Тёлькен не усматривает в этом никакого злого умысла, ведь он настойчиво просил меня сообщить ему ещё больше, говоря, что то, что я уже ему показал, ему очень пригодилось и что он почерпнул из этого целый ряд идей, которые будут ему весьма полезны. Я понимаю всю тщетность литературных претензий, но всё же мне важно — насколько важны подобные вещи в век битвы при Смоленске, — чтобы не подумали, будто весь план, над которым я работал и который мне стоил немалого труда, был переведён мною из объявления о каком-то немецком курсе. Я не думаю просить Тёлькена переделать своё объявление, потому что он вполне вправе указывать, о чём он хочет читать. Но он предложил заявить в

своём курсе, что я сообщил ему свои исследования; однако мне не особенно нужно, чтобы об этом знали три десятка его слушателей. Мне нужно, чтобы это было сказано именно в объявлении, которое получит большее распространение; и моя просьба справедлива, ибо он сам говорил, что взял «всю суть моего труда» (den ganzen Kern meines Werks). Он совершенно добросовестен и без малейшего злого умысла. Сделайте мне, дорогой Виллерс, одолжение: попросите его зайти к вам, изложите ему суть моего письма, изменив форму, и попросите, чтобы он показал вам своё печатное объявление. Вы узнаете в его композиции и в самых выражениях то, что я уже не раз вам говорил о плане и структуре моего сочинения. Тогда постарайтесь убедить его сказать то, что, вместо того чтобы ему навредить, может лишь пойти ему на пользу: что он использовал и будет использовать в своём курсе те материалы, которые я ему сообщил. Действительно, если он подтвердит в этом объявлении, что был знаком с моей работой, я ему передам ещё больше. Я думаю, что поручаемые вашей дружбе переговоры будут лёгкими, ибо Тёлькен взял мой план не из самолюбия и не для того, чтобы приписать его себе, а потому, что нашёл его хорошим; и это доказывает та манера, с которой он говорил со мной, предлагая немедленно перевести мою книгу, если я не смогу выпустить её по-французски. Это, стало быть, не враждебная претензия, а дружеская и справедливая просьба, которую я вам доверяю. Я желаю лишь одной маленькой фразы, которая могла бы служить ответом на обвинение в плагиате, если бы оно когда-либо возникло, примерно такой: «Один из моих друзей, г-н Б. де К., сообщил мне план и различные части сочинения, над которым он давно работает и которое посвящено истории и развитию древних религий; с его согласия я буду пользоваться в своём курсе теми материалами, которые он мне передал».

Если, вопреки всякому ожиданию, Тёлькен откажется в этой справедливости, я буду вынужден подтвердить своё первенство и начать литературную ссору — смешную в моих глазах, неприятную в его, и безразличную для публики, так что все в итоге только потеряют. Но этого не случится — благодаря честности Тёлькена и вашей доброй и искусной посреднической роли. Вы легко дадите ему почувствовать, прочитав предварительно сами его объявление, что ему совершенно невыгодно, чтобы думали, будто я заимствовал из него деление своей книги, и что материалы, которые я обещаю ему в обмен на то свидетельство, которого прошу, будут для него полезны.

Но пусть ваша дружба поторопится и действуйте сегодня же, потому что его объявление уже напечатано, и он ждёт, когда его вернут из типографии с исправлениями, чтобы отправить его Ляйсту и распространить. Не показывайте ему это письмо, так как он, возможно, мог бы обидеться; уладьте это большое и малое дело с вашей присущей мне доброжелательностью. Я даже позволяю вам, когда всё будет улажено, посмеяться над «неизгладимым качеством» автора.

Целую вас. В.

P. S. — Объясните Тёлькену, почему я не говорил ему об этом сам, дав понять, что у самолюбия есть своя стыдливость. К тому же, возможно, он сам будет рад меня назвать, потому что рукописное сообщение всегда имеет некоторый дополнительный интерес. Я прошу у него не больше, чем Кройцер счёл своим долгом перед Бёттигером за доверие того же рода, какое я оказал Тёлькену. (Isler, *Briefe an Ch. de Villers*, Hamburg, 1883.)

Приложение 5

Воклен и Ламарк, по суждению *«Лицея»*

Воклен был профессором химии в Музее естественной истории и членом секции химии Института, а Ламарк — членом секции ботаники Института и профессором зоологии в Музее. Первый, воспитанный в тени всесильного Фуркруа, был наделён всеми почестями, на которые сам Фуркруа не снизошёл; второй сиял лишь собственным светом и занимал свои посты только благодаря своему таланту. Тот занимался наукой и состоянием одновременно; этот, вставший каждый день ради науки уже в пять часов утра, забывал о состоянии и жил забытым властью. Первый был более прославлен во Франции, чем за её пределами; второй же до сих пор более знаменит за границей, чем во Франции, и так как похвалы, полученные вдали от нас, не продиктованы никаким корыстным расчётом, Ламарк ещё при жизни был, так сказать, осуждён судом потомства. Воклен сделал много работ, но почти всегда по одному и тому же образцу;… Ламарк, более изобретательный, чем точный, более глубокий, чем строгий, даже в своих заблуждениях умел придавать науке новые импульсы. Мало приспособленный к интригам и уловкам честолюбия, он высказывал свои великие замыслы смело и не приспосабливал их к вкусам различных властей, сменявших друг друга перед ним, боролся с противниками, которые, став могущественнее его, казалось, затмили его блеском, дарованным им журналистикой и министерскими милостями; но его взгляды, сначала осмеянные, ныне вновь обретают признание, когда их оценивают вдали от министерских кабинетов.

Приложение 6

Письмо г-на Литтре-отца в «Décade»

Одна газета, случайно попавшая мне в руки, напомнила мне этот совет Бэкона и дала повод ему последовать. Эта газета — *Journal des Bâtiments civils et des arts*, который в своём № 24 приводит даты различных изобретений или обычаев, заимствованные из сочинения немецкого советника Бекмана. Там я читаю: «В 1538 году начали переводить на французский язык судебные акты, которые прежде этого времени были на латинском». Это выражение — судебные акты — не вполне точное. Следовало сказать публичные акты, что весьма различно. И было это не в 1538, а в 1539 году, когда был издан соответствующий ордонанс. Он датирован Виллер-Котре и включает, помимо постановления, касающегося публичных актов, различные регламенты, направленные на сокращение судебных процедур и на урезание чудовищных полномочий церковных судов.

Не следует из слов Бекмана заключать, будто до 1539 года все публичные акты писались на латыни. Во всех архивохранилищах и во всех сборниках, составленных с целью собрать подобные документы, можно найти очень большое количество актов на народном языке, датированных XV, XIV и даже XIII веком.

Почти все королевские ордонансы написаны по-французски. — Бомануар, собравший и издавший в 1283 году Кутюмы Бове, дал их на французском языке. Ассизы Иерусалима написаны по-французски. Законы о полиции, известные под названием Установлений Святого Людовика и относящиеся к середине XIII века, написаны по-французски, и труд Пьера де Фонтена, нашего старейшего юриста, написан на том же языке. Этот труд датируется 1226 годом и содержит юриспруденцию страны Вермандуа.

Даже изящная словесность стала культивироваться на народном языке уже с XIII века или начала XIV века; и, не считая поэтов, которые восходят гораздо раньше, мы находим среди книг, которые в 1360 году входили в библиотеку Карла V, переводы Аристотеля, Тита Ливия и Валерия Максима.

Приложение 7

Ларомигьер, Мемуары и Уроки

Мемуары Института	Уроки философии Ларомигьера
Яйцо бабочки превращается в гусеницу, гусеница — в куколку, куколка — в бабочку. Бабочка в своём начале заключена в яйце.	Яйцо бабочки превращается в гусеницу, гусеница — в куколку, куколка — в бабочку; бабочка в своём начале есть яйцо.
В арифметике сложение последовательно проявляется в формах умножения, возведения в степень, теории показателей и т. д. Все методы композиции имеют свой принцип в сложении, так же как все методы разложения — в вычитании [1].	… в арифметике сложение последовательно проявляется в формах умножения, возведения в степень, теории показателей; и, следовательно, все методы композиции имеют свой принцип в сложении, так же как все методы разложения чисел имеют свой принцип в вычитании.
Знание принципов, помещая нас у первого звена цепи, охватывающей большое количество фактов, сводит к единому основанию самые отдалённые, а порой даже и самые противоположные на вид явления, уподобляет и отождествляет методы, которые, казалось, не имели между собой никакого сходства, из множества разрозненных и изолированных частей образует «стройное и упорядоченное	Знание принципов, вознося нас к источникам, из которых проистекают истины, сводит к одному закону самые разнообразные и даже кажущиеся противоположными явления; оно уподобляет и отождествляет операции, которые, казалось, не имели никакого сходства; из множества изолированных частей образует стройное и упорядоченное целое и — что удивительно! — умножает

[1] После этого абзаца в *Мемуарах* находился ключевой отрывок, который мы уже приводили (стр. 528): «В метафизике внимание превращается в сравнение, в отношение, в суждение, в рассуждение, в рефлексию, в воображение, в разум. Разум имеет свой принцип во внимании». — Понятно, что он не был повторён в *Лекциях*, которые являются лишь его развитием.

целое» и — что удивительно! — умножает богатство разума, уменьшая число его идей. Но чаще всего эти принципы ускользают от нас — то ли потому, что, находясь на слишком большой высоте, они недоступны всем нашим способностям, то ли потому, что, будучи слишком близки к нам, они ускользают от нашего слабого взгляда, одинаково затуманенного и чрезмерной близостью предмета, и его чрезмерной удалённостью.

Когда же, более удачливые или лучше расположенные, мы видим последовательность фактов, упорядоченных один по отношению к другому и все вместе подчинённых первому, тогда одним лишь взглядом мы охватываем целую систему и т. д.

богатство ума, уменьшая число его идей.

К сожалению, редко удаётся постичь эти принципы: то ли потому, что, находясь на слишком большой высоте, они недоступны нашим способностям, то ли потому, что, находясь слишком близко, они ускользают от нашего слабого взгляда, одинаково смущаемого как чрезмерной близостью предмета, так и его чрезмерной удалённостью.

Когда же, более удачливые или лучше расположенные, мы видим последовательность явлений, упорядоченных одно по отношению к другому и все вместе по отношению к первому, тогда мы постигли принцип, и одним и тем же взглядом мы охватываем целую систему и т. д.

Приложение 8

Письма Ларомигьера к Валетту

8 ноября 1819.

Вы сообщили мне самую приятную из новостей; я бесконечно благодарен тем, кто имел здравый смысл предпочесть дух букве и рассудить, что нерегулярность порой лучше, чем строгое соблюдение правила. Итак, вы стали моим коллегой — и достойным коллегой по философии. Бедная философия ныне крайне нуждается в пополнении. Я перестал бы отчаиваться за её судьбу, если бы она могла сделать дюжину приобретений, подобных вашему, — но на это рассчитывать не стоит. Боюсь, что ваше похвальное стремление к добросовестности и ваша скромность преувеличивают трудности. Вам кажется, что впереди целая библиотека, которую надо «проглотить», и тысяча препятствий, которые предстоит преодолеть. Берегитесь слишком много читать, а что до препятствий — это мы сами неуклюже воздвигаем их на дороге, которую природа сама проложила и сделала лёгкой для прохождения. Советую вам посвятить каникулы исключительно изучению Локка и Кондильяка. Как только вы привыкнете к этим двум авторам и усвоите их метод, чтение остальных философов станет для вас лишь игрой. Вы будете восхищаться гением Бэкона, удивляться глубине Гоббса, но при этом станете судить о них обоих. Вы будете судить также, восхищаясь, Декарта и Мальбранша; затем придёт черёд шотландских и немецких философов, которых вы уже сможете оценивать по их истинной заслуге. Одно, что я не устану вам повторять (вы позволили мне давать вам советы), — это необходимость задерживаться подолгу на прекрасных страницах, какие иной раз встречаются у Бэкона, у Паскаля, у Мальбранша или у Кондильяка. Их нужно читать и перечитывать сотни раз. Это время принесёт разуму и вкусу больше пользы, чем тысячи страниц того философа, которого я не стану называть; точно так же, как двадцать стихов Буало сделают вас поэтом больше, чем тысяча стихов

Шаплена. Но обо всём этом мы поговорим подробнее при вашем возвращении. Надеюсь, вам оставят свободу на всю зиму, а может, и на весь год. Если, приступая к обязанностям, вы будете хорошо знать двух авторов, которых я советовал вам читать на каникулах, предупреждаю: заместитель будет знать больше, чем профессор, больше, чем все профессора, но уж точно — больше, чем я сам, что, впрочем, не так уж много значит. Прощайте, мой дорогой Валетт, обнимаю вас всем сердцем.

5 сентября 1820.

Я задержал ответ вам, мой дорогой Валетт, потому что хотел было отправить вам, так сказать, сам патент на назначение, но у нас есть его эквивалент — обещание тех, кто составляет и отправляет эти документы. Я видел двух братьев, из которых один является главным арбитром вашей судьбы (Кювье). Я побеседовал с одним генеральным инспектором; присутствовал на экзамене учеников, поступавших в Нормальную школу, и, по случаю вашего ученика Шарма, который отвечал, как ангел, заговорил о его учителе, и все были заранее осведомлены, что этот учитель должен стать профессором в пятом колледже. Так что вы должны иметь самые большие надежды; я даже не побоюсь сказать — наибольшую уверенность.

Вы спрашиваете о происхождении идеи добра и зла в нравственном смысле. Эта идея возникает из чувства добра и зла в нравственном смысле.

Но не предполагает ли чувство добра и зла уже самой идеи? — Нет: чувство добра и зла в нравственном смысле предполагает лишь идею акта нашей воли и идею закона. Само чувство соотношения между этими двумя идеями и есть самое чувство добра и зла в нравственном смысле: добра — если соотношение есть согласие, и зла — если оно есть противоречие.

Чувство согласия между добровольным поступком и законом, или чувство нравственного добра, — это одно и то же. Чувство противоречия между добровольным поступком и законом, или чувство нравственного зла, — это одно и то же.

Действием способностей рассудка, приложенного к нашим различным нравственным чувствам, эти чувства превращаются в столько же идей или восприятий.

Следовательно, совесть — это чувство соотношения, прежде чем она станет восприятием соотношения; это суждение, ощущаемое, прежде чем оно станет суждением, осознаваемым.

Чтобы объяснить более полно и достаточно широко всё, что касается нравственного чувства, следовало бы говорить о симпатии, порядке, прекрасном и т. д.; следовало бы привлечь сюда и свободу, и даже возвести всё к Богу, творцу нравственных законов. В эти соображения я не вхожу.

Состоит ли совесть исключительно в знании закона? — Конечно, нет: совесть — это больше, чем знание. Совесть есть либо чувство, либо идея, то есть чувство или идея соотношения; и так как всякое соотношение предполагает два термина, то одного знания закона недостаточно, чтобы оно возникло.

Всё это требовало бы более подробных разъяснений, но вы найдёте их и без меня. Прощайте, мой дорогой Валетт, мой дорогой профессор Коллеж д’Аркур; обнимаю вас с самой нежной дружбой.

Приложение 9

Неопубликованные письма, сообщённые г-ном Сафари-сыном

15 мая 1826.

Вы должны были уже получить или вскоре получите экземпляр четвёртого издания *Уроков философии*. Я изменил заголовок, который прежде объявлял о продолжении книги. То, что я обещал в предыдущих изданиях, я не выполнял. В нынешнем заголовок не обещает ничего сверх того, что я выполняю — как умею, так и делаю.

Я сильно болел и болел долго; уже два месяца чувствую себя лучше, и это продлится столько, сколько будет угодно Тому, кто властвует над здоровьем и болезнью.

Первые представления о справедливом и несправедливом появляются в самом начале жизни. Моральные идеи, которые являются предметом афоризмов Ларошфуко, Лабрюйера, романов мадам де Сталь и т. п., неизвестны нашим простым горцам. Их ум недостаточно тонок, чтобы уловить изящество Мариво или нюансы, рождающиеся в отеле Рамбуйе. Физические и случайные причины памяти всегда были и будут всегда неизвестны. Я пренебрёг всеми этими причинами в новом издании.

У нас есть три способности, относящиеся к познанию, и три, относящиеся к счастью. Я полагаю, что животным недостаёт и свободы, и рассудка, или же их так мало, что об этом и говорить не стоит.

Мой книгопродавец выпустил сразу два издания *Уроков*: одно — in-8, экземпляр которого я имею честь вам предложить; другое — in-12, в трёх

небольших томах, для студентов. Если вы или ваш книгопродавец обратитесь к г-ну Брюно-Лаббе, он поспешит сделать отсылку.

Я заботился о стиле, насколько мог. Вы заметите кое-где изменения. Вы найдёте также в шестом уроке второго тома фрагмент о Канте, который удивит тех, кто знает этого автора лишь понаслышке.

Вы понимаете мою книгу так же хорошо, как и я сам. Иметь таких читателей, как вы, — удовольствие. Их очень мало.

Примите, дорогой Сафари, выражение моего искреннего уважения и привязанности.

17 июля 1826.

Ваша горячность, мой дорогой соотечественник, сильно меня напугала, и я нисколько не удивился, что кто-то мог почувствовать себя задетым. К счастью, дело закончилось лучше, чем начиналось, и я вас с этим поздравляю. В другой раз не будьте столь стремительны и удивляйтесь не тогда, когда услышите нелепости, а тогда, когда услышите что-то вполне разумное. Мир так устроен — вы к этому привыкнете. Я говорю это, чтобы предупредить те уроки, которые даст вам опыт; будьте уверены, их вам не будет недоставать.

Уверяю вас, что я не имею никакого отношения к составлению некоего учебного пособия. Я был бы куда менее поспешен в опровержении, если бы кто-то приписал мне то, над которым трудитесь вы. Я заранее считаю его неизмеримо лучшим. Это будет настоящая услуга studiosae juventuti — прилежной молодёжи. Я благодарю вас за неё от её имени.

Учение о чувстве, как источнике знаний, когда оно переработано действием ума, может быть развёрнуто до бесконечности — ведь всё в нём. Сопоставление различных способов ощущать, в их отношении к формированию и совершенствованию разума, даёт богатейший материал интересных подробностей. Сравнение человека с человеком, чувствительности одного индивида с чувствительностью другого, ведёт к множеству практических истин; ведь ничто так не изменчиво, как чувствительность, особенно нравственная чувствительность: можно указать её степени от самой грубой, почти животной, до смешной впечатлительности. Какая же это обильная почва для разнообразия моральных идей!

Вы плохо осведомлены насчёт автора «новой философии». Я сомневаюсь, что он разделяет некоторые взгляды, которые вас справедливо возмущают. С истинным удовольствием обниму вас по вашему приезде.

Поверьте, мой дорогой коллега и соотечественник, я весьма польщён одобрением, которое вы выражаете моим идеям и моему методу. Тысячу раз благодарю вас за то, что вы мне об этом сказали, и обнимаю вас от всего сердца.

12 сентября 1826.

Мой дорогой философ, декан факультета отсутствует уже три недели; он скоро вернётся, но если он вам ответит, то скажет то же, что и я: необходимо представить две диссертации — одну по философии на латинском языке, другую по литературе на французском. Вы спрашиваете меня, нельзя ли вместо литературной диссертации взять философский вопрос, имеющий какое-то отношение к литературе; я так не думаю. Сделайте наоборот: возьмите литературный вопрос, имеющий какое-то отношение к философии — возможно, этого окажется достаточно. Если бы вы должны были приехать в Париж в течение сентября, вам было бы легко разобраться, как обстоят дела, и с формой диссертаций, и с их содержанием. Не знаю, хорошо ли вы судите о вещах с расстояния в пятьдесят лье; не знаю даже, сможете ли вы правильно судить, оказавшись на месте. Вы могли бы ошибочно предположить, что кто-то враждебен определённым доктринам. Что касается меня, я слишком невежествен, чтобы иметь мнение, и тем более, чтобы давать вам советы. Я открыто признаюсь, что не понимаю множества вещей, которые либо произносятся, либо умалчиваются.

Я забыл поблагодарить вас за приятное мгновение, которое доставило мне чтение ваших горских стихов. Не упущу случая сказать вам, как я польщён тем, что имею такого ученика, как вы, ученика, который будет стоить, если уже не стоит, больше, чем учитель. Прощайте, мой дорогой Сафари, обнимаю вас от всего сердца.

3 марта 1827.

Мой дорогой Сафари, вы не раз говорили мне, что у вас дурная голова, и я не хотел в это верить; теперь же нет способа в этом сомневаться. Ещё куда ни шло, если бы делёж был возможен: я бы взял свою часть, вы — свою, а там уж, может быть, какие-то крошки достались бы и этим господам. Но вы отдаёте всё и себе ничего не оставляете. Вы обращаетесь со мной так же, как лев обращался сам с собой. Не стоит иметь ни дурной головы, ни слишком доброго сердца. Таким образом, вы заслуживаете двойного упрёка — и я вам его делаю. Остаётся ваш ум: здесь избыток не вредит, или, вернее сказать, его никогда не бывает слишком много; и я рассчитываю на вас не только в ваших интересах, но и в своих. Вы будете для меня удлинять, укорачивать, исправлять, украшать

— и в этом я очень нуждаюсь. Прощайте, мой дорогой Сафари, благодарю вас за великолепный паштет и обнимаю вас.

13 апреля 1827.

Мой дорогой философ, я прочитал и перечитал вашу программу. Со второго чтения она показалась мне лучше, чем с первого, а с третьего будет ещё лучше. Таков эффект всего доброго и истинного. Форма, как бы вы ни говорили обратное, стоит содержания. Я мог бы поручиться за стиль в задуманном вами труде, если бы вообще требовалась такая гарантия после того, что вы только что сделали за четыре дня. Автору очень повезло иметь вас своим интерпретатором: в ваших умелых руках медь становится золотом. Во многих местах, особенно в том, что касается памяти, вы придаёте больше выразительности, усиливаете. Я уверен, что, воспроизводя мои идеи, вы выражаете их лучше, чем я сам. Не думайте, что я вам это в укор: напротив, вы даруете мне вторую жизнь. Сэй в своей *Политической экономии* сделал, быть может, лучше, чем Смит, а Кондильяк, без всякого сомнения, сделал лучше, чем Локк. Сделайте лучше, чем я, мой дорогой Сафари, или, вернее, просто делайте, и это всегда будет лучше. Вы способны на это, с вашей прилежностью и вашим превосходным умом; если способны, дело уже решённое.

Благодарю ваших молодых людей за их остроумный рисунок. Эмблема солнца, пробивающегося сквозь облака, чтобы образовать радугу, или согревающего семена, чтобы они дали цветы и плоды, — очаровательна. Передайте им всю мою признательность.

Восемь часов работы в день и голова моего овернца — было бы странным невезением, если бы из этого не вышло чего-то столь же хорошего, как лучший плод, и столь же яркого, как самые прекрасные краски.

Прощайте, мой дорогой Сафари, обнимаю вас и очень признателен за то, что вы отдаёте мне предпочтение перед Шарлем Виллером и компанией.

2 мая 1827.

Вы, мой дорогой Сафари, должны были бы отправить дюжину экземпляров вашей программы господину Брюно-Лаббе. Все, кому я её показывал, остались ею чрезвычайно довольны и желают иметь её у себя. Её даже затребовали в Нанси; но ваш книгопродавец ответил, что она предназначена исключительно для ваших учеников. Вы сделаете доброе дело — и для себя, и для других, — распространяя её как можно шире по всем академиям. Я убеждён, что господин де Курвиль разделит чувства вашего ректора и мои, и что будет отдана должная справедливость вашему рвению и вашему превосходному небольшому

сочинению. Если, как вы задумали, вы добавите две страницы хорошо составленного текста — а вы это умеете, — то это будет уже не просто программа, а очень хороший небольшой трактат, который, вызывая живейшее желание увидеть более полный труд, в каком-то смысле сможет его заменить.

После анализа способностей рассудка и объяснения происхождения наших знаний естественно задать вопрос: действительно ли знания, приобретённые трудом ума над различными формами чувствительности, являются подлинными знаниями, действительно ли они достаточно надёжны? И вот вы уже входите в теорию достоверности. Что касается полипов, можно ответить, что души создаются лишь в тот момент, когда уже существуют достаточно развитые организмы, способные совершать произвольные движения. Поэтому как только отрезанная часть полипа становится настоящим полипом, она получает движущий принцип, подобно тому как зародыш ребёнка получает в чреве матери душу, как только он достаточно развит, чтобы повиноваться её велениям. Держитесь, мой дорогой Сафари: вы молоды, трудолюбивы, обладаете ясным и проницательным умом, умеете отличать истину от того, что имеет лишь ложный её вид; вы умеете писать — а это главное. Я предвещаю вам самые блестящие успехи и обнимаю вас с нежной дружбой.

27 июня 1827.

Перед вами, мой дорогой Сафари, — Париж и Тулуза, и в Париже возможность занять две или три кафедры. Я хотел бы, чтобы вы могли преподавать сразу в десяти местах: распространение здравого смысла увеличилось бы в десять раз. Но, поскольку на чудо вездесущности рассчитывать не приходится, вы приедете в Париж — там находится ваше настоящее место. Судя по дружбе, которую проявил к вам господин де С..., я не сомневаюсь, что всё устроится к вашему полному удовлетворению и к моему, то есть, что вы будете среди нас.

Ваш план очень хорош, очень полный, и вы достойно его осуществите. Вы испытали мгновение радости, дойдя до вывода, что достоверность имеет то же основание, что и знание… это и есть плод открытия истины.

«Тот, кого она оставляет холодным, не нашёл её», — говорит Руссо. Декарт увидел её недостаточно ясно, когда начал со своего знаменитого: я мыслю, следовательно, существую. — А откуда вы знаете, что вы мыслите? — Потому что я это чувствую. Значит, следовало выразиться иначе и сказать: я чувствую, следовательно, существую; или: я чувствую мою мысль, следовательно, я мыслю; я чувствую моё существование, следовательно, существую.

С большим удовольствием и интересом ознакомлюсь с вашей пробной работой. Обнимаю вас от всего сердца.

22 августа 1827.

Я застану вас ещё в Нанси, мой дорогой Сафари, ведь уезжать вам предстоит только в начале сентября. Я прочёл вашу прекрасную программу в тот самый момент, как она мне была вручена, и почти сразу же пришлось передать её любителям доброй философии. Господин Марра был ею особенно доволен — как и всем тем любезным, что вы ему написали. Он с нетерпением ждёт встречи с вами, чтобы познакомиться поближе, обсудив какой-нибудь пункт науки наук. Ваш книгопродавец, однако, слишком медлит, чтобы открыть господину Брюно-Лаббе сокровища своего магазина. Мне известно, что на набережную Огюстенов приходили напрасно. Держитесь, мой достойный соперник: у вас есть здоровье, талант и пыл; с этими драгоценными дарами природы можно зайти так далеко, как только пожелаешь. Я призываю вас усердно работать над развитием тех идей, которые вы изложите в своей программе, уже самой по себе являющейся развитием. Нужно время, чтобы достичь совершенства; и хотя благодаря непрерывности ваших размышлений одна ваша неделя равна двум или трём у любого другого, всё же потребуется несколько лет, чтобы довести ваш труд до зрелости. Когда я буду иметь удовольствие увидеть вас, мы поговорим обо всём этом, а также и о вашем назначении на следующий год. Прощайте, обнимаю вас «по-Аристотелевски».

22 августа 1828.

Мой дорогой Сафари, мой дорогой и знаменитый профессор, — горы и все эхо Оверни, должно быть, заняты тем, что разносят ваше имя, как оно гремело в просторных залах Сорбонны. Вот что называется триумф — два триумфа! — подобных которым колледж Бурбона ещё не знал. Вы вывели его из небытия; вы, поистине, его создатель. Почему же вас не было здесь, чтобы насладиться своим творением?

Все ваши друзья разделяют вашу славу. Марра, которого я видел вчера вечером, вне себя от восторга. Министра и господина де Курвиля я не встречал, но знаю, что они вами восхищены. А добрый господин де Моссьон, должно быть, горд тем, что сказал столько похвального о бедном заместителе за двенадцать сот франков. Я спешу в Сорбонну, где, ради лиценциатов и докторов, я занят всю эту неделю с девяти утра до пяти вечера. С радостью обнимаю вас.

2 сентября 1835.

Мы получили куропаток, съели их и нашли превосходными. Кто-то заметил, что нет ничего удивительного в их столь нежном вкусе, учитывая, что они были

добыты браконьерским способом, ведь охота разрешается только с первого сентября. Это, однако, не помешало господину Лебрену, обедавшему с нами, разделать их со своей обычной ловкостью. Благодарю вас — мы все благодарим вас — за то, что вы нарушили законы охоты. Ах, ведь нарушают и куда более серьёзные законы!

Я, наконец, покончил с бакалаврами. Бедный господин де ла Бэ был всем рекомендован, и всё же ему не повезло; отец признал, что он был несколько слаб.

Как поживает ваша превосходная супруга? Как поживает большой Пупар — это дитя Оверни и Нормандии? Умеет ли он хорошо катать свой обруч? Начал ли говорить: «папа», «мама»? Испытывает ли его мать большое удовольствие, слыша эти слова, угадывая, что он хочет сказать? А вы — видите ли в этих первых звуках будущего грамматика и философа? Думаете ли вы, что однажды он получит премию Монтьона, как господин Дамирон, только что получивший 4.000 франков за третье издание своей *Истории философии*? Я желаю ему большего: хочу, чтобы у него было спокойствие мамы и ум папы.

Обнимаю вас всех с нежной дружбой.

Приложение 10

Неопубликованное письмо г-на де Шабрие, сообщённое г-ном Сафари-сыном

Париж, 7 сентября 1843.

Примите мои искренние поздравления: ваш триумф сливается с триумфом здравого смысла, истины, гения; вы отныне благородно соединили своё имя с именем господина Ларомигьера. Позвольте пожать ту руку, что сумела сорвать лавры для почитаемой могилы.

Господин министр народного просвещения, господин Дроз и господин Бесьер беседовали со мной о вас — беседы, содержание которых я обязан вам хотя бы вкратце передать.

Господин министр, узнав о великодушной мысли, которую вы высказали господину Бесьеру относительно использования полутора тысяч франков — суммы, полученной вами в качестве премии, — поручил мне сказать вам, что он всецело одобряет ваше намерение почтить память господина Ларомигьера; однако вместо памятника, по своей природе ограниченного и в пространстве, и во времени, и в полезности, он с удовольствием увидел бы, что вы предпочтёте более широкое распространение *Уроков философии*: он сам решился подать пример в этом отношении. Я не мог не признать, что такое направление средств, которыми вы и он можете располагать, обладает, более чем любое иное, характером долговечности, пользой для науки и подлинной славой для господина Ларомигьера. Господин министр говорил со мной о вас, о господине Ларомигьере и о добром деле, которое можно совершить в этих

обстоятельствах, с такой совершенством, что во мне ожило прежнее чувство дружбы к нему; не сомневаюсь, что, услышьте вы его сами, вы вместе со мной уступили бы тому чувству, которое я сейчас передаю вам от его имени. Если вы действительно уступите ему, даже исходя из этого слишком бледного пересказа его слов, не сочтёте ли вы уместным написать ему несколько строк, чтобы известить о своём согласии?

Что касается господина Бесьера, я не стану описывать радость, которую ему принёс ваш успех: он сам написал вам об этом. Но, будучи уверен, что в его письме не было ни слова о его собственных делах, я надеюсь, что ваше сердце поймёт и извинит моё, если я напомню вам о стеснённом положении вашего друга. Господин Ларомигьер ещё сильнее возлюбил бы вас, если бы увидел, что вы, вместо того чтобы воздвигнуть мрамор в его честь, облегчаете его племяннику непосильное бремя готовящейся публикации. Я умолкаю.

Что же до господина Дрозу, то сколько страниц потребовалось бы, чтобы, пусть и очень несовершенно, изложить всё то чувство почтения и сердечной признательности, которое он пробудил во мне после стольких лет разлуки! Я был счастлив слышать, как он говорит мне о прошлом, настоящем и будущем, ибо этот истинный мудрец охватывает своей любовью ко благу все времена и всех людей. То, что он сказал мне о вас, весьма почётно для вас! Не сомневаюсь, что вы найдёте в новых отношениях, которые, по-моему, могут установиться между вами и им, и поощрение, и награду. Он разделяет мнение, которое господин министр народного просвещения поручил мне передать вам.

Прощайте, сударь; сохраните обо мне добрую память и никогда не сомневайтесь в моём уважении и особом расположении, в уверенности которых прошу вас принять здесь заверение.

Господину директору Revue de Paris.

Господин редактор,

Мы не можем оставить без ответа статью вашего журнала от 9-го числа, в которой намерения трёх бывших профессоров, выслушанных в комиссии по вопросам народного просвещения, были странным образом искажены.

Из пяти обладателей кафедр философии в пяти королевских коллежах Парижа трое сочли полезным изложить перед комиссией доводы в пользу преподавания философии, оказавшегося под угрозой из-за отождествления этого преподавания с одной личностью и сведения всех учений к одной-единственной доктрине, которая — справедливо или нет — вызвала бури вокруг Университета, теперь выставляемого как громоотвод.

Профессора, которых вы называете, не имели иной цели, кроме как защитить достоинство и независимость преподавательского корпуса, а также свободу всех философских учений, заключённых в границах религии и законов, но неизбежно ущемляемых всяким индивидуальным мнением, которое стремилось бы навязать себя иными средствами, нежели свободное убеждение.

Вы, сударь, сводите важный спор к весьма мелким размерам, когда говорите о «тревожном тщеславии». Здесь речь идёт ни об эклектизме, ни о сенсуализме. Наше дело стоит гораздо выше мелких интересов отдельных лиц и систем, о которых вы упомянули: это — дело независимости человеческого духа, и прежде всего — дело самой Университетской корпорации. Речь вовсе не шла, как вы полагаете, о доктринах Ларомигьера, которые, по вашему мнению, утратили престиж. Другие учения уже позаботились о том, чтобы вернуть им успех. Вы слишком легкомысленно отзываетесь о человеке, о котором Королевский совет заявил, что он почтил Университет своей жизнью, как прославил его своими трудами, недавно принятыми для целей народного образования.

Впрочем, мы не хотим одной школы ценой исключения всех прочих.

Почтение ко всем вероисповеданиям, свобода в философских мнениях — вот наши два принципа. Мы всегда следовали первому и будем всеми силами бороться за второй. Таковы наши убеждения. Не будучи представителями наших коллег, мы не побоялись, что они нас дезавуируют, когда, завершая наши заявления в комиссии, мы изложили ей некоторые общие соображения в интересах преподавательского корпуса. Мы не будем останавливаться на отдельных намёках, которые нас не задевают и могут повредить лишь их автору. Мы рассчитываем, сударь, на вашу прямоту и добросовестность в том, что вы опубликуете этот ответ в ближайшем номере. Примите, господин редактор, уверения в нашем почтении.

Валетт, Сафари, Жибон.
Париж, 13 июля 1844 г.

Приложение 11

Письма г-на Ларомигьера к аббату Року (сообщено гг. Крозом и Сегюи)

Первое письмо
14 сентября 1827

Я обязан вам тысячью благодарностей за письмо, которое вы мне адресовали, и за программу, которой вы его сопроводили. Если мне и лестны приятные слова, которые вы мне говорите, то не менее льстит и то, каким образом вы изложили доктрину, которую вы изволили у меня заимствовать. Сопоставив идеи, вы придали им больше силы и наглядности; вам удалось создать копию, превосходящую оригинал. Из всех, кто принял мои принципы и преподавал их, никто не уловил мою мысль лучше вас; никто не изложил её с такой точностью и ясностью. Я бы сказал, что в вашей диссертации всё хорошо, всё верно; но заинтересованность моего суждения могла бы сделать его подозрительным Попробуем, значит, порассуждать.

1° Говоря о методе, следовало бы, как мне кажется, различать описательный анализ и анализ рассуждающий. Это различие — существенное.

2° Вы пишете: «Существование идеи есть принцип, из которого выводятся все существования». Я предпочёл бы: «Существование идеи, или, вернее, существование чувства, источника всех идей и всех знаний, есть принцип, из которого выводится и т. д.». Таким формулированием вы остаетесь всегда на одной и той же линии и в то же время совершенствуете аргумент Декарта: Я мыслю, следовательно, я существую; ведь Декарт знает, что он мыслит, только потому, что имеет чувство своей мысли. Он должен был бы сказать: *Я*

чувствую, следовательно, я существую; но он этого тщательно избегал, потому что для него чувство было лишь ощущением.

3° Относительно порядка, который вы придаёте онтологическим идеям (выражение, которое я не очень люблю и которое давно пора предать забвению), не думаете ли вы, что идея модуса предшествует идее субстанции; идея действия — идее способности и т. д.? Наш аналитический взгляд способен улучшить порядок всех этих идей.

4° Замечание того же рода я делаю относительно порядка, который вы придаёте божественным атрибутам. После вечности, не следовало ли бы назвать независимость? И не предполагает ли духовность наличия интеллекта и т. д.? Нужно ясно отметить, что этот порядок относится к слабости нашего ума; ибо в Боге нет ни прежде, ни после.

5° Физический порядок, так же как и моральный порядок, свидетельствует о высшем разуме; из этих двух порядков, я думаю, нельзя извлечь два различных аргумента. Пишу всё это на бегу и без малейшей претензии. Ваш ум настолько верно действует, что мне остаётся лишь указывать на мелочи…

Второе письмо
8 апреля 1828

Вот я опять отстаю с ответом вам — и это ваша вина. Зачем вы так снисходительны?

Я получил и с величайшим удовольствием прочёл письмо, которое мне передал М***. Мы много говорили о вас. Я заставил себе сказать и пересказать то, что уже знал: что вы пользуетесь у своих учеников и в публике самым заслуженным уважением. Ваша программа и некоторые замечания, которыми вы изволили со мной поделиться, снискали вам и моё уважение; а новые размышления, которые вы мне сообщаете, могут только его увеличить. Вы принадлежите к очень немногим, кто ощущает потребность понимать и по-настоящему знать то, что знает — единственное средство продвигаться в науках и ежедневно совершенствовать свой ум.

Право же, вы слишком меня щадите и проявляете излишнюю сдержанность, ограничиваясь тем, что просите у меня лишь «да» или «нет» в ответ на ваши вопросы. Это подошло бы скорее моей лени и вашей проницательности; но я не имею права быть столь лаконичным. И я думаю, что в философии авторитет ничего не значит для ума, подобного вашему. Однако я всё же не скажу всего — не хватит места, ведь ваши идеи и всё, к чему они подводят, потребовали бы целого тома для полного развития.

1. - Является ли раскаяние нравственным чувством?

Когда мы по неведению, по легкомыслию или под влиянием какой-либо страсти выбираем из двух одинаково доступных нам объектов тот, который в данный момент считаем худшим, сравнение сделанного выбора с тем, который мы могли бы сделать, обычно порождает состояние, которое я называю раскаянием.

В таком понимании раскаяние приводит к размышлению и осуществлению свободы. Оно, следовательно, предшествует нравственному чувству, которое может проявиться только вслед за свободным актом.

Не следует смешивать раскаяние с угрызениями совести, хотя эти два слова почти синонимы. Угрызения совести — это нравственное чувство. Его испытывают лишь после злоупотребления свободой. Раскаяние, отличаемое от угрызений совести, — это чувство, порождённое сравнением двух состояний, двух объектов, из которых тот, который мы сейчас признаём лучшим, был отвергнут, а худший — предпочтен. Раскаяние — не есть чувство самого сравнения; оно возникает после сравнения, подобно тому, как и чувство соотношения. Это будет, если угодно, смешанное чувство, как и большинство тех, что мы переживаем.

Я считаю, что имею основания отличать раскаяние от угрызений совести. Сам язык, который никогда не допускает полной синонимии между двумя разными словами, даёт мне на это право. Раскаиваются в глупости; испытывают угрызения совести из-за проступка или преступления.

Заметьте, в какое затруднение нас ставят языки. Почти все писатели противопоставляют физическую чувствительность (выражение весьма неточное) и нравственную чувствительность. Тогда чувство действия ума считается нравственным чувством, так же как и чувство соотношений. Так как ощущения составляют исключительную область физической чувствительности, то все прочие способы чувствовать относятся к нравственной чувствительности. Как же, среди стольких разнообразных значений, говорить с какой-то точностью и быть уверенным, что тебя понимают? Есть только одно средство, одно-единственное. Необходимо постоянно исправлять язык, то есть проверять факты или соотношения, которые слова призваны обозначать; нужно настолько точно определять каждое слово — местом, которое мы ему отводим, и характером, который оно получает от сопровождающих его слов, — чтобы невозможно было ошибиться в его истинном значении, в том значении, которое оно имеет в нашем уме. Большинство метафизиков такими scrupules себя не утруждают. Вот и посмотрите, к чему это приводит.

2. - Почести, слава, честолюбие, мужество, гнев, страх и всё, что относится к области страстей, одним словом, не может быть отнесено к числу

удовольствий или страданий, приходящих к нам через чувства. Страсти следует относить к нравственному чувству, когда они дурные или хорошие (если таковые есть); или же, когда они зависят от мнения, как, например, слава, их следует относить к чувству действия души, как мужество; и почти всегда — к смешанным чувствам.

Выражение «удовольствие тела» — чисто литературное.

3. - Что касается естественного закона, то я полагаю (не утверждаю, что уверен), что и без обращения к божеству люди имели бы о нём представление. Достаточно, чтобы вызвать это представление, угнетения сильного над слабым. Но в то же время я думаю, что это представление о естественном законе не было бы представлением о чём-то реально существующем. Закон перестаёт быть законом, если у него нет санкции. А где взять достаточную санкцию для естественного закона, если не возвести его к божеству?

Видите, я отвечаю вам «да» и «нет», не делая, однако, эти ответы слишком утвердительными. У меня есть ещё один довод — и, на мой взгляд, весьма весомый — в пользу утверждения, что для последовательного атеиста естественного закона существовать не может. Но эта демонстрация требует предпосылок, изложение которых заняло бы больше места, чем у меня есть.

4. - Что я могу сказать вам о фактах сна и бодрствования, чего вы сами не знали бы так же хорошо, как я?

5. - Заканчиваю возражением в поддержку того, что вы думаете об единодушном согласии, хотя и не считаю это возражение неразрешимым. Либо согласие согласно с разумом, либо нет. Если оно не согласно с ним, то оно ничего не доказывает; если согласно, то доказывает сам разум.

Третье письмо
16 декабря 1828.

Я отвечу кратко на каждое из ваших замечаний.

1. - **Рассуждение**. Вы пишете: «Как обнаружить отношение содержимого к содержателю между двумя суждениями или идеями, связанными порядком простой последовательности или одновременности? Пример: орган испытал впечатление; душа испытала ощущение».

***Ответ**: Я* упрощаю вопрос. 1° Отношение между двумя суждениями следует отличать от отношения между двумя идеями. Первое образует рассуждение, второе — суждение. 2° Два суждения, как и две идеи, отношение

между которыми мы ищем, следуют друг за другом в речи, но в сознании они должны возникать одновременно; иначе их отношение не могло бы быть воспринято. 3° Если предположить, что в уме суждения следуют друг за другом так же, как в речи, то это не будет простой последовательностью, простой связью «прежде» и «после». 4° В двух суждениях, которые вы приводите в примере, я опустил слово «следовательно», которое уже предполагает восприятие отношения. Таким образом, я формулирую вопрос так: «Как обнаружить отношение содержимого к содержателю между двумя суждениями?».

Чтобы решить этот вопрос, как и всякий другой, мне оставалось бы лишь переводить его, пока, переходя от перевода к переводу, я не пришёл бы к очевидному положению, которое и было бы разыскиваемым решением. Но прежде, возможно, не будет лишним сделать несколько замечаний о природе рассуждения или, если угодно, о значении слова «рассуждение». Слово «рассуждение» обозначает две вещи: операцию ума и результат этой операции. Как операция, рассуждение есть сравнение двух суждений, двойное сравнение. Как результат операции — это восприятие связи между двумя суждениями, связи содержащего и содержимого. Для других операций ума у нас есть два слова, одно из которых указывает на саму операцию, а другое — на её результат: внимание — идея; сравнение — суждение. Нам недостаёт слова для результата рассуждения, и мы даём этому результату имя самой операции; мы называем его рассуждением. Этот недостаток языка можно было бы восполнить, говоря так: внимание — идея абсолютная; сравнение — идея относительная; рассуждение — идея выводная.

Нас интересует только результат рассуждения, или рассуждение как результат; и вы заметите, что о рассуждении, или о связи между двумя суждениями, можно сказать то же, что было сказано о суждении, или о связи между двумя идеями, а именно, что эта связь либо только ощущается, либо воспринимается, либо утверждается.

Когда два суждения одновременно находятся в моём уме, я либо замечаю, либо не замечаю между ними связь содержащего и содержимого. В последнем случае рассуждения нет; в первом — есть. Связь между двумя суждениями может быть необходимой или случайной, так же как и в суждении связь между двумя идеями также бывает необходимой или случайной. «Существует нечто; нечто существовало всегда» — связь необходимая: второе суждение необходимо содержится в первом. «Орган испытал впечатление; душа испытала ощущение» — связь случайная: второе суждение не обязательно содержится в первом.

Необходимые рассуждения основаны на природе вещей, на природе идей. Случайные рассуждения основаны на опыте; то же самое верно и для суждений. Вернёмся к нашему вопросу: «Как открыть, между двумя

суждениями, связь содержащего и содержимого?» Сблизьте оба суждения, и вам будет нетрудно увидеть, есть ли между ними равенство или одно превосходит другое. Превосходство может состоять только в большей объёмности или в большей составности.

«Все тела тяжёлы, этот камень тяжёл. — Павел искусный преподаватель философии, Павел отличный логик. — Бог существует, существует существо совершенно совершенное». Вы можете связать два положения в каждом из этих трёх примеров союзом «следовательно»; таким образом, у вас есть три рассуждения — и три образца всех рассуждений. Ибо, рассуждая, можно идти только от общего к частному, или от составного к менее составному, или от того же к тому же; и всегда от того же к тому же, если вы, как и я, признаёте полную тождественность и частичную тождественность.

Таким образом, нетрудно отличить между двумя суждениями, которые могут дать повод к рассуждению, то, которое содержит, от того, которое содержится; иными словами, принцип следствия.

Если теперь вы спросите меня, как переходят от принципа к одному из его следствий, я отвечу: посредством промежуточных положений, число которых больше или меньше в зависимости от того, насколько следствие удалено от своего принципа. Но я замечаю, что мы уже углубляемся в трактат по логике, и останавливаюсь. Замечаю также — может быть, немного поздно — что у меня скоро кончится бумага. Я прибавлю лист, чтобы ответить одним словом, только одним словом, на ваши другие замечания.

2. - **Идея души**. *Возражение.* Душа с самой первой ощущаемой сенсации имеет чувство самой себя; отсюда следует, что уже с первой чувственной идеи она имеет идею самой себя. Не вытекает ли отсюда, что идея души берёт своё происхождение из ощущения, а не из чувства собственного действия? ***Ответ***. Происхождение идеи души находится ни в ощущении, ни в чувстве её действия. Ощущение есть источник чувственной идеи; чувство действия души есть источник идеи этого действия. Где же тогда находится источник идеи души? В чувстве существования души — чувстве, которое первоначально сливается с первым ощущением и отделяется от него в тот момент, когда первая, или вторая, или третья сенсация становится идеей.

3. - Суждение: *Convenientiae sensus perceptus aut affirmatus inter duas ideas* ne rend pas ma pensée *(Совпадение (соответствие) ощущённое или утверждённое между двумя идеями)* не выражает моей мысли. Следовало бы сказать: convenientiae *sensus aut perceptio, aut affirmatio («Совпадение чувства, или восприятие, или утверждение»).*

4. - **Внимание, желание**. Внимание и желание — это одно и то же, а именно направление сил души на какой-либо объект. Разница лишь в цели. В одном

случае — это удовлетворение потребности; в другом — приобретение знания. И заметьте, что приобретение знания иногда является большой, очень большой потребностью. Таким образом, внимание и желание, рассматриваемые в своей сущности, представляют собой одну и ту же вещь.

5. - **Моральное обязательство**. Я рассматриваю права и обязанности независимо от той санкции, которая сопровождает их исполнение или нарушение, и спрашиваю вас: если отвлечься от разума и воли, которые всё устроили в мире, видите ли вы в них что-либо иное, кроме фактов? Если это так, то как вы подниметесь от идеи факта к идее права? Содержится ли право в факте? Это всё же необходимо было бы, согласно сказанному нами в № 1, чтобы заключить от одного к другому. Подумайте об этом: я не выношу решения, я лишь ставлю вопрос.

6. Я получил от вас письмо, в котором речь шла о «я» (moi), о чём я забыл упомянуть в № 2. Разбирая этот вопрос, нужно помнить, что слово «я» обозначает три вещи: 1) душу, субстанцию души; 2) совокупность всего, что с нами произошло с детства до настоящего момента — такое «я» предполагает память; 3) «Я» в противоположность «ты» или любому другому существу — как одушевлённому, так и неодушевлённому. Когда говорят о бессмертии и нематериальности души, о «я», то это «я» следует понимать в первом смысле.

Четвертое письмо
8 июня 1831.

Мой дорогой коллега, вы — самый снисходительный из философов, вы слишком снисходительны. Я пренебрегаю вами, а вместо упрёков вы приносите мне извинения. Как я могу ответить на столь любезное обращение? Я знаю верный способ, но он не из лёгких. Мне следовало бы, к вашему удовольствию, ответить на все ваши остроумные возражения, но не слишком-то смею себя в этом тешить. Я пройду их последовательно и к каждому прибавлю по слову.

1. - Какие способности действуют в состоянии тревоги? Все и никакие. Как только существо, наделённое чувствительностью и активностью, начинает ощущать, как только ему хорошо или плохо, но особенно — когда плохо, оно действует. Это действие в своём начале чисто инстинктивно, механично, слепо, без определённой цели. Лишь с того момента, когда существо узнает предмет, способный избавить его от нужды, оно направит своё действие к этому предмету или возжелает его. Желание — это, следовательно, такое употребление нашей активности, которое направляется на известный предмет с целью получить от него наслаждение. Я называю это способностью. Я не признаю никакой способности в тревоге, рассматриваемой в её истоке, хотя душа всегда активна в тревоге. Но сегодня, когда ваши способности развиты и уже тысячу раз приходили в действие, они все оказываются вовлечены в

тревогу — хотя и смутно, и плохо различимо, — вплоть до того момента, когда тревога уступает место ясно выраженному желанию.

Необходимость познания для того, чтобы желать, объясняет, почему анализ разума предшествует анализу воли. И заметьте, что внимание, первая способность разума, по своей природе есть то же самое, что желание, первая способность воли. Эти две способности различаются лишь целью, которую ставит себе душа: познать или наслаждаться.

2. - Любить и ненавидеть не являются способностями, и их не следует смешивать с желанием. Любовь и ненависть вызывают желание, часто даже вызывают его непреодолимым образом, но по своей сущности они от него отличаются; доказательство тому — то, что можно любить вещь, не желая её, как вы замечаете, говоря о кофе.

Любить человека или какой-либо предмет — значит верить, что мы получим приятные впечатления от наших отношений с этим человеком или от обладания этим предметом.

Именно потому, что желание почти всегда следует за любовью и ненавистью, глаголы aimer, haïr, sentir сделали активными. Таким образом, хотя любовь — состояние пассивное, во все времена и, вероятно, во всех языках будут говорить об активности материнской любви, потому что эта любовь держит в постоянной готовности все способности, всю активность матери.

3. - Симпатия и антипатия — это предрасположенности любить или ненавидеть. Эти предрасположенности могут быть врождёнными или приобретёнными. Какую роль играет симпатия в морали? Одни рассматривают её как основание морали; другие — как врага морали. Вот вам две совершенно разные роли; подумайте об этом.

4. - Я полагал, что вы преподаёте по-французски и отказались от схоластических форм. Раньше, когда я проводил защиту математических тезисов, ученик, выслушав вопрос, брал слово и говорил: «Господин оказывает мне честь, предлагая такое возражение; я имею честь ответить ему и т. д.».

5. - Не следует называть суждением всякое отношение, всякое восприятие отношения. Книга Петра — это отношение, но не суждение. Суждение заключается в восприятии особого рода отношения: это отношение существования признака в субъекте, отношение содержимого к содержащему; и это отношение мы можем лишь смутно ощущать, либо отчетливо воспринимать, а можем также произносить или утверждать. Есть философы, которые видят суждение только в утверждении; но если утверждение есть произнесение суждения, значит, суждение существует до утверждения. Слово convenance слишком неопределённо: замените его словом «отношение»

(rapport); отношения бывают сходства, простой разницы, противоположности — и те, и другие воспринимаются одинаково. Вопрос о положительных и отрицательных свойствах — старая школьная дискуссия. Можно сказать, что отрицательные сводятся к положительным; можно сказать и обратное. Я предпочитаю последнее мнение, хотя бы ради нашего бедного аксиома: attributum propositionis affirmativae sumitur particulariter; negativae, generaliter aut universaliter.

6. - Выведенное суждение предполагает рассуждение как операцию, будучи его результатом. «Следовательно» (donc) это утверждение рассуждения, «есть» (est) — утверждение выведенного суждения. Donc утверждает следствие, est — следуемое.

7. - Идея простого отношения, идея сложного отношения означают идею, являющуюся результатом простого отношения, и идею, являющуюся результатом нескольких отношений, что нисколько не нарушает простоты самой идеи, рассматриваемой в себе.

8. - Об отрицательных аргументах я скажу то же, что и об отрицательных предложениях.

9. - Философский анализ и описательный анализ, хотя и требуют применения одних и тех же способностей, не должны смешиваться (и это, более того, принципиально важно). См. для ответа *Уроки философии*, Вступительная речь, стр. 44.

10. - Когда мы владеем наукой, которую изобрели или усвоили путём анализа, мы можем объяснить её себе с помощью обратного метода. Можно также использовать обратный метод, чтобы изучить науку, которая будет совершенно аналогична той, которой мы уже владеем. Вы немного математик? Математики постепенно и последовательно открыли все свойства окружности, и когда они хорошо их усвоили, они заключили их в общую формулу, из которой легко выводят все частные свойства, которые и привели их к этой формуле. Эту формулу называют уравнением окружности. Так вот, если из уравнения окружности я могу вывести свойства этой кривой, не проходя через пробные шаги изобретателей, пользовавшихся анализом, то почему бы мне не найти свойства любой другой кривой, если вы дадите мне её уравнение? Всё ли я сказал? Боюсь, что нет, и боюсь главным образом, что сказал плохо. Но, впрочем, этого довольно на один раз и для ленивого…

Пятое письмо
Париж, 18 декабря 1833.

Мой дорогой коллега, мой дорогой и истинный философ, я только что получил ваше письмо. Оно доставило мне столь большое удовольствие, что я отвечаю на него немедленно. Если бы я отложил ответ до завтра, моя неприязнь к перу нашла бы предлоги подождать до послезавтра, а от дня ко дню я в конце концов удовлетворился бы лишь тем, что восхищаюсь вашим превосходным умом и радуюсь чувствам, которыми вы меня щедро одаряете, не выражая вам своей признательности — как это со мной, увы, слишком часто случается.

Никогда не бойтесь меня стеснить. Ваш ясный ум, ваши точные идеи, эта потребность в всё большей и большей точности, а также ваша скромность для меня — приятнейшее возмещение за весь тот хлам, которым нас осыпают, и за ту глупую самоуверенность, с которой этот хлам нам преподносят. Пишите же мне с полной уверенностью, что вас будут читать с интересом. Мне ваши критические замечания куда милее, чем похвалы стольких других, потому что вы меня понимаете, а моя единственная амбиция — быть понятым. Вот как понимают меня эти господа. Я бы удивился, если бы было иначе, ибо знаю по долгому опыту (и вы узнаете это однажды, если уже не знаете), что большинство умов, особенно среди учёных, ненавидят ясность. Она действует на них так же, как вода на гидрофобов. Автору чрезвычайно повезло, если он добивается одобрения нескольких хорошо устроенных умов. Остальное не в счёт или в конце концов перестаёт считаться. Эти размышления совершенно бескорыстны, ибо никогда ещё автор *«Уроков»* не был так хорошо принят публикой. Но если эти господа «не в счёт», то вы — в счёт, и я причисляю вас к числу моих самых просвещённых судей. Я хотел бы вас удовлетворить, и это тем труднее, что ваши затруднения связаны с вопросом языка. Мы так запутаны в нашем жаргоне, что очень трудно извлечь из него идеи в том виде, в каком вы их любите. Особенно мучит вас вопрос о суждении. Вы говорили мне о нём не раз, и я полагал, что удовлетворил вас несколькими отрывками из «Уроков». Буду ли я удачливее в том немногом, что сейчас приходит мне на ум? Суждение, в языке многих великих философов и в языке школы, является синонимом утверждения. Суждение, в языке не менее великих, а то и более великих философов, чем первые, и у некоторых авторов школы, является синонимом восприятия отношения между двумя идеями. Таким образом, оказывается, что слово «суждение» имеет два значения. К этим двум значениям я добавил третье, согласно которому суждение иногда является синонимом ощущения отношения. Факт в том, что слово «суждение» имеет два, а может быть, и три значения; и каждый, кто изучал свой язык, должен их знать.

Судить — значит утверждать; судить — значит воспринимать отношение; судить — значит ощущать отношение. Эти три положения одинаково верны; только значение слова «судить» переходит одно в другое с оттенками. И если второе из этих положений — самое разумное, то следовало бы перевернуть

формулировку первого и сказать: утверждать — значит судить. Но в обиходе, разве суждение и утверждение не неразделимы? Нет, они не неразделимы. Их часто разделяют, и было бы желательно разделять их ещё чаще. Следовало бы желать, чтобы мы не переходили столь поспешно, как это обычно бывает, от восприятия отношения к утверждению, или, что то же самое, от суждения к произнесению суждения. Вы говорите, что в обычном языке «суждение» всегда является синонимом утверждения. Я отвечу, что гораздо чаще «суждение» является синонимом «рассудительности». Человек с хорошим суждением вовсе не чрезмерно утверждающ; это человек, умеющий различать истину и ложь, менее вероятное и более вероятное и т. п.

Утверждение — это свидетельство, которое слабое существо должно дать самому себе в том, что оно хорошо увидело, хорошо рассудило. Высший ум утверждает меньше, чем обычный ум. Бесконечный разум всё видит, всё охватывает — и вещи, и отношения — и не утверждает. Мы сами, когда отношение совершенно очевидно, не прибегаем к утверждению; и если какой-нибудь романтик спросит вас, кто величайший писатель — Расин или Ронсар, вы лишь пожмёте плечами, не думая ни о «да», ни о «нет».

Я заключаю, что спор о так называемой природе суждения является чисто словесным. Это не значит, что под словом «суждение» не скрывается реальный и важный вопрос. Я смогу поговорить с вами об этом в другой раз. Из уважения к вам я опустил один отрывок из Локка и другой — из Руссо. Здесь вы меня разгадали — и не только здесь. Для бедного автора приятно иметь таких читателей, как вы.

Вы бы посмеялись, если бы знали причину, по которой я убрал слово «абсолютный». Один профессор математики поднялся ко мне и принялся рассыпать восторженные похвалы моему труду, который он находил написанным, как книга по математике. После чего он добавил печальным тоном: «Вы ведь не хотите, чтобы геометрия была истинной непременно и с абсолютной истиной». Я ответил ему, что истины геометрии необходимы, но необходимы условно, поскольку все теоремы начинаются с условия: «если…» или «дано…» и т. п. Ах, господин профессор, я видел, что делаю этого человека очень несчастным; я пообещал ему убрать этот фрагмент — и сдержал слово. Скажу вам, что я очень мало дорожу тем, что написал. Но я безмерно дорожу тем, чтобы мне не приписывали противоположного тому, что я думал. Впрочем, я легко с этим мирюсь: omnia vanitas.

В другой раз мы поговорим о пространстве, о глаголе naître («рождаться») и о прочем.

Обнимаю вас с нежной привязанностью. Вы очаровательны: приносите мне извинения, когда я сам перед вами виноват; критикуете меня очень мягко, ободряете, наставляете, желаете, чтобы мой труд был совершенным, — вы его

любите. Справедливо, чтобы я любил вас так же, как и ценю. Конец этого письма немного отдаёт настроением новогоднего обновления, которого я вам желаю самым счастливым образом.

Шестое письмо
19 мая 1837.

Вы — самый любезный из людей, потому что вы — самый снисходительный. Вместо того чтобы меня бранить, упрекать, вы осыпаете меня ласками. Надо, мой дорогой профессор, сказать вам одну вещь, которую я о вас думаю и которая придаст вам немного больше мужества, чем у вас есть. Судя по всему, что я в вас видел, вам недостаточно тех поверхностных сведений, что встречаются во всех книгах. Ваш ум стремится проникнуть в самую глубину вещей, потому что только там он может удовлетвориться, потому что только там находятся первоосновы, истинные принципы, без которых всё наше знание сводится лишь к памяти. Особенно не позволяйте себя ослепить лёгкости красноречия, которая доказывает лишь привычку повторять определённые формулы, и которую, повторяя достаточно долго, в конце концов принимают на веру… Если бы я осмелился себя цитировать, я бы сказал вам перечитать на странице 425 второго тома «Уроков», каковы условия, без которых нельзя льстить себя надеждой на хоть какие-то успехи в науке, которой мы занимаемся. Но главное — хорошенько подумав, верьте самому себе, даже если окажетесь в разногласии с величайшими умами. Этот совет я не дал бы юноше двадцати лет, который должен избегать всякой самонадеянности; но я даю его вашему справедливому уму, вашему опыту, и в силу того малого плода, который вы нередко извлекали из чтения этих так называемых великих умов.

Скажу вам, мой дорогой, что ко мне пришёл издатель с предложением шестого издания, и мы легко договорились. Это новое издание будет содержать речь об идентичности в рассуждении, которая пойдёт сразу после раздела о языке рассуждения. Шестой урок первого тома будет завершён несколькими размышлениями о философском гении. Разумеется, один из первых экземпляров будет отправлен вам.

Помимо причин — дурных причин — привычной лености, я отягчён немощами, которые редко позволяют мне взять в руки перо. Прибавьте к этому, что мне уже за восемьдесят. Это тот возраст, в котором умер Платон, и греки удивлялись, что он прожил восемьдесят один год — ровно квадрат девяти. Вы знаете, какую роль играли числа в школе Пифагора, учеником которой был Платон. Не будем ни у Апеллеса, ни у Кифы; будем у истины, если сможем. Обнимаю вас с нежной привязанностью.

Седьмое письмо
22 июня 1837.

Я всегда должен благодарить вас за любезные слова, которые вы мне говорите. Вы выражаете уважение к «Урокам» и расположение к их автору. Поверьте, я очень признателен и за то, и за другое чувство. Но перейдём к великому делу.

Принципы, системы, метод, рассуждение, идеи, моральное чувство — вот о чём можно было бы болтать два столетия; я же поболтаю только две минуты, если смогу.

1. - Метод состоит в том, чтобы наблюдать, связывать и объединять. Если вы наблюдаете, если вы связываете свои наблюдения, если вы сводите их все к одному первичному наблюдению, — у вас будет теория, система, наука. Если вы не наблюдаете или наблюдаете плохо, ваш мнимый «систематический» труд не будет опираться ни на что. Если вы не связываете, у вас будут лишь disjecti membra poetae («разрозненные члены поэта»). Если вы не сведёте всё к одному принципу, у вас не будет науки: scientia est cognitio per demonstrationem, а не mera cognitio (наука есть знание через доказательство, а не просто знание). См. т. II, с. 93 и 224.

Но часто принципа нет! Тогда науки нет.

Но часто есть принципы несовместимые! Тогда, если они верны, у нас есть, или может быть, несколько наук.

Пока астрономам недоставало принципа, явления неба были необъяснимы. Альфонс, король Арагона и астроном, утомлённый всеми кругами и эпициклами, придуманными для объяснения расположения небесных тел, говорил, что если бы его призвали в совет Великого Устроителя вещей, он мог бы дать ему хороший совет, как сделать его машину проще. Это слово Альфонса сочли кощунственным, и напрасно. Он критиковал не творение Божие, а работу астрономов. Коперник нашёл истинный принцип в вращении Земли, он восхитился мудростью Творца вещей — и мы восхищаемся после него.

Химики стараются свести электричество, магнетизм, теплоту, эфир к одному-единственному принципу. Пока им это не удастся, их наука будет неполной.

2. - Что хотят сказать ваши спорщики своей «синтезой»? Они и сами этого не знают — будьте в этом уверены, — и знать этого невозможно. Когда вы удостоверились в фактах, связали их между собой и свели к единству через открытие принципа, разуму уже нечего больше желать. Что бы вы сказали о

математиках, если бы они разделились на две секты — сторонников сложения и сторонников вычитания?

3. - Как можно быть недовольным примером, который я привожу для морального чувства? Разве они не находят ничего морального в чувствах деликатности, стыдливости, доброжелательности, дружбы, признательности и т. п.? И разве этот докучливый плакса Руссо не сказал всего о справедливом и несправедливом? Впрочем, если мой пример им не по душе, что мешает им выбрать пятьдесят других?

4. - «Восприятия отношений, — говорят, — не сопровождаются никаким чувством. Таким образом, можно замечать отношения, не ощущая, что их замечаешь». Почти все чувства, которые испытывает взрослый человек, он уже испытывал тысячи раз, и они давно превратились в идеи. См. т. II, с. 239–240.

5. - «Ощущение может быть очень сильным удовольствием или очень сильной болью» — я добавлю: «которую мы относим к какой-либо части тела». Этого вам будет достаточно?

6. - Ваши замечания о нюансе, который отделяет происхождение от рождения, от результата, принадлежат уму, умеющему читать. Благодарю вас за это и воспользуюсь ими.

7. - Перейдём к тому, что вы говорите об идентичности и о принципах в их отношении к рассуждению. «Паскаль знает математику; следовательно, он знает арифметику» — частичная идентичность. Говоря, что Паскаль знает математику, вы говорите, что он знает арифметику, геометрию и алгебру. Таким образом, в следствии вы лишь повторяете то, что сказали в принципе, но повторяете не всё — вот почему идентичность только частичная. «Паскаль знает арифметику, геометрию и алгебру; следовательно, он знает математику» — полная идентичность.

Хорошая философская речь должна представлять собой непрерывный ряд полных или частичных тождеств; в противном случае она не будет единым целым и не составит системы. Вселенная — это огромная система, состоящая из миллиарда систем. И, если не покидать пределы Земли, — от травинки до дуба, от микроскопического насекомого до кита — всё есть система. Следовательно, если человек хочет познавать вещи, он должен систематизировать все свои знания.

Вы спрашиваете, содержит ли принцип следствие или, наоборот, следствие содержит принцип. Верно и то, и другое, ибо две тождественные вещи взаимно содержат друг друга. Если бы следствие не содержало принципа, принцип было бы невозможно найти — что не значит, что его всегда удаётся найти. Если бы принцип не содержал следствия, in actu или in fieri, к следствию было бы

невозможно прийти. Зерно пшеницы содержит ваши превосходные gimblettes (сухие кренделькы), зерно конопли содержит бумагу. Сколько времени понадобилось, чтобы пройти от одного из этих зёрен до кренделей, а от другого — до бумаги, на которой я пишу! Я мог бы бесконечно развивать эти мысли. Но знайте, что хорошая книга должна образовывать систему; каждая глава книги — систему, подчинённую единству целого; каждый абзац, каждое предложение — маленькую систему и т. д.

Прощайте, мой дорогой философ, который хотите знать причину вещей и даже причину причины. Этим вы обеспечите себе занятие на всю жизнь, даже если бы жили, как Мафусаил. Обнимаю вас с сердечной привязанностью [1].

КОНЕЦ ПРИЛОЖЕНИЙ

[1] Тексты из *Приложения*, в частности *Послание к Гара*, были приведены с теми неточностями, какие оставили в них их авторы.